ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ПЯТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Н. Г. ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ

4

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ
1895—1906

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Подготовка текста и примечания
И. М. ЮДИНОЙ

Оформление художника
Н. КРЫЛОВА

ИЗ МОЕГО ДНЕВНИКА

16 мая. Близок Крым. Одна линия убежала в Екатеринослав, другая еще куда-то, а третья, по которой еду я, несет меня в царство роз и неги, к благодатным берегам Черного моря.

И когда? — В мае месяце. В окнах вагона золотая пыль исчезающего, точно усталого солнца, чудный воздух мая, зеркальные озера, вода и зелень. А на станциях темные лица татар, хохлов, евреев и цыган — лица юга, говор юга, звучный и ласкающий, как музыка мотива молодых отлетевших дней...

Там, на горизонте, уже вырисовываются нежные группы облаков — горы Крыма.

И сильней бьется сердце. Надвигаются сумерки с своим особым очарованьем, нагоняя на душу столько неясных и сладких грез. Они ласкают душу и нежно расправляют ее морщины. Я смотрю в окна: кругом молодая, умытая зелень полей, чудный свод неба, и точно шепчет ласково и мягко полная грусти и прелести окружающая природа: «До завтра,— завтра я подарю тебя таким же прекрасным и светлым днем».

Просто и бесконечно торжественно в этом вольном преддверье Крыма, под этим уже южным небом, в этих местах, где нет-нет и мелькнет высокий тополь и белая хатка под ним, и огонек, и запах родного дома, и вся прелесть милой родины.

А вот и Джанкой, и железная дорога поворотила в Феодосию. Мягкий влажный воздух ночи и какой-то

особенный аромат той травы, что в мутном сиянии кажется белым ковром. Луна яркая южная, с золотым отливом. Тучи то закрывают ее, и тогда они черные, серебром окаймленные в прозрачном синем небе,— то выглянет луна и сверкнет слева степь, а справа таинственные, неподвижные, дымкой заволоченные горы.

Я то читаю (возле меня много хороших книг), то смотрю в окно и в переливах света вагона и ароматной ночи, в переливах впечатлений от книг и окружающей меня природы я чувствую прелесть жизни и живу всеми фибрами моего существования.

Вот и Феодосия: сталью сверкнувшее море, а с ним и знакомый запах морской травы и канатов, знакомый шум нежного прибоя и отлогий с ракушками берег.

Ужин в красной комнате, в аромате ночи, с окнами на бульвар и на море, турецкий кофе, настоящий турецкий, и сон.

17 мая. А в три часа я уже на ногах, стою на балконе, и хмурое утро смотрит на меня с моря, с Феодосии, с неба. Морской воздух, чайки кричат. Низкие крыши города. Две-три развалившиеся башни говорят о седой старине. А там, в стальном море, яркие пятна, а между ними протянулись темные полосы, точно своды между небом и водой. Но встанет солнце и разрушит эти своды.

Я на пароходе.

Вот и солнце, но и тучки, и борется с ними солнце. А в круглые окошки каюты ласково плещется и бьется, точно заглянуть хочет, аквамариновая, нежно прозрачная волна. Здравствуй, милая! я сейчас выйду наверх и вдоволь нагляжусь на тебя там, на просторе, какой, не жалея, подарила тебе природа. Катись и неси себя вперед в бесконечный простор, насколько хватит в тебе силы. О, хорошо наверху, и жадно дышит грудь! А там, ближе к отлогому берегу, в неясных очертаниях туманного дня, плывет какая-то странная флотилия. Я никогда не видел такой системы парусов, уширенных кверху. Я всматриваюсь, но видно сквозь туман плохо, а к тому же вон и гора Митридат и Керчь, и я забываю об этой флотилии.

Керчь — цель моей поездки.

Я никогда там не был, но там живет мой приятель, и я еду к нему. Еду на один день, сделав для этого тысячи верст. Но ведь я с ним много лет не видался, много, очень много лет. Он был молод, когда мы расстались, когда в последний раз бок о бок с ним мы дали еще одно веселое сражение людской неправде и, конечно, проиграли и его, как и все другие. Он решил заняться хозяйством, а я, беспокойный бандурист (так мы называли себя), продолжая давать сражения, всегда теряя их, не терял никогда своего общечеловеческого знамени. Вот оно, в моих руках! И его вырвет у меня — часового моего знамени — одна смерть. А там, когда придет смерть, там уж не мое дело: нужно будет оно людям — подымут; не нужно — бросят в хлам времен.

Десять лет прошло с тех пор, как я не видел своего друга. Но я знал, что живет он в деревне, на самом берегу моря, летом сеет хлеб, хлопочет с четырех часов утра и до девяти вечера, а зимой то прислушивается к тоскливому завыванию норд-оста, то, когда надоест, едет в Керчь, где pied à terre[1] его — маленький собственный домик с обстановкой раз навсегда определившегося холостяка. Заметьте, холостяка со всеми данными быть прекрасным мужем и отцом семейства; он нежен и чуток, умен и прекрасен, — он с чудными серыми глазами, — мой лучший друг. Он был энергичен тогда, и борьба, казалось, доставляла ему всегда наслаждение и новые силы. Одно пугало меня в моем друге: он ненавидел чиновников, но сам тоже (увы!) был большой буквоед. Бывало, для него победа не была и победой, если не подходил он к ней последовательно, на той же почве врага, побивая его его же оружием.

Я так ярко помню его фигуру: он с рапирой в руках без устали наносит удары в стену, выпадая со всей энергией и твердя:

— Я законник! Я законник!

Но довольно, однако: пароход подходит к пристани, и я жадно ищу стройную знакомую фигуру. Публики так мало, что недолго осмотреть всех, а его нет, и я опять внимательно оглядываю всякого. Нет его: он не полу-

[1] пристанище (*франц.*).

чил, значит, моей телеграммы, или его не было дома. Может быть, он в Малороссии: род его от Мазепы, и там у него остался какой-то клочок земли. Но что это за фигура там стоит поодаль от других? Толстый господин в шапочке английского капитана, угрюмый, сутуловатый, от которого так и веет одиночеством и каким-то странным отчуждением. Отчего я прильнул к нему вдруг так жадно глазами, и сердце мое тоскливо сжимается, и я еще напряженнее смотрю? Да потому, что это он — мой приятель! Отчего мне показалось сперва, что это стоит точно брошенный всеми? Что за костюм на нем и отчего он такой толстый, и неужели это он — он, моя краса и гордость в былые дни? А-а! пусть меняются красивые женщины, их много новых народится, но друг, друг— он один, и разве развалина друга не говорит вам горше всякого зеркала тяжелую истину о вас самих? Но, конечно, это он: его глаза, прекрасные, серые глаза, застенчивые и нежные, все такие же, какими они были и тогда: и мы уже в объятиях, и радость свидания, и короткий миг его заставляет нас ловить и дорожить нашим временем.

Я был в его домике, мы ездили к нему в имение и устроились для еды и отдыха на самом берегу моря.

Солнце сверкало над нашей палаткой. Зеленый берег и водная даль, тихая и неподвижная, и там в море уже знакомая флотилия с оригинальным, уширенным кверху устройством парусов.

Да, но теперь видно, что это не флотилия, а просто группа скал, оригинальная и рельефная на этом фоне плоского и зеленого берега, без всякого признака того, чтобы берег этот на всем видимом пространстве был бы где-нибудь скалистым. Тем резче вырисовываются эти белые скалы, разительно схожие с кораблями. И какая странная легенда по поводу этих скал. Мы едим вкусный шашлык, запиваем его вином, и я слушаю эту легенду. Это было очень давно. Фарнак, сын Митридата, возмущенный жестокостью отца, для блага своего народа убил своего отца. Не желая, может быть, чтобы жадностью истолковали его поступок, а может быть, и под влиянием иных каких-нибудь чувств, Фарнак, взяв свою милую, решил навсегда покинуть тяжелые для него ме-

ста. Но не так судили ему боги. Флот Фарнака уже отплыл от берега, когда рассерженные боги, настигнув, превратили и его и весь флот его в камни. Превратили всех их в камни на всем ходу. Так и остановились они в своем бешеном беге со всеми распущенными парусами. Проносятся века, а они все стоят в своем неподвижном порыве умчаться вперед. Нельзя сильнее передать это сочетание порыва, и отчаяния, и тяжелой неподвижности угрюмой смерти. Замерла и мгновенно остановилась жизнь в каменной глыбе. Но живет и эта белая глыба, и так силен контраст ее с ярким днем, с этим небом и мягким морем... И еще сильнее впечатление от наших обоюдных пересказов о прожитом. Какой длинный это путь от недостроенного здания: и куда ни идешь, где ни ищешь нового пути, все оно, это здание заколдованное, стоит перед глазами. И в этом бессилии уйти, в этом бессилии возвратиться — весь трагикомизм нашей жизни. И уходим мы за поиском вчерашнего дня и подходим все с тем же идеалом вчерашнего дня: все назади и ничего впереди. Злой волшебник какой-то точно заколдовал нас в этом очарованном кругу, в котором мы все, каждый своей дорогой, идем и все там же топчемся. Горестная чаша не проходит мимо и к устам зовущим снизойти не хочет. Что он пережил в эти годы разлуки! Обидно за человека. К чему свелась его жизнь, бедного законника!.. Он рассказывает мне длинные, скучные истории, и я слушаю их, как отходные, не смея поднять глаз.

Вот один рассказ.

Благодаря усердию полиции все они, местные жители, остались без дороги: нарыли канав, под грунтовые дороги отвели три сажени и благодаря этому весной и осенью в степи нет никаких сообщений, колеса тонут по ступицы в липкой грязи. Конечно, ни хлеба, ни товара не повезешь по таким дорогам. А по уставу 1838 г., под грунтовую дорогу должно быть отведено 40 саж. И вот мой друг, законник, уже третий год все пишет и пишет, отстаивая этот устав. Если и будет победа, то ведь чисто академическая, потому что на деле дорог ведь нет уже. Я сижу с пустой душой и слушаю этот нелепый рассказ. Да, к чему действительно,— подумаешь, свелось все: в 1894 г., может быть, удастся отстоять прерогативы 1838 г.

И это жизнь?! Это какое-то бесследное черчение по воде. И он весь поглощен этой борьбой. Боже мой, что может быть ужаснее такого разрушения. Разрушение и так всецело в нем: в то же время и чистота души, и боль, и ясный, светлый ум; старая дива, сохранившая все и потерявшая все. И сам он понимает все бессмыслие своей жизни и смеется над собой, над этой жалкой борьбой и жалкой победой. Жить лучшими идеалами для того только, чтобы создать обстановку, в которой ничего другого не остается, как осмеивать самого себя... О! мой страх, что это буквоедство сделает свое ужасное дело в моем когда-то милом мне законнике, оказался так ужасно основательным. Лучше бы я не ездил и не видел его. В моих мечтах он оставался бы всегда чем-то реальным, в ореоле своей всегда целомудренной чистоты.

Он полулежит теперь возле меня — юноша в развалинах — и, качая головой, заикаясь, по обыкновению, слегка, говорит без надежды:

— Крест... И глаза ослабели: я не могу больше заниматься, оставил чтение...

Он поднял глаза на меня, презрительная насмешка пробегает по его рту, и он машет без сожаления рукой...

18 мая. Сегодня назад, и мы уж приехали на пароход.

День чудный.

Успокоенное море нежно ласкается и просит любить его. Оно блестит прозрачное, то голубоватое, то с проблеском зеленых, искрящихся на солнце полос. Легкий, едва ощущаемый ветерок тронет и унесется туда, в даль зовущего к себе беспредельного моря. Там далеко-далеко слилось оно с небом, в непередаваемой полосе безмятежного блеска. И тонет в ясном дне и море, и небо, и гора Митридат.

Мы смотрим друг на друга: я уже на пароходе, он внизу на пристани. Возле меня жизнь, а там, на пристани, где он, тишина и покой. Зажатая между пароходом и пристанью зеленоватая волна беспокойно бьется в такт моему сердцу и говорит сильнее о пережитом и предстоящей разлуке. С скрытой болью я еще и еще напряженно всматриваюсь в него, все еще отыскивая черты былой жизни, гордой вдохновенной жизни... Уже раз-

дается последняя команда, и мы оба грустные и пустые бросаем друг другу рассеянные, последние слова. Я боюсь обнажать свою душу, боюсь оставить ему тяжелый итог свиданья и говорю, стараясь говорить равнодушно, по поводу его какого-то нового рассказа.

— Да, все это, конечно, с общей точки зрения понятно...

Он молча смотрит в море, и ряд мыслей пробегает в его все таких же задумчивых, прекрасных глазах. Он не спеша, все с той же больной иронией говорит, слегка заикаясь:

— Tout comprendre c'est tout pardonner... [1]

Он качает головой, а с парохода несется последняя команда:

— Отдай, кормовой!

И в последний раз наши глаза тревожно скрещиваются, и он говорит, а сердце так больно ноет:

— Да, отдай кормовой... Вот к чему идет все: отдай, кормовой!—Пароход уже шумит; стараясь улыбаться, мы машем друг другу, а в ушах погребальным эхом, холодным отчаяньем звучат его последние слова: «Отдай, кормовой!»

Прильнув к перилам, я напряженно смотрю туда, где все стоит еще его одинокая неуклюжая фигура. Нет, не могу; и в тяжелом волнении я ухожу с палубы и спускаюсь в большую столовую морских пароходов.

Громадные зеркальные окна кормы подняты, и свет солнца, шум и аромат моря наполняют всю залу.

Я опять у окна; глаза мои опять прикованы к пристани. Какая непередаваемая прелесть! Белая пена выбивается из-под винта, бурлит и сливается со всевозможными переливами прозрачной морской воды. А там, на горизонте, уже расходится широкой полосой этот белый след и, стихая, замирает, охваченный неподвижным могучим покоем всего остального моря. Отблеск лучей, и эта тревога винта и бессильный контраст ее с покоем и негой всего моря, и там, вдали, замирающий след этой

---

[1] Все понять — все простить (*франц.*).

тревоги, и яркий золотой крест, что горит высоко, высоко над городом... А вот и флотилия... Все та же... Все тот же порыв вперед и угрюмая покорность мощной силе, на казнь веков остановившей этот бег.

И в этот ясный день, когда так приветливо зеленеют берега, так ласково море, так нежен искристый воздух,— эта белая флотилия в своей вечной неподвижности — какой-то безмолвный упрек и светлой лазури небес и этому чудному дню земли.

ВАЛЬНЕК-ВАЛЬНОВСКИЙ

I

Вальнек-Вальновский был...

Кем не был на своем веку Вальнек-Вальновский? Все его прошлое представляло собой пеструю груду какого-то хлама. Да вы встречали Вальнека-Вальновского не раз в своей жизни.

Встречали молодым в блестящей форме беззаботно спешащим, не желающим чувствовать гнета жизни на своих двадцатилетних плечах.

Позднее вы его видели в свадебной карете своего богатого тестя.

Вы, может быть, слыхали потом о какой-то неприятной истории в полку из-за карт.

Теперь вы не узнаете Вальнека в этом сутуловатом, истасканном, с брюшком, господине в пыльных дырявых сапогах, в истасканной крылатке, в белой, грязной от пальцев фуражке.

Его нос сделался мясистым и красным, появилась колючая щетина; его голубые глаза полиняли и жадно бегают по лицам прохожих. Но память сохранила воспоминание о былом, сохранилась ненавистная жажда жизни.

И свой последний рубль он спускает так же, как некогда спустил все.

Сколько было этого всего?

Сто... двести... семьсот тысяч, — больше или меньше, — право давности и нарастающих процентов за

Вальнеком, и все они его, и чем больше их было, тем меньше цены последнему рублю...

Есть еще что-то молодое и сильное во всей этой потасканной фигуре.

Всмотритесь в эту массу подвижных складок на лбу,— они движутся, шевелятся, они — отклик мыслей Вальнека, придающие всему лицу его какую-то неопределенную, но живучую подвижность. Всмотритесь в его густую щетину, грязную, рыжую. Все они, эти щетины, каждая отдельно, торчат, лезут вперед, точно также хотят говорить, энергично говорить... о чем? Все о том же, о сохранившейся силе своего хозяина...

Да, сила есть, и с ней надо считаться... Она сама сочтется.

II

На сорок шестом году жизни Вальнека капризная судьба пожелала испытать свою закабаленную жертву в новой специальности, — железнодорожной, в скромной роли десятника по изысканиям.

III

Место в шестьдесят рублей в месяц на несколько месяцев обеспечено, сто рублей подъемных получены и уже съедены. Из них ни копейки не отправлено жене и семерым детям, из которых старшей шестнадцать, а младший еще ползает в грязи немытого пола.

В гостинице за три недели съедено и выпито... Вальнек не считал сколько, — сочтут и без него.

Надо еще доехать до места работ на эти же деньги. На какие деньги? Вальнек решительно ничего не понимал. Это место, о котором он мечтал, как о каком-то недосягаемом блаженстве, хуже, чем ничего!

Там хоть поймал кусок, съел и мыслей нет. А здесь эти мысли шевелятся, жгут и не дают покоя.

Но сколько же надо Вальнеку денег?! Много, очень много... Сперва для себя... Завтра тоже для себя... а для семьи? Нет, еще для себя...

Сколько же?! Нет дна в алчных глазах Вальнека, нет счета его щетинам, и каждая торчит, каждая шевелится, каждая хочет — эта стомиллионная жадная гидра.

Чтоб выехать к месту работ и расплатиться, надо сейчас же еще сто рублей. Где их взять?

Есть выход. Техник получает сто рублей в месяц. Лишних сорок рублей не много... Лишних пятьсот было бы лучше, конечно, эти пятьсот больше принадлежат Вальнеку, ему, на все руки способному Вальнеку, чем кому бы то ни было; но что делать?

Было время, и он сидел за роскошным столом, думал век сидеть... Теперь приходится хоть крохи от роскошного стола подбирать. А здесь ли еще не стол, когда миллионы собираются посыпаться, как из дырявого мешка.

Только уметь подставить руки, знать, где стать.

О, Вальнек спокоен за себя! От него не спрячутся, он сыщет и накроет всех этих греющих руки, и они раздвинутся, должны будут волей-неволей раздвинуться и дать место за этим столом Вальнеку.

Все придет и никуда не денется! Теперь пока ступенька за ступенькой надо перейти из десятников в техники.

Для этого нужно знать, как ему сказали, нивелировку.

Что такое нивелировка?

Вальнек не знал, что такое нивелировка, но, судя по плюгавой физиономии техника, сообщавшего ему о ней, Вальнек невысокого мнения был об этой нивелировке,— настолько невысокого, что он уже заявил на всякий случай своему инженеру:

— Я не имею обыкновения кричать о себе; господин начальник сам увидит на деле и не захочет обидеть и без того обиженного жизнью человека.

— Я предложил вам все, что мог предложить человеку, знающему только пикетаж. Если б вы умели нивелировать...

— Я умею,— скромно ответил Вальнек.

— Если окажется, что вы умеете...

— Я надеюсь на себя и твердо верю, что оправдаю доверие.

Было, конечно, рискованно так обнадеживать свое начальство; но Вальнек знал правило: кто не рискует,

тот не выигрывает; а чего другого желал Вальнек, как не выиграть?

Что выиграть? Все, все... весь мир. Да и что такое вся жизнь, как не один сплошной риск?

IV

Свет не без добрых людей,— из них первый Вальнек,— но кто другой, который к тому же поделился бы с ним своими сведениями по нивелировке?

Плюгавый техник?

О, как наивно и легкомысленно было бы со стороны Вальнека вверить свою тайну этим потным рукам, этому ничтожеству, сытому ошибками и промахами других. Нет, гордый Вальнек не унизит себя! Да и глупость это была бы, и большая глупость. Вся сила Вальнека в своих надеждах на место техника кроется прежде всего в соблюдении строжайшей тайны о том, что Вальнек не техник. Пока эта тайна в надежных руках. И уж, конечно, не он, Вальнек, ее выболтает. Другое дело там на месте, что будет...

Шел раз по улице Вальнек, заложив руки назад, и думал, где бы найти добрую душу, которая бы выучила его нивелировке.

Поднял глаза Вальнек и видит в окнах чертежные столы, а у самого окна стоит маленький человечек точно с заспанными глазами и смотрит на Вальнека. Подумал Вальнек, повернул к подъезду и позвонил.

Дверь отворилась, и перед Вальнеком стоял тот самый маленький человечек, которого он видел в окно.

Маленький человечек как-то нехотя посторонился и тихо проговорил, пропуская Вальнека:

— Прошу.

Вальнек не заставил себя просить два раза.

Снять свою крылатку, шапку и, держа ее в одной руке, другой оправить свою щетину, прийти сразу в самодовольное настроение, проговорить вторично, шаркнув ногой как старому знакомому, так свое «Вальнек»

Вальновский», чтобы хозяин пригласил его, Вальнека, в свой кабинет, — было делом привычным для Вальнека. И хозяин не успел оглянуться, как Вальнек сидел уже в кресле перед хозяином и жадно осматривал его, как целящийся охотник, отыскивая более верное место своей жертвы,— жертвы потому, что все и ничего было девизом Вальнека — ничего и все; и где это все, там или здесь,— в этом хозяине, в этом, может быть, уж ему принадлежащем кабинете...

Хозяин только неприятно морщился от этой грязной сутуловатой фигуры своего неожиданного гостя.

Вальнек начал было издалека, но хозяин, очевидно, знал хорошо этот сорт людей и повторенным вопросом о цели прихода поставил Вальнека в необходимость приступить к делу.

Вальнек огорченно с упреком на мгновение уставился в человека, который не хочет ничего знать, кроме того, что касается лично его. Но тут же Вальнек подумал: «не хочешь, и черт с тобой», и приступил к делу.

Он, Вальнек, приглашен на предстоящие изыскания. Он имел основание отдать предпочтение именно этому приглашению, хотя не может не признаться, что теперь раскаивается немного. Но что делать? слово дано...

Меньше всего, конечно, Вальнек думал в эту минуту, что разговаривает он с лицом, тоже прикосновенным к делу предстоящих изысканий.

По словам Вальнека выходило, что он приглашен на какую-то должность, очень большую.

— Вы, собственно, на какую должность приглашены?

Вальнек уклонился от прямого ответа и опять принялся путать.

Хозяин послушал еще и поставил более определенный вопрос.

— Кто вас пригласил?

Вальнеку ничего не оставалось, как назвать фамилию одного из начальников партий.

Этим ответом решалось все.

— Вы десятник? — спросил хозяин, опуская глаза.

Вальнек остановился так, как останавливается вдруг с разбегу человек. Он широко раскрыл глаза и, вздохнув тихо, покорно проговорил:

— Десятник...

Вальнек опять заговорил, и на этот раз голос его звучал скромно той искренностью, какою говорит пациент своему доктору, когда тот докопался, наконец, до причины, которая упорно не хотела сходить с языка пациента. Фигура Вальнека потеряла свою напыщенность, грязная щетина опустилась, тело осунулось, и, всматриваясь своими мутными глазами, которые уже ничего не искали в собеседнике, кроме жалости к нему,— Вальнеку, он рассказал весь ужас своего положения.

Он — семейный человек. У него жена и семь душ детей. Дети без воспитания. Он бросил их и жену в Киеве, и как они там живут,— он и представить себе не может. Он был богат, теперь нищий. Нет ужаснее этого перехода от роскоши к неумолимой нужде, когда неспособные голова и руки отказываются от непривычной работы, а тело привыкло к неге и удобствам. Жить такой жизнью и не видеть выхода — что может быть ужаснее? Умереть, лишить семью последней поддержки? Легче умереть, чем жить, пережив самого себя. Вальнек смахнул слезу, которая появилась на его реснице.

— Я не могу понять, чем я могу быть полезен...

Вальнек на мгновение остановился. «Ты можешь понять, как засунуть в свое сытое брюхо еще один лишний кусок, но человека в несчастье ты, конечно, не можешь понять, сытое быдло!»

Но Вальнек громко ничего этого не сказал и, вздохнув, заговорил равнодушным, упавшим голосом...

— Я мог бы быть техником, если б знал нивелировку... Я знаю ее,— жадно и поспешно проговорил он, видя вытянувшееся лицо хозяина,— но я забыл... Это давно было... Я никогда не думал, что мне опять придется возвратиться... Мне надо освежить в памяти... Я увидел в окне чертежные столы, вас — и подумал, что доброго человека посылает мне господь на моем ужасном пути... и вот, отдавшись своему порыву, я вошел к вам просить указать мне лицо, которое могло бы помочь мне вспомнить...

Хозяин внимательно всматривался в гостя. Вальнек понял, что опять не убедил хозяина. Он почувствовал

вдруг всю горечь своего обнаженного унижения, обнаженного для того, чтобы вдобавок не поверили...

Сердце Вальнека закипело, и в какой-то бессильной тоске он уставился в пол.

— Подождите немного...

Хозяин встал и вышел в соседнюю комнату.

Немного погодя он возвратился с молодым конфузливым человеком, который, быстро пожав руку Вальнеку, проговорил с польским акцентом:

— Я могу вам дать нужные объяснения, но у меня нет нивелира.

— Нивелир я могу достать,— радостно ответил Вальнек.

— В таком случае завтра в одиннадцать часов утра...

— Ах, я не могу передать вам...

И воспрявший Вальнек, рассыпавшись в благодарностях, радостно выскочил на улицу и быстро зашагал в квартиру своего начальника. Надо достать нивелир. У Вальнека сложился по этому поводу целый план... Он пойдет к начальству и попросит нивелир с целью сделать будто бы одну работу в соседстве... Это была очень ловкая мысль. Вальнек, не говоря ни слова, таким образом уже превращался в глазах начальства в техника.

Но начальник Вальнека, выйдя к нему в переднюю, как только узнал, зачем пришел Вальнек, как замахал руками и, проговорив: «у меня правило казенных вещей не давать никому», ушел совсем из передней, оставив Вальнека одного.

Вальнек только растерянно развел руками и вышел на улицу.

— Ну, черт его знает, что за человек?! Ну, что это за люди?! Ну, ну, ну... Тьфу!

Вальнек плюнул от всего сердца и, совсем напыжившись, красный как рак, пополз по улице.

— Пся крев! Тьфу! — и Вальнек опять плюнул.—Ну что ему?! Ну, ну, ну...

Горькая обида, досада коробили, возмущали и волновали Вальнека — его, Вальнека-Вальновского, Вальнека, который в свое время не пустил бы на порог к себе этого хама! Сколько тебе? пять, десять, пятнадцать тысяч! — Дай и гони в шею!

Вальнек бросил взгляд в сторону. Взгляд попал на далекую спокойную реку, освещенную ясным летним закатом, и в мозгу Вальнека шевельнулось воспоминание о деревенском доме тестя. Такой же был веселый вечер... «Прочь!» — Вальнек прибавил шагу, уходя от тяжелых, неприятных воспоминаний. Он пришел в свою гостиницу, отпер номер и нажал электрический звонок. Вошел номерной.

— Никто не спрашивал?

— Никто.

Кто мог его спрашивать? Вальнек угрюмо посмотрел в окно, подумал, сбросил крылатку и спустился в буфет.

Буфетчик вопросительно взялся за английскую, Вальнек молча кивнул головой. Буфетчик налил. Вальнек залпом выпил и начал закусывать, жадно ловя вилкой какую-то гущу и набивая ею свой рот. Он выпил вторую, чем-то другим закусил и, сев за стол, потребовал карточку. Съев два блюда и запив их двумя бутылками пива, Вальнек, задумавшись, молча, сосредоточенно ковырял в зубах.

Мимо окна прошла женщина улицы, остановилась и внимательно осматривала фигуру Вальнека. Вальнек, встретившись с ней глазами, тоже сосредоточенно опершись о локоть, с видом знатока уставился в нее. Один глаз Вальнека прищурился, и голова склонилась набок. Затем Вальнек встал и, кивнув головой в знак согласия на вопрос записать на номер, вышел в прихожую, куда с улицы в то же время уже входила женщина, приглашенная им.

Ничего не говоря друг с другом, они молча стали подниматься по лестнице.

V

— Вальнеку вы приказали отпустить нивелир? — спрашивал в конторе главный техник у своего начальника.

— Как приказал? Я запретил ему.

— Он взял его.

— Ну, слава богу, я сегодня эту дрянь выгоню, я решительно не в силах больше выносить его. Вы знаете, он затеял торговлю казенными инструментами.

Инженер рассказал всем, для чего Вальнеку понадобился нивелир.

Вальнек только что возвратился с урока нивелировки, и веселый вошел в приемную.

В комнате толпилось много разного народа.

— Нивелир?!

Глаза инженера впились в Вальнека.

— Там нивелир, — и Вальнек показал пальцем на переднюю.

— Вы позволили себе моим именем взять его из кладовой?!

Вальнек развязно, с своей обычной манерой собрался было что-то отвечать.

— Вы совершенно достаточно обнаружили, что вы за личность! Вы больше не служите у меня!! Я вас выгоняю вон...

— Пхе! — сделал только Вальнек и, растерянно разведя руками, медленно пошел из комнаты.

— Гадость!! — кричал вдогонку инженер. — Не успел вступить, уже развел мерзость!

Вальнек быстро повернулся.

Ну, пропал техник, ну, выгонят совсем, но он ничего не сделал такого, за что его можно так с грязью мешать.

— Али же я прошу снисхождения у пана... — начал было Вальнек, но инженер так раскричался, что Вальнек мгновенно опять повернулся к двери и еще мгновеннее скрылся за нею.

— О то ж пся крев! — проговорил Вальнек, захлопнув за собою дверь и в недоумении разводя руками,— что теперь делать?

Маленький господин с сонными глазами, случайный свидетель всей этой сцены, рассказал инженеру о своем знакомстве с Вальновским и для чего нужен был ему нивелир.

— Здесь, — кончил маленький господин, — здесь вовсе не нажива, как видите... Там в Киеве семь человек, — во, во, во... и способная только любить женщина. Нет, уж строгость вашу бросьте.

Инженер не был человеком злым. Это был просто влюбленный в себя, в свою аккуратность, в свою точность, человек, видящий только себя, очень чуткий ко всему тому, что могло оскорбить или задеть его ненасытное «я». Теперь ему стало жаль Вальнека.

— Послушайте, почему вы не сказали прямо, чего вы хотите? — выскочил инженер в переднюю, где уныло сидел Вальнек и тупо смотрел перед собою.

Вальнек встал и, сдвинув брови, молча слушал длинную речь инженера о том, что первое и основное правило в их деле не стараться быть больше того, что на самом деле представляешь из себя. Это и бесполезно и опасно для живого дела, в котором каждая ошибка неминуемо откроется и повлечет за собой крупные траты.

— У нас бьют не за незнание, а за скрывание своего незнания, — кончил инженер.

Вальнек слушал и понял только одно, что его простили.

Когда, кончив занятия, инженер оделся и вышел на улицу, Вальнек пошел за ним, смотрел ему вслед, и все складки его подвижного лба устремлялись за инженером.

— Господин начальник,— нагнал его Вальнек у самого его дома,— я вас покорнейше прошу,— позвольте мне денег...

— Я не могу... вы уже всё взяли...

И инженер, прибавив шагу, быстро ушел от Вальнека.

— Тьфу! — плюнул вдогонку ему Вальнек и угрюмо повернул назад.

VI

— Господин начальник! — пришел к инженеру перед самым отъездом Вальнек. — Я не могу ехать без денег.

— Вы останетесь.

— Но я не могу возвратить вам взятые уже сто рублей.

— Что ж делать? я заплачу их из своего кармана за науку.

Наступило молчание.

— Все, что я могу вам сделать, — проговорил инженер, — это приказать взять вам билет третьего класса.

— Из гостиницы не выпускают.

— Ну, уж я тут ничего не могу.

— Если я дам им расписку и попрошу вашу контору высылать им деньги из моего жалованья.

— Вы хозяин ваших денег.

— Я хотел просить вас поручиться.

— Нет.

— Семье хоть что-нибудь выслать...

— Из жалованья за этот месяц, если вы дадите адрес, контора вышлет.

— За этот месяц... чем же я жить буду? Чем заплачу за проезд?

— Я ничего больше не могу сделать.

— Господин начальник! ну, хоть вот что... Вам люди в контору нужны — у меня есть племянница... здесь... возьмите ее чертежницей.

Инженер уже слышал об этой племяннице, найденной на улице, и быстро, возмущенно ответил:

— Ни в каком случае.

Вальнек от инженера отправился в контору.

Там уже шла предотъездная сутолока: закупоривали инструменты, заколачивали ящики. Младший инженер с большими ногами бегал по комнате, кричал и ругался.

Техники и десятники, рассевшись на стульях и ящиках в приемной, вели веселые разговоры людей, которые завтра, послезавтра бросят этот чуждый для них город с тем, чтоб никогда, вероятно, больше не возвратиться в него.

Что-то сбродное, цыганское, бесшабашное, а с ним и веселое чувствовалось во всей этой группе случайно столкнувшихся между собой людей.

Вальнек, потеряв надежду на то, чтоб урвать денег у инженера, поднялся на новую комбинацию. У кого пять, у кого десять, у кого и рубль — Вальнек насобирал около пятидесяти рублей у своих товарищей с клятвенным обещанием возвратить их немедленно после первой получки.

VII

Наконец, все было уложено и свезено на пароход, и инженеры, и техники, и десятники — все поехали, и в момент отъезда все сбились в одну кучу на палубе, и все замахали шапками провожавшей их толпе.

Махал и Вальнек, хотя единственный знакомый ему человек в этом городе, отысканная им племянница, ехала с ним. Но уж таков обычай, и Вальнек не хотел отступать от него.

После первой минуты общего как будто сближения наступило быстрое разобщение.

Инженеры ушли в первый класс, где играли в карты, ухаживали за дамами и редко, разве посмотреть на закат, показывались на палубе.

Техники почти все время сидели на палубе второго класса, разговаривали, курили и сообщали друг другу разные случаи из своей жизни.

Десятники ехали в третьем классе, пили, курили, плевались, играли в карты, заводили постоянные ссоры с пассажирами и врали им всякую ерунду о том, кто они.

Высокий, в большой студенческой шляпе, в высоких сапогах нахальный молодой десятник толковал десятнику Еремину о порядочности и воспитанности.

— Я по крайней мере так думаю.

Низкого роста, с прямыми волосами, бесцветный десятник Еремин ничего не имел против и усиленно угощал своего воспитанного товарища. Но однажды, напившись, он устроил такую неприличность, что воспитанный десятник надавал ему пощечин и пошел еще с жалобой к хозяину Еремина — молодому инженеру с большими ногами.

Он нашел инженера на палубе.

— Я имел удовольствие познакомиться с вашим десятником Ереминым,— так начал десятник, подходя к инженеру.

— С чем вас и поздравляю, — фыркнул молодой инженер.

— Не с чем... Я имел удовольствие нахлестать ему морду-с...

— Удовольствие небольшое...

— За невоспитанность...

— Именно за что же?

— Это уж его спросите.

И, подняв свою студенческую шляпу, воспитанный десятник величественно поклонился инженеру и проговорил:

— Еще одна негодная тварь затесалась к нам... Господин Вальнек со своей племянницей... Он тоже не минует пощечины... Вы его предупредите: если он не желает...

— Я предупрежу вашего инженера, чтоб он вам внушил держать себя прилично, — вспыхнул молодой инженер.— Ступайте в третий класс!

Долговязый десятник озадаченно посмотрел на инженера и зашагал вниз по трапу.

На другой день, сверх всякого ожидания, вышло совершенно обратное: Вальнек дал пощечину долговязому, о чем долговязый с воем пришел доложить уже своему инженеру.

— Помилуйте, здесь бьют-с... здесь нельзя ехать... здесь люди едут бог знает с какими женщинами... Я лучше уеду совсем...

— Ну и уезжайте, куда хотите, только убирайтесь вон, — проговорил презрительно «его» инженер, занятый в это время шахматным ходом.

Когда десятник ушел, инженер, его хозяин, обратился к товарищам и сказал:

— Положительно, разбойничья банда... А ваш Еремин это уж совсем что-то невозможное...

— А вы вот посмотрите этого Еремина на работе...

— Господа, кто избавит меня от Вальнека? — спросил начальник.

Все рассмеялись, и никому не хотелось его брать в свою партию.

— Я не буду стеснять... не годится, — хоть в первый день гоните...

— Брать не стоило, — проговорил, помолчав, пожилой инженер, заглянув в окно.

— Давайте мне,— согласился младший с большими ногами инженер... — У меня разговор короткий...

Инженер рассмеялся.

— Слушайте, батюшка, только вы уж его хоть немного...

— Э, нет!.. не вмешиваться, так уж не вмешиваться... Да и нельзя же: может, так может; а не может, кто ж за него будет работать?

Все энергично поддержали младшего инженера.

На другой день Вальнек узнал свой приговор и не обрадовался.

Нехорошо было вообще на душе у Вальнека.

Даже десятники, и те сторонились. Техники еще больше драли нос, а инженеры даже издали не подпускали к себе.

Вальнек, стоя у борта с своей племянницей, возмущался этой лестницей человеческого тщеславия даже здесь, в этой скромной капле жизни, и рассказывал ей о том времени, когда всю эту «сволочь» он купил бы за пять, за десять, за пятнадцать тысяч и дальше порога не пустил бы к себе.

VIII

Приехав на место, инженеры день-два походили по новому городу, пока техники разбирали инструменты, а на третий день уже все выехали к местам своих назначений.

Линия младшего инженера с большими ногами начиналась тут же, по ту сторону реки.

В пять часов утра инженер, техник, Вальнек, Еремин и пятнадцать рабочих уселись в лодку и поехали на противоположный берег реки к синевшему там сосновому бору.

Весла мерно резали свежую воду, свежие капли искрились на утреннем солнце, туман таял и исчезал в голубой дали пепельного неба.

Вальнек ежился от холода, смотрел в бегущие струйки и уныло искал в них близкого решения своей участи.

Лодка пристала к берегу.

Инженер выскочил и, увязая своими большими ногами в тяжелых юхтовых сапогах, зашагал по берегу.

Пройдясь несколько раз взад и вперед, он остановился на выбранном месте и крикнул:

— Вешку!

Неопытный народ продолжал смотреть, сбившись в кучу, и только Еремин, не спеша взяв несколько вешек, подошел к инженеру.

Схватив одну, инженер воткнул вешку, поправил ее и тяжело зашагал к лесу. Пройдя шагов тридцать, он опять остановился, взял новую вешку у следовавшего за ним Еремина и, еще раз прицелившись на блиставший издали город, воткнул ее в землю.

— Вешки дальше,— обратился он к Еремину.

Еремин не спеша пошел вперед и, отойдя саженей десять, поставил, быстро прицелившись, по направлению первых двух, третью веху.

— Руби, — проговорил он, ударив по дороге дерево.

Топоры застучали в лесу.

— А, проклятый! — схватился рукой инженер, растирая на шее первого присевшего комара. — Вальнек, ступайте пикетажем... Начальный пункт у воды...

Инженер покосился в сторону техника, но тот и сам знал свое дело и уже устанавливал нивелир, давая в то же время нужные объяснения неопытным носильщикам реек.

— Живей, ребята, живей! — тихо раздавалась уже в лесу собранная ласковая команда Еремина. — Ты что,— с укором обратился он к одному из рубщиков, — бабу гладишь?

Еремин взял у него топор и не спеша начал ловко работать им. Рабочие, убедившись, что он знает свое дело, оживились, и топоры весело заговорили в лесу.

— Вот это работа,— проговорил, подходя, инженер, с удовольствием втягивая в себя свежий смолистый воздух утра.

— За день-то помаешься этак, что и руки не подымешь, — ответил ему один из рабочих.

— Я вот тебе расскажу, как стрелки и колеса в часах между собой перессорились...

И инженер рассказывал, а время незаметно шло, работа быстро подвигалась вперед и только останавливалась, когда инженер, делая поворот, устанавливал инструмент и снимал угол.

Рабочие в это время стояли, вытирали пот, били комаров и говорили тихо друг другу:

— Ай-ай! ушли!

— Ай-ай? — насмешливо отзывался инженер. — Посмотрите вы, как пойдете у меня дальше.

— Неужто не настоящая еще работа?

— А вот я вас с версты с завтрака поставлю... Как в день-то придется рублика по два на человека, тогда небось интереснее будет.

— Неужто по два придется?

— Неужли врать стану? В нашем деле хоть лопатой греби деньги: только умей...

— Это ничего бы...

Прибежал техник и тихо сообщил инженеру, что Вальнек и врет немилосердно, да и вообще никакого представления о деле не имеет.

— Еремин, веди линию так, примерно на сотенный подъем, на поворотах я потом сниму углы.

— Да чего же? и я сниму, — угрюмо ответил Еремин.

— Только не наври...

Еремин не удостоил *ответом* уходившего инженера.

Вальнек совершенно растерянно шел за цепью, кричал до хрипоты, был весь в поту, отмахивался руками и книжкой от комаров, смотрел с ужасом на свои окровавленные руки от раздавленных, напившихся его же кровью комаров, щупал волдыри и путал, путал и путал.

— Стойте! — грубо остановил его инженер.

Голос Вальнека, оравшего на рабочего, оборвался на полуноте.

Рабочие с любопытством положили цепь, бросили колья, смотрели на инженера и вполголоса, так, чтоб он слышал, делились впечатлениями о бестолковых распоряжениях Вальнека.

— Зевает, зевает, а ничего по делу не растолкует... Точно с цепи сорвался.

— Сбил на вовсе... Вишь, народ точно не свой стал...

— Разыскал же этакого...

И рабочий равнодушно сплюнул.

Вальнек озабоченно ласково, с затаенным страхом смотрел на инженера.

— Послушайте! Что ж это у вас такое,— говорил инженер, всматриваясь в линию зигзагами набитых кольев,— это, по-вашему, прямая?

Вальнек встал около инженера, внимательно уставился в линию и проговорил:

— Вот тот кол надо вправо подвинуть.

— Кой черт тот,— заорал инженер. — Тут ни одного кола нет верного!

Вальнек мрачно смотрел на ряды своих кольев.

— Да вы даже не понимаете, что такое прямая линия?!

— Господин инженер, я понимаю, что такое прямая линия, но я не вижу... у меня глаза плохи стали.

— Так на что же вы надеялись?! Я вам, что ли, свои глаза дам?!

— Али не вы, но я разумел...

— Что вы разумели?! Что вам позволят здесь валять дурака?!

Вальнек усердно давил наседавших на него комаров.

— Вы не можете работать...

— Господин инженер,— взмолился Вальнек.

— Послушайте, господин Вальнек, идиот вы окончательный, или что-нибудь, наконец, понимаете?! Вы понимаете, что то, что вы делаете, — ерунда, бессмысленная ерунда, бол-ва-н вы!

— Али-то зачем же так пан инженер перед рабочими...

— Да как же тебя не ругать?! Ведь ты едешь за три тысячи верст и врешь, что знаешь свое дело. Мало-того, что ты денег стоишь, ты время отнял, понимаешь ли ты, глупая твоя мо-о-рда, понимаешь?!

Инженер дрожал от бешенства и совал свои кулаки Вальнеку под самый нос.

— Животное! Где я теперь здесь в трущобе буду искать вместо тебя человека?!

Вальнек быстро отошел и сел на срубленный пень.

Инженер постоял несколько мгновений и проговорил упавшим голосом технику:

— Ведите пикетаж, — я пойду с нивелиром.

— С начала?

— Да, конечно.

Рабочие, техник и инженер возвратились назад.

Работа быстро закипела в искусных руках.

Техник с своим отрядом уже прошел мимо все сидевшего Вальнека.

Показался и инженер.

— Господин инженер... простите... не сердитесь... Я сам вижу, что действительно. .. Ну, я думал, что мои глаза еще могут... ну, что же, ну я сам вижу, что ослеп... ну, что ж? ну, несчастье... Позвольте мне нивелировать...

— Да ведь вы не умеете же.

— Умею, господин инженер...

Инженер, установив нивелир, навел его на рейку и проговорил, обращаясь к Вальнеку:

— Прочтите.

Вальнек прочел.

Инженер повернул трубу к другой рейке. Вальнек опять прочел.

— Десять лет нивелировал.

— Не совсем верно, — сморщился инженер, поверяя чтение Вальнека, но, подумав, проговорил, пожимая плечами: — Попробуйте.

Инженер ушел, крикнув:

— Завтракать!

Совершенно разбитый и усталостью, и комарами, и нравственным потрясением, Вальнек с наслаждением пошел к своей корзине, в которую племянница уложила ему хлеб, жареный кусок говядины, соль и бутылочку с водкой.

Но каков был ужас Вальнека, когда на говядине, к которой он наклонился с таким аппетитом и чуть было не схватил уж ее руками, он вдруг разглядел свернувшуюся гадюку.

Отскочить, толкнуть ногой корзину с проклятой гадюкой, рассыпать оскверненную провизию по земле — было делом одного мгновения, конечно, со стороны Вальнека, но завтрак пропал, и Вальнек в угрюмом молчании вместо завтрака все время просидел на пне, ни на мгновение не переставая хлопать на себе назойливых комаров.

Три оставшихся при нем рабочих молча ели хлеб свой и лукаво переглядывались.

Наконец, гнев Вальнека прошел, аппетит заговорил громче прежнего, и Вальнек скрепя сердце потянулся за хлебом, на котором не лежала гадюка. Водка разбилась от неосторожного толчка, и Вальнек, жуя хлеб и посыпая его солью, с сожалением смотрел на валявшиеся осколки.

Передние партии позавтракали, и уже давно затих в отдалении и говор их и стук топоров, а Вальнек все еще не подымался, потому что его всего разломало от непривычной работы, да и хотелось ему быть как можно подальше от проклятых инженера и его прислужника техника.

Наконец Вальнек встал и разбито, тяжело зашагал к инструменту. Каждый шаг в неприспособленных тяжелых сапогах в этом лесу, в этом царстве комаров был тяжелою пыткою для Вальнека. Он, гнавшийся только за деньгами, ненавидел уж всю эту каторжную должность свою.

Установив кое-как инструмент, Вальнек навел трубу на рейку, крикнул: «держи», приказал рабочим отмахивать веткой комаров и нагнулся к трубе.

Вальнек смотрел, рабочий махал, махал... Рабочему надоело уже махать, когда, совершенно красный, Вальнек поднялся, растерянно оглянулся и опять сейчас же снова прильнул к трубе...

Произошла какая-то непонятная история: волоски в трубе, без которых невозможно чтение делений рейки, исчезли куда-то.

Все еще не веря исчезновению волосков, Вальнек пригласил и рабочего убедиться в том же.

Рабочий присел, прицелил свой глаз и с некоторым страхом заглянул в трубу, а Вальнек замахал над ним.

— Ну что, видишь волоски?

— Ничего не вижу.

— Не видишь потому, что инженер порвал их.

— Порвал? — спросил рабочий и хлопнул руками себе по ляжкам.

— Порвал, потому что молокосос, — проговорил авторитетно Вальнек. — Кричать умеет, али сам с инструментом обращаться не умеет.

— Что за оказия,— проговорил рабочий и рассме-

ялся. — Тот тебя корит, а теперь ты его. Кто же вас рассудит.

— Старший рассудит. Вечером разбор будет. Ты слышал, как он меня ругал?

— Все, чать, слышали!

— Вечером разберут.

— Т-а-а-к. А теперь что делать станем?

— Да что ж теперь? За ним бежать, он ведь тоже волосков не приделает.

— Знамо, не приделает... Эй-эй! Клади рей-й-ку! Машина изгадилась.

Реешники положили рейки и пришли к инструменту. Еще раз заглянули.

— Да нету, нету, — проговорил авторитетно Вальнек. — Хоть все глаза просмотри.

— Что за оказия? — удивились рабочие. — Теперь чего ж ему за это будет?

— Будет доволен. За все будет... Я вдвое против него старше и то смолчал, чтоб пример не подавать дурной, а он не может? Ему надо ругаться?

— Неловко-то неловко,— уж и мы поняли.

— Вы ведь слышали?

— Когда не слышали. Эхе-хе! Вот они дела-то какие. Чего ж теперь делать станем?

— Да чего ж? — развел руками Вальнек, — спать.

— Ну?!

— Ну, а чего ж?

— Да ничего, конечно, — согласился рабочий. — Хоть смотри, хоть не смотри. Нет, так нет. Эко дело-то...

— А как ён-то придет, — проговорил другой рабочий, — да увидит, что мы спим, да вместо денег взашей нас?

— Это мой ответ,— важно ответил Вальнек.

— Знамо, его, — поддержал Вальнека первый рабочий, — нам что? Что велит, то и делай. Что ён, что хоть ему прикажет,— хоть палку поставь,—велит слушать,— чего ж тут? Слушай...

— Известно, — согласился другой рабочий,— как ни зови, только корми... Так чего же? Спать, так спать...

IX

Уже солнце книзу пошло, когда возвратившийся за шесть верст назад инженер, напрасно поджидавший Вальнека, наткнулся на мирно почившую группу. Часовой, поставленный Вальнеком отмахивать комаров, и тот, свалившись на плечо Вальнека, укрыв и его и себя веткой, заснул богатырским сном.

Грубо растолкав ногами спящую «сволочь», инженер молча наблюдал, как подымался ошалевший Вальнек, весь вздувшийся от сплошных волдырей, с лицом и затылком, покрытым насосавшимися кровью, прилипшими и застывшими комарами, торчавшими грязно-кровяными пупырышками на вздутой поверхности.

Ничего не понимавший, все забывший, Вальнек сперва вытянул отекшие руки в воздух, точно хотел поддержать какую-то навалившуюся на него тяжесть, потом быстро провел ими по чесавшемуся немилосердно лицу, бессмысленно уставился на полосы крови, появившиеся на руках, тупо осмотрелся, остановился на инженере, и, наконец, все вспомнил, и окончательно пришел в себя от крика инженера с большими ногами.

— Вон, мерзавец!

Вальнек со сна так равнодушно сдвинул брови, как будто ругали не его, а кого-то другого.

— Да ругаться вы умеете, али же и волоски рвать умеете...

— Какие волоски?

Вальнек только величественным жестом показал на нивелир и принялся равнодушно растирать новых насевших на шею комаров.

— Да как я мог порвать волоски, когда их нет... когда они на стекле нарисованы...

— Пхе! ну так стекло разбили...

Рабочие даже наклонились вперед, когда инженер прильнул к трубе.

Вальнек и тот не мог отказать себе в удовольствии и вполоборота с накипевшим злорадством следил за инженером.

Рука инженера поднялась и что-то тронула у трубы.

— Пожалуйте, — проговорил инженер, обращаясь к Вальнеку.

Вальнек лениво и нехотя подошел к трубе и нагнулся.

Вальнек смотрел, смотрел...

— Ну?!

Вальнек поднялся наконец, растерянно оглянулся, развел руками, сделал свое «пхе!» и ничего не понял: вертикальный и горизонтальный волоски были на своем месте.

— Десять лет нивелировали?! — спросил инженер с непередаваемой интонацией.

У Вальнека воздух захватило в груди.

Все это вместе, — и полное фиаско, и комары, и кошмарный сон, и разбитое тело, и болящие ноги, и весь этот проклятый лес, и воздух, точно пропитанный тонкими, колючими иглами, и, наконец, этот взгляд, пронизывающий и режущий без ножа, — все сразу раздавило ослабевшую волю Вальнека.

— Не мучьте... отпустите меня.

— Вечером в контору... Отвезите его на тот берег...

О, с каким наслаждением зашагал Вальнек за рабочими из этого ада...

X

Вальнеку выдали на обратный проезд сто рублей и шестьдесят жалованья за текущий месяц, взяв с него расписку, что расчетом он доволен и претензий он иметь не будет.

— Нет, не будет! Будьте вы все прокляты.

Вальнек вышел на улицу и вздохнул полной грудью.

— Ситец, полотно голландское, носки,— так обратился приказчик, останавливая лакомые взгляды на железнодорожнике Вальнеке.

Единственное неприятное чувство, которое испытывал Вальнек,— это была мысль о племяннице, которой надо еще объяснить неожиданную перемену, постигшую его, а следовательно и ее. Вальнеку жаль было огорчать эту племянницу с улицы, уже успевшую укрепиться в мысли, что завтрашний день ее обеспечен.

Вальнек вошел в магазин и с достоинством, ему присущим, набрал разных утешений своей спутнице на сто пятьдесят рублей.

— Деньги двадцатого... Расписку...

— Очень хорошо-с...

Приказчик быстро написал счет и ловко положил его перед невозмутимо сидевшим Вальнеком.

Вальнек отстранился, сдвинул брови и спросил оторванно равнодушно:

— Где?

Приказчик указал пальцем.

Вальнек обмакнул перо, посмотрел на него на свет и расписался: Инженер-технолог Вальнек-Вальновский.

— Кстати, у вас кокарда и знак на шапку есть?

— Пожалуйте...

— Это уж так запомним, — проговорил Вальнек, выходя к нагруженному извозчику в шапке с кокардой и знаком.

— Пожалуйста, не беспокойтесь...

В тот же день, под вечер, маленький пароход отвалил от берега. Единственных три пассажира: Вальнек, племянница и какой-то молодой господин сидели на палубе.

Приятная прохлада потянула с реки от задвигавшегося парохода.

На душе у Вальнека было легко и спокойно.

Его племянница суетилась около чая, сервированного на чистой скатерти.

Вальнек давно уже не ощущал того удовлетворения от семейной обстановки, такого отдыха души и тела, какой испытывал теперь.

И впереди пять, шесть дней, и все такие же, все с правом забыть вся и всё и чувствовать полное удовлетворение сытой довольной жизни. А там...

Вальнек отогнал мрачные мысли и оглянулся на свою спутницу. А какое удовлетворение у нее?!

Как преобразилась она и как стала похожа и она на счастливую, довольную женщину.

И Вальнек с удовольствием смотрел на свою племянницу: судьба уже слепила эти два оторванных листка своей мастикой.

«А там в Киеве?!» — мелькнуло в голове Вальнека.

«Все будет хорошо!» — подумал строго вдохновенно Вальнек и перевел глаза на молодого человека.

Молодой человек почтительно смотрел на племянницу.

«О, люди, люди! — подумал Вальнек. — Давно ли с этой самой племянницей не хотели говорить, а теперь этот, вероятно, будет счастлив, если я представлю его...»

Вальнек встретился глазами с молодым человеком и, сделав нерешительное движение, подошел к нему.

— Инженер, граф Вальнек-Вальновский, — прошу пана...

Вальнек величественно пожал руку и жестом пригласил к чайному столу молодого человека.

— Графиня Вальнек-Вальновская — племянница... Прошу пана...

Хорошо засыпал Вальнек в этот вечер под убаюкивающий говор воды и однообразный стук машины...

Нехорошие сны только снились Вальнеку.

Снилось ему, что сидит у него на коленях оборванный десятилетний грязный сын его, Владек. Сидит и плачет, так плачет, и так болит его, Вальнека, сердце.

Ах, боже мой, его ли то сын, его ли то Владек, которого когда-то чистого, в шелковых башмачках держал он на своих коленях и целовал его маленькие нежные ножки... Э-эх, какие грязные, дырявые, вонючие сапоги теперь на тех ножках...

Ах, как плачет Владек, как сжимается сердце Вальнека.

— Не плачь, Владек, не плачь, мой сын любимый... Сжалится над нами господь... вырастешь как-нибудь... Матка бозка пошлет тебе богатую невесту...

Ах, плачет маленький Владек, плачет потому, что есть хочет. И тяжело так Вальнеку: знает он, как накормить сына, знает, что есть у него, Вальнека, на груди заветный мешочек, куда зашил он свои деньги.

Уже не Владек, сам Вальнек плачет и воет, и бьется его тело под гнетущим кошмаром.

Проснулся молодой человек и смотрит на Вальнека сквозь просвет светлой ночи. Встал тихо, подошел и опять смотрит и видит, как выбился мешочек с деньгами из-под рубахи и танцует на бьющейся груди у Вальнека.

Подумал молодой человек, вынул нож и, отрезав осторожно шнурочек, положил деньги Вальнека в свой карман.

Приснилось Вальнеку, что отдал-таки сыну он деньги, — отдал, хоть и жаль было. И опять заснул Вальнек так крепко, точно в бездну какую провалился.

Тихо кругом, стала машина, и вода не говорит больше: ночует пароход у пристани.

Неясная тень молодого человека скользнула по трапу и скрылась на берегу в селе в предрассветном тумане.

Вот звякнул почтовый колокольчик, залился и потонул в сонном воздухе: на лошадях поехал дальше молодой человек.

Все спит: и вода, и берег, и пароход, и другой пароход там в неясном отражении воды, и Вальнек.

Так хорошо тянет свежий воздух из отворенной двери, такой прохладой обдает его истрепавшееся тело...

ИСПОВЕДЬ ОТЦА

Посвящается О. А. Боратынской

Я, слава богу, в своей практике никогда не прибегал к розге. Но, признаюсь, став отцом довольно-таки капризного своего первого сына, Коки, я пришел в тупик, что мне предпринять с ним.

Представьте себе сперва грудного, затем двух- и трехлетнего тяжелого мальчика с большой головой, брюнета, с черными глазками, которыми он в упор исподлобья внимательно смотрит на вас. Это напряженный, раздраженный, даже, может быть, злой или упрямо-капризный взгляд. Это вызов, взгляд, как бы говорящий: «А вот ничего же ты со мной не поделаешь!»

И действительно, поделать с ребенком ничего нельзя было: если он начинал капризничать, то вы могли терпеть, могли раздражаться, упрекать няньку, свою жену за то, что они распустили ребенка так, что хоть беги из дому; могли действительно убегать и, проносясь мимо окон детской, уже с улицы видеть все тот же упрямый, но с каким-то напряженным интересом провожающий вас взгляд,— лицо все с тем же открытым ртом, из которого в это мгновение несется все тот же надрывающий душу вой. И хотя вы теперь его, этого воя, уже не слышите, но вся фигура ребенка говорит об этом всем вашим издерганным нервам.

Конечно, прогулка вас успокоит. К вам подведут вашего утихшего, наконец, сына с тем, чтобы вы оказали

ему какую-нибудь ласку. И, гладя,— может быть, сперва и насилуя себя,— его по головке, вы думаете, смотря в это желто-зеленое напряженное лицо и черные глаза: «Может быть, и действительно нервы».

А если мальчик в духе, и глаза его искрятся тихо, удовлетворенно, и если тогда он вдруг подойдет к вам и, доверчиво приложив головку к вашему рукаву, спросит, довольный и ласковый: «А так можешь?»—и покажет вам какой-нибудь несложный жест своей маленькой ручкой,— вам и совсем жаль его станет, и вы почувствуете, что и он вас и вы его очень и очень любите.

Но опять и опять эти вопли!.. Все та же однообразная, бесконечная нота!..

— Милый Кока, скажи, у тебя болит что-нибудь?

— Ты чего-нибудь хочешь?

— Вот ты плачешь, а папе жалко тебя, и так жалко, что папа заболеет, умрет, если ты не перестанешь...

— Ты, значит, совсем не любишь папу?

Вой сразу поднимается на несколько нот выше.

— Ну, так перестань...

В ответ успокоенная прежняя ровная нота.

Няня держит ребенка, растерянно гладит складки его рубашки, смотрит вниз; жена сама не своя зайдет то с одной стороны, то с другой.

— Дайте мне ребенка!

— Да, барин...

— Глупая женщина! Я отец этого ребенка, люблю его больше, чем вы, и знаю, что делаю.

Слова эти для жены. И, раз так поставлен вопрос, речь уже не о капризе Коки, а кабинетный, своего рода вопрос о доверии.

Я с ребенком один в столовой. Весь ее, жены, протест в том, что она не идет за мной: как бы слагает ответственность на одного меня. О, я не боюсь ответственности!

— Перестань!

Мой голос спокойный, ласковый даже, но решительный. Я не унижусь, конечно, до нескольких энергичных шлепков: я только прижал к груди малютку, может быть, немного сильнее обыкновенного и быстро, очень быстро, и очень решительно шагаю с ним по комнате. О, радость: средство действует! Ребенок ошеломлен и стихает. Я,

конечно, настороже и голосом спокойным, как будто все так и должно быть, говорю:

— Хочешь, я дам тебе эту куклу?

И я передаю ему с этажерки фарфоровую игрушку. Он берет игрушку и спрашивает как ни в чем не бывало:

— А зачем она не идет?

Я таким же тоном отвечаю:

— Потому, что она глупенькая.

Наш разговор продолжается, и я продолжаю его и тогда, когда входят повеселевшие смущенные воспитательницы. Мой авторитет установлен настолько, что раз, проходя, я слышу нянин голос:

— А я папу позову!

— Няня, я вовсе не желаю быть пугалом своих детей: я запрещаю вам стращать ребенка моим именем...

Но раз стал на почву авторитета...

Я уже бегал с сыном по комнате и прижимал изо всех сил его; но это больше, увы, не помогало: он еще громче кричал.

Однажды, потеряв терпение, я вдруг внес его в переднюю, поставил там на ноги и, сказав: «кричи», быстро запер за собой дверь, оставив его одного.

Опять победа,— он боялся одиночества.

Затем и это средство перестало действовать. Следующее средство был угол.

Идя дальше и дальше по пути отцовского авторитета, однажды... ну, одним словом, я дал волю рукам... дал ему несколько шлепков.

И он опять покорился сразу, вдруг, но уже не разговаривал со мной, а, озабоченный, торопился уйти от меня. Я слышал, как он, войдя в детскую, сказал возбужденно, почти весело няне:

— Няня, пойдем...

— Куда, милый?

— Уйдем и возьмем братика.

У нас только что родился тогда второй сын — Гаря.

— Куда?

— Я возьму братика, и мы уйдем от папы.

Он говорил возбужденно, с удовольствием, по своему обыкновению смакуя, точно в это время рот его набит был чем-то сладким и вкусным.

Я никогда не забуду этой подслушанной сцены. Этот порыв уйти от меня, этот бессильный протест малютки, сознание в нем неравенства борьбы со мной, великаном... Мне стало совестно, жаль его первой надорванной веры в свои силы. Мне захотелось вдруг быть не отцом его, а другом, который мог бы только любить, не неся ответственности за его воспитание. Но эта ответственность...

Дальнейшим, впрочем, моим воспитательным опытам положила конец сама судьба.

Приехал к нам сверстник Коки, мой племянник, Володя, и заболел корью.

Заболевание было легкое, и доктор посоветовал ввиду неизбежности для всякого такой болезни, как корь, заразить и сына.

В одно веселое утро, когда мальчик сидел в столовой на полу, мы с женой пришли, чтобы вести его в комнату больного.

— Кокочка, хочешь видеть Володю?

Володя лежал теперь в противоположной стороне дома, один в большой комнате.

Кока полюбил своего худенького вертлявого двоюродного брата Володю и с его приездом переменился до неузнаваемости: почти перестал капризничать, смотрел влюбленными глазами на Володю и даже рычал от удовольствия.

Нелюдимка, угрюмый, он теперь по целым часам говорил что-то Володе, тяжело ворочая языком, смотря на Володю своими сверкающими радостью глазками.

А когда капризы его все-таки настигали, Володя трогательно нежно ухаживал за ним и все стоял около него, терпеливый, с болью и лаской смотрел ему в глазки. И Кока смотрел на него пытливо, любяще, продолжая выть и выть, и все растирал слезы, мешавшие ему смотреть на своего Володю.

И вдруг этот Володя заболел. Кока только и спрашивал о Володе.

Когда жена спросила его, хочет ли он идти к Володе, лицо его расцвело,— он что-то держал в руках и бросил, легко встал и сразу протянул обе ручки мне и жене.

Мы так и повели его, и, боже мой, какое бесконечное счастье было на его лице! И все трое мы шли такие весе-

лые, счастливые и если бы нам сказали тогда, что мы ведем этого малютку с большим любящим сердцем на смерть.

Это было так. У Володи корь прошла легко, а у Коки осложнилась,— развилась бугорчатка легких, бугорчатка перешла на желудок, на мозг, и в три месяца наш Кока сгорел.

За несколько минут до смерти он пожелал, чтобы его поднесли к окну.

Мы жили тогда для него на даче, у моря. Тихий, спокойный догорал день, золотилось море. Последний ветерок едва шевелил деревья, и они, словно вздыхая от избытка счастья, еще сильнее подчеркивали красоту земли и моря. Над окном пела какая-то птичка, точно прощаясь, выкрикивая нежно-нежно какую-то чудную ласку.

Коке было почти три года, но он так вырос за время болезни, точно ему было вдвое. Он так сознательно, так грустно смотрел своими черными глазками, положив головку на мое плечо. Он тихо, как птичка, если можно это назвать пением запел:

Папа хороший,
Мама хорошая,
Я хороший
И птичка хо...

Он не кончил своей песенки: он так и уснул у меня на плече своим вечным сном, тихий, задумчивый, среди огней догорающего дня, вспыхнувшего моря, аромата вечернего сада... Птичка смолкла и, вспорхнув, утонула в небе...

Мы стояли неподвижные, осиротелые, я с дорогой ношей на плечах, с ужасным сознанием непоправимости.

Кому нужно теперь мое убеждение, что ему же на пользу я действовал? И где эта польза?!

Этот крошка приходил сюда, на землю, чтобы спеть свою маленькую, очень коротенькую песенку любви. Ты мог этому певцу дать все счастье,— оно от тебя зависело. Ты дал ему?

Ты отнял у него это счастье. За отнятое счастье мстят... Чем он отомстил тебе? Он пел, он умер с песней любви к тебе — он, маленький страдалец, который спит теперь вечным сном на твоем плече!

А помнишь, как он судорожно, весь напряженный, торопливо собирался тогда с няней и братиком уйти от тебя, как говорил он возбужденно: «Уйдем и возьмем братика у папы...» Он никуда не ушел, он здесь, у тебя на плече...

О, какими пророческими словами были его слова относительно брата его, Гари! Когда Гаря плакал так же, бывало, как тот, которого уже не было больше с нами, я не Гарю слышал,— я слышал того, по ком болело так сердце. Слышать его опять в своем доме, слышать и казниться, слышать и искупать свою вину— не было большего для меня удовлетворения.

Гаря мог плакать, — и он плакал, видел бог как, и видел бог, как не раздражались больше мои нервы. О, я научился владеть ими. Они не смели раздражаться больше. И когда я подходил к нему, у меня не было больше мысли об авторитете: я только страдал и любил, как любил Коку его двоюродный брат, терпеливый Володя. Он, Гаря, мог смотреть на меня с бешенством, с раздражением. Но он не смотрел так: он смотрел так, как Кока когда-то смотрел на Володю, растирая слезы, чтобы видеть меня, и выл и выл мне тоскливую песню своего больного тела, своих больных нервов.

Нет, ни с кем маленькому Гаре не плакалось так легко, как со мной, сидя в кресле, у меня на коленях и смотря мне в глаза.

Теперь моему мальчугану уже пять лет.

Он уже выплакал все свои слезы и стал таким веселым, как и все дети.

Здоровье его с каждым днем улучшается; голова у него большая, да он и сам бутуз, сбитый и твердый.

И его звонкий, басом, смех разносится по комнатам, и хотя слышится в нем еще какая-то больная нотка, но Гаря знает, что никто не коснется грубой, неумелой рукой его больных нервов.

У него бонна — немка. В течение года он переменил трех и не сделал никаких успехов в языке. Третью, совсем молоденькую, любящую, тихую, он полюбил и в два месяца заговорил с ней по-немецки. Теперь он думает на этом языке.

Я это вывожу из того, что он с собаками, например, говорит по-немецки.

И надо видеть, какие они друзья со своей бонной!

У них свои разговоры, свои секреты и самая чуткая, нежная любовь друг к другу: они товарищи.

Но больше всех он все-таки любит меня.

Когда мои занятия требуют отлучек из дому, то тяжелее всех разлука со мной для него. Зато и радость его, когда я приезжаю...

В последний раз я приехал домой утром.

Жена еще спала, и я прошел к нему в детскую.

Он был там со своей бонной. Что-то случилось: на полу лежал разбитый стакан, стояли над ним он и бонна. Бонна добродушно, по-товарищески, голосом равного отчитывала его.

Гаря стоял со смущенной полуулыбкой и недоверчиво слушал бонну.

Дверь отворилась, и вошел я.

Он посмотрел на меня,— не удивился, точно ждал, и с той же улыбкой, с какой он слушал бонну, пошел ко мне.

Я схватил его, начал целовать, сел на стул, посадил его на колени и все целовал.

Он казался совершенно равнодушным к моим поцелуям.

Он рассеянно гладил мои щеки и говорил, и язык его, как и у Коки, тяжело поворачивался во рту, точно там было много чего-то очень вкусного. Он говорил мне о том, что только всплывало ему в голову.

Но вдруг, нежно сжимая ручонками мои щеки, встрепенувшись весь сразу, он спросил:

— Ты приехал?

Каким-то кружным там путем — сознанье, что я приехал, стало у него теперь в соответствие с радостью его сердца, и он повторял, все нежнее сжимая ручонками мои щеки:

— Ты приехал?!

Он забыл все: он помнил теперь только, что я приехал; он видел меня и сознавал, понимал, чувствовал, что я приехал.

— Ты приехал?! — повторял он голосом музыки, голосом детского счастья.

А глазки его сверкали огнем, каким не сверкают никакие драгоценные камни земли, потому что это был чудный огонь счастливой детской души,— он проникал в мое сердце, будил его, заставлял биться счастьем, радостью искупления, заставлял забывать нежный упрек печальных черных глазок того, который спел уже свою песенку любви, который сдержал свое слово, когда говорил:

— Я возьму моего братика у папы...

Он действительно отнял у меня несвободного, чувствующего отцовское иго сына. Но он дал мне другого: вольного, как сердце, свободного, как мысль, дарящего меня счастьем самой высшей на свете любви, свободной любви.

СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК

Посвящается З. А. П.

Итак, я остался старым холостяком. Как это случилось, когда я, сколько себя помню, мечтал о счастье, о любви, о семейной жизни?..

...Вот я маленький мальчик. Весенний день подходит к концу. Загнанный в комнаты, я с жадностью прильнул к стеклу окна и не могу оторваться от милого, родного мне вида: сад, грядки, в которых несколько минут еще тому назад я с таким наслаждением копался, дорожки, усыпанные свежим песком, деревья, только начинавшие распускать свои почки. А там, за садом, другие сады соседних дач. Далеко, далеко, за целым лесом деревьев, высоко поднимается какая-то башня. Заходящее солнце горит в ее окнах. Что это за башня? Кто в ней живет? Няня говорит, что это волшебный замок, и в нем живет заколдованная принцесса. Давно зашло солнце, потухли окна волшебного замка, едва догорает розовая полоска на далеком западе, а я все не могу оторваться от чарующего меня вида. Уже сонного укладывает меня няня в кровать, но и в кровати долго еще я мучаю свою старую няню трудными для нее вопросами — и куда солнце зашло, и что за полоска светится там далеко, далеко, и кто заколдовал принцессу.

И старушка няня, как умеет, отвечает,— что солнце ушло спать, полоска — оттого, что солнышко дверь забыло запереть, что принцессу заколдовал злой волшеб-

ник, которого я убью, когда вырасту, и уйду с принцессой в ту сторону, куда ушло солнышко, где так хорошо, так хорошо, что и сказать нельзя; а что теперь пора спать, потому что все спят: и солнышко, и принцесса, и все умные детки. Я засыпаю, но и во сне чудятся мне нянины сказки... Так вот с каких пор мечтал я о принцессе!

Увы! Не суждено было осуществиться этим мечтам. С какой тоской, бывало, уже взрослым при виде заходящего солнца вспоминал я чудные грезы моего милого, невозвратного детства, с горечью думая о пошлой прозе окружавшей меня жизни. Только раз блеснула предо мной надежда и мне показалось, что я нашел свою принцессу. Давно это было, уж я забыл ее лицо, но чудные бархатные глаза и теперь еще как живые смотрят на меня из далекого прошлого. Я только что вступал в жизнь и впервые испытывал любовь. Может быть, вы пережили, а нет, так переживете это первое чувство, чувство, когда не знаешь, кого больше любишь — ее или тот след, который оставляет на песке ее маленькая ножка; когда не знаешь, чего больше желал бы: жить или умереть для нее.

И вот, когда я так любил, вдруг в самый разгар моей страсти я узнал от моего товарища, что он давно любит ее и не сомневается во взаимности. Это вызвало страшную борьбу во мне, которая, однако, кончилась тем, что, несмотря на сознание, что мой товарищ имеет прав на нее больше меня, я все ж таки решил объясниться с нею. Мы сидели в саду. В мягком весеннем небе тихо и плавно парил орел.

— Если б вам один человек сказал, что любит вас,— говорил я, следя за полетом орла и весь замирая,— рассердились бы вы?

Я бросил на нее беглый взгляд и заметил, как щеки ее залились румянцем; она опустила глаза и тихо сказала:

— Нет.

— Назвать его? — спросил я, задыхаясь.

— Назовите, — едва прошептала она.

Объяснить вам, как я вместо себя, прежде чем успел что-нибудь подумать, назвал фамилию своего товарища и, не дожидая ответа, вскочил и убежал,— я затруднил-

ся бы и теперь. Кажется, самое верное объяснение это то, что моя натура, помимо меня, распорядилась со мной в данном случае. По крайней мере такую бесцеремонность со стороны своей натуры я замечал во всех исключительных случаях моей жизни.

Прошло восемь лет. Я так и не женился. Это произошло, может быть, оттого, что я не мог забыть свою принцессу, а главным образом потому, вероятно, что, служа в глуши, не встретил никого подходящего. Впрочем, я совсем помирился со своим положением. Я служил главным лесничим на одном из уральских заводов, любил музыку, увлекался охотой, природой, по-прежнему любил с щемящим сердцем смотреть на заходящее солнце и начинал уже мечтать о том, чтобы бросить службу и уехать в мою родовую деревушку, Кротовку, которую мне удалось, наконец, очистить от долгов, и заняться хозяйством, которое, как видите, я страшно люблю. Так шло время, когда однажды я вдруг узнал, что помощником ко мне вместо недавно переведенного был назначен тот самый товарищ, который женился на избраннице моего сердца. Это известие страшно всполошило меня. Чем ближе приближалось время их приезда, тем больше я волновался. То мне казалось, что восемь лет — это срок, в какой всякое чувство, самое сильное даже, должно без следа испариться, то все представлялось мне таким свежим, точно это произошло только вчера, и тогда я думал, что встреча с ней будет тяжела и даже непосильна для меня. Наконец они приехали. При первом же свидании я убедился, что не в силах буду себя побороть. Чем больше я старался забрать себя в руки, тем выходило хуже. Я чувствовал, что меняюсь. Из уравновешенного, спокойного я превратился в раздражительного, ничем не довольного, ко всему придирающегося человека. Когда я не бывал у них, меня тянуло туда; когда приходил, мне казалось, что то он, то она вели себя как-то странно в отношении меня. Особенно коробила меня мысль, что она ему все рассказала. В такие минуты, когда приходила в мою голову эта мысль, я ревниво и подозрительно следил за каждым его движением, взглядом, словом, и, когда

мне казалось, что он все знает, я хватался за шапку и уходил, проклиная и ее и его.

Ее поведение мне казалось неровным и непонятным. То она была со мной холодна и мне представлялось, что она это делает умышленно, для того чтобы доказать своему мужу, что она мной не интересуется. Тогда я готов был ее убить, задушить, наговорить дерзостей. Но вместо всего этого я спешил убежать от нее... Я тогда еще хорошо бегал, и кровь играла в жилах...

Иногда я не мог не сознавать, что в ее глазах, при взгляде на меня, было что-то ласкающее, загадочное, что-то большее, чем обыкновенное участие.

Тогда я не знал, что со мной делалось. Я готов был плакать, смеяться, кричать, броситься перед ней на колени, но обыкновенно кончал тем, что хватал шапку и исчезал в лес. Там я бродил, тысячу раз переживая ощущение от ее взгляда, останавливался, вызывал перед собой ее образ, впивался в ее глаза, которые как огнем жгли меня, кричал ей, что люблю ее, и чувствовал себя близким к сумасшествию.

После этого нападало на меня мрачное отчаяние. Ее приветливый взгляд я объяснял себе пустым кокетством, упрекал ее в бессердечии, ненавидел ее и бранил. От мысли, что я влюблен в нее, мне становилось то жарко, то холодно, и я дрожал как в лихорадке. Я думал:

«Как? Добровольно отказаться, испугаться намека, для того, чтоб через восемь лет сделать уже настоящую подлость?»

Но чаще мысль, что я люблю ее, жгла мне кровь, и я бессильно томился в охватывающей меня истоме.

Иногда эта борьба с собой казалась мне непосильной; я шел к ней с решительным намерением во всем признаться. Но, когда я приходил, я думал только о том, чтобы кто-нибудь, а особенно она, не догадались, что я влюблен. Очень часто вместо объяснения вследствие этого она получала даже оскорбления, которыми я старался показать ей и другим, что я не люблю ее. Я чувствовал, что становлюсь несносным человеком. Кончилось все это тем, что мой помощник под каким-то предлогом попросил перевода. Как ни тяжело было, но и я сознавал, что это — лучшее, что можно было сделать. Отношения на-

ши, сильно обострившиеся было, стали постепенно принимать в виду близкой разлуки более сердечный характер. Наконец был назначен и день отъезда. Муж уехал на несколько дней вперед, чтобы приготовить все к переезду семьи.

В его отсутствие наше сближение пошло еще быстрее. Я не только не боялся этого, как бывало прежде, но, напротив, давал себе волю. Если наши глаза встречались, я не спешил их отводить и мгновение, два, больше, чем следовало, удерживал свой взгляд на ней. Сознание, что и ее глаза под моим взглядом вспыхивали ответным огнем, опьяняло меня, и кровь, как молотом, била мне в голову. Я чувствовал, что спускаюсь по наклонной плоскости и что не далеко уже то время, когда я не в силах буду сдерживать себя. Но меня успокаивало то, что за недостатком времени, в виду близкого конца, из всего этого ничего не могло выйти. Это было слабое утешение, меня просто-напросто захватило уже что-то роковое, с которым я не мог больше бороться...

Был чудный майский вечер. Только на севере бывают такие вечера. Здесь скупая обыкновенно природа, если уж раскошелится, то и югу с ней не сравниться, да и ценишь это за редкостью больше.

В такой вечер мы сидели однажды вдвоем на берегу пруда, вдали от людей, жилья, а в наших сердцах чутко отзывались и ясный догорающий день, и тихий плеск воды, и этот опьяняющий запах черемухи. Перед нами точно растворялись какие-то таинственные двери. И все это— и синее небо, и молодая зелень, и сверкающая поверхность пруда, и полные неги и страсти трели соловья — точно сливалось в один чарующий душу, всесильный гимн любви. Я как во сне видел ее глаза, помимо ее воли загоравшиеся чудным огнем. Невыразимая истома разливалась по моему телу.

Я уже слышал ответ, который не хотел выслушать восемь лет тому назад.

Оковы, в которых я всю жизнь держал себя, порвались, как гнилые веревки. Я увидел возможность новой, неизведанной еще жизни, полной бесконечного, невыразимого блаженства. Все подернулось туманом, сквозь который я видел только ее страстные, чарующие глаза.

Что-то невыразимое, бесконечно сильное охватило меня.

— Боже мой!.. — воскликнул я и остановился.

Я хотел ей сказать, что люблю ее, что всегда, всю жизнь одну ее любил, что нет силы во мне терпеть больше, что всякая смерть легче той мучительной жизни, которую я веду.

Но что-то, как тисками, сжало мне горло.

Когда, наконец, вернулась ко мне способность говорить, я сказал ей, что я уезжаю, что решился оставить службу и просить главного управляющего о назначении ее мужа на мое место. Я с ужасом прислушивался к своим собственным словам. Разве это хотел я сказать? Разве это я говорил? Конечно, нет! И она понимала это. Как смотрели на меня ее чудные глаза! Я делал нечеловеческое усилие, но против моей воли мой язык был скован, и я смотрел на нее светлым, но непреклонным взглядом.

«Все кончено!» — сказали ее глаза, и две слезы тихо покатились по ее лицу.

«Все кончено!» — ножом вырезалось в моем сердце, и я без сил упал на траву после ее ухода...

Через неделю я уехал. Они провожали меня. На прощание она подарила меня еще одним взглядом, не чарующим, но долгим и ясным, как был ясен тот чудный день, в лучах которого навсегда скрылся ее образ.

Я ехал как с похорон. В далеком небе, в изумрудной зелени, в смеющейся дали уже не было ее и никогда не будет; но ее последний взгляд, как последний чудный аккорд прекрасной мелодии, наполнял мою душу тихой, ясной грустью о невозможном и невозвратном былом...

С тех пор прошли еще года. Я теперь уже старик и, если хотите, даже не жалею о прошлом. Во-первых, ничто не вечно, — так или иначе жизнь все равно прожита, а во-вторых, лучшее, чем мы обладаем, — способность любить и чувствовать искусство, природу, — сохранилось во мне. Я не испытал, конечно, высшего счастья на земле — семейного, но зато я сохранил тот руль, без которого, кто знает, чувствовал ли бы я в себе ту гармонию, о которой вы говорили.

Я часто любуюсь заходящим солнцем, смотрю на догорающую полоску и думаю, что уже недалеко то время, когда и я уйду в страну, где так хорошо, хорошо, как говорила моя старушка няня.

Я переживаю вновь прошлое и спрашиваю себя: жалею ли, и как бы я хотел поступить, если б ко мне опять возвратилась моя молодость? И я перед отворенными уже для меня дверями другой жизни говорю твердо и решительно: я желал бы поступить сознательно так, как помимо меня поступила моя натура.

РЕВЕККА

Святочная легенда

Посвящается мученикам любви

Это было очень давно.

По улицам одного большого южного города, уступами спускающегося к синему морю, изо дня в день, лето и зиму, бродила странная фигура одного сумасшедшего.

Глаза зрителей привыкли к сумасшедшему, к его фантастическому наряду, и никто больше не интересовался, откуда и кто он.

Однажды в рождественскую ночь нашли его замерзшим у подножья одного оригинального полуразрушенного памятника заброшенного кладбища.

В памятнике была устроена эолова арфа, которая при малейшем дуновении ветра издавала, в зависимости от силы ветра, то легкий, слабый, дрожащий не то стон, не то жалобу или мольбу, то дикие безумные вопли.

Самый памятник состоял из высокой пирамиды, наверху которой в синем небе нежно вырисовывалось чудное изваяние из каррарского мрамора женской фигуры.

В застывшей позе тоски и сомнения, с наклоненной головой, изваяние, казалось, всматривалось или искало что-то потерянное там на земле.

Короткая надпись: «Я разбил ее счастье», пустота и безмолвие заброшенного кладбища — все вместе тоскливо останавливало в этом преддверии вечности взгляд редкого посетителя в бесполезном усилии проникнуть в потерявшуюся тайну этого конца какой-то тяжелой драмы жизни.

Не надо было больше старому Бену его толстых книг, высокой конторки, всех тех людей, которые столько лет ходили и, казалось, не могли жить без него.

В пустых без него комнатах сразу воцарился беспорядок, и большие внушительные книги его счетов никому больше не были нужны. Старые черепаховые очки лежали на конторке и напрасно своими запыленными стеклами уныло смотрели в дверь, откуда появлялась, бывало, маленькая чистая фигура в своем национальном костюме старого Бена.

Он уже прошел последний раз в свою спальню.

На большой красного дерева кровати он лежал в широкой белой рубахе; пожелтевшая старая борода тихо шевелилась на костлявой высохшей груди; глаза ввалились и не смотрели больше в книгу; неподвижный взгляд был обращен вверх и, казалось, пронизывал и рвался из тленных рамок земной обстановки.

Ревекка смотрела на своего дедушку сквозь слабый сумрак пробивающегося дня и тоскливо думала. С ним лежало и отходило куда-то в вечность все ее детство, все шестнадцать лет, прожитых нераздельно с старым дедом; с его легкими шагами, его конторкой, очками и толстыми книгами были связаны все ее воспоминания, все мелочи жизни. Теперь эти мелочи живо вставали и больно сжимали сердце своей отлетевшей прелестью. Он любил ее всегда, даже в минуты, когда сердился на свою упрямую, горячую внучку.

Старый Бен отвел глаза и смотрел на Ревекку. Казалось, впервые свободный навсегда от поглотивших всю его жизнь занятий, он замечал нежную прелесть и красоту своей заплаканной, расстроенной любимицы.

Старый Бен тихо заговорил:

— Люди, Ревекка, думают только перед смертью, и, когда они думают, тогда понимают и говорят себе, что жили не так, как надо жить людям...

Он на мгновение закрыл глаза:

— Тогда они вспоминают закон бога, которого никто не хочет исполнять...

Старый Бен тяжело вздохнул.

— В тебе кровь нашего рода. Ты мне напоминаешь мою молодость, то время, когда я был женихом твоей

бабки, а моей двоюродной сестры. Я люблю тебя и тебе оставляю все мои богатства. Бог тебе дал сверх того красоту, ум, голос, от которого ангелы плачут на небе. Когда я умру... не плачь, Ревекка, — я много жил, много видел неправды, я устал и рад буду уйти туда, где отец мой Иегова... Там ждет меня не последнее место, Ревекка... Наш царственный род от колена Давида... Ты одна из тех, кто подарит миру Мессию. Твоя сестра не подарит... Когда я умру, приходи на могилу и пой мне свои песни, чтоб я знал, что не забываешь ты своего старого деда. Пой, чтоб мог я позвать весь свой род и показать им тебя... Ревекка, ты не посрамила род, и не жаль мне оставить тебе все мое состояние. Господь наградит тебя больше, и прославится род твой в род. Ты одна осталась на земле от всего нашего рода. Не говори о сестре твоей! Пусть красота ее ядом иссушит проклятого гоя! [1] Пусть он, проклятый, изменит ей и раздавит ей жизнь, как изменила она своей вере, своим предкам, своим братьям, которых бросила, когда господь отвернул от них лицо свое... О! Нет казни той, которою не накажет он ее за это! Нет, Ревекка, не плачь! Не стоит она твоих слез. Не смотри и на мои слезы... Я простил бы ей все грехи... измену... убийство... Но ее грех хуже... я не могу простить — не в моей это власти: всем изменила... И ты, Ревекка, не смеешь... Слышишь, Ревекка? Слышишь ты бога своего? Слышишь народ свой? Слышишь ты стоны его? Видишь ты пытки, костры и мучения?.. Видишь и слышишь ты наглый смех, издевательство их над народом... Ревекка? Кровью пусть сердце твое...

Старый Бен захлебнулся и упал мертвый на подушку.

Молодой художник Антоний встретил на старом кладбище и страстно полюбил семнадцатилетнюю, хрупкую телом, но сильную духом, нежную Ревекку.

Все пленяло его в Ревекке: ее голос, когда она пела свои песни деду, непринужденные движения ее гибкого стана, синие большие глаза, ее страстная речь, густая волна ее каштановых волос.

---

[1] иноверца (*еврейск.*)

Ревекка не знала, что Антоний любит ее, не боялась с ним встреч у могилы своего дедушки, мирно спавшего на старом кладбище, под мраморной плитой с таинственным изображением на ней двух, раскрытых ладонями вверх, соприкоснувшихся рук.

Антоний говорил ей о своих путешествиях, о прекрасной весне, которая окружала их; говорил о ее голосе и о тех голосах, которые слышал.

Молодой воздух был так чист и прозрачен, так нежен был аромат млеющей в ярких лучах теплого солнца травы; так уютно было среди уютных мавзолеев, вечным сном спавших владельцев их; так не мешали они смотреть в чудные глаза Ревекки, что Антоний и не заметил, как однажды сладко и нежно прозвучало первое слово любви.

Вспыхнула Ревекка и отразила в своих глазах и синее небо, и яркое солнце, и все чары юной весны.

Но она поборола себя сильной волей, потушила огонь, обжегший ее, и тихо, твердо покачала головой.

— Нет, нет, — не надо...

— Ревекка, твой язык говорит не то, что говорят твои глаза.

— Мои глаза, — загадочно проговорила она, подымая их на Антония, — написанная на непонятном для тебя языке книга, Антоний.

— Я изучил этот язык, Ревекка, и читаю теперь эту книгу...

— Ты не можешь читать книгу Талмуда...

— Наша вера — вера ваших предков... Христос от вас пришел, Ревекка.

— Но ты не можешь жениться на мне?

— Могу. Ты примешь веру своих предков.

— Нет.

— Но что же делать, Ревекка, против законов?

— Если нельзя против законов людей, во власти которых и менять их, то нельзя и против веры, которую боги дают и не дают власти ее менять.

— Но, Ревекка...

— Нет, нет! Я чужая для тебя книга... Ты ведь не переменишь веру отцов своих?

— Ревекка...

— Ни за что!!

И глаза ее сверкнули диким огнем воли, охватив с новой силой Антония.

— О Ревекка! я тебя полюбил и отныне нет жизни без тебя!

Он страстно схватил ее руку.

— Пусти!!

И Ревекка, сдвинув энергично брови, устремила такой властный взгляд своих молодых глаз на Антония, что тот выпустил ее руку.

Ревекка ушла и больше не приходила. Напрасно Антоний писал ей и проводил дни в ожидании ее прихода.

Наконец Антоний узнал, что Ревекка совсем исчезла из города. Напрасно он искал ее следов: родные Ревекки скрыли все так искусно, что Антоний ничего не узнал.

«Ревекка, это письмо передадут тебе твои родные, — я уезжаю. Знай, что вся жизнь моя принадлежит тебе: ты можешь никогда не прийти, но, когда бы ты ни пришла, ты найдешь меня своим. Верь, я не умею лгать и, когда ты захочешь, ты убедишься в этом».

Прошло несколько лет.

В одной из столиц, в большом театре шли «Гугеноты». В роли Валентины дебютировала Ревекка, превратившаяся в обаятельную артистку. Театр сверкал, залитый огнями. Успех Ревекки был полный.

Уже известный художник Антоний, потрясенный, смотрел в знакомые черты, и несколько лет разлуки превращались в один быстро промчавшийся день. Ничего не забыла память. Антоний умел любить и помнить. Он вновь переживал то, что было пережито, что оставило свой вечный след и в душе и в работе художника. Целая отдельная мастерская, целый ряд картин, его святая святых, куда первая должна была войти Ревекка или никто, были следом случайной встречи. Оскорбленный тогда он уехал, но жил и верил и с окончанием своей задуманной работы ждал ту, которая поглотила все его мысли и чувства. Ревекка была его Беатриче, и холодный страх

проникал иногда в его душу от мысли, что нет больше на свете его Беатриче или живет она давно для другого.

Теперь Беатриче во всем блеске прелести, силы обаяния и царственной красоты была перед ним непередаваемым инстинктом, и в ней он чувствовал след их встречи. Он говорил ей тогда о сцене, искал и указывал в ней следы артистки, он бросил первую искру в то, что вспыхнуло и горело теперь таким чудным огнем.

В очарованном видении проносились в жгучей фантазии Антония действия сцены. Музыка, игра, неземной голос Ревекки уносили его в потоке чудных звуков в далекий прошлый мир, в некогда живое и мучительное мгновение Варфоломеевской ночи.

Казалось ему, что это он был с ней в этот страшный канун неотразимо надвигавшейся ночи, с жгучей тревогой слушая эту больную музыку больного народа, больного чувства, то бурно, грозно рвущегося наружу, то сладко немеющего в больной мелодии танца цыганок.

Но когда в четвертом действии бессильная, в цепях человеческих оков, заметалась Валентина, и в смертельной тоске театр замер, осыпанный страстным каскадом серебряных непередаваемых звуков страданий, в грудь Антония проникли тонкие крючья этих страданий и рвали мучительно и сладко его сердце.

Не было больше смысла в жизни без Ревекки: можно было еще жить, пока она была далека. Но мысль, что она здесь, в одном городе с ним, и нет ее около него, что другие окружали ее, другие заботились о ней, другим дарила она свои слова, улыбку, ласку,— жгла, рвала его сердце и тянула к ней с той силою чувства, перед которою и сама смерть была бы ничтожным доказательством этого поглотившего весь его мир чувства.

Жажда свидания и страх этого свидания мучили Антония, и все кончилось тем, что он решился написать ей. Но всевозможные опасения сковали его чувства, и письмо вышло сдержанное, короткое и ничего не передало из того, что с ним происходило.

Мучительный ответ не замедлил.

«Разговор на кладбище никогда не сотрется в моем сердце: я осталась та же, и такой же останусь навсегда. И моя и людская воля бессильны здесь. Если вас уте-

шит это, то узнайте, что вы причина того, что я стала артисткой: без деда и вас скучно и пусто было, и, спасаясь тогда от вас, чтоб забываться, я решила заняться своим голосом. Я в своей песне, вы в своем искусстве — забудем о том, что невозможно. Высшее счастье в жизни — право уважать себя, и увы! нет той формы в современной нашей жизни, при которой мы могли бы сблизиться без нарушения этого права. Прощайте! Приказываю вам и говорю: при малейшей попытке сблизиться со мной, я брошу все и навсегда скрываюсь».

Антоний, оскорбленный, страдающий, с задатками наследственной ипохондрии, резко прекратил свое общение со всеми и заперся в своей мастерской. Он даже не мог ходить в театр. Смотреть без всяких прав на ту, которая безраздельно владела всей его жизнью, было для него все новым источником непосильных мучений.

Ревекка узнала, что Антоний заболел, и решила приехать к нему. Она не боялась за себя и свое решение.

Антоний сидел, углубленный в работу, когда вдруг вошла в мастерскую Ревекка.

Мрачные, безжизненные глаза Антония остановились на ней и, узнав ее, вспыхнули и загорелись.

И этот резкий переход и этот жгучий взгляд охватили Ревекку сильным порывом.

— Что с тобой, Антоний?

Это прежнее забытое обращение не удивило Антония.

— Я не знаю... — ответил он. — Говорят, что я сойду с ума...

Антоний угрюмо оборвался.

— От любви? — спросила Ревекка, и, вместе с опасеньем, зазвучала в ее голосе дразнящая насмешка.

— От любви не сходят, Ревекка,— грустно и спокойно ответил Антоний, — сходят от негодных нервов.

Оба молчали.

— Это всё твои картины, Антоний? — спросила она, подходя к одной из них.

— Мои, Ревекка.

— Ах, какая это прелесть, — воскликнула Ревекка, всматриваясь в этюд прозрачного голубого неба, с шестом и белой тряпкой, привязанной к нему. — Антоний, ведь это воздух... им можно дышать... это прозрачное небо... и белый платок... ты нарочно или нечаянно сделал вон ту точку... Ах, это птица парит... Антоний, ведь это — сама жизнь.

— Тебе нравится? — спросил Антоний с горьким удовлетворенным чувством, больно зазвучавшим в его голосе.

И опять наступило молчание.

Антоний не хотел говорить, и у Ревекки оборвалось желание вести бессодержательный разговор.

— Антоний, зачем ты встретил меня? — тоскливо, не зная, что делать проговорила Ревекка.

— Я покажу тебе, зачем я встретил тебя... — вспыхнул Антоний, и глаза его гордо и вдохновенно загорелись.

Он взял ее за руку и повел к задрапированным картинам. Он отдергивал, объяснял, переходил с Ревеккой от одной к другой, еще более чудной картине. Он говорил, ставил Ревекку на такое расстояние, какое нужно было, и Ревекка смотрела и слушала страстный, убежденный, наболевший голос Антония, и чем больше слушала, тем больше проникалась она бесконечной силой его любви к ней, без одного слова об этой любви. В каждом звуке его голоса, в каждом движении, в каждой картине была эта любовь, было сознание, что она для него все, вся цель его жизни.

— Ты сама артистка, Ревекка, и муки искусства и сила его обаяния тебе должны быть понятны...

Антоний остановился нерешительно перед задернутой картиной.

Ревекка инстинктивно почувствовала, что там ее судьба.

— Открой, — проговорила она, и глаза ее ушли далеко вглубь.

— Ревекка... эта картина — все горе и вся радость моей жизни. Говорят, лицо самого близкого сердцу человека у некоторых не воспроизводит их фантазия... черты только мелькают, скользят, но сейчас же расплы-

ваются, и не в силах собрать их вся воля любви. Я счастлив в этом отношении, Ревекка...

Антоний отдернул занавеску, и Ревекка молча отступила шаг назад.

Перед ней во всю величину стояла вся залитая солнцем другая Ревекка у памятника деда на старом кладбище. Глаза юной Ревекки с картины вдумчиво и грустно смотрели в живую Ревекку, и этот взгляд, кольнувший упреком живую, наполнил сердце Ревекки какой-то гнетущей пустотой бессодержательной жизни. Нежный, млеющий, будто дрожащий, прозрачный воздух, голубое небо, белые мавзолеи, зелень деревьев, дорожка, возле которой стояла Ревекка, с взрытым в одном месте свежим желтым песком — все, все вызывало в ней связь с этим умчавшимся прошлым.

— Какое блаженство, Антоний, в живописи: что перед ней песнь? Споешь, и где она? а твое искусство вечно, Антоний.

Антоний горько усмехнулся.

— Ты говоришь об искусстве? Бессильно даже между нами, служителями этого искусства, сбросить мешающие жить тяжелые цепи людского рабства... К чему тогда это искусство?!

Глаза Антония загорелись мрачным огнем.

— Будь проклято оно, заманивающее в соблазнительную даль недостижимых иллюзий.

Бледный Антоний дрожал, и глаза его дико сверкали.

Ревекка с испугом смотрела на него.

— Нет, не хочу, — с воплем тоски и отчаяния рванулся Антоний к кинжалу и, схватив его, замахнулся над картиной.

Поняв, что он хочет делать, Ревекка, охваченная уже не ей принадлежавшей силой, страстно закрыла картину собою. Антоний смотрел на Ревекку и от прилившей к голове крови не видел ее. Будто веки закрылись, и он напрасно силился снова открыть их.

— Ревекка... только два слова... два слова правды... освети мне мрак души моей... Если не любишь, я покорюсь и до последней минуты буду работать.... Я защищу свой труд от безумных порывов... но правду скажи...

Правду, Ревекка... Я узнаю то, как бы глубоко ни старалась ты спрятать ее в своей душе... Ревекка, я знаю ее... — вскрикнул вдруг, не помня себя от счастья, Антоний, почувствовав в осветившемся мраке его души взгляд глубоких, замерших глаз Ревекки...

— Безумство, Антоний. Сладкие чары первых порывов скоро пройдут... «Я связал свою жизнь... жизнь с жидовкой», ты никуда не войдешь рядом со мною...

— Я везде войду, и не пойду, и не пущу к себе людей, для которых звук их слова дороже счастья их братьев.

— Это огонь слов... Общество...

— Какое общество? которое посягает на священное право любви? Я не пойду в это общество.

— Оно запутает нас в своих искусных лабиринтах. Оно владеет страшным оружием... оно умеет смеяться... и зло...

— Нет, Ревекка, нет,— страстно заговорил Антоний,— над чем смеяться? Над тем, над чем мое сердце обливается кровью? Смеяться? За то, что я не могу ненавидеть страдающих в безвыходной нужде, Ревекка?

Антоний подвел ее к картине, на которой изображена была нищая многочисленная еврейская семья с отцом этой семьи, сидящим на своем табурете и низко нагнувшимся над заплаткой дырявого сапога.

— Над этим смеяться? Путь смеются, Ревекка, если им не больно будет от их смеха. Смех страшен для неубежденного человека. Но для того, кто ценою жизни готов заплатить за свою любовь, не страшен и бессилен смех. Везде и всегда был смех, но не удержал он людей от лучших страниц их истории. Есть другой смех, Ревекка.

Антоний подошел к другой картине.

Зелено-прозрачный еврей, вес в пуху, грязный, с рыжей, клином, бородкой, сидел на столе и смеялся.

— Ты видишь, все десять лиц его семьи смеются тем же добрым, веселым смехом. Этот смех нищего жидка, поддерживающий бодрость духа обездоленной горсти людей, поддерживающий тяжелый, треснувший свод их жизни, — этот смех от бога, Ревекка. И этот смех, как камень из праща Давида...

Ревекка закрыла рот Антонию горячим поцелуем.

— Ты — мой Давид. Ты действительно любишь меня и мой бедный народ... я твоя, Антоний, вся твоя навеки...

Солнце играло в высокой мастерской, на картинах, на ярких драпировках, там, вверху, играло в разноцветном фонаре.

Там, за громадным окном, был большой город, река и даль реки, была весна, нежная, чудная, неуловимая, как ажурная паутина только что пробивающейся листвы, с воздухом, полным аромата, с стихающим вечером.

Где-то вдали протяжно и долго звучала высокая нота шарманки.

Замирал шум большого города, в позолоте заката, в мирной дали тонула река и там, дальше, простор полей, и так прекрасен был кончающийся первый день их счастья.

Антоний и Ревекка стояли у этого окна взволнованные, счастливые, полные огня и прелести очарования первых порывов любви, когда все — все в себе и кругом, и весь мир вдруг становится новым, таким неизведанным и прекрасным, когда от счастья захватывается в груди дыхание и чувствуется неземная сила порыва.

— Антоний, какое чудное мгновение... — шептала Ревекка.

— Вся наша жизнь, Ревекка, будет одним таким мгновением, — страстно ответил Антоний.

Прошло пять лет.

«Милая Лия, — писала Ревекка, — приезжай помогать мне. Я потеряла сына, голос и мужа: ты одна осталась у меня на земле; я иду по следам моей сестры, и ошибки других никого не учат. Моя жизнь разбита, и я не вынесла даже утешения, что этой ценой узнала ее. Все та же ночь вокруг меня, и одно мне ясно: мрак моего ума, и я проклинаю этот унизительный мрак. Это горе, Лия, больше личного горя. Мы приходим на праздник жизни и поздно узнаем, что это бой, а не праздник. Праздные, мы живем в жалкой роли бессильных рабов любви, и право наше одно: погибать отупелыми, когда

властители наши пожелают этого. Все мое состояние, Лия, отдаю я на знание. Если не я, пусть другие идут с этим факелом в жизни.

Знание истинное, Лия, истинное понимание там, у мирового источника этого знания. Я устрою дворец, Лия, чудный настоящий дворец, и имя владыки дворца я жемчугом выбью на входе. «Истинное знание». О Лия, как тяжело сознавать, чем могла бы быть жизнь и как ничтожно проходит она у людей».

— Все кончено, — сказала Ревекка, и горькие слезы закапали по ее бледным щекам.

Горькие, как эти слезы, один за другим, последние дни молодой жизни закапали в вечность.

Ревекка лежала на кровати и говорила:

— Что такое, Лия, еще одна растоптанная жизнь... Пусть и она пропадет, и пусть каждый в свою очередь повторяет перед смертью слова деда.

Ревекка закрыла глаза.

— Лия. Умирая, и этого не стоит говорить... Те, кто умирал под колесницами победителей, молчали. Будем молчать, Лия.

Однажды Ревекка лежала в застывшей позе, свесив голову с подушки, и ее большие, ввалившиеся глаза смотрели на ярко блестевший пол.

— Милая Ревекка, — сказала чуткая сердцем, с добрыми ласковыми глазами Лия, — он искал и нашел тебя... он здесь, он хочет тебя видеть.

— К чему, — проговорила Ревекка, смотря все так же в пол, — трогательную сцену разыграть: поздно, Лия...

— О, Ревекка, он хочет сам все объяснить тебе. Он так страдает.

Ревекка молчала.

— Что сказать ему, Ревекка?

— Скажи ему, что когда-то сказал он мне: я умираю не от любви, а от негодного сердца.

Но вдруг с безумной тоской закричала:

— Ах, нет, не надо. Ничего не говори.

И, рыдая, она спрятала лицо в подушку.

Но Антоний уже осыпал ее страстными поцелуями. Не вынесло и разорвалось наболевшее сердце.

Антоний целовал уже мертвую Ревекку, ее мягкие волосы.

На странной больной почве усиленно стала работать мысль Антония: Ревекка не умерла и снова скоро придет к нему.

Смутное сознание заставляло его скрывать от всех свою тайну. Может быть, как всякий сумасшедший с предвзятой мыслью, прежде выполнения этой мысли, искусно маскирует свое сумасшествие, так и Антоний, задумав увековечить память Ревекки памятником, который выразил бы его мысль, до изготовления памятника упорно скрывал свой секрет о том, что Ревекка не умерла. Он нарисовал сам высокий мавзолей с слетающей на землю радостной и чудной Ревеккой, с надписью: «Тебя ждет твой Антоний», и отправил его для выполнения в Италию. Когда готовое изваяние было прислано на старое кладбище и поставлено, Антоний вместо веселой, слетающей радостной Ревекки увидел вдруг в ясной синеве неба чудное, но чужое ему, далекое изваяние из каррарского мрамора с опущенной головой, точно застывшее в выражении тоски и тревоги.

Тогда Антоний уничтожил уже сделанную надпись и заменил ее словами: «Я разбил ее жизнь».

Вскоре в расплывшейся пустоте его разума все мысли погасли. Он ходил вечно спешащий, сосредоточенный, молчаливый и страшный по улицам большого города.

И только в редкие мгновения, когда вдруг доносился скорбный зов эоловой арфы, возвращалась к нему память о Ревекке.

С криком «зовет» бросался он на зов.

Но ветер стихал, или за поворотом улицы больше не было слышно зова, Антоний забывал и снова спешил куда-то по улицам города.

Иногда сочетание действительной жизни с чем-нибудь прошлым, случайно и редко бросавшееся ему в глаза, на мгновение воскрешало в нем былое.

Так однажды он увидел в окно кареты жест махнувшей кому-то женской руки в черной перчатке, и лицо его вдруг задрожало, глаза жалобно уставились в исчезавший экипаж, и с детским воем он бросился вслед за ним.

Когда раздавались звуки шарманки, он останавливался, вытягивал шею и напряженно, с бессмысленно бегавшими глазами замирал и прислушивался к какому-то нежному эху души каких-то чудных воспоминаний.

Однажды ярко сверкнул на солнце пустой нарядный катафалк, стоявший у подъезда.

Смерть и похороны промелькнули в больном сознании Антония и безжалостно рванули его за сердце.

С безумным воплем тоски и отчаяния бросился он на катафалк в надежде найти забвение своим страданиям в бешенстве срывания блестящих украшений катафалка.

Все привыкли к этой странной фигуре, и когда она вырисовывалась вдруг в перспективе улицы то в сиянии жарких лучей солнца, то в сером полумраке гнилой зимы, — никто уже не думал и не интересовался, и все только спешили подальше обойти его.

Была исключительная для юга холодная зима.

Короткий день подходил к концу. Ветер уныло завывал, рвал в узких и пустых улицах. Редкий прохожий торопливо спешил к своему очагу.

Антоний шел по улице, по обыкновению не замечая ни холода, ни надвигавшейся ночи.

В воздухе пронесся жалобный протяжный стон. Антоний вздрогнул и насторожился.

Новый требовательный вопль огласил пустую улицу.

— Зовет, — вскричал Антоний и рванулся вперед.

Неясно вырисовывалась бесконечная кладбищенская ограда. Здесь, на просторе, злее бушевала вьюга и, срываясь со скалистых обрывов, неслась с воем в темную бездну грохотавшего там внизу необъятного моря.

Антоний направился к знакомому пролому в ограде кладбища.

Сквозь голые деревья в вихрях снега белели неподвижные колонны и плиты.

Вдали показался тяжелый мавзолей, а его стоны и мольбы точно превратились в страшный надрывающийся вопль.

— Здесь, — прохрипел радостно безумный и, присев, вперил свой горящий взор вверх.

Холодная буря ледянила его ноги и руки, холод проникал под легкую одежду, голова тяжелела и падала, но опять он поднимал ее и смотрел туда, откуда звали его ужасные вопли, где в тумане неясно вырисовывалась словно качающаяся во мгле бури фигура, и, замирая, Антоний радостно шептал, повторяя кому-то свою заветную тайну:

— Она придет.

А оттуда, из мрака ночи, с далекой высоты, казалось, еще тревожнее, еще тоскливее, испуская ужасные вопли, всматривалось чудное изваяние в уродливую, чуждую ей фигуру безумца.

И с тоскою шептал Антоний:

— Но чего же еще ты хочешь?!

Всю ночь бушевала и стонала буря, завывая тысячами диких, страшных голосов; точно все горе земли всколыхнулось и заметалось в тоскливом просторе. А арфа все громче стонала, словно стараясь осилить поднявшийся вой. Но могучее подхватывал ураган, и новые силы летели к нему на подмогу. Дрогнуло чудное изваяние, уступив дружному натиску бури. Тихо качнулось оно, с тяжелым вздохом упало на землю и в прахе повергнулось перед страдальцем земли.

— Пришла! — пронеслось в отлетавшем сознании Антония.

К утру стихла буря. Далекое голубое небо нежно обняло нарядную землю. Миллионами искр в ответ в праздничном блеске свежего снега сверкала земля.

Все исчезло в этом празднике природы под ярким покровом, и только пустое жерло обвалившегося мавзолея уродливо, безмолвно смотрело темным глазом в голубой эфир далекого неба...

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

«Не тяготиться, не остывать, быть терпеливым, отзывчивым, добродушным, торопиться любить, в сознании, что уже стоишь у порога вечности,— вот в чем долг».

Амиель

Таким и был Константин Иванович Колпин, прожив-ший десять лет в наших местах в должности земского врача в с. Липовке, Самарской губернии и уезда.

Там и умер он, и теперь на бедном сельском кладбище в углу стоит и его могилка с деревянным местной работы крестом — скромная, простая, в тон всему кладбищу, всей местной жизни, в тон тому, кто спит своим вечным сном под ней.

Многие из тех, кто будет читать эти строки, знали Константина Ивановича. Высокий, худой, с маленьким, болезненным лицом, со взглядом, сознающим непрочность всего земного, непрочность своего собственного я. Как доктор он знал, что у него порок сердца, и внимательно следил за развитием своей болезни. Без этого он не прожил бы и пяти лет с окончания своего курса, а он прожил все на том же месте десять.

Говорили, что последние месяцы жил уже не он, а его наука.

За час до смерти он еще раз принял лекарство, сказав спокойно, с кроткой улыбкой:

— Этого можно было бы и не принимать: все, решительно все симптомы смерти уже налицо...

Он умер в мае. В его открытое окно смотрело безмятежное голубое небо, нежный ветерок лениво колыхал молодую листву деревьев, весь аромат далеких зеленых полей.

Он умирал, а над его окном с энергией весны, весело, озабоченно щебетали воробьи, чирикала ласточка, какая-то птичка звонко и нежно, как выражение блаженства, в тон всему ликующему, оглашала воздух своей короткой, страстной трелью.

Он, очевидно, наслаждался еще и этой чудной жизнью весны и, вздохнув, попросил, как воспоминание о жизни, в изголовье его гроба положить свежей травы.

Он умер тихо, вздохнув глубоко, глубоко...

За его гробом шла густая толпа бедных людей, потому что с ними вместе он пережил два голода, два тифа, две холеры.

После его смерти только и нашли полный стол игрушек: копеечные лошадки, деревянные куколки.

Там, в нищенской избе, за этой лошадкой тянулась маленькая больная ручка, и в глазах ребенка загорался тот огонек радости, который грел большую душу доктора и был необходим ему.

За его гробом шли все эти его крестники, сиротки, все те, кому оставлял он свои крохи — жалованье земского врача.

Уже почти перед смертью, за несколько месяцев всего, он получил тяжелобольную — мать большого семейства. Это была сложная тяжелая болезнь, диагноз которой он поставил совершенно иной, чем как определяли болезнь светила медицинского мира. И он оказался прав. Там, у постели этой больной, он и оставил свои последние силы. Но он возвратил ей жизнь, возвратил детям мать и, шутя, пренебрежительно говорил на упреки в переутомлении:

— Вам нужнее жить...

За два дня до его смерти она, в первый раз встав с постели, приехала навестить его. Все два дня до его смерти она провела, ухаживая за ним,— это была вся его награда.

Он был молод, силен духом, был человек, и все человеческое было не чуждо ему.

Может быть, он любил? Об этом он один знал.

Он говорил:

— Я больной, и потомство от меня — преступление.

Чем же он жил в таком случае? Что давало ему эту страшную силу жить жизнью самого здорового, самого удовлетворенного человека? Человека к тому же, который точно вышел из самой удовлетворенной среды, хотя в действительности все его детство и юношество прошло среди самых тяжелых материальных и нравственных условий, надломивших так рано его силы, прошло в тяжелой борьбе за свое право.

Ответ один: он жил своими идеалами, и эти идеалы давали ему силы. Идеалы лучшей жизни, более справедливой и более равноправной.

Какой-нибудь сторонник своего сословия, может быть, скажет:

— Только поколениями вырабатывается дух...

Оставим эти сказки, и пусть хотя бы Колпин и Либерман, которых вы знаете и отрицать не можете, служат вам надежным доказательством противного.

Не поколения, а тот дух, который несет с собой культура, то служение общественному долгу, на которое она одна вооружает вас, те идеалы, которые несет она в себе, которые одни могут вдохнуть энергию и веру в жизнь.

Нет, такую энергию жизни не поколения дают. Не имеют Мухортый с Никитой такой энергии жизни. Этой альтруистической жизнью не может жить и непосредственный продукт Мухортаго и Никиты — их хозяин.

Но этой жизнью может жить и живет и счастлив стремящийся к культуре Либерман, культурный Колпин, культурный Дюлонг, сын мастерового — начальник североамериканской экспедиции, замерзший со своими товарищами у нас в Сибири, на пустынных берегах Оби.

Если позволите, я вам напомню некоторые подробности этой славной смерти со слов того, кто сам видел останки великого человека и всю трогательную картину его смерти, который и рассказал мне — В. И. Серошевский.

Как известно, корабль Дюлонга разбился у устья Оби. Экипаж спасся. Одна часть его направилась по правому берегу реки, а другая, под начальством самого Дюлонга, пошла по левому.

Из своего отряда Дюлонг отделил и послал вперед шестерых матросов, снабдив их спиртом на тридцать дней и кой-какой, в самых микроскопических дозах, провизией на десять дней. Он сам развесил им провизию и дал наперсток, приказав пить спирт только по одному наперстку в день. Сверх того он дал им по ружью, соответственное число огнестрельных запасов с приказанием ни в каком случае не бросать ружей.

Я не знаю, как бы соблюли эти распоряжения, особенно относительно водки, философ Никита или вообще какой-нибудь философ, но дисциплинированные культурой Запада и ее энергией западные рабочие в точности выполнили эту инструкцию, и это спасло их. На двадцать восьмой день своего путешествия, до последней степени изнуренные, они заметили, наконец, жилье на правом берегу. Они по льдинам (это было в октябре) перешли через Обь и достигли летнего кочевья самоедов.

Увы! Оно оказалось пустым. Они сидели в пустой юрте, не зная, что предпринять дальше, когда вдруг на их счастье показались сани и олени самоеда.

Хозяин кочевья вернулся, забыв при переезде отсюда какую-то нужную ему утварь.

Увидев во дворе сани, оленей, живого человека, несчастные обреченные с дикой радостью выскочили из юрты и так напугали самоеда, что тот, мгновенно вскочив в сани, погнал прочь своих оленей, приняв, вероятно, матросов за выходцев с того света. Их спасли ружья. Они прицелились, и ввиду неминуемой смерти самоед остановил, наконец, своих оленей.

Тогда жестами они объяснили самоеду, кто они, и самоед объяснил им, что их товарищи уже спасены.

Все они, когда самоед их привез в населенные места, от лишений, напряжения, радостного, наконец, потрясения заболели нервной горячкой.

Роковая ошибка открылась только после их выздоровления.

Те, о которых говорил самоед, были из отряда, направившегося по правому берегу Оби. Об отряде же Дюлонга не было никаких вестей. Их нашли уже зимой.

История их смерти сохранилась навсегда для потомства из дневника самого Дюлонга.

Они умирали один за другим.

Первый умер от антонова огня — матрос. До последней минуты за ним ухаживали. Была сделана даже ампутация ноги, но истощенный организм не выдержал операции.

За отсутствием духовника сам Дюлонг напутствовал своих умиравших друзей, совершая строго все обряды погребения.

Дюлонг умер последним. Он уже не мог идти и полз на четвереньках.

18 октября он описывает в своем дневнике, где именно, с точным обозначением примет, он зарыл весь свой багаж, все то, что могло понадобиться другим людям.

19 октября неразборчивой рукой сообщал он, что силы его оставляют, и он уже двигается вперед ползком.

20 октября он имел силы в своей записной книжечке провести только одну длинную черту.

Так и нашла его собака самоеда, в позе ползущего, всего занесенного снегом, с рукой высоко поднятой, с заветным дневником в ней.

Великий человек двигался до последнего мгновения. Вечно вперед.

Да, вперед, но не назад, не туда, куда зовет граф Л. Н. Толстой, куда когда-то звал людей так заманчиво Жан-Жак Руссо, о котором Вольтер говорил:

«Читая Руссо, так и кажется, что уже растут лапки, на которых, став на четвереньки, побежишь назад в лес... но не побежишь».

Нет, там назади лес, дебри, голод и холод, там, в буранах, только и остается умирать Мухортым и Никитам с одним сознанием, что все равно на двадцать лет раньше или позже умереть своей нормальной смертью.

ДВА МГНОВЕНИЯ

Зашел разговор о том: страшно или нет умирать?

Человек средних лет с энергичным нервным лицом, умными глазами заговорил:

— Как когда. Вот как в промежутке всего нескольких дней, в тех же почти внешних условиях, я видел два раза подряд смерть в глаза. Я с своей партией жил тогда в Батуме. Собственно не в Батуме, а в окрестностях его,— делал разведки. Неделю всю мы проводили на работах, а в воскресенье ездили в Батум на отдых. Я первый год был тогда женат только, и вы понимаете, какое для меня было удовольствие в этих поездках. Мы проводили в городе все воскресенье, ночевали и на другой день возвращались на работы. Был март. Весна уже начиналась. Травка зеленела, листья деревьев, как нежная паутина, едва сквозили на фоне безоблачного неба... Солнце, изумрудное море... Там вдали кремовые горы с вечным снегом... Чудное утро, лошади поданы, чтобы ехать в город, потому что было это как раз в воскресенье. Если вы бывали в Батуме, то, может быть, помните, что берег его описывает большой полукруг: там в глубине Батум, почти напротив скалистые, дикие берега Цихидзирских гор. И, таким образом, кратчайшая дорога от этих Цихидзирь, где мы и работали, было море,— верст семь всего, а берегом верст пятнадцать. Подъехал грек на лодке и предложил под парусом доехать в четверть часа. Мы согласились, отправили лошадей и поехали. Море, воздух, солнце — праздник в природе, праздник отдыха в нас,— мы были

в редком настроении, когда вся жизнь кажется такой же чудной и прекрасной, как этот волшебный уголок земли. И вдруг шквал. Что такое шквал? Черное море — очень капризное море. Весной и осенью явление там обычное этот шквал. Неожиданная буря, вихрь, какая-то серая стена с стремительной быстротой несется, и впереди этой стены тишь и гладь, а за ней море уже мгновенно закипает, бурлит, свист бури, и в серой кипящей мгле так часто гибнут такие лодки, как наша.

Бледный лодочник успел только крикнуть:

— Ложись!

Сперва рассмеялись все, но на лице лодочника прочли что-то такое страшное, что мгновенно все, кроме меня, легли на дно лодки. Почему я не лег — я не знаю. Какая-то глупая гордость! Шквал налетел. Что-то страшное заварилось мгновенно кругом: откуда взялись волны, куда исчезло солнце,— что это клокочет, кипит и бросает нашу лодку. Нет, нет, спасенья быть не может в этом аде. Какой-то ужас, дикий ужас сковывает, и сознанье в то же время работает с непередаваемой ясностью. Шаг за шагом с неумолимой последовательностью приближается это неотвратимое мгновение. Вот из-под лодки точно выросла страшная седая зелено-прозрачная волна, заглянула в лодку и тяжело обвалилась. Головы смоченных, лежащих там внизу, быстро поднимаются, мгновение тому назад они еще смеялись, на их лицах отвратительный ужас смерти. Еще волна, и глаза судорожно ищут, где в той или вот этой, что вдруг раскрывается и куда летит бешеная лодка, бездне конец всему. Неизбежный конец, и мысль о жене, уже случайная, равнодушно оставляет уже мертвую душу: думай, не думай, все равно конец всему, и от всего живого мира мы уже отрезанные ломти, и некому даже передать будет этих последних мгновений. Словом, я струсил так постыдно, как никогда не мог и предположить. А этот ужас сознания страха и бессилие совладать с ним? О, как это ужасно, когда человек познает вдруг предел своих сил, своего «я», когда он уже может сам на себя посмотреть вдруг с сожалением, сознанием слабости, сверху вниз... Нас выбросило на берег... Какая-то животная радость охватила нас: мы, мокрые до последней нитки, с следами, может быть, еще

этого ужаса на лицах, танцевали, как дикари, на берегу: поднимали наши ноги, энергично, быстро поднимали и скалили зубы друг другу.

Шквал пронесся, опять мирное солнце, песчаный берег, дорога, идут два турка, несут молодых козлят. Молодые козлята, травка весны, радость жизни, прилив этой жизни... Я, помню, купил этих двух козлят и пешком восемь верст, все время счастливый, нес их — этот залог весны, возвращенной жизни.

Даже унижение было источником радости: что же, я такой же, как все, а думал, что выше их. Милые мои, все вы друзья, и я меньше вас, но я жив, я счастлив.

Да, это был хороший день с ужасным мгновением, и такого дня я не переживал может быть, но мгновение было лучшее, и я его пережил всего через несколько дней.

Опять те же Цихидзири, то же небо, море, солнце... Мы завтракаем. А там по морю плывет плот, и четыре турка на нем. Десятник Вдовиченко, хохол, молодой, говорит:

— Ишь, подлецы, а если шквал?

Рабочий, по фамилии Копейка, саженного роста, тоже хохол, лениво жует свой хлеб и рассказывает не спеша как под Ак-Паланкой их кавалерия прыгала с такой же кручи, как эта, прямо в реку. Я смотрю с наших высот туда, где беспокойно ласкается к берегу море, голова невольно кружится, и я тяжело переживаю и это ощущение необходимости лететь туда вниз и сознание, что мои нервы не выносят никаких круч. Я поборяю, конечно, себя, но что это мне стоит всегда?

И вдруг шквал, и уже раздирающий душу крик четырех турок на плоту. Какая-то лодка там внизу спешит пристать к берегу: пристала и выгружает мешки с мукой. А плот уже разбит, и четыре турка, каждый обхватив два бревна, ныряют там среди разорванного плота, целого леса поднимающихся и опускающихся бревен. И на нас, сидящих на берегу, налетел уже шквал, как ножом, резким ветром срезал наши шляпы, завтрак, свист бури, грохот моря и, заглушая все, нечеловеческий крик о помощи оттуда из кипящего котла. Я уже ничего не сознаю. Чей-то голос:

— Нельзя, вы — отец семейства!

Но этот рев бури, вопли тех?!

— Не сюда, не сюда — убьетесь!!

Разве я могу убиться? Ноги мои, нервы мои — сталь, и я стремглав несусь вниз по кручам, куда заглянуть было страшно за мгновение. Я уже внизу, за мной сыпется щебень, камень, за мной летят другие. Мы уже в лодке и отплываем. Вот Вдовиченко, Копейка. Лодка плывет, поворот, мы каждое мгновение вот-вот опрокинемся... Что ж, опрокинемся... И мне весело, и я беззаботно напеваю какую-то веселую песенку. Я вижу, что мое веселье льет огонь в жилы этих... Я-то, я-то знаю, чего хочу, но эти Вдовиченко и Копейка и на веслах сидящие, безвестные работники, вас какая сила двигает? Э, в ваших глазах я вижу бога, вы избранники его, и честь быть с вами, честь сознавать себя равным вам, безвестным героям... честь, великая честь быть равным там, где человек равен божеству...

Бревна, бревна! Вверх и вниз,— держи лодки,— разобьет?! Ха-ха! Мимо!..

Какой-то турок с перепугу топор свой сует, когда каждое мгновение дорого. Вдовиченко с азартом бросает топор в воду — уже за волосы тащит ошеломленного в лодку. Они уже все тут, и мы мчимся назад...

Рассказчик смолк, вздохнул всей грудью:

— О, если бы в такое мгновение умереть!

ДЕЛА

Наброски карандашом

I

Май, яркое умытое утро. Солнце ищет молодую зелень травы, но она еще долго будет прятаться под надежным покровом развесистых, тенистых деревьев.

По укатанному шоссе Царского Села идут и едут: девятичасовой поезд, уносящий в летний душный Петербург всякого рода чиновничий люд на весь день, уже дает повестку длинным протяжным свистком из Павловска.

На вокзале и под навесом платформы сильнее чувствуется бодрящая прохлада свежего утра. Лица отдохнувшие, почти удовлетворенные,— нечто вроде хорошенько вычищенного, поношенного все-таки платья.

Шляпы, котелки, цилиндры, всевозможных цветов военные фуражки.

Поезд подошел, с размаху остановился, выпустил пар,— зашумел и зашипел,— а в вагоны торопливо стали входить один за другим пассажиры.

Большинство ищет уютного уголка, спешит его занять, вынимает прежде всего портсигар, закуривает папиросу, затем развертывает свою любимую газету и погружается в чтение, не упуская из виду, впрочем, и окружающей его обстановки. По расписанию дня это время переезда назначено для газеты, и надо прочесть ее всю, хотя бы для того, чтобы знать все и потом с одного слова понимать, о чем пойдет в своем кружке речь. Понимать и отвечать по разным, большею частью, мелким злобам дня.

Есть, впрочем, и серьезные любители чтения, и нет-нет какой-нибудь господин третьего класса в очках, с внимательным серьезным взглядом и вынет из кармана номер более серьезной газеты и погрузится в него. Еще реже попадаются люди с журналами в руках: для получасового чтения журнал слишком тяжелая вещь, да еще летом, да еще с утра, перед департаментской работой, где и обязательного, серьезного столько предстоит.

Поезд уже у Рогатки, остановился на мгновение, свистнул и помчался дальше.

На площадке третьего класса счастливая, ветром растрепанная парочка: она, вероятно, курсистка или консерваторка, он — мало думающий о своем туалете, студент,— у них обязательных дел нет, и они счастливы, или, вернее, их лица беззаботны и далеки еще от тех складок и напряженных взглядов, которые явятся уже потом, в жизни.

Эту тягость жизни уже начинает, очевидно, чувствовать господин, сидящий у окна второго класса.

Он туповато смотрит в окно, мимо против него сидящей в большой шляпе, не старой, но и не молодой уже дамы,— очевидно, его сожительницы.

Очевидно, потому, что интереса на лицах их нет: равнодушие, апатия. Глядя на них, так и видишь приготовленный уже карточный стол, партию раз навсегда дозволенных, с обоюдного — во избежание глупых ссор— согласия партнеров, легкую закуску в столовой: тогда им обоим не такой скучной покажется жизнь на свете, а временами после удачной игры, лишней рюмки, перед перспективой заснуть и забыть все и вся и даже самого себя — даже и совсем хороша эта жизнь.

В первом классе, в отделении для некурящих сидят дамы и их мужья — уже большею частью в том возрасте, когда разговоры о любви и нежных чувствах так же к лицу, как летнее платье в тридцатиградусный мороз. В этом отделении чопорно и скучно: для этих жизнь уже вылилась, очевидно, в недосягаемую для многих и не интересную для всех, кроме их самих, скучную форму всевозможных этикетов хорошего тона: смотреть так, а не так; одеваться именно так, а не так. И так, а не так,—

все это в свое время незаметно и без сожаления сойдет вместе с их владельцами со сцены, не оставив никакого следа.

До этих, впрочем, следов времени никакого дела нет в отделении первого класса для курящих.

Там жизнь данного мгновения, и следы его налицо: облака дыма, всегда бодрый, довольный кружок кавалеристов и разговоры о скачках, маневрах, мотивы последних шансонеток. В углу вагона остаток ночи: две вольных подруги в кружевах и шляпках громадных размеров, напудренные, а может быть, и подкрашенные. Они жадно ловят слова, движения и взгляды молодых военных, но те только изредка скользят пренебрежительно куда-то мимо. Они довольны и этим и с протестующим высокомерием отводят глаза от двух, не сводящих с них глаз штатских.

— Ох-хо-хо! — потягивается, заломив руки за плечи, высокий и широкоплечий, статный, как статуя Аполлона, белокурый гусар.

— Что? — одобрительно спрашивает его более пожилой сотоварищ.

— Спать хочется,— добродушно и смущенно признается белокурый гусар.

И все смеются, точно выдан секрет, и сквозь пудру краска удовольствия покрывает лицо одной из дам, и она смотрит в окно, стараясь не видеть и в то же время ловя боковые взгляды молодой компании.

В другом углу отделения забились двое чиновных и ведут неспешный разговор. Один — довольный, важный, другой нервно, напряженно смотрящий в окно.

— Продержат они вас еще здесь с месяц,— уверенно, спокойно говорит важный.

— Но тогда, пропустивши рабочую пору,— горячо отвечает другой,— что ж я сделаю?

Важный молчит и потом удовлетворенно каким-то трескучим, резким голосом говорит:

— Ничего, конечно, не сделаете.

— А лишний год администрацию содержать, двести тысяч из казенного кармана?

Важный господин опять молчит и нехотя отвечает:

— Надо войти и в их положение. Россия страна размеров необычных...

— Это и надо принять бы во внимание: за всех все равно ведь не передумаешь...

Собеседник лениво поднял брови и бросил:

— Приходится думать.

Он поднялся с места в виду промелькнувшего уже в окно Обводного канала и, протягивая соседу руку, опять снисходительно и с удовлетворением сказал:

— Месяц еще продержат — с этим помиритесь.

— Да, со всем можно помириться,— ответил, пожимая руку и привставая, его спутник.

Важный господин молча кивает головой и выходит на площадку, а его собеседник — Владимир Петрович Носилов, никого не замечая, смотрит напряженно и огорченно в окно. Он встал последним, когда уже никого не осталось в вагоне, пошел к выходу и думал:

«Врешь, добьюсь сегодня».

Он берет извозчика и едет налево.

Большой знакомый желтый дом.

Ну, конечно, швейцар — поклоны, другой швейцар и опять поклоны, третий, четвертый.

Стоят, смотрят в лицо: свежие, бодрые, готовые без устали кивать и раскланиваться.

А впрочем, они все-таки смягчают обстановку, придают в этот ранний час жилой вид этим пустым еще комнатам и коридорам.

А своими услужливыми и ласковыми лицами производят впечатление, что пришел все-таки как-никак, а к своим. Владимир Петрович в ожидании слонялся по коридорам и думал: «Ведь в сущности в общем люди добродушные и незлобивые, да такова уже сила вещей».

II

Двенадцатый час. Носилов стоит перед низеньким, плотным, добродушным, сгорбленным стариком, не стариком — кто его знает, сколько ему лет. Лицо широкое, глаза маленькие, добрые, фрак торчит хвостиком, манеры простые, добродушные.

— Утвердили,— говорит он не то радостно, не то вопросительно Носилову.

Это приветствие Носилов слышит уже в десятый раз.

— Если утвердили, так за чем же задержка?

— Да ни за чем.

— Ну, так, значит строить можно: давайте кредиты!

Иван Николаевич говорит:

— Ишь, скорый какой!

— Послушайте, Иван Николаевич, ведь дело от этого страдает, да и мне же нет сил ждать больше, истомился я здесь, — ведь четыре месяца...

— Да, что вы, господь с вами, какие четыре?

— Да, конечно, здесь в Петербурге я четыре месяца...

— Ну-у.

Иван Николаевич махнул добродушно рукой и уж заговорился с другими.

Носилов терпеливо ждет.

— Послушайте, Иван Николаевич я решил теперь являться к вам в одиннадцать часов и уходить в шесть часов.

— Сделайте одолжение, — сухо говорит Иван Николаевич.

— Иван Николаевич!

— Иван Николаевич я пятьдесят четыре года, а один за всех.

— Иван Николаевич, пожалейте же... ну зачем же без толку мне здесь околачиваться? Ну, рассудите же, ведь надо меня отпускать, ну пройдет еще месяц, два,— наступит же момент, когда надо будет вникнуть и в мое дело. Ну почему вам не вникнуть сейчас, зачем томить, мотать душу.

— Ах, господи! Ну что вы пристали, ей-богу?! Что я могу здесь сделать?

— Иван Николаевич, если вы не можете, так кто же может?

Иван Николаевич роется в своем столе, бросает все и говорит:

— Пойдем.

Иван Николаевич ведет Носилова через целый ряд комнат, где у каждого стола сидят чиновники с озабоченными лицами, что-то перекладывают, перекладывают и перекладывают.

— Ивановское дело,— раздается торопливый голос подбежавшего и скрывшегося уже озабоченного чиновника.

— О, господи! Ему ивановское, тому петровское, черт его знает за какое и браться!

Чиновник берется за ивановское, раскрывает, тупоогорченно смотрит, смотрит и вдруг вспыхнул, быстро складывает ивановское и опять сосредоточивается на петровском.

— Почему мы не можем открыть им кредитов? — подходит к этому чиновнику Иван Николаевич.

— Каких кредитов? — спрашивает чиновник.

Ему не хочется оторвать сосредоточившуюся мысль от петровского дела, хочется и ответить.

— Да вот,— говорит Иван Николаевич, и, прерывая сам себя, спрашивает: — Николай Васильевич пришел?

Чиновник оставляет петровское дело и отвечает:

— Пришел.

Голос его многозначителен, и Иван Николаевич щурит левый глаз. Чиновник только машет рукой. Подлетает третий и начинает быстро сообщать какую-то новость.

Все четверо взасос слушают.

— Надо самому идти,— говорит Иван Николаевич и уже идет.

— Иван Николаевич, голубчик, — чуть не за фалды хватает его Носилов,— кончим уж мое-то дело.

Иван Николаевич несколько мгновений смотрит на Носилова, точно впервые видит его, и рассеянно стал говорить чиновнику:

— Послушайте, разберите вы вот с ними...

Иван Николаевич скрывается в дверях.

— Да вы чего, собственно, хотите? — спрашивает Носилова чиновник.

Так как этому господину Носилов еще никогда ничего не говорил, то он и начинает с Адама и доходит, наконец, до момента своего стоянья перед ним.

Господин слушает, заглядывает в петровское дело, шевелит целую кипу таких же дел, нервно теребит себя за цепочку, закуривает папиросу и, наконец, теряет всякую нить носиловского рассказа.

— Да ведь это в канцелярию министра,— говорит он, когда тот смолкает.

Носилов смотрит на него во все глаза.

И чиновник в свою очередь немного сконфуженно смотрит тоже прямо в глаза Носилову:

— Вам чего, собственно, надо?

Носилов в полном отчаянии — начинать опять сначала?

Входит неожиданно Иван Николаевич, берет его под руку и говорит:

— Он вам ничего не поможет. Вся задержка оттого, что смета к нам не препровождена.

— Как не препровождена? Да неделя, как препровождена!

— Не может быть! Идем в регистратуру.

Иван Николаевич прав.

Носилов летит на третий этаж к старшему своему товарищу по выпуску.

— Послушайте, батюшка, — говорит он, — оказывается, вы в счетный отдел сметы не препроводили?

— Как не препроводил? препроводил.

— Да нет же!

— Что вы мне рассказываете!

Идут в регистратуру. Действительно не препроводил.

— Куда же я препроводил?

Старший берет журнал и внимательно роется сам.

— Эврика! он препроводил не в общую канцелярию и не смету, собственно....

— Куда же я смету девал? Я помню, я ее отправил... Черт его знает! нет сил!

Он бежит к себе, опять роется на своем столе — сметы нет.

— Директор просят!

Старший бросает Носилова и идет в кабинет директора.

— Дело Шельдера у кого? — выходит он озабоченный через несколько минут из кабинета директора.

— Шельдера, Шельдер?!

Дела Шельдера ни у кого нет.

— Оно у Шпажинского,— говорит чей-то голос.

Шпажинский сегодня не пришел.

— Зарез полный, по делу Шельдера требует справки директор, Шпажинский не пришел, какая это служба?!

— Ей-богу,. точно гостиница, — несется ворчанье из кабинета старшего.

— А удачное сравнение,— затягивается и весело подмигивает молодой, с вызывающими и смеющимися глазами чиновник.

Он смолкает, потому что входит старший и сам роется на столе Шпажинского. Как на грех, дело Шельдера оказывается запертым в столе, а аккуратный Шпажинский ключ унес.

— Тьфу! — облегчает себя старший,— ну, уж это, прямо можно сказать, свинство со стороны Шпажинского: перешел себе на частную службу и даже не сдает дела.

Старший уходит в кабинет к директору, а молодой чиновник растолковывает Носилову:

— Шпажинский уже три месяца молит его выпустить, а они под разными предлогами его держат: ну, что ж, потерять место в восемь тысяч? Из-за чего?!..

Носилов пожимает в ответ плечами и без мысли выходит в коридор.

Он бессознательно подходит к двери директорского кабинета, чтобы не пропустить старшего, который там теперь, у директора.

Тут же у дверей, в ожидании очереди, слоняется с папкой и Иван Николаевич.

— Ну что? — спрашивает он у Носилова.

— Нет сметы,— разводит руками Носилов.

— И в претензии, батюшка, нельзя быть,— добродушно говорит Иван Николаевич.

Оба они отходят к большому окну, оба облокачиваются и смотрят из окна в сад, а Иван Николаевич благодушно говорит:

— Ну, вы сами вот считайте: теперь что? Май? Исходящий номер уже десять тысяч сто двадцать первый, да столько же входящих. Пять минут только подержать каждое дело в руках, пять минут. Много ли? а ну-ка, посчитайте.

Иван Николаевич заинтересовался задачей и, смотря повеселевшими глазами в окно, шепчет:

— Десять тысяч, двадцать тысяч... по пяти минут —

сто тысяч, разделить на шестьдесят, по нулю отбросить, десять тысяч на шесть... Это что же будет? тысяча шестьсот часов... Ну, хотя от одиннадцати до шести, значит, семь часов,— на семь... два... двадцать, ну хоть, три, двести тридцать дней. Январь, февраль, март, апрель, на круг, ну хоть двадцать пять дней... сегодня двенадцатое — еще двенадцать, а там вдвое выходит... Так ведь в пять минут всего... С вами одним сколько вот уж: что ж тут сделать можно?!

— Да ведь ничего же вы и не делаете, стоит все,— огорченно, равнодушно отвечает Носилов.

— Ну, не очень-то стоит: десять тысяч все-таки исходящих, да входящих... за день, до шести часов, голова в пивной котел вырастет.

— Да кто говорит! Удивляться только можно, как у вас всех нервы выдерживают! Понимаете, лучшее же время уходит... я уже и письма перестал получать из дому: я каждый день, вот уже месяц, телеграфирую домой, что завтра выезжаю... Не знаю даже, что и делается там теперь...

Очередь Ивана Николаевича к директору, потому что старший вышел.

Старший бежит и на ходу решительно кричит Носилову:

— Батюшка, завтра — сегодня секунды свободной нет!

— Но завтра, Семен Павлович, будет?

— Будет, будет,— доносится успокоительный голос старшего уже с верхней лестницы.

Носилов провожает его глазами,— какая-то надежда, что завтра выпустят, и тоска.

Он смотрит на часы: два часа. Ехать в город, купить еще по записке, что не куплено, да послать опять телеграмму домой.

III

Шесть часов вечера. Последний свисток, и уже мчится из Петербурга поезд. Пестрая, разноцветная, нарядная дачная толпа: молодые франты, дамы во всевозможных шляпках. Потонул в этой толпе желто-зеленый чиновничий люд.

Окна настежь в вагонах: ароматный теплый вечер смотрит в окна, и так легко дышит грудь среди зеленеющего простора полей.

Носилов едет, уткнувшись уныло подбородком в окно, и смотрит, смотрит.

Вот и Царское,— высыпала часть публики, остальные — большинство — умчались в Павловск.

Носилов едет уже на извозчике, там извозчики старинного типа, которого уже нет в Петербурге, но жив он еще в Царском, и прыгает Носилов вместе с неуклюжими дрожками и кучером по тяжелой булыжной мостовой узких улиц Царского Села.

В одной из этих улиц, «на даче», в пяти комнатах живет его сестра и зять, и незамужняя сестра, и шесть человек детей замужней сестры, и он же у них. Хотел в гостинице остановиться, но настояли, и должен был уступить. Неудобно и им и ему, но уж так заведено, да и все-таки меньше расходов... Но много расходов: и куда уходят только эти деньги? Вот идет какая-то девушка — энергичная фигура и смотрит прямо в глаза ему. Хорошее лицо! Не все ли равно ему, хорошее или нет: он женат, дети. Нет, интересно: оглянулся, и она оглянулась. Эх, домой бы уж скорее: от семьи совсем отвыкаешь... Какая невозможная мостовая... как жизнь интеллигента наших дней: крестьянину хоть плохо, да при своем деле он, какое ни на есть... Пробовал и он, Носилов, свое дело завести — не пошло. Какое дело теперь идет, да и для своего дела разве такое воспитание, такая подготовка нужны? Только и быть чиновником да двадцатого числа ждать. Господи, господи, когда ж они выпустят наконец?!

— Дядя приехал, дядя приехал!!

И веселая гурьба детей с десяти до трех лет бегут к нему навстречу. Они уже утомили его своим криком, и Носилов, подавляя раздражение, чувствуя, что надо же хоть веселый вид сделать этим жизнерадостным молодым побегам, добросовестно целуется со всеми ими и говорит, показывая на извозчика:

— Там для вас.

— Ну что, устал? — встречает старшая сестра,— хочешь, сейчас будем обедать,— Витя через полчаса будет.

— Подождем, конечно.

Младшая сестра бросила играть, целуется и спрашивает, стараясь быть равнодушной:

— Ты один?

Да, он ведь обещал привезти Струйского и совсем забыл!

— Один, Струйского не застал, оставил записку, чтобы завтра приехал обедать.

Носилов врет, чтобы не огорчить еще больше своей невнимательной забывчивостью.

— Ну и отлично,— говорит благодушно старшая сестра, для которой все отлично,— когда едешь?

— Опять завтра.

И это оказывается отлично, и невозмутимое благодушие сестры передается брату.

«Что ж, в самом деле,— думает он,— живут же люди, вон едят, и жизнь идет своим чередом: ничего такого уж худого нет».

И он повеселевшим голосом говорит:

— Какой вечер!

— Идем в сад.

— Смотри, мама!

Молодая компания весело смущенно тащит пакеты.

— Ну, уж этого не люблю: в другой раз, дети, от дяди не брать.

Компания восторженно подхватывает:

— Не брать!

И старший подходит, обнимает за шею своего дядю и говорит наставительно ему:

— Слышишь, не брать.

— Ну хорошо, хорошо.

— Смотри...

Приехал и зять.

Он тоже такой же чиновник, но центральный, на постоянном месте.

Большой, черный, невозмутимый, с густым басом.

— Ну что?

— Опять до завтра.

— Эх, батюшка, потверже с ними надо.

— Не драться же...

— Будут они водить: им что!

— Ну, господа, обедать: тебе твои раки,— говорит сестра, обратясь к брату,— тебе твой форшмак.

Тут же на террасе обед — сытный, летний.

После обеда старшая сестра спрашивает мужа:

— Немножко заснешь?

— А потом в Павловск, что ли? — соглашается муж.

— Ну и отлично,— иди и ты,— советует она брату.

— Так прилечь разве.

— Что же сыграть тебе? — спрашивает молодая сестра брата и идет к роялю, а Владимир Петрович с хозяином уходят в спальную.

— Дети, в сад — папа и дядя спать будут.

Кажется, и дела никакого не было, а устал. Хорошо полежать после сытного обеда. Хорошо играет сестра: хорошая вещь музыка. Легкий сон охватывает незаметно. Еще слышна музыка, но где-то далеко-далеко: нежная, мелодичная, как звенящий ручей где-то там, где так много воздуха и жизни и радостей... Где, где это было? когда? Какие-то глаза смотрят... да, да, глаза...

— Спят,— заглянула и тихо шепчет младшей сестре старшая.

Та кивает головой, беззвучно встает, закрывает крышку рояля, и обе сестры осторожно выходят на террасу.

КАРТИНКИ ВОЛЫНИ

I

Лесистая Волынь вся спряталась от глаз в своих обширных лесах. Где-то там ютятся белые домики, сверкнет речка и опять леса и леса. Но не дикие леса Сибири, тайга, непроходимый склад стоячего и лежачего гнилья. Это и не леса Уфимской губернии,— запущенные, испорченные, проросшие всякой дрянью,— урман, как называет такой лес башкирин, истребитель его. Это, наконец, не южные леса Кавказа, переплетенные всякими вьющимися растениями, делающими их совершенно непроницаемыми. Леса Подолии — это в большинстве случаев расчищенные парки, и владельцы их щеголяют друг перед другом своим порядком в лесах и уходом за ними. Длинные прямые просеки идут через каждую версту и тонут на горизонте в просвете куска голубого неба. Иногда в них мелькнет стройная фигура огненно-желтого дикого козла или задумчиво с понуренной головой пробредет тоже дикий кабан. Лаконическая вывеска извещает о запрещении посторонним охотиться. Здесь еще царство охоты. Красивая форма охотников: куртки, перо за шляпой, видны их домики с дороги. Зверей кормят и ведут им счет. Но не всякого зверя холят,— волка, например, истребителя коз, совсем нет: случайно забежавшего ждет быстрая и верная смерть.

Я еду. Дорога лесом. Шляхтич Владек на козлах, пара голых лошадок в дышло с нитяными шлейками на

шее, шарабан, на нем сиденье. Дождик, грязно. Навстречу карета, четверка в ряд, на вынос еще две, шлеи, бич, головки лошадок, украшенные перьями: так и вспоминаются картинки из былых времен польских дворов. В окне кареты дама с следами поблекшей красоты умного польского лица, седой, с усами, гордый господин и всё вместе — впечатление остатка какой-то из ценного фарфора игрушки. Это первое впечатление. Затем является сознание, что здесь это еще действительность. Невольный интерес заглянуть в эту жизнь. И вот я в охотничьем домике здешнего магната. В глухой части леса простой одноэтажный деревянный домик. Владелец где-то в Индии, в погоне за тиграми. Здесь же вдоль окон и на стенах металлические пластинки с выбитой историей каждого убитого тетерева. Где, когда, на каком дереве, в котором году и кто герой. Счет ведется с конца шестидесятых годов. Такие же таблицы на деревьях. Один из героев, убивший семнадцать глухарей, уже переселился в лучший мир. Семнадцать глухарей! Всякому времени свои трофеи.

И мне невольно рисуется картина далекого прошлого: пышные похороны польского короля — его трофеи. И эти похороны его потомка — такие же пышные, с той же сохранившейся формой, и трофеи жизни — семнадцать жетонов убитых тетеревей.

А вот и памятник из гранита на том месте, где дикий кабан поранил двух солдат, которые в числе других, поощряемые княжеской наградой, бросились на кабана в надежде захватить его живьем. Стоишь над этим красивым памятником, хочешь его осмыслить, поймать здесь какой-нибудь порыв, штрих, дух — все то, что создало этот памятник; но с каким-то туманом в голове, с пустым сердцем уходишь от этого имеющего, очевидно, прочностью своею цель пережить много, много поколений памятника.

— Расползаются паны, як тараканы перед пожаром.

— Куда?

— Господь их знает,— в Польшу чи що подаются. А кто на службе, а то и так изведется.

Продажа земель идет энергично — от семидесяти до ста рублей за десятину.

— Хоть и дорого, а мусимо браты, бо дороже буде.

Это говорит стройный красивый шатен, в белой рубахе, белых штанах, подкатанных до колен, босой. На руке у него висит топор, он небрежно и грациозно покачивается и идет рядом со мной.

— Мы от роду крепостными не были... мы из дворян,— говорит он.

Признаюсь откровенно, этот дворянин пришелся по душе мне. Вот истинно лафонтеновский тип голодного, но свободного дворянина. Чувствуется уверенность и удовлетворенность. Дворянин, который сам себя кормит; дворянин, который сам пашет свою землю; дворянин, которому не дано образование, но достались в наследство независимость и гордость, которые побуждают его свалиться с шеи себе подобных и встать, как умеет он, на свои собственные ноги. Такого дворянина можно от всего сердца приветствовать и кричать с ним:

— Да здравствует независимость!

II

Своим последним днем май хочет наверстать все дожди и оставить впечатление, какое подобает ему. Чудный день с утра. Ветерок ласкает, и аромат сирени, ландыша и миллионов неизвестных цветов нежно щекочет ноздри.

Обеспеченное прекрасным днем все кругом так празднично и нарядно, как только может быть природа. Кукушка где-то кому-то отсчитывает остающиеся ему годы жизни, удод подает весточку из лесу, множество птиц оглашают воздух своим щебетанием, чириканием, вскрикиваниями.

Самые задумчивые философы из них, не любящие подавать голоса, и те отзываются каким-то непривычным басом.

Трава сверкает вся в разноцветных огнях росы, и легкий утренний ветерок манит на простор туда, где

в нежной дали спят в ясном утре леса, деревни, мельницы с своими неподвижными крыльями, пруды зеркальные. Все замерло, отогреваясь в веселых лучах майского солнца. Аромат воздуха — нет возможности передать: млеющий, он бросает в лицо то нежный запах фиалок, то травы, то потянет сосной, ландышем, заберется далеко внутрь, в самую глубину сердца, вольет в него радость сознания чудного дня, освежит, разгладит складки души и заставит и внутри в себе прибраться в тон этой майской природе.

Ровная, как ладонь, местность. Ряд деревень, речка между ними; на горизонте леса. Хохлушки и хохлы, запах дегтя,— здесь Волынь во всей своей красе, в венке из майских цветов — красные, желтые, лиловые, белые, разноцветный ковер, а там дальше седая рожь в сажень, яровые выбиваются буйно и обещают небывалый урожай. Солнце, счастливое радостью земли, льет с неба свет и ласку на землю, а земля изнывает в блаженстве и замерла в чудной прелести своего наряда. Это какой-то чудный храм природы, и идет здесь торжественная служба, и сам замер в восторге сознания своего бытия. В этой бездне зелени, воздуха и неба последними штрихами манят к себе высокие стройные одинокие тополи, то здесь, то там разбросанные по деревням. Непередаваема прелесть этих тонких зеленых пирамид и рядом с ними белых чистеньких хаток, с аккуратными оконцами, с высокими, соломой под лопату крытыми крышами, с гнездами аистов на них, с садочком и огородом, в котором и мак, и конопля, и капуста, и дыни, и арбузы, и чего-чего нет.

Хлопочет там стройная хохлушка в своей красивой повязке на голове, спускающейся на плечи, вышитой рубахе и червонной сподница, а ленивый хохол, в белых штанах и белой рубахе, босой стоит, курит люльку и смотрит на свет божий так, как будто хочет сказать: «Та не морочьте вы моей головы».

Ужасно дорожит своей головой хохол, и пока жинка або «жид» не встряхнут его, как мешок, до тех пор не высыплется из хохла ничего.

Еще ныряет парная повозка с голыми лошадками в волнах хлеба, травы, ныряют леса и вся даль, но вот

и деревня, сырая корчма времен Дмитрия Самозванца с низкой большой комнатой, с темными длинными столами, большим шкафом, потайной дверью куда-то. Старый кот сидит и таинственно мурлычет о том, что видел и слышал здесь на своем веку.

Вынесли мне стол под навес,— прохлада; прозрачное озеро, поросшее редким камышом, перед глазами, дальше даль со своею прелестью.

Оригинальная корчма без водки и всяких крепких напитков. Хозяин «жид», конечно, и имеет свою «жидовку».

Знакомство наше завязалось еще при въезде в село, когда мы напрасно искали себе приюта. Перед каждым встречным хохлом мы останавливались, говорили, объясняли,— он смотрел, «слухав», потом, когда убеждался, что мы от него не отстанем, звал жинку. И после короткого совета и муж и жена выпроваживали нас мягким, но упорным отказом.

— Вот идет еврей, надо его спросить, а то с этими каши не сваришь,— говорит мой возница Владек.

Оказавшийся хозяином корчмы, еврей шел в своем длинном кафтане, с той легкой походкой и быстрым взглядом, которые так мало вяжутся и с основательными движениями хохла и с его глубокомысленным, но безрезультатным для видимого общения взглядом.

— Скажите, где здесь остановиться?

Молодое лицо еврея уставилось в нас, большие выразительные глаза на мгновение заглянули вглубь, и он проговорил с соболезнованием, пожимая плечами и вытягивая свои длинные руки:

— Где же для вас тут будет помещение, кроме как у пана помещика?

— Нет, мы к помещику не поедем.

— Отчего? — быстро спросил еврей,— помещик наш будет за честь для себя считать принимать у себя таких «пожондных» (порядочных) гостей.

— Нет, нет — мы к помещику не заедем: денег он не возьмет...

— Де-е-нег? Что вы? Как можно. Он просто так, он так рад будет....

— Ну, а без денег к незнакомому человеку мы не поедем.

— Тут разве долго познакомиться...

— Нет, не поедем. Так где-нибудь...

Мечтательные глаза еврея раздумчиво уставились в пространство, он пожал плечами и проговорил:

— Я уж не знаю.

— Отчего нас крестьяне не пускают?

Он энергично вздрогнул:

— Ох! ну, и что вы хотите? Мужик себе сейчас в думку возьмет и то, и се, и сам себя так раздумает, что ничего уж не сделаешь с ним... Я не знаю, что и делать вам... Я бы свою корчму вам с удовольствием дал, только не годится она для вас.

— Отчего не годится?

— Известно, грязь.... Бедно живем... комната одна.

Но так как выбора не было, то мы и остановились в корчме.

У еврея жена молодая еще женщина, начинающая полнеть, с черными и мягкими и строгими глазами, красавица типичная, сочная и свежая, как поспевшая слива. Маленький грудной ребенок-мальчик веселый, черноглазый в мать, откинется от груди, смеется веселый, счастливый... Что-то ждет его в жизни?

Лицо хозяина уже помято этой жизнью, история его простая, обыкновенная и из очень невеселых. Был солдатом в Самарканде. Изучил там ремесло — выделку ватных полотнищ из хлопка. Пока служил, имел право жить, кончил — предложили в двадцать четыре часа оставить и возвращаться на старое пепелище. Приехал с женой и никого уж не застал здесь. Отец и мать умерли, братья и сестры разбрелись кто куда, в погоню за куском хлеба. Теперь он сидит здесь караульщиком могил близких.

— Отчего же вы водкой не торгуете?

— Не позволено... Огорода нельзя развести... Да и водкой торговать расчетов нет: если разбавлять, мы не желаем.

— Что же, ваше ремесло кормит вас?

— Плохо... Новое это здесь дело совсем.

Красивые глаза еврейки смотрят мимо и при моем вопросе с выражением, далеко не лестным для их специальности.

— Плохо живется? — спрашиваю я.

— Плохо... жид... известно.

— Отчего же вы не уйдете куда-нибудь?

— Куда ж, везде много... привычка... тут и отец жил, и я... с детства... как пришел с солдатчины, сел вот тут,— корчма запертая, никого нет, так и заплакал... известно... родные места....

Рассказ еврея и вся его обстановка до глубины души захватили меня. В самом деле, ремесленник, он предпочитает жить своим ремеслом, чем эксплуатировать людей. Очевидно, он даже не умеет эксплуатировать, потому что находит невыгодным то, из чего другие наживают громадные состояния. Ни злобы, ни раздражения он не имеет права иметь — их и нет. Он любит. Что любит? Чужой вид, чужую корчму, общее презрение... Он сидит и плачет от счастья, что опять видит родные места, от счастья, на которое не поменяется с ним любая собака деревни.

В корчму то и дело заглядывают крестьяне и крестьянки.

Я спросил еврея, зачем они приходят?

— Верно, слух прошел,— говорит еврей,— что вы землю им приехали намежевать... Теперь на деревне у них такой разговор пойдет: отбирать от панов землю приехал.

Та же история везде, значит: довольно показать нос в деревню русскую, татарскую, польскую, малороссийскую, в Поволжье, в центре, в Крыму, на Волынь — и волнениям, ожиданиям нет конца.

Здесь, если что интересно, так то, что флегматичный хохол, не выпуская, впрочем, люльку из зубов, дал себе труд прийти и лично убедиться, в чем дело.

— Ну идыть, вже идыть,— слышу голос хозяйки, выслушавшей и давшей им какие-то разъяснения.

— Слухай, що я тобе скажу...

Я вижу, как старый хохол отводит ее в сторону, она внимательно слушает, затем машет рукой и энергично что-то объясняет. Хохол небрежно слушает, сплевывает молча, а в это время остальная группа крестьян опять залучает хозяйку и начинает что-то объяснять ей. Опять выслушивает и на этот раз идет ко мне.

— Хохлы, хохлы, а як що до чего, та видкеля и ум берется.

— В чем дело?

— Просят, чтоб станцию не делать на ихнем выгоне, бо мало земли у них, скотину стеснит.

Я иду к крестьянам и успокаиваю их. Благодарят, отходят и опять о чем-то советуются. Опять подзывают хозяйку.

Хозяйка нерешительно идет ко мне.

— Кажут, як постановите станцию на панской земле, то они вас чем благодарить станут.

Проще — предлагают взятку.

Когда я объясняю им, чтоб и без взятки были спокойны, хозяйка говорит:

— Вот вы хохлы, так хохлами и помрете... Вам что инженер, что пристав, або кто там, то все едно... Ну, идыть, идыть...

Хохлы чешутся, поглядывают друг на друга,— они недовольны; отошли и угрюмо смотрят в мою сторону. Несколько баб насторожились, стоят боком, слушают с поджатыми губами и с руками, спрятанными под передники.

— А тот другой зачем приходил? — спрашиваю я.

— Э! — хозяйка пренебрежительно машет рукой,— вон просит написать ему прошение, бо як вин шеншевик, то опоздав и с другими не поспев.

— Это все равно,— говорю я,— выйдет тем решение, и с ним будет так же поступлено.

Одна из баб подобралась и слушает.

— А яке решение буде, ваше благородие, чи кто вы?

— Не знаю. Может быть, предложат переселиться в Сибирь.

— А за якую провинность? — спрашивает баба раздраженно,— не убыли никого, шкоды ни якой не зробылы, да за що ж в Сибирь?

Я объясняю.

— Кто виноват, тот пусть и иде,— упрямо отвечает мне на мои объяснения баба,— кому надо може... отакички...

Баба презрительно машет рукой и отходит от меня,

как от человека, с которым о серьезных вещах и говорить-то неприлично.

Я смущен, а хохлы довольны и, вероятно, острят, как баба отбрила меня. Кивают головами одобрительно, сплевывают и, наконец, расходятся.

Я остаюсь один и сажусь за обед. Под навес входит старуха с мальчиком лет двенадцати — тринадцати. Она садится и в упор смотрит на меня.

— С города? — подсаживается к ней хозяйка.

— Та с города.

Баба усиленно вздыхает. Вздох посылается, очевидно, мне; но я ем и делаю физиономию человека, который занят одним своим делом. Хозяйка уходит, входит хозяин.

— Отказалы...— односложно объявляет и ему старуха.

Еврей качает головой.

— От она и правда,— продолжает старуха,— а волость и суд... а тый проклятый писарь все діло обернув, як тильки ему надо было... Нема правды!

— Это уж пропащее дело, если в волости правды не будет,— говорит уклончиво еврей.

— Та нема же.

Еврей качает головой и скрывается, старуха внимательно в упор продолжает смотреть на меня. Внимательно следит за каждым движением и вообще изучает. Затем встает и скрывается в корчме. Я слышу энергичный протест хозяйки и из нескольких долетевших слов соображаю, что старуха решила искать во мне защиты.

Еврейка доказывает, что я не причастен всей этой истории и всякая просьба с ее стороны бесполезна. Старуха разбито возвращается назад и устало, уже настоящей старухой, опускается на свое место. Она все продолжает так же внимательно следить за мной, за каждым моим куском, но уже унылым, безнадежным взглядом. Я встречаюсь с ней глазами, и мне делается жаль старуху.

— Устала, бабушка?

— Ваше высокоблагородие! — быстро, стремительно вскочила старуха и в одно мгновение очутилась подле меня. Она ловила мою руку, чтобы приложиться к ней,

и говорила, охваченная надеждой:— Смилуйтесь, ваше высокоблагородие, а може як выше еще... Не дайте в обиду бідной сироты!

Она указала на внучка. Дорвалась несчастная до человека, который выслушает ее. Какая-то без конца путаная история. Она Дороха Меленьчук, это внук ее — Остап Меленьчук. Ее мужа «якись то вороги убыли», сын сослан в Сибирь, остался внук. От деда и отца ему осталась десятина и дом. Кто-то вступился теперь в наследство и отбирает и дом и землю. Появилась какая-то расписка в продаже. Опекуны Артемий Яциг и Иосиф Щемчуга стары, «да и байдуже им, бо писарь и их повернул на свій бик». Она подала прошение, и ей отказали, что ей теперь делать?

— За что сына сослали?

— По злости пана... Нема уже его и в живых того пана, а шкоду зробил...

Опять путаный рассказ о какой-то будто бы украденной сыном ее у пана свинье.

— А то що пан его батогами... штаны сдягнул, один на нози, другой на голову, а третий бье,— то ничего, да еще в арестантские роты на год... Я тут осталась, кажут мне люди: «Домаха, свинья сыскалась в Крутом Яру, да блудлива була, скаженная...» Тут около хаты, де жил, може, знаете, пономарь Галишевич? Чи знали?

— Слышал.

— Теперь царство ему небесное, а разумный был человик. Бывало, каже мне, шуткуе: ой, бабо, бабо, волос довгий, а вум короткий: с богатым не судысь. И вправду казав, даром, что помер нехорошей смертью... А усетаки поховали по порядку, бо богатый був чоловік.

— За что же сына в Сибирь сослали?

— Та хиба ж я знаю? Пан да писарь укрутили дело як знали, так и пропав чоловік — громадой постановили.

Мой взгляд случайно упал на мальчика: ох, не добром горели его глаза. Он смотрел на меня с ненавистью.

Нет сомнения, что этот кончит хуже деда и отца.

— Писал из Сибири?

— Нет, так и не писав... жинка померла... И остался сирота на моих руках... двух внучек выдала замуж, а вот

этого хотят вовсе обидеть люди. Господин мой милостивый, что мне теперь делать?

Кончила она свой рассказ.

Господин милостивый мог только выслушать, вздохнуть и развести руками.

Кончился обед, и мы укладываемся, навсегда оставляя нищую корчму. Пришла старуха, которая варила обед нам, и привела маленькую внучку. Девочка засмотрелась на сына хозяйки, тот весело протянул ей ручонку, и девочка, схватив ее, трясла, а мальчик заливался от восторга.

Я думал: в жизни они не будут так жать друг другу руки. Этот жизнерадостный мальчик, протягивающий всем свои ручонки, счастливый и веселый, вырастет, и по мере того, как он будет расти, будет расти и пропасть между ним и обществом. Преждевременный старик, сгорбленный, с глазами в землю, он явится на арену жизни уже приговоренным преступником и таким пройдет весь свой жизненный путь.

— Прощайте, хозяйка! Дай бог, чтоб ваш сын дожил до лучших времен! — все, что я мог пожелать.

— Все от бога,— ответила она с глубокой верой, чувством и достоинством, которому позавидовали бы многие.

Я повернулся на мосту. Хозяин и хозяйка продолжали стоять под своим навесом. Я еще раз от души кивнул им и вместо радушного привета на лице хозяйки прочел спокойную, холодную горечь. Она качала головой, как бы говоря: «Ты метеором пролетел, бросил туманную искру возможности иной жизни и лучше бы совсем не являлся, мгновенная спичка в сыром подвале жизни».

III

Пересечение реки Случ сложное, и я пропутался, выбирая удобное место для линии, весь день — и ничего не вышло.

Хватило бы работы еще дня на два, если бы не выручил в этой новой деревне хохол. Утром еврей, у которого в корчме остановились мы, говорит, что хохол хва-

лится, что проведет нас по такому месту, где ни одной горки не встретится. Зову хохла. Старый хохол с редкой бородкой, голубыми, беспокойными слегка глазами. На мой вопрос отвечает равнодушно:

— Та вже ж могу.

Глупость это, невежество или инстинкт гения? Откуда взялся, сообразил то, чего никогда не видел, и берется выручить.

— Та, дурный, куда полез? — дергает его сзади баба.

Хохол только беспомощно оглядывается, как большая добродушная собака, когда ее вдруг атакует маленький песик. Окружающие смеются. Веселее всех смеется жена молодого корчмаря, которой, впрочем, никакого дела нет ни до хохла, ни до моей работы. Зато ее интересует мой маленький чемодан с мылом, одеколоном, разные принадлежности туалета. Она вся живая, впечатлительная, уже обрызгала себя одеколоном, смеется и смотрит на нас.

Ее глаза, глаза какой-то птицы — красивые, свежие, карие.

Тоненькая, стройная, она постоянно смеется, и смех ее и она вся тоже напоминают птицу. Рассмеется и смотрит, точно спрашивает. Вся огонь, непосредственность. Маленький мальчик двух месяцев: не насмотрится и на него — тормошит и требует, чтобы и окружающие радовались ее молодой радости. Я знаю, чем приобрел ее симпатию. Вчера вечером, когда я приехал, она сперва даже не взглянула на меня, занятая своим сыном. Когда поднялся вопрос о том, где меня устроить на ночь, мой возница, выбрав их спальню, уже стал было распоряжаться и приказал, чтоб она с сыном убиралась. Сара — ее имя — недружелюбно, испуганно озиралась и, покорная, уже стала было забирать нужные ей вещи, но я наотрез отказался, узнав, в чем дело. Молодой, робкий муж ее (по-видимому, он тайно торгует водкой) в длинном сюртуке, блондин, с вьющимися волосами и бородкой, прижав руки к груди, сказал, поддакивая моему вознице:

— Ну, что ж, уйдем — это ничего.

Сара, стоя спиной, внимательно слушала, и, когда я окончательно уперся, она сразу повеселела, подарила

меня сверкнувшим взглядом, и мы стали друзьями. Она расспрашивала меня о том, что делается на свете, какие города есть, какие театры, и глаза ее горели, как бриллианты, она весело смеялась своим гортанным «кар» и смотрела мне в глаза...

Я решаюсь потерять день и поехать с хохлом. Лошади поданы. Равнодушная толпа смотрит на нас с хохлом выжидательно, с одинаковым недоверием и ко мне и к хохлу.

— Наложит тобі в шею пан, щоб не морочив, старый дурню,— вдогонку посылает нам его супруга.

Но старый дурень уже сидит рядом со мной на хохлацком возу, запряженном парой маленьких коней, так как сегодня экипаж Владека в починке. Старый дурень чувствует себя удобно и в безопасности от своей половины и с затаенным удовольствием щурится на синеющий лес. Его половина отлично понимает его состояние и сердится еще больше. Но уже мы не слышим, что она нам кричит. Не слышу я и Сары, ее «кар», но ее взгляд еще в моей душе, зажигающий и веселый.

Целый ряд немецких поселений. Я выматываю из своего хохла всякие сведения. Старый пан этого имения, мимо усадьбы которого с старым садом мы едем, живет в своем доме и никаким хозяйством не занимается.

Только и заботы у него, что сад. Землю отдает чиншевикам за третий сноп. Есть какой у него навоз — бери, остальной доставай, где хочешь. Лес частью расчищают немцы, остальной в порядке, и доступу в него ни конному, ни пешему нет.

— Богатый?

— Как же не богатый. Сколько земли на одну душу. Один он, как перст, старый, лет шестидесяти уж.

— Хозяйства не ведет?

— Целесенький год таскают деньги, сколько немцев, сколько нас, жидов сколько, оси и поляки тут... всё ему, ему...

О немцах заговорили.

— Весь грунт (землю) скупают немцы... Умный народ, богатый народ, приятный народ... даже «свычливый». Здесь на моей памяти болота были еще да лес, а они какое поле устроили, хлеб какой. В десять раз

умнее мужика, и слова худого от них никому нет. Со всяким разговаривают, совет дадут, а бедному и помогают. Немец одно слово: маты с батькой не надо. С немцами, хоть до смерти и то жить можно... «обычливый» народ, разумный народ, он тебе своего не даст, а и твоего ему не нужно, а в каждом деле совет да помощь.

— А поляки?

— Та що ж поляки? Хороший человек везде хороший, а як дурный, то никому его не треба... Хороший народ... Гордый народ, пышный народ... тильки віру поляк мае таку, що вона его кортыть донимать чоловіка...

Хохол подумал.

— Одно слово, великолепный народ....

— Это поляки?

— Та хто ж, як не воны...

Молчим и оба смотрим на прекрасные поля.

— Ото всё с третьей части, всё пану.

— Добрый пан?

— Когда добрый, а когда и не добрый. Поважаешь ему, то добрый, а чуть тронешь что в лесе или, оборони бог, в саду, то лучше и не родиться. Мы вчера всё глядели да думали, что его садом выйдет линия... вот-то штука б була. Смеялись, что он разорвется от злости. Злой, як в сердце войде, а як в добром «гомору», то приветливый и слово каже... Що к осени наволокут ему... то немцы, тут опять мы, тут жиды, тут поляки потянутся... А един, як перст божий.

Мне рисуется красивая, спрятанная в зелени усадьба старого пана, большое окно, которое одно выглядывает из-за деревьев; рисуется корчма и робко выглядывающий из ее дверей ее долгополый владелец. Один властной рукой берет свою львиную долю, другой робко протягивает руку к крохам; один спит на деньгах и в деньгах, другой счастлив, если к шабашу заработал фаршированную щуку; одному почет, уважение, подобострастный поклон, другому — презрение и ненависть...

Переход реки Случ по указаниям старого хохла оказался идеально хорошим, и я дал ему три рубля награды. Тут же у пересечения Случа корчма на большой

дороге; я заехал туда поесть. Корчму держит поляк. Поляки имеют право торговать водкой и постепенно заменяют здесь евреев. Короткая вывеска «колбасы». Полдень, прохладно, потому что вчера был град, большие круглые облака съежились в небе и холодно, безучастно смотрят на землю. В кабаке два забулдыги и оба под хмельком. Босой солдат времен Николая I, маленький, старенький, с закисшими глазами, с седой щетиной на лице, в белой рубахе и штанах; другой какой-то косноязычный увалень, с круглыми глазами, ест хлеб, держа его в своей увечной руке, и из обросшей физиономии только два больших глаза с большими белками сверкают и неопределенно, беззаботно смотрят, пока хозяин их слушает болтовню солдата да ест свой хлеб. Солдат раздражен, и при моем появлении раздражение его усиливается. Его приятель, с громадным куском хлеба во рту, смотрит на него и толкает его под бока, кивая на меня.

— А мне что? Я хиба ж що кажу?! — говорит солдат,— кажу що босый, бо це тильки и заслужив от бога. Отесенько що е, то и е, а больше нема ничóго... Ничóго нема! Ну, извиныть... Що заслужив, то все туточки... — Солдат стоял уже передо мной и бил себя энергично в грудь.— Чего же я кажу? Ну пан, та може и я пан?! Що я босой? Та матерь всех нас босых на цій свит выпускае... Ну, служил білому царю, служил, ну...

Хозяйка — полька, какая-то не то озабоченная, не то растерянная, толкает старика и говорит:

— Ну, чего там пристал еще к пану?

— Пани?! — кричит солдат и ежом становится перед ней в позицию.

Пани равнодушно, не обращая внимания, автоматично проходит мимо. Муж ее, такой же растерянный, блондин, длинный, с громадными кистями рук, тоже как-то мотался, ничего не соображая. Солдат опять подсел к приятелю, тот мычит, ест хлеб и по временам самым плутоватым образом усмехается. Солдат энергично шепчет ему что-то, но он только скептически благодушно мотает головой.

— А я тебе кажу.

— Ну? — таинственно в блаженном восторге сверкает своими глазами увалень.

— Только б моя воля,— угрюмо настойчиво шепчет солдат.— О!

Лукавые, веселые, осмысленные глаза увальня, удовлетворенная физиономия. Что Диоген и Сократ перед этим косноязычным и сухоруким философом-хохлом? Узнав, что я инженер, солдат обратился ко мне с следующей просьбой.

— От чего, пан: може ты и пан, може и... ось чего: уж когда ты тут, по покажи мне план... покажи мне, куда девалась моя десятина... Стой, в плану все как есть прописано... прямо у столба Андрей Остарчук... О! я план добре знаю... О! и давай его сюда... и ходыли до писаря, нехай сбирае, собачий сын, громаду!

Объяснял я, объяснял, что у меня ничего подобного нет; слушал, слушал солдат и говорит:

— Слухай, пан! Ты може думаешь, что я сутяга? Вот тебе крест, що только правды ищу...

Косноязычный не на шутку испугался за приятеля. Ковыляя, он решительно подошел к нему, дернул его за рукав и, когда тот обернулся на него, энергично махнул рукой и сделал соответствующую рожу: дескать — «брось, дурак».

— Ну, ось що,— быстро поворачивается ко мне солдат,— только покажи, вот тебе святой крест, что и словом не обмолвлюсь.

— Да нет же у меня.

— Нет? — с горечью переспросил он и опускает голову.

Через мгновение он торжествующе поворачивается к приятелю:

— Бачишь?!

Тот только кивает головой.

— Бачишь?! Загнув ему сразу таку закорюку, що як рак на мелю выполз.

Косноязычный только с наслаждением сверкает своими белками. Солдат садится рядом с ним и по временам, точно просыпаясь, спрашивает:

— Загнув?

Я дал двадцать копеек солдату, дал косноязычному

двадцать. Приятели остались очень довольны, и солдат с убеждением проговорил:

— Ото пан! Бог ему даст панство над панами.

Но косноязычный, боясь за приятеля, только махнул ему рукой. Презренный металл внес дружбу в наши отношения, даже содержатели кормчы, муж и жена, оживились. Вынесли стол мне на улицу, и тут под окном, на большой дороге, в тени я сижу, пью чай и наблюдаю.

Слышу голос солдата; он кричит своему приятелю, что «тый пан от самого бога пришов». Философ корчит ему, вероятно, при этом соответствующую физиономию.

Подошло несколько хохлов, рабочих с фабрики. Это уже не шик крестьянина хохла. Завязался между ними разговор, зашла речь о том, как разжился содержатель фабрики и сколько именно нажил, и хохлы не по обычаю горячатся и очень точно подсчитывают доходы арендатора. Зависть, неудовлетворение, огорчение на всех лицах.

Только из окна несутся счастливые возгласы приятелей: солдата и косноязычного.

Выскочил какой-то хохол из задних дверей корчмы, споткнулся и, упав, так и остался на улице. Поднял было голову, затянул что-то жалобное, но потребность покоя взяла верх. Я слышу уже его храп. Идут прохожие крестьяне, каждый смотрит и обязательно проговорит: «Спит себе».

Подошла женщина с ребенком и заговорила на польском языке какую-то ерунду. Глаза черные, смотрят строго куда-то в вечность, золотистые волосы и следы редкой красоты. Это безумная, кто-то сделал ее матерью, и носит она своего несчастного ребенка.

— Из Польши привез ее сюда муж, сам умер, а она ходит,— меланхолично объясняет мне хозяйка.

Безумная что-то говорила, слышны слова: «али так можно», «каждый хлопец шкоду робит», «пан бог видит».

Я дал ей денег, она взяла, кивнула головой и грустно проговорила:

— Пан добры... мало добрых... много шкоды... каждый шкоду робит... али так можно... пан бог видит...

Прелестные выразительные глаза, убитая мысль в них, бездна мрака и тоски. Этот маленький ребенок,

прелестный и тихий, внимательно смотрит и приник к груди матери....

На противоположной стороне от меня стоит какая-то старая баба: облокотилась и смотрит на корчму, как голодная собака смотрит — не бросят ли чего.

— Что она? — спрашиваю я.

— Мужа караулит,— солдата того старого: буйный во хмелю, вот она и стережет.

— А подойти не смеет?

— Забьет, даром что полтора вершка весь.

В это время показался в дверях солдат.

— Вишь, напился,— проговорил он, важно подходя к спавшему на дороге хохлу.— Э-ге-ге! Вот так назюзюкался!

Солдат, подойдя, стоял, покачиваясь, над спавшим и говорил:

— Ты как же, голубчик, напився? Кто же теперь за тебя отвечать будет? А?! Исправник будет ехать, подумает, что это за свинья лежит?! А?! — Солдат заговорил по-русски: — Ах, ты, мерзавец?! Как же ты смеешь! Палок!! Бей!! Раз... раз!

И солдат изо всей силы стал отсчитывать рукой удары по спине пьяному. Эта цвель времен вдохновилась и вошла так в роль, что ему позавидовал бы любой отец командир.

Старый пьяный хохол подумал, вероятно, что возвратилось доброе старое время. С хохлацкой покорностью,— возвратилось, так возвратилось,— он, вспомнив вдруг нужное в таких случаях слово, завопил беспомощно:

— Помилосердствуйте!

Но солдат еще более вошел в роль и, учащая удары, гремел на всю дорогу:

— Вставать, меррзавец!!

Кричал он и бил до тех пор, пока длинная фигура хохла не встала на свои пьяные ноги, и я с удивлением узнал в ней своего проводника, уже успевшего напиться.

Старый солдат услужливо помогал ему, удовлетворенно, добродушно повторяя, пока тот вставал:

— Встает, скотина.

Хохол, встав, качаясь, начал было всматриваться

в того, кто ему приказывал. Но психология отца командира старому солдату была, очевидно, знакома до тонкости: жертве не надо дать время опомниться. И потому, приняв опять решительный вид, солдат повелительно крикнул:

— Ну, марш, мерзавец, марш! Ну?! Палок!!

Хохол, только что принявшийся было что-то соображать, только махнул рукой и, заплетаясь, пошел прочь.

А солдат кричал вдогонку:

— Марш, марш!!

И хохол, низко опустив голову, маршировал дальше.

С ним маршировала вся его глубокая философия о народах, весь его инженерный гений, а плесень времен молодецки, когда хохол останавливался в раздумье, не довольно ли ему маршировать, встрепанно выкрикивал ему вдогонку:

— Пшел! пшел!! — И изредка, как треск бича: —Палок!!

Я возвращаюсь на ночлег.

Солнце село, и запад весь залит прозрачным красным заревом. Редкие сосны на далеком горизонте замерли в нем очарованные, неподвижные, в нежном узоре волшебной фантазии. А там вверху, в зеленовато-золотистом небе, повис тонким следом прозрачно бледного серебра молодой месяц. Что за чудный вид, и будит он что-то былое, и так отчетливо звенит в ушах какой-то мотив,— звенит там, в потухающем небе, в далеких соснах...

А вот и одинокая корчма, в окне мелькнула Сара, я слышу уж ее веселый голос, ее «кар». Я смотрю в последний раз на огни чудного заката, вспоминаю безумную с ее ребенком, солдата, старого хохла...

IV

Мой возница Владек — небольшой человечек, желтый блондин, с тонкой бородой, которая перегнулась, и видна его худая, высохшая, в мелких морщинках, загорелая шея. С виду ему можно дать минутами тридцать, сорок и пятьдесят лет. В действительности ему было

больше. Плоские глаза без формы, просто две дырочки, смотрят на вас с выражением умной дворовой собаки из тех, которых крестьяне, заметив их смышленость, приучают к охоте.

По национальности он поляк, по религии католик, по положению бедный шляхтич, который после разных мытарств сколотил себе пару лошадей, дом с комнатами для дачи, имеет полтора морга земли и несомненно не всегда имеет необходимое. Но шляхетский «noblesse oblige»[1] вынуждает, и он тянется,— тянется семья, хотя и ни к чему-нибудь особенному, к чему не имел бы права тянуться даже крестьянин,— чай, мясо, более тонкая одежда, установленное этикетом обхождение: «все так», а это, как известно, закон, самый суровый из всех.

Требовательнее всех к исполнению этого этикета крестьяне. Если пан, так он и должен быть паном. Подпан (чиновник) опять имеет свое положение. Шляхта — третье сословие; немцы-колонисты — четвертое; евреи — пятое.

Может быть хороший «жид», хороший немец, хороший шляхтич, хороший пан. Исключение составляет только «подпан» — он не может быть хорошим, потому что, собственно, идеал «подпана» — неподкупность, но здесь в нее не верят. Они и названы «подпанами» вследствие того, что исполняют беспрекословно волю панов.

И вот мой шляхтич тоже все силы употребляет, чтобы быть хорошим шляхтичем. А хороший шляхтич должен быть добрым католиком, должен уметь добыть копейку, должен уметь сказать свое слово на разные современные вопросы. Вопрос добывания копейки очень трудный для шляхтича, не определенный, не обеспеченный и осложненный тем, что католик здесь, как известно, лишен некоторых существенных прав. Так, между прочим, он не имеет права служить в правительственных учреждениях, на железных дорогах. Уже этим одним он обрекается на жизнь не на готовом. Он, как и еврей, всегда должен ловить момент всегда искусно, всегда вовремя, всегда с новым своеобразным приемом, обуслов-

---

[1] положение обязывает (*франц.*).

ленным конкуренцией. Но у евреев многовековой опыт, а эти только начинают свою работу.

Слышишь:

— Нет, жид это действительно зло, и мы, русские, погибли, если дадим ему волю.

Или:

— Нет, поляка надо прижать, иначе съедят они нас.

Я не больше других имею шансы пробить брешь в стене современных понятий общества, и интересует меня здесь чисто художественная сторона. В лице моего шляхтича передо мной встает прообраз того еврея, которого впервые коснулась рука исторической неумолимой судьбы. Это растерянность ребенка, потерявшего своих родителей, это состояние семьи, которую пришел описывать неумолимый кредитор. Надо приспособляться к новой жизни.

В сущности, шляхтич мой не кто иной, как фактор[1], ставший с 63 года в положение еврея в крае. Для систематического труда, который удовлетворял бы потребностям, нет средств, нет кредита, нет прав. В силу этого ни сельское хозяйство, ни служба не могут быть источником жизни.

Источник жизни случайный: сегодня он извозчик; завтра выгодно купит, выгодно продаст. И всегда он зорко следит за случаем — «счастьем», и в погоне за этим «счастьем» некогда разбирать средства.

Здесь необходимы мирные отношения со всеми властями: и с паном и с «подпаном», нужна известная суровость, чтоб у другого вырвать кусок изо рта, сделать это последнее усилие, которое-де все равно кто-нибудь да сделает. И при всем этом потребность натуры — чувствовать около себя хоть иллюзию добра, правды. Если, наконец, к этому прибавить крайнюю путаницу понятий о том, что такое правда, добро, то сумбур и проза такой жизни станут вполне ясными.

Владек возит мирового посредника, станового, возит всякий народ, так или иначе имеющего соприкосновение с местной жизнью,— возит, разговаривает с ними, сам сообщает и выслушивает.

---

[1] посредник, маклер (от *лат.* factor).

Выслушивает и, зная вся и все, заботится с возможно меньшими затратами получить тот кусок хлеба, который нужен ему и его семье.

Поворачиваясь с козел, он продолжает какой-то рассказ:

— Ну, — говорит становой,— я буду бить мужика — не смотри.

Владек пожимает с еврейской манерой плечами.

— Что ж, я ему помешать не могу? Хочет бить — побьет, а заступлюсь, меня уж не возьмет.

Владек начинает новый рассказ.

— Ну, Владек, хочешь меня в соседи к себе? — спрашивает мировой посредник.

Владек всегда в отлучке, у него фруктовый сад, соседство посредника — гарантия для его сада, и Владек все силы напрягает помочь посреднику в его стремлении купить новый дом соседа.

Посредник любит продавать дорого, но покупать дешево.

Всякий человек что-нибудь да любит, и угадать, что именно любит нужный человек, и, угадав, угодить — все для Владека.

С печальной добросовестностью выжидает он плохого момента в жизни своего соседа и, обоюдными усилиями его и мирового посредника дело сделано.

Владек стегает лошадь и опять, пожимая плечами, кончает рассказ неопределенно:

— Прислал мне два фунта чаю.

Он делает гримасу и поднимает плечо.

Мы едем полями. Тучки набегают. Точно шерсть какого-то седого зверя, волнуется, куда глаз только хватает, вплоть до самого леса,— высокая рожь и сердится, сверкая своей щетиной на ветер, который гуляет по ней.

А там далеко, далеко уж вытянулся целый ряд высоких тополей над селом: прижались к ним белые хатки и точно и они слушают, что говорит мне словоохотливый Владек:

— Я с пятнадцати лет все вот так, вот как ветром меня колышет: так, так,— а все вот держусь как-нибудь с самого шестьдесят третьего года... теперь вспом-

нишь, так страшно станет, а тогда, не приведи господи: сегодня польское войско, а завтра опять русское. Помню вот как сегодня: только что мы выехали под жито парить в два плуга: брат, я, работник и еще мальчик,— мы-то с мальчиком погоняльщики, а они — плугатари, как вдруг из лесу поляки верхами. Непременно, если увидят, вербовать станут. Работник говорит: «что ж, я пойду», а старший брат под плуг залез, и закидали мы его свитками.

— А работник хохол был?

— Поляк.

— А хохлы были в польском войске?

— Были... им, как война началась, объявили, что где от деревни хоть один человек будет, той деревне вся панская земля навечно отойдет. Один, два, а уж поэтому шли... Хоть там, конечно, и не надеялись, а все-таки такое бы дело вышло, что, значит, польское войско взяло бы верх... ну и посылали.

— Что ж, ловило их русское войско?

— Где ловили? Поймают,— скажет — силой увели, а уж после войны, так уж мужикам такая вера пошла: на кого укажет, тот и виноват, а на него укажи — наговор по злобе, значит. Мужик хитрый, як черт. Он сам про себя присказку говорит, откуда он, значит, вышел. Слыхали, верно?

Я слыхал, но сказал, что не слыхал: мне интересен был рассказ в передаче Владека.

Владек усмехнулся.

— Это шла будто свинья... Ну и вырыла там ямку. Летела ворона, увидала ямку и яйцо снесла. Шел черт, видит, что такое? Свинячья ямка и воронье яйцо: сел и высидел мужика. И вышел мужик глупый, как ворона, хитрый, как черт, и прямой, как свинья. Бо свинья как бежит, та и бежит: прямо да прямо, а мужик себе знает свою землю, он себе одну думку и держит.

— Ну так что ж, показались поляки из леса?

— Да... подъехали. «Хлопцы, кто хочет за нами?» Работник сейчас «я» — говорит. «О то молодец». Дали ему сейчас саблю, лошадь. Сел и готов. «А где же у вас еще работник?» — спрашивают. «На деревню ушел».—«Ну, а ты что ж не идешь?» Это меня спрашивают.

Я говорю: «Какой же я вам воин, когда мне всего пятнадцать лет».— «Ничего».— «Нет, говорю, господа, так нельзя,— это уж неволя выходит». А у самого так и похолонуло все. Им тоже, конечно, неволить не приходится, меня возьмут, слух пойдет,— отстали, с тем и уехали. А на другой день как раз русские. И меня взяли и брата. Охотно шли все — тут уж по крайней мере живой останешься и после не повесят. Потом в солдаты я попал на Кавказ. Кончил службу, приехал домой: никого нет,— родители померли без меня; брат только двоюродный остался, и тот калека. Колотится, сердечный, двое детей, ни угла, ничего... Подумал я, подумал, и отдал ему, значит, дом отцовский и землю — четыре морга, живи: уж хоть бог тебя обидел, чтоб от брата не было обиды. Тут сперва у одних стариков поселился: дочка у них молоденькая была,— увидели они, что по вкусу мне пришлась, надеялись, что женюсь, ну и сперва и так и сяк, и хороший, и все там, а уж как увидели, что я на попятный, ну и прогнали.

— Отчего же на попятный?

— Да вот отчего. Девушка действительно всем взяла и так просто по вкусу мне пришлась, но одно... Так, я заметил, что не проживет она долго. И через год всего после этого, скоро тут вышла замуж и померла... И так муж ее разогорчился после этого, так разогорчился... и тоже достал себе чахотку... и от нее же... и помер.

— Ну, потом что?

— Потом женился я, дети пошли, вот и колочусь так: когда хорошо, когда худо, а все господь. Наше дело такое: сделали тебе худо — не ругайся. Только и скажи: пускай тебя бог, как знает, так и судит. И это верно: чем больше вот живешь, тем оно и виднее. Раз достал я себе такое дело: приехал барин какой-то. Ничего не сказывает, тихий этакой; вышел с вокзала, глянул на извозчиков и прямо ко мне. «Ты, говорит, можешь меня отвезти до Корчика? сколько?» — «Три рубля». Пошел назад, вынес чемоданчик, сел, и поехали. Молчит тот, я молчу. «А дальше Корчика повезешь?» — «Куда?» — «Куда я скажу, расчет поверстно».— «Извольте»,— говорю. Поехали. Пять дней ездил с ним. В план смотрит, чего-то запишет там в книжку, дальше опять.

— Кто же он такой?

— Не знаю,— он не говорит, спросить тоже не приходится.

— Может, шпион?

— Действительно, что на лбу не написано: его грех... Так с тех пор и пропал, как в воду канул. Привез я его назад на вокзал, дал мне пятнадцать рублей, кормил, поил меня, лошадей,— слава богу, заработал.

V

За Случом местность сразу, как по волшебному мановению жезла, изменяется.

Это уж болотистая Волынь; еще сто верст, и начнутся топкие болота — леса.

Точно и небо ниже стало, и природа беднее. Но культурная рука уже работает: много еще болот, подмокший хлеб, но много уже остатков только от бывших лесов. Остатки, разбросанные по засеянным полям, а где еще торчит лесок, там и эта трудолюбивая рука спешит, судорожно спешит покончить с ним. Период междупарья, и везде идет корчевка. И везде немцы, немцы и немцы. Земля перегорожена заборами, дренажными канавками. Аборигены страны — полещуки, нечто вроде зубров — тоже единственные в своем роде и производят сильное, оригинальное впечатление.

Вот едут они в телеге — и муж, и жена, и вся их семья. Сидит с маленьким острым лицом человечек в шапке без козырька, из толстого сукна, покроя — не то какие носят ксендзы, не то наши арестанты. В таком же роде халат — длинный, неуклюжий, в котором маленькая фигурка полещука выглядывает на свет божий, как укутанная обезьянка. Зато голова его бабы представляет из себя окружность, диаметр которой средней величины колесо. Это местная прическа, местные шиньоны. Дамы Полесья неприхотливы: материалом для шиньона служит... солома. Солому эту в изобилии набивают они себе под волосы, в волосы, в платок, а искусный местный куафер придает всему этому пышный вид колеса, обмотанного громадным платком. Прическа, вследствие своей

сложности, делается раз на всю неделю: от бани до бани. Свежему человеку страшно и подумать, что сделалось бы с его головой, если бы нацепить на нее такую тяжесть, заставив его при этом работать, и как работать — и в дождь и в жару, когда и без того кровь молотом бьет в голову, когда и без грязи в голове эта голова чешется от выступающей испарины, а тут еще и почесать рукою нельзя, а тем более нельзя достать того зверя, которому так на руку нечистоплотная голова.

Еду мимо, смотрят на нас и смеются.

— Чему они смеются?

Владек смущенно машет рукой и говорит:

— А, дикий народ,— палец ему покажи, смеяться станет...

Однако этот дикий народ почти до последних мгновений сохранил в целости строй, который и до сих пор еще для многих является идеалом народной жизни.

Да, полещук гордится, а с ним гордятся и его друзья, что он, века вывариваясь в своем тесном общинном соку, сохранил всю свою старину, весь свой быт и до сих пор, как и при святом Владимире, ничего не продает, ничего не покупает. И до сих пор денежного рынка почти для него не существует. Эта шапка, сапоги, пышный убор — все, все свое.

Донимал было бесхитростного полещука поляк, еврей, но более сильная рука взяла его под опеку, и поляк и еврей сидят теперь на цепи и скалят голодные, но безвредные уже зубы на недосягаемого полещука.

Если случайно попал бы, да еще с женой, такой полещук в более культурные места, там будут хохотать, конечно, над этими выходцами из прошлой, везде в других местах уже отлетевшей жизни. Но ведь и полещук умеет хорошо смеяться над тем, кто и к ним забредет.

Забрели немцы: вежливые, тихие, в диковинных платьях. И много смеялись тогда в Полесье... Но когда эти немцы стали предлагать за болота, в которых только черти да лешие водились, утаскивая в эти болота пьяных, добродушных полещуков, и стали давать за десятину этих болот сто — двести рублей, безумные деньги, то от смеха все Полесье задрожало. Продали немцам и бо-

лота и леса и с интересом дикарей ждали, что будут делать немцы дальше.

Это было давно, и теперь дело рук немцев на виду: болота высушены, леса выкорчеваны, и железным кольцом охвачены разросшиеся в своих деревнях полещуки.

Тесно полещуку, задыхается он в своем наряде, в своем уборе, в железном кольце сильного своей культурой народа. Это уж не слабосильный поляк и еврей.

Мы остановились в селе, и я слушаю печальную раздраженную повесть о том, что было и что стало. И земли нет, и то, что есть,— от рук отбилось.

Выбивается из сил на своей ниве пахарь, выбивается из сил его изнуренная кляча, безнадежно вытягиваясь за немецким плугом, шутя увлекаемым четверкой сытых лошадей.

У полещука земля старая, истощенная, пашня мелкая, у немца — земля новая, чищобная, да еще навозом сдобренная.

И бросает полещук землю.

Но как же быть? Как возвратить полещуку его утерянный рай? Нет времени полещуку думать над этим: за леском уж синеет дымок — время обеда кончилось, пора идти на завод, и он укладывает в торбу свой недоеденный кусок. Это дым из трубы железного завода. Есть такие же трубы у стеклянных, бумажных и разных других фабрик. Есть сахарные заводы, рафинадные, и я, ваш покорный слуга, уже делаю изыскания для железной дороги.

Проклятие! Три проклятия! Что же делать? Отнять у немцев землю, уничтожить фабрики, заводы, не строить железные дороги? Что делать? Не признавать всей этой жизни или признавать, что жизнь идет не по тому или иному желанию, а по своим вечным неумолимым, как сама природа, законам? Что делать? Упрямо верить в свою утопию и этим, встав в противоречие со всей жизнью, с самим собою, выбросить себя из строя живых, или заняться изучением этих вечных законов движения вперед и, понимая их, работать уж не как гений-самоучка, а во всеоружии великой постигнутой науки — законов движения вперед человеческой жизни? Я размышляю, а в это время мой возница Владек выясняет с полещуками

какой-то заинтересовавший его вопрос. Я прислушиваюсь. Действительно интересно,— как-то так выходит, что даже эти готовые из своего материала костюмы стоят на рынке дешевле, чем сырой материал, из которого они делаются. Вся тяжелая работа бабы таким образом не только ничего не стоит, но убавляет даже первоначальную стоимость товара.

— Мусите поэтому старую одежу бросаты, а вот такую уже заводить,— показывает на свою фабричную мой возница Владек.

Но некогда обедавшим с нами полещукам отвечать. Белый пар опять и свисток, и пока в своих еще костюмах — уродика-арестантика — полещуки спешат, точно погоняемые какой-то неведомой роковой силой, туда, где виднеется из-за леса дымок...

НОВЫЕ ЗВУКИ

Сказка

Ему много дано!..

Он родился, рос в пышном замке, окруженном великолепными садами. Он княжеский сын, богат, молод, силен, красив. Кроме всех этих благ, он одарен необыкновенным талантом: он скрипач. Еще в ранней молодости, едва держа крошечной ручкой смычок, он исторгал из скрипки дивные звуки. Родители, души в нем не чая, окружили его чрезвычайной заботливостью. Он рос, как нежный цветок в теплице: ни бури, ни грозы, ни ненастья.

Наконец-то!

Он вырос. Он знаменит. Какое счастье! Он — гордость всего своего княжеского рода. Вельможи в восторге от его игры. Знатные дамы наперерыв стараются овладеть его вниманием. Тщетно: он горд, недоступен и беспечен. Но вот в душу его вкралась любовь. Как нежный напиток, она согревала, веселила и опьяняла. Долго молча любовался он красавицей. Наконец, не вытерпел. Признался и... был отвергнут. Кем отвергнут? Бедной девушкой, цветочницей, которая случайно заходила в замок.

Юноша на все ласки, на все уверенья, что безгранично любит ее, получал один и тот же ответ:

— Обманешь!

— Что это значит?!

— Ты не понимаешь, что значит обман?

— Нет!

Девушка недоверчиво качала головой. Он действительно не понимал. Рожденный в богатстве, он с пеленок ни в ком и ни в чем не нуждался.

Его никогда не стесняли, не запугивали. Ему не приходилось быть в таком состоянии, когда возможен обман. Ему было чуждо это чувство, было чуждо и название этого чувства.

Наконец, чтоб покорить сердце молодой красавицы, он схватил свою скрипку. Он заранее торжествовал победу: его игра не раз приводила в восторг избраннейшую публику. Он заиграл. Льются прелестные звуки! Мягкие, словно теплые воздушные волны, они нежат, голубят, умиротворяют. Он кончил. Девушка молчала. Он был поражен. Он ожидал восторга, радости. А тут... гробовое молчание. Он недоумевал.

— Что же, не нравится тебе?

— А тебе нравится?

— Ни перед кем еще не играл я с таким увлечением, как перед тобой,— с жаром произнес юноша.

— И слушатели всегда восхищались? — насмешливо спросила девушка.

— Да!

— А знаешь почему!

— Почему?

— Потому что ты и твои слушатели сытые, довольные.

— Какие же тебе звуки нужны?

— Какие?.. Слезы, стоны, презренье, ненависть, проклятье!

Он снова начал играть, стараясь все это выразить звуками.

Ничего не выходило: он не знавал ни слез, ни стона, ни презренья, ни проклятья.

Девушка меж тем убежала. Юноша испытывал нечто совсем ему незнакомое, чему и названья не знал. Это была тоска, безысходная, сосущая тоска. Ему разом опротивело все. Он вышел из замка и пошел бесцельно бродить. Долго молча он ходил. Грусть все более им овладевала. Из глубины души у него вырвался звук. Он инстинктивно понял, что его называют «стоном».

Наступила ночь. Юноша все шел да шел и незаметно для себя очутился в городе. Он часто раньше бывал в городе, но ему показалось, что он впервые сюда попал. Мальчиком он ездил по нем кататься в сопровождении старших: отца, матери. Взрослым он являлся с особенной целью: изучать древности города. Он прекрасно знал развалины старого города, но совершенно не был знаком с теперешним. Масса движущихся людей, шум, гам, крики, все это поражало его своей новизной. Больше же всего его удивляли женщины. То и дело они приставали к нему, настойчиво зовя к себе. Наконец одна старая, некрасивая прямо взяла его под руку и увлекла за собой. Юноше захотелось узнать, чем это кончится, и он не сопротивлялся.

По дороге она успела рассказать, что у нее двое детей; кормиться нечем,— вот и приглашает к себе гостей... «Деньги нужны!» — сказала она таким тоном, что ему и страшно и гадко стало. Они вошли в грязную комнату одного большого дома. При их входе двое маленьких детей бросились под кровать.

— Они нам не помешают,— сказала женщина.

Она стала раздеваться, приглашая то же самое сделать и его. Он был ошеломлен. Стены замка долго не давали действительной жизни коснуться до него. Теперь же эта жизнь, словно бурный поток, ворвалась... Эти жалкие дети, эта женщина — все это вместе словно обухом по голове ударило его. Он в изнеможении опустился на единственный стул в комнате.

— И я была молода,— меж тем говорила женщина,— такой же красавчик, как ты, полюбил, обольстил... Вот дети... бросил.

Он вдруг почувствовал, что мог бы задушить собственными руками обольстителя. В нем что-то кипело, он понял, что это именно и есть презрение, ненависть, проклятье. Невольно вспомнилась ему красавица девушка. «Сколько,— думал юноша,— несчастная выстрадала, когда спокойные звуки ей противны!» В этот миг ему самому были чужды эти звуки.

В это время раздались голоса в соседней комнате. Две женщины спорили. Одна старческим голосом твердила: «Ты не права. Быть может, он любит, не обманет».—

«Нет,— закричал кто-то в ответ,— всех ненавижу, презираю: надругаются, а потом бросят, будь они прокляты!»

— Чей это голос, чей? — вырвалось у юноши.

— Это дочь хозяйки, цветочница, она...

Он уже не слушал, сильным движением руки толкнул он дверь; она раскрылась. Посреди комнаты, с распущенными волосами, словно виденье, стояла любимая им девушка. Их взгляды встретились. Раздался нечеловеческий крик. Девушка, как подкошенная, пала замертво.

Юношей в первый раз в жизни овладело отчаяние, и он зарыдал.

. . . . . .

Вот он, бледный, измученный...

Толпа говорлива, шумлива. Лишь только взовьется его смычок — смолкло все. Затаили даханье. Льются новые звуки...

В них столько кротости, покорности, мольбы, сколько в восторженной молитве. Кажется, кто-то коленопреклоненный, забыв весь мир, призывает неземные силы услышать, помочь... А вот и слезы... Чудится, кто-то жалобно-жалобно плачет, словно стонет... умирает... Умер!.. Замер и аккорд.

Толпа очнулась. Крик, рукоплесканья... Ряд новых звуков заглушает и этот шум и эти рукоплесканья. Это уже не мягкие, спокойные звуки, это скорее крик наболевшей души. В этом крике слышатся и презрение, и ненависть, и проклятье!

Эти звуки не усыпляют, а будят душу, на борьбу вызывают...

Ему дались эти новые звуки потому, что сам он много выстрадал, много перечувствовал.

ВЕСЕЛЫЕ ЛЮДИ

Очерк

I

Толстый, большой, пухлое румяное лицо, маленький нос кверху, губы красные бутончиком, глаза такие, точно ждут чего-нибудь веселенького,— вот вам и Володька, друг и приятель мой.

Познакомились мы с ним при следующих обстоятельствах: Володька (мы тогда еще не были знакомы) срезался по аналитике и высшей алгебре. Срезался совершенно прилично: все время что-то писал на доске, что-то объяснял профессору, затем оба они, и профессор и Володька, на мгновение точно задумались и разошлись. Профессор пошел к столу ставить отметки, а Володька, тяжело переваливаясь и облизывая выпачканные мелом пальцы, пошел прочь, к нам, остальным студентам. На лице его было скромное сознание исполненного долга и что-то еще очень симпатичное: так, по примеру некоторых, он не полез сейчас же смотреть через головы других, сколько именно ему поставили. Действительно не все ли равно — четыре или пять?

С невольной завистью я подумал за Володьку: «пять, конечно», вытянув шею над головами других, заглянул в экзаменационный список. Каково же было мое удивление, когда перед его фамилией по двум вопросам я увидел две двойки, а по третьему — громадную, сверкав-

шую на весь лист, единицу. Я смотрел на эти двойки и единицу и на средний вывод за скобками — один целый и шестьдесят семь сотых — и на Володьку... Случись мне так срезаться,— я отошел бы с таким оплеванным, жалким лицом, что всякому ясно сейчас же стало бы, что я ничего не стоящий, ничтожный человечек. А Володька вон как поступил. О, это искусство владеть собой, оно дорого стоит в жизни.

Я слежу за Володькой глазами. В выходных дверях он столкнулся с каким-то пожилым студентом.

— Уже держали?

— Да.

Это говорит он, Володька, говорит деловым, удовлетворенным тоном и быстро проходит в коридор.

Я незаметно иду за Володькой и ловлю его, когда он, вероятно, думал, что он теперь один со своими мыслями. Он ходит, озабоченно потирая руки; ага! и это веселое и всегда возбужденное лицо может быть и таким! И все-таки приличным; не раскис, не упал духом — деловито озабочен. Люди, которые умеют владеть собой при таких условиях, и поражение превращают в победу.

Походил, походил Володька и опять назад,— назад, где экзамен идет. Я за ним. Что больше делать человеку, который уже получил свою тройку, был сперва огорчен этим и только, а теперь сознал, что лучше тройки, в сущности, ничего на свете нет: дать Володьке теперь эту тройку?

Володька подошел к профессору. Вообще подслушивать я не охотник, но теперь мое ухо чутко ловит слова из разговора профессора со студентом. Речь о переэкзаменовке: он, Володька, был болен; ну, конечно, профессор согласен назначить переэкзаменовку через месяц. Володька кланяется и уже с веселым лицом отходит: инцидент исчерпан.

Я провожаю его в последний раз глазами и принимаюсь наблюдать другие жертвы, стоящие там, у доски. Вот отошел еще один — бледный, растерянный: двойка, конечно. Куда пошел теперь Володька? Он никогда не остается после экзаменов. Вероятно, у него здесь семья, сестры есть, хорошенькие кузины, веселая компания...

Сегодня поедут, наверно, на лодке: отчего не поехать, день прекрасный, весна.

Я вздыхаю и думаю: хоть бы ради экзамена достать где-нибудь рублевку, поехал бы и я куда-нибудь. Хорошо, что хоть обеденная марка в кармане...

Прошла неделя. Опять экзамен, опять у меня тройка, и опять я шляюсь по институту.

Забрел на третий курс: и там экзамен по аналитической механике. Тот же профессор, который срезал Володьку. На досках какие-то иероглифы; через два года и я пойму их. Профессор о чем-то разговаривает с студентами: надо послушать. Говорит профессор, что через неделю за границу уезжает.

Как так — через неделю?! А Володьке назначил через месяц переэкзаменовку.

Говорю:

— Профессор, а как же насчет переэкзаменовки, помните...

Напоминаю ему обстоятельно: вспомнил. Совершенно растерялся (мальчишка и он еще совсем), тянет меня за пуговицу:

— Видите, в чем дело,— я сегодня последний ведь день экзаменую...

— Тогда, если позволите, я съезжу за ним,— говорю я.

— Ах, пожалуйста! — сказал он.

И каким тоном сказал,— точно на всю жизнь я сделал ему одолжение. Узнаю адрес Володьки и, хотя совсем без денег, беру извозчика (где же там рассуждать в такие минуты о деньгах: а вдруг профессор опять забудет, успеет уйти и тогда что же? Оставаться Володьке?).

Еду и умираю от волнения, если не застану Володьку дома.

Он дома.

Вхожу. Такая же обстановка, как и у меня: очевидно, меблированная комната, темный коридор, спертый запах, фигура толстой хозяйки точно качается там во мраке. Вхожу в светлую большую комнату: чисто и аккуратно, вязаные белые салфеточки на красной мебели,— в Во-

лодьке что-то немецкое несомненно есть. А вот и сам Володька в углу: удобно уселся в кресле, лекции сбоку,— дрессирует щенка. Дрессировать не хочется, но это все-таки интереснее, чем лекции.

— Позвольте познакомиться...

Объясняю: так и так. Володька сообщает мне новость, которую я и без него знаю: он-де ничего еще не знает по алгебре. Я на мгновение задумываюсь и делюсь первой сверкающей в моей голове мыслью:

— Пройдем наскоро уравнение со многими неизвестными.

— А если как раз это и не спросят?

Володька и я смеемся. С его лица так и брызжет благодушие, веселье и в то же время смущение.

Мы уже товарищи. Я чувствую это и говорю возбужденно, радостно:

— Устроим так, что наверно спросят... Что-нибудь же знать необходимо...

Конечно, это ясно. Я дьявольски деловой человек для других.

Проходит полчаса, и мы с уравнением со многими неизвестными в наших головах мчимся уже в институт, возбужденные, поглощенные предстоящим.

Передать невозможно, как хорош был день: весенний, яркий; так и сверкают, так и тонут там, в голубом небе золотые блестки и движутся в воздухе, и сверкают, и собираются, исчезая там, выше, выше, совсем вверху.

А эта даль Фонтанки и какие-то здания и церкви, и там дальше — разорванные, мягкие, слегка подрумяненные облака.

Хорошо! И я от всей души уже люблю этого Володьку.

Вот и институт: скорей, скорей!

— Голубчик Антонов (швейцар),— говорю я торопливо, смущенно, не глядя,— заплатите, пожалуйста, извозчику пятьдесят копеек.

— Позвольте, я...

Это прерывает меня Володька! Он вынимает кошелек,— ого, у него есть деньги, может быть, у него миллион?! он бежит уже по лестнице; я за ним.

Мы входим в аудиторию: последние жертвы у доски,

одна доска уже пустая — Володькина. Профессор смущенно идет к нам навстречу: ясно, как божий день ясно, что он должен теперь перевести Володьку.

Володька говорит, что не успел подготовиться, но берет на себя нравственное обязательство в течение лета... (В течение лета?! Голову на отсечение даю, что так и не притронется...). А теперь, пока, он просит смотреть просто на теперешний экзамен, как на формальность...

Тон верный.

Профессор смущенно только повторяет:

— Конечно, конечно...

А я уже подсказываю профессору:

— Уравнение со многими неизвестными...

Профессор со страхом смотрит на Володьку и, точно извиняясь, спрашивает:

— Можете?

Володька скромно, но так, что меня что-то точно щекочет внутри: «попробую», и ноздри его на мгновение расширяются... Ах, как он владеет собой!

Он уже пишет на доске, а я слежу и думаю:

«Способный, подлец: все понял».

— Очень вам благодарен,— говорит через несколько минут профессор, подходя к доске Володьки и бегло оглядывая его уже исписанную доску,— извините, пожалуйста...

И еще «извините»! Мы с Володькой уже стремглав летим по коридору с лестницы и хохочем, как сумасшедшие.

II

Мы расстаемся с Володькой на подъезде.

Вот он идет, немного неуклюжий, переваливаясь.

Мы торопимся расстаться, точно боимся испортить прекрасное впечатление первого знакомства.

Что теперь делать? Обедать рано, пойду к Феде.

Федя некрасивый: нос крючком, глаза круглые и ко всему заячья губа. Но он такой остроумный, тонкий, деликатный, что моя душа болит, болит и болит, отчего он такой некрасивый. Почему не я? Ходил бы себе

с его носом и круглыми глазами, с заячьей губой, с опущенной головой, и пускай никто на меня никакого внимания не обращал бы: ах, как это было бы хорошо,— сколько свободного бы времени оставалось!

Федор живет в доме Лихачева на Вознесенском, на пятом этаже, с видом на крышу и слуховое окно. Он сидит в своей маленькой, залитой солнцем комнате и уже что-то вычеркивает из начертательной, несмотря на то, что экзамен еще через десять дней.

— Ну, это глупо! — говорю я.

— Конечно,— совершенно искренне соглашается, как бы извиняясь, Федя и отодвигает и бумагу и лекции.— Что новенького?

Я торопливо, возбужденно рассказываю ему о Володьке.

Во время рассказа Федя опять незаметно придвигает к себе бумагу и лекции, заглядывает, чертит, слушает меня и смеется.

Прелесть этот Федя: чистый, как дитя, талантливый, трудолюбивый, без всякой рисовки, добрый! и все это в такой уродливой скорлупе... Смех его — смех ребенка. Ему и весело, и я не сомневаюсь, что он так и видит этого увальня Володьку. Он понимает, что оставить бы его следовало на второй год на том же курсе, и в то же время, когда я кончил, он говорит, лениво потягиваясь:

— А симпатичный, кажется, этот Володька!

Он на мгновение задумывается, смотрит перед собой, и тень какой-то грусти пробегает по его лицу, но он опять уже добродушно и с какой-то снисходительной насмешкой и над собой и над всеми спрашивает:

— Что ж, пойдем обедать?

И мы идем обедать, а после обеда кутим: едем на пароходе на острова и обратно.

Обратно нас всего трое: Федя, я и какая-то барышня, высокая, худенькая, стройная, с интеллигентным лицом, с уверенными глазами.

Обыкновенно на Федю барышни не смотрят, а она так ласково и с таким интересом следит за ним. Это понимаю и я и Федя,— и мы, сидя невдалеке от нее, разговариваем, острим. Федя разошелся; я чувствую, что девушка видит всю красоту души Феди, и счастлив за него. У него

столько юмора, и иногда она не в силах сдержать улыбку и отворачивает лицо.

Пароходик летит; мимо нас проносятся берега, дачи, сверкает река, и все это, охваченное покоем заходящего солнца, так располагает к дружбе и сближению... Что б этой барышне вдруг познакомиться с нами, позвать нас, одиноких в этом большом городе, в свою семью, чтобы провести с ними вечер? Наверно, весело было бы: ведь мы умеем хорошо смеяться и хорошо смешить, когда не давит, не жмет нас ничто.

Но пароходик уже бурлит у пристани, и деловито и озабоченно барышня спешит по трапу; мы видим ее стройную ножку в высоком, на пуговках, ботинке.

Я бросаюсь за ней и увлекаю Федю, говоря горячо и торопливо:

— Нельзя упускать такого случая!..

Но, пока я его тащу, пока мы вышли, она уже уехала.

Федя грустный и притихший. Солнце садится, и так пусто в этой холодной дали... Холодно; руки зябнут, и хочется есть, так хочется есть. Мы разоряемся: покупаем сосиски и хлеб; там, дома, в самоваре мы их сварим и съедим, наслаждаясь их ароматом и с грустью вспоминая барышню и всю прелесть весеннего вечера.

III

Читатель, вероятно, догадался уже, что ни Володька, ни я не принадлежали к числу усердных студентов.

Увы! К стыду моему, я должен признаться, что мысль о науках и занятиях — была единственная, которая отравляла мое тогдашнее беспечальное житие.

Эти экзамены, репетиции и проекты были для меня кошмаром, тенью отца Гамлета, неожиданно появлявшейся вдруг передо мной: и в театре, и когда с ногами я лежу у себя и я мечтаю, а Федя, задумчивый, рассеянно слушает.

Да не подумает читатель, что я не любил своей специальности или тех наук, которые приходилось изучать в институте: грех было бы это сказать. На что уж какая-нибудь «теория теней», наука, без которой можно, ка-

жется, прожить инженеру-практику, а и к ней никакого враждебного чувства я не питал. Напротив, в каждой науке, даже в кристаллографии, и в той в конце концов находил какую-то непонятную, невыразимую, ей одной свойственную привлекательность.

К сожалению, только сознание этой привлекательности появлялось обыкновенно слишком поздно! накануне или даже утром в день экзамена, когда в последний раз пробегалось все... Вдруг вырастало какое-то сожаление, что раньше, в году, не оценил всей этой так поздно обнаружившейся прелести.

Раньше?!

Но иногда в году, заглянув в какое-нибудь редкое утро в институт, я начинал мечтать, что вот уйти бы теперь домой и приняться как следует за начало каких-нибудь интегралов,— начало, без которого и на лекцию нечего идти: все равно ничего не поймешь. И в голове уже рисуется чисто прибранная комната, на письменном столе все аккуратно сложено, кругом тишина; я сажусь за стол и погружаюсь в науку.

Трогательная и величественная картина: молодой человек, могущий совершенно иначе проводить свое время, всему предпочитает науку.

И сердце мое бьется усиленно от предстоящего удовольствия.

Да, удовольствия!

Я решаюсь идти домой,— уже иду, спешу и радостно сознаю, что на этот раз мое желание приступить к занятиям перешло прямо в страсть, которую если б я желал даже, то не мог бы уже погасить в себе. Это новое, свежее чувство и эта зарождающаяся любовь к наукам заставляют меня как-то особенно снисходительно смотреть на божий мир.

Вот идет мой товарищ Дерунов и презрительно косится в мою сторону. Этот зубрила и нахал считает меня чуть ли не животным за то только, что я не топчусь, как он, часами над какой-нибудь дурацкой заклепкой.

В его глазах цена мне — грош, да и то в базарный день. Попробовал бы я сунуться в его глубокомысленные (и дурацкие) рассуждения, когда он спорит с рав-

ными ему,— он, конечно, не только не удостоил бы меня ответом, но прямо бы, вероятно, прекратил всякий разговор, подарив меня таким презрительным взглядом, после которого я не решился бы в другой раз вмешаться в рассуждения этих богов.

Конечно, и я в долгу не оставался перед таким Дерунов ым. Рассказывая о какой-нибудь оперетке, всегда нарочно старался стать так, чтоб меня и видел и слышал Дерунов.

Но теперь презрительный взгляд его вызывает во мне снисходительное сознание, что он, пожалуй, имел даже некоторое основание так смотреть на меня. Я улыбаюсь при мысли о том, как широко вытаращит глаза этот самый Дерунов, когда услышит мою свободную и плавную речь о «какой-нибудь заклепке». Я нарочно буду держать себя по-прежнему, буду восторгаться опереткой, а когда все пройду, тогда подойду к Дерунову и небрежно вмешаюсь в разговор. Он попробует меня осадить своим высокомерно-презрительным тоном:

— Позвольте...

Но тут-то и влетит ему:

— Нет, вы позвольте! — оборву я его...

И начну валять.

Скорей, скорей, не иду, а бегу я домой.

Вот уж и знакомый поворот, угловая лавка с колониальными товарами, мои любимые апельсины в окне.

«Не купить ли?» — мелькает в голове.

На мгновенье останавливает меня некоторое опасение, как бы апельсины не повредили моим благим намерениям. Я мысленно измеряю силу своей новой страсти к науке и прихожу к заключению, что проглоти я в настоящий момент апельсины всего мира, и все-таки они не заглушат моих чувств к прелестным интегралам. Счастливый этим сознанием, я смело вхожу в магазин и покупаю десяток апельсин.

Вот я в своей комнате...

Неприятное разочарование: комната не убрана, постель раскрыта, платье и белье валяются по стульям, воздух спертый.

Я накидываюсь на горничную и доказываю ей, как дважды два — четыре, что она пошлая дура и больше

ничего. Я чуть не плачу от мысли, что благодаря этой дуре моя зародившаяся страсть к интегралам подвергается таким жестоким испытаниям. Конечно, я спокоен за силу этой страсти... но обидно...

К счастию мне предлагают воспользоваться соседней комнатой, пока будет готова моя. Я забираю лекции, апельсины и отправляюсь туда.

Почему-то эту комнату я рисовал себе совсем не такой, какой она оказалась: и диван не на месте и кровать не там. Письменный стол, например: будь он у того окна,— сейчас бы, кажется, сел и до вечера не вставал. Нет, поставили его к стене, боком к окну; ну кто так ставит?! Я чувствую, что мое прекрасное расположение духа начинает меня окончательно оставлять.

Чтобы не расстроить себя еще больше, я ложусь на диван и принимаюсь за апельсины. Третий, четвертый — и я чувствую себя все лучше и лучше... Мое добродушное настроение полностью возвращается. Я снова ощущаю прилив энергии и не замечаю, как истребляю пятый, шестой, седьмой... Я спохватываюсь на восьмом и мгновенно сознаю, что пересолил: восьмой погубил все дело.

Грустный, я машинально доедаю девятый и десятый, беру газету или роман и укладываюсь на кровать. Проходит час, другой, книги или газета незаметно выпадают из рук, и я погружаюсь в глубокий сон.

IV

Тем и кончались обыкновенно все мои попытки приступить к занятиям в течение учебного года.

Зато и приходилось же отдуваться на экзаменах.

И замечательная вещь. В году страницу будешь читать чуть ли не сутки и все-таки забудешь, после того как прочтешь.

На экзаменах же целый предмет в три дня совершенно наново проглотишь и все помнишь. С начала экзаменов еще трудно, но под конец так насобачишься, что давай хоть китайский язык и только скажи, что завтра экзамен,— будет готово. Голова расширяется и превращается в какой-то бесконечный мешок, способный все и вся поглотить.

Конечно, в таких случаях не без скандалов. Но скандал скандалу — рознь! По общеходячей терминологии, скандал по какой-нибудь кристаллографии не был скандалом даже для таких, как Дерунов; а скандал по механике, да еще строительной, даже для меня с Володькой, пожалуй, был бы скандалом. Я беру, конечно, крайние примеры; но между ними было много такого, что с точки зрения Дерунова безусловно было скандалом, а с нашей с Володькой — ничего особенного не представляло.

Например, отвечаю я по политической экономии,— помню, что-то о рынке. Прочитать-то прочитал и думал, что понял, а начал рассказывать и только тут убедился, что ничего не понял. Путаюсь, путаюсь,— ничего не выходит. Профессор сидит не в духе, уныло запустив руки в свои взъерошенные волосы.

— Ничего не понимаю,— перебивает он, наконец, мое путанье,— да чего вы хотите, наконец? Тройку, что ли?

— Больше ничего не желаю,— лепечу я сконфуженно.

Ставят мне тройку, и я ухожу, как нищий, которому презрительно бросили подачку из богатого дома.

У дверей сталкиваюсь с Деруновым. Что-то шипит своему соседу, но так, чтобы я слышал. Прислушиваюсь: рассуждение на тему о том, что есть же господа, у которых никакого самолюбия нет и которые готовы вытерпеть какое угодно обращение, чтобы только получить тройку.

— А по-вашему,— вступается за меня Володька, засунув руки в карманы, и маленькие ноздри его раздуваются, и он, как петух, топчется на месте,— ему (кивок в мою сторону) морду профессору, что ли, побить за то, что он (опять кивок на меня) ничего не знает?

Мы оба хохочем и исчезаем в коридоре, прежде чем озадаченный Дерунов собирался с ответом.

И я Володьку поддерживаю.

Экзаменуют его по минералогии. При всей снисходительности профессора дело плохо подвигается вперед.

— Какого цвета?

— Черного,— с решительным отчаянием выпаливает Володька.

— Почти,— отвечает профессор,— даже скорее темно-серого... светло-серого...—и, помолчав, резко:— Белого... Где добывается?

Опять Володька ляпнет что-нибудь вроде Ташкента.

— То есть, видите ли,— подхватывает профессор,— поручиться, что в Ташкенте в кабинете какого-нибудь любителя может попасться какой-нибудь затерянный кусок, конечно, нельзя....

Оказывается, минерал в Финляндии. И все в таком роде.

Окончательно портит Володьке то, что он несоответственные слова подбирает; рассказывает, например, о минералах и все — «водится» да «водится».

— Господин...— не выдерживает профессор,— дикие звери водятся, а минералы добываются! Экие поистине зверские ответы!

Наступает неловкая пауза.

— Как называется,— задает недовольно профессор последний вопрос, который он обыкновенно задает подобным студентам,— этот гиган...

— Productus gigantus,— догадался и уже кричит Володька, не давая даже времени профессору ни досказать, ни вынуть из ящика требуемый предмет.

Профессора на мгновение озадачивает эта полная развязность: он поднимает глаза на Володьку, но тот уже успел состроить такую наивно-глупую морду, что профессор его немедленно отпускает и ставит три.

— По-моему, бессовестно...— начинает Дерунов, обращаясь к соседу.

— Молодец, Володька! — перебиваю я Дерунова,— отлично: легко, свободно! Другой идиот целый год зубрит, а так не ответит.

— Будет!— решительно обрывает меня Володька,— а то бить буду!

Иногда случались неприятности и помимо нашей воли. Так, например, по богословию, которое читается у нас на первых трех курсах, я, несмотря на усердное приготовление каждый раз к экзамену, два года подряд отвечал невозможно плохо.

Не читать и плохо отвечать — дело обыкновенное, но прочесть и не ответить — это куда хуже.

Я, конечно, старательно скрывал, что я читал, и предпочитал бравировать перед товарищами, что я и в руки не брал. На душе тем не менее обидно было. Только на третьем курсе разъяснилось, в чем дело: мошенник швейцар на первом курсе продал мне лекции третьего курса, на втором — первого и, наконец, на третьем — второго.

V

Время шло, и мы с Володькой становились, конечно, серьезнее (Федя — тот весь потонул в работах), даже занимались составлением некоторых проектов (большинство, впрочем, заказывали), но лекции посещать так уж и совсем не могли. А между тем некоторые профессора настойчиво требовали этих посещений и даже в зависимости от них более или менее придирались на экзаменах.

Лекции самого требовательного в этом отношении профессора четвертого курса, как нарочно, начинались всегда в девять часов утра. Ну, какой порядочный человек в это время бодрствует? Уж месяца три прошло с начала учебного года, а мы с Володькой все никак попасть на лекцию не можем. Наконец счастливый случай помог нам: сели мы играть в карты и проиграли ровно до половины девятого следующего утра. Володька и говорит:

— Когда опять такого счастливого случая дождемся? Айда в институт на лекцию Мясницкого.

Я было замялся, но Володька настоял (он умеет настаивать, когда захочет).

— Надо же, наконец, приучить его к нашим физиономиям, а то, ей-богу, срежет на экзамене.

«Ну, ладно»,— думаю.

Отправились мы приучать профессора к нашим физиономиям и для этого, как путные, уселись поближе, на первой скамейке.

Читает профессор монотонно, однообразно и поскрипывая голосом, как немазанная телега. В аудитории тихо-тихо. Я сижу в отчаянной борьбе с дремой: на глаза точно лезет что-то. Все силы напрягаешь, чтобы

слушать и сосредоточиться, вот, кажется, привел себя в надлежащее состояние... вот теперь отлично, вот, вот... И вдруг тра-ах! Что такое? Встрепенешься испуганно... Ничего, тот же монотонный скрип телеги, та же тишина, так же старательно сосед вырисовывает петушка. Странно: отчего бы это могло показаться, что что-то будто упало?

И вдруг чувствую, что уже сам куда-то стремглав лечу. Открываю глаза и вижу, что я держусь крепко руками за скамью. Оглядываюсь, и на меня все оглядываются.

«Плохо дело, думаю, так, пожалуй, и профессор заметит». Я откашливаюсь энергично, оправляюсь и на этот раз совершенно прихожу в себя. Но проходит несколько минут, и я снова начинаю клевать носом. Вдруг Володька толкает меня под бок; я открываю глаза и вижу перед собой лист бумаги с нарисованными на нем двумя свинками: одна веселая, другая грустная. Володька услужливо тыкает карандашом. В первое мгновение я ничего не понимаю, но в следующее за ним соображаю, что это Володька придумал для того, чтобы отвлечь меня от сна.

И мысль его и он сам — все кажется мне бесконечно смешным. Я чувствую, что надуваюсь от неожиданного прилива какого-то дикого смеха. Стараюсь удержаться, но по лицу Володьки, на котором вдруг изображается неописуемый ужас, я чувствую, что не удержусь. С Володькой тоже — метаморфоза: он стремительно зажимает свой нос... Картина: профессор, прекратив чтение, смотрит на нас, все товарищество тоже, а мы, уткнув лица в руки, фыркаем, как молодые котята.

Больше на лекции Мясницкого, конечно, ни ногой, и вся забота наша теперь состояла в том, чтобы профессор не то, чтобы запомнил,— забыл бы как-нибудь совсем наши лица.

— Послушайте, ведь это свинство,— приставали к нам товарищи.

Конечно, свинство, мы и сами это сознавали, да что ж поделаешь.

VI

Вот и выпускные экзамены с бледными, бессонными ночами, с тяжелым, подчас непосильным трудом, связанным, как нарочно, с всевозможными лишениями. Часы, сюртуки, шуба, пальто — все уж это давно было заложено и перезаложено. Пришлось пустить в ход экстраординарные, так сказать, предметы: георгиевский крест отца, альбом с портретами матери, сестер, родных, друзей. Дошло дело, наконец, и до рубах. Одна за другой перетаскал я в конце концов в кассу ссуд почти все свое белье.

Делались все эти операции, конечно, с соблюдением возможного инкогнито. Прежде всего прислуга не должна была ни о чем догадываться.

Бывало, засунешь рубаху под пальто, оправишь перед зеркалом грудь и выходишь с самой беззаботной физиономией на лестницу. Грудь слегка топырится, как будто у генерала какого-нибудь; и кто догадается, что отдувается она оттого, что под пальто подсунута грязная рубаха, за которую можно получить сорок, а при счастье и пятьдесят копеек.

И вот однажды, когда я с такой оттопыренной грудью, с чувством собственного достоинства медленно спускался по лестнице, моя служанка окликнула меня:

— Сударь, вы рукав-то подберите.

Я так и обмер: рукав моей рубахи, на манер сабли, волочился за мной из-под пальто.

VII

Последний экзамен...

Помню этот торжественный момент, когда я положил мел, которым чертил на доске, с ясным сознанием, что кладу его в последний раз в жизни.

Выйдя на лестницу, я остановился на площадке с целью дать себе отчет в переживаемом моменте и сознательно прочувствовать его. К моему величайшему огорчению я ничего не почувствовал.

Кончил курс, надо искать места.

Как-никак на душе все-таки было легко и спокойно за завтрашний день в том смысле, что ничего уж не надо зубрить, никто тебя не станет в четыре часа утра тормошить,— спи хоть до самой смерти...

Первые два дня усиленно и спали, а на третий решили с Володькой приняться за искание места.

Надели сюртуки, прицепили значки, захватили прошения и отправились прямо в министерство. Черт возьми! Через час какой-нибудь мы уже будем, может быть, рантьерами в две тысячи в год...

— За что, Володька?

— Молчи!

Доложились швейцару, потом дежурному чиновнику, а там добрались и до директора департамента общих дел. В сущности, как потом уже мы узнали, вся эта процедура была совершенно бесполезна и бесцельна. Но тогда что мы знали?

Вышел плотный, решительный господин.

—Чем могу служить?

Мы с Володькой переглянулись, прокашлялись, открыли рты, прошептали: «вот-с», и сунули его превосходительству наши дурацкие прошения.

— Вакансии нет,— отрезал его превосходительство, скользнув глазами по нашим прошениям.

Несмотря на такой категорический отказ, чувствовалось по голосу, что его превосходительство еще что-нибудь скажет.

Мы стояли, не смея, что называется, дохнуть.

— Вы куда ж хотите? — осведомился, помолчав, директор.

Мы с Володей были мальчики неглупые и отлично знали, куда мы хотели. Мы хотели на постройку, непременно на постройку, потому что там большое жалованье. На шоссе мы не хотели, потому что там жалованья так мизерны, что жить на них нельзя, а надо проценты какие-то получать, или бог его знает что, но по-нашему выходило, что надо просто-напросто воровать.

— Так на постройку? — терпеливо выслушав нас, переспросил директор.

— На постройку,— дружно ответили мы с Володькой.

— Ну, жаль, господа, что ничем не могу быть вам полезен,— проговорил директор, возвращая нам наши прошения,— все, что могу — это предложить вам поступить ко мне в канцелярию.

— Чем заниматься? — спросил я.

— На первых порах подшивать бумаги, а потом...

— При чем же тут наше инженерство?

— А уж ни при чем, конечно,— вот это снять придется,— дотронулся директор до моего значка.

Что ж это?!

— Очень жаль,— вспыхнул я,— что мы пять лет тому назад не знали, что у вас есть вакантные места; мы бы тогда вышли из института, поступили к вам и за пять лет...

— Чем еще могу быть полезен? — грубо оборвал меня директор и, не дожидаясь ответа, скрылся за дверью.

Мы с Володькой переглянулись и, присев друг перед другом на корточки, залились самым веселым смехом.

— Нет, какая...— начал было я и подавился: дверь распахнулась, и на пороге показалась грозная фигура его превосходительства.

Не дожидаясь, мы бросились к двери.

— Ну, здесь ловко устроились,— говорил Володька, быстро шагая по панели,— если так успешно дальше пойдет, мы скоро составим себе блестящую карьеру.

Володька, хотя и шутил, но вместе с тем был раздражен.

— Так нельзя,— говорил он,— будем мы вместе шататься, ничего не выйдет: надо каждому отдельно пытать счастье.

На том и порешили.

Володька совершенно пропал с горизонта. Попробовал я было ткнуться в несколько передних,— везде то же: «Будем иметь в виду, очень приятно и прощайте».

Походил я недели две и решил ехать домой. Зашел к Володьке и, по обыкновению, не застал его дома, оставил записку, что завтра уезжаю.

Утром на другой день Володька приехал и проводил меня на вокзал.

— Ну что, как дела? — спросил я.

— Идет! — уклончиво ответил Володька.

— А у меня ничего не выгорело,— пожаловался я.

— Гм...— промычал в ответ Володька.

Вот и третий звонок. Мы горячо поцеловались, и толстый Володька неуклюжей, но проворной походкой быстро направился к выходной двери. Я уныло провожаю его глазами. Трогается и мой поезд. В окнах мелькают знакомые картины предместий Петербурга.

Скучные мысли ползут в голову.

Как быстро пролетело время! Давно ли, давно я подъезжал впервые, пять лет тому назад, к этому Петербургу! Пять лет промелькнули как пять листочков прочитанной книги. Я ехал тогда и мечтал, что в эти пять лет я приобрету себе знание, которое даст мне возможность ни от кого не зависеть... Но знаний нет, нет и опыта. Давно, еще в гимназии, потерян аппетит к работе, и, если тот или другой директор не сжалится и не даст мне кусок хлеба, я пропал. Ах, он, может быть, и будет, этот кусок хлеба,— ведь живут же как-то все люди,— будет, может быть, и большой, я его выпрошу, бабушка наворожит... Назад бы, к началу этих пяти лет,— за работу!

Ох, не назад, а вперед и вперед все с ускоряющейся быстротой по болотам и кочкам мчится поезд... Нет дороги назад!..

НА НОЧЛЕГЕ

Короткий зимний день подходил к концу. Потянулись темные тени, вырос точно оголенный лес, белым снегом занесенные поля стали еще сиротливее, еще неуютнее.

Я в последний раз пригнулся к трубе теодолита, но уже ничего не было видно. Рабочие лениво ждали обычного приказания.

— Баста!

Складывают геодезические инструменты, топоры, побежали за санями.

Я и мой помощник совещаемся, где ночевать нам. Решаем ночевать в только что пройденном поселке.

В Ярославской губернии почти в каждой деревне вы встретите несколько богатых домов, владельцы которых— разного рода подрядчики (маляры, столяры)—живут сами с семьей в Питере, а дома оставляют на какую-нибудь старую родственницу.

Дома хорошие, двухэтажные, родственница живет где-нибудь в подвале, в конурке и на совесть стережет хозяйское добро. Добро оригинальное и разностороннее: какой-нибудь старинный подсвечник или редкие бронзовые часы рядом с самодельным диваном; какая-нибудь ненужная здесь из богатого дома безделушка и громадная, половину комнаты занимающая печь. Все это достаточно некрасиво, безвкусно, ярко и неуютно. И все напоказ.

На ночевку впускают охотно, не хотят рядиться с вечера, а утром требуют столько, сколько стеснились бы попросить даже в столичной гостинице.

Но в выбранном нами поселке ни одного такого дома не оказалось. Мы за день достаточно продрогли и потому, не теряя времени, остановились перед первой, ничем не лучше, не хуже других старенькой избой.

Мы вошли в нее. Посреди избы стоял прядильный станок,— он работал, шумел, и во все стороны разлеталась от него пыль. Крупные частицы ее тут же опускались на пол, на стол и скамьи, на платье, а мелкая так и стояла в воздухе, погружая избу, несмотря на горевшую лампочку, в удушливый полумрак.

Казалось сперва, что в избе никого не было.

Но на вопрос: «А что, можно у вас переночевать?»— поднялись сразу несколько фигур, и маленький корявый крестьянин спросил, бодрясь:

— А вы чьи?

— Мы изыскания делаем: линию наводим.

Этого было достаточно.

Крестьянин, успокоенный, скрывая даже удовольствие, ответил с напускным равнодушием:

— Что ж?.. Милости просим... Самовара только нет. Окромя писаря и во всей деревне нет.

— А попросить у писаря?

Крестьянин почесал затылок, подумал, опять почесал и решительно проговорил:

— Не пойду!

— Чего не пойдешь? — спросила спокойно, в упор пожилая изможденная высокая женщина, оставляя работу у станка.

И, помолчав немного, она бросила мужу укоризненное восклицание и начала торопливо натягивать на себя тулуп.

В дверях, накидывая уже платок, она бросила нам: — Будет самовар! — и исчезла.

Мы разделись, внесли наши вещи, достали свечи, хлеб, закуски и, присев за стол, принялись за свой обед.

За день ходьбы аппетит нагуливается хороший, и, хотя и мерзлое, мы едим, усердно жуем, глотаем и в то же время знакомимся с окружающим.

Корявый крестьянин — глава — оставался и при более ярком освещении все таким же корявым.

Всклокоченный и напряженный, он напоминал собой загнанного петуха, совершенно помятого, но готового, несмотря на это, отстаивать и дальше свою позицию.

Эта взвинченность — явление заурядное в теперешней обстановке деревни: нужда лезет во все щели, и вконец обесцененной работой не заткнуть этих щелей.

Старшая дочь села за станок. Такое же испитое, зелено-желтое лицо.

Остальные обитатели один другого меньше, до пятилетнего, и у всех тот же болезненный, изнуренный вид.

Впечатление какого-то походного, где-нибудь на войне, лазарета выздоравливающих тифозных.

Еще бы: такой ужасный воздух!

— Зачем вы этот станок в избе держите?

— А куда же его?

— В пристрой.

— Пристрой — построй, — обидчиво бросил хозяин и завозился с таким решительным видом над куском кожи, что я на время оставил его в покое.

Он заговорил сам нехотя и раздраженно:

— В этой не знаю, как усидеть,— того и гляди свалить велят...

— Кто?

— Кто?.. Мир. Вишь, не по планту изба, а что такое не по планту? Только и всего, что место приглянулось, у кого мошна потуже... Тебе ни строить, ни чинить не дают: как развалится — уходи...— Хозяин нервно хватается руками и опять складывает их.— Да... вот так и уйду: ночью и выхожу на починку, так и тянем... Да, вот так и ушел тебе: небойсь.

Хозяин жаловался на мир, порядки, а я слушал.

Кто знаком с деревней, тот знаком с такого рода жалобами. И нельзя не признать основательности таких жалоб, конечно.

Я сижу и вспоминаю.

Человек двадцать лет платил выкупные за надел: умер — и семья его нищая. С вдовы мир торопится сорвать все, что может, и пускает по миру ее и детей. Когда

дети вырастут (только мальчики), они сядут опять на землю, но до тех пор они могут и умереть с голоду.

Страховку фабричного получит семья; состояние в остальных сословиях — частная собственность; только крестьяне лишены ее. Неравенство в сравнении с другими, говорящее громко за себя. Игнорировать его — грех, и тяжелый.

Это пример из имущественных отношений. Я не говорю уже о круговой поруке. Не лучше живется в деревне и в других отношениях. Мальчик, пастух, научился грамоте, сделался миссионером и сдал, наконец, экзамен на священника.

Кто знает деревню, знает, какую страшную волю нужно, чтобы в глухой, без школы, деревушке проделать все это.

Труд Ломоносова бледнеет перед этим трудом.

Я знал этого человека. Сколько стадной ненависти встретил он на своем пути.

— А, ты умнее отцов хочешь быть?! Врешь, не будешь!

И добились своего: не пустили в попы. Шестьсот рублей недоимки насчитали на его семью.

— Уплатишь, — иди.

Уплатить было нечем, и теперь этот выдержавший на попа пьет горькую, валяется по кабакам, а деревенская мораль в лице своих представителей показывает на негодного пьяницу:

— Хотел умнее нас быть!

Станок стучит однообразно и мерно, летит пыль, девушка раскорякой сидит, работает ногами, высоко подняв их и перегибаясь то в ту, то в другую сторону, то и дело бросая челнок. Сколько быстрых движений и каких разнообразных и неудобных: одна нога так, другая иначе, перегнулась в одну сторону, что-то делает рукой, а другой, неудобно занесенной, ловит челнок.

И все это быстро, быстро.

— И дети работают?

— Как же можно детям? Только эти трое.

Хозяин показал на трех девушек.

— Этой сколько? — спросил я, указывая на младшую.

— Тринадцатый, — бойко ответила белокурая с рыбьим некрасивым лицом девочка.

— Так что ж,— огрызнулся хозяин,— в невесты глядит.

Стук утомлял, пыль раздражала.

— А когда вы кончаете работу?

— Никогда и не кончаем.

— Как! День и ночь?

— Ведь дежурят: их с матерью четыре смены.

Дверь отворилась, клубы морозного пара задвигались по избе, а за ними показалась и хозяйка с самоваром под мышкой.

— Дали?! —усмехнулся вдруг повеселевший хозяин.

— Ну, вот и чайку напьемся,— сказал я.

Хозяйка принялась ставить самовар, а хозяин вышел во двор.

— Для кого вы ткете?

— На фабрику, купцу,— ответила хозяйка.

— Много зарабатываете?

Хозяйка не сразу ответила.

— Полтора рубля в неделю.

— Это сколько же в день? В воскресенье не работаете?

— В праздник девушки на себя работают.

— В сутки, значит, двадцать пять копеек, по копейке за час?

— Этак.

— На работника по шести копеек.

— А привезти да отвезти пряжу? Еще два дня с мужиком да с лошадью прикинь.

— И тяжелая работа?

— Нет ее тяжелее.

— А воздух какой? От него ведь недолго проживешь на белом свете.

— Вот в Абрамовском сам купец особый дом выстроил,— у всякого свой станок... Там хорошо... И челночок самолет устроил: сам челночок перепрыгивает, а здесь видишь как — изломаться пять раз на минуту всем телом надо... И проворная работа: в три раза скорее против нашей.

— Что ж у себя не заведете такого самолета?

— Где завести? Десять рублей такой челнок стоит — где их взять?

— Десять рублей? А сколько лет уже работает самолет?

— Лет сорок работает.

— А вы давно работаете?

— Я-то?

У нее умное длинное белобрысое лицо. Она поднялась от самовара, спрятала руки под мышки и с удовольствием вспоминает.

— Тридцать второй год.

Она опять быстро наклоняется к самовару, и я снова вижу только ее костлявую, длинную спину в грязном сарафане.

Я начинаю подсчитывать.

Челнок-самолет в три раза быстрее: в неделю на три рубля больше... в месяц двенадцать рублей, в год сто сорок четыре. В тридцать лет четыре тысячи пятьсот рублей. В пятнадцать лет капитал удваивается — итого до девяти тысяч рублей сбережения.

Я совершенно ошеломлен и делюсь впечатлением с хозяйкой.

Она бросила совсем самовар, подсаживается ко мне и начинается проверка моих вычислений. Мы по нескольку раз возвращались назад, она впилась в меня, и когда, наконец, снова получается девять тысяч сбережения, она замирает и так и сидит недоумевающая, огорченная.

— У вас была бы такая пенсия, такое состояние...

Она напряженно думала и вдруг, встав, равнодушно сказала:

— Суета бескорыстная...

— Как вы сказали?

— Говорю: суета бескорыстная вся наша работа.

Она отошла к самовару и то рассеянно, то убежденно все повторяла:

— Суета бескорыстная.

Хорошее выражение.

А от станка все так же несется пыль, забиваясь плотнее в углы старой избы и в грохоте и стуке его, точно эхо, по слогам кто-то повторяет в душной, смрадной избе:

— Суета, суета, суета.

С рассветом мы покинули избу в тот момент, когда за станок усаживалась новая заспанная очередная, и, уже за окнами, я все слышал еще знакомое:

— Суета, суета, суета...

И долго еще я не мог отделаться от мысли и об этом станке, сорок лет тому назад выдуманном, с его стоимостью в десять рублей, и об этой семье, пристегнутой еще к деревне и уже тяжело и грубо отрываемой от нее иной жизнью.

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Ярко сверкает в прозрачном воздухе даль берега, льет солнце свои лучи на море, горы, сады уже покрыты желтой красно-бурой листвой осени. Только высокие тополя еще не тронуты, да кипарисы вечно зеленые, насторожившись, смотрят в свежее, точно умытое небо.

Город раскинулся у самого берега. Из тесной запруженной татарскими можарами улицы базара несутся нестройный говор, шум и крики. Смешанный запах зелени, чеснока, на постном масле жаренной рыбы. Цветными пятнами лежат груды капусты, баклажан, помидор, дынь, арбузов, разных фруктов.

Выше над базаром серые скалы поднялись до самого неба и замерли в нежном узоре.

На одном из выступов прижалась к скале белая мазанка с плоскою крышею, маленький двор, заполненный весь выпряженными роспусками.

Утро. У раскрытого окна мазанки сидят хозяева — Анна и Андрей Суворовы. Андрей угрюмо пьет чай,— крупный, тяжелый, сгорбившийся от собственной силы, лет сорока, весь заросший черной с проседью бородой.

Анна, полная, сырая, растерянная, с недоумевающими глазами пьет и вздыхает и все думает и думает об умершей своей трехлетней Асе.

С тех пор, как умерла Ася, и лошадь купили, и биндюг,— и стал Андрей сам хозяином, а от всего этого еще тяжелее на душе. Пока жила Ася, беда за бедой надвигалась, нужда такая была, что иной день и сухому куску

рады были. Жила Ася и не знала ни одного радостного дня,— так и ушла к богу, и никогда не порадовали ее ни обновкой, ни пряником.

Перед самой уже смертью зашел татарин с красными петушками, подал один Асе и говорит Анне:

— Купи больной.

Схватила тоненькими прозрачными пальчиками петушка Ася и радостно смотрит на него.

Мать говорит ей:

— Отдай, дитятко, петушка. Вот отец заработает, лучшего купит.

Ася держит, будто и не слышит.

— Отдай, родная.

Вздохнула — отдала.

Пьет чай Анна, а мутные слезы капают в блюдечко: слава богу, хоть не видит Андрей.

Видит.

И горько рассердился на жену:

— Что уж это за треклятая моя жизнь такая, что должен я век свой только видеть твои слезы?! Можно разве так жить?! Камень на шею и в омут и то лучше же...

Испугалась жена. Голос хриплый, встал из-за стола, закорузлыми руками размахивает и пошел запрягать лошадь.

Вдоль моря светлой лентой вьется шоссе. То подвинется к самому обрыву, где там внизу, между острых скал, беспокойно море плещет, то уйдет в горы и исчезнет в пыльной листве садов.

Медленно, грохоча и подпрыгивая, едут роспуски. Лошадь лениво, шаг за шагом тянет их в гору, отбиваясь от невидимого врага — какой-то маленькой, но злой мушки: машет хвостом, трясет гривой и головой, а то приостанавливается и энергично топнет ногой.

Боком, спустив ноги с роспусков, так что они то и дело касаются пыльной дороги, сидит угрюмый Андрей. Громадная фигура его, как шлемом, одета мешком. Глаза Андрея машинально смотрят на море, ограды садов, скалы, на покрытый серой пылью щебень, правильными призмами выложенный вдоль дороги.

Думает он, что вот прежде, бывало, в праздник с кумом рыбу ловил. Наловят бычков, а то и камбалу поймают, уху сварят, камбалу сжарят, уксусом польют, водки выпьют и съедят. А перед тем выкупаются, а после еды заснут тут же под шум моря, под теплым солнышком. И спят они, спит с ними с открытыми глазами золотой день, синее море, серые скалы. А к вечеру домой: ужин, Ася...

Да, вот Ася... Ему-то полгоря, а вот то, что баба точно потеряла себя,— это уж беда, от которой никуда не уйдешь. Нет, не уйдешь... Были бы молоды, другую бы Асю нажили... А теперь ходи, пожалуй, после времени по малину. Так вот жизнь вся позади и мотает уж ветром, как посохшую, никому не нужную траву...Ночью, бывало, проснется Ася и начнет трясти за бороду:

— Тато, тато...

И не было гнева. Поцелует ее, погладит жесткой рукой по головке, а как охватит она его ручонками за шею, да как прижмется, так и обольет сердце радостью, как теплой водой. Так и заснут отец с дочкой. И пускай завтра дождь и каторжная работа, нужда и долги...

Эх, все свое теперешнее богатство отдал бы он, чтобы опять воротить то время... Э-эх!

Сплюнул Андрей, тяжело отхаркнув набившуюся в рот пыль, и поднял глаза.

Стоит перед ним на крутом повороте женщина с чем-то завернутым в тряпки, стоит так, как будто горячий уголь у нее под ногами, и голосит, не помня себя:

— Дяденька, а дяденька... где тут балка и камень большой?

Платок сдвинулся у нее, волосы торчат, а глаза, как рыбки на полу прыгают, и бьются, и замирают в страшной истоме. А из тряпок детский писк несется. Впился Андрей глазами в женщину, и замерло вдруг в нем все, и не он, а другой кто-то, как во сне, пытает ее очарованным голосом:

— А большой камень надо?

И рыдает ее голос, и дрожит она вся:

— Ох, большой, дяденька, большой...

— И скоро надо?

— Ой-ой, скоро! Скоро!

И страшно стало.

— Садись!

Посадил, повернул и погнал домой.

Только и спросил дорогой:

— Мальчик, девочка?

— Девочка.

— Крещеная?

— Нет.

Приехал, отворил дверь. Стоит посреди комнаты его толстая сырая Анна, и смотрит на него, на еле живую чужую женщину.

Протянул Андрей руку к кровати:

— Ну! Вот тебе камень...

И с безумным воплем радости и горя бросилась женщина к кровати, положила свою ношу и, не оглядываясь, выскочила и исчезла там, в блеске праздничного дня.

— А тебе бог новую Асю послал...

Кинулась Анна к кровати.

— Го-го-го! — голосит она над развернутыми тряпками.

Говорит Андрей:

— И что за народ эти бабы? С горя воют, с радости воют.

А Анна уже перед ним на коленях, целует его руки:

— Голубчик ты мой, голубчик! С виду неласковый, а все-то ты видишь, понимаешь... Го-го-го!!

В тот же день окрестили, назвали Асей. Весь базар сбежался на крестины, все дела бросили, полную шапку денег на крестик собрали.

Успел Андрей и кума разыскать и на рыбную ловлю с ним отправиться.

И счастливый день выдался.

Наловили бычков, камбалу поймали.

Пока варилась уха, друзья пили водку, и Андрей говорил своему другу:

— Как это она спросила меня про балку да камень, так точно темная вода с глаз моих сошла. И стал я видеть все нутро у нее и все, что она задумала, и на что ей камень большой. И страшно мне, и радостно, и — господи боже

мой! — что за день вышел... Ведь ты считай: одна душа от смерти спасенная — раз; другая от погибели вечной своей жизни — два; третья — жена моя опять нашла, что душе ее надо было — это три; а я? Опять будет кому и меня за бороду по ночам таскать... И все сразу! Одним днем вся жизнь перевернулась наново! Ой, и напьюсь же я сегодня!

А кум отвечал:

— Если при таком случае не напиться, так когда же напиться?

И оба друга действительно так напились, что добрая часть ночи ушла, пока, наконец, они поплелись домой.

Как при этом не свалились они в овраг, не разбились о скалы,— объяснить можно разве только тем, что малого да пьяного бог бережет.

КОГДА-ТО

I

...Когда отворилась дверь и я вошел в столовую, Наталья Александровна вскрикнула и уставилась в меня своими большими черными глазами:

— Я вас не узнала... Отчего я так испугалась?

— Вы испугались меня?..

Она подумала и сказала:

— Вы мне показались черным...

— Черным?..

Я думал об этой встрече и, быть может, хотел показаться ей совсем другим...

— Вам налить чаю? Крепкий? Сколько кусков сахару?..

Рассеянный, безучастный взгляд, голос...

— Я сейчас в театр иду... Ваша комната готова... Если хотите, я позову к вам мужа...

— Ему лучше?

— Все так же... Я сейчас... пойду, посмотрю...

Она встала, захватила с собой мешочек с биноклем и ушла. Среднего роста, худенькая, стройная, в черном с кружевами платье... Эти кружева как будто говорят о желании нравиться, о чем-то более легком, чем равнодушный тон и серьезное без игры лицо...

А может быть, это лицо было бы совсем другим, если бы я показался ей другим?..

А что такое «я»? И почему непременно — я? Почему ей

ждать меня, когда и муж есть, и всех других к ее услугам столько же, сколько... сколько красивых и молодых людей будет, например, в театре, куда она идет?..

Она вошла и сказала, что муж спит...

— Пойдемте, я покажу вам комнату... приготовленную для вас.

Комната большая, прямо из передней, а по ту сторону передней — их домашние комнаты; рядом с моей — гостиная, из гостиной — ход в столовую...

— Эту дверь, в гостиную, вы можете запереть... Впрочем, у нас никого почти не бывает,— вам будет спокойно... Это — комод, шкаф... ящики в столе запираются...

Она говорила рассеянно, очевидно не думая о том, что говорила...

— Отчего вы мне показались черным?

Что-то лукавое — в ее лице... Она уже готова улыбнуться... Но все-таки не улыбается... Она говорит с раздражением:

— Ах, как я испугалась... Заприте за мной дверь!..

Я вышел за дверь. Она была уже на площадке лестницы. Обернувшись, она посмотрела мне в глаза, покачала головой и бросила:

— Мне так не хочется идти в театр...

— Так не ходите!

Она помолчала, серьезно по-товарищески сказала «надс» и пошла. Я стоял на площадке и смотрел, как спускалась она по лестнице. Дом был новый, лестница широкая, светлая, было тепло... Ее стройная фигура опускалась по ступенькам, и я видел ее маленькую с высоким подъемом ножку. Она чувствовала, что я смотрю, любуюсь ею, она знала это и не хотела поднимать головы. Только при последнем повороте, как будто против воли, подняла она голову и так холодно посмотрела, что я, назвав себя мысленно дураком, ушел в квартиру и запер дверь.

И только что запер,— опять звонок:

— Скажите девушке, чтобы приготовила самовар к двенадцати... Пусть купит что-нибудь к чаю...

И опять внимательный и в то же время недоумевающий взгляд. Я намеревался сейчас же приняться за

чемоданы и навести кое-какой порядок в своем маленьком хозяйстве, но что-то меня удерживало: я думал о театре, и меня тянуло туда, в залитый огнями зал, где много народа, шумно, где — она... Кто она?.. Неуловимый, едва обрисовавшийся, едва коснувшийся меня призрак... И даже не коснувшийся: недоумевающий, неудовлетворенный...

Тихо... Тикают в столовой часы и сильнее подчеркивают тишину квартиры... Шаги человека в туфлях: «муж»!.. Дверь отворяется: высокий, сгорбленный, худой, в халате... Лицо длинное, острое, острый нос, редкая клином бородка. Молодой.

Глухой голос, руки большие, костлявые, с крючкообразными загнутыми ногтями...

Я смотрю на эти ногти и вижу, как будет он лежать в гробу, и высоко на груди у него будут сложены эти руки с бледно-мертвыми, большими, загнутыми книзу ногтями...

Чувствовалось что-то болевое, обиженное до смерти...

Я посмотрел на часы и сказал:

— Уже одиннадцать... Наталья Александровна просила к двенадцати самовар и что-нибудь к чаю...

— Теперь поздно: наша лавка заперта уже.

— А что купить? Я пойду в большие магазины...

Он пожевал и не спеша ответил:

— Она любит рябчики холодные, икру...

Она любит... Непременно надо рябчиков и икры! Он запирает за мной дверь, я заботливо напоминаю ему о самоваре и через две ступеньки лечу по лестнице... Неожиданно вздрагиваю: передо мной — Наталья Александровна.

— Куда вы?

Я обрадованно сообщаю о рябчиках и икре. Она устало отвечает:

— А я не досидела... Скучно...

Мы стоим друг против друга.

— Как хорошо на воздухе! — задумчиво говорит она.

Я хочу предложить ей поехать вместе за рябчиками, но не решаюсь и смотрю ей в глаза, странные, недоумевающие.

— Что вы так смотрите?

Я опускаю глаза.

— Я вас не стесню, если поеду с вами?

— Вы?.. Меня?!.

В моем лице, в моем голосе столько радости, что и она оживляется...

Мы едем. Плохой извозчик... Переменили на хорошего... Летим... Мы в магазине, в булочной. Она удерживает меня от мотовства, мы весело смеемся и смотрим друг другу в глаза... Это лицо, глаза совсем не те, которые смотрели на меня, когда я впервые вошел в столовую.

Мягкая зима, нежный ветер, и пушинки снега падают на руки, лицо и ресницы. И тогда свет электрических фонарей горит, как в призме, и так ярко, рядами вырастают громадные освещенные дома набережной. Я слегка обхватил ее тонкую талию и боюсь прикоснуться сильнее. Ощущений самых тонких, самых неуловимых — миллион, но слов нет, и говорить не о чем... О чем думает эта головка, прячущая лицо за муфтой и какое лицо за этой муфтой?.. Я стараюсь вспомнить это лицо: я совершенно забыл его, не помню; около меня какой-то чужой человек, которого я не знаю, который меня не знает, но которого почему-то я хочу, заставляю себя знать. Зачем?.. Для того, чтобы вышла из всего этого какая-нибудь пошлость. Сохрани боже...

— Едем домой.

Едем, моя дорогая, и я убью самого себя, если когда-нибудь дурное придет мне в голову. И теперь мне ясно, кто она: страдающая, с разбитой уже жизнью, когда и жить собственно не начинала.

А там тот, умирающий, с своим раком или чем-то в этом роде в желудке.

Тяжелая драма, и кто знает, кому из них тяжелее?

И, как будто слушая мои мысли, она вздохнула и на мгновение прижалась ко мне. И от этого движения сердце сразу остановилось и дрожь пробежала по всему телу. Ах, как хотелось знать, что чувствует она в это мгновение, понимает ли, или, вернее, действительно воспринимает ли мои мысли, чувства, говорит ли со мной, пока мы так едем, молчаливые и напряженные? А если бы вместо пустых слов сказать вдруг, что думаешь? И если

бы вдруг все люди заговорили и языком, и глазами, и всем существом своим заговорили бы одно, только правду: что сталось бы с ними, с миром, со всей нашей жизнью? Что-то другое, совсем другое... Лучшее или худшее? Лучшее уже потому, что оно неведомое, новое, от которого захватывает дыхание и кажется, что растут крылья.

Стой!

Мы приехали.

Знакомая уже лестница, тепло, свет, запах новой стройки.

Ее маленькое ухо, то, которое с моей стороны, в огне и кажется прозрачным. Снежинки тают на волосах и горят, как бриллианты. Она иногда поворачивается и смотрит на меня, и свежий румянец оттеняет ярче и белизну лица и блеск черных больших глаз.

— Порядочно натратили? — спрашивает она, нажимая звонок.

— О, это из тех денег, которые для этого и предназначены.

— И много предназначено?

— Дядя подарил мне билет в тысячу рублей, и он весь будет так истрачен.

— Ведь вы сразу всё истратите. Лучше отдайте мне, и я буду давать вам по частям.

— С наслаждением.

И я, опустив пакеты, хотел достать билет.

Она остановила меня и сказала:

— Потом.

Она рассмеялась, и я рассмеялся.

Дверь отворил сам муж и стоял в халате, согнувшийся, с открытым ртом. В зеркале напротив отражались мы все: он, она и я.

Контраст большой: там смерть, здесь жизнь.

— Если бы я его не удержала, он купил бы весь магазин... Ему дядя подарил тысячу рублей, и я их беру у него под свою опеку.

— Так, так,— не то улыбаясь, не то показывая зубы, говорил муж, пятясь и кутаясь в свой халат.

В столовой на чистой скатерти уютно шумел горячий самовар, стоял чистый чайный прибор, и Наталья Алек-

сандровна, заваривая чай, говорила, что с удовольствием напьется чаю.

Я развязывал пакеты, а муж сидел, стучал ногтями о стол и с полуоткрытым ртом, с любопытством следил за содержимым в пакетах.

Потом стали пить чай и есть.

Наталья Александровна опять ушла в свой мир, рассеянно прихлебывала из чашки и почти ничего не ела.

Муж ел много, с аппетитом, и икру, и рябчики, и сыр, и фрукты, и пирожные. Ел руками и на замечание жены, что ему вредно, отвечал рассеянно:

— Ничего, матушка.

II

Дни пошли за днями. Я свой последний год ходил в университет, ездил с Натальей Александровной в театр, катался с ней по островам. Она до безумия любила быструю езду, любила острова.

— Боже мой, как прекрасны они весной,— говорила она, когда мчались мы с ней, и с обеих сторон, наклонившись под тяжестью снега, стояли высокие ели, а там, в просвете между ними, голубое небо сверкало, и мерзлый снег хрустел, и снежная пыль осыпала нас,— как чудны они весной, когда распускаются береза и душистый тополь.

В общем, впрочем, говорила она редко. Обыкновенно же, точно просыпаясь, бросала несколько слов и опять погружалась в свои мысли или чувства и ощущения.

Я был говорливее и уже успел рассказать про себя все, что знал.

Она молчала, слушала и думала.

Мы не сговаривались, но оба мужу не говорили ничего о наших поездках.

Она только как-то бросила мимоходом:

— Мы ничем не связаны друг с другом.

Я подумал бы что-нибудь, если бы это не было сказано таким равнодушным и безучастным тоном. Да и вообще я ни о чем не думал, кроме как о том, чтобы она не

заподозрила во мне каких-нибудь грязных поползновений.

Даже надевая ей на ноги калоши — прежде я никогда не надевал никому,— я корчил такую свирепую физиономию, что она сказала однажды:

— Я не позволю вам больше надевать калоши.

— Почему?

— Вам неприятно это.

— То есть?

Я хотел говорить, но только развел руками. Не говорить же, что ее красивая нога вызывала во мне особое ощущение, такое, точно огонь вдруг разливался в жилах, спиралось дыхание, и надо было громадную силу воли, чтобы все это подавить. Как надо было подавлять охватывавший меня вдруг порыв к ней, безумное желание вдруг броситься и начать целовать ее, ее волосы, плечи, всю ее, прекрасную для меня в эти мгновения.

А иногда я ничего к ней не чувствовал,— решительно ничего, и от этого сознания испытывал удовлетворение.

Как-то вечером муж, почти не выходивший из дому, уехал к товарищу.

Мы с ней собирались было в театр, но, проводив мужа, она сказала:

— Может быть, останемся дома.

Мы остались, пили чай, разговаривали, она играла на рояле и вполголоса пела.

У нее был нежный голосок, но очень небольшой, и лучше всего выходило, когда она тихо, как будто про себя, напевала. Тогда ее головка, античная, как головка богини, наклонялась к нотам, и глаза мягко смотрели.

А потом она сразу бросала и, вставая, говорила что-нибудь в этом роде:

— Ах, какое прелестное платье я сегодня видела.

Начиналось описание платья, она оживлялась, но когда замечала, что это мало меня интересует, говорила с упреком:

— Вас это мало интересует? А я люблю все красивое: статую, платье, выезд, цветы... Цветы я люблю до безумия...

— Какие?

— Всякие. Больше всех чайную розу.
— Есть духи такие.
— Из духов я люблю — омелу.
— Омелу? С ветками омелы шли во Франции республиканцы, омела одна из всех растений в мире дала свой яд Локи...
— Не знаю. Кто такой Локи?
— Бог скандинавской мифологии...
Она помолчала и спросила:
— Вы все знаете?
— Я ничего не знаю,— ответил я.
— Ах, как я люблю...
Я сгорел было, но она кончила:
— ... когда ничего не знают.
А потом она, может быть, поняла, что происходило во мне, и покраснела вдруг, и на мгновение я почувствовал острие ланцета в своем сердце.
А потом она стала напряженная, задумчивая, чужая...
Так постоянно у нас бывало.
Какой-то прерывающийся тон. Появится и оборвется. Иногда долго не обрывается. Я, с своей стороны, употреблял все усилия, чтобы не прерывать его, даже и тогда, когда был в полосе равнодушия. А она никогда не стесняла себя: как чувствовала, так и чувствовала. Вследствие этого получалось неприятное впечатление неожиданного перерыва. И не скоро потом она возвращалась к тому, чего так хотел я. Возвращалась как будто помимо своей воли. Смотрела недоумевающими, спрашивающими глазами. Я приходил в отчаяние, что не понимаю ее настроения и сам порчу его. Как будто вдруг я терял ее, и страх овладевал мной оттого, что я больше не найду ее. И, когда я терял всякую надежду, я вдруг находил ее и с ней все, чего хотел я, все, что в ней было дорогого мне, и в размерах больших, чем прежде. В такие мгновения я хотел бы целовать хоть край ее платья или упасть на колени и молиться.
И, конечно, не только ничего подобного не делал, но употреблял все усилия, чтобы она не догадалась, что происходило во мне, и, догадавшись, не лишила бы меня навсегда права быть с ней, говорить, чувствовать радость и восторг от ее присутствия.

И в то же время, если бы меня спросили или если бы я сам себя спросил, что я чувствовал, как я чувствовал ее, я должен был бы ответить: никак.

Пока она здесь, ощущение сильное от ее лица, глаз, волос, фигурки.

Но нет ее, и я не только не мог собрать в памяти черты ее лица, но не чувствовал даже ее, просто, как человека.

Она улетучивалась вся без остатка.

В тот вечер, когда мужа не было дома, она вдруг спросила меня: думаю ли я, что она любит своего мужа?

— Не знаю.

— Разве можно любить больное, умирающее тело? — спросила она, прямо смотря мне в глаза.— Два года уже он так болен... Подозрительный, ревнивый.

— Он ревнивый?

— О, он другой там в своей спальне... Я больше не сплю с ним...

Я молчал.

— Я давно его не люблю... И после него уже любила...

— И теперь любите? — спросил я.

— На этот вопрос я не отвечу.

«И не надо»,— подумал я и в первый раз обиделся. Конечно, я старался скрыть эту свою обиду. Тем легче это было, что она опять начала играть и играла до звонка мужа.

Он так, несчастный, тяжело дышал, так жаль его было. Наталья Александровна ушла спать, а мы с ним просидели еще очень долго. Он рассказывал о своих впечатлениях у товарища, о далеких временах своего ученья, о тюрьме.

III

На другой день, когда, по обыкновению, вместо университета я поехал на острова с Натальей Александровной, она бросила мне:

— Сегодня ночью он хотел, чтобы я опять любила его. Это ужасно...

Я все еще дулся на нее и сказал равнодушно:

— Отчего вы не разведетесь?

— Но разве можно бросить его в таком положении? Начать с того, что у него никаких средств, он страшно самолюбив... Я раз попробовала намекнуть на то, чтобы положить его в больницу,— что было...

Я думал: «Ты холодная».

Она промолчала и тихо про себя сказала:

— Я так устала.

И вдруг она положила мне голову на плечо и мне показалось, что она плачет. Я взглянул: она действительно плакала. Слезы длинные, без перерыва текли из глаз и лились по лицу, по носу, на пальто ее.

Я схватил ее за руки, приблизил свое лицо к ней и страстно заговорил:

— Наталья Александровна, я отдал бы жизнь, чтобы вы не плакали, чтоб только видеть вас счастливой, веселой...

Мне хотелось обнимать, целовать ее лицо, руки, я смотрел и смотрел ей в глаза, чувствуя ее близкой, дорогой себе, такой дорогой.

— Наталья Александровна, если бы вы заболели, если бы вы умирали сто лет, я бы обожал вас еще сильнее оттого. В том-то и дело, что вы не любите его, и не оттого, что он болен, а оттого, что и раньше вы его не любили...

— Я не знаю... Он умный, блестящий, самый блестящий между всеми товарищами: я выбрала его... И я думала тогда, что люблю его...

— Но потом, когда вы полюбили другого?

Она утомленно пожала плечами:

— Я думала, что люблю этого другого...

Мое сердце забилось при этом так, точно хотело вырваться, и я замолчал.

И вдруг я вспомнил, что я сказал только что ей: ведь я в любви ей объяснялся. А она: «я думала, что люблю этого другого»... только думала... Я замер и боялся дышать. Было жутко потому, что я чувствовал всем своим существом, что она уже моя. «А что мы будем делать с мужем и тем другим? И сколько их еще будет?» — вдруг промелькнуло в моей голове. Я знаю, что я не злой и не циничный, и растерялся, откуда во мне эта мерзость: на любовь, доверие отвечать цинизмом. Еще не владеть

и уже не уважать. Я выругал себя, как мог, и прогнал свои дурные мысли.

И тогда она, положив свою руку на мою, тихо сказала:

— Теперь мне так хорошо.

— Потому что вы слышали мои мысли и отвечаете на них, и я целую вашу руку.

Рука была в перчатке, и я поцеловал перчатку, а она сжала мою руку и быстро опять спрятала свою в муфту.

Она испуганно проговорила:

— Больше ничего не надо.

Не надо. Так не надо, что я согласился бы теперь очутиться в университете, с товарищами, где угодно, только не с ней. Я даже больше не думал о ней. Как будто ничего и не произошло.

И она себя так держала. Так держали мы себя и дома, приехавши. И все опять пошло так, как будто ничего и не было. Только там где-то в тайниках души мы знали, что было,— было, но брошено в бездну. И не я после слов «пока больше ничего не надо» полезу в эту бездну за тем, что уже было.

IV

Мы опять ездили в театр, на выставки, катались, по вечерам вместе с мужем читали громко, она играла, пела, переходя всегда резко и неожиданно от одного настроения к другому.

Так и вырисовывались для меня два человека в ней: нежная, ласковая, живое лицо; или холодная, сама не знающая, чего она ищет, чего хочет, готовая, как перчатки, менять тех, кого любит. А может быть, и просто пустая, легкомысленная и даже порочная. Но в общем тянуло к ней, и с ее стороны чувствовалось то же. Однажды мы неожиданно встретились с ней на улице и оба так обрадовались, в такой детский восторг пришли, так не боялись прятать то, что было у нас на душе, что пошли дальше, держась за руки.

— Сделайте мне подарок,— зайдем и купим розу.

Мы зашли в цветочный магазин, и я купил ей большую чайную розу. Я хотел красную, но она люби-

ла чайные: желтые с нежно-розовым налетом на лепестках.

— Но мороз ее убьет,— заметил я.

— Нет, я спрячу ее на груди.— И она отошла в угол, а когда спрятала, подошла и весело сказала:— Какая она холодная!

И от мысли, что роза касается теперь ее груди, кровь хлынула мне в голову, мои глаза вспыхнули, вспыхнули и ее, и мгновение мы, без страха быть узнанными друг другом, смотрели один другому в глаза.

О, как весело возвращались мы домой.

И когда пришли, и она, уйдя к себе, возвратилась торжествующая, с свежей розой в руках, и в доказательство, что она не замерзла, протянула ее мне, я взял эту розу и с восторгом поцеловал ее. Я смотрел ей в глаза, и ее глаза вспыхнули, как будто сказали «а-а», и замерли в таком же восторге.

И ее руки протянулись ко мне, вся она, как порыв, потянулась, и я прильнул к ее свежим от холода губам, не отрывая своих глаз, я видел замерзшую бездну в ее глазах, видел то, чего не видел раньше никогда, не видел, не ощущал и не знал.

А она, освободившись, говорила, задыхаясь:

— Но разве я виновата, что люблю все прекрасное! И посмотри, посмотри, разве можно не любить тебя.

И она повернула меня к зеркалу, мы смотрели в него и смеялись там друг другу, и опять я целовал ее так, что закружилась голова, и мы сели с ней на стулья как раз в то время, когда раздались знакомые шаги ее мужа в туфлях.

Он вошел. Она спокойно поправляла прическу, а я держал в руках чайную розу и не чувствовал никакого угрызения совести.

Он остановился в дверях, окинул нас холодным взглядом и с горечью в голосе, с неприятной улыбкой сказал:

— Сколько роз...

— Одна,— сухо ответила она.

— А на щеках...

— Глупости ты говоришь — гуляй, и у тебя будут такие же.

— Не будут.

Холодом смерти пахнуло.

— О, как это все ужасно...

И, наклонившись к столу, опустив голову на руки, Наталья Александровна зарыдала, вздрагивая, а мы,— муж и я,— стояли, пока она, вскочив, не ушла к себе в спальню, а мы в свою очередь, пустые, как с похорон, разошлись каждый в свою комнату.

Я ходил по комнате, смотрел на розу и думал:

«Мороз все-таки убил ее».

V

Мы приняли решение: мы любим,— мы жених и невеста, но до смерти этого несчастного ничего, что создавало бы фальшивое положение.

И не потому, что мы признавали какие-то его права, но потому, что не хотели унижать своего чувства.

Но сами собой отношения наши все-таки становились все ближе и ближе.

Иногда она, положив мне руки на плечи, говорила, смотря мне в глаза:

— Но это так тяжело...

— И здесь одно утешение,— отвечал я,— что, будь это иначе, было бы еще тяжелее.

Однажды она сказала:

— А если так протянется еще два-три года... Два уже прошло... И я стану старухой, которую никто больше любить не захочет...

— Я вечно буду любить.

— Ты какой-то странный. Ни с чем считаться не хочешь. Есть целая наука — физиология, в ней вечности нет. Пять—десять лет — и конец и молодости и вечности. Как будто ты девушка, а я мужчина... Какой полный контраст между тобой и тем другим...

— Ну, и иди к нему,— тихо отстраняя ее, отвечал я.

А она осыпала меня поцелуями и говорила:

— Как я люблю тебя, когда ты так обидишься вдруг...

— Я не обижаюсь, но, может быть, контраст действительно и большой: я люблю тебя, для меня ты где-то там вверху... я стремлюсь к тебе... Унизить тебя —

равносильно для меня ну... смерти... А тот, другой, может быть, искал только чувственного, и ты сама сознавала непрочность и ушла.

Она тихо ответила:

— Он ушел... Я слишком легко отдалась ему, и он не дорожил мной...

Она рассмеялась:

— Теперь он поет другое...

— А ты?

— Я уже сказала ему, что люблю тебя...

— И, несмотря на это, он продолжает надеяться? Если бы когда-нибудь ты меня разлюбила?

— Ах, какой ты смешной... Какой ты еще ребенок...

— Но тебе, очевидно, доставляет удовольствие, что он еще любит тебя?

— Да, конечно. Это меня удовлетворяет, и я счастлива, что люблю тебя, и он это видит, и я могу мстить ему теперь.

— За что?

— За то, что он считал себя таким неотразимым, за то, что считал, что ни я никого, ни меня никто полюбить больше не может... А полюбил ты, полюбил чистый, как хрусталь, идеалист, человек, который готов молиться на меня. И когда? Когда я начинала приходить совсем в отчаяние, что навсегда стану его игрушкой. А-а... Ты представить себе не можешь, что ты для меня, как безумно я люблю тебя!

И прежде, чем я успевал удержать ее, она уже стояла предо мной на коленях, прекрасная, как мадонна, с сверкающими глазами, и губы ее, как молитву, шептали:

— И ты еще сравниваешь себя с тем, унижаешь себя...

Никакое перо не передаст ее взгляд, и как любил я. Еще один такой взгляд ее я помню... И в очень необычной обстановке. Мы шли с ней под руку в театральном коридоре во время антракта. Вдруг она сжала сильно мне руку, и, когда я оглянулся на нее, она, забыв всю окружающую нас обстановку, смотрела на меня такими же восторженными глазами. Я невольно наклонился к ней и потонул в ее взгляде.

— Едем домой! Я не могу больше здесь оставаться...

Хочу тебя одного видеть, любить хочу... Едем ужинать куда-нибудь...

Но я поборол себя и уговорил ее ехать ужинать домой.

Дорогой она огорченно спрашивала:

— Отчего ты такой чистый?

Такие ее вопросы всегда вызывали во мне бессознательную тревогу души.

— Наташа, моя дорогая, со всякой другой я не был бы чистым... Но заставить тебя после неосторожного шага переживать потом тяжелое неудовлетворение...

— Зачем я не такая, как ты?

Она устало положила мне голову на плечо и замолчала.

А я что-то долго и много говорил.

— Ты знаешь,— перебила она меня,— мы сегодня в театре его встретили.

— Где? Когда? Отчего ты мне его не показала?

— Но я сжала тебе руку, а ты такими глазами посмотрел на меня, что я забыла все на свете...

VI

Был день Нового года. Скучный день визитов на родине, но здесь, в столице, где у меня никаких знакомых, было еще скучнее.

Скучала и Наташа и шепнула утром:

— Часа в три уедем за город и будем там где-нибудь обедать...

Где обедать?

Я не знал, где обедают, как обедают,— знал только, что третья тысяча, вчера полученная, лежала у меня в боковом кармане.

Наш кучер назвал нам несколько ресторанов, на одном из них мы остановились и поехали.

И она и я были в очень плохом настроении и всю дорогу молчали.

Я не знал, чего она хотела, но знал хорошо, чего я не хочу, знал и чувствовал, что то, чего я не хочу, сегодня случится.

Мы вошли в отдельный кабинет, и я спросил карточку.

Она наклонилась через мое плечо и сказала:

— Помни, что сегодня наш первый Новый год, и, если ты угостишь меня шампанским, я ничего не буду иметь против.

Она отошла к окну, возвратилась и, смотря мне в упор, сказала:

— И я заставлю тебя пить сегодня.

Кровь прилила мне к голове, и я, как во сне, сказал:

— Ну что ж, я буду пить.

Длинный обед тянулся очень долго. Дверь поминутно отворялась и затворялась: вносили сперва закуски, потом подавали что-то. Подали шампанское, и мы бокалами осушали его.

Молча, сосредоточенно, как люди, преследующие одну цель.

Когда подали кофе и ликер, она шепнула мне:

— Пусть он уходит и больше не приходит.

Моя голова была в тумане, я повернулся к лакею и медленно, раздельно,— быстрее я не мог себя заставить говорить,— сказал.

— Теперь уходите и не приходите больше.

— Слушаю-с.

Дверь захлопнулась. Я сидел спиною к двери, но знал, что мы теперь одни. Знал, что надо что-то делать. Надо, иначе мы навсегда останемся чужими друг другу. Нечеловеческим усилием я поборол себя и поднял на нее глаза. Она смотрела на меня и, улыбнувшись, протянула мне руку. Я взял ее руку и поцеловал. Что-то ни от меня, ни от нее не зависевшее руководило дальнейшим. Это что-то было одинаковое у нас обоих: так надо. Это «надо» заставило ее подвинуться ко мне, меня обнять ее, поцеловать, еще и еще поцеловать, пока не встретил я ее глаз. В эти глаза, как в двери, я вошел и познал, наконец, куда вели эти двери...

Мы уехали из ресторана. Я был в каком-то тумане.

Мы не поехали домой. Мы долго ездили по островам, заехали в другой ресторан, взяли кабинет с камином и просидели там до двух часов ночи.

Домой приехали в три, нам отворил муж, и лицо его было такое желтое и с оскаленными зубами, такое страшное, как будто он уже из могилы пришел, чтобы

приветствовать нас, новобрачных, и светить нам теперь своей желтой свечкой.

Все было так ясно, что мы, ни слова не сказав друг другу, разошлись по своим комнатам.

VII

Мы стали проводить ночи у меня в комнате. Она приходила, когда все в доме ложились спать, и уходила с первыми лучами дня. И я всегда в лихорадочном ожидании слышал, как она шла ко мне: сперва отдаленный скрип пола где-то в коридоре, потом ближе, в передней, и каждый раз после этого тишина,— это она стоит, затаив дыхание, и ждет: не выглянет ли муж? Последний скрип двери, и в мертвом просвете ночи что-то белое торопливо бросается ко мне в кровать.

Она точно пьянела.

— Ах, милый, милый, разве это не прекрасно? Зажги свечку... Будем смотреть друг на друга. Вот так...

Она лежала, облокотившись на голый локоть, и смотрела на меня. Глаза ее сияли, и вся она была вдохновенная и прекрасная.

— Сбрось же и ты это одеяло! Разве у нас не красивые тела, чтобы мы их закрывали! Ах, какой ты! Тебя испортило воспитание. Древние греки любили тело. И что может быть прекраснее их статуй? Когда мы будем во Флоренции, я тебе покажу Венеру. Но как ты слушаешь меня? Тебе неприятно?

Однажды она в такую минуту сказала:

— Ты полная противоположность с тем... другим... Ах, как это у него... Для него это был прямо культ...

— Уходи! Иди!

И прежде чем она пришла в себя, я заставил ее встать, сунул ей ее вещи в руки и выпроводил за дверь.

Она сперва растерялась, а потом впала в отчаяние ребенка и горько рыдала, умоляя меня:

— Не прогоняй, не прогоняй, прости меня, прости...

Но я был неумолим.

Я не помню, скоро ли я заснул, вероятно скоро и без мыслей. Я проснулся, когда уже было совсем светло.

Положив руки на кровать и на них голову, стоя на коленях, спала Наташа. Ее волосы были распущены, в позе, усталом лице были покорность и страдание.

— Наташа, Наташа, прости меня!

Она открыла глаза, и слезы полились по ее щекам. Тихо, не двигаясь, она шептала:

— Не прогоняй.

— Наташа, милая, ты можешь меня прогнать, а я разве уйду когда-нибудь от тебя!

— Не прогоняй,— упрямо повторяла она, страстно целуя мои руки.— Ты не знаешь, как ты мне дорог, как нужен. Ты мой свет, я молюсь на тебя. Ты мой повелитель, я твоя рабыня: не прогоняй... Бей меня, режь, но не прогоняй.

— Но бог с тобой, Наташа...уже поздно, нас увидят...

— Мне все равно...

В тот день на выставке, стоя под руку со мной около одной картины, она, прижавшись ко мне, шептала:

— О, если бы ты знал, какой ты был красивый сегодня ночью. Из твоих глаз пламя сверкало. Я обезумела от восторга, ужаса, любви... Я только сегодня поняла, кто ты для меня, как можешь ты заставить любить себя. Да, заставить! И ты можешь и должен!

VIII

Раз ночью вдруг раздалось шлепанье туфель, и в полуоткрытую дверь из передней проникла полоска света.

В одно мгновение Наташа соскользнула и исчезла в гостиной, дверь в которую никогда не запиралась. Я же так и остался, успев только закрыть глаза, когда муж со свечкой появился в дверях.

Сердце мое сильно билось в груди. Несмотря на закрытые веки, я, казалось, видел его: страшного, с оскаленными зубами.

Мгновения казались вечностью, казалось, на мне он лежит и душит, и ужас охватывал меня, и не мог я вздохнуть, хотел крикнуть, вскочить и броситься на него.

Когда он ушел, наконец, я долго лежал с широко открытыми от ужаса глазами.

На другой день мне стоило неимоверных усилий заставить себя выйти к чаю.

Он посмотрел так, точно плюнул мне в лицо. Как может смотреть только умирающий.

И все мое существо задрожало от безумной жажды никогда не видеть больше этого человека.

— Я сегодня уезжаю.

Наташа, до этого мгновения равнодушная ко всему, так и остановилась с недоеденным куском. Она побледнела и смотрела на меня растерянно и испуганно.

Потом, быстро проглотив мешавший ей кусок, она сказала, вставая:

— Я прошу вас на одну минуту.

Муж остался, а мы ушли в гостиную.

— Что это значит?

— Наташа, я больше не могу. Большего унижения я никогда не переживал. И теперь, чем дольше, тем ужаснее будет. Очевидно, что все это жжет его каленым железом, и он потерял всякое самообладание. Человек принципиальный, дошел до того... Ты посмотри на его лицо... Нет, Наташа, мы растеряем все святое... в конце концов мы кончим тем, что станем все трое одинаково ненавидеть друг друга. Нельзя, Наташа...

— Перейдем отсюда...

Мы перешли в мою комнату.

Она просила, умоляла, плакала.

— Ну, в таком случае и меня возьми с собой.

— Наташа, это невозможно.

IX

Я живу в своей новой комнате.

Пусто и скучно. С Наташей видимся редко. Ничего не переменилось, но... что-то точно растет между нами. И пусть...

Мужа перевезли в больницу для операции. Его предупредили, что операции он почти наверное не выдержит. Настоял.

Наташа наняла хорошенькую квартирку в три комнатки: столовая, кабинет и спальня.

— Я думала,— сказала она, показывая на кабинет,— что это будет твоя комната.

— Как муж?

— Его дни сочтены.

За неделю перед пасхой Наташа приехала и сообщила о смерти мужа.

— Я с похорон...

— Умер... Итак, свободны...

Она молча положила голову на мою грудь и задумалась.

Что я чувствовал? Не все ли равно теперь... Я женюсь, уеду с ней в провинцию...

— Ты переедешь ко мне или наймешь новую квартиру?

— Что скажут, Наташа? Не успели похоронить... потерпи: недолго, да и экзамены...

— Как хочешь...

Мы совсем перестали ссориться с Наташей.

— До пасхи зайдешь?

— Заниматься надо, Наташа... и... память его, так сказать, почтим...

— Как хочешь... Может быть, к заутрени пойдем?

— Если не попаду к заутрени, то на весь первый день приду.

X

На первый день я пришел очень рано. Наташа не ждала меня и встретила встревоженная, оживленная.

— Что это?

На столе лежали бриллиантовая брошка, браслет.

— Представь себе, — растерянно заговорила она,— я только что получила вот эти подарки от того... другого... он, знаешь, такой жалкий... как сумасшедший... прислал и умоляет принять в память прошлого вот это и это кольцо.

Она показала кольцо на мизинце.

Точно налетевшим вдруг вихрем засыпало глаза, сорвало шляпу.

— Одно из двух: или эти подарки вы принимаете, и я ухожу,— или вы отсылаете их сейчас же с посыльным ему обратно, и я остаюсь.

— Но, послушай...

Я взялся за шапку.

Она бросилась ко мне, схватила за руку и потащила к дивану.

Посадила и сама, сев рядом, начала говорить.

Я не слушал. Кровь бурлила, застучала в висках, в ушах. Когда она, наконец, кончила, я, встав, ледяным голосом спросил:

— Угодно отправить это назад?

Тогда она закричала:

— Ты злой, злой!

— Угодно отправить вещи?

— Эгоист, отвратительный эгоист, со своей химерной вечной любовью. Глупая, гнусная вечная любовь! Из-за нее можно оскорблять безнаказанно, превращать в ад настоящее и самому превратиться в конце концов в отвратительную куклу из музея с бабушкиной прописью в руках: «Что скажут». Несмотря на твою молодость, от тебя уже теперь веет такой затхлостью, как будто тебе уже двести, триста, тысячу лет.

— Может быть, довольно на сегодня, Наташа? — сказал я, опять беря шапку.

Она молчала, а я уходил.

Она вскочила и крикнула, когда я был уже в дверях:

— Но я ведь отправляю же эти вещи!

Раздражение, злость в голосе... И я ушел... Она крикнула:

— Ну, и убирайся!

XI

И вот я дома и в отвратительном расположении духа, как человек, собравшийся совершенно иначе провести свой день.

Теперь весь этот день в моем распоряжении. И прежде так бывало, но от меня зависело, как распорядиться им. А теперь... теперь... я хотел провести этот день с ней.

А она, может быть, проведет его... проведет? Неужели она способна на это?.. кто она?

Я стоял перед окном и напряженно сквозь окна смотрел на улицу. Мокрый весенний снег большими хлопьями падал на землю, и по улицам торопливо проходили облепленные снегом белые мохнатые фигуры. Вот так праздник. Хорошо бы очутиться теперь на родине: там давно тепло, солнце, там забыть всю эту серую прозу.

Нельзя забыть. Болит, и мысль напряженно работает.

Почему не пойти к ней?

Я оставляю без ответа этот вопрос. Уподобиться тому? Нет уж... Она оскорбила, она, если захочет, найдет дорогу.

Три дня: нет Наташи.

Может быть, я и не прав. Во всяком случае неприлично, без попытки выяснить, так рвать отношения. Я нахожу выход. Я иду к Наташе в то время, когда знаю, что ее нет дома.

— Скажите Наталье Александровне, что заходил.

Ну, теперь с моей стороны сделано все: потянет ко мне — придет. Нет — значит, конец. Конец, так конец.

Конец или не конец? Нет, нет, не конец. Какой конец, когда весна начинается, та весна, которую так ждала Наташа. Весна пока еще там вверху, в нежно-голубом небе, в прозрачном воздухе, в просвете розовых сумерек, когда зажигается в небе первая звезда, яркая, крупная, как капля росы. И горит она вся восторгом, вся трепещущая, как жизнь, со всеми ее переливами.

О, недаром Наташа любит так весну.

Осень на юге, весна на севере.

Могучая, стремительная в своем волшебном порыве. Так понятен он: радость жизни сильнее переживаешь, вырвавшийся из оков. И чем тяжелее были эти оковы, тем сильнее порыв этой радости.

Утро. Я растворяю окно: тепло, совсем тепло.

Легкий туман быстро тает в нежных лучах солнца. Как паутиной уже окутано дерево молодой листвой. Звонкий гул несется — как радостный крик весны. Но где же, где в этой радости жизни Наташа?

И я жадно ищу ее глазами среди идущих по улице.

Иди же, Наташа! И я не стану больше терять мгновений для вечности. Вечность слишком тяжелый молот:

он дробит мгновения, а в них ты, Наташа, в этих чудных, так быстро проносящихся мгновениях.

Нет Наташи!

Две недели уже прошло, и я угрюмо стою и жду напряженно: каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Не придет? Неужели никогда не придет? Звонок! Она?!

Она опять передо мною.

И никогда она не была такою ослепительно прекрасной. Серое платье, черная ленточка на шее. И бархат ленточки спорит с бархатом глаз.

Она протягивала мне розу: яркую, красную розу, как румянец свежего нежного лица моей Наташи. Я так ждал ее...

Восторг захватил мое дыхание, затуманил глаза... Броситься, обнять ее... начать целовать... Но, боже мой, что ж я делаю?! — Я вырвал из ее рук розу и выбросил ее за окно. И нерешительно протянувшаяся рука ее опустилась, глаза ее смотрели в пол, она молчала, точно собираясь с силами. И так стояли мы друг перед другом, я — в ожидании своего приговора. И, как первый погребальный тихий звон, надо мной, уже мертвым, раздается ее голос:

— Ну, нет, так нет; будем друзьями...

Но я ничего не слышу: я мертвый, мертвый и со всей силой смерти только одно это и сознаю. Нет еще: я сознаю, что я люблю ее, о, как безумно люблю!

Ушла?! Сперва плакала... выплакала все свои слезы и ушла.

Но догнать же, закричать, умолять, рассказать наконец все, сказать, что люблю, безумно люблю и только теперь понимаю это.

Нет голоса, нет слов, я стою без движения, с чем-то больным там внутри, умирающим, мертвым.

XII

Я не знаю, сколько времени я пробыл в таком состоянии. Как будто я много шел, нес тяжелую ношу и невыразимо устал.

Спать! И я спал часов двадцать... Мгновениями просы-

пался, и что-то черное опять и сразу охватывало меня, и опять я спал, и спал тяжело без снов.

Было светло, когда я опять открыл глаза.

В то окно я выбросил розу. Я открыл окно и искал глазами эту розу, но она упала на улицу и разве может сохраниться там, где прошли тысячи? Конечно, нет, это невозможно, но где же роза? Вот она на крыше подъезда, такая же красная, вся в веселых лучах солнца, в блесках росы — сверкающая, свежая!

Эту розу я достал, чтобы отнести ее к Наташе.

XIII

Ах, как долго я несу эту бедную, теперь уже темную, засохшую розу.

Третья ночь, как я брожу здесь на островах в тени деревьев, в воспоминаниях о ней, сам тень в этой белой ночи.

Мои ноги дрожат, меня тошнит, кровь прилила к больной голове, а кругом тишина ночи, неподвижная вода и зелень, и все как сон в этой белой ночи, сон наяву. И так светло, что можно читать, и ярче выступают исписанные страницы пережитого, и, пригнувшись, одиноко я читаю их.

Да, легко сказать себе: это пустяки, это ничтожно, а это велико и мудро. Жизнь сорвет наживу, и удочки мудрого останутся пустыми, а нажива пустяка приманит жертву. Ну, что ж, и пусть... Пусть это будет ничтожно, как сама жизнь: моя, других...

Я, кажется, немного заснул... или сознание отлетело и возвратилось так же быстро, как быстро скользнула и скрылась в вечность эта короткая белая ночь.

Сон или наяву это было?

Мы опять были с ней вместе, как прежде, и я радостно говорил ей:

— Так, значит, все, как было... Зачем же я выбросил эту розу?

А она все твердила:

— Но ведь ты любишь... любишь?

И я еще слышу ее голос.

Ах, какой сильный аромат деревьев в этой влаге утра. Роса, и в первых лучах сверкают ее капли на изумрудной зелени, и нежно и звонко пробуют голоса свои птицы.

Так тихо, спокойно.

Конечно, люблю.

XIV

Это я стою у квартиры Наташи и звоню?

И я радостно отвечаю себе: да, да, я! Как и тот, другой? Да, да. Я едва слышу смущенную горничную:

— Пожалуйте в кабинет: барыня сейчас выйдет.

В кабинет?! Отчего опять так быстро меняется мое настроение? Как бьется сердце! Этот аромат цветов. Тот букет. Она всегда любила цветы. Она вся в этом кабинете, и все прошлое в нем. Прошлое?!

Я вижу в зеркале мое лицо. Зеркало не узнало меня. Я сам не узнал бы в нем больше себя,— когда-то властного и сильного победителя ее, ее мыслей, чувств, желаний, всего этого кабинета, для меня приготовленного, этого зеркала, которое теперь так холодно говорит мне «чужой». Чужой?! Мужские шаги по коридору... надел калоши, шум отворившейся двери. Шум этих кожаных калош там уже на каменной площадке лестницы. И несколько раз машинально, как удары молота, я повторяю: «ушел, ушел», пока освещается предо мною вся мучительная истина.

Теперь и я могу уйти. Нет! Хотя раз я сяду за этот для меня приготовленный стол и что-нибудь напишу. Но я не могу писать. И надо скорее уходить, если я не хочу потерять сознание. И я осторожно, на носках, чтобы не скрипнул пол, торопливо прохожу в переднюю, на площадку и через две ступеньки спускаюсь по лестнице.

АДОЧКА

I

Маленького тщедушного Иванова, с приплюснутым носом и большими черными глазами, точно гнало по пути всевозможных житейских невзгод: из одной беды он выкарабкивался только для того, чтобы попасть в другую. Он и ходил так, как ходят все такие пришибленные, точно, выталкивая его в жизнь, судьба треснула его по затылку,— таким он и остался.

Иванов жил в провинции, там и женился. Имел уже сына и дочь. Очень нуждался в материальном отношении, перебиваясь случайными заработками: статистика, переписка, случайный урок, небольшой литературный заработок, а в общем — нужда и лишения, как у всех тех людей, которых очень много в России, которые составляют большую интеллигентную силу, но которых мы так мало знаем. Так шла жизнь Иванова, когда тиф унес у него и жену и сына.

Иванов как будто еще меньше стал, еще тщедушнее, еще больше замкнулся в себе, и только глаза его смотрели на мир божий, как из темницы.

Вы видали эту пришибленную, ни от кого ничего не просящую фигурку в поношенном платье, видели эти глаза.

Маленькая трехлетняя дочь его Адочка каким-то чудом спаслась от тифа.

Удивительный это был ребенок: черномазый и

щуплый, как отец, лицом вся в мать, с таким же поразительно любящим сердцем, словно вся любовь покойной к мужу перешла к ней: чуткая, напряженная, точно прислушивающаяся к этой своей любви, была Адочка.

Долгие полгода разлуки с отцом, еще при жизни матери, когда ребенок следовательно был еще меньше, не заставили забыть отца.

Старший брат, бывало, начинал реветь, принимая отца за чужого, а она с криком «папа» восторженно бросалась отцу на шею.

И Иванов до безумия любил свою дочь.

II

После смерти жены Иванов в интересах дочери переселился в город, где жили его сестра с мужем.

И сестра и муж были толстые, добродушные, бездетные.

Муж где-то служил, аккуратно ходил на службу, любил поесть, поиграть в карты.

Сестра погрязала вся в том, что скажут. Считалась визитами, страдала от равнодушного взгляда высших, только и думала, как бы не ударить лицом в грязь шляпкой, платьем. А в минуты отчаяния, не замечая, что и сама была не лучше других, говорила:

— Ах, какие они все пошлые!

Когда брат со своей дочкой приехали, Марья Павловна, или, как ее называла Адочка, тетя Маша, от счастья свидания совсем обезумела.

Она прежде всего бросилась на шею брату, затем подхватила на руки Адочку, чуть не задушила ее в своих объятиях, бурей пронеслась с ней, показывая ей все, по всему дому и, возвратившись назад, поставив Адочку опять на пол, кончила тем, что села и расплакалась.

Муж только рукой махнул:

— Глаза на мокром месте: поехала... Чего ж ты плачешь?

— Я люблю Адочку,— всхлипывая и смеясь, отвечала тетя Маша.

III

Жизнь пошла своим чередом, и даже для Иванова наступило затишье после всех его житейских бурь и непогод.

Для Марьи Павловны Адочка явилась надежным оплотом от всех ее прежних невзгод. Опоздают ли к ней с визитом, кухарка ли обсчитает, она думает: «Ничего, у меня есть Адочка». Эта черномазенькая Адочка точно приклеила к себе все сердца. Даже дядя Вава, всегда дороживший своим покоем, ворчавший сперва по поводу осложнившейся жизни, привязался к девочке и, теребя ее, с удивлением повторял:

— Ах ты, черномазая, не отстанешь от нее...

Пришлось как-то Иванову ехать по делам куда-то очень далеко.

Приезжает туда, куда ехал, а там уже ждет его телеграмма: «У Адочки скарлатина, форма легкая — не беспокойся».

На другой день новая: «Осложнение — форма тяжелая».

Дело было в разгаре, даже не было утешения посылать часто телеграммы,— денег не было.

На пятый день он получил такую телеграмму: «Папа милый, приезжай,— твоя Адочка очень заболела».

Озабоченная любовью, маленькая, немного сгорбленная фигурка Адочки, словно выжженная огнем, стояла живая в его сердце. Вспоминались все подробности их разлуки...

Перед отъездом он купил ей скромное платьице. В каком она была восторге!

— Я его надену, когда ты приедешь...

Тетя Маша, по обыкновению, вскрикнула при этом:

— Удивительная девочка, — она ведь и платью рада только для тебя.

Адочка озабоченно твердила:

— Знаешь, тебя Маша, папе очень надо ехать... Он привезет мне много, много игрушек...

Но, когда наступила минута разлуки,— это было вечером и она была уже в кроватке,— бодрость остави-

ла ее. Когда отец пришел с ней прощаться, она, обняв его, горько заплакала.

— Я же скоро приеду, я привезу тебе игрушек...

— Я не хочу игрушек.

Она овладела собой и озабоченно, рассеянно вертела пуговицу его пиджака, как бы вспоминая, чего она хотела.

— Ты приезжай скорее.

Сказав, она облегченно вздохнула: она нашла в своем маленьком сердце, чего хотела.

Получивши последнюю телеграмму, Иванов в тот же день выехал обратно. Выезжая, он увидел у ворот маленькую озабоченную сутуловатую девочку. Точно жизнь уже взвалила на ее плечи свое тяжелое бремя.

Озабоченные дети! Грустные дети! Легко самому бороться и нести свой крест, но видеть, как маленький ребенок сгибается под ним... Ведь если и в пору детства нет счастья,— когда ж оно будет?

Дорогу, дорогу детскому счастью, широкую дорогу!..

IV

Адочка сама продиктовала телеграмму отцу и почти сейчас же после этого потеряла сознание.

Она говорила в бреду:

— Папа приехал. Он в спальне. Давайте мне скорее новенькое платье.

На девятый день, утром, приехал доктор, осмотрел, долго выслушивал ребенка, впрыснул мускус... На этот раз она даже не вскрикнула. Сидя на кроватке больной, рядом с ней, доктор устало проговорил:

— Надежды нет.

С таким напряжением ожидаемый ответ, казалось, не произвел уже никакого впечатления. Марья Павловна только поджала плотнее губы, и казалось, что она думала в это время о своей какой-нибудь неудавшейся кофточке. Дядя Вава махнул рукой и проговорил:

— Зачем только эти дети на свет рождаются...

— Бесполезно мучить,— сказал доктор и снял с девочки все повязки, компрессы, одеяло.

Теперь была видна ее худоба. На подушках лежало что-то темное, грязное, маленькое. Синие пятна, подтеки, распухшие, все в ранах, губки, черные круги закрытых глаз.

Жизнь, как дикий зверь какой-то, рвала, трепала, волочила, и, пресытившись, бросила ее.

Доктор еще раз послушал сердце и без мысли задумался, поставив слуховую трубку на грудь ребенку.

Адочка лежала в забытьи. Но вдруг она махнула ручкой, и слуховая трубка полетела на пол.

— О? — повернулся к ней доктор.

Глаза девочки,— большие, черные, страшные,— были открыты и напряженно смотрели на дверь.

Уже все услышали теперь чьи-то шаги в коридоре: в отворенных дверях стоял отец.

Дочь и отец смотрели друг на друга. Казалось, у обоих только и остались глаза. Они говорили ими.

Отец говорил:

«Я нашел тебя и силой моей любви я возвращу тебя к себе, потому что моя любовь — страшная сила, та сила, которая горы, мир сдвинет...»

Ребенок впился глазами в отца:

«Вот я, истерзанная, измученная, ты видишь...»

Он видел, он стоял уже на коленях возле нее, смотрел ей в глаза, обнимая руками маленькое трупное тельце ее.

И она смотрела. Казалось, взгляд ее достиг крайнего напряжения. Но точно оборвалось что-то, и она закрыла глаза.

Марья Павловна уже подняла было руку ко лбу, думая, что конец всему, как вдруг Адочка опять открыла глаза и остановила их на дяде Ваве.

Тот машинально наклонился к ней.

— Папа,— едва слышным писком поделилась она с ним своей радостью.

— О, да, да, папа, папа...— захлебнулся дядя Вава и быстро отбежал к окну.

Нервы у дяди Вавы никуда не годятся: стоя у окна, он плачет, как ребенок.

Глаза Адочки перешли на тетю Машу и зовут ее.

— Надо мне платье надеть...

И от напряжения кровь выступает на черных, распухших губках Адочки.

— Ого,— взвывает тетя Маша,— платье, платье...

Она улыбается Адочке и стремительно, растерянно несется к шкафу.

«Смерть это или жизнь?» — думает тетя Маша, и лицо ее еще улыбается, а слезы льются и льются по ее толстым щекам.

Она вытирает их, несет платье и, ничего не понимающая, надевает его кое-как на Адочку.

Адочка в платье. Она еще страшнее. Она нервно перебирает исхудавшей маленькой, как у обезьяны, ручкой оборку платья и смотрит своими страшными, напряженными глазами на отца. Она надела свое платье к его приезду, она ждет одобрения отца.

Отец ничего не в силах сказать; он молча целует ее ручку. Тетя Маша дрожащим голосом говорит:

— Ах, какая красавица, какая хорошенькая наша Адочка...

Адочка опять закрывает глаза. Несколько мгновений длится томительное молчание. Лицо Адочки еще больше темнеет, но потом сразу покрывается краской, а на лбу выступает испарина. Адочка глубоко-глубоко вздыхает; она открыла глаза, ищет тетю Машу.

— Что? — испуганно наклоняется к ней тетя Маша.

— Мо-ло-ка...

«Ка» вылетает болезненным писком.

— Кризис миновал,— будет жить,— раздается напряженный, радостный голос доктора.

— Молока! — уже как-то ревет тетя Маша и настоящим ураганом несется сама за молоком.

КЛОТИЛЬДА

I

Я только что кончил тогда и молоденьким саперным офицером уехал в армию.

Это было в последнюю турецкую кампанию.

На мою долю выпал Бургас, где в то время шли энергичные работы по устройству порта, так как эвакуация большей части армии обратно в Россию должна была и была произведена из Бургаса.

Ежедневно являлись новые и новые части войск, некоторое время стояли в ожидании очереди, затем грузились на пароход Добровольного флота и уезжали в Россию.

Эти же пароходы привозили новых на смену старым для предстоящей оккупации Болгарии.

И таким образом Бургас являлся очень оживленным местом с вечным приливом и отливом.

Как в центральный пункт, в Бургас съехались все, кто искал легкой наживы.

Магазины, рестораны процветали.

Процветал кафешантан, устроенный в каком-то наскоро сколоченном, громадном деревянном сарае.

Первое посещение этого кабака произвело на меня самое удручающее впечатление.

За множеством маленьких столиков в тусклом освещении керосина в воздухе, до тумана пропитанном напитками, испарениями всех этих грязных тел,— всех

этих пришедших с Родопских гор, из-под Шипки, из таких мест, где и баню и негде и некогда было устраивать, сидели люди грязные, но счастливые тем, что живые и здоровые, они опять возвращаются домой — возвращаются одни с наградами, другие с деньгами, может быть, не всегда правильно нажитыми.

Последняя копейка ставилась так же ребром, как и первая... Как в начале кампании копейка эта шла без счета, потому что много их было впереди и не виделось конца этому, так теперь спускалось последнее, потому что всегда неожиданный в таких случаях конец создавал тяжелое положение, которому не могли помочь оставшиеся крохи. Для многих в перспективе был запас, а следовательно и прекращение жалования и необходимость искания чего-нибудь, чтобы существовать.

Такие пили мрачно, изверившись, зная всему настоящую его цену, но пили.

Пили до потери сознания, ухаживали за певицами до потери всякого стыда.

Было цинично, грубо и отвратительно.

Какой-нибудь армейский офицер, уже пьяный, гремит саблей и кричит: «человек, garçon [1]» — с таким видом и таким голосом, что глупо и стыдно за него становится, а он только самодовольно оглядывается: вот я, дескать, какой молодец. А если слуга не спешит на его зов, то он громче стучит, так что заглушает пение, а иногда дело доходит и до побоев провинившейся прислуги.

Меня в этот кабак затащило мое начальство,— еще молодой, лет тридцати, военный инженер И. Н. Бортов.

Побывав, я решил не ходить туда больше.

Да и обстоятельства складывались благоприятно для этого.

В ведение Бортова входили как бургасские работы, так и работы в бухте, которая называлась Чингелес-Искелессе.

Эта бухта была на другой стороне обширного Бургасского залива, по прямому направлению водой верстах в семи от города. Вот в эту бухту я и был назначен на пристанские и шоссейные работы.

---

[1] официант *(франц.)*.

Для меня, начинающего, получить такое большое дело было очень почетно, но в то же время я боялся, что не справлюсь с ним.

На другой день, после вечера в кафешантане, я явился к Бортову за приказаниями и, между прочим, чистосердечно заявил ему, что боюсь, что не справлюсь. Бортов и сегодня сохранял тот же вид человека, которому море по колени.

Такой он и есть несомненно, иначе не имел бы и золотой сабли, и Владимира с мечом и бантом, и такой массы орденов, которые прямо не помещались на груди у него.

Не карьерист при этом, конечно, потому что с начальством на ножах — вернее, ни во что его не ставит и, не стесняясь, ругает. Про одного здешнего важного генерала говорит:

— Дурак и вор.

Это даже халатность, которая меня, начинавшего свою службу офицера, немного озадачивала в смысле дисциплины.

На мои опасения, что не справлюсь, Бортов бросил мне:

— Но... Не боги горшки лепят. Иногда посоветуемся вместе. Пойдет.

— Но отчего же,— спросил я,— и вам, тоже еще молодому, и мне, совершенно неопытному, поручают такие большие дела, а все эти полковники сидят без дела?

— Да что ж тут скрывать,— флегматично, подумав, отвечал Бортов,— дело в том, что во главе инженерного ведомства, хотя и стоит З., но он болен и где-то за границей лечится, а всем управляет Э. Он просто не доверяет всем этим полковникам. Дает им шоссе в пятьсот верст и на все шоссе выдаст двести золотых. А вот на такое дело, как наше, в миллион франков, ставит вот нас с вами. Считает, что молоды, не успели испортиться.

— И это, конечно, так,— поспешно ответил я.

— Ну, какой молодой,— другой молодой, да ранний. Отчетности у нас никакой: не всегда и расписку можно получить. Да и что такое расписка? Братушка все подпишет и читать не станет. Вот, вчера я пятьдесят тысяч франков заплатил за лес,— вот расписка.

Бортов вынул из стола кусок грязной бумаги, где под текстом стояли болгарские каракули.

— Он не знает, что я написал, я не знаю, что он: может быть, он написал: собаки вы все.

Бортов рассмеялся каким-то преждевременно старческим хихиканьем. Что-то очень неприятное было и в этом смехе и в самом Бортове, — что-то изжитое, холодное, изверившееся, как у самого Мефистофеля.

Из молодого он сразу превратился в старика: множество мелких морщин, глаза потухшие, замершие на чем-то, что они только и видели там, где-то вдали. Он напомнил мне вдруг дядю одного моего товарища, старого развратника.

Бортов собрался и опять деловито заговорил:

— Ну, вот вам десять тысяч на первый раз и поезжайте.

— А где я буду хранить такую сумму?

— В палатке, в сундуке.

— А украдут?

— Составите расписку,— болгарин подпишет.

Бортов опять рассмеялся, как и в первый раз, заглядывая мне в глаза.

— Расписку не составлю, а пулю пущу себе в лоб,— огорченно ответил я.

— Что ж, и это иногда хорошо,— усмехнулся Бортов. И уже просто, ласково прибавил: — А по субботам приезжайте к нам сюда, — в воскресенье ведь нет работ,— и прямо ко мне... вечерком в кафешантан... Я, грешный человек, там каждый день.

— Да ведь там гадость,— тихо сказал я.

— Меньшая,— ответил равнодушно Бортов.— Если вам понравилась моя Берта, пожалуйста не стесняйтесь... Я ведь с ней только потому, что она выдержала с нами и Хивинский поход.

Берта, громадного роста, атлет, шумная немка, которая без церемонии вчера несколько раз, проходя мимо Бортова, садилась ему с размаху на колени, обнимала его и комично кричала:

— Ох, как люблю...

А он смеялся своим обычным смехом и говорил своим обычным тоном:

— Ну, ты... раздавишь...

А иногда Берта с деловито-шутливым видом наклонялась и спрашивала по-немецки Бортова:

— Вот у того есть деньги?

И Бортов отвечал ей всегда по-русски, смотря по тому, на кого показывала Берта: если интендант или инженер,— «много», или «мало, плюнь, брось».

И громадная Берта делала вид, что хочет действительно плюнуть.

Нет, Берта была не в моем вкусе, и я только весело рассмеялся в ответ на слова Бортова.

Чтоб быть совершенно искренним, я должен сказать, что в то же время рядом с образом Берты предо мной встал образ другой певицы, француженки, по имени Клотильда.

Это была среднего роста, молодая, начинавшая чуть-чуть полнеть женщина, с ослепительно белым телом: обнаженные плечи, руки так и сверкали свежестью, красотой, белизной. Такое же красивое, молодое, правильное, круглое лицо ее с большими, ласковыми и мягкими, очень красивыми глазами. То, что художники называют последним бликом, от чего картина оживает и говорит о том, что хотел сказать художник, у Клотильды было в ее глазах, живых, говорящих, просящих. Я таких глаз никогда не видал, и, когда она подошла к нашему столу совершенно неожиданно и наши взгляды встретились, я, признаюсь откровенно, в первое мгновение был поражен и смотрел, вероятно, очень опешенно. Что еще очень оригинально — это то, что при черных глазах у нее были волосы цвета поспевшей ржи: золотистые, густые, великолепные волосы, небрежно закрученные в какой-то фантастической прическе, со вкусом, присущим только ее нации. Прядь этих волос упала на ее шею, и белизна шеи еще сильнее подчеркивалась.

Теперь, когда я, сидя с Бортовым, вспомнил вдруг эту подробность, что-то точно коснулось моего сердца — теплое, мягкое, от чего слегка сперлось вдруг мое дыхание.

— Клотильда лучше? — тихо, равнодушно бросил Бортов.

— Да, конечно, Клотильда лучше,— ответил я, краснея и смущенно стараясь что-то вспомнить.

Теперь я вспомнил. Вопрос Бортова остановил меня невольно на первом впечатлении, но были и последующие.

Правда, я не заметил, чтобы кто-нибудь обнял Клотильду или она к кому-нибудь села на колени. В этом отношении она умела очень искусно лавировать, сохраняя мягкость и такт. Но в глаза, как мне, она так же любезно смотрела всем, а за стол одного красного как рак, уже пожилого полковника она присела и довольно долго разговаривала с ним.

В другой раз какой-то молодой офицер в порыве восторга крикнул ей, когда она проходила мимо него:

— Клотильдочка, милая моя!..

На что Клотильда ласково переспросила по-русски:

— Что значит «милая»?

— Значит, что я тебя люблю и хочу поцеловать тебя.

— О-о-о! — ласково сказала ему Клотильда, как говорят маленьким детям, когда они предлагают выкинуть какую-нибудь большую глупость, и такая же приветливая, мягкая, прошла дальше.

Ушла она из кафешантана под руку с полковником, озабоченно и грациозно подбирая свои юбки.

Случайно ее глаза встретились с Бортовым, и она, кивнув ему, улыбнулась и сверкнула своими яркими, как лучи солнца, глазами. На меня она даже и не взглянула.

Я солгал бы, если б сказал, что я и не хотел, чтобы она смотрела на меня. Напротив, страшно хотел, но, когда она прошла мимо меня, опять занятая своими юбками, с ароматом каких-то пьянящих духов, я вздохнул свободно, и Клотильда-кокотка, развратная женщина, с маской в то же время чистоты и невинности, с видом человека, который как раз именно и делает то дело, которое велели ему его долг и совесть,— Клотильда, притворная актриса, получила от меня всю свою оценку, и я не хотел больше думать о ней.

А мысль, что уже завтра я уеду на ту сторону, в тихую бухту Чингелес-Искелессе, обрадовала в это

мгновение меня, как радует путника, потерявшего вдруг в темноте ночи дорогу, огонек жилья.

Поэтому после первого смущения я и ответил Бортову, горячо и энергично высказав все, что думал о Клотильде.

II

А под вечер того же дня с своим денщиком Никитой я уже устраивался в своем новом месте на самом берегу бухты Чингелес-Искелессе. Мы с Никитой, кажется, сразу пришлись по душе друг другу.

Никита — высокий, широкоплечий, хорошо сложенный хохол. У него очень красивые карие глаза, умные, немного лукавые, и, несмотря на то, что он всего на два года старше меня, он выглядит очень серьезным. И если на мой взгляд Никите больше лет, чем в действительности, то Никите — это очевидно — я кажусь, напротив, гораздо моложе.

Он обращается со мной покровительственно, как с мальчиком, и надо видеть, каким тоном он говорит мне: «Ваше благородие».

— Держите в ежовых рукавицах — будет хорош,— сказал мне ротный про Никиту.

Никита еще в городе, как самая умная нянька, сейчас же вошел в свою роль. Потребовал у меня денег, накупил всяких запасов, отдал грязное белье стирать, купил ниток и иголок для того, чтобы починять то, что требовало починки,— одним словом, я сразу почувствовал себя в надежных руках и был рад, что совершенно не придется вникать во все эти мелкие хозяйственные дрязги.

В то время, как я собирал в городе нужные инструменты, получал кассу, Никита то и дело появлялся и добродушно, ласково говорил:

— Ваше благородие, а масла тоже купить? А кострульку, так щоб когда супцу, а то коклетки сжарить? Три галагана тут просят.

— Хорошо, хорошо...

Сегодня же я купил и лошадь, и седло, и всю сбрую. Лошадь маленькая, румынская, очень хорошенькая и

только с одним недостатком: не всегда идет туда, куда всадник желает. Впоследствии, впрочем, я справился с этим недостатком, накидывая в такие моменты на голову ей свой башлык: потемки ошеломляли ее, и тогда она беспрекословно повиновалась. Никита пошел и дальше, сшив моей румынке специальный чепчик из черного коленкора, с очень сложным механизмом, движением которого чепчик или опускался на глаза, или кокетливо возвышался над холкой румынки.

Мне так по душе пришлась моя румынка, что я хотел было прямо верхом и ехать к месту своего назначения, но Никита энергично восстал, да и я сам, впрочем, раздумал, за поздним вечером, ехать по неизвестной совершенно дороге — и поехали вместе с Никитой на катере.

Когда, приехав в бухту, я вышел и вещи были вынесены, боцман спросил:

— Прикажете отчаливать?

— Ваше благородие, пусть они хоть помогут нам палатку поставить, чего же мы с вами одни тут сделаем?

— У вас время есть? — обратился я к матросам.

— Так точно,— отвечал боцман и приказал своим матросам помочь Никите.

— Ну, где же будем ставить палатку? — спросил Никита.

— Где? — Это вопрос теперь первой важности, и, отогнав все мысли, я стал осматриваться.

Что за чудное место! Золотистый залив, глубокий там вдали, слева город виднеется, справа, на мысе, монастырь, здесь, ближе, надвигаются горы, покрытые лесом, в них теряется наша глубокая долина с пологим берегом, с этой теперь золотистой водой, с этим воздухом, тихим, прозрачным, с бирюзовым небом, высоким и привольно и далеко охватившим всю эту прекрасную, как сказка, панораму южного вида.

Кажется, отсюда видна гостиница «Франция», где живет Клотильда, или я обманываюсь? Но бинокль со мной. Конечно, видна...

— Где же, ваше благородие?

Да, где? Но где же, как не здесь, откуда видно...

— Здесь.

Никита стоял в недоумении.

— Да тут, на самом берегу, нас кит-рыба съест, а то щикалки... Туда же лучше...

И Никита показал в ущелье долины.

— Нет, нет, тут.

— Ну, хоть тут вот под бугорком, а то как раз на дороге.

Там в стороне был пригорок, и, пожалуй, там в уголке было еще уютнее и виднее. Между берегом и пригорком образовался род открытой, в несколько сажен в ширину, террасы. С той стороны терраса кончалась горой и лесом. Лучше нельзя было ничего и придумать.

Матросы уехали.

— Ну, вот и готова палатка,— говорил Никита, деловито обходя со всех сторон мою палатку.

— Може чаю, ваше благородие, хотите? — спросил вдруг Никита.

— Хочу, конечно, и очень хочу.

Никита принялся за самовар, а я на разостланной бурке, на своей террасе, в тени каштанов, лежу и любуюсь тихим вечером.

Что за чудный уголок!

Через месяц-два здесь закипит жизнь, а пока, кроме меня и Никиты, никого, никакого жилья, никаких признаков жилья. Днем будут работать солдаты, рабочие, но на ночь с последним баркасом будут уезжать все в город.

Как будто утомленный работой, день тихо и мирно уходит на покой. Последними лучами золотится морская гладь, а справа, там, где бухта гористым мысом граничит с открытым морем, на самом краю мыса, на небольшом обрыве из-за зелени выглядывает белый монастырь. Вечерний звон несется оттуда, и он, как песня о детстве, о всем, что было таким близким когда-то, говорит мне родным языком, ласкает душу. Налево Бургас и, как огни, горят стекла его окон.

За моей же террасой косогор, затем опять терраса и спуск в долину. Это сзади, а сбоку косогор поднимается все выше и круче, и оттуда, сверху, глядят вниз обрывы скал, тенистые ущелья. В ущельях по скалам лес, а в лесу множество серн, фазанов, диких кабанов, но еще

больше шакалов. Они уже начинают свой ночной концерт,— их крик тоскливый, жалобный, как плач больного ребенка. А скоро в темноте их глаза загорятся по всем этим скалам, как звезды, и там внизу, в своей бедой палатке, я увижу уже два ряда звезд, даже три, потому что третий и самый лучший опрокинулся и смотрит на меня из глубины неподвижного моря. Он такой яркий и чистый, как будто вымыт фосфоричной водой моря.

От каких цветов этот аромат непередаваемо нежный, который несет с собой прохлада ночи? А что за тени там движутся и проходят по воде? Тени каких-то гигантов, которые там вверху шагают с утеса на утес.

Вот одна тень приостановилась и точно слушает и всматривается в нас. А в обманчивом просвете звездной ночи все гуще мрак, словно движется что-то и шепчет беззвучно. Что шепчет? Слова ласки, любви, просьбы?.. Чьи-то руки, нежные, прекрасные, вдруг обнимут и вырвут из сердца тайну. Нет этих рук. Жизнь пройдет так в работе, труде, в скитаниях, в этих палатках. Удовлетворение — сознание исполненного долга.

Сознание, которое только в тебе. Для других ты всегда так же темен, как темна эта ночь.

Сегодня полковник, командир того резервного батальона, который будет у меня работать, когда я пожимал ему руку, извиняясь за испачканные руки, так как считал казенное серебро, с улыбочкой, потирая руки, сказал:

— Да, деньги пачкают...

Фу, какая гадость и как обидно, что нельзя устроить так, чтобы все знали, что ты честный человек.

Интересно, Бортов считает меня честным человеком? В нем много, очень много симпатичного — простота, скромность, но в то же время и что-то такое, что дает чувствовать, что верит он только себе.

Особенно неприятен его смех.

Какой-то сарказм в этом смехе, ирония и горечь. В эти мгновения он, всегда сильный, мужественный, умный, делается сразу каким-то жалким, и что-то старческое в нем тогда.

Никакой начальственности в нем, никакого хвастовства, самодовольствия. А человек, несмотря на свои

двадцать девять лет, весь в орденах, занимает такое место. Хотел бы я видеть его в деле,— вероятно, скобелевское спокойствие. Недаром Скобелев и любит так его.

О себе, о своих делах никогда ни слова. Все, что слышал я о нем, я слышал от других. Но вот странно: все отдают ему должное и все в то же время говорят о нем таким странным тоном, как будто он уже покойник или кончил свою карьеру. Я считаю, что единственное, что опасно для него, это его любовь рассуждать, бранить свое начальство. Это может серьезно повредить его карьере, а иначе перед ним прямо блестящая дорога.

Когда он стоит в ряду других, довольно посмотреть на его благородную осанку, спокойное, одухотворенное, полное благородства лицо, чтобы почувствовать, что этот человек выше толпы, это сила. Может быть, это тем хуже, потому что толпа — всегда толпа и всегда инстинктивно, бессознательно стремится к нивелировке. Какой-то меч проходит, и высокие головы падают. Надо уметь вовремя склонять их.

Откуда во мне эта философия? Пора спать.

— Ваше благородие, а хотите я вам голову обрею? В нашей роте подпоручик Нахимов був и редкие, редкие у него волосики були, как шматочки, а як я обрив его, то таки космы потом стали...

— Но у меня, кажется, не редкие,— возразил я.

— А все ж гуще будут,— ответил Никита с такой беспредельной уверенностью, что поколебал меня.

Хорошая сторона бритья головы была в том, что это окончательно прикует меня к работе, к этому месту.

А чего другого я желаю? Не ездить же с бритой головой по кафешантанам...

И решение мое тут же созрело.

— Хорошо: брей.

— Ну, так завтра я вас обрею.

— А сегодня?

Даже Никита смутился.

— Что ж... сегодня...

Мы устроили в палатке стол, поставили зеркало, зажгли свечи. С некоторой грустью смотрел я на свои волосы, которые Никита торопливо и кое-как остри-

гивал ножницами. Затем он намылил мне голову и стал водить бритвой, комично высовывая язык.

Если не считать маленького пореза возле уха, после которого Никита наставительно сказал: «а зачем вы шевелитесь?» — все остальное кончилось прекрасно. И, оставшись один, я с наслаждением осматривал свою теперь, как колено, голую голову.

На другой день Бортов, увидя меня, хохотал, как ребенок.

— Да что это вам в голову пришло?

— Пришло в голову, собственно, Никите.

— А что, разве не хорошо? — спрашивал Никита,— ей-богу же хорошо.

— А себя ты что не обрил?

— А мне на что?

Сегодня с Бортовым мы едем в лес, чтобы решить вопрос о будущем шоссе.

Лес дубовый, невысокий, много желтых листьев уже на земле и, сухие, они приятно хрустят под ногами лошадей. Вверху видно голубое небо, а сквозь тонкие стволы видно далеко кругом. То фазан сорвется, то торопливо прошмыгнет что-то маленькое, уродливое, унылое: это шакал. На полянке свежие следы кабанов,— взрытая, как паханая земля.

Бортов останавливался около следов, внимательно всматривался и с завистью говорил:

— Сегодня ночью были...

В одном месте вдруг шарахнулась было лошадь Бортова, взвилась на дыбы и, повернувшись на задних ногах, собралась было умчаться назад, но Бортов, прекрасный ездок, скоро, несмотря на козлы, которые задала было его лошадь, справился.

Понеси лошадь, плохо пришлось бы Бортову. Но Бортов только твердил, прыгая на лошади:

— Врешь, врешь...

Было отчего и испугаться лошади: на повороте тропки, прислонившись к дереву, сидел человек в свитке. Голова его склонилась, точно он задумался, руки, как плети, висели по сторонам, ноги протянулись. У ног потухший костер. Из-под шапки выглядывало посиневшее, разложившееся уже лицо. Во впадинах

глаз сидел рой мух, своим движением делая обманчивое впечатление странно, частями, движущихся глаз. Нестерпимый запах трупа говорил о том, что он уже давно здесь. Почему он здесь, какая тайна произошла тут? Что пережил он в свои последние минуты?

Задумался и сидит, точно все еще вспоминает свою далекую родину, близких сердцу... Столько тоски было в его позе, столько одиночества.

— Это погонщик — вероятно, припадок здешней лихорадки,— сказал Бортов,— трех-четырех припадков довольно, чтобы уложить в гроб любого силача, а этот был и без того, как видно, изнурен.

Я слушал. Казалось, слушал и покойник — напряженно, внимательно. Слушали деревья, ветви, трава, голубое небо — все слушало в каком-то точно страхе, что вот-вот откроется то таинственное, что происходило здесь, и узнают вдруг люди страшную тайну.

Но Бортов уже проехал дальше, бросив:

— Надо будет сказать окружному, чтобы убрали...— И, помолчав, прибавил: — Это хорошая смерть.

— Что? — переспросил я, занятый мыслями о судьбе погонщика.

— Говорю: этот хорошая смерть.

Он так холодно говорил.

— В смерти мало хорошего,— ответил я.

— Смерть — друг людей.

— Предпочитаю живого друга.

— Живой изменит.

И резонанс его голоса зазвучал мне эхом из пустого гроба. Какое-то сравнение Бортова с тем покойником промелькнуло в моей голове.

Если сильный, умный Бортов говорил так, что делать другим? И почему он говорил так?

На той стороне реки Мандры я остановил лошадь, чтобы попрощаться с Бортовым.

— Едем в город,— сказал с просьбой в голосе Бортов.

Я только нерешительно, молча показал на свою голую голову.

— Да ведь вы в шапке, надвиньте больше на уши,— кто заметит?

Я колебался. Солнце уже село. Мертвые фиолетовые тона бороздили море и темным туманом терялись в отлогом и песчаном, необитаемом побережье.

В город тянуло,— хотелось жизни, а там назади еще сидел и словно ждал меня, чтобы рассказать и передать мне свою смертную тоску, покойник.

— Едем,— согласился я.

И после этого решения и я и Бортов вдруг повеселели, оживились. Вспоминали наше инженерное училище, учителей и весело проболтали всю остальную дорогу до города.

В квартире Бортова нас встретил немного смущенный Никита.

— А я сейчас верхом хотел ехать: прибежал на пристань, а катер перед носом: фьють...

— Я, значит, там один бы сегодня сидел?

— Ну, так как же один? — отвечал Никита,— опять же удвох бог привел.

И успокоенным голосом Никита сказал, как говорит возвратившаяся из города нянька:

— А я вам, ваше благородие, турецкую шапочку купив, щоб с голой головой не ухватить якой хвори.

И Никита вынул из одного из свертков голубую феску.

— Глаза у вас голубые и хвеска голубая.

Когда я надел и посмотрел в зеркало, Никита сказал:

— Ей-богу же хорошо.

Бортов, уже опять обычный, окинул меня взглядом и сказал:

— Так и идите.

Так я и пошел в кафешантан.

Опять пели, пили, кричали и стучали.

Опять Берта дурачилась и Клотильда обжигала своими глазами.

Клотильда подошла к Бортову, пожала его руку и, присев так, что я очутился у нее за спиной, озабоченно спросила:

— Кто этот молодой офицер, который был с вами третьего дня?

— Понравился? — спросил ее Бортов.

— У него замечательно красивые волосы,— серьезно сказала Клотильда.

В ответ на это Бортов бурно расхохотался.

Пока Клотильда смотрела на него, как на человека, который внезапно помешался, Бортов закашлялся и в промежутках кашля, отмахиваясь, говорил:

— Ну вас... убили... вот...

Клотильда повернулась по направлению его пальца и увидела меня, вероятно, глупого и красного, как рак, с дурацкой голубой феской на бритой голове.

В первое мгновение на лице ее изобразилось недоумение, затем что-то вроде огорчения, а затем она так же, как и Бортов, бурно расхохоталась, спохватилась было, хотела удержаться, не смогла и кончила тем, что стремительно убежала от нас.

В результате весь кабак смотрел на меня во все глаза, а я, злой и обиженный, ненавидел и Клотильду, и Бортова, и Никиту, виновника всего этого скандала.

Все остальное время я смотрел обиженно, молча клал в тарелочку Клотильды мелочь и озабоченно торопился пить свое вино. Проходя однажды мимо нас, Клотильда наклонилась к Бортову и что-то шепнула ему. Я в это время встретился с ее игравшими, как огни драгоценных камней, глазами. Взгляд этот настойчиво и властно проник в меня, в самую глубь моего сердца, больно кольнул там его, а Бортов, выслушав Клотильду, бросил ей:

— Скажите сами ему.

Клотильда рассмеялась, кокетливо мотнула головкой, и я, переживая неизъяснимое удовольствие, увидел, что бледное лицо ее вспыхнуло, залилось краской и не только лицо, но и уши, маленькие, прозрачные, которые сквозили теперь, как нежный коралл.

В это мгновение она была прекрасна — смущение придало ей новую красоту, красоту души, и, когда взгляды наши встретились, все это она прочла в моих глазах. По крайней мере я хотел, чтобы она это прочла.

Она ушла от нас и, кажется, никогда еще так грациозно не проходила она. Столько достоинства, благородства было во всей ее фигуре, лице, столько какой-то светящейся ласки, доброты.

— Она сказала, что ошиблась, думая, что самое красивое в вас — волосы: феска еще лучше идет к вам...

— Это показывает,— отвечал я, краснея,— что она вежливая девушка.

— Девушка?..

От этого переспроса я как с неба свалился и убитым взглядом обвел весь кабак. Клотильда уже сидела с кем-то, и тот шептал ей, чуть не касаясь губами тех самых ушей, которые только что так покраснели.

И все такой же невинный вид у нее...

Бортов, который,— я это чувствовал,— читал, как в книге, мои мысли, смотря мне в упор в глаза, сказал серьезно:

— Чтобы покончить раз навсегда со всем этим, поезжайте сегодня ужинать с ней.

Я, как ужаленный, ответил:

— Ни за какие блага в мире.

Еще слово — и, вероятно, я расплакался бы.

— Ну, как хотите,— поспешил ответить Бортов и апатично, холодно спросил:

— Может быть, домой пойдем?

— Пойдем,— обрадовался я.

Клотильда увидела, как мы встали, сделала было удивленное лицо, но, встретив мой мертвый взгляд, равнодушно скользнула мимо и улыбнулась кому-то вдали.

Я торопливо пробрался к выходу и жадно вдохнул в себя свежий воздух ночи.

Прекрасная и бесконечно пустая ночь. Луна, яркая, как брошенный слиток расплавленного серебра, плавит синеву неба и тонет глубже в ней, а фосфор моря красит зеленым отливом лунный блеск, и в фантастичных переливах этих тонов чем-то волшебным, волшебным и живым кажется все: берег с ушедшими вверх деревьями, пристань, ее темно-прозрачная тень, серебряная зелень просвета между морем и верхом пристани; там дальше даль моря с полосой серебра — след луны,— и, как видение в ней, в этой полосе, точно прозрачные, точно ажурные корабли с высокими бортами и мачтами, уходящими в небо.

И тихо кругом, и только прибой, этот вечный разговор моря с землей, будит тишину, и гулко несется его шум в спящие улицы с неподвижными домиками в два этажа, с

их галереями и балконами, решетчатыми окнами, черепичными высокими крышами, каменными дворами, или, верней, комнатой без потолка там, внутри этих домов.

Говорят, болгарки красивы, но я ни одной не видел. Что мне до их красоты? Красива Клотильда, красива, как эта ночь, и так же, как ночь, обманчива, так же, как ночь, черна ее жизнь, ее дела... И такая же сосущая пустота, тоска от нее, как от этой ночи. Волшебно, красиво, но нет живой души, и мертво все,— нет у Клотильды души чистой, чарующей и нет Клотильды — той божественной, которая во мне, в моей душе, как видение, как та прозрачная дымка тумана там в небе,— то Клотильда склонилась и смотрит печально на красоту моря и земли. То моя Клотильда смотрит,— не та, которая там в кабаке теперь ходит и продает себя тому, кто даст дороже.

А!.. Но как ужасно сознавать свое бессилие, сознавать, что ничего, ничего нельзя здесь сделать, и чувство это, которое во мне,— оно уже есть, зачем обманывать себя,— это, что-то живое уже теперь, рождено только для того, чтобы умереть там, в тюрьме моего сердца, умереть и не увидеть света, и я сам, как палач, должен задушить это нежное, прекрасное, живое — и это неизбежно надо, надо, надо... И после этого я стану лучше, чем был; стану мягким, добрым... Странное противоречие. Но о чем тут думать? Разве я могу к моей матери, сестрам, их подругам нарядным, веселым привезти Клотильду и сказать: «Вот вам моя жена». Конечно, нет. Но я привезу. Не ту, которая там, в кабаке; она там и останется и никогда не узнает, что зажгла она во мне,— я привезу Клотильду, какой она могла бы быть, в образе того прозрачного тумана в том небе. И будет она вечным спутником моим в жизни, как Беатриче у Данте. Она будет звать меня, и я буду слышать ее голос и буду вечно с ней — высшим счастьем и высшим страданием моей жизни.

Может быть, когда-нибудь я буду сам смеяться над этим всем, но теперь я хочу плакать.

Мы подошли к квартире, и в ожидании, пока отопрут, Бортов сказал апатичным голосом:

— Я послезавтра устрою охоту. Я закачусь на не-

сколько дней. Вам придется на это время сюда переехать.

— Перееду,— ответил я.

— Вы любите охоту?

— Никогда не охотился.

— Хорошо... Несколько ночей на свежем воздухе, спать прямо на земле.

— Можно простудиться.

— Война кончилась.

— Разве для войны живут?

— Мы-то? — переспросил Бортов.— Кто-то где-то сказал про нас: во время войны они страшны врагам, а во время мира — для всех несносны.

III

Бортов уехал на охоту, а я живу в Бургасе, в его квартире, распоряжаюсь работами, днем езжу в свою бухту, и, завидя меня, Никита радостно бежит и каждый раз спрашивает: «Совсем ли?»

И каждый раз я отвечаю:

— Нет еще.

Я задумчив, сосредоточен, работаю много, охотно, но работа не все. Есть еще что-то, что остается неудовлетворенным, ноет там где-то внутри и сосет.

Вечера я провожу в квартире Бортова и читаю его книги. Он предложил мне их перед своим отъездом таким же безразличным, скучающим голосом, каким предложил мне почетное для меня место своего помощника. Я уловил эту манеру его: чем серьезнее услуга, которую он оказывает, тем пренебрежительнее он относится к ней.

В данном случае услуга громадная: предо мною серьезная литература. К стыду моему, я мало, или, вернее, совсем не знаком с ней.

Я откровенно признался в этом Бортову и благодарил его от всей души. Он многое говорил тогда мне. Я только слушал его, кивая головой, но смысл понял только много, много позже.

Что до него, то очевидно, что он был прекрасно осведомлен обо всем.

— Здесь ничего нет удивительного, мой отец был писатель... он писал в «Современнике», потом в «Русском слове» под псевдонимом, теперь забытым, но мы росли в его обстановке... Когда он умер, мы остались без всяких средств, и таким образом я попал по заслугам деда стипендиатом в корпус, затем в инженерное училище, академию... Это не моя дорога. Матушка моя и сейчас жива: она да я — из всей семьи только мы и остались.

Мое отчаяние тогда по поводу неудачной любви к Клотильде,— я уже любил ее,— не было так велико, чтобы убить мою энергию, но было достаточно, даже слишком достаточно, чтобы искать забвения в чем-нибудь. Работа, чтение, как освежающая ванна, действовали на меня, а детская, может быть, мысль, что я уеду отсюда преуспевшим и в своем искусстве и в литературе, давала мне новые крылья.

Пусть я потерял здесь свое сердце, потерял навсегда,— так думал я,— но я приеду к матери, сестрам образованным человеком, знающим специалистом. Я поступлю в академию, и каждый мой новый шаг будет радовать их... Почему Бортов сказал, что это не его дорога?

Я вспоминаю эти прекрасные вечера, когда кончались мои работы.

Усталый, как все, я иду, чутко прислушиваясь к замирающему шуму дня. Вот изумрудно-пурпурный след лодки, вот последние красные лучи солнца, и сегодня, после дождя и бури, море красное, как пурпур, а с левой стороны заката небо залито оранжевым огнем, и тучи там кажутся грозными бастионами, крепостями, рядом крепостей. Туда проходит теперь солнце, и за ним с далеким грохотом запираются тяжелые ворота этих крепостей. Вот уже заперты ворота, и только сквозит огненная полоска, свидетель того, что владыка мира еще там.

Потух пурпур, и теперь фиолетовым, нежным и неуловимым налетом светится море: верх волны — фиолетовый, низ — еще пурпур, средина — изумруд, и уже горит серебристо-зеленым фосфором ночи воздух.

Открыты окна, горят на столе под зеленым абажуром свечи, и темнота и мрак там в окне, и что-то словно заглядывает оттуда в мою комнату, где сижу я и читаю, как

читают лекции, отмечая в записной книжке непонятное, о чем я спрошу Бортова, потому что я хочу все знать и все понять.

Однажды, все еще в то время, когда Бортов был на охоте, под вечер, возвращаясь по пристани с работ, я совершенно неожиданно встретился с Клотильдой.

Она вышла, вероятно, подышать и погулять, чтобы сильнее почувствовать свою отверженность. Те, которые через два часа будут восторженно целовать ее руки, проходили теперь мимо со своими дамами, не замечая ее.

Она стояла грустная, задумчивая и смотрела в море. Собственно, даже не в море, а в ту сторону, где находилась моя Чингелес-Искелесская бухта.

Когда я проходил мимо нее, наши глаза встретились, и она смотрела на меня так же равнодушно, не ожидая поклона, как и на всех остальных.

Я шел и думал: «Я не пойду к ней в ее кафешантан, но почему мне не поклониться? Я кланяюсь ей как человеку».

Может быть, мысль, что в этом обществе никто меня не знает, придавала мне храбрость. Будь здесь моя мать, сестры, и я так же, как и другие, прошел бы, наверно, мимо.

Как бы то ни было я поклонился и даже задержался немного, и, когда она нерешительно сделала попытку протянуть мне руку, я со всем уважением, какое мог придать своим движениям, пожал ее.

— Вы теперь здесь в Бургасе живете? — спросила она спокойно, с тем же оттенком грусти и задумчивости.

Я удивился, откуда она знает это, и ответил:

— Да, до возвращения с охоты Бортова.

— Вас не видно.

Я смутился и ответил:

— У меня много дела: днем на работах, вечером за письменным столом.

— Вы всегда так работаете? — спокойно спросила она.

— Нет, не всегда,— ответил я уклончиво.

Она скользнула по мне глазами и опять спокойно, задумчиво спросила:

— Бортов скоро возвратится?

— Я думаю, что скоро теперь.

— Он очень хороший человек,— сказала она.

Меня приятно удивляло спокойствие ее манер совершенно порядочной женщины. Я испытывал, правда, тайное, но несомненное и даже — будем говорить откровенно — величайшее наслаждение стоять с ней рядом, говорить и чувствовать ее, эту Клотильду, такой, какой я чувствую ее ежесекундно, всегда, даже во сне в своем сердце. Любовь — это болезнь своего рода. Как в болезни каждое движение напоминает вам эту болезнь, так и в любви всякая мысль, всякое движение — все в честь той, которую любишь.

Это надо сделать. Почему? Потому, что я люблю. А, я люблю? Так я сделаю в десять раз больше ради той, которую я люблю. В честь ее буду жить, в честь ее и умру.

— Вы там живете?

И Клотильда указала глазами в сторону моей бухты. Она и это знает.

— Да, там.

— Там красивое место. Оно мне напоминает мою родину — Марсель...

То, что она говорила, было совершенно ничто в сравнении с тем, как она говорила.

«Мою родину», «Марсель»... как зарницы в небе: сверкнет вдруг нежно, грустно и опять замрет. Родина, Марсель,— они оживали вдруг, и я в блеске зарниц видел их, видел её в них,— видел, чувствовал, понимал ее без слов, и, чтобы возвратить ее туда такой, какой она была когда-то, с каким блаженством я отдал бы за это всю свою жизнь.

— Как хорошо здесь,— вздохнула она после паузы.— Может быть, когда-нибудь я приеду посмотреть вашу бухту,— сказала она, прощаясь,— вы позволите?

Я только поклонился, как умел.

IV

Приехал Бортов, усталый, бледный, более чем обыкновенно апатичный, мертвый.

— Хорошая охота?

— Хорошая.

После осмотра всего, что было сделано без него, я показал ему мои работы по литературе, прося объяснений.

Понемногу он словно возвратился откуда-то, и я слушал его с раскрытым ртом, удивляясь обширности его познаний, скрытой мягкости, ласке, слушал с буравящей мыслью, что мешает этому умному, сильному, талантливому красавцу жить и наслаждаться жизнью.

— Были в кафешантане? — спросил, меняя разговор, Бортов.

— Нет...

Я рассказал ему о встрече с Клотильдой.

— Ну, теперь на ваш счет будут чесать языки все здешние кумушки,— сказал он.

— Кто меня знает?

Бортов усмехнулся.

— Здесь все знают всех. Не лучше любого провинциального городка.

— Мне все равно.

— Это-то конечно. Клотильда что? Она умеет по крайней мере себя держать, а я с Бертой прогуливаюсь,— вот посмотрите...

Бортов засмеялся своим старческим и детским в то же время смехом.

— Первое время все эти маменьки носились со мной, как с писаной торбой. Но когда потеряли надежду на меня как на жениха...

Бортов махнул рукой.

— Вы когда хотите ехать к себе?

— Сегодня же,— ответил я.

— Пообедаем хотя.

Было пять часов. Мы с Бортовым и Бертой обедали в гостинице «Франция».

Клотильда вошла в залу, когда мы обедали, и, увидев нас, радостно и даже бурно поздоровалась с Бортовым, приятельски с Бертой и ласково со мной.

— Сегодня вечером увидимся?

— Да вот,— ответил Бортов, показывая на меня,— не удержишь ничем: едет к себе.

Клотильда посмотрела на меня и сказала Бортову:

— Может быть, и мы когда-нибудь проникнем в тот таинственный уголок... Мы будем его называть монастырь святого Николая. Так, кажется, зовут молодого отшельника?

И она ушла, оставляя во мне аромат своих духов, неудовлетворение, тоску, неисполнимые, хоть весь мир разрушь, желания.

В семь часов отходил последний катер, и с обеда мы с Бортовым отправились прямо на пристань.

Там уже стоял готовый паровой катер, и хозяйственный Никита возился, устраивая мне удобное сиденье.

Я сел, и мы тронулись. Затем я насунул плотнее свою фуражку на лоб и задумчиво уставился в исчезавший городок... Образ Клотильды снова охватил меня, опять я осязал ее: ее глаза, золотистые волны густых чудных волос... Клотильда была там, в городе, в каждом здании, в каждой искорке прекрасного вечера, в этой голубой дали и в этом одиноком монастыре, и в моем сердце, и выше, выше головы, и, боже мой, чего бы я ни дал, чтоб хоть на мгновение увидеть опять ее. И вдруг я увидел ее, и наш катер чуть не перерезал ее маленькую лодку, где сидела на руле она, а два турка гребли. И, не обращая внимания на опасность и на крики матросов, ругавших ее гребцов, она с натянутыми шнурками руля быстро, тревожно искала кого-то глазами в катере и вдруг, увидя меня, весело, как ребенок, сверкнула своими черными глазами и закивала мне головой. В это время катер мчался возле самого борта ее лодки, и я увидел ее близко, близко, ее атласную руку и взгляд более долгий, чем весь переезд, взгляд, перевернувший все во мне, охвативший меня и огнем и болью. Ко мне долетел какой-то лепет ее, немного горловой, немного детский, как легкая, мягкая жалоба.

Все это произошло так быстро.

Я вскочил и пришел в себя, когда лодка ее была уже далеко, а я все еще стоял с шапкой в руках и все смотрел ей вслед.

Затем я вспомнил, где я,— матросы и Никита все видели,— надел опять шапку и с отчаянием человека, который теперь ничего уже не поделает, сел опять и, не смея ни на кого взглянуть, постарался сделать самое

угрюмое и безучастное лицо. Насколько это мне удалось — не знаю. Но, когда мы подъехали к мосткам нашей будущей бухты, тон Никиты еще усилился в смысле покровительства:

— Ваше благородие, матросам дать, что ли, на водку?

— Конечно, конечно... дай им два рубля... Спасибо, братцы.

— Рады стараться, ваше благородие. Проклятые турки чуть не утопили барышню.

— Да-а...

Пока приготовлял Никита ужин и чай, я ходил по своей террасе, смотрел на море и думал, конечно, о Клотильде. Меня мучил теперь вопрос: зачем она выехала ко мне навстречу? И вдруг мне пришла очень простая мысль: да выезжала ли она ко мне или просто захотела покататься? Все мое праздничное настроение сразу исчезло: какой я наивный, однако. А немного погодя опять в защиту Клотильды начали появляться в моей голове разные доводы. Во-первых, ее взгляд, которым она искала... но она могла искать, конечно, и кого-нибудь другого. Ну, а огонь в глазах, и радость, и какие-то фразы, которых я не расслышал? Господи, да зачем же я катера не остановил, чтобы переспросить?.. Она, вероятно, этого и хотела, и то, что я пронесся мимо, она не могла себе объяснить иначе, как моим окончательным нежеланием даже соблюдать с ней вежливость.

Вечер мой пропал. Я упрекал себя и порывался в город. Боже мой, когда отчаливал катер, мне казалось, его винт буравит не в море, а в моем сердце.

А там из-за темной синевы мелькают огоньки... Там в деревянном здании будет петь сегодня Клотильда. Не та Клотильда, которая во мне, а другая, с такими же, впрочем, золотистыми волосами, пронизывающими, ласковыми глазами, что жгут меня... не знаю сам какая...

А темный лес уже огласился миллионами ужасных воплей шакалов.

— Го, прокляты щикалки,— говорит Никита, ставя ужин,— як зарезаны диты скозчат...

Как подходит это сравнение с зарезанными детьми

здесь, где такими зарезанными удобрена вся земля Болгарии.

А позднее к этим воплям прибавился свист ветра, глухие, как пушечные выстрелы, удары моря, шум леса. Я лежал в своей палатке и под этот нестройный концерт думал о Клотильде.

Клотильде нравится мой уголок: он напоминает ей ее родину. Я люблю этот уголок, люблю ее, ее родину. Я буду здесь работать: я привез книги — буду читать.

V

Это был период затишья в моей любви к Клотильде. Что мне за дело до той позорной Клотильды? Я ее не знал и не буду никогда знать. Я жил в своей бухте среди прекрасной природы, среди работы. Все сразу пошло в ход: и пристань, и дом, и шоссе. Полковнику батальона, который будет работать, дали взятку: его люди записываются в табеля с подделкой их фамилий под турецкие и болгарские.

Но я выговорил только одно: кроме той суммы, которая шла на улучшение пищи, остальное получать солдатам прямо на руки и беречь эти деньги, помимо полковых ящиков.

Расчеты производились по субботам. При расчетах, по моему настоянию, должны были присутствовать старшие унтер-офицеры и батальонный офицер. Это я сделал уже для себя лично: в ограждение от сплетен, возможность которых допускал после намека полковника.

Мне по душе была моя кипучая жизнь. Я вставал в четыре часа утра и прямо из палатки бросался в море: это было вместо умыванья. Затем я пил чай с «буйволячьим» маслом. И масло, и молоко, и мясо буйвола — такая гадость, о которой вспомнить противно. Особенно мясо, черное, слизистое и с отвратительным вкусом к тому же. В отношении еды вообще было худо: хлеб, пополам с кукурузной мукой, был всегда черствый, тяжелый и не шел в рот. Никитины «каклетки» имели завлекательность только на устах Никиты, когда он вкусно спрашивал:

— Ваше благородие, може чего-нибудь вам сготовить?

— А что?

— А каклетки? На масле поджарить! Скусно...

И поверишь, а принесет... брр...— пахнет сальной свечой.

Зато чай, если горячий, был вкусный. Иногда я задумывался, и тогда чай стыл, а я просил Никиту дать мне свежего. Но экономный Никита соглашался не сразу.

— Горячий же, бо палец не терпит.— И в доказательство он опускал в мой стакан палец и говорил: — Ох, якой же еще!

— Никита,— говорил я в отчаянии,— разве ты не понимаешь, что после твоих грязных рук я не могу пить.

— Каклетки теми же руками вам готовлю,— отвечал смущенно Никита, рассматривая свои грязные руки.

Выкупавшись и напившись утром чаю, я подходил к работавшим на пристани, отдавал нужные распоряжения саперному унтер-офицеру, а в это время Никита подводил мне мою «Румынку». Я садился и ехал к домику, который выводился для меня в противоположном углу бухты, тоже вблизи моря и леса.

Этот домик мы скомбинировали из старых досок в два ряда с заполнением пространства между ними песком или землей. Заведующий работами унтер-офицер разыскал вблизи кучи древесного угля, оставшегося, вероятно, после обжога, и мы решили, на что теплее будет, если заполнить пространство между досками этим углем. Мы так и сделали, и вследствие этого и я и все приезжавшие ко мне покрывались черной пылью, в изобилии пробивавшейся сквозь щели досок. Впоследствии, впрочем, мы устранили это неудобство, обив стены холстом палатки.

После осмотра работ домика я уезжал на шоссе.

При огибе каменного мыса шли динамитные работы.

Солдатики придумали себе и другое употребление из динамита. Зажигая фитиль, они бросали патрон динамитный в воду, и когда раздавался выстрел, то поверхность воды покрывалась массой оглушенной рыбы. Сол-

датики хватали ее, варили и ели. Ел и я, хотя за растрату казенного имущества мог быть привлечен к суду.

Этого чуть-чуть не случилось.

В озере, в недалеком расстоянии, водилось много рыбы. Солдаты, припрятав патроны, однажды в одно воскресенье, когда работ не бывало, отправились на озеро ловить рыбу.

Наловили массу и все съели. Съели и заболели какой-то злокачественной лихорадкой. Несколько человек меньше, чем в полсуток, умерло.

Я никогда не видал ничего подобного: их подбрасывало от земли, по крайней мере, на пол-аршина.

Оказалось, что в это озеро во время тифозной эпидемии бросали умерших. Рыба, вероятно, питалась их мясом: рыба действительно была поразительно жирна.

Дело, впрочем, замяли, отнеся все к воле божией.

Только полковник категорически заявил:

— На штаны все-таки всем солдатикам надо дать.

И дали, снеся расход на покупку досок.

При желании можно было много выводить таким образом расходов.

К обеду, к двенадцати часам, я возвращался домой, ел «каклетку», пил чай и ложился спать. В два часа я опять купался и опять начинал свой объезд работ.

К семи часам работы кончались, и я возвращался к себе. Это было лучшее время.

Жар спадал, солнце садилось; мне расстилалась бурка, клалась подушка, и я ложился со стаканом чаю, с книгой в руках.

Еду сегодня отыскивать камыш для будущей крыши своего домика. Лесом, а тем более железом, крыть дорого. Не может быть, чтобы здесь не было где-нибудь камыша или папороти. Я уже расспрашивал братушек, но они молчат, а солдаты говорят, что есть тут подальше камыш.

Моя Румынка уже в чепчике — и, напившись чаю, еду по прямому направлению к югу. Поднялся лесом по какой-то тропинке, наткнулся по дороге на кабаньи следы (Бортову сказать) и выехал на водораздел. Лес исчез, и перед глазами волнистая открытая местность;

вот влево повернула большая долина: там должна быть река и камыши.

Какие дни! Безоблачные, тихие, ясные. О такой ясности только знают те, кто знает южную осень. Небо нежное, синее охватило своими объятьями яркую, нарядную, всю в солнце, но с печатью какой-то неподвижной грусти землю, и точно спит в его объятиях земля, и с нею спят и море, и корабли, и их белые паруса в синем море, и та высокая колокольня монастыря. Спят или в неподвижном очаровании слушают какую-то нежную скорбь, тихую жалобу, ту жалобу, что шепчет красавица земля своему возлюбленному солнцу, собирающемуся далеко-далеко уйти от своей милой. Все молит его тихо, покорно: «Останься». И стоит в раздумье солнце и льет и льет свои последние яркие лучи, и нежнее замирает земля.

Я спускаюсь к реке, в долину, на большую дорогу, на которой вижу библейские картинки.

Вот идет красавица болгарка: строгие правильные черты лица, большие черные глаза, живописный костюм, полуприкрытое лицо, мул, на нем мальчик, и рядом с мулом и болгаркой низкорослый, кривоногий, исподлобья смотрящий болгарин.

А дальше я обгоняю арбу, запряженную парой уродливых, голых, черных, как черти, буйволов. Увидели буйволы сверкнувшую реку и понесли и арбу и уснувшего болгарина: лягут там, забравшись по горло в реку, и уже никакими силами не выгнать их оттуда, только их черные морды, как головы гиппопотамов, будут торчать из воды.

А вот и то, что я ищу — камыши.

Еще проехал,— и маленькая дорожка свернула к виднеющейся вдали деревушке у самой речки.

Я въехал на холмик — и оттуда видна мне и залитая солнцем деревушка, и яркая зеленая мурава осеннего луга, и вся осенняя даль привольная, тихая и задумчивая в ясном дне. Глаз не хочет оторваться от уютной картинки; глаз ласкают и даль, и речка, и мирная деревушка, а в голове, как волны музыки, как звуки какого-то нежного, знакомого мотива, просыпаются какие-то, точно забытые мысли о чем-то. Точно видел уже эту деревушку

где-то, в какой-то панораме, видел эти горы, что вырастают там за ней, уходя вдаль, все выше и выше в голубое небо. Кто-то рассказывает или ветерок шепчет какие-то сказки...

Неохотно съезжаю с пригорка и, охваченный этой негой покоя и тишины, еду по мягкому лугу. Но Румынке, очевидно, хочется поскорее добраться до деревни и узнать, что там за уголок, где тоже живут люди, живут, радуются, страдают...

Вот речка и мост, вот уже близки потемневшие домики и узорчатые окна, и чистые улицы, и поворот, и картинка, навсегда запечатлевшаяся в памяти.

Девушек двадцать болгарок — все красавицы, как на подбор, все высокие, стройные, все гордые, с большими черными глазами, красивыми белыми лицами, взявшись за руки, с венками на головах, что-то поют и кружатся в хороводе.

Это хоровод русалок. Это выставка красавиц.

Вокруг старухи, дети.

Я стою очарованный, прирос к седлу, не могу оторвать глаз от волшебного видения,— и вдруг крик, и все исчезает быстро, как видение, закрываются окна, и через мгновение я один в глухой пустой улице, и никого больше, и так пусто, точно вымерли все или выселилась деревня.

Я долго стучусь, пока, наконец, удается вызвать мне какого-то старика, немного понимающего русский язык, и я объясняю ему цель своего приезда. И много еще времени проходит, пока, наконец, собирается небольшой кружок болгар, и я слышу свое имя:

— Кептен Саблин.

На меня смотрят уже не так угрюмо и кивают головами.

Начинается разговор относительно камыша. Два франка за сотню снопов: кажется, недорого. Я даю задаток. Доверие порождает доверие, и на вопрос, далеко ли турецкое селение, первый старик нехотя, опустив глаза, говорит, что чужеземцу не надо ездить по чужим селам, а тем более к туркам.

Он вскидывает на меня глаза, опять их опускает и кончает так спокойно, что мне делается немного не по себе:

— Иногда режут по большим дорогам...

Толпа стоит, точно слушает мой приговор, и смотрит мне в глаза: «Ты слышал?»

— Пусть режут,— отвечаю я,— совесть моя чиста, и я ничего не хочу дурного.

— Не надо деньги возить, не надо ездить...

Я хочу спросить о хороводе, посмотреть костюмы девушек, но толпа точно угадывает мои мысли, и никто не хочет смотреть на меня, и так чужды все мне, точно спрашивают: зачем же я еще стою, когда все сделано, и ко всему я не только жив, но и получил их добрый совет.

— Спасибо,— вздыхаю я и протягиваю руку старику.

— Поезжай, поезжай,— говорит облегченно старик.

И я еду, но предо мной все еще хоровод красавиц девушек, и я, отъезжая, даю себе обещание возвратиться опять, чтобы врасплох увидеть прекрасных болгарок.

И я ездил и не раз, но напрасный труд,— болгары уже были настороже — и так и не удалось мне больше увидеть, что нечаянно, как из-за занавески, увидел раз и то мельком.

Я возвращаюсь домой, думая о болгарках, думая о своих делах, довольный найденным камышом и смущаемый мыслью, что стоит моя работа с мостом на Мандре. Нет понтонов, а 16-я дивизия скоро-скоро уже тронется, и без моста не переправишь артиллерию. И вдруг я вспоминаю: там, в углу старой пристани, у Бургаса, стоит несколько старых барж, очевидно, оставленных за негодностью, но, негодные для плавания, они могут вполне годиться для понтонов. А если они годятся, то у меня через неделю будет готов мост на Мандре.

И я, весь потонув в деталях своего проекта, совсем не заметил обратной дороги.

VI

Был какой-то праздник, и так как в праздники мы не работали, то я скучал.

Я лежал на бурке на своей террасе, прислушивался к сонному плеску моря, вдыхал в себя свежий аромат

его, следил за золотой пылью заката, смотрел на Бургас, монастырь, вдаль и скучал.

— Никита!

У Никиты дощатый балаган там, на пригорке: в одной половине лошадь, в другой — он со своим хозяйством, а перед балаганом — кухня.

Его не так легко дозваться.

— Ась? — отзывается, наконец, он и идет тяжелыми шагами ко мне.

— Ты что там делаешь?

— Что? Записую расходы...

Никита все время или считает деньги, или записывает какие-то расходы.

— Ты откуда родом?

— Откуда? Из Харьковской губернии.

— Жена есть?

Никита задумывается, точно вспоминает.

— Нет.— И, помолчав, уже подозрительно спрашивает: — А вам на што знать, ваше благородие?

— Так,— отвечаю я.

— Ваше благородие, а масла завтра потребуется?

— А что, нету?

— На утро еще будет... и говядины надо купить.

— Да ведь недавно же покупали?

Никита начинает с увлечением: конечно, недавно, и он был уверен, что по крайней мере ее хватит на четыре дня. Но приехал Бортов — каклетки нет, вчера я ужинать потребовал — опять нет...

Никита чувствует, что этого мало, и лениво прибавляет:

— Так, шматки остались....

Но затем новая мысль приходит ему в голову, и он опять оживляется:

— А, конечно, дорого, бо все воловье мясо. Буйволячье чуть ли не в два раза дешевле.

Но я уже лезу в карман, чтобы только избавиться от буйволячьего мяса.

— Ваше благородие,— доверчиво, тихо говорит Никита,— а вина тоже нет.

— Вина не надо,— огорченно говорю я, предпочитая отказаться от рюмки вина в свою пользу и стакана в пользу Никиты.

Хотя впоследствии оказалось, что он не пил, а просто отливал и подавал мне опять уже оплаченное раз вино. Один офицер, некто Копытов, утверждал, что Никита увез от меня за время пребывания, кроме жалования, по крайней мере рублей двести. Может быть, но я люблю Никиту и Никита меня любит, а Копытов и сам ненавидит своего денщика и тот платит ему тем же.

Эту маленькую сплетню передал мне сам Никита.

— Ваше благородие, а что вы в город не поехали? — заканчивает Никита нашу беседу, получив деньги.

— Ничего я там не забыл,— отвечаю я голосом, не допускающим дальнейших разговоров.

— Як монах сидите... От теперь и вина уж не будете пить,— гости приедут, чем поштувать станете? Чи той водой?— Никита показывает на море.— А какая краля вдруг приедет? Я ж на свои и то купил...

Никита надоел.

— Ну, вот, Никита, плачу в последний раз: бутылку на неделю — и конец.

— Да хоть две пусть стоит, як пить не станете.

И я даю Никите еще денег.

Но что это? Мы оба с Никитой оглядываемся и видим на пригорке... Клотильду, Бортова и Альмова, инженера путей сообщения.

Альмов милый господин, но шут гороховый. Он не может пройти мимо какой-нибудь блестящей поверхности, чтобы не посмотреть в нее свой язык. Начинает всегда фразой:

— Послушайте, знаете, что я вам скажу...

Но возьмет нож или, в крайнем случае, возьмет зеркальце, посмотрит свой язык, рассмеется добродушно, ласково и глупо,— и никогда так и не скажет ничего.

Но так в общем Альмов — милейший господин, а в этот момент я даже люблю его.

— Э...— крикнул он весело,— помогите же даме!..

Мы с Никитой так и стояли с открытыми ртами.

Клотильда на своем золотистом карабахе, как воздушное видение, была там на пригорке.

Карабах сделал прыжок и так и остался на мгновение с всадницей в воздухе. Казалось, вот они оба исчезнут, как появились.

Я, наконец, опомнился и бросился к ней. Клотильда, наклонившись, внимательно и беспокойно смотрела мне в глаза.

Ее глаза просили и, вероятно, получили, чего желали, потому что, держась за мою руку, она весело и легко соскочила на землю.

— Гоп-ля! — сказала она, слегка сжав мою руку, а затем не совсем уверенно спросила: — Принимают?

Переведя глаза на берег, мою палатку, море и весь вид, она радостно вскрикнула:

— О, как здесь хорошо! Monsieur Бортов, вы знаете, что это мне напоминает? Это мне напоминает, когда я росла около Марселя... А-а!.. Вот такой же берег и море, а внизу город, только там выше... и больше море...

Она протянула руку и быстрым жестом показала необъятность ее моря.

В это мгновение глаза ее сверкнули радостно, и она с душой, открытой ко мне, остановив глаза на мне, проговорила:

— Оставим мою молодость и будем жить настоящим. О, я очень рада, что monsieur Бортов взял, наконец, меня с собой. Он меня пугал, что вы рассердитесь.

Я решительно не мог ничего отвечать.

Бортов и Альмов ушли по работам, а мы с Клотильдой остались у палатки.

Как шел к ней костюм амазонки: стройная, оживленная, как ребенок.

— А-а, вы знаете,— говорила она серьезно мне,— это дворец, которому позавидовал бы царь... Я буду ездить к вам...

Глаза ее остановились и смотрели на меня ласково, безмятежно.

В общем мы мало, впрочем, говорили. Что разговор? Мы говорили глазами. Взгляд идет в душу: он отвечает сразу на множество вопросов и задает их и получает ответы... И когда люди обмениваются такими взглядами, то уже им нет дороги назад. Зачем и вперед спешить? Если нет и там дороги, разве в этом все не та же непереда-

ваемая радость жизни?.. Вот берег, усыпанный ракушками, золотистый фазан вылетел из лесу, сверкнул на солнце и исчез, а там тень и мой чертеж на столе, и Никита, взволнованный, спешит с самоваром. А, это Никита? Мой денщик? О, какой симпатичный. Надо посмотреть его балаган. И мы идем к балагану. Она опять говорит о своей родине. А-а, это и есть моя Румынка? Она ходит с чепчиком? О, какая милая. И она целует ее в шею, а я стою в дверях и смотрю.

Я слышу ее вздох, полный, сильный, и все так бесконечно сильно и ярко, и мы уже идем с ней назад, оба такие удовлетворенные, счастливые, словно нам позволили выбрать лучший жребий и мы уже взяли его.

Навстречу идут Бортов и Альмсв.

— А это?

Она показывает на мою палатку.

Я должен показать и палатку — и я показываю, смеюсь, извиняюсь. А Бортов поднимает крышку моего сундука и смеется, показывая Клотильде там золото и серебро. Клотильда, недоумевая, говорит: «О...», и опять выходим на террасу, где и садимся пить чай.

Она сама хозяйничает — и надо видеть удовольствие Никиты. Он торжественно ставит бутылку вина на стол, смотрит на меня и спрашивает глазами: «Что, пригодилось?»

И опять мне говорят о том, как здесь хорошо, а я смотрю на Клотильду и думаю, что хорошо смотреть ей в глаза, на ее волосы, на всю нее — стройную, молодую, прекрасную, как весна.

Она чувствует, что не осталось во мне ничего, что не задела бы она во мне — и в ее глазах радость.

Я не сказал бы, что и она любила, но она ценила мое чувство... Я большего и не желал. Я и без того, мечтая о невозможном, получил его, потому что видел Клотильду, но без всего, что разрывало мое сердце на части. Может быть, это и иллюзия... Но кто сказал, что я хочу разрушать эту иллюзию? Не хочу. Поцеловать след ее и умереть я согласен сейчас же, но не больше. Словом, мы понимаем теперь хорошо друг друга, без слов понимаем, чего желают святая святых нас обоих...

— Вы хотите, чтобы она осталась с вами? — спросил Бортов, отводя меня в сторону.

— Ни под каким видом,— отвечал я, оскорбленный.

Бортов еще постоял и возвратился к палатке.

— Ну, что ж, пора и ехать,— проговорил он громко.— Вы проводите нас? — обратился он ко мне.

— Проводите,— попросила Клотильда.

Я не стал заставлять просить себя и велел оседлать себе три дня тому назад еще одну купленную за пятьдесят рублей донскую лошадь — Казака. Это была высокая и неуклюжая, как верблюд горбатая, красно-гнедая лошадь.

— Зачем вы не хотите ехать на Румынке? — спросила Клотильда.

Мне просто было стыдно ехать с дамой на лошади в чепчике.

— А Казак уносной,— возразил Никита,— свалит куда-нибудь в овраг...

— Не свалит,— ответил я.

— Что он говорит? — спросила Клотильда.

— Он говорит глупости,— сказал я.

— Когда ваш дом будет готов? — спросил меня Бортов.

— Я надеюсь в четверг перебраться.

— Я заеду к вам на новоселье,— сказала Клотильда.

— Я буду счастлив.

Нам подали лошадей, мы сели и поехали.

Я с большой тревогой следил за своим донцом. Раз всего я и пробовал его и, откровенно сказать, не чувствовал себя хорошо,— слишком сильная и порывистая лошадь. Особенно не нравилось мне, когда она вдруг, как заяц, прижимала уши и дергала изо всех сил. Ведь у казаков особенная выездка, и не знаешь сам, когда и как начнет лошадь проделывать свои заученные штуки,— понесет без удержу, ляжет вдруг, начнет бить задом или взовьется на дыбы. Где-то тронуть, где-то пощекотать — и готово.

И потому я только и старался, как бы не тронуть, не пощекотать. А донец, как нарочно, в соседстве с другими лошадьми горячился все сильнее.

Горячился и карабах Клотильды.

— Поезжайте вперед,— посоветовал нам Бортов.

Мы так и сделали.

Мы ехали почти молча, каждый успокаивая свою лошадь.

Так доехали мы до моста на Мандре, того понтонного, который я выстроил из старых барж.

За Мандрой к Бургасу тянулся уже отлогий песчаный берег до самого Бургаса.

Скалы, леса остались позади.

Взошедшая луна своим обманчивым зеленоватым блеском осветила как стол гладкую, безмолвную равнину. В мертвом серебристом свете неподвижно, как очарованные, торчали поля бурьяна и колючек.

Тут было не страшно, если б даже и задурил мой донец.

Мы подождали Бортова и Альмова и поехали вместе.

Клотильда, так недавно еще такая близкая мне, теперь опять как-то не чувствовалась. Предложение Бортова не выходило из головы.

Мне захотелось вдруг вытянуть плеткой донца между ушами.

Когда оставалось версты три до Бургаса, Бортов скомандовал: «марш-марш», и мы помчались. Карабах быстро и легко обошел всех лошадей. На своем верблюде я был следующий. Что за прыжки он делал!

Впечатление такое, точно я сижу верхом на крыше двухэтажного дома, и дом этот тяжелыми, неэластичными прыжками мчит меня. Но, как ни мчал он, карабах с Клотильдой был впереди. В первый раз я решился ударить плеткой донца.

Донец совершенно обезумел, рванулся и догнал карабаха. Поравнявшись с ним, я нагнулся и ударил карабаха плеткой. Это была бешеная скачка: свистел воздух, пыль слепила глаза; пригнувшись, мы неслись.

— Надо сдержать немного лошадей,— крикнула Клотильда,— мы подъезжаем к городу.

Лошадь Клотильды сейчас же отстала от меня, но я ничего уже не мог сделать с донцом: он закусил удила и нес.

— Я не могу остановить лошадь,— закричал я в отчаянии.

Я слышал, как Клотильда хлестала свою, чтобы догнать меня. Я напрягал все силы, но напрасно: донец уже несся по узким улицам Бургаса.

Толстый генерал, по своему обыкновению, сидел посреди улицы и пил кофе на поставленном перед ним столике с двумя горевшими свечами.

Вероятно, он думал, что я нарочно несусь так, чтобы потом лихо и сразу осадить перед ним свою лошадь.

Я действительно и сделал было последнее отчаянное усилие, которое кончилось тем, что правый повод не выдержал и лопнул, а донец после этого еще прибавил, если это еще возможно было, ходу.

Я успел только сделать отчаянный жест генералу: генерал отскочил, но и стол и все стоявшее на нем — кофейник, свечи, прибор — полетело на мостовую.

Мне, впрочем, некогда тогда было обо всем этом думать. Счастье еще, что вследствие позднего времени улицы были пусты. Но и без того мы с донцом рисковали каждое мгновение разбиться вдребезги. В отчаянии я сполз почти на его шею, ловя оборвавшийся повод. Мне удалось, наконец, поймать его в то мгновение, когда донец, круто завернув в какие-то отворенные ворота, влетел на двор и остановился сразу. С шеи его вследствие этого я в то же мгновение съехал на землю и сейчас же затем вскочил на ноги, в страхе оглядываясь, не видала ли Клотильда всего случившегося со мной. Но ни Клотильды, ни Бортова с Альмовым и слышно не было. Какой-то солдатик взялся доставить лошадь мою в гостиницу «Франция», а я сам, сконфуженный и печальный, не рискуя больше ехать на донце, пошел, оправляясь, пешком.

Наших и других городских знакомых я нашел уже в гостинице. Взволнованно, чуть не плача, объясняя всем и каждому, почему я так мчался, я показывал оборванный повод. Но мне казалось, что все-таки никто не верит мне, и даже Клотильда смотрела на меня какая-то задумчивая и равнодушная.

Только Бортов мимоходом бросил мне:

— Да оставьте... ребенок...

— Ну, как же не ребенок,— говорил Бортов уже за ужином, на котором присутствовали и Клотильда, и

Берта, и Альмов, и Копытов, и еще несколько офицеров,— оказал какие-то чудеса в вольтижировке, сам донец ошалел, спас и себя и его от смерти, и еще извиняется.

Все рассмеялись, а Бортов тем же раздраженным тоном переводил то, что сказал мне, Клотильде.

У меня уже шумело в голове: не знаю сам, как я умудрился, чокаясь, выпить уже пять рюмок водки.

Клотильда радостными глазами смотрела на меня, а я, поняв, наконец, что никто меня не считает плохим наездником,— хотя я был действительно плохим,— сконфуженный и удовлетворенный, умолк.

— Выпьем,— протянула мне свой бокал Клотильда.

Я чокнулся и подумал: «Надо, однако, пить поменьше».

— Buvons sec [1],— настойчиво сказала Клотильда.

На что Бортов бросил пренебрежительно:

— Разве саперы пить умеют? — три рюмки водки и готовы...

Но я, войдя вдруг в задор, ответил:

— Не три, а пять,— и саперы умеют пить, когда хотят, лучше самых опытных инженеров.

Все рассмеялись.

— И, если вы сомневаетесь,— продолжал я, серьезно обращаясь к Бортову,—я предлагаю вам пари: мы с вами будем пить, а все пусть будут свидетелями, кто кого перепьет.— И, не дожидаясь ответа, я крикнул: — Человек, бутылку шампанского!

Пока принесли шампанское, Бортов, пригнувшись к столу, смотрел на меня и смеялся.

Когда шампанское принесли, я взял два стакана, один поставил перед Бортовым, другой перед собой и, налив оба, сказал Бортову:

— Ваше здоровье!

Я выпил свой стакан залпом.

— Благодарю,— насмешливо ответил Бортов,— и также выпил свой.

Я опять налил. Когда бутылка опустела, я потребовал другую. После двух бутылок все мне представлялось

---

[1] Выпьем хорошенько (*франц.*).

с какой-то небывалой яркостью и величественностью: Клотильда была ослепительна и величественна, Бортов величественен, все сидевшие, даже Берта, были величественны. Я сам казался себе великолепным, и все, что я ни говорил, было величественно и умно. Я теперь, точно с какого-то возвышения, вижу все.

Клотильда начала было печально:

— Господа, вы молодые, сильные и умные...

— Не мешайте,— спокойно остановил ее Бортов.

Я тоже счел долгом сказать:

— Клотильда! Из всех сидящих здесь, из всех ваших друзей и знакомых никто вас не уважает так, как я.

Копытов фыркнул. Я остановился и грустно, многозначительно сказал:

— Если я кого-нибудь обидел, я готов дать удовлетворение.

Тут уж все расхохотались.

Я посмотрел на всех, на Клотильду; она тоже смеялась. Тогда рассмеялся и я и продолжал:

— Так вот, Клотильда, как я вас люблю...

Клотильда, покраснев, сказала: «вот как»; Бортов же серьезно и флегматично заметил:

— Вы, кажется, говорили об уважении...

— Все равно,— заметил я,— не важно здесь то, что я сказал, а то, что есть. Я повторяю: я люблю... И пусть она прикажет мне умереть, я с наслаждением это сделаю...

— Браво, браво!

— Будем лучше продолжать пить,— предложил мне Бортов.

— И продолжать будем,— ответил я, наливая снова наши стаканы.

И мы продолжали пить. Какой-то вихрь начинался в моей голове, и лица, такие же яркие, как и прежде, уж не были так величественны, а главное, неподвижны. Напротив: я уже и сам не знал, с какой стороны я вдруг увижу теперь Клотильду.

Однажды она вдруг наклонилась надо мной, и я вздрогнул, почувствовав прикосновение ее тела.

— Клотильда, я пьян, но я все-таки умираю от любви к тебе...

Она наклонилась совсем близко к моему лицу и шепнула мне на ухо:

— Если умираешь, оставь это и пойдем со мной...

Ее слова были тихи, как дыхание, и обжигали, как огнем.

Я собрал все свои мысли.

— Я умираю и умру,— сказал я громко, чувствуя, что мое сердце разрывается при этом,— но с такой... не пойду...

Я крикнул это и, отвалившись на стул, исступленно, полный отчаяния, смотрел на мгновенно потухшие прекрасные черные глаза Клотильды: их взгляд, проникший в самую глубь моего сердца, так и замер там...

— Ну, уж это черт знает что,— раздался возмущенный голос рыжего интенданта,— зачем же оскорблять?

Какой-то шум, кажется, кто-то уходит. Я все сидел на своем месте. Что-то надо было ответить, кажется, но мысли и все вертелось передо мной с такой стремительной быстротой, что я напрасно старался за что-нибудь ухватиться.

И вдруг я увидел Бортова, который все так же сидел, пригнувшись к столу, наблюдая меня.

Я сразу развеселился и крикнул ему:

— Эй ты, Ванька Бортов! Шельма ты!.. Не юли, будем пить...

— Шампанского больше нет,— донеслось ко мне откуда-то.

Я мутными глазами обвел стол, увидел графин с ликером и сказал:

— Все равно, будем ликер пить.

И я стал наливать ликер в стаканы.

Это вызвало взрыв смеха, а Бортов сказал:

— Довольно, признаю себя побежденным.

— Ура!

И громче всех кричал я:

— Ура!

Нас с Бортовым заставили целоваться.

Мы встали, качаясь, подошли друг к другу, обнялись и упали.

Смеялись все — и мы, лежа на полу, смеялись.

И мы опять сидели за столом. По временам на меня вдруг находило мгновенное просветление. Я заметил, что Клотильды уже нет между нами, что-то вспомнил и сказал печально Бортову:

— Пропили мы Клотильду.

В другой раз я заметил, что не только мы с Бортовым, но и все пьяны.

Альмов высунул язык перед каким-то офицером, уверяя, что видит свой язык в отражении медного лба офицера.

— Когда же они успели напиться? — спросил я.

И я опять все забыл.

Я помню улицу, освещенную луной, мы идем с Бортовым и постоянно падаем. Бортов смеется и очень заботливо поднимает меня.

Затем мелькает передо мной какая-то комната, лампа на столе, на полу сено и ряд подушек. Бортов все так же заботливо укладывает меня. Я лежу, какие-то волны поднимают и опускают меня, я чувствую, что хочу объявить про себя что-то такое страшное, после чего я погиб навсегда. Я собираю последнюю волю и говорю сам себе:

— Замолчи, дурак!

И я мгновенно засыпаю, или, вернее, теряю сознание, чтобы утром проснуться с мучительной головной болью, изжогой, тоской, стыдом, всем тем, что называется катцен-яммер [1].

Я узнаю, что Бортов, возвращаясь обратно, шагнул прямо с площадки второго этажа вниз и расшиб себе все лицо.

Я иду к Бортову.

— Пустяки,—машет он рукой и смущенно прячет от света лицо,— лицо павиана с оранжевыми, зелеными, красными и желтыми разводами.

Бортов смотрит подозрительно.

Я торопливо говорю ему:

— Я ничего не помню, что вчера было.

— Было пьянство,— успокоенным голосом говорит Бортов.— Вы с Клотильдой свинство сделали...— Бортов смеется.

---

[1] похмельем (от *нем.* Katzenjammer).

— Плакала, а интендант утешал ее... ругал, понятно, вас... Нет, говорит, хуже этих идеалистов: они любят только себя и свою фантазию, а все живое тем грубее топчут в грязь...

— Он хорош: вор...

— Про нас так же говорят,— кивнул мне головой Бортов.

Я иду в гостиницу «Франция», где остановился.

На дворе буря, дождь, рвет и крутит, и ни одного клочка ясного неба.

В голове моей и душе тоже нечто подобное и тоже никакого просвета. Единственный уголок — Клотильда, и тот тревожно завешен надвинувшейся рыжей фигурой отвратительного интенданта, который говорил мне вчера, потирая руки: «Эх, и молодец бы вышел из вас, если бы с начала кампании к нам...», а потом кричал: «Это черт знает что...»

Надо выпросить у Клотильды прощение... Я выпрошу...

Я нервно взбегаю по деревянной лестнице второго этажа и прирастаю к последней ступеньке: у дверей девятого номера, номера Клотильды, стоят чьи-то рыжие, как голова интенданта, отвратительные сапоги.

— Мою лошадь седлать! — исступленно кричу я из окна коридора.

И через две-три минуты я уже на своем донце.

В каком-то окне встревоженно кричит мне грязная в поношенном виц-мундире фигура армейского офицера:

— Башибузуки спустились с Родопских гор: ехать вам нельзя сухим путем.

Я вижу в другом окне быстро оправляющую свои волосы, в утреннем костюме, Клотильду, которая, перегнувшись, торопливо, растерянно лепечет:

— Мне необходимо что-то сказать вам...

Сразу темнеет у меня в глазах от вспыхнувшего или расплавившегося в каком-то огне сердца. Я опять пьян. Я не хочу жить, я хочу мгновенно исчезнуть с лица земли. Вот удобное мгновение вытянуть плеткой донца между ушами. И я вытягиваю его изо всей своей силы.

О, что с ним сделалось... Он так и вынес меня из двора на задних ногах, свирепо поводя головой в обе стороны, как бы обдумывая, что ему предпринять...

Я вовремя, впрочем, успел направить его в ту сторону, куда лежал мой путь.

Башибузуки! Те самые, которые пойманных ими тут же сажают на кол. Но я живым не дамся в руки... Но со мной оружия — только тупая шашка... Все равно: после всяких мучений наступит же смерть, а с ней и покой... После всех ужасов вчерашнего пьянства, этого сегодняшнего пробуждения и этого перехода из мира моих фантазий в мир реальный, такой отвратительный и гнусный... Я не хочу его...

И я жадно ищу глазами в пустом горизонте башибузуков...

Их не было. Я пришел в себя за Мандрой, где работали мои солдаты, болгаре, турки.

Унтер-офицер по постройке шоссе, ловкий, разбитной, красивый, по фамилии Остапенко, увидев меня, встал с камня, приложил руку к козырьку и отрапортовал:

— Здравия желаю, ваше благородие. По шоссе все обстоит благополучно. Солдат на работах сто семнадцать, турок — пятьсот тридцать два...

— Болгар?

— Так что болгар нет...

— Надули, значит.

— Так точно.

— Так вот как...

Вчера явились ко мне болгаре и турки с просьбой отпустить их праздновать байрам.

Я объяснил им, что не могу этого сделать, так как через пять дней должна прийти 16-я дивизия, и шоссе к тому времени надо кончить.

Представитель рабочих турок, выслушав меня, мрачно ответил:

— Мы все-таки уйдем.

— Тогда в ваши казармы я поставлю солдат, и вы не уйдете.

— Ставьте, а без солдат уйдем.

Я обратился к болгарам:

— И вы уйдете, если не поставить к вам солдат?
— Нет, не уйдем.
— Даете слово?
— Даем.

К туркам поставили солдат, и они не ушли, болгаре ушли: века рабства даром не прошли.

Я поехал дальше по работам и старался отвлекать свои мысли.

Но болела душа; все стояла Клотильда, растерянная, напряженная, озабоченная, в окне, и все слышал я ее лепет. Я гнал ее, но, когда нестерпимо больно становилось, в ней же и находил какое-то мучительное утешение.

VII

В назначенный день мы с Никитой перебрались в наш новый домик.

Никита, сейчас же после переборки, уехал в город — купить скамью, два-три стула и еще кой-каких мелочей для нашего нового жилья.

Я остался один — пустой и скучный, в тон погоде.

Все эти дни бушевала буря, а сегодня на дворе делалось что-то выходящее из ряда вон: море даже в нашем заливе клокотало, как кипящий котел. Низкие мокрые тучи в вихрях урагана низко неслись над землей, смачивая все сразу и без остатка.

Приезжал вчера Бортов и в числе новостей сообщил, между прочим, что Берта бранит меня на чем свет.

— За что? — удивился я.
— За Клотильду.
— То есть, за что, собственно?
— Не знаю хорошо: кажется, Клотильда порывается к вам, а Берта... Не знаю... Собственно, Клотильда добрая душа... Берта знает ее историю: она начала эту свою дорогу, чтобы спасти свою семью от нищеты... И так обставила все, что семья же от нее отвернулась... Вы тогда вечером и потом подчеркнули ей слишком уже резко ее положение... Самолюбие страдает... Может быть, и заинтересовалась вами...
— Ну...

Бортов уехал, а я остался смущенный и вчера и сегодня не нахожу себе места.

Мне уже только жаль несчастную Клотильду.

Вчера на ночь открыл и прочел из Гюго:

Не клеймите печатью презренья
Тех страдалиц, которых судьба
Довела до стыда, до паденья.
Как узнать нам, какая борьба
У несчастной в душе совершалась,
Когда молодость, совесть и честь,—
Все святое навеки решалась
Она в жертву пороку принесть?

Может быть, про Клотильду и писал он это.

Сегодня как раз новоселье,— тогда Клотильда хотела приехать. Теперь не приедет, конечно.

В реве бури вдруг раздается как будто вопль — жалобный, хватающий за сердце. Как будто среди осеннего рева в лесу вдруг послышался робкий, торопливый, испуганный лепет Клотильды... Плачет лес: прозрачные, чистые, как кристалл, капли падают с мокрых листьев.

Не приедет Клотильда. В такую бурю, после того что случилось...

Угадать, что я хочу ее, что я простил бы ей все, все.

. . . . . .

Я держал ее в своих объятиях, мокрую, вздрагивающую, с лицом испуганно прекрасным, полным радости и счастья жизни.

О, какими ничтожными оказались вдруг все барьеры, отделявшие нас друг от друга... И разве не главное и не самое реальное — была она в моих объятиях со всей своей душой, каким-то чудом спасшаяся от гибели в ничтожной лодке, чудом, отворившим ей вход в мое сердце, к той другой Клотильде. Обе они теперь слились в одну; или, вернее, та, другая, погибла в клокочущем море.

И, когда прошел первый порыв свидания, оба смущенные, мы направились в мое нищенски скромное жилище.

И Никиты даже не было.

Но как хорошо нам было без него. Наше смущение быстро прошло, и она энергично принялась за хозяйство.

— Я тебе все, все сама устрою... Никаких денег не

надо... Из негодных тряпок — у меня их много,— из простых досок и соломы твой домик я украшу, и он не уступит дворцу.

Я ставил самовар, а она, засучив рукава и подоткнув платье,— это было изящно и красиво,— мыла посуду, вытирала ее, резала хлеб. Достала муку, масла, яиц,— перерыв кладовую Никиты,— и приготовила сама какие-то очень вкусные блинчики. Сварила кофе, молоко, кафе-о-ле [1] с блинчиками, поджарила на масле гренки, ароматные, вкусно хрустевшие на ее жемчужных зубах.

Вытянув ноги, она сидела и ела их с налетавшей задумчивостью, которая, как облако,— остаток бури в чистом небе,— еще ярче, еще свежее подчеркивала радость и блеск солнца, неба, моря.

Она вслух думала о том, как она все устроит в моем доме, и новые и новые подробности приходили ей в голову.

Иногда она перебивала себя и лукаво говорила:

— Нет, теперь я не скажу тебе этого.

А глаза ее так радостно сверкали, и ей хотелось уже сказать и она говорила торопливо:

— Ну, хорошо, хорошо, я скажу тебе...Но ты знаешь? Даже этот дом напоминает мне наш, около Марселя... Ах, если бы ты видел меня тогда... У меня есть младшая сестра... Она даже похожа на меня... Поезжай и познакомься с ней... Если ты меня... Ты влюбишься в нее.

— Ты пустила бы меня?

— О, если б ты знал ее...

Она смущенно, кокетливо смотрела на меня.

— Но я, кроме тебя, никого не хочу.

И я обнимал ее, я смотрел ей в глаза, я видел, я держал в своих объятиях мою Клотильду, дивный образ моей души, с прибавлением еще чего-то, от чего в огонь превращалась моя кровь, спиралось дыхание и голова кружилась до потери сознания.

Я словно нашел двери для входа в волшебный замок.

До сих пор я видел его со стороны, издали. Теперь я был в нем внутри, я был хозяином его, и вся власть колдовства была в моих руках.

---

[1] кофе с молоком (от *франц.* café au lait).

Я мог очаровывать себя, других, Клотильду. Я мог заставлять себя, всех и вся делать то, что только я хотел.

Я хотел любить, безумно любить. И я любил. И был любим. Я достиг предела.

В блеске луны я лежал и слушал Клотильду. Я смотрел на ее руку, как из мрамора выточенную, на которую облокотилась она, говоря и заглядывая мне в глаза; смотрел на ее фигуру, лучшего скульптора изваяние, и слушал.

Она опять говорила мне о Марсели. Как счастливо жила она там в доме своих родных, как называли ее за ее пение веселой птичкой дома. На свое горе привлекала она всех своей красотой,— случилось несчастие с ее отцом, и должны были все продать у них... ничего не продали, но она продала себя и ушла из родных мест навсегда... А затем началась та жизнь, в которой, за право жить, она платила своим телом...

И она рассказывала мне эту жизнь. Какая жизнь!

— Ты понимаешь...

Она наклонилась ближе ко мне, глаза ее задумчиво смотрели перед собой, она еще доверчивее повторила:

— Ты понимаешь... он, который так клялся,— он клялся, благодаря которому я и попала в больницу,— он бросил меня... Нищая, через шесть месяцев я вышла опять на улицу, чтобы в третий раз все, все начать сначала...

Она говорила — и завеса опять спадала с моих глаз. Я хотел крикнуть ей: замолчи, замолчи. Но она говорила и говорила, изливая мне свою накопившуюся боль.

И чем больше я слушал ее, тем сильнее чувствовал опять ту Клотильду, которая поет там... которая... никогда моей не будет... О, как я вдруг сознал это.

Напряженные нервы не выдержали,—я разрыдался неудержимо, и в этих рыданиях и воплях было все горе и боль моего разорвавшегося сердца.

— Милый, но что с тобой? Милый...— твердила испуганно Клотильда.

Что было отвечать ей?

Когда я пришел в себя и успокоился, я сказал ей:

— Это прошло.

— Но почему же ты вдруг так заплакал?

— Потому что... я люблю тебя.

— Ты плакал потому, что любишь?

И Клотильда, откинувшись, смотрела на меня взглядом человека, который вдруг увидел сон наяву.

Как будто даже испуг сверкнул в ее глазах.

Затем торопливо, судорожно она обхватила руками мою шею и осыпала мое лицо поцелуями. Она делала это не с обычной грацией: торопливо, жадно, каждый раз поднимая голову и смотря мне в лицо, как бы желая еще раз убедиться, что это не сон.

Я отвечал, как мог, подавляя в себе отчаяние, под страхом смерти боясь выдать свои чувства.

Засыпая потом, она сказала усталым счастливым голосом:

— Мне кажется, что я опять в Марсели.

И, уже совсем засыпая, она чуть слышно прошептала:

— Это лучше...

Я лежал, боясь пошевелиться, так как она уснула на моей руке, лежал, счастливый, что она уже спит. Лежал опять раздвоенный и несчастный, как только может быть несчастен человек.

Я так и заснул и все помнил во сне, что что-то около меня, что-то очень хрупкое, ценное, и что достаточно малейшего движения, чтобы это что-то разбилось навеки.

Мы и проснулись так, в той же позе и чуть ли не в одно время.

По крайней мере, когда я открыл глаза, сейчас же и она посмотрела на меня, и взгляд ее был свеж, как роса того ясного утра, что смотрело в наше окно.

Она улыбнулась мне той счастливой бессознательной улыбкой, которой улыбаются только без конца охваченные счастьем любви люди.

Она одевалась, напевая свои песенки.

— Вот самая любимая наша песня.

И она запела вполголоса:

Ah, monsieur, si tu n'as pas vu
Une kermèsse dans notre village,

Ah, monsieur, si tu n'as pas vu,
Tu n'as rien vu, ni su, ni connu [1].

— Ах, надо непременно, чтобы ты когда-нибудь приехал к нам!.. Ах, как там хорошо! Погода всегда вот такая же прекрасная.

Сегодня опять был ясный день. Блеск и аромат его наполняли всю комнату: озабоченно щебетали птицы, доносился глухой шум неуспокоившегося еще моря, слышны были энергичные удары сотни топоров, работавших в бухте.

Никита возвратился из города.

Я стеснялся его, но Клотильда быстро освоилась — и у них с Никитой сразу установились такие отношения, как будто все это так и должно было быть. Никита говорил Клотильде: «ваше благородие», и в конце концов они вместе принялись за приготовление завтрака.

— Будем завтракать под этим деревом,— сказала Клотильда, показывая на одно из каштановых деревьев.

Мы там и завтракали на виду всей, теперь оживленной бухты.

В бухте уже несколько дней как шла грузка. Группы солдат, офицеров, их жен, детей; у заканчивающейся пристани пароходы, барки; в глубине долины бараки для солдат, бараки для офицеров, к которым вплоть подходило красиво ощебененное шоссе. Целый городок вырос там, где еще недавно стояла только моя палатка, а в дебрях соседнего леса валялся тогда труп несчастного хохла-погонщика. Теперь и там в лесу, в широкой просеке шоссе, и оживление и говор на нем безостановочно двигающихся эшелонов возвращающихся в Россию войск.

Во всей этой теперешней суетливой пристанской жизни чувствовалось что-то очень упрощенное, домашнее: солдаты грузились, жены офицеров у своих бараков, в домашних костюмах, укладывали или раскладывали свои вещи, возились с детьми; им помогали денщики,

---

[1] Ах, сударь, если ты не видел
Гулянья в нашей деревне,
Ах, сударь, если ты его не видел,—
Ты ничего не видел, ничего-ничего не знаешь (*франц.*).

то и дело прибегавшие ко мне за молоком, хлебом, яйцами, котлетами, потому что, кроме, как у меня, здесь в бухте негде было ничего достать.

— Ваше благородие, опять прибегли: масла просят,— докладывал Никита.

Никита не в убытке,— он получает щедрые «на водку».

Пока жены укладываются, мужья их с шапками на затылке, с расстегнутыми мундирами, в туфлях группами стоят на пристани, наблюдая за нагрузкой, ругаясь за проволочки, за неоконченные еще кое-где пристанские работы. Может быть, теперь они смотрят по направлению моего домика и злобно говорят:

— Ему что? Набил карманы и прохлаждается с мамзелью...

И я был рад, когда после завтрака ничего не подозревавшая о теперешнем моем душевном состоянии Клотильда уехала наконец.

VIII

Мне остается уже немного рассказывать.

Все подходило к концу.

Через месяц и мы, последние, возвращались на родину.

Через две недели после описанного в предыдущей главе закрылся, за отсутствием публики, кафешантан.

За это время я несколько раз виделся с Клотильдой, но Бортов был прав, сказав когда-то, что после первого ужина все это кончится.

Это и не кончилось, но лучше бы было, если бы кончилось. Выхода не было. Чем дальше, тем яснее это становилось.

Не верил я и глубокому чувству Клотильды: она все продолжала петь, и я не знаю, как она проводила свое время. Прекрасная, как нежный воздух южной осени, она была и вся сама только этим воздухом.

Так по крайней мере мне казалось, так я думал, сомневался, переходил от отчаяния к вере, и опять перевес брало отчаяние.

IX

Нет, и окончательно нет: все это должно кончиться и кончится завтра, потому что завтра Клотильда на частном пароходе уезжает в Галац, куда уже приняла ангажемент.

И, конечно, это хорошо. Довольно жить в мире фантазии: она не любит. Если бы она была способна на действительную любовь, если бы это была любовь, разве могла бы она после той ночи возвратиться назад, петь в тот же вечер...

Все равно...

Надо сделать ей подарок на прощанье — и конец всему.

Что ей драгоценности? Да у меня и денег столько нет, чтобы купить что-нибудь порядочное.

Я купил хорошенький кошелек и положил туда десять золотых.

X

Утром сегодня я провожаю Клотильду.

Я уклонился и ночь провел один у себя в бухте.

Чужой всему, спокойный и холодный я еду на катере в город. На пристани я уже вижу вещи Клотильды.

Вот и она в окне гостиницы, спокойная, задумчивая. Увидев меня, она кивнула мне головой, слабо улыбнулась, все такая же равнодушная.

Я и теперь вижу ее в этом окне, в блеске воскресного утра — ее прекрасное детское личико, в рамке чудных волос, ее глаза задумчивые и грустные.

Когда я вошел в ее комнату, она все еще стояла в той же позе.

Лениво оглянулась, лениво, как уронила, сказала «пора», машинально надела шляпу, машинально пошла к двери, даже не поздоровавшись со мной.

Это обидело и еще более расхолодило меня: на что я ей, и к чему, конечно, играть ей теперь со мной?

Я ехал с ней на катере чужой, чопорный, деревянный.

Она сперва не замечала ничего, о чем-то задумавшись, но потом, оглянувшись на меня, долго смотрела,

ловя мой взгляд, и, не поймав, положила свою руку на мою.

— Матросы смотрят,— тихо сказал я, отводя ее руку.

Она покорно сложила свои руки у себя на коленях, и мы молча подъехали к пароходу.

— Перейдем туда на корму, где эти канаты,— торопливо сказала она.

Мы прошли туда. Перед нами, как на ладони, был Бургас, моя бухта: все чужое теперь, как чужая уже была эта Клотильда, которая через несколько минут навсегда исчезнет с моего горизонта, как и я исчезну с ее.

— Здесь никого нет...

Клотильда бросилась мне на шею. К чему все это? Я поборол себя, обнял, поцеловал ее и с неприятным для себя напряжением сказал, кладя приготовленный кошелек ей в руку:

— Клотильда... здесь немного... на твои дорожные расходы...

И только сделав и сказавши это, я почувствовал всю неловкость сделанного мною,— почувствовал в ней, в ее взгляде, ее движении, которым она не дала мне положить кошелек ей в руку.

Я совершенно растерялся, положил кошелек где-то на свертке канатов и, так как в это время уже раздавался третий свисток, торопливо поцеловав ее, бросился к трапу.

Она даже не провожала меня: все кончилось, и кончилось очень пошло и глупо.

Может быть, обиделась она, что я мало даю?.. Опытной рукой коснувшись кошелька, она, конечно, могла сразу определить, сколько там. Но откуда же я мог дать больше? Э, все равно...

Я в лодке, и пароход уже проходит мимо нас. Вот место, где мы стояли с Клотильдой... Клотильда и теперь там... она плачет?.. Слезы... Да, слезы льются из ее глаз. Она стоит неподвижная, она не видит меня, она смотрит туда, где моя бухта... Боже мой, неужели я ошибался, и она любит?

— Клотильда!..

Поздно...

В блеске дня она стоит там на высоте и все дальше и дальше от меня. Только лазоревый след винта расходится и тает в безмятежном покое остального моря.

Все недосказанное, все проснувшееся — что во всем этом теперь?

И я могу еще жить, двигаться? И надо сходить с баркаса, идти опять по этой набережной, где только что еще лежали ее вещи,— видеть окно, где стояла она, окно, теперь пустое, как взгляд вечности на жалкое мгновение, в котором что-то произошло... жило... и умерло... умерло...

— Моя мать умерла,— встретил меня Бортов.

«Хорошо умереть»,— мертвым эхом отозвалось в моей душе.

— Хорошо для нее,— ответил Бортов, как будто услышав мою мысль. Бортов спокоен, уравновешен.

— Теперь не буду тянуть с делом,— в две недели все отчеты покончу.

Он меняет разговор:

— Проводили Клотильду?

— Проводил.

— Берта говорит, что она уехала в долгу, как в шелку. После той поездки к вам она ведь всю практику бросила. Берта все время кричала ей: «Дура, дура...» Зла она на вас и говорит: «Только я поймаю его, я ему все глаза выцарапаю за то, что испортил бедную девушку».

«Да не мучьте же меня»,— хотел я крикнуть, но не крикнул, стиснув железными тисками свое сердце, чтобы не кричать, не выть от боли. Я только бессильно сказал Бортову:

— Позвольте мне теперь уехать к себе,— вечером или завтра я приеду.

Я вышел, ничего не помня, ничего не сознавая.

К себе домой?.. Что там?! Я не знал что... Может быть, в том домике я опять увижу Клотильду...

Я приехал. Я в своей спальне, той спальне, где была Клотильда, а с ней все мое счастье, которого я не понял, не угадал и потерял навсегда...

Я очнулся для того, чтобы теперь беспредельно по-

нять это, чтоб упасть на кровать, где лежала она, в безумном порыве стремясь к той, которая уже не могла меня видеть и слышать.

Что мне жизнь, весь мир, если в нем нет Клотильды...

Пусть для всего этого мира Клотильда будет чем угодно, но для меня Клотильда мир, жизнь, все. Пусть мир не любит ее, я люблю. Это мое право. И все силы свои я отдам, чтобы защитить это мое право, мою любовь, мою святыню.

— А что мешает мне?..

Я сел на кровать и, счастливый, сказал себе:

— О, дурак я! Это ведь просто устроить! Я женюсь на Клотильде.

С какой страстной поспешностью я сел писать ей письмо.

Я писал ей о своей любви, о том, что поздно оценил ее, но теперь, узнав все, оценил и умоляю ее быть моей женой. Через две недели я приеду к ней в Галац, и мы обвенчаемся.

Письмо я сам сейчас же отвез в город на почту, а оттуда отправился к Бортову.

— Что за перемена? — спросил Бортов, увидя меня веселого.

Я был слишком счастлив, чтобы скрывать, и рассказал ему все...

— Если хватит твердости наплевать на все и вся, будете счастливы, если только это все и вся не сидит уже и в вас самом.

Прежде чем я успел что-нибудь ответить, влетела Берта, бешеная, как фурия, и, круто повернувшись ко мне спиной, что-то зло заговорила по-немецки Бортову.

Не отвечая ей на вопрос, он спросил, показывая ей на меня:

— Знаешь, что он сделал?

Берта вскользь бросила на меня презрительный взгляд, выражавший: «Что эта обезьяна могла еще сделать?»

— Предложение Клотильде.

— Какое предложение? — переспросила такая же злая Берта.

Бортов рассмеялся, махнул рукой и сказал:

— Ну, жениться хочет на Клотильде...

— Он? — ткнула на меня пальцем Берта.

Она еще раз смерила меня и вдруг так стремительно бросилась мне на шею, что я чуть не полетел со стула.

— Это я понимаю,— сказала она после звонкого поцелуя,— это я понимаю.

Она отошла от меня в другой конец комнаты, сложила руки и тоном, не допускающим никаких сомнений в аттестации, сказала:

— Благородный человек.

Бортов рассмеялся и спросил ее:

— Может быть, и ты выйдешь за меня?

— Нет,— ответила Берта.

— Знаю,— кивнул ей Бортов,— у нее ведь жених есть там на родине.

— Худого в этом нет,— ответила Берта. И опять, обращаясь ко мне, сказала:

— Ну, я очень, очень рада. Клотильда такой добрый, хороший человек, что никому не стыдно жениться на ней.

Затем с немецкой деловитостью она осведомилась, когда и как сделано предложение и послано ли уже письмо.

Я должен был даже показать ей квитанцию. Удовлетворенно, как говорят исправившимся детям, она сказала мне:

— Хорошо.

Затем, попрощавшись, ушла совершенно в другом настроении, чем пришла.

XI

После подъема опять я мучаюсь. На этот раз не сомнениями, а тем, как это все выйдет там дома. Для них ведь это удар, и мать, может быть, и не выдержит его.

В сущности нравственное рабство: целая сеть зависимых отношений, сеть, в которой бессильно мечешься, запутываешь себя, других. И это в самой свободной области — области чувства, на которое по существу кто смеет посягать? Но сколько поколений должно воспи-

таться в беспредельном уважении этого свободного чувства, сколько уродств, страданий, лжи, нечеловеческих отношений еще создается пока...

Время идет скучно. Без радости думаю о свидании и с Клотильдой и с родными. Укладываюсь. Никита помогает мне, и я дарю ему разные, теперь уже ненужные мне вещи.

Вчера продал донца — на Дон и увели его.

Румынка здесь в городе уже возит воду.

Вчера с Бортовым мы отправили наш отчет по начальству.

Бортов, чтобы распутаться с долгами и пополнить наличность, продал свой дом, в котором жила его мать. Выслал уже доверенность, и деньги ему перевели.

Он показал мне толстый кошелек, набитый золотом.

— Три тысячи еще осталось.

XII

Проводили сегодня и Берту на пароход.

Я вошел к Бортову как раз в то время, когда Бортов передавал ей тот самый кошелек, который я уже видел.

Оба они смутились.

— Может быть, я не возьму,— сказала Берта и, скорчив обезьянью физиономию, быстро схватила кошелек.

Почувствовав его вес, она растрогалась до серьезности.

— О-о, это слишком.

— Прячь, прячь... до следующей войны, может быть, и не так скоро еще.

— Скоро: я счастливая...

Она спрятала деньги и сказала:

— Ну, спасибо.

Берта сочно поцеловала Бортова в губы.

— Хорошо спрятал мой адрес?

— Хорошо, хорошо.

— А о том не думай. Слышишь: не думай и лечись.

— Ладно.

— Не будешь лечиться, сама приеду, слышишь?

— Ладно! Пора — пароход ждать тебя не станет.
— Allons! [1]

Берта была в духе и дурачилась, как никогда.

Ломая руки, как марширующий солдат, она шла по улице и пела:

Oh ja, ich bin der kleine Postillion,
Und Postillion, und Postillion,—
Die ganze Welt bereist ich schon,
Bereist ich schon, bereist ich schon...[2]

Когда мы возвращались назад с парохода, Бортов говорил:

— Каждому свое дело, а если нет аппетита к нему— смерть... Берта имеет аппетит. Год-два поработает еще, воротится на родину, найдет себе такого же атлета, как сама,— женятся, будут пить пиво, ходить в кирку, проповедовать нравственность и бичевать пороки... Творческая сила... Через абсурд прошедшая идея годна для жизни. Для этого абсурда тоже нужна творческая сила: Берта такая сила, здоровая, с неразборчивым, может быть, но хорошим аппетитом.

Бортов замолчал и как-то притих.

Он, по своему обыкновению, пригнулся и смотрел куда-то вдаль.

Чувствовались в нем одновременно и слабость и сила. Но как будто силу эту, как доспехи, он сложил, а сам отдался покою. Но и в покое было впечатление все той же силы — в неподвижности, устойчивости этого покоя.

Я думал раньше об этой его разлуке с Бертой. Зная, что и мне он симпатизировал, думал весь день провести с ним. Но теперь я как-то чувствовал, что никто ему не нужен.

Только в пожатии его руки, когда я уходил на почту за письмом матери, я как будто почувствовал какое-то движение его души.

Я шел и думал: «Он все-таки любил Берту».

---

[1] Пошли! (*франц.*).

[2] О да, я маленький почтальон,
Почтальон, почтальон,—
Весь свет уже объездил я,
Объездил я, объездил я... (*нем.*)

Доктор Бортова открыл мне тайну: Берта и виновница его болезни. Болезнь, от которой он упорно не хочет лечиться. Сам запустил.

Во всяком случае это его дело. Что до меня, я всей душой полюбил и уважал этого талантливого, прекрасного, со всеми его странностями человека.

Я шел и мечтал: я женюсь на Клотильде, мы будем жить возле него, или он у нас будет жить, и мы отогреем его.

Мечтая так, я опять уже чувствовал и радость жизни и радость предстоящего свидания с Клотильдой...

Уже скоро...

На почту я шел за письмом матери, а получил какой-то конверт с незнакомым и плохим почерком.

Еще больше удивился я, когда на большом почтовом листе, на четвертой странице мелко и неразборчиво исписанного листа прочел: «вечно твоя Клотильда». Я не ждал от нее письма и тут же на улице, присев на скамью, стал читать. Я читал, понимал и не понимал! Клотильда отказывала мне.

Вот выдержки из ее письма:

«О, если бы я встретила тебя тогда, когда жила в нашем доме около Марсели... Я дала бы тебе счастье,— большое счастье, клянусь тебе. Но теперь... слишком невеликодушно было бы воспользоваться твоей наивностью, мой милый, дорогой...»

«Одно время я поверила, несмотря на всю свою рассудительность, в счастье с тобой... Но с отчаянием и смертью в душе я скоро поняла... поняла, что даже для меня, всенесчастной, наше сближение было бы венцом всех моих несчастий. Мой дорогой, это не упрек. Нет в моем сердце упрека и не за что упрекать тебя. Всегда ты останешься для меня, каким я знала тебя и любила...»

Вот конец письма:

«Прощай... Надо кончать, а я не могу, потому что знаю, что в последний раз говорю с тобой. Завтра я уезжаю отсюда навсегда. Не ищи: мир большой, и я затеряюсь в нем, как песчинка. О, как страдаю я, отнимая от себя самой все лучшее, о чем могла я только мечтать в жизни, что и дала мне теперь жизнь, так поздно...»

— Не поздно. Завтра же я еду и найду тебя...

И с письмом в руках я бросился к Бортову.

— Нельзя... трохи повремените...— встретил меня растерянный, бледный Никита, заграждая своей фигурой и руками вход.

— Почему?

— Бо маленькое несчастие случилось: его благородие ранили себя.

— Как ранил?!

— Так точно: бо вже застрелились они...

Никита растерянно недоумевающе уставился в меня.

Я уже стоял пред постелью Бортова.

Бортов неподвижно лежал на кровати в пол-оборота. Из красного отверстия его правого виска высунулась наружу какая-то алая масса, и с подушки на пол слилась небольшая лужа крови. На полу же валялся и револьвер, а правая рука, из которой, очевидно, выпал револьвер, вытянулась вдоль кровати. Бортов точно прислушивался к тому, что скажу я.

Я ничего не говорил, стоял ошеломленный, раздавленный. Ни письма, ни записки...

Напряжение точно слушающего человека понемногу сошло с лица Бортова, и лицо его стало спокойным, как будто задумчивым.

Эта задумчивость потом усилилась и все становилась сосредоточеннее и угрюмее.

На другой день мы отнесли его на кладбище.

Шли войска, играла музыка, но он оставался все таким же сосредоточенным и угрюмым, навеки отчужденным от всего живого.

XIII

Два дня еще — и я уже прощался с этими местами, стоя на отходившем в Галац пароходе. В этой умирающей осени, с желтым золотым листом, ярким солнцем и голубым небом я чувствовал пустоту, какую чувствуют после похорон.

Прощай, Бортов... Береги его прах, Болгария: он

один из тех спящих в твоей земле, которые дали тебе лучшую, чем сами получили, долю.

Прощай, Болгария, отныне свободная, будь прекрасна навеки, как твои женщины, как твоя природа...

Я не нашел Клотильды в Галаце...

Пронеслись года. Жизнь моя сложилась иначе, чем я думал тогда. Я много пережил, понял, видел много зла в жизни...

И чистый образ Клотильды все ярче и ярче в моей душе...

Жгучей болью наполняется мое сердце каждый раз, когда я вспоминаю, как тогда в лодке я оттолкнул ее руку. О, если бы теперь я мог крикнуть на весь мир, чтобы услыхала она меня, я крикнул бы ей:

«Клотильда, дай пожать тебе руку! Тебе, властной, неведомой мне силой заставившей меня любить и вечно страдать за поруганную правду человеческого естества».

МОИ СКИТАНИЯ

I

Там, где сплошные необозримые леса без жилья укрыли землю и шумят в непогоду, как море в бурю; где рыщут в них волки, рыси, лисицы, барсуки — все питающиеся за счет все того же всеотдувающегося зайца; где царит неповоротливый с виду Мишка; там, где протекает Керженец, где снились чудные сказки Печерскому,— короче, в лесах и дебрях Костромской губернии я делал недавно изыскания.

Редкие деревушки, попадавшиеся на пути и ни на каких картах не значащиеся,— деревушки, сообщение с которыми поддерживается только по зимам, или каким-нибудь кружным на сотни верст водным путем,— были поистине в идеальных условиях опрощения и для исследователя капитального вопроса наших дней: что больше развращает человечество, культура или некультура,— предоставляли богатый материал.

В одну из таких деревень я попал однажды под вечер, когда золотившаяся пыль вечернего солнца осыпала лес и он светился на синем фоне неба, как прозрачный, а в воздухе было тихо и чирикала звонко какая-то птичка; кавалькада человек тридцать, нас, изыскателей, появилась вдруг невидимо откуда на опушке леса перед маленькой деревушкой, лениво раскинувшейся между обгорелыми пнями с кое-как выпаханными между ними кулигами.

Наше появление не замедлило обратить на себя внимание обитателей. Первыми бежали ребятишки и девчонки, за ними более взрослые, вплоть до самых ветхих стариков. Таких стариков в городах не встретишь.

Вся толпа, сбившись у изгороди, смотрела на странное, невиданное зрелище.

Было на что посмотреть!

Впереди ехали мы,— старшие, в наших американских с двумя козырьками шляпах, с револьверами за поясом, в самых разнообразных костюмах. За нами следовали волокуши. Это — две оглобли с перекладинкой посреди, на которую кладутся вещи; в оглобли впрягается лошадь, на лошадь садится кучер, и такой экипаж, только такой, может безнаказанно прыгать с пенька на пенек той просеки, которая прорубается для него и для линии. Наконец, сзади этих волокуш шло пешее войско с соответственным вооружением: высокие рейки колыхались, как знамена; вешки, как пики; нивелиры, теодолиты и гониометры, звук цепей...

Больший контраст культуры и некультуры трудно было и представить, с одной стороны, пионеры последней цивилизации, с другой — типы, некоторым образом, первобытных времен, внуки Даждь-бога, окруженные своими болотами, лешими и русалками. И все это на прекрасном вечернем фоне догорающего дня, тишины, аромата, безмятежного синего неба с освещенными облаками, такими же причудливыми, как и везде,— где-нибудь в Париже или на южном берегу Крыма...

Но здесь глушь, тайга, сырость и комары, и лес, как кладовая старого скряги, таит в себе больше негодного хлама, веками гниющего, чем полезного строевого материала. Пройдут века, и, конечно, культурный обильный лес сменит этот хлам веков, но пока это только хлам, и мы в нем, изъеденные комарами, слепнями, оводами, мошкарой. И так отдыхает взгляд после недельного перехода даже на таком слабом намеке на поле, как это, которое с обгорелыми пнями расстилается теперь перед нами.

Некультурная сила, в лице девчонок и ребятишек, дрогнула и пустилась в бегство при нашем приближении. Впрочем, в позах взрослых было столько сомнения, что сделай наши рабочие какой-нибудь воинственный звук,

и вся толпа обратилась бы в такое же бегство. Так же бывало и раньше, но с тех пор был отдан раз навсегда строжайший приказ — не ставить вперед местное население в унизительное для него положение. И вот рабочие, несмотря на величайший соблазн и охватившую их радость при виде жилья, двигаются молча, а бородатые представители здешних мест и грязные, неряшливые представительницы без головных повязок, в синих пестрядинных сарафанах, продолжают смотреть, вот-вот готовые бежать без оглядки.

Мы ровняемся, и крестьяне торопливо стаскивают свои домашней работы шляпы, а бабы так и замерли, впившись в нас глазами.

— Как называется деревня? — бросаю я с высоты своего рослого коня.

— Светленькая,— раздается несколько человеческих старческих голосов.

Некоторые из парней с удивлением смотрят в лица крикнувших ответ,— может быть, и для них новость, что деревня называется «Светленькой».

Впечатление дикости этой толпы так в нас велико, что в первое мгновение во мне является что-то вроде удивления по поводу того, что я слышу членораздельную речь.

— Здравствуйте, старики!

— Здравствуйте и вы!

— В гости приглашайте!

Молчание.

— А что же? — лепечет какой-то ветхий-преветхий маленький старик,— коли не супостаты да со знаменьем божиим — милости просим.

Мой помощник, черногорец, инженер, пренебрежительно, без рассуждения берет тон человека, привыкшего властвовать.

— Староста где?

Черногорец невысокого мнения о моем умении авторитетно поставить себя; он считает, что я удивительный мастер распускать всех, не исключая и его.

Я в свою очередь невысокого мнения о его уменье: быть грубым, вспыльчивым, грозить то и дело дать в морду, а иногда переходить и от слова к делу — приемы

плохого унтер-офицера или бурбона из кантонистов. Но он талантлив, прекрасно знает свое дело, любит его, неутомим в работе и следовательно вполне годится для своей роли — пионера последней цивилизации. Иногда он бесцеремонно, с клокотанием и болью Отелло, раздраженно машет рукой и с налившимися глазами рычит на меня:

— Вы, Николай Георгич, ей-богу, как... бить их надо!..

— Послушайте, даже обидно слышать это,— возражаю я,— представьте себе, я являюсь в вашу Черногорию и начну вам доказывать, что надо бить черногорцев. У вас не заболит сердце, что гость вашей страны так возмутителен со своими хозяевами?

— Черногорец не доведет до этого, а русский доведет...

— Что ж, черногорец культурнее?

— Никакого сравнения!..

— Кулачная расправа тоже, в числе культурных приемов, заимствована вами?

— Когда иначе нельзя, то надо бить.

— Но я же никого не бью!

— А кто вас боится?

— Мне этого и не надо,— мне надо, чтобы вверенное мне дело шло успешно; дело и хозяин, а вы, я, все мы — нуль.

— Всё разговоры... ей-богу, вы умный человек, а такие вещи говорите...

Староста неохотно, боком протискался из толпы. Это был светлобородый, густобородый, лет пятидесяти крестьянин с холодными серыми глазами, смотревшими твердо, уверенно и без смущения.

— Ты староста?

— Мы.

— Какой здесь самый лучший дом?

Староста слегка прищурился, кашлянул в руку, переступил с ноги на ногу и, не торопясь, спросил:

— А вам на что?

Черногорец так и вскипел. Замахнувшись нагайкой, он бешеным шепотом прошипел:

— Да как вытяну я тебя, мерзавца,— научишься разговаривать, скотина!

Дикий вид черногорца, его черные глаза без зрачков и синие белки смутили невозмутимого старосту. Но я не мог больше оставаться равнодушным и сказал несколько французских фраз черногорцу, после которых он плюнул, отъехал и стал безнадежно смотреть на синюю полосу окружавших нас лесов. Я продолжал переговоры.

Лучший дом оказался принадлежащим старосте, и, после некоторого колебания и с восстановившимся достоинством, староста изъявил согласие взять нас, начальство, к себе.

Странный человек — черногорец: сам он, как и вся его нация полны чувства собственного достоинства. Вся кровь, веками проливаемая в войне с турками, сводилась к поддержанию, в сущности, только этого достоинства. А в других ничто его так не раздражает, как именно это достоинство. Я давно знаю своего черногорца. Когда он был помоложе и печень его была нормальна, он был и мягче и жизнерадостнее, был занимательным и изобретательным, каким может быть только молодой медвежонок: он играл на губах, пилил, подражая звуками пиле, острил, знал множество фокусов и хлопал пальцем изо рта, как самая настоящая пробка шампанского. Дамы ласкали его, мужья смотрели глазами своих жен, и дела черногорца шли, как по маслу. Он и теперь далеко не стар, но уж очень тяжел, болеет печенью и потому раздражителен, не нуждается больше в снисхождении, потому что знает свое ремесло, и ищет хороших заработков. В редкие мгновения он становится прежним веселым и беззаботным черногорцем, для которого море по колено, которого когда-то австрийское правительство приговорило к расстрелу за боснийское восстание, и он,— австрийский инженер,— с потерею всех прав, бежал в Россию, где пришлось начинать с самого начала, с самых первых ступеней.

Мы едем к дому старосты, и нас провожает вся толпа.

Толпа как толпа: есть богатые, есть и бедные, очень бедные... Лица простые, доверчивые и свободно-покорные судьбе. Даже у самых бедных это есть. Какая-то патриархальность, незлобие, покорность и ясность. Смотрят на нас, смотришь на них. Дети и мудрецы в одно и то же время: они слышат рост травы. Это, конечно, пер-

вые естествоведы своих лесов. Но женщины неказисты, малорослы и с глупым выражением кроткой овцы. Их сестры, наши культурные дамы, даже мещанки пригородных мест, выглядят лучше. В этих женщинах, в сущности, с моей испорченной точки зрения, ничего и женского нет: неуклюжие маленькие самки. Зато у мужчин бороды густые, каких у жидкого интеллигента не встретишь, и требовать к себе уважения за бороду имеет свой большой смысл.

Мы двигаемся по улице среди бедных и богатых изб, наваленного леса, дров, всякого хлама. Солнце золотит деревню и лес; там и сям на горизонте, в неподвижном ароматном воздухе, как свечки, поднимаются к небу белые паровые столбы. То горят леса, и без ветра это — только свечка, а подымается ветер, и широкой волной разольется море огня, и побегут от него медведи, волки, рыси, барсуки и лисицы, и — народ их лесной — зайцы, слившись иногда все в одну дружную, сплоченную семью. Бывает, примыкает к ним и человек со своими отрядами: овечками, лошадками, коровками и свинками. Надо хорошо знать лес, и его знают его граждане, и знают, куда и как спасаться им от огня. Кончится пожар, и прекратится перемирие, и снова каждый станет на своем посту. Человек капканы будет расставлять, Мишка — мять овец, а все остальные звери будут рвать на части глупых зайцев. Зайцы будут кричать благим матом, будут жаловаться на судьбу, но с изумительной постепенностью будут все расти и расти в своем количестве. Но пройдут века, и не станет зайцев, а с ними и хищных зверей, живших за их счет. Зверей заменит человек, потерявший свои разительные свойства зверя...

А пока мы в новом деревянном двухэтажном с мезонином доме старосты. В нижнем этаже — лошади, скот, солома и сено. Сквозь щели пола их видно и слышно аромат навоза. В светелке наверху душно и тесно. В старой избе клопы, мухи, комары. С новых сосновых стен так и капает желтая смола. А какая высокая лестничка в светелку, и все это — и дом, и сарай, и светелка — под одной крышей, странно отделенной от стен, но соединенной плотно между собой. Все сбито и прочно, и зимой не попадает сюда ни одна снежинка, но зато упадет искра

огня в щель из верхнего жилья в сарай, и всесокрушающий пожар неизбежен. Хорошо, если пожар летом, успеют отстроиться, а осенью, да дружный, и пропала деревня.

И вы иногда слышите:

— Здесь когда-то жилье было...

— Куда же оно делось?

— А господь это знает.

— Что ж жители — вымерли, сгорели, замерзли или так разбрелись по белу свету?

— Кто узнает? Кругом на сотни верст — лес и лес,— кого спросишь? Ушли и ушли.

И вы смотрите на старое пепелище:

Времен от вечной суеты,
Быть может, нет и мне спасенья.

В этих глухих местах Вологодской и Костромской губерний обитатели как-то меняют слова и говорят: пецка, вместо печка, хотитё, вместо хотите и т. д. Что-то с непривычки странное, наивное и бесконечно простое и не спорное. Птица поет одну свою арию, и если человек начинает с пения свою речь, то нельзя и от него требовать на первых же шагах сложных речей. Поет и твердо знает одну, слышанную мною, излюбленную поговорку:

— Мужик да овца, и опять с конца.

II

Удивительный человек — этот черногорец. Не успел расположиться, а у него уже в комнате женщина, молодая и не в пример другим даже красивая: среднего роста, с худощавым румяным лицом, карими, как у молодой матки, смелыми глазами.

— Это кто? — спросил я у сидевшего, как молодой паша, черногорца.

Тот только фыркнул.

— Вам не надо знать...— и он указал на мое обручальное кольцо.

Матка уходила и возвращалась, а черногорец двигался все веселее. Моя комната рядом, перегородка не до-

ходит до верху, и, лежа на кровати, я слышу разговор в комнате черногорца.

Она говорит:

— Куры-то у нас нашлись... Теперь с этим рублем что ж делать?

Черногорец, понижая голос, с легким смущением, прикрытым, впрочем, пренебрежением, отвечает:

— Возьми себе.

Мой расчетливый черногорец!

— Ну, спасибо.

Какой-то странный звук вроде поцелуя.

Черногорец, смущенный и довольный, руки в карманы, лениво входит ко мне.

— Странный обычай: дал ей рубль, целует-ся...

Сообразил, что я услышал, и идет навстречу моим предположениям!

— Обычай всеобщий.

— Это — честная женщина... Дочь хозяина, и муж у нее... Так, просто...

Черногорец дернул плечом.

— Охотно верю...

У черногорца свои правила относительно женщин. Он говорит:

— Честных женщин нельзя соблазнять, ухаживать за женами друзей нельзя!

Он растопырил свои толстые пальцы и убежденно возражает на свое положение:

— А нечестных и соблазнять нечего!

Он говорит своим твердым выговором и машет рукой и головой:

— А за кем же ухаживать, как не за женой друга? К врагу ведь не пойдешь же в гости?

Опять стучит своими каблуками молодая матка в комнате черногорца, и он озабоченно уходит.

Я беру шапку и спускаюсь вниз во двор.

На крыльце уже стоит толстый, пока еще холодный как лед самовар, уже налитый водой. Дым валит из трубы. По двору гуляет домашняя скотинка. Из-под сарая выглянула красавица пегая кобыла: высокая, широкая, на тонких твердых ногах, с широкой грудью, с большими

широкими губами, которые держит так же пренебрежительно и спокойно, как и сам ее хоязин.

Я осматриваю пегашку и, чем больше смотрю, тем больше проникаюсь красотой этого животного.

— А что, хозяин, хороша лошадь?

Хозяин заложил руки за пояс рубахи, медленно подходит:

— Гляди!

Я смотрю и говорю:

— Хороша!

— Плоха ли лошадь?..

Хозяин потянул воздух, мотнул головой и смотрит на лошадь.

— Своя?

— Вот мать, вот отец,— указывал он рукою.

Мать такая же пегая, с отвислой губой, с толстым брюхом, с выгнутой спиной — урод перед дочкой. Отец— мухортый с толстыми ногами, густо обросшими шерстью, твердый, степенный, солидный жеребец. Он безостановочно машет головой вверх и вниз, вниз и вверх, и не обращает никакого внимания ни на нас, ни на кобыл.

— Так и ходит?

— А что не ходить?

— К кобылам не пристает?

— Их дело.

Я опять смотрю на пегашку. Мне нужна лошадь. Она смотрит на меня, сложила свои широкие губы, слегка оттопырила их — точно слушает пренебрежительно, о чем здесь толкует этот откуда-то из лесу выбежавший чужестранец.

— И в езде хороша?

Во дворе масса чужого народа; ребятишки, девочки, бедненький люд: с клюками, согбенные калеки и убогонькие. Старичок в рубашке, подпоясанной, как у мальчика. И все и старичок, прежде чем хозяин рот открыл, в ответ на мой вопрос кричат:

— Батюшка, да как же, в кого быть ей плохой в езде? Первая лошадь не то что в деревне: весь лес изойди, такой не сыщешь. Плоха ли лошадь?

— Молода?

— Молода, молода: три, четыре, пять лет.

— Сколько жеребят имела?

— Да что? Двоих.

— Троих, батюшка, всего и имела,— говорит вышедшая в это время во двор хозяйка.

— Тебя, дуру, кто звал? — осаживает ее светлобородый супруг.

Хозяйка виновато смотрит в глаза повелителя.

— Бабы и бабы... только и всего: ступай!

Баба смущенно уходит и ворчит:

— Вишь, натискался полный двор, только сбивают в речах!..

— Правда, матушка, правда твоя,— говорит старичок.

Старики и старухи соболезненно качают головами: дескать, и вправду набились, только сбиваем хозяев.

— Ты, батюшка, не сумлевайся,— шамкает мне старик,— клад, а не лошадь...

— А цена какая?

— Цена?

И хозяин пускает столько воздуху из своей груди, сколько и редкий мех выпустит. Думает, думает и говорит:

— Непривычное дело... говори сам цену!

Оригинально!

— Неужто, Парфений Егорыч, и вправду решился смотать? — спрашивает из толпы один.— Племя-то, племя какое...

Хозяин, Парфений Егорыч, молча чешет затылок. Затем энергично машет рукой и говорит:

— Нет, не продам!

Наступает молчание. У меня сразу до температуры кипения усиливается желание приобрести лошадь.

В толпе тихо. Убедительно запевает один:

— А пошто и не продать? были бы деньги — какую захочешь, такую и купишь.

Другой, третий, четвертый говорят, указывают на то, что почему-де барину и не уважить?

Хозяин слушает, твердо уставившись в землю. Начинаю и я убеждать хозяина. Он слушает и меня и молчит. Опять выходит хозяйка.

— Слышь, женское, продавать, что ли? — бросает ей хозяин.

«Женское» прирастает к месту, делает большие комичные глаза, замирает, качает головой и, наконец, отвечает:

— А твое дело... Ты — большой!

— А, знаю,— равнодушно пускает сквозь зубы хозяин.

— Гляди...— отвечает ему хозяйка.

— То-то гляди,— презрительно сплевывает хозяин,— только мешать бы вам...

Хозяйка, испуганная, быстро скрывается.

— Ну что ж? Не хочешь, так не хочешь.

Я тоже собираюсь уходить в комнату. Подходит наш мажордом — Кузьма.

Он разводит руками и тихо, доверчиво говорит:

— Просто приступу ни к чему нет. Яиц десяток двадцать копеек, курица — пятьдесят... Московские, прямо московские цены...

Кузьма помолчал и говорит:

— Надо у этих порасспросить.

— Спроси,— говорю я.

— Эй, вы, старички, нет ли у вас продажных яичек, кур?..

Толпа внимательно слушает, смотрит со страхом на хозяина и молчит. Вызывается старичок.

— Курочка, батюшка, у меня есть.

— А цена?

— А что дадитё.

— А ты свою говори.

Старик думает, чешет голову и, наконец, нерешительно со страхом говорит:

— Двадцать копеек дашь, что ли?

— Пятнадцать.

Какой-то белокурый парнишка подвернулся под ноги хозяину и полетел, получив от него здоровенную затрещину.

— Шляются под ногами! Чего не видели? Весь двор запрудили. Вон!

И старые и малые посыпали со двора, а с ними и старик, продававший курицу. Тот самый, который отозвался на мой вопрос, примут ли нас в гости,— тот самый, который уговаривал хозяина продать нам лошадь.

Все-таки Кузьма разыскал его и курицу за пятнадцать копеек купил.

— Ну,— сообщает Кузьма подробности продажи.— «Теперь,— говорит старик,— пропала моя головушка... Парфений Егорыч до смерти не простит мне, что перебил дорогу его курам». Я ему говорю: «А тебе что такое — Парфений Егорыч?» — «Как что, батюшка? Парфений Егорыч у нас всему делу голова. Хочет — и жив человек, не хочет — стаял, как снег в печи...»

Кузьма вздыхает, думает и прибавляет:

— Известно, денежный человек, сильный!.. В одном лесу какие поставки держит... Голодный год пришел... Куда?.. Только он и есть!.. Взял теперь зятя себе, так, бедненький вовсе,— охота, чтобы из воли его, значит, не выходил... А детей все-таки не дает бог дочке: третий год уж живут, а внуков нет. И, слышь, гневается на зятя; в черном теле его, так, работником содержит, а к делу не допускает вовсе, все сам, сам...

Все это мой Кузьма уже разузнал, выспросил.

— Вы насчет пегашки оставьте, — он теперь сам пусть начинает...

Действительно, когда вторично я вышел во двор, хозяин, смягчив свое суровое и презрительное выражение, обратился ко мне:

— Капитал-то в избу, али ладно здесь?

— Какой капитал?

— Да вот струмент, вешки.

— Разве тронет кто?

— Да ведь как говорится: замок для добрых людей.

— А то и стащат?

— Обнаковенно... иной и глуп для этого, пожалуй, подкладывай ему.

— А если бы я деньги положил на улице?

Хозяин с презрением покосился на меня и едва удостоил сквозь зубы:

— Пожалуй, попробуй!

— Это в городе порченый народ, а здесь у вас — простота.

— Это...— ответил хозяин и усиленно замигал глазами.

Кузьма, слушавший на крыльце, усмехнулся и проговорил:

— Как говорите: простота? Хуже воровства живет!

Хозяин опустил глаза в землю, молчал, слушал и о чем-то думал. Лицо его опять смягчилось, и он вдруг добродушно и доверчиво обратился ко мне:

— Ну, так думаю, что ль, лошадку-то вам купить у нас?

— Что ж, пожалуй, а цена какая?

— Уж и не знаю... Две катеньки не обидно?

— Что ты, что ты! — закричал на него Кузьма,— язык-то как поворачивается?

Хозяин опять насупился, покраснел и ответил:

— Так говорится, за спрос денег не берут... Вашу цену скажите.

— Да ты в Петербург привези ее, и то больше сотенной не возьмешь,— ответил ему Кузьма.

— Нет, за сотенную и толковать не о чем,— махнул рукой хозяин.

— Да мы тебе сотенной и не даем! — ответил насмешливо Кузьма.

— Да ты что? — окрысился хозяин на Кузьму,— суешься тут!.. Постарше, чать, тебя есть!

Кузьма замолчал. Очередь говорить была за мной...

— Я дал бы,— нехотя начал я и запнулся,— ну... сто двадцать рублей.

— Вот чего, барин... Сто пятьдесят и бери, покамест не раздумал...

— Нет.

— Сто сорок!

— Сто тридцать!

— Нет!

Уперся хозяин, уперся и я. Опять на дворе собрался народ.

— Хороша лошадь... Племя какое... От нее же вот купец купил в городу, и то первая лошадь...

— Давно купил? — спросил я.

— Да что ты путаешь,— крикнул в сердцах хозяин,— от старой купил. И кой ляд тут вас носит?

— Знамо, от старой,— подхватили дружно в толпе,— что говорить, когда не знаешь?

— Али от старой? — с веселой и глуповатой физиономией посмотрел на всех провинившийся.

Давешний старик, продавший курицу, не смеет уже входить во двор и стоит на улице у ворот.

— Кузьма, посмотри лошади в зубы, — говорю я.

Кузьма смотрит, выворачивает ей губы, заглядывает на верхнюю челюсть, пока пегашке не надоедает все это и она так вздергивает головой, что сразу высвобождает свою морду из рук Кузьмы. Кузьма молча вытирает о полы руку. Пегашка опять вытянула свои широкие губы и смотрит равнодушно и сонно, точно и не с ней все это было.

— Сколько ж лет?

Кузьма еще думает и нерешительно отвечает:

— Лет восьми будет.

Поднимается страшный вопль.

— Трех, четырех, пяти! Своя прирожденная, на глазах выросла, племя какое, сейчас и то берёжая!

— Да мне это все равно,— говорю я,— мне тащила бы воз, и конец.

— Ну, лучше этой лошади и нет, хоть весь свет обойти! — кричит кто-то из толпы.

— Хороша-то хороша,— говорит Кузьма,— ну и цена!..

— А ты не об цене думай, а какую лошадь берешь! — учит его голос из толпы.

Старик у ворот качает головой и со скучным убитым лицом уходит прочь. В толпе смеются, перебрасываются тихо словами и забыли уже о том, что я торгую лошадь. Хозяин тоже с равнодушным лицом уходит в избу.

— Ну, бог с тобой,— говорю я,— бери сто сорок рублей.

В толпе наступает мгновенная мертвая тишина. Смотрят, раскрыв рты, на меня, на хозяина, лениво возвращающегося назад. Я вынимаю деньги и отдаю. У некоторых в толпе выражение такое, как если бы где-нибудь в Сахаре с мучительной жаждой они смотрели на счастливца, урвавшего глоток воды.

Вышел и черногорец, засунув руки в карманы и выворачивая большими ногами.

Он был в духе, подошел к пегашке, заглянул ей под ноги, толкнул в живот и пренебрежительно отошел.

— Рублей шестьдесят стоит,— бросил он снисходительно.

— Денег-то, денег куча, ах ты, господи!..— качали головами в толпе.

Даже хозяин, и тот покраснел от напряжения и от удовольствия, как ни старался сохранить спокойствие.

— Ты, барин, на деньги не гляди, а на кобылу,— ответил он черногорцу,— племя!

— Племя? — переспросил черногорец и пригнулся с своей обычной манерой, делаясь похожим на быка, когда он собирается подбросить рогами.

— Племя первое дело,— вздохнул какой-то мужик из толпы.

Черногорец опустил голову, задумался.

— А вот у дочки твоей и нет племя,— проговорил он на прощанье, обращаясь к хозяину, и ласково рассмеялся.

Хозяин, как человек, которому попали в самое больное место, безнадежно, покорно, грустно ответил:

— Наказал господь... Одна распроединственная и то нет.

— То-то, нет... А вот дождался бы нас, не выдавал дочку, я бы и взял ее за себя!.. А у меня, брат, столько племя, сколько волос у тебя на голове.

— И поверить можно,— с почтением развел руками хозяин, почтительно оглядывая, хотя и тяжелую, но внушительную фигуру черногорца.

Черногорец поглубже заглянул ему в глаза, точно отыскивая что-то,— нашел и весело направился к себе в комнату.

— Господин серьезный! — с почтением аттестовал хозяин моего черногорца.

— Ну-с, пегашку ставьте к корму, завтра в работу,— обратился я к кучерам.

— Обменяться надо,— заявили кучера.

Обменялись через полу поводом: обычай один, куда ни иди по крещеной земле русской. Пришлось еще рубль дать! — повод обмыть.

— Да ведь у них, поди, и водки нет? — с соболезнованием проговорил было один из кучеров.

— Пьем же,— добродушно кивнул головой хозяин, и в толпе пошел хохот.

— Пьют! — воскликнул Кузьма,— шельмецы, свою водочку курят! Как ненастье придет, что уж знают, нет к ним дорог, и разведут каждый свой заводик; пьют да добрых людей поминают.

— Безакцизную, значит?.. Цена поэтому подешевле...

— Одна цена,— равнодушно ответил хозяин.

— Вишь, народец!

— Так неужели так уж и за труды не пользоваться? — рассмеялся кто-то в толпе.

— Больно уж много пользы берете...

— А нам что, не жаль, давай хоть все...

— Не надо ли еще лошаденки? — подошел и спросил каким-то заплетающимся языком белокурый, скошенный, с большим лбом мужичок.

— Нет, батюшка, не надо!..

— Э!..— мужик подумал.— А то возьмите, я бы дешево отдал?.. Деньги нужны.

— Да на что вам деньги здесь?—бросил кто-то из моих рабочих.

— Э, батюшка, как же без денег? Нам-то, лесным медведям, и нужны деньги... Что ни схватишь — нет; железо ли, косы, соль — все купи... Подати, свадьбу и на попа достань-ка. Меньше красненькой и не поглядит, а помрет человек, глушь, в неделю не управиться, потому сейчас шестьдесят верст вези упокойника до села...

— Зачем же вы его возите?

— Да как же иначе, на кладбище доставишь... не так же его: бах в землю, как собаку...

— Да-а.

— А то возьмите лошаденку?..

— Нет, батюшка, не надо.

— Не надо, так не надо!— осадил белобрысого мужика наш хозяин.— Не за горло же хватать?

— Никто не хватает,— огорченно ответил белобрысый и отошел.— Так спросил...

Мне жаль стало белобрысого: думаю, купить бы что-нибудь и у него.

— Вот овцу, если есть, на мясо продай...

Белобрысый собрался что-то ответить, но хозяин авторитетно перебил:

— Найдется и у нас овца. — И, спохватившись, что опять народ нагрудился во дворе, хозяин закричал: — Ну, опять поналезли! Что, ей-богу, за народ? Чего не видали? Ай-да-те!..

Так я не дождался ответа от белобрысого.

Толпа выходила в ворота, и я слышал вздохи; разводили руками и говорили:

— Его счастье...

— При капитале-то у всякого счастье,— диссонансом общей покорности раздался чей-то резкий, раздраженный голос.

Хозяин мой не подарил ответа.

— В чужой-то двор зашел и охальничаешь?..

— Я, что ли, охальничал? — уже смущенно ответил виноватый.

— В праве я тебя,— не спуская тона, продолжал хозяин,— и в загривок поэтому...

И так как виноватый молча спешил выбраться со двора, то хозяин поласковее кончил:

— Потолкуй тут...

— Крут же,— тихо мотнул головой Кузьма в сторону хозяина.

И между моими рабочими хозяин чувствовал себя таким же хозяином, как и с остальными деревенскими, только голос немного поласковее.

— Ну, чего сидите? Налаживайте пока что скамьи.

— А лесу где? — покорно поднялся один.

— Вот хоть из-под навеса возьми.

Он распоряжался деловито, безапелляционно, и, к моему удивлению, рабочие, рассуждая со мной совершенно свободно, с ним чувствовали себя как-то покорно, испытывали тот род страха, как будто существовала такого рода зависимость, что вот возьмет и вытолкает он их всех в шею.

«И вытолкает, и ничего не поделаешь!» — как бы говорили недружелюбные, но покорные лица рабочих.

Высыпали звезды на синем небе, шумит лес и сильнее напоминает шум моря.

Сорвется звезда и полетит и рассыпется серебряным следом над тайгой.

Тихо и темно. На дворе прохладно, а в избе душно: комары, клопы.

Я уже лег, а черногорец все еще возится. Молока захотел и кричит, чтобы дали ему. Слышу шаги по лестнице, знакомые, звонкие шаги дочери хозяев. Принесла ему и поставила горшок на стол. Звук поцелуев. Опять, вероятно, благодарит его. Молчание, и началась какая-то возня.

— А ты будет! — слышу упрямый голос молодой женщины.

Опять.

— Ну, что ж ты? Оставь!

Возня и энергичный решительный возглас.

III

Я вышел за ворота на улицу и пошел вдоль деревни.

Дети, старики, старушки, бабы и парни, бородатый народ — все потянулось за мной.

— Ну что ж, овцу продавай? — обратился я к крестьянину, который навязывался с лошадью.

Крестьянин подумал, почесался и заговорил своим заплетающимся языком:

— Так ведь того, Парфений Егорыч посулился ведь.

— Что, Парфений Егорыч? Я у тебя хочу купить.

Крестьянин подумал, почесался и проговорил:

— Оно, конечно, продать можно, да, вишь дело сошлось как: Парфений Егорыч посулился... у него уж, видно...

— Что ж Парфений Егорыч рассердится, если ты продашь?

— Ну, так как же не рассердится?.. Нет, уж того...

Вот старичок, продававший курицу, стоит. Избенка ветхая, старенькая. Два стекла в окне всего, а остальные рамы пузырями затянуты.

Подошел я к нему.

Маленький, седенький, кудрявый.

— Ну что ж, старик, в гости пришел к тебе! Веди в избу.

— Батюшка!..— заволновался старик,— а как мне тебя принять?! Гостя этакого...

Мы вошли в темную, закоптелую избу.

Пять маленьких детей, зануженная, бедная женщина.

— Твои, что ли, дети?

— Внуки, батюшка, от сына... Сына бог взял, жена его эта, невестка мне, значит, и живем... Так, батюшка, так. Живем, Христа славим...

Рассказал кое-что старик про свое житье. На словах не передашь: надо изжить всю нужду, все горе-горькое, надо всмотреться в эти неживые от нужды глаза и в эту кожу лица, в лица детей, измученную, без кровинки, женщину — всмотреться и что-то не поддающееся никакому описанию почувствовать. Может быть, и тронет тогда сердце и почувствуется живьем какая-такая жизнь написана была на роду этого семидесятилетнего старика. Жалобы на судьбу никакой. Славит свою долю. Найдутся охотники восторгаться чудными качествами души: их дело. Замечу только, что особенно на руку это качество всякому мироедству.

Душно, грязно в избе; комары и тараканы; запах овчины, навоза и еще какой-то тяжелый удушливый запах. Вышел во двор, сел на завалинке. Огородик перед глазами: посажены капуста, картофель, лук... Пониже к реке виднеется маленькая без крыши баня. Вышел из бани человек лысый, с подстриженной бородой и усами, в каком-то халате. Маленькое лицо, сморщенное, на вид лет пятьдесят. Вышел, постоял и пошел мимо нас, не удостоив нас вниманием. Остановился, встал на колени и начал громко вычитывать какие-то заупокойные молитвы.

— Это что за человек?

— Так... простенький...

И старик нехотя, с особой сборкой на губах рассказывает о нем. С детства такой. Был крепостным, приучали к делу: били и били, пороли и пороли: ничего. Так и отбился. Все смешком да шуткой,— посадят ли там пшеницу изо ржи выбирать, кур ли пасти. Воля пришла,

стал на воле ходить. Сперва около города жил, обмолвился словом...

— Каким словом?

— Да так и сказал: «Жарко будет городу». А глядь, город и горит уже. Начальство подумало, не он ли; в острог засадили. Ан и острог с угла загорелся. Ну, выпустили и приказали к городу на выстрел не подходить. Осерчал и он. Ушел. Вот так и прибился к нам и живет у меня в баньке.

ДВОРЕЦ ДИМА

Рождественский рассказ из жизни детей

Посвящается тебе, другу детей,
моей дорогой дочери Дюсе

I

Лужайка, которая виднелась с балкона из-за деревьев, была усыпана, как бисером, полевыми цветами. Ближе к балкону росли большие деревья, все в листьях, сочных, светло-зеленых. Листья шумели, и вершины деревьев гнулись от ветра.

На балконе под навесом ветра не было; грело солнышко, и пахло цветами. В кресле около стола сидел маленький мальчик, лет семи, желтый и сгорбленный, как старик. Его большая голова, как бы от тяжести, свесилась к нему на грудь, и исподлобья смотрели большие, черные глаза мальчика. Взгляд их был жгучий, напряженный.

Мальчик смотрел на лежавший перед ним красный, прозрачный от солнца тюльпан, на мушек, которые черными точками шевелились внутри него, и думал. Он думал о том, что, может быть, это вовсе не тюльпан, а заколдованный замок, а те черные мушки — рыцари и дамы: придет ночь, загорятся огни в замке, оживут рыцари и дамы. Мальчик скосил немного свои уставившиеся в тюльпан глаза и подумал, снисходительно улыбаясь: «А если заглянуть в тюльпан, ничего там, кроме мушек, и нет».

Как шумят деревья, какой сильный ветер: деревья большие, а ветер сильнее,— он гнет деревья, хоть и не хочется им гнуться. Разве деревьям может хотеться?

Мальчик стал смотреть в небо: в голубом, нежном небе бегут белые облака,— все тот же ветер, который качает эти деревья, гонит и те облака.

Мальчик закрыл глаза, и ему показалось, что и он качается, что и деревья, и он, и облака несутся куда-то далеко, далеко.

Мальчику стало страшно, и он опять открыл глаза: каким желтым все вдруг стало. Давно уже не приезжал дядя. Дядя так редко бывает. Он больше всех дядю любит. Мама говорит, что когда у дяди кончатся дела, то он не будет тогда уезжать; тогда он всегда, всегда будет с дядей. Ах, если б дядя приехал!

И вдруг дядя приехал. Он вошел с мамой и сказал:

— Здравствуй, Дим.

— Дядя! — крикнул Дим и бросился к нему.

О, какое счастье! Такое счастье, как будто Диму подарили что-то такое хорошее, с чем никогда бы он не расстался, всегда держал в руках.

Большие глаза его горели, как черные алмазы, как горит солнце из-под нависшей уже черной, страшной тучи, а маленькое сердце так сильно билось, как будто торопилось поскорее отсчитать побольше ударов: сильных, ярких, больных.

— Пойдем в сад, дядя,— сказал Дим.

— А ты не устанешь?

Он устанет?!

Дим за руку с дядей спустился с лестницы и пошел по дорожкам сада.

В саду немного сыро, но солнце горячо греет, ароматно пахнет тополем, пахнет распаренной травой, где-то в листьях звонко щелкает какая-то птичка.

Как хорошо, только кружится голова, и Дим просительно говорит:

— Не так скоро, дядя.

— Прости,мой мальчик,—хочешь, сядем на скамейку?

— Хочу,— говорит Дим.

И они садятся на скамейку. Вот теперь хорошо. Дим смотрит на дядю, и лицо его опять выражает радость, и

ему хочется поскорее рассказать что-то дяде, но от радости он все забыл и напряженно старается вспомнить.

— Знаешь, дядя...— тихо начинает Дим.— Я люблю спать, когда в другой комнате горит свечка. А если свечка потухнет, я так боюсь...

Дим оборвался, потонув в тяжелых ощущениях ночного страха.

— Чего же ты боишься? — ласково обнял его дядя.

— И сам не знаю.

Мальчик пожал плечами.

— Привидений, может быть, боишься?

— Ну, привидений?

И мальчик, оттопырив губки, скосив весело глаза, уставился перед собой: кто верит в привидения?

— Я, знаешь,— заговорил опять Дим,— сижу сегодня, дядя, смотрю на тюльпан и думаю: может, это не тюльпан, а дворец, в нем живут рыцари, дамы... Отчего мне это показалось?

— Ты, вероятно, читал какую-нибудь сказку про рыцарей и дам?

— Нет... Ах, да, читал... Мама мне читала давно, давно мне мама читала про цветочную фею: я, верно, и вспомнил, и все перемешалось в моей голове.

И Дим, облокотившись на колени, снисходительно кивал головой.

— А ты знаешь, Димочка,— сказал дядя,— ведь сегодня приедут к нам целых три доктора лечить тебя.

— Они узнали, что я заболел, и приедут? Они позволят мне бегать? они добрые?

Ах, как все хорошо. И лучше всего то, что дядя с ним. Ах, какой секрет знает Дим. Но он его никогда не скажет дяде. Он, как скряга, прячет его в своей душе. Егор ему его сказал: он похож на дядю. Неужели похож и будет такой же, как дядя, с густыми волосами, маленькой бородкой, большими задумчивыми глазами? Какое счастье, что он похож как раз на того, кого больше всех любит. Только отчего дядя всегда такой грустный?

А отчего вдруг что-то как будто остановилось в груди у Дима, и дядя так испуганно смотрит на него?!

А Дим сидит бледный, неподвижный, без дыхания, с широко раскрытыми глазами.

В это время подошла мама, и испуганно замерли — и мама и дядя.

И так стихло кругом, как будто на мгновение в этот зеленый уголок вдруг заглянуло страшное лицо смерти, и все увидели его.

Мальчик, наконец, тяжело вздохнул и тихо сказал:

— Я устал, дядя...

— Хочешь, Дим, милый... я тебя отнесу в кроватку?

Дим кивнул головой, и дядя, осторожно подняв, понес его в спальню.

Там он положил Дима на кровать и сам сел возле него.

— Мне показалось,— сказал Дим,— что я куда-то вдруг провалился... А я никуда не проваливался.

Дим держал руку дяди, смотрел на него и думал, какое счастье, что дядя с ним. И мама с ним, но мама всегда с ним, а дядя так редко бывает, что кажется ему, что и теперь все это только во сне: вот сейчас он проснется и не будет больше дяди,— будет темная ночь, и свечка в другой комнате потухнет, и так страшно ему станет.

Приехали доктора, осмотрели Дима, выстукали и повторили то, что уже все знали,— что у Дима порок сердца. В детстве иногда это и проходит: не надо бегать, не надо волноваться, надо принимать лекарства.

II

Уехали доктора, уехал дядя, и опять Дим сидел на балконе и думал о дяде.

«Ах,— думал Дим,— если бы у меня были братья или сестры. Как бы я любил их!»

А вдруг и у него будут когда-нибудь они? Вдруг выйдут из-за деревьев, подойдут к нему и скажут: «Мы твои братья и сестры».

И они обнимут Дима, и так хорошо ему будет, и никогда больше он не разлучится с ними.

И вот раз, когда так думал Дим, вдруг в саду из-за деревьев показалась маленькая девочка в светлом платьице, с светлыми как лен волосами.

Она тоже увидела Дима и остановилась удивленная.

Потом она подошла ближе и спросила Дима:

— Ты леший?

Дим сам испугался было и не знал, что подумать,— он уже подумал даже, не дочь ли уж она какой-нибудь волшебницы, но, когда девочка заговорила, он улыбнулся и спокойно сказал:

— Нет, я Дим. А ты кто?

— Я Наташа... Нет, а ты леший: в чужом саду всегда сидит леший.

— Это в том саду,— серьезно сказал Дим и показал рукой на соседний сад.

— А у тебя есть папа и мама? — спросила Наташа.

— У меня только мама.

— А у меня и мама, и папа, и дяди, и тети... А братики и сестрички у тебя есть?

— Нет.

Наташа ближе подошла и сказала:

— И у меня нет... У меня есть двоюродные... А у тебя есть?

— Нет.

Наташа еще ближе подошла и грустно спросила:

— Ты совсем бедный?

— Отчего? — спросил Дим.

Наташа подумала и сказала:

— Ты сиди здесь, а я пойду к маме.

И Наташа важно ушла назад.

А Дим долго не мог прийти в себя от удивления и радости. Наташа была совсем похожа на ангелов, каких Дим видал на картинах: голубые, как кусочек неба, глаза, вьющиеся светлые волосы. А может быть, у нее и крылья есть? Маленькие крылья сзади? На ней был надет беленький с кружевами фартучек, и сзади на плечах, в том месте, где всегда растут крылья, этот фартучек, кажется, немного даже отдувался так, как будто под ним и были крылья. В следующий раз, как придет Наташа, Дим непременно так, совсем незаметно, заглянет и увидит, есть ли у Наташи крылья.

Наташа пришла на другой день; на этот раз поднялась по лестнице на балкон, села на верхнюю ступеньку и сказала.

— Вот я и пришла.

Потом Наташа спросила:

— Зачем ты все сидишь? Будем бегать...

— Я не могу бегать,— мне можно только ходить,— я хожу с Егором каждый день, знаешь, где большая аллея?

— А я могу бегать... Я могу бегать, качаться на качелях, и я не хочу больше с тобой сидеть.

Наташа встала и быстро пошла к себе домой. Пройдя несколько шагов, она крикнула:

— Я не люблю мальчиков, которые не могут бегать!

Но скоро она опять пришла, подошла вплоть к Диму, долго смотрела в его обрадованные глаза и строго сказала:

— Может, ты хочешь, чтобы я ушла?

— Нет, я очень рад, что ты пришла.

— У тебя какая кроватка, с решетками? У меня с решетками. А когда я вырасту большая, я буду писать стихи и книги, как дядя Коля... Зачем ты так сидишь, как горбатый? Если ты будешь так сидеть, я от тебя уйду.

Наташа строго и медленно погрозила Диму пальчиком и опять заговорила:

— А сегодня один дядя пальчик в нос засунул; я говорю ему: «а мама сказала, что не надо пальчика в нос класть», а мама меня в угол поставила, и я плакала, потому что я гадкая девочка... Ты опять горбишься, Дим? Я тебе все говорю, а ты меня все не слушаешься? Ну, я уйду.

Дим рассмеялся и сказал:

— Ну, я больше не буду.

— Ну, смотри... И ты тоже не играйся с мальчиками, которые грязные. Их папа и мама мужики, они всегда пьяные и так кричат: а-а! — и растрепывают свои волосы. У них нет духов и кареты нет: они на козлах ездят. А теперь я пойду, а ты сиди здесь... Сиди!

Наташа строго погрозила пальчиком Диму.

Так Наташа познакомилась с Димом и каждый день по несколько раз приходила к нему.

III

Зимой Егор топил печи, а летом возился в саду.

Егор — маленький, рябой, с козлиной бородкой, с оттопыренной нижней губой, благодаря которой он

имеет вид человека, которому все нипочем. Но так бывало только в редких случаях. Когда он выпивал,— тогда он начинал рассуждать, жаловался, обижался. И тогда Егора укладывали спать, а на другой день снова Егор становился тихим и безответным. Выпивал Егор редко и большею частью тогда, когда мать Дима уезжала в город.

Раз после обеда, когда мать Дима как раз уехала в город, Егор был выпивши. Он с Димом, по обыкновению, отправился гулять. Егор, взволнованный и потный, жаловался Диму на дворника, кухарку, горничную. Потом он перешел на свои дела.

— Пять лет,— говорил он,— своих не видал: кто там, что там,— жена, дети, посылаешь, посылаешь эти деньги... Все равно, как и прежде люди в рабство на чужую сторону себя продавали... Ну, так там хоть кучка денег сразу на руки приходила,— продал себя и знаешь за что,— а здесь так по двугривенному весь разойдешься: на последний двугривенничек только выпить и пах,— лопнул гнилой пузырь!

Дим шел и думал: бедный Егор,— он оттого и пьет, что пять лет не видал жены и детей.

Они проходили в это время мимо маленькой деревянной церкви. Двери церкви были раскрыты, и шла вечерняя служба.

Дим любил вечернюю службу, любил, когда поют «Свете тихий», и сказал:

— Зайдем в церковь, Егор.

И они вошли.

В церкви было мало народа. Что-то у алтаря читал дьякон, любительский хор певчих пел, по стенам церкви стояли старушки, старики, а ближе к алтарю небольшая толпа из женщин, детей, изредка мужчин.

У Дима было свое место у иконы Христа с детьми. Спаситель в голубой ризе, окруженный детьми, ласково смотрит и держит руку на голове одного из мальчиков. Над иконой по-славянски было написано: «Не мешайте детям приходить ко мне».

Дим любил эту картину и, сидя на стуле, который приносил ему сторож, рассматривал ее.

Запели «Свете тихий», и полились звуки, как лился

в окна вечерний свет: тихий, мирный, и стало тихо в церкви, и только вздрагивало кадило в руках дьякона, да в длинных лучах солнца играли волны кадильного дыма, да мигали лампадки в углах образов, то замирая, то ярче вспыхивая.

Как волны дыма, плыли мысли Дима и уносились куда-то.

Он смотрел на икону и думал, и брови его сдвигались, и черные глаза упорно и жгуче смотрели. Он думал: где Христос теперь, видит ли он теперь его, Дима, увидит ли он, Дим, когда-нибудь его, и как будет тогда смотреть на него Христос? Ласково, как на той иконе, или рассердится? Рассердится, если он, Дим, будет говорить неправду. Но зачем ему говорить неправду? Если он съест два куска хлеба, а скажет один? Чем больше он съест, тем больше обрадуется мама.

Дим усмехнулся, пожал плечами и весело скосил глаза.

А Егор молится, обливается потом и все, как во сне, твердит, вздыхая:

— О, господи, господи...

Вот и кончилась служба, и быстро разошлись все, и никого уже нет в маленькой, глухой церковной сграде, куда после службы вышли Егор и Дим.

Диму еще не хочется уходить, хочется побыть еще в ограде, посидеть на уютной, зеленой, недавно выкрашенной скамейке.

Тихо кругом, никого нет, и кажется Диму, что никого, кроме Егора и его, больше и нет на свете.

— Ты хотел бы,— спрашивает Дим Егора,— чтобы у тебя было столько братьев и сестер, сколько на той иконе в церкви?

Егор повернулся, пригнулся к Диму и посмотрел на него так, как будто в первый раз его видел. Глаза его стали большие, лицо красное, и в каждой мокрой ямочке лица блестит крупная капля пота. И губы у него мокрые, а нижняя отвисла, и дышит Егор прямо в лицо Диму, и несет от него водкой.

— А я хотел бы,— продолжал Дим,— знаешь, мне всегда кажется, что у меня есть и братики и сестрички.

— А может, и есть,—сказал Егор,— может, чует ангельская душа родную душу?

Егор закрыл глаза и стал качать головой.

Дим подумал и сказал:

— Я не понимаю, что ты говоришь, Егор.

Егор мутными глазами смотрел на Дима.

— Ох, сказал бы я вам... сказал бы, да вы расскажете маме и дяде, а Егора прогонят...

— Я не скажу, Егор.

— Не-ет,— мотнул головой Егор,— вы побожитесь, тогда я поверю вам,— вы скажите: пусть мне царствия не будет божьего, если я выдам Егора.

Диму и страшно, и хочется узнать, что скажет Егор, и он испуганно говорит:

— Пусть мне царствия не будет божьего, если я выдам Егора.

Какие странные вещи рассказывает Егор. Он говорит, что его дядя не дядя ему, а папа, что у него есть и братья и сестры.

— Вот теперь,— кончает Егор,— Егор по крайней мере знает, что сказал правду, а правда дороже всего на свете.

«Да, правда дороже всего на свете»,— думает и Дим и радостно говорит:

— Егор, ведь это хорошо, что дядя — папа, что у меня есть и братья и сестры. Знаешь, я всегда думал, что у меня есть братья и сестры... Егор, а отчего же дядя не хочет сказать мне, что он мой папа?

— Да ведь как же ему это сказать,— развел руками Егор,— он с вашей мамой не в законе.

— Не в законе? — переспросил Дим.

— То-то не в законе,— ему и нельзя.

Дим еще подумал, вздохнул и спросил:

— Егор, а много у меня братьев и сестер?

— Два брата да три сестрицы.

— А где же они живут?

— Летом вон там, версты три отсюда,— и Егор показал пальцем.

— Егор... а зачем же они ко мне не приходят?

— Да ведь как же? Откуда они знают? Им все равно, как и вам, не говорят.

— Отчего же не говорят?

— Да как же сказать, когда дело-то не в законе.

Дим подумал и спросил:

— Закон страшный, Егор?

— Да ведь закон, известно, закон...

Егор тяжело вздохнул.

— Охо-хо,— сказал он,— вот где грех-то.

— Какой грех, Егор? — испуганно спросил Дим.

Егор угрюмо сказал:

— Не ваш грех.

Дим как будто вдруг все, что имел, потерял и теперь опять находил что-то другое, новое, но все это новое было хорошее: отец, братья и сестры... И во всем этом было и что-то неясное, такое неясное, что, как ни напрягался Дим,— он никак его понять не мог и не знал, как и что спросить еще Егора, чтобы все стало ему ясным... Какая-то тревога или неудовлетворение охватывали Дима, и он напряженно вдумывался, стараясь проникнуть в какой-то полусвет, окутавший вдруг всю его жизнь.

— Егор, — сказал Дим,— а нельзя хоть потихоньку посмотреть мне на моих братиков и сестричек?

Егор сначала не хотел и слушать, потом стал отговариваться расстоянием, но Дим так просил, что Егор, наконец, согласился.

Они взяли извозчика и поехали. Не доезжая до места, они отпустили извозчика и пошли пешком.

Как сильно билось сердце Дима, когда они с Егором подкрадывались к решетчатой ограде.

Там за оградой, на лужайке перед домом, играло много детей. Егор шепотом объяснял ему, что это все его родные и двоюродные братья и сестры.

«Это хорошо,— думал радостно Дим,— вот сколько у него родных и двоюродных братьев и сестер. То-то он расскажет Наташе».

Какие они все хорошенькие и добрые!

Вот сидят и строят что-то из песка две девочки и маленький мальчик в латах. А вот эти бегают и гоняются друг за другом. Два мальчика, как он, обнялись и ходят взад и вперед, не обращая ни на кого внимания, а к ним все пристает девочка с задорными, черными глазками, а они говорят ей:

— Ну, оставь же нас, Нина.

— Не оставлю,— говорила Нина,— не говорите секретов.

Одна маленькая девочка сидит спиной ко всем и возится с куклой. Длинные, мягкие, как шелк, волосы то и дело падают ей на глаза, и то и дело она, оставляя куклу, покорно двумя ручонками откидывает свои волосы назад. Но они опять падают.

Нина отошла от мальчиков и подсела к маленькой девочке.

— Вот умница, Тото, ты любишь куклу?

Тото подняла головку, оправила волосы и, радостно показывая на куклу, сказала счастливым голосом:

— Пупе...[1]

Она только и знала одно слово: пупе.

— Ах ты, пупе,— сказала Нина и поцеловала Тото.

— А ты знаешь, Нина,— подходя, озабоченно заговорила девочка немного постарше Тото,— няня говорит, что если мы будем хорошо играть с куколками, они полюбят нас и сделают нас тоже куколками.

— А ты хочешь быть куколкой?

У девочки загорелись глаза, и она счастливо сказала:

— Хо-очу...

— А кто эта большая дама в шляпке, которая вышла из дома и идет к детям?

Егор шепчет, что это его, Дима, тетя.

Все дети увидели тетю и закричали:

— Тетя Маша, тетя Маша...

Тетя Маша, здоровая, веселая, полная, идет, и руки у нее заложены назади, но Дим видит, что она прячет,— она держит в руках повозочку с лошадкой и кучером.

— А кто,— весело, громко говорит тетя Маша,— из вас рожденник сегодня?

Маленький мальчик в латах покраснел и встал.

— Ах, это ты, Женя? — сказала тетя Маша,— твое рожденье? Ну, поцелуй тетю.

Тетя Маша присела к земле, подставила Жене свою щеку; и, когда Женя поцеловал ее, она спросила:

— А ты тетю Машу любишь?

---

[1] Кукла (от *нем.* die Puppe).

— Люблю,— сказал Женя.

— А ну-ка, покажи — как?

Женя обнял изо всей силы шею тети Маши.

— А бозеньке ты молишься? — продолжала тетя Маша.

— Молюсь.

— Тетя Маша, тетя Маша,— вмешалась Нина, и глаза ее загорелись, как огоньки,— Женя так богу молится: пошли, господи, здоровье папе, маме, братьям, сестрам, дядям, тетям и потом всему, что увидит, и так говорит: сапогам, которые стоят под кроватью...

— Ну, уж ты,— говорит тетя Маша,—всегда все подметишь, не мешай нам...

И, обратившись опять к Жене, тетя Маша спросила:—

— А молочко ты пьешь?

— Пью.

— Ну, умница, вот же тебе...

И тетя Маша дала Жене повозочку с лошадкой и кучером.

— Вот я тоже подметила,— говорит Нина,— что ты, тетя Маша, всегда подаришь как раз то, что больше всего нравится.

Тете Маше было это приятно, и она рассмеялась.

Как раз в это время Дим увидел в одном из окон того, кого он привык называть своим дядей.

— Дядя! — сказал он удивленно Егору,— разве он здесь живет?

— Так ведь где же ему жить? — сказал Егор.

Что-то точно обожгло Дима, и он забыл и о братьях своих, и о сестрах, и о большой тете Маше, которая вдруг, увидев прильнувшее к ограде желтое лицо и большие, черные глаза мальчика, сказала нарочно громко:

— Зачем чужие дети подходят к ограде?

И все дети оглянулись и стали смотреть на Дима.

Но Дим ничего не слышал и не видел: сердце его билось так, как будто кололо и говорило: здесь, здесь живет дядя.

А Егор в это время уже тащил его по дорожке, приговаривая испуганно:

— Как же это можно так делать, а если бы дядя увидел?

— Егор, не так скоро... я не могу... сядем...

И Дим сел, белый как стенка, потому что что-то жгло и разрывало ему грудь; его тошнило...

— Ах, если бы немножко воды...

«Что говорит Егор? Да, надо уходить...»

И Дим, пересиливая себя, озабоченно опять поднялся на ноги, и они торопливо пошли дальше. Испарина выступила на всем его теле, неприятная, липкая; желтое лицо его вдруг осунулось, и под глазами сильнее обрисовывались темные круги, и глаза казались еще больше. Кололо в боку, и, согнувшись, Дим шел через силу, прижимая рукой то место, где кололо... Точно буря неслась над ним, и все тонуло в вихре нескладных мыслей, тяжелых ощущений. И так больно было: точно вдруг что-то острое, чужое глубоко вошло в его сердце и осталось там, и замерло сердце в нестерпимой боли.

Потом они сели на извозчика и поехали. Легче стало Диму, и, чужой себе и всем, он сидел, сгорбившись, рядом с Егором.

А кругом в садах так радостно щебетали птички, садилось солнце и в золотой пыли светились деревья, кусты. Вот открылась даль, вся в блеске заката с золотым небом, там, где садится солнце, где как будто туман горит над землей. Или то еще тоже земля, невидимая, призрачная, с неведомой в ней жизнью?

Егор говорит что-то о смерти. А что значит смерть и жизнь после смерти? Может быть, это значит, что после смерти все уходят туда, в ту даль, где собираются теперь все вместе: и земля, и небо, и солнце, где так светло, вон в той точке... Умрут все: и он, и мама, и папа, и все братья, и сестры, и тети, и все пойдут туда.

«Ах, хорошо тогда будет,— скорей бы только умирать всем»,— думает Дим.

— Когда я умру, мне можно будет бегать, Егор?

— Можно.

Он быстро, быстро тогда побежит вон туда, к тому светлому.

— Ох, боже мой, боже мой,— говорит, подъезжая к дому, Егор,— лица на вас нет... и что только будет, что только будет!

— Ничего не будет, Егор,—отвечает Дим,— я скажу,

что мне сделалось дурно — вот и все, и мы взяли извозчика.

Но напрасно волновался Егор: мать Дима не приезжала еще, так и спать лег Дим, не дождавшись ее. В первый раз он был рад этому. Он так устал, что, как лег, так и заснул. Он крепко и хорошо спал всю ночь и утром, проснувшись, лежал в своей кроватке свежий и бодрый, ни о чем не думая.

Но, когда к нему вошла мама, он вдруг сразу все вспомнил, что было вчера, и ему стало так неприятно и неловко, что он закрыл глаза.

— Ты спишь, Дим?

Сердце Дима стучало, в ушах шумело, и он никак не мог ответить: ему не хотелось отвечать. Ему было на кого-то за что-то обидно, хотелось жаловаться, упрекать в чем-то. Хотелось рассказать все вчерашнее, но он так страшно поклялся Егору.

Он сделал усилие и открыл глаза.

— Какие у тебя сегодня мутные глаза,— сказала мама, наклоняясь и целуя его.

И он поцеловал маму, но ему показалось, что он целует не маму, а кого-то другого. Он быстро отвел глаза и тихо спросил?

— Где Егор?

— Егор в саду.

Значит, Егора не прогнали. Дим облегченно вздохнул. Он вспомнил, что вчера целый день не видал маму, и хотел было спросить ее, где она была, но подумал, что мама теперь не скажет уже ему правду. И он не может маме правду сказать. И так скучно и пусто стало на душе у Дима, и он опять вздохнул и подумал: «Ах, скорее бы уже все умирали». А мама все смотрит на него, наклонившись к нему, и грустно говорит:

— Бедный мой мальчик, может, ты сердишься на свою маму за то, что она тебя вчера на целый день бросила?

В ответ Дим порывисто обнял ее за шею и, прижимаясь, сразу смочил ей все лицо своими слезами.

— Милый мой, милый мой, дорогой...

И мама горячо, испуганно целовала лицо Дима, ручки его и грудь.

Слезы облегчили Дима, он опять смотрел на маму и улыбался ей сквозь слезы. И все, что было вчера, показалось вдруг Диму таким далеким. «Только ничего не надо говорить маме»,— подумал он.

Он озабоченно оделся, напился молока и вышел на балкон.

Вон Егор копает грядку. Егор угрюмый, озабоченный копает и ни на кого не смотрит. Позвать его? Нет.

Мама села играть. Ах, скорее бы приходила Наташа. Только он и ее заставит поклясться, что она не скажет ничего ни его маме, ни дяде.

А вот и Наташа. Она подошла близко, близко к Диму и, кивая у него под самым носом головой, сказала:

— Ну, здравствуй, здравствуй!

Потом она села и заговорила:

— Дядя Коля приехал... Я плакала, а он мне сказочку рассказал. Я тебе расскажу ее. Есть такой дворец — знаешь? И сад, и ангелы — и там дети. А когда дети плачут — знаешь — ангелы собирают их слезы в такие маленькие чашечки,— вот такие, и потом поливают цветочки в саду: хорошенькие цветочки, нигде таких нету... А те слезы, которые не попадают к ангелу в чашечку, те падают — на пол падают,— вот так,— и делаются жемчугами... Понимаешь? Ангелы собирают этот жемчуг и строят из него детям дворец.— Наташа наклонилась к самому уху Дима и, кивая головой, грубо сказала: — А у мамы моей много, много жемчуга... Хорошая сказочка?

— Очень хорошая! — сказал Дим.

— А где этот дворец? — спросила Наташа.

Дим вдруг вспомнил то светлое, что видел он там, где садится солнце, и сказал:

— А я знаю, где он,— я его вчера даже видел: там, где солнце, небо и земля сходятся вместе, и там все прозрачное — я вчера его видел. Его можно видеть каждый день, когда садится солнце... Но слушай, Наташа, это после, а теперь я тебе что-то скажу, но только побожись, что ты не скажешь моей маме и моему дяде.

И Дим так строго уставился в Наташу, что даже скосил глаза.

— Только я не хочу, если страшное,— сказала Наташа,— я не люблю страшного,— я потом ночью всегда кричу.

— Нет, нет, не страшное...— И Дим, понижая голос, сказал:— Ты знаешь: у меня есть братики и сестрички.

— Родные или двоюродные?

— Родные! И родные и двоюродные.

Наташа подумала и строго сказала:

— Ты, значит, меня обманывал?

— Нет, я и сам не знал,— мне Егор вчера сказал; и знаешь, мой дядя не дядя, а папа мой... И знаешь? Я даже видел вчера всех братиков и сестричек... Мы потихоньку с Егором подошли и все видели через ограду...

Дим хотел было рассказать Наташе, как он и папу увидел в окне, но ему стало так неприятно, что он ничего не сказал.

Наташа пригрозила Диму пальчиком и сказала:

— Ну, смотри... А ты кого больше любишь: меня или братиков и сестричек?

Дим смутился.

— Наташа,— сказал он,— я тебе правду скажу: одинаково.

— А я так не хочу,— сказала Наташа.— Ты меня люби больше, а если не будешь любить, я не буду к тебе ходить... Не буду, не буду: никогда не буду...

Наташа говорила и уже уходила, пятясь задом к лестнице.

— Ну, Наташа... Ну, хорошо, слушай: они мои братики и сестрички, а ты будешь... моей женой...

Наташа быстро подошла к Диму и сказала:

— Знаешь, мы их всех возьмем и пойдем в тот дворец...

— Только, Наташа, в тот дворец можно попасть после смерти...

Наташа подумала сперва, а потом несколько раз ласково хлопнула его по голове, приговаривая:

— Неправда... Вот тебе, вот тебе, вот тебе...

И она убежала, а Дим кричал ей:

— Скорей приходи!

IV

Наташа ничего не сказала Диминым маме и дяде, но она сказала своей маме.

— И больше ты к Диму не ходи,— сказала ей ее мама.

Но Наташа продолжала ходить к Диму.

— Если ты не будешь меня слушаться и будешь продолжать ходить к Диму, я тебя высеку,— сказала опять Наташина мама.

Наташа пошла к Диму, принесла куклу и сказала:

— Ты будешь папа, а я мама, и это наша дочка: она непослушная, и теперь надо ее высечь.

Наташа села на стул, положила себе на колени куклу, подняла ей платьице и стала бить ее, приговаривая:

— Вот тебе, вот тебе, вот тебе... А теперь мы ее поставим на колени и лицом в угол.

Наташа торопливо слезла со стула и понесла куклу в угол балкона.

— Нет,— сказала она,— здесь она будет видеть сад: надо, чтобы она ничего не видела.

Наташа отнесла куклу в угол, где балкон примыкал к дому, и, поставив ее лицом к стене, сказала:

— У, противная!..

Потом Наташа возвратилась к Диму и, сев на стул, проговорила:

— Мне ни капельки ее не жалко, и мы не будем даже на нее смотреть, и пусть наша дочка целый день так стоит на коленях, потому что мне ни капельки не жалко ее: она гадкая... гадкая... и ты гадкий, гадкий, гадкий, и я никого не люблю...

И Наташа вдруг заплакала.

Она плакала, а Дим испуганно говорил ей:

— Наташа, милая, не плачь... Я никогда не буду тебя обижать, и куколка больше не будет...И я и она, мы очень тебя любим... Не плачь же, Наташа.— И Дим, нагнувшись к Наташе, спросил: — Можно тебя поцеловать?

— Нет,— сказала Наташа, продолжая плакать,— меня нельзя целовать,— никто не может меня целовать, только папа и мама могут меня целовать, потому что все другие — больные, и я тоже сделаюсь тогда больная... Поцелуй меня в лобик.

Дим поцеловал ее, но Наташа все продолжала плакать.

— Отчего же ты еще плачешь?

— Потому что мама меня высечет, потому что я гадкая... я очень гадкая...

И Наташа, плача, слезла со стула и ушла, а Дим с ужасом думал: неужели высекут Наташу?! О, как стыдно, нехорошо и больно, когда секут такую маленькую девочку.

Когда Наташа пришла домой, мама спросила ее:

— Ты опять была у Дима?

— Была,— сказала Наташа.

— Что я сказала, что я сделаю с тобой, если ты пойдешь к Диму?

— Ты высечешь меня,— сказала Наташа.

— За что я тебя высеку? — спросила ее мама.

— За то, что я нехорошая девочка: я не слушаюсь.

Мама встала, взяла за руку Наташу и сказала:

— А теперь, когда ты знаешь, пойдем, и я тебя высеку, и сегодня я высеку тебя линейкой.

— Мне будет очень больно? — спросила Наташа.

— О, да, очень больно.

Когда они подошли к той комнате, где мама секла Наташу, Наташа вдруг вырвала свою руку и быстро пошла прочь, но мама догнала ее и повела назад.

Лицо Наташи надулось, сделалось испуганным, и она закричала:

— Я не хочу!

— Теперь поздно!— крикнула Наташина мама и изо всей силы дернула Наташу за собой.

Мама высекла Наташу.

Наташа пошла в детскую и написала на бумажке: «Меня высекла мама за то, что я хожу к тебе, потому что я гадкая, и я не буду больше к тебе ходить, а на елку я умру, и мы будем жить в нашем дворце, и я напишу тебе стихи».

Наташа взяла свое письмо и пошла к Диму.

У Дима захватило дыхание, когда он увидел Наташу,— Наташа была такая печальная и, когда подошла к Диму, она протянула ему письмо и сказала:

— Вот тебе письмо,— я теперь пойду, и ты не читай: ты читай, когда я уйду. Я скоро умру...

Из глаз Наташи потекли слезы; она медленно пошла назад и, вытирая слезы, оглядывалась на Дима: читает ли он ее письмо? Но Дим не читал и все только смотрел на нее большими, удивленными глазами.

В последний раз Наташа остановилась и долго, грустно глядела на Дима. Потом она ушла, и только светлое ее платьице мелькало между деревьями. Потом уж и платья не было больше видно, а Дим все сидел с письмом Наташи в руках.

Он прочел это письмо и долго плакал.

И всю ночь ему снилась Наташа,— где-то он с ней в темных проходах, все хочет спрятать ее так, чтоб не нашли ее и не высекли.

А потом он куда-то так спрятал ее, что и сам уже не мог найти ее, и он все искал, и так темно и страшно было ему.

Утром он проснулся желтый, горячий и сейчас же вспомнил весь свой сон, и так мучительно билось в груди его сердце.

V

Все пошло опять своим чередом, только Наташа не приходила больше, и Дим совершенно уже один сидел на своем балконе и думал о своих братьях и сестрах, о Наташе, думал о том, отчего никому нельзя с ним играться.

Дядя еще реже стал ездить: Дим знает, где дядя проводит свое время.

Иногда ему так хочется все сказать дяде. Но Дим молчит и только, сдвинув брови, исподлобья смотрит и смотрит на дядю...

Опять дует ветер, опять бегут облака по небу и качаются деревья.

Сидит ворона на вершине дерева и качается с ним. Ветер нагнул ветку, на которой сидела ворона,— ворона замахала крыльями и слетела на балкон. Потом она, переваливаясь, смело пошла прямо к Диму, остановилась, посмотрела на него и клюнула его за сапог. Так осторожно клюнула и улетела.

Дим все чувствовал то место, куда его клюнула ворона, и так приятно было ему. Может быть, он понравился вороне, и она хотела его поласкать. Может быть, ворона опять прилетит? И Дим сидел и ждал ворону. Но ворона не прилетала.

Вот и лето прошло. Дим не сидел больше на балконе; укутанный, он ходил по запущенным дорожкам сада и смотрел на балкон, усыпанный желтыми листьями.

Много желтых листьев и на балконе, и на дорожках, и на деревьях — желто-золотисто-прозрачные там вверху, в яркой синеве осеннего неба.

Пустой балкон, пустой сад, и нет больше Наташи, а все кажется, вот-вот мелькнуло ее платьице, и выйдет вдруг она из-за деревьев, как прежде, бывало, выходила, и скажет:

«Ты искал меня, и я пришла... А может быть, ты уже не хочешь? Ты скажи, и я уйду».

И Наташа внимательно, строго посмотрит на Дима, а потом сядет и начнет рассказывать ему, как прежде.

Нет Наташи, нет вороны,— может быть, ворона еще прилетит, может быть, сейчас прилетит и сядет, и начнет ходить перед Димом...

И вдруг нашлась ворона. Она лежала мертвая на земле под деревом.

Дим смотрел на мертвую ворону своими большими глазами, и так жаль ему было вороны. Наверно, ворона любила его, но ей тоже не позволяли играть с ним, и она скучала и умерла.

Пошли дожди, все листья упали на землю, и когда-то такие красивые, нежно-золотистые, теперь грязные и мокрые, они уже гнили на земле.

Через потное стекло окна Дим смотрел на них из своей комнаты. Иногда под вечер прорывалось сквозь тучи солнце и красными лучами освещало сад, далекие дачи, и так ярко горели их окна, как будто в них еще жили, как летом.

Пришла зима, и снег упал.

Дим не мог больше ходить: он лежал в своей кроватке и думал.

О чем?

Его пальчики озабоченно перебирали край одеяла, большие, черные глаза смотрели перед собой.

Он думал о своих братьях и сестрах, о Наташе. Все они теперь далеко в городе играют веселые и счастливые. Когда-нибудь и он будет с ними, и все вместе они будут в том дворце, где небо, и солнце, и земля сходятся.

Как обрадуется он им, когда опять увидит их. Они возьмут его за руки, и они пойдут в тот сад, где ангелы поливают прекрасные цветы детскими слезами.

И Дим лежал в кроватке, оттопырив губки, и кивал своей больной головкой.

О, как он любил своих братьев и сестер. Как будет весело тогда, и он скажет тогда дяде:

«Нет, нет, не обманывай,— я уже узнал, что ты мой папа. Ты, верно, думал, что я не буду тебя любить».

И он бросится к отцу на шею и станет так радостно, как прежде, целовать его.

Как жаль, что окна комнатки его выходят на восток и он не может видеть, как садится солнце, не может видеть своего дворца.

А может быть, дворец виден и при восходе солнца?

И на заре иногда, потому что он плохо спал, он поднимал штору и смотрел в окно, как в розовой дымке рассвета там далеко, далеко в нежно-алом небе загорался день.

Показывалось солнце, загорались первые лучи, счастливые, радостные прилетали воробьи к его окну и чирикали ему что-то веселое.

Кажется, немного виден дворец, но он не мог долго смотреть в окно, и, усталый, он опускал штору и опять ложился и думал. Только непременно надо, чтобы братики и сестрички хоть раз увидали его, чтоб могли потом узнать в том дворце Дима. Раз Егор пришел и обещал, что на сочельник привезет к нему братьев и сестриц. Когда бы скорее приходил сочельник!

VI

Ранние сумерки спускались на землю.

Егор был выпивши и, набирая дров для печки Диминой комнаты, говорил на кухне:

— Разве это люди? Я сегодня прихожу к этой толстой — выбежали детки. Я говорю им: «А братик ваш Дим умирает: попросите маму, чтоб ради праздничка отпустила вас к нему». А она как выскочит: «И как ты смеешь?.. и пошел вон. Нет и нет, кричит, детки, у вас никакого братика».— «Как нет? — говорю, грех, говорю, и чужую вещь украсть да спрятать, а вы душу детскую крадете да прячете,— бог душу жить послал, славить его имя велел, а вы нет...»

— Так и сказал? — насмешливо сплюнул дворник с большой бородой.

— А мне что? На тебе. У тебя, может, нет. Не надо тебе,— назад возьмет свою душу господь, а не пропадет же у бога она... И не пошел к другим... Что они? В церковь придут, на всю церковь кресты кладут, поклоны бьют, а черному поклоняются они.

— Ладно, ладно, будет,— дрова неси,— простынут.

— Понесу,— ответил Егор.

И Егор понес дрова в комнату Дима.

— Егор, ты говорил,— спросил его Дим,— что на сочельник ко мне придут братики и сестрички? А когда будет сочельник?

Угрюмо говорит Егор:

— Сегодня сочельник.

— Сегодня? Отчего же нет елки, и никто не приехал?

Егор машет рукой: никто не приедет, и елки не будет.

— Потому что умрешь ты, мой голубчик, умрешь...— говорит и плачет Егор.

— Егор, страшно умирать? — глухим голосом спрашивает Дим.

— Нет,— говорит Егор,— я знаю такую молитву, что ни один черный не тронет, и светлые ангелы возьмут душу и унесут ее в рай...

«В наш дворец,— думает Дим.— Только бы не был Егор пьян и не забыл читать молитву, когда я буду умирать».

— Не умирать страшно,— говорит опять Егор,— мертвым хорошо, а вот жить как? Люди собак злее.

— Отчего злее, Егор?

— Да как не злес? Собака маленького щенка никогда не тронет, а его, Дима, свои же кровные гонят и знать не хотят.

— Какие кровные, Егор?

— Какие? Тетки да дядьки...

Чьи-то шаги, и Егор испуганно говорит:

— Тише, идут!

Тише!

Сжал губки Дим, и напряженно строго смотрят его большие глаза. Что-то движется словно или несется над ним и заволакивает его, или сам он уходит, и издалека теперь уже доносятся к нему голоса. Вот дяди голос.

Дядя говорит Егору:

— Ты пьян?

— Я пьян,— отвечает Егор.

— Пошел вон,— говорит дядя, и лицо дяди наклоняется и смотрит на Дима: большое лицо, и каждый волос так ясно видно.

Зачем выгоняют Егора? Нет, нет, он не выдаст Егора. Он только скажет, и Дим уже говорит, и так страшно ему: разве это его голос? Это разбитый, чужой голос, который говорит:

— Папа, когда я умру, пусть придут посмотреть на меня мои братики и сестрички, а то не узнают меня они там во дворце...

Плотно опять сжались запекшиеся губки Дима, желтый лоб как будто больше стал, и смотрят неподвижно большие, черные глаза.

И кажется Диму, идет он по темной улице и крепко держит за руку Егора. И много еще детей идут, и говорит ему Егор: «Все это твои братья и сестры идут. А вон там, где свет, там и есть твой дворец». Какой прекрасный, светлый дворец из жемчуга! Как горит он весь в огнях, как ярко сверкают светлые залы его! Их поддерживает множество колонн, и по ту сторону колонн, сколько видят глаза, прозрачная, светлая даль садов и полей. Нежная музыка играет где-то, множество детей в светлых

платьях ждут и уже протягивают руки Диму. О, как хорошо ему, как он счастлив теперь...

А над его кроваткой стоят и плачут: думают, что Дим умер. Они ничего не знают о детском дворце, чудном детском дворце из жемчуга, куда уйдут все дети, над входом которого огнем любви горит:

«Отведите от себя ложь, и правда светлая, чистая, источник вашей силы, приведет вас сюда».

И ниже:

«Но не войдут и не прикоснутся к чистым душам детей дыхания лживых и злобствующих, лицемеров и суетных, палачей, буквой учения калечащие и убивающие души живые».

В СУТОЛОКЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

1886—1896

I

Мои записки о деревне, напечатанные под заглавием «Несколько лет в деревне», относятся к периоду до 1886 года.

После трех описанных мною пожаров, я потерял бóльшую часть своего оборотного капитала и, не желая вести дело на занятой, решил снова заняться своим инженерным делом, а имение поручить управляющему — некоему Петру Ивановичу Иванову.

Выбор Петра Ивановича был сделан мною не вполне самостоятельно: рекомендовал мне его Чеботаев, как человека стойкого и умеющего подобрать распущенные мною вожжи.

То, что все случившееся со мной произошло на этой именно почве,— в этом не сомневался никто.

— Мне кажется, что с вами случилось,— утешал меня тогда Чеботаев,— нечто в таком роде. Позвали вы человека и сказали ему: «Вот тебе рубль».— «За что?»— «Так, ни за что».— «Спасибо». И на другой день позвали и дали, и на третий, и на четвертый, и так далее, приучив себя давать, а их брать. И в один прекрасный день, когда вместо рубля вы дали им полтинник, они обиделись и стали жечь вас. Петр Иванович звезд с неба хватать не будет, но он человек деловой, практичный, стойкий и, главное, честный.

И вот Петр Иванович в один пасмурный декабрьский день приехал ко мне в Князевку.

Он долго пыхтел и шумел, раздеваясь в передней; из кабинета я слышал его властный голос, которым отдавал он прислуге разные приказания относительно своего багажа, необходимости просушить его чапан, валенки,— как именно просушить. Кончив по части распоряжений, он долго сморкался и, наконец, властно приказал:

— Доложи: управляющий Петр Иванович Иванов.

Не дожидая доклада, я сам пошел в переднюю и со словами: «очень рад познакомиться» — протянул новому управляющему руку.

Но не такой был человек Петр Иванович. Его чиновничью субординацию, очевидно, покоробила моя фамильярность, и, отступив, не торопясь жать мою руку, он сухо и строго, в упор, проговорил:

— Честь имею представиться: управляющий Петр Иванович Иванов.

— Очень рад... пожалуйста...

И я указал ему дорогу.

— Нет, уж позвольте,— еще строже ответил Петр Иванович и так твердо указал мне идти первому, что мне оставалось только исполнить.

Дойдя до кабинета, я предложил гостю сесть и уселся сам.

Но и тут Петр Иванович сел не сразу. Он поблагодарил меня за мое предложение сесть таким кивком головы, который как бы говорил: «еще посмотрю я, стоит ли мне садиться: может быть, ты в самом деле такой сумасшедший, что я, не теряя времени, уеду к Чеботаеву, у которого знаешь по крайней мере чего держаться».

Все это я чувствовал,— чувствовал, что в лице Петра Ивановича со стороны всего уклада нашей уездной жизни мне предлагается своего рода ультиматум, после которого в зависимости от того, будет ли он принят мною, или нет, я буду причислен ими к подающим надежды на исправление или безвозвратно погибшим.

Понимал это, очевидно, и хорошо понимал, и Петр Иванович.

Полный, с брюшком и лысиной, с задорной осанкой, гладко выбритыми щеками и большими усами Петр Иванович, не торопясь, с достоинством осматривал мой кабинет, картины, меня.

Он сел, наконец, и сразу приступил к делу.

Чеботаев рассказал ему все. Нужны твердость, выдержка. Он знает имение. Имение, по его мнению, может дать даже в первое время до десяти тысяч дохода в год. Через несколько лет он надеется поднять доходность до пятнадцати тысяч.

Я слушал и уже смотрел на толстого Петра Ивановича, как на неисчерпаемый запас пачек по пятнадцати тысяч каждая, которые он одна за другой каждый год будет мне вручать.

— Я берусь... но...— и Петр Иванович, остановился,— я ставлю... э... условие... Я говорю и буду действовать в ваших интересах, и в ваших интересах я должен все сказать. Всякое ваше приказание я обязан исполнить или уйти,— когда только вы это мне прикажете. Но пока вы считаете меня полезным, вы ограничиваетесь в своих распоряжениях мною... С остальными говорю я, и вся ваша забота — поддержать мой авторитет. Потому что мой авторитет — ваш авторитет.

Я не буду утомлять читателя дальнейшими нашими переговорами с Петром Ивановичем.

Скажу коротко, что к вечеру мы с ним договорились и начали согласно выработанной программе действовать.

Прежде всего решено было исправить ошибку суда, вынесшего оправдательный приговор моим поджигателям: решено было наказать своей властью виновных.

Я их знал всех. Пяти богатеям с их семействами, наиболее виновным, я предложил навсегда покинуть Князевку. На их естественный отказ исполнить такое мое требование я собрал через несколько дней после приезда Петра Ивановича сход.

— Если вы желаете, господа,— сказал я,— иметь со мной дело и вперед, я ставлю условие: эти пять семейств должны покинуть Князевку.

Мне отвечали, что общество здесь бессильно что-нибудь сделать.

Я в свою очередь сказал:

— Вашу силу я знаю: если вы захотите, то сможете. Как хотите, но вот мои условия: пока эти люди не уйдут добровольно, я вам не дам ни земли, ни выгона, ни леса, ни воды.

Я ждал ответа, но его не последовало.

Я смотрел тогда на все с своей точки зрения: я был оскорблен их молчанием, я сделал свой вывод из него,— им дороже их товарищи поджигатели со всем злом, которое несли они с собой, дороже меня, несшего им всю свою душу, все добро, которым располагал.

— Теперь зима, господа, и я вам не нужен, но ведь придет весна... И вам нечего будет пахать, вам некуда будет выгнать для пастьбы скот.

Родивон Керов, приземистый крепыш, молодой и остроумный, попробовал было пошутить:

— Кто там жив еще будет до весны.

Шутка не вышла, голос его тоскливо оборвался, потому что я слушал и смотрел на него не так, как когда-то.

Он смущенно махнул рукой, пробормотал: «Мне что»— и спрятался в толпу.

Послышался чей-то тяжелый вздох.

— Прощайте, господа,— я объявил вам свою волю, и как по лестнице не влезете на небо, так и волю мою не достанете. Петр Иванович, ваш новый управляющий, исполнит мое распоряжение. Убьете его — другой его заменит.

Я помолчал и, угрюмо отчеканивая слова, кончил:

— Выгон, который до сих пор я отдавал вам даром, как только придет весна, будет вспахан.

— Что ж мы будем делать без него? Где скотину будем пасти? — раздался жесткий вызывающий голос Ивана Евдокимова, одного из приговоренных мною.

Он, очевидно, совершенно не верил в возможность его выселения.

— Этот выгон,— настойчиво повторил я,— с первым весенним днем Петр Иванович начнет пахать и будет пахать до тех пор, пока ваши уполномоченные не привезут от меня приказания прекратить пашню. Уполномоченные же ваши получат приказание от меня, когда привезут известие, что Чичков, Евдокимов, Кисин, Анисимов

и Сергей оставили навсегда вашу деревню. Прощайте, я уезжаю в город, и до лета вы меня не увидите.

При гробовом молчании я сел в сани и уехал в усадьбу.

Короткий декабрьский день подходил к концу, на белом снеге ярче подчеркивались лиловые тона леса, из ущелий ползли тяжелые тучи, голый лес завывал, и бушевала сильнее вьюга, вырываясь там дальше на простор полей.

Такой заброшенной и сиротливой казалась вся эта Князевка, эти люди, стоявшие предо мной на морозе, гнувшиеся под леденящим дыханием зимы, моих слов...

Вечером Петр Иванович, расхаживая по кабинету, самодовольно потирал руки и говорил с тем достоинством, с каким говорят или хотят говорить с опекаемыми:

— Ну, теперь главное... твердость... авторитет... теперь... э...— он важно складывал колечком губы, пыжился и осматривал внимательно, пытливо меня,— теперь шутки плохие выйдут, если мы опять уступим.

— Не уступим.

— Вы, конечно, в город уедете, а я ведь здесь останусь — убьют.

— Я вам на три года передал уже свои права.

— Без этого, конечно, я и не взялся бы.

Заглянул Родивон Керов, уже сдружившийся с Петром Ивановичем.

— Ну что, Родивон? — весело, возбужденно спрашивал его Петр Иванович,— убьют нас с тобой?

— Но-о...

— Ну, не говори...

— Поплачем да и начнем помаленьку тискать тех-то, недружков твоих. Не пропадать же всем из-за них.

— Недружки они не мои, а ваши,— поправил я.

— Да ведь видишь,— глупы,— их же жалеем.

Утром рано на другой день я уже выезжал в город на всю зиму с неясной утешительной злорадной мыслью: вот, дескать, думали, что буду вам всю жизнь делать добро и нельзя меня довести до зла... так... вот... довели...

II

До приискания места я с семьей поселился в губернском городе той губернии, где было мое имение.

Губернское общество приняло нас с распростертыми объятиями.

Меня журили за панибратство с крестьянами, за попустительство, но журили ласково, любя, и радовались как тому, что Чеботаев мне дал такого управляющего, как Иванов, так и тому, что я опять принимаюсь за службу.

Измерзнувший, исхолодавший душой, сбитый с толку, я рад был ласке, теплу.

— Все, что ни делается — к лучшему, — утешали меня, — вы человек городской, человек инициативы, а Чеботаев другой человек, — человек деревни, устоев.

Чеботаев вдруг как-то выдвинулся всей моей историей, и о нем заговорили.

— Замечательный и именно тем, что ничего в нем нет там нового, неиспробованного, — это сам устой, сама скромность и чистота.

И Чеботаеву противоставляли Проскурина со всей его партией.

Проскурин, богатый помещик, лет тридцати пяти, из улан, был уездным предводителем и центром своей партии. И глава и партия, лихие кавалеристы в отставке, умели и кутить в своем кругу, умели и дружно стоять друг за друга на дворянских земских собраниях. Друг другу они говорили «ты», строго соблюдали между собой свой «лыцарский устав», но в отношении остального общества держали себя, как бог на душу положит.

Сами себя они считали и богатыми, и воспитанными, и, может быть, даже образованными. В действительности же были людьми, в сущности, уже разоренными, кроме Проскурина, — малограмотными, по существу грубыми и в значительной степени неразборчивыми в средствах при достижении цели.

Но в смысле партийной борьбы, умения сажать в чернильницу, они смело могли бы дать любым парламентским деятелям Европы и Америки семьдесят пять очков вперед.

Самый способ, с помощью которого Проскурин выдвинулся в предводители, уже заслуживал внимания.

В уезде с времен Екатерины II проживали мелкопоместные дворяне с майоратными участками в шестьдесят десятин.

Дворяне эти, за ничтожным исключением выбивавшихся «в люди», влачили жизнь худшую даже, чем крестьяне. Землю свою задаром сдавали в аренду, а сами нищенствовали.

И вот однажды, во время выборов, толпы этих нищих во фраках и нитяных перчатках наводнили залы дворянского дома и избрали Проскурина своим уездным предводителем. Из крупноземельных дворян уезда часть не явилась, а протестующие оказались в таком меньшинстве, что ни о каком протесте не могло быть и речи.

Положение Проскурина было обеспечено теперь и в земстве — как благодаря этим же мелкопоместным, так и тому, что друзья Проскурина, как и он сам, владели хотя и заложенными и перезаложенными, но крупными поместьями, а, следовательно, по новому уставу преобразованного земства, были без выбора членами земского собрания.

Таким образом Проскурин с своей партией являлся полным хозяином своего уезда. И действительно: членами управы были выбившиеся в люди из мелкопоместных, председателем был разорившийся старичок из своих, с которым Проскурин обходился фамильярно — то грубо, то пренебрежительно снисходительно.

Но на губернских собраниях роль Проскурина и его партии ослаблялась главным образом нашим с Чеботаевым уездом и соседним с нами.

В обоих этих уездах дворянства было еще много и такого сплоченного, что соседний, например, с нами уезд иначе и не называли как «спасовым согласием».

Душой этого соседнего уезда был живший в губернском городе член губернского земства Николай Иванович Бронищев.

Очень энергичный, дельный, умный, безукоризненно честный, Николай Иванович по натуре своей представлял из себя крупную силу.

Среднего роста, изящный, всегда элегантно одетый

всегда доброжелательный и ласковый, с прекрасными манерами, из старинной дворянской семьи Николай Иванович мог бы занять и более высокую роль в губернии. Но он добровольно отказался от всякой другой и стал зато центром, душой своего уезда.

И уезд его, являясь на собрания, представлял из себя, действительно, сплоченную сильную партию, с заранее выработанной программой по всем текущим вопросам.

Такой же, как Николай Иванович, силой становился в своем уезде Чеботаев. Но в то время, как уезд Николая Ивановича был уже дисциплинирован, уезд Чеботаева требовал еще большой работы. Во главе уезда все еще стояла старая партия с старым предводителем дворянства, за которым числилось две большие заслуги: он был предводителем в тот период, когда никто им не желал быть, в период, который называли «пребыванием дворянства в пустыне»; и вторая заслуга та, что старый предводитель все свое состояние прожил на предводительство. Но были и недостатки,— некоторая халатность, кумовство, и, наконец, это был человек уже старый, без энергии, а наступали новые времена, когда роль предводителя могла стать и более ответственной.

Эти новые времена уже чувствовались.

Дворянский банк уже открыл свои действия и своими широкими ссудами прямо-таки спас оставшееся еще дворянство по крайней мере на первое время от такого же поголовного разорения, какому подверглись шестьдесят — семьдесят процентов уже разорившихся дворян. Еще более существенным в смысле влияния на жизнь являлись преобразование земства и предполагавшийся институт земских начальников. Благодаря тому и другому в высшей степени увеличивалось как значение дворянства вообще, так и предводителей в особенности.

Понятно поэтому, с каким нетерпением ожидались выборы на очередном дворянском собрании, долженствовавшем быть как раз в эту зиму.

Особенно волновали общество сенсационные слухи о том, что Проскурин будет баллотироваться в губернские предводители.

И как ни дико это казалось с одной стороны, с другой — и невероятного ничего не было,— все зависело

от того, как разделятся голоса нашего уезда: восторжествует Чеботаев,— Проскурин в меньшинстве; останется прежний,— Проскурин проскочит.

Ввиду такого положения дела благожелательный элемент дворянства решил просить старого, очень авторитетного предводителя дворянства с незапятнанным именем остаться еще на трехлетие. Все, конечно, понимали, что предводитель очень уж стар и болезнен, числился бы он предводителем только на бумаге, но это все-таки был бы лучший исход, чем риск получить Проскурина.

Слабой же стороной такого проекта было то, что Проскурин как предводитель уезда, первого по счету, являлся бы в случае смерти заместителем старого предводителя.

Конечно, Проскурин, если бы был корректен, должен был бы немедля собрать экстренное собрание для новых выборов, но в корректность Проскурина плохо верили и думали, что он предпочтет второй выход, предоставленный ему законом,— остаться заместителем до следующего очередного собрания.

Уже за несколько дней до выборов все гостиницы были переполнены съезжавшимися на выборы дворянами.

Они прибывали с каждым поездом, и вереницы ползущих по улицам извозчичьих санок развозили их по городу.

Они ехали, и их позы, выражения, взгляды — все говорило, что мыслью они еще там, в своих деревнях, среди всех дел своих деревенских: сдачи работ, земель, продажи леса, организации разных подготовительных работ для весенних посевов.

Но в гостиницах начиналось уже другое. В темных коридорах бегали озабоченные лакеи, и то и дело растворялись двери номеров, обрисовывались фигуры без сюртука, в подтяжках и раздавался громкий оклик отца командира:

— Человек!

Закорузлые деревенские медведи мало-помалу выползали из своих деревенских шкур: умывались, стриглись, брились и преобразовывались кое-как в городских, правда, с довольно помятыми платьями интеллигентов.

Но в их номерах по-прежнему царил характерный

затхлый запах от всех этих дох, полушубков и душегреек, грязного белья, от недоеденной индейки в дорожной корзинке.

Принарядившись, приехавшие занимались обычными визитами: губернскому предводителю, губернатору, вице-губернатору, городским знакомым, друг другу.

Помимо визитов, были и дела — свои частные, большею частью денежные, по части займов. Были и общественные — по поводу предстоящего собрания.

Каждая партия своего уезда собиралась отдельно, каждая в своем месте.

Партия Проскурина собиралась днем в богатых,— украшенных портретами предков в высоких воротниках,— апартаментах Проскурина, а после театра в отдельных кабинетах недавно отстроенного ресторана с электричеством, с новинками и ценами петербургских ресторанов.

Чеботаев со своим уездом поселился в одной из самых скромных гостиниц.

Собирались они и у меня, и в своей гостинице, за скромной едой, и у Николая Ивановича.

Чеботаев, сперва упорно отказывавшийся от баллотировки, убедившись, что, вероятно, большинство за ним, начинал сдаваться, и мы радостно говорили:

— Пойдет! Куда он от нас денется! Силой потащим!

Чеботаев совершенно искренне говорил, что не хотел бы баллотироваться. Мало того, что не хотел, он чувствовал себя совершенно подавленным.

Он говорил мне:

— Я теперь живу тихо и мирно и совершенно спокоен в том отношении, что я — не достояние всех, что ко мне, в мою жизнь, в мою деятельность не ворвется никто непрошенный, не изобразит все по-своему и все переврет и даже не по злобе, а так, потому что что-то изобразилось там в его голове, ну и валяй... Да вы думаете, эти-то наши дворяне умеют ценить? Мой отец пять трехлетий просидел и что же? Человек сам отказался,— уговорили, а когда дал согласие, прокатили на вороных... Отца тут же в предводительском кресле удар хватил, тут и умер... Уложили его в гроб, тогда опять: «Вот истинный дворянин был! Хоронить его с такой помпой, какой еще не

было! Портрет повесить!» И хоронили и портрет повесили... Я не верю их искренности, дружбе: изоврались они, излукавились уж очень... Проскурин... И таких большинство... Некоторые из дворян просят меня баллотироваться в губернские предводители... Это уж прямо подвох...

И жена Чеботаева так смотрела и вообще усиленно отговаривала мужа от всяких баллотировок.

Минутами, среди всех этих сплетен, среди мрачных лиц заговорщиков проскуринской партии, затевавших что-то, действительно, как-то терялась почва под ногами и хотелось быть подальше от всего этого.

Чувствовалось как-то, что попадись только в руки этих молодцов, девиз которых был: «Кто не с нами, тот против нас, и кто против, с тем война, не разбирая средств».

Между прочим, была объявлена война и губернатору.

Вот по какому делу.

Один из уездных предводителей дворянства Новиков, приятель Проскурина, был предан суду по обвинению в разного рода некрасивых преступлениях по службе: тут были и побои и злоупотребления.

Дело доходило до сената, и сенат утвердил обвинительный приговор Новикова. Но партия Новикова была очень сильна в уезде, и как только кончилось судбище, Новикова опять выбрали в предводители.

Губернатор на том основании, что осужденный Новиков лишался по закону права выбора, избрание Новикова не утвердил.

Наша партия и партия Николая Ивановича по этому поводу были целиком на стороне губернатора, но партии Новикова и Проскурина метали громы, угрожали губернатору, вышучивая его и распуская о нем всякие сплетни.

Сплетни и шутки были грубые, плоские, и люди эти с цинизмом врывались в самую святая святых человеческих отношений.

Всегда в корсете, скрадывавшем его плотную фигуру, с английским пробором, с изнеженными женскими манерами, задорный, надменный и нервный Проскурин говорил презрительно:

— Я покажу и губернатору и его прихвостням их место: разделятся, голубчики, рыдая, но расстанутся, будут помнить.

Щеголеватые члены проскуринской партии готовились, очевидно, к чему-то и молча, с презрительным высокомерием покручивали свои холеные усы, стоя во время антрактов в театре у барьера первого ряда.

Так страстно ожидавшийся день выборов настал.

Дворянский дом представлял необычайное возбуждение.

Швейцары в полных формах, вешалки, заваленные шубами, настежь раскрытые двери налево, в помещение хозяина дома — губернского предводителя, и направо, в залы собрания и буфетные комнаты.

И везде, во всех комнатах стоял гул от говора большой толпы людей в самых разнообразных мундирах. Но большинство из них были дворянские: с красными воротниками, красными обшлагами на рукавах.

Шитье некоторых из этих мундиров имело странный заношенный вид, и владелец такого мундира выглядел и сам какой-то мумией прежних времен: это родовые мундиры от дедов и прадедов. Мундиры, на которых ни ордена, ни шитья.

— Я и деды мои,— говорил его хозяин,— с самого почина в этом мундире и, как видите, ни на выборах, ни по казенной службе не преуспевали. Всегда только рядовые своего сословия.

Но много было и заслуженных.

На боковых скамьях центральной избирательной залы заседали почтенные старцы в лентах и звездах, с грудью, украшенной всевозможными орденами.

Пред этими старцами как-то стихало бушующее море страстей. Проходя мимо, заговорщики обрывались, почтительно раскланивались и уходили в другие комнаты.

Проскурин со своими стоял у красного большого стола и презрительно щурился на всю эту разношерстую толпу.

Его мелкопоместные во фраках резко отличались от остальных и робкой толпой жались в углу у крайнего окна.

Некоторые из дворян уже сидели. Это из тех робких,

оброслых и мохнатых медведей, которые выползли из своих берлог и теперь не знали, куда девать свои руки и ноги.

— Да идите,— крикнет такому какой-нибудь член его партии.

— Нет,— махнет безнадежно рукой такой медведь,— я уж тут...

И эта толпа, и мундир с воротником, который, как клещ, жмет, и этот скользкий паркет: вот, бог даст, доберется опять до своих лесных трущоб и зашагает снова через пни и валежник: там не упадешь, там есть за что ухватиться. И если бы не нужда, если бы не предстоящие назначения в земские начальники, не поехал бы он и на выборы, ни с визитами к губернатору, к губернскому предводителю, мало думал бы и о том, кого там выберут в предводители. А теперь со всем этим приходилось считаться — и очень, и сидевшие на боковых скамьях старцы удовлетворенно говорили, что по оживлению собрание это напоминает им давно уже забытые времена.

— Господа, пора ехать за губернатором.

На мгновение все стихло, и опять по комнатам понесся гул голосов.

Николай Иванович, возбужденный, помолодевший, изящный и легкий, весело здоровается со мной и подмигивает на Чеботаева:

— Волнуется... привыкнет...

Чеботаев, бледный, вытянутый, молча, обводя помертвелыми глазами залы, ходит с своим плотным, угрюмым приятелем Нащокиным.

Нащокин с специальным образованием, прекрасный хозяин, с густой шевелюрой, с которой так и сыплется перхоть, белым налетом усыпавшая уже плечи его потемневшего мундира.

— Пойдем: сообщу вам интересную новость.

И Николай Иванович берет меня под руку, и мы подходим к Чеботаеву.

Он сообщает, что дела Проскурина неожиданно оказались очень неважными. Уверенный в своем уездном кресле, Проскурин весь сосредоточился на борьбе за губернское и выписал мелкопоместных в ограниченном количестве.

Николай Иванович снисходительно улыбается и поясняет:

— Расход меньше: каждый такой рублей сто стоит... А тут вдруг, ввиду новых времен, нахлынуло столько врагов, что, пожалуй, в уездные проскочит Корин.

— Ну, тоже находка,— фыркает Чеботаев.

— Да, положим, так: и бездарный и злобный какой-то...

— Бестактный,— говорит кто-то.

— И все-таки, как переход к очередным делам, лучше Проскурина...

И Николай Иванович, потирая руки, тихо смеется. Он тихо, ласково говорит:

— Я бы советовал оказать ему поддержку и приобрести таким образом союзника.

— Это конечно,— соглашаемся мы.

— Еще в одном уезде заминка: Васильев запутался так, что ему уже не до предводительства, и, в сущности, ни на ком там еще не остановились. Я бы советовал посадить к ним одного молодого, Бориса Петровича Старкова.

— Да ведь он умрет через год: у него чахотка,— сказал кто-то.

— Ну, не так скоро,— добродушно ответил Николай Иванович,— а человек он порядочный и, как на новом, на нем все помирятся.

Я знал Старкова.

Он только что кончил университет, но выпускного экзамена не держал, потому что заболел легкими, а так как чахотка была в роду у него, то мать настояла, чтобы он бросил экзамены и ехал в Крым.

Из Крыма он приехал на родину, не думая больше об университете.

— К чему? — говорил он.— Проскриплю три-четыре года и отправлюсь к праотцам. Гораздо интереснее успеть что-нибудь сделать интересное, полезное в это время.

Единственный сын богатой помещицы, мечтательный, хрупкий, с каким-то безнадежным взглядом он думал не о себе. Он хотел издавать газету.

— Столько интересных общественных вопросов... Ведь у нас застой, полное незнание самих себя, своих сил... Мировые вопросы там решаем, знаем, что делается

на конце света, а что делается у себя под носом, в своем уезде, не знаем, и знать не хотим, и не интересуемся.

В самый разгар выборной горячки Старков приезжал и допытывал меня:

— Как вы думаете, пойдет мое дело?

Я слушал его, отвечал и думал, что как не вовремя он всегда умудрится попасть в гости,— как раз тогда, когда или назначено собрание нашей партии, или что-нибудь другое в это время надо делать.

А Старков, больной, ненадежный физически, все гудел своим гортанным баритоном:

— Я так рад, что случай свел нас: вы сразу вызвали во мне всю мою симпатию...

Этого самого Старкова и предлагал теперь Николай Иванович.

Нащокин, все время молча слушавший, вдруг сказал решительно:

— Так что ж,— так и надо сделать.

— Вы думаете уговорить Старкова? — спросил Николай Иванович.

Нащокин подумал еще и еще решительнее сказал:

— Да, я думаю.

Согласились и все окружавшие нас.

— Ну, что ж, пойдем, значит, уговаривать его?— улыбнулся мне Николай Иванович и ласково потянул за собой.

Мы отправились с ним разыскивать Старкова, а наши, смеясь, кричали нам вдогонку:

— Соблазнители, совратители!

Высокого тонкого Старкова не трудно было заметить. Он стоял у окна и мечтательно смотрел на улицу.

На наши уговоры он сперва отвечал так, как будто он никак не мог оторваться от своих каких-то мечтаний. Он говорил, что не чувствует ни желания, ни способности, что плохо, наконец, верит в живучесть дворянства.

— Фактов нельзя отрицать,— ответил ему Николай Иванович, показывая на залы,— слишком много сделано и будет сделано для дворянства, чтобы сомневаться в том, что оно опять будет жить. Как жить? Для этого и надо, чтобы все порядочное сплотилось, а если один не захочет, другой, то и останутся Проскурины...

Николай Иванович вспомнил, что Проскурин родственник Старкова, и извинился, а Старков ответил:

— Сделайте одолжение,— я ведь сам его вижу, какой он,— что ж, что родственник? Обязанности у человека прежде всего общественные.

Зная слабость Старкова ворковать своим густым баритоном без конца, я перебил его:

— Ну, так вот в силу этих общественных обязанностей.

— Я ведь хотел было газету,— просительно обратился он ко мне.

Я смутился и отвечал:

— Да вот, видите, и меня увлекло течение: очень уж хочется, чтобы порядочные люди во главе стали,— газета у вас не завтра начинается, а там по времени можно ведь подобрать и заместителя себе и газетой заняться.

На хорах показались в это время дамы, и все головы повернулись туда.

И дамы, как и их кавалеры, рассаживались по группам, оживленно разговаривая, кивая сверху на поклоны своих знакомых.

— Не знаю уж и сам, господа, как,— сказал Старков.

— Ну, значит мы знаем,— рассмеялся Николай Иванович и отправился орудовать дело.

Как раз в это время крикнули:

— Губернатор приехал!

И многие бросились к входу.

С нашего места все было так хорошо видно, что мы со Старковым тут и остались.

Немного погодя показался в камергерском мундире губернатор, небольшой, худощавый, с изящными манерами, но уже с трясущейся слегка головой, старик, любезно пожимавший направо и налево руки кланявшимся ему дворянам...

Я видел, как с аффектированным уважением почтительно пожал губернатору руку Проскурин. За ним, как складной аршин, согнулся его приятель граф Семенов, пропадавший долго где-то за границей. Затем, с некоторой иронией, но в то же время и очень почтительно, расшаркался другой приятель Проскурина, Бегаров, бывший студент Дерптского университета, с неприятным,

с несколькими сабельными ударами, лицом. Бледные рубцы от этих ударов производили впечатление каторжных клейм. Бегарова не любили даже свои за язвительность, жестокость, за его какой-то недворянский шик. Но он был очень богат, охотно ссужал деньгами, хотя об этих деньгах и толковали, что отец Бегарова, новоиспеченный дворянин, нажил их при помощи ссуд. После Бегарова откланялся губернатору Свирский — высокий, красивый, молодой, с черными усами, с небольшими черными глазками, в мундире с иголочки. Свирский был тоже из партии Проскурина. Он только что вышел в отставку и был желанным гостем и в семейных домах, где барышни были на возрасте, и в холостых компаниях, где Свирский был не дурак выпить.

Среди партии Проскурина губернатор медленно подвигался вперед, когда вдруг все они, исполнив свой долг вежливости, отхлынули, и перед губернатором сразу образовалось в проходе между стеной, с одной стороны, и рядами стульев — с другой, большое пустое пространство.

И в этом пустом пространстве стоял один человек: Новиков.

Когда все мы поняли, в чем дело, было уже поздно. Губернатор не мог миновать Новикова — встреча была неизбежна, и все напряженно ждали, чем все это кончится.

Новиков, блондин, во фраке, с расчесанной надвое бородой, сильный и крепкий, в вызывающей позе стоял и ждал подходившего губернатора.

— О, черт его побери,— проговорил тихо кто-то сзади меня,— не хотел бы я быть на месте губернатора.

— Да,— ответил так же тихо другой,— положение, что называется, хуже губернаторского.

Сам губернатор не казался, впрочем, смущенным.

Такой же улыбающийся, с манерами привычного придворного, он подошел к Новикову и протянул ему руку с такой безразлично вежливой физиономией, как будто принимал в это время от кого-нибудь стакан чаю или прошение.

Прищурившись, он улыбался, держа протянутую руку, и голова его слегка тряслась, пока Новиков в ответ,

спрятав обе свои руки за спину, отвешивал губернатору, не торопясь, низкий поклон.

— Я вам протягиваю руку,— сказал ласково, спокойно губернатор, когда Новиков выпрямился после поклона.

И так царила тишина в зале, но теперь стало так тихо, точно все вдруг, уже лишенные способности говорить, дышать, думать, могли только смотреть и бессознательно переживать мгновение.

Самое коротенькое мгновение: Новиков как-то растерянно качнулся вбок и протянул свою руку со словами:

— Извините... не заметил...

Мои глаза случайно упали в это время на Проскурина,— он сделал жест, который как бы говорил: «сорвалось».

И все опять пошло своим чередом, все ожило, губернатор шел дальше, раскланивался, жал руки, пока не дошел до красного стола и председательского кресла.

С той же спокойной, изящной манерой он стоял у стола, читая указ об открытии собрания, поздравляя дворян и желая им успешной работы на этом собрании.

Затем губернатор отбыл, и возмущало всех то, что Проскурин же, провожая губернатора, энергичнее других порицал Новикова за то, что именно в дворянском доме он хотел было нанести такое оскорбление губернатору.

Губернатор на это вскользь бросил:

— Я надеюсь, что дворянский дом сумеет снять с себя это пятно.

— Само собой, само собой, ваше превосходительство,— говорил Проскурин.

И, как только губернатор скрылся в подъезде, Проскурин, опять энергичный и уверенный с своей партией, через маленький коридор исчез на минуту в буфет.

Возвратились они все в общую залу чрез разные двери. Сам Проскурин прошел через арку возле красного стола и, остановившись на виду у всех, стоял и слушал волновавшихся дворян.

— Во всяком случае,— заговорил Николай Иванович и в это время нарочно повернулся лицом к Проску-

рину,— это нечто столь недостойное, подобного чему не было еще в этом доме.

— Совершенно верно,— надменно ответил Проскурин,— если это оскорбление, но я бы желал выслушать, что скажет сам господин Новиков.

Новиков поднялся с своего места и спокойно сказал:

— Честь этого дома мне так же дорога, как и всякому другому дворянину. Я даю мое дворянское слово, что не имел в виду никакого дурного умысла. Я только был твердо уверен, что после того, что произошло между мной и губернатором, о пожатии рук не могло быть и речи. Уверенный в этом, я и ограничился самым почтительным поклоном, и как только он напомнил мне о своей руке, я в то же мгновение вспомнил и о моей и протянул ее.

Легкий смех пробежал по зале, а Новиков продолжал:

— Самый пустой инцидент, который почему-то хотят раздуть; чтобы покончить с ним и снять всякие, могущие пасть на этот дом обвинения, я предлагаю письменно объяснить губернатору все, как было в действительности... даже извиниться, ну... за свою оплошность, что ли.

Собрание облегченно вздохнуло, приняло предложение Новикова и считало инцидент исчерпанным.

Но через некоторое время какие-то лазутчики, все время, очевидно, доносившие губернатору о том, что происходит в собрании, в свою очередь донесли и собранию, что губернатор рвет и мечет и требует извинения от всего собрания.

Проскурин нетерпеливо, порывисто крикнул:

— Может быть, он захочет нас и в ливреи одеть и в таком виде процессией по улицам идти к нему и кланяться? Слишком маленький крючок придумал, чтобы зацепить на него и потащить все дворянство. Это — дворянство, и оно само знает, в чем его достоинство и как ему держать себя.

Раз Проскурин заговорил о дворянстве и его достоинстве,— это такая почва, на которой всякий подающий голос за честь этого достоинства подкупает всегда симпатию — и порыв Проскурина увлек собрание.

Кричали: «Что, в самом деле, мы не лакеи». Вспоминали разные эпизоды из прежних отношений с губерна-

тором: и тогда-то и тогда оскорбил дворянство губернатор, и тогда-то и тогда простили. Ну, если и неловкость сделал человек и к тому же извинился, то при чем тут собрание.

Даже Чеботаев и Николай Иванович соглашались, говоря о губернаторе:

— Старик немного увлекся,— он откажется.

И Николай Иванович, понижая голос, прибавлял:

— Ведь это сам же Проскурин и подал ему эту мысль обидеться — я сам слышал.

— Ах, интриган,— охали мы, с искренним презрением оглядывая надменную фигуру ничем не смущавшегося Проскурина.

Начались выборы.

Проскурин от губернского отказался, и мы торжествовали.

Старый губернский предводитель прошел значительным большинством, но в баллотировочных ящиках оказался кем-то положенный медный пятак.

Никто так и не понял, зачем это было сделано. В доисторические времена, когда исправников выбирало дворянство, то таким, которые уже слишком явно брали взятки, иногда на выборах вместо шаров клали медные деньги.

В данном случае ни о чем подобном не могло быть и речи,— старик предводитель имел такое незапятнанное имя, что когда вынули пятак, то решено было скрыть даже этот факт, чтобы не огорчить старика. Таким образом, если цель этого пятака заключалась в том, чтобы обидеть и заставить отказаться, то она не удалась. Опасность была в другом: при выборе кандидата могли переложить ему избирательных шаров, а то могли и сорвать все собрание, если бы кто-нибудь из дворян вдруг уехал.

Но, наученные опытом, дворяне караулили у входов и, зная, что проскуринская партия будет класть кандидату направо, партия старого предводителя клала налево. И чуть было не пересолили: кандидат прошел только с пятью голосами большинства.

Уездные выборы прошли еще глаже. Наш старый сам отказался, мы из вежливости стали просить его, он опять отказался, тогда мы поблагодарили его, попросили при-

нять от нас обед и выбрали Чеботаева почти единогласно. Прошел и Старков в своем уезде, в уезде же Николая Ивановича само собой все прошло так же гладко.

Даже в уезде Проскурина все сложилось почти так, как мы того желали.

Дело в том, что Проскурин, упавши духом,— как мы думали,— после выборов губернского, а также ввиду малочисленности мелкопоместных, заявил, что не желает больше служить.

Он и вся его партия как-то сразу бросили весь свой задорный тон, и Проскурин добродушным, усталым голосом говорил:

— Если что-нибудь мне интересно, то права: если я буду выбран и на это трехлетие, получу действительного статского. Но для этого надо только, чтобы выборы утвердили, а затем я в тот же день и в отставку подал бы.

Он обратился к своему противнику и сказал:

— Хотите, так поступим: выберите меня предводителем, вас кандидатом, через два дня меня утвердят, я подам в отставку, вы останетесь.

Предложение было принято, и Проскурин, чего еще никогда не бывало раньше, прошел на этот раз единогласно.

— А если он вас надует? — спросили одного молодого дипломата в камер-юнкерском мундире, противника Проскурина.

Дипломат развел руками и ответил:

— Тем хуже для него.

Так и вышло: Проскурин надул.

В последний день собрания кандидат его Корин, из бывших чиновников, мизерный и тщедушный физически, в сообществе нескольких «свидетелей» остановил Проскурина в коридоре и напомнил ему его обещание.

Проскурин, проходя, бросил ему пренебрежительно:

— Я передумал.

— На каком основании? — пискнул было ему вдогонку кандидат.

Проскурин остановился, смерил кандидата уничтожающим взглядом и раздельно сказал:

— Да хотя бы потому, что убедился, что вы не годитесь быть нашим предводителем.

Проскурин ушел, и его партия так хохотала в столовой, что дрожали стекла, а растерянный кандидат говорил своим друзьям:

— Я за то только благодарю бога, что он не наделил меня физической силой, иначе я не удержался бы и дал бы ему пощечину.

На закрытие собрания губернатор не приехал и даже не отдал визита губернскому предводителю, заявивши ему, что до удовлетворения он не может быть в дворянском доме.

— В таком случае и я, ваше превосходительство, лишаюсь чести бывать у вас,— ответил ему старик.

И опять Проскурин торжествовал.

И про него говорили:

— Нахал, интриган, но талантлив!

III

Сейчас же после выборов и обеда в честь старого предводителя дворянство разъехалось, и городская жизнь вошла в свою колею.

Это сразу почувствовалось на ближайшем же губернаторском журфиксе [1].

В комнатах губернаторской квартиры царила обычная какая-то зловещая тишина. В полусвете абажуров гостиных, кабинета тонули мебель, ковры, картины. Проходили беззвучно все те же знакомые фигуры; торопливо, но бесшумно проносили лакеи подносы с печеньями, чаем, фруктами; из игральной методично и сонно неслось: «пики», «пас», «трефы», а в большой гостиной на первый взгляд казалось, что и хозяйка и все ее гости спали.

И если не заснули, то только потому, что появилась Дарья Ивановна Просова, жена одного видного деятеля.

Сам Просов пользовался большим уважением, и из-за него и супруге его прощали ее невоспитанность и эксцентричность.

---

[1] определенный день в неделю для приема гостей (от *франц.* jour fixe).

Говорили:

— Человек таких способностей, такого образования, и вся карьера разбита этой ужасной женитьбой.

Все несчастье Дарьи Ивановны заключалось в том, что она хотела во что бы то ни стало казаться дамой большого света. Она не знала, например, французского языка, но постоянно вставляла в свою речь французские словечки, перевирая их смысл и произношение. Отсутствие манер, знание этикета она возмещала развязностью.

Дарья Ивановна вошла быстро, энергично и так твердо, что, несмотря на мягкие ковры, слышался топот ее шагов, а шелковая юбка ее так шуршала, как будто их было десять на ней. Она сразу огорошила:

— Какой фурор,— я, кажется, последняя приехала.

Она хотела сказать: horreur [1].

Хозяйка мучительно вскинула куда-то к потолку глаза, все гости сделали такие движения, как будто каждый собрался лезть под тот стул, на котором сидел, а довольная собой Дарья Ивановна громко и звучно, заглядывая постоянно в стенное зеркало, затрещала о своей последней поездке с мужем.

Нервная и болезненная губернаторша, не выносившая никакого крика и шума, совсем съежилась в своем кресле и, казалось, вот-вот отдаст богу душу.

Губернатор скучал за всех и только занимался тем, что каждого нового гостя спешил сплавить то в гостиную жены, то в игральную, то в маленькие гостиные, где в уголках группами приютились менее сановные и более молодые гости.

В кабинете губернатора остались трое: губернатор, Денисов, Сергей Павлович, и я.

Денисов, лет под тридцать, молодой человек с хорошим состоянием, жил вне всяких наших дворянских партий и слыл за оригинала и буку.

Его черные большие глаза смотрели всегда угрюмо, исподлобья; он занимался археологией и в каком-то отдаленном будущем мечтал о радикальном переустройстве жизни на почве равенства и братства.

---

[1] ужас (*франц.*).

Но к действительной жизни Денисов относился не ровно, то принимая ее, как она есть, обнаруживая терпимость, доходившую даже до попустительства, то становился вдруг требовательным и строгим.

В общем очень добрый, очень порядочный, Денисов был неуравновешенный, неудовлетворенный собою человек. Он постоянно рылся в себе, сомневался, мучил себя, но как-то все это сводилось к мелочам.

Губернатор любил Денисова, называл его «человек будущего», «enfant terrible» [1] и позволял ему многое.

Сегодня Денисов был угрюмее обыкновенного, сидел и озабоченно грыз свою бородку, подстриженную à la Henri IV, а губернатор, полулежа на кресле, с закинутыми за голову руками, дразнил его:

— Ну-с, человек будущего, что же еще вас огорчает?

Денисов сдвинул брови.

— То, что я здесь сижу...

— Как вам нравится? — посмотрел на меня губернатор.

— ...и ничего не делаю, — кончил Денисов, не обращая внимания на вставку губернатора.

Донесся голос Дарьи Ивановны.

— Ах! — тоскливо вздохнул или зевнул губернатор,— что о ней вы скажете?

Денисов стал еще угрюмее и сказал:

— Дарья Ивановна очень добрый человек, это знают те бедные, которым она помогает, и те больные, за которыми она ходит.

— Я предпочитаю не пользоваться ее добротой и быть ни бедным, ни больным,— бросил губернатор.

Наступило молчание.

— Ну, а насчет выборов,— начал опять губернатор и, обращаясь ко мне, показывая лениво на Денисова, сказал: — Я хочу его непременно сегодня рассердить. Что вы скажете, например, о предводительстве Старкова?

— Ничего не скажу,— ответил Денисов.

Губернатор пожал плечами и заговорил:

— Их три покойника: отец Старкова, брат его и брат его жены,— славились своей феноменальной глупостью...

---

[1] сорванец *(франц.)*.

Уже там было вырождение и... жажда общественной деятельности. Таких тогда еще не выбирали в предводители, и они устроили бюро справок. Отец вот этого Проскурина,— десять таких, как теперешний,— зашел как-то к ним в бюро: все трое стояли за прилавком. «Сколько стоит справка?» — «Двадцать копеек».— «Вот вам двадцать копеек, и я навожу справку: кто из вас троих глупее?» Это, заметьте, был единственный двугривенный, который они заработали.

Денисов мрачно сказал:

— Я не знал отца Старкова, но молодой Старков порядочный и не глупый человек.

— А я не знаю,— заметил губернатор,— молодого Старкова, не сомневаюсь, конечно, в его порядочности, но очень рад и за себя и за него, что он бросил мысль о газете.

— Почему за себя?

— Потому что избавлен от неприятности отказать ему в разрешении...

— Это почему? — совсем окрысился Денисов.— На том основании, что вы имеете право запретить? Небольшое основание...

— Вы вот в вашем там будущем и разрешайте.

Денисов раздраженно встал:

— Не сомневаюсь, что и в настоящем вы так же поступили бы, потому что считаю вас порядочным человеком...

— Как вам нравится? — обратился ко мне губернатор.

— ...а теперь прошу вашего позволения уйти к Марье Павловне.

Губернатор махнул рукой.

— Идите: вы несносны сегодня.

Денисов ушел, а губернатор, проводя рукой по лицу, сказал мне:

— Как я завидую вам.

— В чем?

— Вы уедете отсюда.

И он протянул мне руку ладонью вверх.

В это время вошел изящный гвардейский офицер, и губернатор, лениво поднявшись, сказал:

— Bonsoir [1].

И, взяв под руку гостя, лениво прошел с ним до дверей гостиной:

— Mariel Prince Anatole [2].

Гость прошел к хозяйке, а губернатор возвратился навстречу новому гостю — председателю суда — Владимиру Ивановичу Павлову.

Павлов был высокий, крепкий старик, с чертами лица, точно выбитыми из стали. Его большие красивые глаза смотрели в упор: серьезно и твердо. Павлов пользовался громадным уважением в обществе, и даже губернатор, любивший с кондачка относиться ко всем, Павлова уважал.

Этого нельзя было сплавить, и старики чинно уселись друг перед другом, а я ушел в другие комнаты.

В одной из маленьких гостиных сидела окруженная поклонниками Софья Николаевна Семенютина, хорошенькая вдова, очень интересовавшаяся выборами и все время выборов проведшая на хорах дворянского дома.

Увидев меня, она рассмеялась и сказала:

— Несчастный, он совсем спит.

Я протер глаза и сказал:

— Да.

— Садитесь лучше к нам,— будем скучать вместе.

Она показала на окружавших ее кавалеров и сказала:

— Мы бы, конечно, не скучали, если бы ну хоть по душе поговорили об Дарье Ивановне,— да вот... не-позволяет...

Она показала глазами на Денисова.

А Денисов сидел, опершись на колени, и, не поднимая головы, ответил:

— Я думаю, что если бы Дарья Ивановна вдруг исчезла, нам окончательно не о чем бы было говорить.

— О, да, да,— рассмеялась Софья Николаевна, подняв вверх свои красивые руки,— и не надо даже делать таких страшных предположений. Ну-с, на этот раз, так и быть, оставим Дарью Ивановну и поговорим о выборах. Нет, каков Проскурин?

---

[1] Добрый вечер (*франц.*).

[2] Мари! Князь Анатоль (*франц.*).

— Талантливый человек,— ответил молодой, с глупой физиономией господин, одетый с иголочки.

Его фамилия была Алферов. Отец его, богатый помещик, незадолго до этого скоропостижно умер, и Алферов бросил военную службу, выйдя штык-юнкером в отставку. Он при жизни был в ссоре с отцом и нищенствовал в полку. Думали, что он начнет кутить. Но он оказался очень практичным и экономным. Говорили даже, что он занимается ростовщичеством. В купеческих кружках, несмотря на его молодость, относились к нему с большим уважением.

В ответ ему Софья Николаевна сказала:

— Стыдно, стыдно. После этого всякий нахал, всякий не стесняющийся своей непорядочности — талантлив.

Совершенно неожиданно Денисов поддержал Алферова и стал защищать Проскурина.

— Вы, вы?!— накинулась на него Софья Николаевна.

— Да, я,— упрямо ответил Денисов.

Поднялся горячий спор.

Вошла моя жена и шепнула мне:

— Не пора ли нам?

Софья Николаевна остановилась на полуслове и спросила:

— А разве уже можно? В таком случае и я...

— И я, и я...— подхватили несколько голосов.

— Господа, это выйдет демонстрация,— запротестовала Софья Николаевна,— я сказала первая и извольте соблюдать приличие. Что?

И она обвела всех своими немного близорукими смеющимися глазами и рассмеялась.

— О, боже мой, как все это глупо, приеду домой и сейчас же приму душевную ванну,— говорила она, прощаясь со всеми.

— Шекспира? — спросил я ее, зная ее любовь к Шекспиру.

— Его,— кивнула она, проходя в большую гостиную.

А я, стоя в дверях, наблюдал, как вдруг преобразилась вся она, серьезная не по летам; с достоинством и проникнутая в то же время как бы невольным уважением, она подошла к губернаторше и сделала ей непринужденный красивый, немного девичий реверанс.

Губернаторша облегченно спросила ее:

— Уже? — И, как бы боясь, что гостья передумает, дружески кивнула ей головой: — Не забывайте.

И потянулись дни за днями с журфиксами, визитами, собраниями и концертами, скучные и утомительные дни провинциального high life'а [1].

IV

Один фотограф, у которого я снимался, живой и интересный хохол, встретив как-то, спросил меня:

— Вы сегодня вечером что делаете?

— В театре.

— Не заедете ли после театра ко мне? Соберется кой-кто, петь будем, плясать, играть, будут и умники. В самом деле, что вам, приезжайте.

Мне, скучавшему, как только может человек скучать, улыбнулось это предложение, и я после театра поехал.

Я приехал в разгаре вечера.

В накуренном воздухе маленьких комнат, с дешевой мебелью и фотографиями по стенам, тускло горели лампы и стоял гул от оживленного говора.

Я остановился у дверей, и первое, что резко бросилось в глаза: простые будничные костюмы и оживленные, праздничные лица гостей. Говорили, громко смеялись. Я прислушивался к этому смеху с удовольствием, потому что давно уже не слыхал такого веселого, беззаботного смеха.

Мое появление ничего не нарушило. Только какой-то седоватый веселый господин, собиравшийся что-то сказать, остановился на мгновение с поднятой рукой и с дружелюбным любопытством осмотрел меня, да хозяин крикнул, увидев:

— Ну, вот и отлично, как раз вовремя: сейчас пение начнется, а пока я вас успею еще познакомить.

И он повел меня по комнатам:

Седоватый господин, немного сутуловатый, с добрыми женскими глазами, добродушно сказал мне:

---

[1] высшего света (*англ.*).

— Я уже слышал о вас: очень рад познакомиться.

И мне вдруг показалось, что я давным-давно уже знаком с ним.

— Это кто? — спросил я, отойдя, у хозяина.

— Судебный следователь из евреев, Яков Львович Абрамсон,— шепнул мне хозяин,— мог бы давно быть и председателем, если бы выкрестился, но не хочет: очень хороший человек, его все очень любят.

По очереди, проходя через маленькую комнату, я пожал руку господину средних лет, с умным, спокойным и твердым взглядом, около которого сидело несколько молодых людей, и один из них,— с бледной, некрасивой и изможденной физиономией, но с прекрасными глазами, которые тем рельефнее выдвигались и красотой своей освещали все лицо,— что-то горячо говорил.

Молодой человек был одет более чем небрежно даже для этого общества: прорванный пиджак и ситцевая рубаха были далеко не первой свежести.

— Василий Иванович Некрасов,— шепнул мне хозяин, указывая на господина средних лет,— присяжный поверенный, умница, был несколько лет тому назад председателем земской управы,— слетел в двадцать четыре часа.

— За что?

— Да, собственно, повод — ерунда, там, в пиджаке приехал к губернатору,— отношения раньше были натянуты.

— А этот молодой человек в грязной рубахе, который напоминает мне время нигилистов?

— Это от бедности... Это самоучка из босяков, он пишет в газете: хрошенькие такие рассказы... Ему предсказывают большую будущность.

Проходя дальше, я увидел председателя суда, Владимира Ивановича Павлова, и удивился неожиданной встрече.

Большой, мрачный, он сидел такой же угрюмый, как и на губернаторских журфиксах, внимательно слушая какого-то средних лет господина, в синих очках, с светлой бородкой клином.

— Это кто с Павловым сидит?

— Редактор нашей газеты.

— Какое разнообразное, однако, у вас общество.

— Да, спасибо, не брезгуют моей хатой,— сказал хозяин.

Началось пение.

Молодой офицер мягким приятным басом запел «Капрала».

Я стоял у дверей и слушал.

Офицер пел выразительно, красиво и с чувством.

И вся его фигура, статная, с открытым, доверчивым лицом, голубыми глазами, очень подходила к песне.

После офицера пела барышня, нарядная, изящная. Она училась в консерватории и приехала теперь домой.

У нее было колоратурное сопрано, и голосок ее звенел нежно. Когда она делала свои трели, казалось, комната наполнялась мягким звоном серебряных колокольчиков.

Ее заставили несколько раз спеть.

— Кто она? — спросил я подошедшего хозяина.

— Норова, дочь одного бедного еврея, лавочку имеет.

— У нее прекрасный голосок,— сказал я,— но вряд ли годится для большой сцены.

— На маленькой будет петь.

Еще одна барышня пела, и у этой был свежий, выразительный голос.

После пения играли на скрипке,— соло, дуэт с роялью, рояль соло.

И игра была прекрасная.

Я, житель юга, привык к музыке, пению и в своем обществе скучал за этим.

После музыки хозяин позвал закусить чем бог послал. Бог послал немного: две селедки, блюдо жареной говядины, груду хлеба, две бутылки водки и батарею бутылок пива.

— А после ужина, когда прочистятся голоса,— говорил хозяин,— мы хором хватим.

После ужина хватили хором и пели долго и много.

Когда я проходил мимо группы молодых людей, сидевших за столиком и пивших пиво, меня окликнули по имени и отчеству.

— Не узнаете? — спросил окликнувший тихим сиплым голосом, ласково улыбаясь.

Я напряг свою память: где я видел эту застенчивую, сутуловатую фигурку, смотрел в эти черные глаза, слышал этот тихий сиплый голос?

— Вы статистик, Петр Николаевич? Извините, фамилию забыл.

— Антонов, он самый, присаживайтесь, позвольте познакомить: сотрудники местной газеты.

Петр Николаевич года два назад по делам статистики заезжал ко мне в имение.

Принял я было его тогда очень плохо.

Он вошел прямо в кабинет, а я, думая, что это какой-нибудь писарь с окладными листами, сухо спросил его:

— Отчего вы в контору не прошли?

— Извините,— весело ответил Петр Николаевич и уже пошел, когда я догадался спросить его, кто он.

Петр Николаевич прожил у нас тогда несколько дней, и в конце концов мы расстались с ним в самых лучших отношениях.

Я очень обрадовался ему. Его товарищи скоро ушли, и я, так как деревня каким-то непереваренным колом постоянно торчала во мне, на вопрос, как идут мои дела в деревне, рассказал Антонову о всех своих злоключениях.

Антонов, согнувшись, внимательно слушал меня и, когда я закончил, задумчиво сказал:

— Какой богатый материал... Если бы вы могли написать так, как рассказали... Отчего бы, в самом деле, вам все это не описать?

— Для чего?

— Напечатать.

— Собственно, кому это интересно?

— Интересна здесь деревня, ваши отношения... Насколько я понял, вы ведь вперед, так сказать, предугадали реформу и были... добровольным и первым земским начальником... Нет, безусловно интересно и своевременно...

— Если печатать, то где же?

— В «Русской мысли», в «Вестнике Европы».

— Шутка сказать!

— Вы напишите и дайте мне.

— А вы какое отношение имеете к этому?

— Я тоже пишу.

— Что?

— Очерки, рассказы.

— Вы где пишете?

— Прежде писал в «Отечественных записках», теперь в «Русской мысли».

— Вы и тогда, когда у меня были, тоже писали?

— Да.

— Отчего же вы ничего не сказали тогда?

— Не пришлось как-то.

— Вы что написали?

— «Максим-самоучка», «Дневник учителя», несколько рассказов.— Он назвал свой псевдоним. — Читали?

— Нет,— отвечал я смущенно,— не успел... Непременно прочту...

Вечер подходил к концу. Где-то в крайней комнате все еще пели хором, но нежные мелодичные звуки как будто все ленивее пробивались сквозь накуренный полумрак комнат. Догорали свечи, и огонь их казался теперь красным. Уже потухло несколько ламп.

— Ну, что ж, пора и домой,— поднялся Антонов,— надо бы нам где-нибудь увидеться еще.

— Очень рад,— сказал я,— если позволите, я приеду к вам.

К нам подошел в это время Абрамсон и, добродушно смеясь, сказал мне:

— Собственно, и я очень рад бы был, если бы наше знакомство не ограничилось этим и вы посетили бы мой салон, весь город бывает.

Абрамсон засмеялся, а я записал и его адрес.

На другой день я был и у Антонова и у Абрамсона.

Антонова я дома не застал, а у Абрамсона очень долго звонил, пока дверь вдруг не отворил сам хозяин и весело закричал:

— А-а! Пожалуйте, пожалуйте, очень рад, колокольчик не звонит, да и дверь никогда у нас не затворяется.

Он ввел меня в свой маленький кабинет и показал рукой на белую, известкой выкрашенную стену, на которой на листе крупно было написано: «О старости и тому подобных неприятных вещах просят не говорить в этом доме».

Он дождался, пока я прочел, и весело расхохотался.

— Понимаете, необходимо это,— он показал на свою седину,— а то ведь есть такие нахалы, что, если не предупредить, как раз и ляпнут перед кем не надо.

Я вспомнил, что на вечере Яков Львович все время вертелся около дам.

— Вы женаты?

— Все никак не могу выбрать... Не хотите ли чаю, пойдем в столовую.

Столовая — маленькая комната, с крошечным столиком и другой надписью на стене. Крупно было написано: «конфеты, закуски, вина» и мелко «в магазине Иванова».

Когда мы перешли в третью и последнюю комнатку,— кушетка для спанья стояла в кабинете,— Яков Львович сказал:

— Ну, что ж, хорош салон? И действительно, ведь весь город бывает, за исключением вашего кружка... Ах, потеха. В последний раз была у меня Марья Николаевна Петипа,— видали вы ее на сцене?

— Ну, конечно.

— Я ей: салон, салон, ну, она и вообразила себе в самом деле: приехала в бальном платье, в туфлях, декольте, накидка с лебяжьим пухом. Как раз приехала к закуске. Посадил ее вот на это кресло, спрашиваю: «Закусить не прикажете?»— «Что-нибудь, говорит, соленького». Бегу в столовую, только хвост от селедки и остался,— несу торжественно с такой физиономией, как будто омар или по крайней мере свежая икра.

Яков Львович рассмеялся и сказал:

— На полторы тысячи жалованья что больше можно сделать?

— Отчего вы не сделались присяжным поверенным?

Яков Львович махнул рукой:

— Мне и так хорошо: счастие не в деньгах, счастие в спокойной совести; есть деньги — помог, нет — совет хороший...

В это время наружная дверь отворилась, и из передней выглянул в кучерской поддевке крестьянин.

— А, заходи, —сказал Яков Львович.— Ну, что?

— Ходил.

— Ну?

— Поступил...

— Ну и отлично...

— Благодарим покорно,— сказал крестьянин и вышел.

— Вот удалось определить в кучера... у меня здесь настоящее справочное бюро: приедет концерт давать — ко мне, в кучера — ко мне, умер — бедная семья евреев ко мне. У меня самого ничего нет: есть друзья.

В это время дверь отворилась, вошел новый посетитель.

— А-а,— крикнул хозяин, увидев гостя,— позвольте вас познакомить: учитель реального училища Павел Александрович Орхов, собственно инженер-технолог, но из любви к искусству.

— Да знакомы, знакомы уже: у фотографа же на вечере.

Это говорил маленький, живой, с большой кудластой головой, похожий на головастика человечек, постоянно обдергивавшийся.

— Да, да, знакомы,— сказал я, пожимая руку Павла Александровича.

— Зашел к вам,— сказал Павел Александрович, садясь,— вот по какому делу. Собираюсь я лекцию по геологии прочесть, да не знаю, как сделать у губернатора.

Абрамсон обратился ко мне и сказал:

— Как видите, это имеет самое прямое отношение к моей специальности судебного следователя.

— Вы ведь хороши с Ермолиным,— через него, говорят. Вот и дайте к нему записку, там, что ли,— сказал Орхов.

— Я сам к нему с вами поеду.

— Ну и отлично.

И, обратившись ко мне, Орхов спросил:

— Ну, как вам понравилось у фотографа?

— Очень понравилось, я и до сих пор не могу прийти в себя от удивления. Я, собственно, точно провалился вдруг в другой мир, о котором никакого представления не имел.

— Вот, вот,— замигал своими большими глазами Орхов и стал нервно ловить свои обстриженные усы,— именно провалился. В столице вы видели, конечно, этих

других людей, но не предполагали, что они и здесь имеются уже. Конечно, в городе, где сорок — пятьдесят тысяч жителей, народа довольно, но вам как-то представляется весь этот народ не своего круга чем-то очень малозначащим и неинтересным: ну, какие-то там работники, из-за куска хлеба бьющиеся изо дня в день, все поглощенные серой, скучной прозой жизни и, конечно, без всяких горизонтов. А что и есть, то это заимствовано от вас же, людей вашего круга, как заимствуют они у вас и все остальное: моды, манеры, светский этикет. И как все подражательное — все это ниже оригинала. Для этого достаточно видеть их издали: на улице, в собраниях, в театре. Словом, была какая-то непродуманная, но твердая уверенность, что вы и ваш круг — начало и конец всему, источник жизни и единственный проводник культуры. И вдруг: провалился в преисподнюю... в другой мир. Вы когда кончили курс?

— Восемь лет назад.

— В один год со мной: почти напротив жили... Восемь лет всего, и уже не можете прийти в себя от удивления, что увидели всех нас. Хоть назад поступай... Все высшее образование, может быть, не задело даже за то, сидящее и в вас и в каждом, что вы увидели у фотографа. Как раз там, где не требуется никаких дипломов, родословных, набитых карманов. Там и Савелов, которого читает вся образованная Россия, и босяк, который, может быть, удивит всех своим талантом, и все эти неизвестные люди труда, совокупным трудом которых является номер, печатный лист газеты, журнала,— в них истины этики, политики, социальные и экономические истины, проверенные не пальцем, приставленным ко лбу, а мировой наукой... Провалился: корни не в почве, а в корке вдруг оказались... Оказалось вдруг, что наш громадный мир только болото на корочке, что есть другой мир, где и настоящая почва, где и жизнь, и знанье, и искусство, где люди трудятся, мыслят, думают, осмысливают... Да, да... Новые люди из Зеландии приехали, при виде которых в себя прийти не могут. Так вот как. Ну, мне пора...

И Орхов вскочил, торопливо сунул мне и хозяину руку и ушел.

Яков Львович возвратился назад смущенный и, разводя руками, сказал:

— Вот еще чудак... Требует от всех людей какого-то геройства, аскетизма... Точно жизнь вот так и идет по прописи...

Я сидел сконфуженный, смущенный.

— Нет, в самом деле, вам понравился вечер?— говорил тоже смущенный хозяин.— Надо будет и у меня как-нибудь собраться...

— Ну, и мне пора...

Я встал, откланялся и уехал неспокойный и огорченный.

V

Каждый раз, как приезжал в город управляющий, я нетерпеливо спрашивал:

— Ну что? Как поджигатели? Выселяются?

— Да ничего... Пока и не думают они ни о чем, надеются, что до весны не хватит вас. Чичков говорит: «Где это видано, какой закон потерпит, чтобы без суда выселять нас? Не смеет!»

Управляющий махнул рукой.

— Да что говорить? Сплетнями занимаются. Прямо смеются... Еще, говорят, столько же денег привезет. Сам будет и прощения просить. Набаловались.

— За что же прощения просить?

— Дело подорвано... Нужна власть, авторитет!

— Но произвола я не хочу.

— Никакого произвола: именно все на основании закона. Срубил дерево — к мировому: десятерной штраф, а не можешь — в тюрьму... Ни одного слова ругательного... Исаев, голубчик, раз уже есть, Ганюшев — два...

— Попались?

— У меня попадутся!

— Вы все-таки будьте снисходительны...

— Да ведь уж... Я не желаю быть убитым... потому что, если теперь еще малейшую поблажку, то я назад уж не поеду. Три года вы дали мне сроку...

— Но всегда на законном основании?

— Закон мне не враг.

И Петр Иванович при этом смеялся так, что мне тошно было думать и о нем, и о деревне, и о судьбе брошенных мною князевцев.

Пришла весна.

Однажды утром меня разбудили:

— Князевские крестьяне приехали.

Я быстро оделся и вышел к ним.

Двое: Родивон Керов и Пиманов (один из прощенных участников) при моем появлении упали на колени и равнодушно крикнули:

— Не губи!

Я сухо остановил:

— Господа, вставайте — это не поможет...

Тогда они встали. Родивон, не спеша, полез в карман и подал мне сложенный лист бумаги.

Это была торжествующая, не совсем грамотная записка от управляющего.

Вот она:

«Вчера, 19-го апреля сего года, 15 бычьих наших плугов после молебствия с водосвятием приступили к пашне князевского выгона. Вся деревня собралась у моста, смотрела и не верила, когда плуг за плугом выезжал из усадьбы. Когда все плуги выстроились, выехал и я с батюшкой и с 15 верховыми, из которых четыре полесовщика были с ружьями, но никакого бунта не было. День был совершенно летний — от земли даже пар шел. Крестьяне всё стояли у моста, сперва в шапках, но затем, когда началось молебствие, сняли шапки и крестились. По окончании молебна, я, не обращая внимания на них, точно их здесь и не было, скомандовал: «С богом!» И тогда плуги стали заходить и показалась черная земля. Ну вот, тогда не выдержали первые бабы и завыли. Некоторые из них упали на землю и действительно горько плакали. Я им сказал: «Вот до чего вы себя довели». Только тогда мужики тоже не выдержали и подошли ко мне (без шапок). Подошли и говорят:

«Останови пашню: соглашаются приговоренные уехать». Как я потом уже узнал, им прямо на сходе сказали: «Убьем вас этой же ночью, если не уедете!» Так вдруг переменилось дело, но я и глазом не моргнул, что будто вот обрадовался. «Мне, говорю, все рав-

но, что поп, что черт: вы, барин ваш — от кого жалованье получаю и приказание получаю... Не я, так другой... такой же, как и вы, подневольный. Поезжайте в город, привозите от барина записку, и кончу пахать». Удостоверяю, что все пять семейств уже укладываются».

Так были изгнаны мною из Князевки пять зачинщиков из самых зажиточных дворов.

VI

Между тем я получил место довольно далеко отсюда.

Петр Иванович перед моим отъездом настоятельно звал меня в деревню.

Он говорил:

— Теперь и безопасно...

— Я никогда и не боялся...— вставил я.

— И полезно для дела, и наконец... э... это будет доказательством того, что вы их простили... э... помирились с ними... все-таки... э... Дети ведь они, а вы... э... отец их... Наконец... э... Ну, вы увидите...

Петр Иванович снисходительно улыбнулся:

— Ну, как я... э... там справляюсь: может быть, недовольны останетесь мной... Нет, уж вы поезжайте: необходимо...

Я сдался и поехал.

Я приехал в деревню, когда весна была уже в полном разгаре.

Посевы взошли, и молодая их зелень беззаботно нежилась в привольном просторе яркого до боли весеннего деревенского дня. Тучки белые, нежные безмятежно плыли по голубому небу; молодой лес, точно узнав, ласкал меня приветливо своим нежным говором.

Я опять переживал неотразимую силу очарования этого праздника природы. Каждый уголок князевских земель, каждая межа и дорожка говорили, будили воспоминания, все словно шептало: «Забудем тяжелое прошлое, сольемся опять в одно для производительной работы».

Я слушал знакомый зов, волновался, может быть... но был далек теперь от изменчивой красавицы природы.

Петр Иванович усердствовал.

Над воротами была устроена арка, перевитая молодой зеленью берез, с надписью: «Добро пожаловать». Во дворе стояла толпа нарядных крестьян. Рядом с великолепным Петром Ивановичем на крыльце стоял новый, молодой, застенчивый священник.

Когда я подъехал, Петр Иванович напыщенно спустился с крыльца, пожал мою руку, затем величественным движением головы пригласил батюшку и, когда я поздоровался и с ним, громко и важно сказал:

— Э... а вот ваши «арендатели»... э... (он показал на крестьян) они просят вас... э... сделать им честь отслужить молебен у креста, их иждивением выстроенного...

Я стоял, смотрел кругом... как будто все то же, те же лица... они кланяются заискивающе, подобострастно, как-то смешно и, не довольствуясь еще, усердно кивают мне головами.

Опять заговорил Петр Иванович:

— Э... они желали бы поднести вам по случаю приезда хлеб-соль... Э... впрочем, лучше сперва отслужить молебен... Впрочем, как прикажете...

Дело в том, что двое уже шли ко мне: староста с блях-хой и все тот же Родивон.

Хлеб на металлическом блюде. Традиционных кур, яиц, поросят не было и в помине.

Я вынул было деньги, чтобы, по обыкновению, поблагодарить крестьян, но Родивон строго и решительно отрезал:

— Не надо!

Староста за ним, прокашлявшись, с ноткой сожаления, тоже тихо повторил:

— Нет, уж не надо...

Петр Иванович важно, с соответственным жестом остановил меня:

— Э... это не за деньги, а от доброго чувства... Так, господа?..

— Так точно...

— Ну, что ж, ко кресту? — обратился я смущенно к Петру Ивановичу.

— Хоругви вперед! — скомандовал Петр Иванович так, словно он приказывал целой армии.

С хоругвями бодро зашагали, пошел батюшка с дьячком, затем я, поодаль от меня Петр Иванович, а еще подальше староста и толпа крестьян.

Попробовал было я поравняться с Петром Ивановичем — не удалось, с крестьянами и подавно сохранялась какая-то заколдованная дистанция.

Так дошли мы до креста на шишке. На кресте висела икона с изображением моего и жены моей патрона.

Ученики нашей школы и соседнего села вышли вперед и под руководством дьячка пели вместо певчих, и это было нововведением. Пели хорошо, и молодой батюшка скромно, а Петр Иванович торжествующе все время косились на меня. И ученики каждый раз, пропев, смотрели на меня с каким-то особенным любопытством.

Пропели многолетие.

Торжествующий толстый Петр Иванович, протягивая мне руку, сказал:

— Позвольте поздравить вас с благополучным приездом.

Попробовал я после молебна заговорить с крестьянами:

— Ну, что ж, всходы хороши, кажется?

Прокашлялись, переступили с ноги на ногу, посмотрели на Петра Ивановича:

— Слава богу...

— Еще бы не хороши,— усмехнулся Петр Иванович,— на унавоженной... таких и не видали, чать...

— Дай бог здоровья и барину и Петру Ивановичу...

Петр Иванович встряхнулся...

— Я что? А вот за барина день и ночь надо молиться: ноги его мыть да воду эту пить...

— Арендой довольны?

— Довольны.

— Еще бы не довольны,— вставил опять Петр Иванович,— даром кому не надо...

— Может быть, кто-нибудь имеет попросить о чем-нибудь меня?

Мгновенное гробовое молчание.

Петр Иванович и торжествует и строго, в упор смотрит на крестьян.

Преодолевая соблазн, кто-то за всех уныло отвечает:

— Что уж просить? Довольно просили...

Петр Иванович сияет:

— Что? Совесть проснулась. Нет... э... надо правду говорить: я теперь доволен.

Вдруг выходит Алена и валится мне в ноги.

— Встань, встань,— говорю я, торжествуя в душе.

Зато Петр Иванович взволнован, огорчен и, не выдержав, говорит угрожающим голосом:

— Алена?! Помни!..

Алена отчаянно кричит ему:

— Да я не насчет чего там: земли, альбо денег... Муж меня донимает: защити, батюшка...

Это она говорит уже мне.

— Что же,— перебивает Петр Иванович,— ты думаешь барин — правительствующий синод, что станет разводить тебя с мужем?

Алена смущенно встает.

— Мне на что развод? Вид бы хоть... Ушла бы с детками в город от разорителя и полюбовницы его, чтобы сраму хоть не видать...

Петр Иванович важно распускает свои толстые губы, собирает их колечком, пыжится и брызжет, как сифон с сельтерской.

— Э... я не одобряю, конечно, твоего мужа... э... но и жену, уходящую от мужа... э... по головке гладить нельзя...

Петр Иванович вдохновенно мотает головой.

Я не выдерживаю:

— Андрей,— обращаюсь я к пьянице и развратнику Андрею,— опять ты за жену принялся: ведь такой же человек она, как и ты... Только потому, что можешь за горло схватить... Ну, ты ее можешь, а она тебя белым порошком угостит...[1]

Я обрываюсь, потому что сознаю всю бесполезность таких уговоров, и перехожу на практическую почву:

— Если ты дашь волю жене, я тебе лесу дам.

Андрей говорит, не поднимая глаз с земли:

— А пес с ней... дам паспорт.

---

[1] Мышьяк — обычный прием в деревне отделываться от постылых мужей и жен. (*Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.*)

— Ну, спасибо! Приходи ко мне сегодня в усадьбу за ярлыком.

Андрей равнодушно и тихо отвечает:

— Слушаю.

Петр Иванович снисходительно шепчет мне:

— Собственно против уговора... Своим решением вы ведь подрываете мой авторитет.

В ответ я обращаюсь к толпе:

— Еще кто-нибудь, может быть, имеет ко мне дело?

В толпе крестьян молчание, зато Петр Иванович говорит:

— Ну, э... я при владельце заявляю, что, если кто выйдет о чем просить, то я все равно не исполню... э... и тот мне враг.

Он обращается ко мне:

— Э... извините, пожалуйста, я предупреждал... э... что на три года... э...

Петр Иванович еще брызжет, но я, попрощавшись с батюшкой, иду уже назад в усадьбу.

Обед на террасе.

Перед нами весь в солнце сад с цветущими яблонями. Вершины душистых тополей ушли в лазурное небо, и вокруг них гул от пчел. Вот они золотыми нитями, то приближаясь, то удаляясь от деревьев, берут свою первую взятку. Седые ветлы над рекой, ленивые, громадные, едва шевелят, как опахалами, своими вершинами, и сквозит за ними другой берег реки с высокими, как горы из красной глины, холмами Князевки.

Какой-то праздник, нега, сон с этими неподвижными, застывшими навеки в голубой дали красными холмами.

Я ездил по имению, проверил кассу и отчетность. Во всем такой же порядок, как в этом саду. Деревня моя дает доход! Петр Иванович прекрасно устроился и с лесами; он поставляет дрова теперь в казну, он в дружбе с интендантом, называя его офицером.

Когда Петр Иванович бывает в городе, они вместе завтракают, слегка выпивают и говорят друг другу «ты».

— Так уж это у нас, у офицеров, заведено.

— Вы разве тоже офицер?

— Почти,— говорит уклончиво Петр Иванович.

Я воображаю себе этих двух «офицеров», а Петр Иванович важно и в то же время почтительно говорит:

— Э... он просит, чтоб вы замолвили за него словечко...

— Какое словечко я могу за него замолвить?

Петр Иванович еще важнее и снисходительнее играет своими толстыми короткими пальцами.

— Ну, положим... э... если такой дворянин, как вы... э... такой вельможа...

— Петр Иванович, побойтесь вы бога...

— Зачем же скромничать?

И Петр Иванович покровительственно, любовно, как человек, сообщивший мне какое-то неожиданное громадное счастье, любуется первым ошеломляющим действием этого известия.

Петр Иванович быстро встает и осведомляется:

— Э... собственно, дело к вечеру уже... насчет дальнейшего осмотра именья?

— Завтра...

— Слушаю-с... В таком случае я пойду в контору.

Вместо него появляется старый слуга его, Абрам. Абрам из николаевских солдат. Бритое, в седой щетине лицо, злые старые глаза, весь олицетворение неудовлетворенности. Он служит у Петра Ивановича «денщиком» за два рубля в месяц. Абрам укоризненно смотрит на меня и, качая головой, говорит наконец:

— Так вот как, сударь, пришлось нам скоро узнать друг дружку...

— В чем дело?

— В чем дело? — зло, не спеша переспрашивает меня Абрам,— а Петру Ивановичу кто на меня донес, что я водку из графина после завтрака выпил?.. Хорошо, метку он, положим, сделал: нет водки,— верно... Хорошо! Так почему же непременно я?! Барин, говорит, сам тебя видел, когда вошел в столовую... Так неужели же барину доносами заниматься?!

Я защищаюсь всеми силами перед Абрамом во взведенной на меня Петром Ивановичем напраслине.

Абрам недоверчиво слушает и пренебрежительно отвечает:

— Теперь, конечно, что ж вам и отвечать... а Абрам виноватым остается.

— Ну, хорошо: вот придет Петр Иванович, и я это дело выведу на свежую воду...

Абрам опять долго укоризненно смотрит на меня.

— Выведете, а Абрама рассчитают...

Он неумолимо торжествующе впился в меня глазами.

— Что мне делать?..

— Ну так вот что: вот тебе деньги...

Абрам берет деньги и медленно уходит, а я по ступенькам спускаюсь в сад.

Нежный аромат цветущих яблонь. Где-то в саду звонко и отчетливо, подчеркивая безмятежный покой, насвистывает какая-то птичка. Тонет взгляд в лазури неба, и резче контраст этой молодой весны с старым, все тем же садовником Павлом. Он стоит в конце дорожки, и несколько ребятишек окружают его.

Так окружают молодые побеги, закрывая, старое, готовое уже к смерти дерево.

Все тот же Павел с проповедью о спасении души и притче о зазнавшемся богаче.

В этом смысле все такой же неугомонный и последовательный он, когда я подхожу к нему, отпускает мне несколько горьких фраз.

Все попытки с моей стороны к примирению отвергнуты величественно и стоически.

— Барин вы — барин и есть,— разводит он пренебрежительно руками.

Я прихожу к тому месту сада, где за оградой извивается дорога в Князевку, видна деревня, пруд ясный, зеркальный, отражающий покой безмятежного неба. Там на пруде утки и гуси и два диких лебедя, которые ежегодно весной на неделю, другую прилетают на этот пруд. Иногда они вытягивают длинные шеи и кричат своими гортанными звуками. Звуки несутся и медленно замирают в праздничной округе, и снова наступают минуты тишины, неги, безмятежного покоя. Ветер стих совсем, я стою под яблоней, в ее аромате, и вокруг меня падают розовато-белые лепестки ее цвета.

Я слышу голоса на дороге. Я узнаю их: это Матрена

и Родивон. Ни я их, ни они меня не видят. Грубый, резкий голос Родивона:

— Ну да! Так и сказывали бы зимой: кто б тогда тебе давал муку?

Горький голос Матрены:

— Давал муку... Много дал... За полпуда три дня, не разгибаясь, жать...

Удаляющийся голос Родивона:

— Много — мало: не теперь толковать об этом.

И Родивон быстро проходит мимо меня.

Матрена ровняется с моей засадой, и я, подходя к ограде, говорю:

— Здравствуй, Матрена!

Маленькая, оливковая Матрена, с черными, как у турчанки, глазами, изможденная и сухая, вздрагивает и говорит:

— О, господи, как я испугалась...— Она поправляется быстро: — От радости испугалась...

Мы оба улыбаемся, и я спрашиваю ее:

— О чем это ты с Родивоном?

— Да-а!! — Матрена машет рукой:— И слушать вам не стоит про наши глупые дела... Остался теперь побогаче других на деревне и командует, как знает.

— Один остался.

Матрена вздыхает:

— Потянулись за ним и другие: Сурков, Тычкин, Пиманов... ну, те уж и вовсе на красненькую гоношат обернуть всю деревню...

— Лучше, значит, не сделал я, что кулаков удалил: новые растут?

Не замечая горечи для меня ее ответа, Матрена вскользь бросает:

— Растут как грибы на навозе... не у чего жить в деревне... так вроде того, что у пустого стойла мордой лошадь тычется: нет, нет и ткнет опять,— не набежало ли? неоткуда... Посев в наемку: сама нанимала и сама же нанимаюсь... и работать не на кого... Бедноты много уходит из деревни...

Матрена задумывается и уже повеселевшим голосом кончает:

— Так мы глупые: уравнять всех нас хотели вы,— богатых выгнали, а мы, беднота, опять за ними тянемся...

Замолчала Матрена, молчу и я...

Тихо кругом. Словно под наш говор задумалось все или заснуло и спит в молодой весне крепким, глубоким сном, как те холмы с красными иероглифами, свидетели промчавшихся веков.

Стоим и мы с Матреной, пигмеи своего мгновения, напряженно думая каждый свое.

— Ну, простите Христа ради... хоть из-за решетки нынче довелось поглядеть на вас... Важные вы стали...

— Почему важный?

— Царь, бают, призывал вас, убытки вернул, пенсию назначил...

— Это неправда. Кто это рассказывал?

— Упомнишь разве,— говорит уклончиво Матрена, кланяется и уходит.

Я слежу за ней; она идет погруженная в свои думы, и ее маленькая фигура точно больше становится и рельефнее вырисовывается на пустой дороге.

Опять я один в саду.

Старая Анна, вдова Лифана Ивановича, с внучкой и другой маленькой девочкой.

Спрашивает меня робко:

— Ничего, сударь, что я осмелилась в садик зайти? Сиротка вот, Настя, уж больно любит глядеть, как цветочки здесь цветут... Говорит мне: «Я, бабушка, гляжу, и все мне кажется, что тут и тятька с мамкой из земли выйдут...»

Анна гладит хорошенькую пятилетнюю Настю и вздыхает:

— Не выйдут, не выйдут, дитятко...

Она обращается ко мне:

— Маленькая, а как убивается... Забыть никак не может... Одна осталась — взяла...

Легкий весенний день безмятежно догорает. Последними яркими штрихами разрисовывает заходящее солнце небесные поля. Розовой, прозрачной дымкой подернулся пруд, и нежнее в последних лучах светится зелень. Чувствуется прекрасное, мощное, и сильнее аромат цветущих

яблонь. В какую-то волшебную даль уходит округа, и слышатся уже первые робкие посвисты соловья.

Вечером на сон грядущий Петр Иванович сам запирает окна в моей спальне и с плутовской улыбкой показывает мне еще одно нововведение — две скобы у дверей и надежный засов, говоря:

— Э... спите и ничего не бойтесь... теперь полная перемена: шелковые теперь стали.

Петр Иванович удовлетворен, доволен, но через мгновение это уже лучший из Фарлафов, прыгая, тычет пальцем в темную гостиную, где в неясных переливах луны движется какая-то фигура, и растерянно кричит:

— Э... кто там?! Кто там?!!

Это крадется все та же старая благообразная Анна и, почтительно кланяясь, шепчет:

— Успокойтесь, сударь, успокойтесь: господь милостив, все благополучно,— я воду барину на ночь несу.

— А бог с тобой,— говорит Петр Иванович,— с твоей водой... и все оттого, что шляешься без толку по свету, вместо того, чтобы давно лежать себе там рядом с Лифаном твоим Ивановичем.

Анна смиренно кланяется и говорит спокойно:

— Денно и нощно молю о том господа бога моего...

Петр Иванович уже добродушно бросает ей:

— Плохо молишься, плохо молишься...

Петр Иванович прощается и уходит.

— Анна, хорошо умер Лифан Иванович?

— Хорошо, сударь... Причастился, пособоровался, приказал мне детей блюсти... Сударыня здоровы?

— Спасибо, здорова.

— И деточки?

— И дети.

— Слава богу. Спите с богом... Господь над вами.

Анна тихо, сгорбившись, беззвучно движется и исчезает в обманчивом сумраке волшебной ароматной ночи. Какая ночь: живая, вся из молодых жизней весны. Эти жизни трепещут, волнуются, живут...Какие-то уже чужие мне жизни... Я стою у окна: даль загадочная передо мною. В эту даль уйду я, как ушел Лифан Иванович, уходит Анна, как ушло все пережитое, что такой безнадежной щемящей болью сжимает сердце. И что уйдет со мной

вместе в эту даль? Так хотело сердце правды, так рвалось к ней... Как неотразимо прекрасна природа. Неподвижно и тихо, и красавица ночи береза в своей молодой зелени, как ажурная, поникла и светится в лучах месяца. Так ясно видно все вокруг нее, и словно ближе месяц к ней, и шепчет ей какие-то сказки, и чутко слушает их округа: бледное нежное небо, даль, в дворцах из молодого тумана, падающий в какую-то бездну пруд и растрепанная нахохлившаяся Князевка с черной лентой убежавшей в поля дороги.

И вот и все небогатые впечатления тогдашней моей поездки в деревню, и я уже еду назад, решив завернуть по дороге к Чеботаеву, и мысленно подбиваю итоги своей поездки.

Когда я действовал прежде в деревне, я имел определенную программу.

Программа заключалась в том, чтобы, не щадя усилий и жертв, повернуть реку жизни в старое русло, где река текла много лет тому назад, восстановление общины, уничтожение кулаков. Я так и действовал ровно до тех пор, пока вдруг какая-то сила не отшвырнула меня и не разломала всю мою усердную работу в мгновение ока.

Конечно, когда таким дорогим путем появляется самосознание, то охота повторять дальнейшие в таком роде опыты пропадает, и главным образом потому, что для таких опытов не хватит никаких средств.

Но сознание ошибки не дает еще ответа на вопрос: как быть?

Я, конечно, желал как лучше... Я желал, он желал, мы желали, но где же истина, где то неотразимое, которое все наши желанья приводит в соответствие с жизнью, где то неумолимое, ясное, что заставит непоборимо признать себя?

Увы! все эти вопросы оставались без ответа.

У Чеботаевых все то же: тот же массивный дом, та же неподвижность комнат, обстановки, хозяев,— словно вчера еще только уехал от них в последний раз с ощущением полной сытости от долгого гощения.

Но и чувствуется здесь черноземная, здоровая, честная сила.

И весь кружок Чеботаева, съехавшийся как раз в мой приезд, такой же: может быть, и простые и прозаичные люди, без горизонтов, с изъянами по части образования, но безусловно порядочные. И, конечно, эта партия выше интригано-шалопайной проскуринской партии.

Все это так, и тем не менее я подавлен и сильнее, чем раньше, я чувствую отсутствие связующих меня с деревней элементов.

За обедом Чеботаев, провозглашая и за меня тост, назвал меня по поводу моих железнодорожных дел даже Скобелевым.

— Вам, батюшка, и книги там в руки,— говорил он,— дай вам бог всяких там успехов и только, ради бога, вы не принимайтесь опять за хозяйство...

И, когда приятельский хохот всех покрыл его слова, он сам хохотал и, поворачиваясь ко всем, твердил весело:

— А? Что? Ради бога, не принимайтесь вы только за наше дело... Будьте министром, первым человеком, но ради бога... Объять необъятное — невозможно, коемуждо свое... Деревня, батюшка, наше дело, простое, дело веков, сиди и прислушивайся, как трава растет... А что? Ей-богу...

И дружеские голоса кричали мне:

— Прав, тысячу раз прав он,— уезжайте!

С этим и выпроводили меня от Чеботаева.

VII

Пять лет я отсутствовал и возвратился в свою губернию в начале зимы голодного 1891 года.

Рано покинули перелетные птицы мертвые поля в тот год, и с каким-то зловещим напряженным молчанием стояли они, пока не покрылись белыми, как саван, сугробами снега. За этими сугробами уже притаился голодный тиф и страшными глазами высматривал свои жертвы.

Пустотой веяло от губернского города.

Не было прежнего оживления, и в перспективах улиц уныло рисовались только редкие извозчики в напрасном ожидании куда-то вдруг исчезнувших седоков, да проходили по панелям, группами и в одиночку, с женами и детьми, деревенские обитатели, растерянные, с вытянутыми лицами, блуждающими ищущими взглядами и в то же время с удовлетворением, говорящим о том, что вот они все-таки вырвались каким-то чудом из тех сугробов и теперь здесь среди богатого города, среди живых людей, которые не дадут им умереть голодной смертью.

Они и раньше знали этот город, когда в хорошие годы возили, бывало, сюда свой хлеб на продажу. Две-три тысячи подвод тогда изо дня в день выезжали на хлебную площадь, и с утра до вечера у конторок хлебных торговцев стояла толпа, ожидая очереди расчета, или, вернее, обсчета, потому что у редкого все сходило благополучно: того в весе обманут, того в качестве.

Воротить обманом отнятое — одного бы этого хватило на теперешний голодный год.

Где уж там воротить! Хотя бы Христа ради подали теперь все эти грабившие их.

Но пусто на хлебной площади, только стаи голубей тревожно расхаживают по ней, то и дело нервно роясь в снегу; заперты и конторки, где толпился когда-то народ, и нет, пропали куда-то вместе с перелетными птицами и хозяева этих конторок; прилетят снова к хорошему году, чтобы снова тех, кто жив останется, обвешивать, усчитывать и фальшиво на глаз определять качество хлеба.

И опять отдадут свой хлеб крестьяне, не везти же его назад.

И кричать нельзя: «Караул, грабят».

С горя можно только пьяным напиться, растеряв и последнее по кабакам да притонам постоялых дворов, где все соблазны, где зорко стерегут свои жертвы стаи живущих за их счет тунеядцев. И с отчаянием познавшие городскую науку и людей города говорят люди деревни:

— Хуже всякой нечисти едят они нашего брата.

Говорят, и сами же теперь с отчаянием и смертью в душе идут в этот город.

Но если пуста хлебная площадь, заперты конторки, не пускают на постоялые дворы и бегут теперь прочь от

голодных деревни тунеядцы, то широко отворяются двери каких-то других, до сих пор не известных деревне квартир и домов.

Ласковые слова, ласковое внимание, участие, помощь посильная, и оголодавший люд с похолоделыми сердцами быстро отходит, горячее молится и уж так благодарит, что у самого черствого просыпается аппетит к помощи, к деятельности не для себя только.

Общество, с которым я впервые встретился у фотографа, усиленно работало: собирали подписку, писали в столичные газеты,— так как провинциальные еще молчали,— устраивали приходивших из деревень, организовали отряды в деревни.

Явились бараки, столовые, чайные, и губернатор, поставленный в безвыходное положение, говорил этим частным лицам по поводу их благотворительной деятельности:

— Я ничего не вижу, ничего не знаю, но, если я увижу, мне, вы понимаете, ничего больше не останется, как прекратить все это.

Так стояло дело до того момента, когда последовало высочайшее повеление, признавшее факт недорода.

Тогда картина сразу изменилась. Сейчас же по телеграфу было испрошено разрешение на экстренное дворянское и земское собрания.

Дворяне и земцы наводнили город, и все опять ожило и волновалось. Прежде всего пошли пререкания о том, кто виноват, что голод так долго не был обнаружен.

В настоящее время, когда прошло уже почти десять лет, все это уже достояние истории, но тогда переживалось острое и жгучее мгновение.

У самого равнодушного не могло не быть сознания безвыходности положения всех тех голодных, которые теперь там в своих деревнях сидели с пустыми амбарами, с ужасным сознаньем, что они забыты и брошены на произвол судьбы. И все знали, что эти люди ели то, чего и скот не хотел есть, что среди этих людей уже свирепствовал голодный тиф. Совесть мучила, и тем злее, тем раздраженнее искали виноватых.

Как бы то ни было, но несомненный факт тот, что благодаря поздним мерам продовольственное дело ослож-

нилось, и вследствие этого хотя и пришлось прибегнуть к запрещению вывоза нашего хлеба за границу,— благодаря чему мы навсегда потеряли многие заграничные рынки,— но это не спасло крестьянское население от неисчислимых бедствий и второго голода в 1892 году, происшедшего исключительно вследствие несвоевременной доставки семян.

На этой почве пререканий отношения земства и администрации так обострились, что было командировано даже специальное лицо для улажения недоразумений. Лицо это присутствовало и на земском собрании, на котором определялись размеры и форма ссуды.

Характеристикой настроения земского собрания может служить пустой, собственно, случай.

Командированное лицо, находя ссуду преувеличенной, сказало, что у правительства, может, и не имеется столько свободных денег.

Всегда изящный Николай Иванович, теперь взволнованный, голосом, обжегшим, как огонь, сказал:

— Собрание не сомневается, что это только частное мнение представителя. Правительство, которое находит средства для войн, найдет, конечно, средства и для того, чтобы воины эти не умирали с голоду.

Все смолкло, а представитель обратился к Чеботаеву:

— Как фамилия говорившего?

Бледный Чеботаев, не предвидя ничего доброго, мрачно ответил:

— Я не знаю.

Встал и ответил на этот вопрос председатель земства старый Лавинов:

— Ваше превосходительство, возразивший вам наш товарищ... он только предвосхитил мысль каждого из нас, и нам остается лишь завидовать ему.

И с глубоким поклоном среди замершего в напряженном вызывающем молчании собрания — земцев и громадной публики на хорах, с которой теперь установился непрерывный, как биение пульса, ток,— Лавинов, полный достоинства опустился в свое кресло.

Среди мертвой тишины, когда уже ждали какого-то взрыва, слова представителя раздались в зале, как пар, выпускаемый в предохранительный клапан:

— Я лично буду отстаивать земством требуемые суммы.

Уже благодушнее собрание перешло к обсуждению форм ссуды. Было предложено ссуду выдавать обществам зерном за круговой порукой и тем только обществам, которые согласятся ввести у себя общественную запашку.

Кто-то коснулся того, что мера эта, как принудительная, требовала бы законодательной санкции, но ему ответили в том смысле, что и времени нет для этой санкции и что и принудительности здесь, собственно, никакой нет: кто хочет — берет, кто не хочет — не берет,— какая же тут принудительность?

Против предложенной меры возражал из немногочисленной группы гласных-крестьян высокий, елейный, с черной бородой крестьянин. Прокашлявшись, он сказал тоненьким тенорковым голоском:

— Трудно будет крестьянам.

Кто-то бросил ему в ответ:

— Бог труды любит.

А один из земцев встал и сказал, обращаясь к гласному из крестьян:

— Вы слышали и видели, как земство отстаивало ваши интересы. Плохо и нам, крупным землевладельцам, но для себя мы ничего не просили,— только для вас. Но крупные владельцы не могут и платить за вас, как пришлось им платить за восьмидесятый, тоже голодный год, когда правительство взыскало выданную им ссуду со всех.

— Всего-то двести тысяч,— ответил, привстав, обиженно крестьянин,— остальное крестьяне сами уплатили.

— Всего! — иронически обиженно подчеркнул кто-то, и все улыбнулись, а Нащокин, подмигнув, севшему опять крестьянину, добродушно пробасил:

— Придется, видно, помириться?

Гласный-крестьянин и кивнул, и улыбнулся, и развел руками. Дескать: и польщены, что не брезгуете, и говорить-то мне среди вас, господ, трудно,— слава богу, что и так все сошло, и, конечно, помириться придется.

За земским собранием открылось дворянское. Собственно и в земском и в дворянском собраниях, за исклю-

чением земских начальников, которые тогда не принимали еще участия в земских собраниях, большинство было все то же. Неслужилое дворянство почти отсутствовало, да теперь его, с проведением реформы земских начальников, и не было почти. И даже не хватало для института земских начальников местного дворянства: кадр их пополнялся из дворян других губерний, по преимуществу из отставных военных.

На дворянском собрании дворяне думали, конечно, только о себе. Проектов помощи было подано много. Самый яркий — был князя Семенова. Смысл его заключался в том, что дворянство принесло на алтарь отечества ничем неизмеримую жертву, отпустив своих крепостных на волю. Все теперешние долги дворянства в сравнении с денежной стоимостью отпущенных крепостных— только проценты на потерянный дворянством навсегда капитал. Ввиду столь тяжких жертв дворянство, переживающее теперь небывалый кризис, ходатайствует,— если только оно нужно правительству,— сложить с него все его долги по Дворянскому банку.

Против этого проекта энергично восстали Николай Иванович и Чеботаев со своими партиями.

В конце концов удалось им провести более умеренное ходатайство, заключавшееся в следующем:

1) о понижении процентов;

2) о беспроцентной отсрочке на 48 лет взносов этого года;

3) о возобновлении дворянством хлебных поставок в интендантство;

4) о регулировке отношения с рабочими;

5) о всех тех мерах облегчения, которые правительство признает для себя возможным.

В заключение дворянство обращало внимание как на то обстоятельство, что страдает оно от недорода в гораздо большей степени, чем крестьянство, так как последним уже решено оказать помощь, так и на то, что главный заработок крестьян не от их посевов, а от работ на дворянских землях, и, следовательно, раз дворяне вследствие отсутствия оборотного капитала сократят свой посев, это тем тягостнее отразится на крестьянах.

Довольные дворяне собрались уже подписывать протоколы заседаний, когда вдруг разнеслась по городу весть, что старый предводитель скончался от разрыва сердца.

Так как все давно ждали этого, то смерть старика не произвела особенного впечатления. И уже раз быть тому, то хорошо, что случилось это как раз в период собрания, когда Проскурину невозможно и крайне бестактно было бы воспользоваться своими правами заместителя до новых выборов. Тотчас же по телеграфу было испрошено разрешение, и собрание занялось выборами. Но так как все партии одинаково не были к ним подготовлены и так как до настоящих выборов оставался только год, то и помирились все партии на том, чтобы выбрать безобидного, и остановились на одном старом, никому не нужном дворянине Павле Ивановиче Апраксине. Павел Иванович, ничего не делающий человек, был известен тем, что, являясь каждый раз на выборы, кричал: «Господа дворяне, только не меня!»

И господа дворяне каждый раз шутки ради всегда подходили к Павлу Ивановичу и, смеясь, просили его быть их губернским предводителем. А Павел Иванович падал на диван и, подняв руки вверх, весело кричал: «Нет, нет, только не меня!»

Но, когда Павла Ивановича действительно выбрали, многие смутились:

— А что же теперь мы с этим шутом делать будем? И как раз в момент новой реформы.

На это оптимисты отвечали:

— Поверьте, это еще лучше.

— Чем же лучше? Все дело попадет в руки губернатора.

— Теперь все равно попадет, а ссор меньше будет, да и не время для них.

Новый предводитель совершенно разделял мнение, что ссор не надо.

— Я вообще враг всяких ссор,— говорил он, разъезжая с визитами,— и меня одно мучит: близорук я! Ну, прежде там не узнаешь на улице,— простят, а теперь я ведь предводитель дворянства.

— А, черт,— с сочной интонацией, вздрагивая своими могучими плечами, говорит черный Нащокин,— и близорук вдобавок!..— И, подумав, тряся головой, еще убедительнее прибавлял:— Убили бобра!

VIII

Сейчас же после выборов, установив сношения с организовавшимися кружками помощи крестьянам, я выехал в Князевку. Я ехал и думал об этом помогавшем крестьянам обществе, которое теперь, когда нашлась и для него точка приложения, так сильно вдруг обнаружило готовый запас общественных сил, до времени тлевший под пеплом и теперь вспыхнувший ярким пламенем любви к ближним, жаждой деятельности.

И сколько жизни, возбуждения, энергии, сколько теплоты! Все выходило так просто, как будто и действительно не требовалось никакого напряжения, между тем люди жертвовали и деньгами, и временем, и здоровьем, и жизнью.

Такие люди оказались и там, где я служил, оказались и везде в 91-м году, когда впервые выступили они на арену общественной деятельности.

Узнав этих людей, я все эти пять лет стремился к ним всеми силами своей души.

Было, конечно, тяжело сознать, что я, дипломный человек, перед этими людьми истинного знания — только невежда, только профан, которого давно и сознают и понимают, и только он сам все еще находится в блаженном неведении относительно того, кто он и что он в жизни.

Но уж слишком выстрадал я свое дипломное невежество, связанное к тому же с натурой, неудержимо стремящейся хотя и к чисто практической деятельности, но всегда с добрыми намерениями на общую пользу. Понять эту пользу, понять себя, найти свою точку приложения,— понять, осмыслить, обосновать всем тем знанием, которое имеется уже в копилке человечества,— вот задача, перед которой отступили на задний план все вопросы ложного самолюбия. И эти пять лет были моим вторым университетом, в котором я действительно работал так, как

не умеют или не могут работать, преследуя дипломные только знания.

Правда, я не приобрел еще одного диплома, в глазах людей своего круга я, может быть, даже потерял, но я приобрел компас самосознания, с помощью которого я мог ориентироваться. Я ехал теперь в Князевку и понимал горьким своим собственным опытом, что добрыми намерениями и ад устлан, что петлей и арканами даже в рай не затащишь людей, что в моей деятельности в Князевке я с ног до головы и с головы до ног был крепостником.

Как лучший из отцов командиров доброго крепостного времени, я тащил своих крестьян сперва в какой-то свой рай, а когда они не пошли, или, вернее, не могли и идти, потому что рай этот существовал только в моей фантазии, я им мстил, нагло нарушая все законы, посягая на самые священные человеческие права этих людей.

И это делал я, человек, который благодаря своему диплому считал себя образованным. Что же говорить о других, и такого образования даже не имеющих, но не менее твердо желающих создать благо для этих несчастных? Что сказать об этих несчастных, над которыми я, человек без всяких прав власти, человек равный с ними перед законом, мог мудрствовать и проделывать с ними все вплоть до изгнания их из родины?

И в какой ад мы все желающие можем, наконец, превратить жизнь деревни в нашем благом намерении создать ей свой рай?

Как бы то ни было, но мое просветление пришло, и я чувствовал себя в положении человека, который после одного блуждания в темных подвалах своего средневекового произвола выбрался, наконец, на свет божий.

По поводу голода относительно, собственно, Князевки я был спокоен, так как Петр Иванович все время писал мне успокоительные письма. Как потом оказалось, он не хотел меня огорчать, боясь, чтобы непосильной помощью я опять не подорвал бы себя. Он советовался даже с Чеботаевым, и Чеботаев тоже говорил ему:

— И не пишите, батюшка,— вы ведь знаете его: возьми все и отстань... А? что? А ведь жена, дети... Ничего не пишите, конечно...

Тем ужаснее было то, что я увидел в Князевке.

Забыть этого нельзя.

Стоит закрыть глаза — и я теперь вижу и этот хлеб из мякины, и эти изможденные голодом тускло прозрачные лица, громадные глаза всех этих брошенных людей.

И не людей даже, а уже зверей, и мучительное чувство страха перед этими перешедшими на стадию зверей оголодавшими людьми, готовыми какой угодно ценой вырвать у другого кусок.

Но этого куска не было.

Николай Исаев, лет тридцати, несчастный горемыка, отец восьми девочек и одного мальчика, моего крестника, на мой вопрос при приходе к нему, что ж он думает делать, ответил, продолжая сидеть:

— А вот в лес заведу всех и брошу или перережу их, как курчат.

Он равнодушно показал на кучу своих детей, которые, сбившись на печи, страшными глазами смотрели на своего отца и слушали знакомые сказки про мальчика с пальчик, Ваню и Машу, воплотившиеся для них в такую ужасную действительность.

— И крестника моего прирежешь?

— А что?

— А сам что́ станешь делать?

— А сам на большую дорогу выйду, благослови господи.

Николай говорил как будто весело и, скользнув по мне равнодушным взглядом, стал смотреть в окно пусто, равнодушно, без мысли.

Вышмыгнув, провожая меня в сени, жена Николая шептала мне со смертной тоской в голосе, с широко раскрытыми глазами:

— Нож потрогает, потрогает и положит опять... Третий вот день и сидит так. Скажешь ему: «Хоть бы ты пошел...»— «Никуда не пойду»,— оборвет, глазищами поведет... А детишки в голос воют: день так-сяк, а к вечеру хуже голод: щепку сунешь им сосать,— так ведь от щепки какая сытость?

Через неделю, никого не зарезав, Николай сам умер от тифа. И много таких умерло.

Кой-как устроившись, мы организовали столовые, где собиралась для еды два раза в день голодающая округа: дети, женщины, старики. Рабочих крестьян было очень мало.

Много трогательных, эпических сцен. Старуха Исаева, некогда глава зажиточной громадной неделенной семьи,— все это уже давно поросло травой забвения: и разделились, и разорились, и старик умер. Высокая, худая, тихая, с прекрасным строгим лицом, покорная судьбе, она ест и рядом с ней маленькая сиротка Маша, потерявшая сразу и отца и мать, третий год не могущая забыть своей потери.

Сиротка... и так и вырастет она в этом ореоле сиротчества, с воспоминанием о затерявшихся вдруг где-то там в золотых мечтах детства тятьке и мамке.

Вот Федор, старик, бесстрашный скиталец по святым местам — и летом и в зимнюю пургу,— наивный ребенок, смотрящий на вас своими чистыми, как у ребенка, голубыми глазами.

В последнем своем походе на Киев, Ростов, Москву, Казань он потерял почти совсем свои ноги и, касаясь этого больного для него вопроса, он уже не спокойный, а смущенный говорит:

— С глазу, батюшка Николай Егорович, с глазу. Сидим мы на привале, а симбирский один этак ткнул в меня и бат: «Вон старик, вместо чая воду пьет, а крепче нас». С той вот поры и отрезало, вступило в ноги, хоть что... Вот уж буду жив, бог даст, весны дождусь, к отцу Александру за Самару пойду: отмаливает, говорят люди, хорошо отмаливает.

Старая Драчена срывается с своего места:

— Что ты, дядя Федор! Иди к Казани, село вот только забыла как прозванье: чудотворная икона в том селе объявилась в прошлом годе на камешке... Странник ночевал у нас, сказывал: «Торопитесь, как бы поспеть».

На высказанное кем-то сомнение относительно странника и иконы Драчена с торжеством вынула образок:

— А это что?! Копия...

На копии, впрочем, стояла пометка: дозволено цензурой, Москва, 1865 года.

— Какой же это прошлый год?

И я разъяснил Драчене обман. Она очень огорчилась и говорила:

— Ах он, мошенник! Ах он, мошенник!

(Это не помешало ей все-таки отправиться весной разыскивать святую чудотворную на камешке.)

Большинство ест молча, сосредоточенно. На всех какая-то общая печать непередаваемой ясности, покорности.

— Господь наш царь небесный в яслях и во тьме родился и на кресте жизнь за нас грешных кончил: нам ли роптать?

Эта фраза — девиз этой толпы и одевает всех их в один нравственный костюм.

Мир, толпа — как один человек, и все мелкие индивидуальные особенности каждого отдельно исчезают бесследно под общим покровом.

Однажды заехал ко мне мимоходом Михаил Алексеевич Андреев, чиновник особых поручений. Он был командирован выяснить в назначенных ему волостях размеры голода. Еще совсем молодой Андреев привлекал к себе мягкой лаской, какой-то свежестью, не выдохнувшимся еще ароматом университетской скамьи, хороших намерений. Но в то же время на нем был уже какой-то налет не то грусти, не то тоски по чем-то таком, чего ни он и никто уже не могли ни исправить, ни изменить.

— Все идет, как идет,— говорил он с этим налетом грусти и начинал торопливо, озабоченно ходить по комнатам, или садился, глубоко забираясь в диван, и долго, молча смотрел перед собой и снова вскакивал и с новым порывом говорил:

— Да, черт возьми, хорошо бы, знаете...

Но что «хорошо», так и не договаривал.

На другой день после приезда он, по обыкновению, вскочил и решительно сказал:

— Ну, сколько ни сиди, а ехать надо. Слушайте?! Поедем вместе: что вам два дня?

Я не заставил себя просить, и, поев, мы поехали с ним. Ехать надо было верст шестьдесят от нас. Решено было на моих лошадях доехать до Парашиной, чувашской деревушки, верстах в тридцати от нас, а там взять земских.

Дороги были в тот год прекрасные, потому что нечего возить по ним было. Месяц светил как днем, и мы тройкой гуськом ехали, разговаривая с кучером Владимиром. Кучер Владимир любил поговорить.

Франтоватый, с серебряной цепочкой через шею, Владимир уважал красивых баб, уважал хороших лошадей, уважал себя и всех, у кого были деньги и кто умел эти деньги и зашибать и сберечь.

— Хороший человек,— говорил он,— богатый.

Или:

— Умный человек,— богатый.

К бедному человеку, пьянице, слабому — Владимир относился с презрением.

Обо мне Владимир говорил свысока:

— Что наш барин? в лошадях ничего не понимает,— хоть свинью ему запряги,— хороводится со всякой дрянью, добро свое мотает...

И теперь, проехав с десяток верст, наговорившись сперва с лошадьми и в достаточной степени выбив в гусевой дурь, в средней лукавство, а в кореннике постоянное стремление его усесться на облучок, Владимир повернулся к нам и заговорил:

— А я все жалею вас, барин, право: все добро свое раздадите, а детям что оставите? Чем поминать вас станут? И опять насчет лошадей: вы разве думаете о них?

— А что, много еще осталось?— перебил его Андреев.

— Много? — фыркнул Владимир.— А давно ли выехали? Верст двадцать осталось. Я на часы смотрел, как выехали: больше двух часов не проедем, даром что вот лошади как будто и не тянут, а потому что каждая в аккурат одинаково с другими. Уж я им не дам друг на дружку надеяться. Другому кучеру все равно: одна везет, другая нет.— Эй, ты!

Владимир хлестнул среднюю, полюбовался некоторое время, как, покачиваясь и точно слушая его умные речи, стрижет ушами коренник, и заговорил на новую тему.

— И что вам, барин, за охота в эту поганую Парашину ехать? Терпеть я не могу чувашек. Грязный народ, необразованный. Какой ни на есть татарин, а у него все-таки и письменный закон есть и молельни, а эти так:

что по памяти набрешет им старик, то и ладно. Добрый бог у них — Турачурбан — на заднем дворе валяется, а злой — Ирик — просто дрянь, кукла деревянная, а тоже бог. И вредная: чуть что, так и пустит болезнь на глаза. Ночь, полночь, а никогда не стану ночевать в чувашской избе: очень надо порчу принимать на себя. Дрянь народ, тьфу! Сами посудите, какой это народ: русские мужики перепахали у них землю. Ну, конечно, спор поднялся,— те говорят — наша и другие — наша. Так ведь до того освирепели,— даром смирные поглядеть,— что двух русских тут же на месте и убили. Четырех чувашек в каторгу сослали. Я тут как раз в городе был и на суд попал: сидят, мигают глазами, как слепни. Говорят им: «В каторгу», а старик спрашивает: «А земля моя кому достанется?» Говорят ему: «Сыну».— «Ну, сыну, так ладно». Там что каторга или человека убил,— главное у него земля. А так будто народ — как хочешь обижай,— там бабу, что ли,— это ничего.

— Так за что же вы их не любите? — спросил Андреев.

— Так ведь как его любить,— ответил Владимир, помолчав,— если на том свете он слепой будет.

— Как слепой?

— Как вот щенки слепые тычутся, ну?

Так разговаривали мы, когда вдруг среди мертвых в белом саване и в лунном блеске полей точно призрак вынырнула серая растрепанная деревушка. Это и была Парашина.

— Эх, вы-вы-ы!..

Встрепенулся Владимир и помчал было по селу. Но сейчас же вслед за этим он стал осаживать лошадей с таким видом, точно вот они несут его и несли так всю дорогу, и всю дорогу так и не мог он сдержать их.

— Что-то не упомню, кто здесь ямщик,— проговорил он, осадив, наконец, лошадей,— и огня на грех нигде не видать.

Мы стояли перед какой-то избой. Владимир еще посидел, посмотрел, потом слез и, подойдя к окну избы, сказал громко обычную фразу в наших местах:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, спаси и помилуй!

Он ждал обычного ответа: «Аминь».

И, не дождавшись, нетерпеливо крикнул:

— Эй, там! Кто жив?

И, подождав еще, стал стучать кнутовищем в окно.

— Спят ли, померли, есть ли кто? Бежать, что ли, к шабрам?

И он исчез, и мы долго слушали и его громкие окрики, и стуки кнутовищем в окно.

Он возвратился, наконец, назад к нам и, разводя руками, сказал:

— Что за оказия? Никогда этого и не бывало со мной: уж не он ли играет с нами? Так вот крещусь же.

И Владимир, как бы в доказательство, полушутя, полусерьезно стал креститься, приговаривая:

— Свят, свят, свят,— свято наше место... Вот...

Владимир хлопнул обеими руками по полушубку и пошел опять к избе.

— И калитка отперта,— крикнул он и, отворив калитку, просунул голову во двор.

Но потом он вдруг быстро возвратился к нам назад и, проговорив с испугом:

— Нет, боязно что-то, — вскочил на облучок.

— Почему боязно?

— Да как не боязно,— ответил Владимир,— вы подумайте только: молчат, как убитые, калитка не на запоре, хоть бы одна собака тявкнула,— статочное ли это дело в крестьянстве?

— Ну, тем больше надо, значит, узнать, в чем тут дело,— сказал Андреев и стал вылезать.

— Уж и мне, что ли, идти? — проговорил я.

— Да сидите, сидите.

И Андреев зашагал по снегу, а я, откинувшись, в приятном нежелании вставать, пользуясь любезным разрешением оставаться, смотрел ему вслед.

Он отворил калитку и вошел во двор; некоторое время видно было, как он шел по двору, затем слышно было, как хрустел снег под его ногами, но потом и эти звуки затихли, и Андреева долго не было.

Когда он возвратился, он подошел вплоть к саням, навалился на них и, смотря мне прямо в глаза, тихо сказал:

— А ведь плохо: все в тифе лежат.

— Как в тифе?

— Все — вся деревня. Есть такие избы, где уже замерзли,— в этой последний здоровый сегодня свалился... Хотите посмотреть?

— Так-таки все?

— Говорит, все.

Я встал, и мы пошли с Андреевым во двор, а Владимир жалобно вдогонку нам растерянно глянул:

— Барин, а барин, ну что вам за охота,— поедем лучше назад...

Охоты у меня никакой не было: каждая поджилка во мне билась так, как будто и я уже был охвачен этой истомой тифозного жара, и я шел вперед с таким трудом, точно через силу уже совсем больной тащил самого себя. Мои мысли, воображение опережали меня, и я шел нехотя, с каким-то посторонним, исключительным вниманием замечая каждую мелочь, каждую мысль. Вот Владимир все еще просит воротиться: сказать ему, что он просит потому только, что боится остаться один? Но я разве не боюсь? Чего я боюсь? Я точно пойманный вдруг преступник, и ведут меня теперь на очную ставку. И всегда я знал, что это так кончится, но никогда я об этом не думал и вдруг стал думать и чувствовать: не умом, а всем тем существом, которое теперь, согнувшись, пролезает в дверь избы, тем бессознательным, которое составляется из мяса, костей, крови, которое теперь ответит за все.

И мне было отвратительно это мое существо, его страх за сделанное.

Я задыхался в ужасном зловонии, дрожали руки, которыми я то и дело зажигал спички. Спичка вспыхивала и тухла, и то освещался, то исчезал этот склеп заживо погребенных здесь людей.

Изба курная, и потолок и стены ее были точно обтянуты чем-то черным,— черными бриллиантами, которые вдруг загорались от вспыхнувшей спички.

И в этом вспыхнувшем огне бросались в глаза лежавшие люди, и сердце сжималось тоской и болью. А эти люди молчали и точно ждали в напряженном зловещем молчании, окружавшем нас, нашего слова теперь, когда, наконец, привели и поставили нас лицом к лицу с ними.

И, точно не дождавшись и изверившись, кто-то тяжело вздохнул в темноте. Какой это был тяжелый и скорбный вздох!

В тяжелой тоске спросил я:

— Кто здесь?

И мне страстно, быстро ответил откуда-то снизу голос из темноты:

— Люди, батюшка, люди!

И в то же время сверху женский голос с бредом безумного весело взвизгнул:

— Люди, люди!

— Вы все лежите?

— Все лежим!

— Лежим, лежим! — подхватили вверху.

— Пища есть?

— Не емши лежим!

— Не емши, не емши,— истерично заметалась женщина.

— И вся деревня так?

— А так, так!

— И давно?

Никто не ответил. Я подождал и зажег новую спичку и наклонился к говорившему.

Это был подслеповатый, с всклокоченной курчавой бородой блондин.

Он уставился на меня и уже совершенно равнодушно, голосом бреда, сказал:

— Ишь, черт, глазища пялит.

— Это ты сейчас со мной говорил?

Но он молчал, молчала и та наверху, потухла спичка, и мрак и молчание охватили меня, как страшные объятия смерти.

К жизни, к свету, к людям!

И я бросился к дверям.

Это был столько же сильный, сколько и животный порыв. И сознание этого животного во мне, эгоистичного, отвратительного, еще мучительнее почувствовалось, и с омерзением и к себе, и к Андрееву, и к Владимиру, и даже к этим сытым своим лошадям, я стоял опять у саней, и мы советовались, что нам предпринять после нашего случайного открытия этой в поголовном тифе деревни.

— Надо точно выяснить положение,— сказал Андреев.— Надо обойти все избы.

И мы пошли из избы в избу.

Нервы притупились, и мы спокойно смотрели на однообразные картины голодного тифа, на все эти тела — живые, умирающие и мертвые, на всю эту деревню, которая стояла среди снежных равнин в страшном безмолвии ночи, в мертвом блеске луны.

Потом выяснилось, что это была одна из тех деревень, которые не пошли на запашку и в отношении которых земство мужественно выдерживало свой ультиматум: хочешь бери, хочешь нет.

Но почему же отказывались от запашки? Обычный ответ был такой:

— Кто на запашку пойдет, того в крепость назад поворотят.

Сущность же заключалась в том, что запашки не желали более зажиточные, боясь ответственности, вследствие круговой поруки, за голытьбу. То есть большинство относилось к делу так же, как и крупные землевладельцы: не желали платить за других. Это было их право, которого их самовольно и лишили крупные землевладельцы, позволив себе таким образом такой же произвол, какой позволял себе и я с князевцами. И только тогда, когда на деревне и большинство уже проедало свою скотину, становясь таким образом тоже голытьбой,— запашка принималась.

Но умершие от тифа уже спали своим вечным сном в могилах, да и разорившиеся распродажей скота крестьяне не могли уже поправиться, не могли и вовремя привезти себе семян, отчего и произошел второй голод.

Я уже писал о голодном годе. Скажу только, что в моих очерках («Деревенские панорамы», «На ходу», «Сочельник в русской деревне») переданы действительные факты, и фактов этих в каждой голодающей деревне было всегда больше, чем надо. Об этом красноречиво говорили новенькие крестики на кладбищах, эти безмолвные, но всегда достоверные свидетели.

И редкий, редкий из страдальцев видел тогда помогавших ему,—помощь потом пришла, но громадное большинство из них сводило свои счеты с жизнью в страшной, нечеловеческой обстановке.

Когда потом, летом, разыгралась холера со всеми ее ужасами, она не была страшнее: тогда было лето, тепло, можно было бежать, есть траву, коренья, была иллюзия: люди умирали от еды, а не от голода, захватившего их среди белых, как саван, сугробов снега.

IX

С Петром Ивановичем наши отношения быстро все больше и больше портились.

В сущности в Князевке не должно было быть никакого голода, так как на моих унавоженных землях уродило около тридцати пудов на десятину, в то время как на обыкновенных было два-три пуда, но Петр Иванович, умевший очень искусно собирать с крестьян аренду, умудрился собрать ее в этот голодный год и с осени, притом заставив их продавать рожь по 60 копеек за пуд.

Когда я приехал, рожь стоила уже 1 рубль 35 копеек. Таким образом, чтобы взнести мне 10 тысяч рублей аренды, крестьяне продали 17 тысяч пудов ржи, то есть все, что имели.

Я приехал и первым делом, конечно, откупил им назад хлеб, и таким образом за 10 тысяч рублей каждая сторона, крестьяне и я, потеряли по стольку же.

Обобщая князевский факт на всю Россию, несомненно, что в голодный 1891 год таким путем в руки хлебных торговцев перешло до миллиарда рублей заработка.

Несомненно также и то, что при ясном сознании, что такое сеть элеваторов, мы в один голодный год окупили бы всю ее стоимость, определенную в 1878 году в 260 миллионов и совершенно гарантирующую производителя от грабежа хлебных торговцев.

Однажды утром, проснувшись, я увидел во дворе необыкновенное зрелище. Там собрались все мои арендаторы и без особых на этот раз церемоний громко разговаривали с моим управляющим.

Вскоре Петр Иванович, уже давно не такой победоносный, каким был раньше, вошел ко мне и, кривя свои толстые губы в презрительную усмешку, силился проговорить с важностью:

— Э... непременно хотят с вами... э... это бунт, и вы прямо их... того... войсками пригрозите...

Я молча одеваюсь и выхожу.

— Здравствуйте, господа! В чем дело?

— К вашей милости...

— Насчет чего?

— От аренды освободите, Христа ради!

И один за другим мои арендаторы падают на колени. Только в церкви так дружно валится народ.

Из дальнейших разговоров выясняется, что уже через год после аренды они просили о том же Петра Ивановича и каждый год повторяли свою просьбу. Но Петр Иванович не находил нужным даже уведомлять меня.

— Почему?

Петр Иванович самодовольно и даже нахально отвечал:

— Э... потому что все это бунт... э... фокусы... Надеются, что даром получат от вас землю... Э... я говорю прямо... Несколько коштанов ведут все дело, а остальные... э... как дураки, лезут за ними...

Петр Иванович плюется, брызжет, насмешливо машет рукой:

— Даром надеются получить вашу землю...

— Но если это фокус, — говорю я Петру Ивановичу, — то он выплывет на свежую воду, — я соглашаюсь на их просьбу. — И, обращаясь к крестьянам, я говорю: — Я согласен, господа.

Не участвовало в этой просьбе только Садковское товарищество, остальные же отказались и до сего дня не заикаются о новой аренде.

Как только ушли крестьяне, Петр Иванович пристал ко мне опять со своим авторитетом.

— Это скучно, наконец, Петр Иванович, — ответил я ему, — ни у меня, ни у населения нет больше денег, чтобы оплачивать и поддерживать ваш нелепый и вредный авторитет.

Петр Иванович сразу оборвался, покраснел, надулся и ушел. После этого он ходил несколько дней темный, как туча, уезжал и, наконец, войдя однажды ко мне в кабинет, холодно заявил мне, что нашел себе другое место: у Круговского, недалекого соседа моего, теперь земского начальника.

X

От аренды и земли отказались крестьяне, зато отбою не было от предложений работ для предстоящего лета: за что бы то ни было, только бы получить вперед деньги. Согласны на какие угодно неустойки и штрафы, — явные, допускаемые законом, и тайные (в форме всевозможных хранений, сроков и проч.), — не допускаемые. Кулак, уже получивший свою мзду в виде разницы цен, снимает новую, не сеянную им, но обильную жатву, — словом, все то же, что и до законов о ростовщиках.

И хоть даром отдай землю, хоть даром возьми труд, — ни пользы, ни толку.

Что отвечать всем этим, ломящимся в мои двери за работой? Я думал так. Ведь они не милостыни, они работы просят. Они имеют право не только просить, но и требовать этой работы от общества, государства, частных лиц, и нет выше, нет благороднее такого требования, и нет больше и счастья, как дать эту работу, иметь возможность удовлетворить это самое законное требование. А если еще дать такую работу, которая не только смогла бы поддержать чисто животное существование, но и создать то благосостояние, при котором только и возможно зарождение высших потребностей у людей: дать ту работу, в которой в свое время Фауст нашел такое удовлетворение, что отдал за нее жизнь.

Но возможен ли такой труд?

Мне казалось, что да.

Вот как я рассуждал: рожь, овес, действительно, обесценены, но подсолнух, чечевица, семена трав, травосеяние и связанное с ним скотоводство, семенные посевы всяких вообще хлебов не только не обесценены, но, напротив, щедро оплачиваемый товар.

Так, пуд подсолнуха стоит рубль, чечевицы — два рубля, а семена трав — уже три, пять, семь и девять рублей за пуд.

Овес, рожь, кудель обесценены, но во втором этаже стоят цены непропорционально дорогие: железо свыше двух рублей, канаты пять рублей. Словом, чуть сколько-нибудь культурный труд как в обрабатывающей, так и в добывающей промышленности, и он уже оплачивается

у нас выше, чем где бы то ни было в другой части света.

Но почему же и не идти в таком случае в эту сторону культурного труда? Я знал возражения вплоть до чисто практического: если я привезу свою люцерну на свой местный рынок, то местная акула, скупающая мой овес, мою рожь, только вздохнет и обиженно скажет:

— Нам этого не надо.

Но что же делать? Бросить все и бежать без оглядки из голодной деревни?

Бежать? Но если деревне нужен доктор, учитель, юрист, то еще более нужен тот, кто за ту же поденщину заплатит не двадцать копеек, а рубль, тот, кто научит, как получить тройной урожай, тот, кому для своей и сельскохозяйственной и иной машины потребуется интеллигентный рабочий и не потому только, что владелец машины будет убежден, что образование полезно, а потому, что без образованного работника его машина не будет работать: будь это железная дорога, элеватор, молотилка, сеялка, фабрика, завод.

И я колебался, не зная, что предпринять, когда одно неожиданное обстоятельство положило конец моим колебаниям.

Это случилось в начале весны. Садилось солнце, золотя весеннее небо, громко щебетали птицы, бодрый говор, как гул просыпающегося после зимы улья, несся со стороны деревни. После теплого дня морозная свежесть вечера уже приятно охватывала, манила в комнаты, к камину.

Я отдавал во дворе последние распоряжения, когда вдруг раздался протяжный заунывный вопль:

— По-о-жар!

И сразу тихо так стало, точно вымерла вдруг вся деревня.

Я быстро повернулся к деревне.

В одной из ближайших к реке изб, выбиваясь из соломенной крыши, горело ровное, не толще свечи, пламя.

Я бросился в людскую, распорядился, чтобы везли пожарные инструменты, и побежал на деревню.

Когда, завернув за последнюю ограду сада, я опять увидел деревню, я уже не узнал ее: огонь уже ревел, клу-

бился и огненной черной рекой уже лился по избам, высоким сводом сходясь над улицей. Под этим сводом такими маленькими казались горящие избы. Красные, точно налитые кровью, прозрачные, они так уютно стояли, напоминая собой какой-то забытый, но страшный сон.

Меньше всего это походило на действительность, и в то же время сознание страшной действительности держало мысль в оцепенении.

Там, под этим огненным сводом, прыгали какие-то фигурки и дико кричали. Этот окрик и вопль сливались с сильным и грозным ревом огня.

Было жарко, горячий пепел падал на лицо, руки. Мимо бежали растерянные, озабоченные люди. Все потеряли голову, толкаясь друг о друга.

Бежала Матрена, растеряв где-то детей, держала решето в руках и, бледная, как смерть, причитала:

— Умильная скотинка так и горит... живьем горит...

И вдруг, придя в себя, она, голосом как нож режущим, взвизгнула:

— Батюшки, я ведь Федьку спать уложила!

Но уж кричат:

— Вот твой Федька!

Богобоязненный Федор, всегда такой благообразный, бежал растерянно, как ребенок, разутый, в рубахе, очевидно, со сна, напряженно смотрел своими голубыми глазами и растерянно твердил:

— Сыскал господь, сыскал...

Только Родивон не потерялся. Дикий рев его слышался на всю деревню:

— Тащи лошадь! Завяжь глаза! Глаза завяжь!

Какая-то баба бежала и упала и, лежа на земле, тянет, надрываясь, все ту же ноту:

— А-а-а!

И это «а-а!» на все лады повторяется в диком реве пожара.

Еще не потухли краски заката, еще темнеющая даль была прозрачна и нежна, и розовый запад еще горел, а двух третей деревни уже не стало. Остальная только потому и уцелела, что ветер был не на нее.

Тридцать пять семейств очутились без крова, без последней пищи, без скота.

Дымилось пепелище, черные остовы печей торчали там, где так недавно еще стояли избы; черные, потемневшие фигуры всех этих голодных, холодных окружали меня. Сколько отчаянья, сколько тоски было в них!

В такое мгновение так отвратительна жизнь, если не хочешь помочь.

И я сказал всем этим несчастным:

— Не надо плакать, я дам вам лес, деньги, хлеб, дам работу. Я не буду вас больше неволить и насиловать, живите, как хотите, пока идите, занимайте мои помещения и не плачьте больше!

Но они плакали, бедные страдальцы земли, может быть, и я плакал. Это был тот редкий порыв с обеих сторон к братству, любви, состраданию, когда кажется, что если б охватил он вдруг все человечество, то и горе земли сгорело бы все бесследно, вдруг и сразу в этом огне чувства.

XI

Помощь Князевке требовалась быстрая, а наличных денег у меня было мало. Те же деньги, на которые я уже решил начать свой новый опыт хозяйства, я мог получить не раньше осени.

И поэтому я обратился за деньгами к Чеботаеву.

Правда, он не раз намекал и даже прямо говорил мне, что основное его правило денег никому взаймы не давать, так как это-де всегда портит личные отношения. Но, во-первых, в течение нашей десятилетней дружбы, которую мы торжественно с ним на днях отпраздновали, я никогда не обращался к нему за деньгами, а во-вторых, и теперь обращался не для себя.

Отношения мои с Чеботаевым к этому времени уже значительно охладились.

Причин было много.

Прежде всего он не сочувствовал прекращению моей железнодорожной деятельности.

К моей постановке вопроса о необходимости постройки у нас сети второстепенных дешевых железных дорог по

крайней мере в двести тысяч верст он относился крайне скептически и угрюмо говорил:

— Вы один это говорите. Если бы она действительно нужна была, то что же, вы один, что ли, это сознаете? Все остальные дураки?

Тем менее сочувствовал он обостренной резкой постановке с моей стороны этого вопроса, — постановке, вследствие которой мне пришлось выйти в отставку.

— Александр Македонский, — острил он, угрюмо фыркая, — был великий человек, но стулья-то, стулья из-за чего же ломать?!

Так же мало сочувствовал Чеботаев моим новым колебаниям, — не взяться ли снова за хозяйство, — и сухо бросал:

— Паки и паки не советую... уж раз не послушались... Доводы те же...

Но он окончательно обиделся, когда однажды я объявил ему, что вхожу в компанию по изданию журнала.

— Если б мне предложили, — говорил он раздраженно, — стать вдруг московским главнокомандующим, что ли? Я думаю, я оказался бы очень плохим полководцем. Я думаю, мы с вами столько же понимаем и в литературе. У каждого, наконец, своя специальность, и нельзя же хвататься за все сразу.

Я уклончиво отвечал ему:

— Разные мы люди с вами. Меня тянет вперед, и нет узелка на моих парусах, которого не развязал бы я, а вы свои всё крепите да крепите.

Чеботаев не сразу ответил, сделал два тура и угрюмо самодовольно бросил:

— Пока и не жалею.

Не жалел и я, но, конечно, благополучие Чеботаева являлось более обеспеченным: в крайнем случае он наденет лапти, станет есть редьку с квасом, а все-таки удержит позицию. Другое дело, решение ли это вопроса и какая польза от этого другим?

В ответ на мое письмо о деньгах Чеботаев прислал мне письмо, которое и привожу:

«По зрелом размышлении я нахожу себя вынужденным во имя нашей дружбы отказать вам в займе, так как, во-первых, мое правило не давать взаймы друзьям,

а во-вторых, по моему искреннему убеждению, в интересах вашей семьи вы не имеете и права жертвовать на благотворительность такие суммы».

Первое, что я сделал, прочитав это письмо, было то, что портрет, на котором в ознаменование нашей десятилетней дружбы мы с Чеботаевым были изображены вместе, я снял и повесил, повернув его лицевой стороной к стене. Затем написал Чеботаеву следующее письмо:

«Если дружба дает право на такого рода опеку, то я отказываюсь и от дружбы и от всякого личного общения с вами».

Все дальнейшие попытки к примирению я отклонил, заявив, впрочем, что, не признавая его, Чеботаева, лично, я признаю его и буду признавать, как честного общественного деятеля.

Деньги для князевцев я достал из другого источника, а бревна для постройки изб отпустил из своего леса. Кстати сказать, эта помощь Князевке враждебно взбудоражила всю округу. Дошло до того, что даже в одной из ближайших к нам церквей священник, обсуждая в проповеди мой поступок, доказывал, что лесом я не имел права помогать в силу того, что лес-де по новым лесным законам является скорее собственностью государства, чем частных лиц.

Я священнику этому послал данные, из которых он мог ясно видеть, что в рубке леса я не вышел из разрешенных мне лесоохранительными законами размеров.

XII

Земские начальники у нас вступили в отправление своих обязанностей в очень тяжелое и ответственное время, — в зиму после голодного 1891 года.

Среди земских начальников, как и везде, были и хорошие люди, были и дурные, но самым характерным у всех было полное отсутствие единства действий.

Земский начальник Носилов, образованный, гуманный моряк в отставке, не побоялся выяснить одну из ближайших причин, вследствие которой голод 1891 года так сильно подорвал крестьян.

Совершенно зажиточные крестьяне после аукциона превращались в нищих. Добро их переходило в руки кулаков деревни, этих пиявок — только высасывающих. Городской кулак, при всей своей отрицательной стороне, является в то же время и основателем фабрик, заводов, промышленной деятельности; кулак же деревни только сосет.

Эти пиявки в 1890 году отняли все у населения, причем на долю государства досталась едва ли четвертая часть отнятого, потому что на торгах вещь шла за четвертую и пятую часть своей стоимости.

Носилов в длинном списке указал на всех этих разорившихся, спившихся, бросивших свои семьи.

Одного такого уже сумасшедшего, высокого, с растрепанными волосами, с идиотским лицом, растерянного, качающегося на своих тонких и жидких ногах, я видел. Он испуганно ищет глазами что-то и тихо твердит одно:

— Тёлочка, тёлочка...

Это был богатый, уважаемый крестьянин, глава большой семьи...

В своей практической деятельности Носилов относился к населению с уважением и тактом, без всякого «я», без всяких требований, вроде ломанья шапок или вставанья при его проезде. Он никогда не присутствовал на сходах, не гнул никаких линий, почти не показывался в деревнях, подвластных ему, и только в случаях, когда крестьяне сами обращались к нему за помощью, помогал им, растолковывал законы, указывал пути.

Такой образ действий и дал соответственные результаты, — его уважали. И хотя и в его округе были беспорядки и во время голода, и холерные, и так называемый «коровий» бунт, и беспорядки по поводу обязательного страхования скота, исправления татарских религиозных книг, всеобщей переписи, из-за Красного Креста среди населения полумесяца, но все они обошлись без призыва войска, сеченья, суда и всяких других мер наказаний.

Справедливость, однако, требует сказать, что наряду с Носиловым были земские начальники и другого типа.

Ярким представителем их был Круговской, у которого нашел себе пристанище бывший у меня управляющий, Петр Иванович Иванов.

Круговской был из военных «хорошего тона». Он носил кольца и длинные выхоленные ногти, не боялся никаких тем и начинал всегда мечтательным тоном с оттенком презрения:

— У нас любят из мухи делать слона...

Или:

— Мы, военные, обладаем одним несомненным достоинством: смотрим на вещи просто...

Идеалом его был русский солдат.

— Тот же хам,— говорил он,— приходит в полк мужичье мужичьем и в три, четыре года преобразовывается в человека, которому я не задумался бы дать должность любого пристава,— толковый, исполнительный, грамотный и без завирательных идей, что очень важно.

Круговской многозначительно, небрежно и властно поднимал свой палец с перстнем.

— И вот совершенно определенный путь для деревни,— дисциплина, гимнастика, отеческое отношение.

Это «отеческое отношение» было особенно трогательно в человеке, у которого только пробивались еще усы.

В доказательство своих уже установившихся отеческих отношений Круговской носился с письмом одного молодого крестьянина-пропойцы его округи, из грамотных.

Письмо пошлое, наполненное грубой лестью, кончавшееся подписью: «Ваш негодный и верный раб Алешка».

Круговской приходил в восторг особенно от слов: «негодный и верный раб».

— Негодяй, шельма, но замечательно преданный,— тип Шибанова стремянного. В огонь и воду готов: разнюхать, разузнать...

И Круговской, складывая свои обточенные ногти в кучку, осторожно целовал их острия.

Впоследствии, впрочем, этот самый Алешка «Шибанов» и явился главным обвинителем Круговского в безымянном доносе на имя губернатора.

У Круговского не сходили с языка фразы вроде следующих: «со мной, голубчик, не долго нафинтишь», или: «я сразу вижу», «я сквозь землю вижу», «я по-своему» и т. п. По-своему Круговской распорядился и в деле доставки семян к весне 1892 года.

Я уже упоминал, что, пока земство выдерживало характер в борьбе с голодающим населением относительно общественной запашки, пока, наконец, помирились и запашка была принята,— и семена и рабочая скотина у большинства были уже проедены.

За семенами надо было ехать в город, отстоявший от нас за сто верст, а за нами и еще верст на триста тянулась полоса без железной дороги.

Только ничтожное меньшинство, обладавшее еще кое-какой рабочей скотиной, успело вовремя привезти семена, остальные же возили их еще и в июне.

Когда богатые крестьяне у Круговского привезли себе семена, он приказал ссыпать зерно в свои амбары и собрал сход.

На этом сходе он приблизительно сказал следующее:

— Время пришло тяжелое, и каждый должен помочь, чем может, да и все равно вам по круговой поруке отвечать же придется друг за друга. Ну, так вот: у богатых есть лошади, а у бедных руки. Пусть богатые привезут бедным семена, а бедные заплатят им работой: жнитвом, молотьбой.

Богатые запротестовали. Один из них сказал:

— Нам бедные — братья, что ли? Нам что для них работать? Там жнитво будет ли, нет ли,— может, и своим семейным работы не хватит, такой ли год, чтоб нанимать, да и нанято уже все, что надо было, а сейчас, если мы сморенных голодухой лошадей погоним в город опять, лошади встанут, кем тогда сеять?

— Ну, полно,— презрительно кивнул ему Круговской,— морочь другого, но не меня. Конечно, не охота, да уж, видно, придется все-таки вспомнить бога, и наказание-то нам за то, что его совсем забыли. Забыли, что велел он помогать друг другу.

— Помогать?— грубо огрызнулся возражавший,— так ведь по охоте, чай, а не силой. Вашей милости охота свое добро отдать,— хоть всю землю свою отдайте, коли охота помочь, а неволить нельзя.

Ноздри у Круговского раздулись, но он сдержался и сказал спокойно:

— Ну-с, голубчик, я с тобой долго разговаривать не

буду: староста, посади его за непочтительное обращение на три дня по пятьдесят первой статье.

— За что?

— А вот узнаешь за что, как три дня просидишь, мало? Опять на три дня; до троицы так: сгною... я тебя научу!!

Крестьянин хотел было еще возразить, но только крякнул, и, махнув рукой, тяжело пошел со схода.

Никто больше не грубил, но богатеи все-таки под разными предлогами уперлись и ехать в город вторично отказались наотрез.

— Ну-с, как желаете, господа, но все семена будут ссыпаться ко мне в амбар, и разделятся, когда последний воз приедет из города.

Круговской выдержал характер и только в начале июня разделил семена.

Святой Егорий — надень-сетиво — полтора месяца тому назад прошел, когда зашагали по черным полям тревожные напряженные фигуры севцов в нервной быстрой работе, точно желая догнать Егория, точно стараясь заглушить тревогу души и страх за поздний посев.

— Никто, как бог,— говорили они, тоскливо оглядывая уже чисто летнее, знойное, без облака, небо.

Самые уравновешенные крестьяне, хотя и сбитые совершенно с толку посевом среди лета, старались все-таки убедить себя вопреки очевидной логике вещей.

— Неужели же так зря и сеем! Чать, начальство все-таки понимает, значит, не опоздано.

Но когда и семена не взошли даже и черные поля так и оставались черными вплоть до июльских дождей, то возмутились все и говорили:

— Ну, конец свету: пошло все шиворот навыворот.

А богатеи, в числе двенадцати семейств, сейчас же после сева послали ходоков на новые земли. К осени и все ушли, продав избы и размотав добро.

— С богом, голубчики,— напутствовал их Круговской.

Но и голытьба косилась на Круговского. Донимал он ее помочами, при сдаче земли выговаривал барщину. Посеял исполу гречу, а когда греча не уродилась, он приказал испольникам жать свою рожь.

Но, главное, все обижались за то, что Круговской, выписавший и для себя семена, до прибытия их, высевал те крестьянские семена, которые лежали в его амбаре.

И у Круговского был прекрасный урожай, а Петр Иванович утешал крестьян, говоря:

— Э... все же равно, раньше того, как подвезут все семена, они так же лежали бы, так хоть с пользой полежали в земле.

И с лукавой, снисходительной улыбкой, слюнявя, прибавлял:

— Все равно: бог даст — и в окно подаст, а за барина вам богу молиться надо: он вас жалеет... э... там взяток или там... э... у богатенького там взаймы взять... взаймы, понимаешь? Набрал, где мог, перевелся в другое место, а тот сюда...

И Петр Иванович весь расплывался в блаженную улыбку и уже совсем благодушно махал рукой:

— А ваш барин ничего этого не делает: молиться за него надо... а там, бог даст, и урожай будет еще...

Но бог не дал в тот год крестьянам урожая. Только у крупных землевладельцев да у кулаков был урожай, и хороший урожай, при хороших ценах на хлеб, к тому же и дешевых ценах на рабочие руки, таких же дешевых, как и в предыдущий голодный год.

И крестьяне с завистью говорили:

— Ну, баре нынче против нашего брата на десять лет ходу взяли вперед.

Недалеко от меня поселился какой-то земский начальник из пришлых — Левинов.

Он был из чиновников, по каким-то неприятностям оставивший свою прежнюю службу.

Я только издали видел эту мрачную, сухую, загадочную фигуру, но о действиях его говорила вся округа.

Он выписывал, например, дешевые картинки с соответственным содержанием, рассылал их при бумаге по волостям, приказывая старшинам и старостам продавать их.

Он заводил женские рукодельные заведения для девушек от пятнадцати лет и выше: они ткали ковры, плели кружева — днем и вечером.

Ковры и кружева куда-то отсылались, а на заведения земский энергично собирал деньги с крестьян, главным образом с богатых, но собирал и на сходах. А когда кто отговаривался тем, что у него нет денег, земский выговаривал с него рабочие дни и продавал их богатым крестьянам, мелкопоместным помещикам.

Эту идею он впоследствии развил более широко, составив список недоимщиков и расценив их недоимку в соответствующих работах, кстати сказать, по очень дешевым ценам, назначил день торгов, оповестив о том всех крупных посевщиков округи.

Левинова скоро убрали.

Он как-то быстро и бесследно исчез, оставшись должен землевладельцам, крестьянам, оставив несчастную жену с пятью детьми, с шестым в ожидании, оставив в таком же положении и нескольких девушек-мастериц в устроенных им заведениях, да одну молоденькую учительницу.

В другом роде был земский начальник моего района, в общем, благожелательный человек с университетским образованием, но неопытный. Обижались и на него и за слишком большую энергию в принятии противопожарных мер и за общественную запашку.

Суть общественной запашки в том, что крестьян обязывали (как мы уже видели, незаконно) часть их земель засевать и урожай с них ссыпать в общественные магазины. Этим хлебом должны были погашаться как старые ссуды по продовольствию населения, так и обеспечиваться будущие недороды.

По справедливости, такие запашки следует причислить к мерам, достигающим совершенно обратных целей.

Вот логика вещей.

Разве голод не указал на полное отсутствие каких бы то ни было запасов в населении? Каким же образом, отнимая и без того не хватающую землю для запашки, можно вдруг получить запас?

Далее.

Взять много земли для запашки, что останется для текущих потребностей? Взять мало, что даст тогда эта запашка?

А между тем сколько бесполезного времени терялось на нее. Надо принять здесь во внимание и то обстоятельство, что при плохой обработке вообще земли крестьянами (это не упрек, а факт, источник которого — бессилие, плохая лошаденка, плохая сбруя) общественная работа по качеству своему еще ниже. И вот почему.

Работы на час, а ехать надо в другое поле, — день пропал. Вследствие этого и пашню, и сев, и все работы по общественной запашке крестьянин откладывал на самый конец, и в результате получается всегда запозданная, плохая работа.

— Но зачем же они так делают? — убеждал земский начальник, — пускай и берут на день работы: не сажень, а работу дня — двадцать сажен, а тот, кто семейный, пусть выжнет зато не сажень, а двадцать сажен...

В теории все это выходило хорошо, но на практике всякий крестьянин отбывал свою сажень, теряя на пашню, посев, полку, жнитво, возку и молотьбу своей сажени по дню. И в результате получалось то, что если учесть весь затраченный труд, то пуд хлеба с общественной запашки, стоивший на рынке двадцать — тридцать копеек, обходился крестьянам в два-три рубля...

Надо указать и вот еще на какую несправедливую сторону общественной запашки.

Работа здесь распределяется по числу душ: каждый год с рождением или смертью члена семьи мужского пола и число душ изменяется. И может выйти так: кто брал на одну душу — вследствие увеличения семьи работал теперь больше, чем брал хлеба; так же, как тот, у кого за смертью душ становилось меньше, работал по раскладке наличных душ меньше того, чем брали хлеба.

Нельзя не упомянуть при этом и о злоупотреблениях при продаже такого общественного хлеба.

Какой-нибудь из теперешних радетелей общественного деревенского блага будет энергично возражать:

— Помилуйте, хлеб продается с торгов, заранее оповещается, и прочее и прочее.

Это теория. Практика же вещей говорит иное: хлеб скупается кулаками-стачечниками, и радетель общественного блага знает это отлично. Знает и то, что наличность хлеба в руках продажных надсмотрщиков, и сколько

в действительности этого хлеба,— знает только он да покупщик.

Словом, отвратительна эта общественная запашка во всех отношениях: и как всякая натуральная повинность, и как круговая порука, и как разорительный и в то же время никуда не годный паллиатив.

И крестьяне отлично понимали все это так же, как понимали весь эгоизм в данном случае земства, доведшего их до посева в июне, до второго голода. Понимали и раздражались.

Раздражались крестьяне и заботами нашего земского о мерах против пожара.

Он писал циркуляры, чтобы крестьяне смазывали глиной крыши изб и дворов, и сам ездил и энергично следил за точным исполнением своих требований.

И не успевшие отдохнуть от зимней голодухи, от перевозки семян и весенней пашни лошаденки таскали опять глину, а упавшие окончательно духом крестьяне, с высот крыш своих видевшие свои опять и в этом году черные поля,— апатично смазывали глиной те крыши, которые благодаря гнилой соломе, которую и скот не ел, уцелели, приговаривая:

— Прежде придет, бывало, голодный год, хоть крышами кормили скотину, а теперь и тут шабаш.

А когда ветхая крыша под не принятой в расчет новой тяжестью глины проваливалась, несчастный крестьянин в отчаянии и тоске проклинал и эту работу и день и час своего рождения.

XIII

Холера еще была где-то далеко, а страшные, один нелепее другого слухи уже ходили в народе.

Все невежество масс точно проснулось и рельефно и ярко обрисовалось в этих слухах.

В мирное время крестьяне благодушно будут рассказывать о ведьмах и домовых, а на малейшее сомнение и сами смутятся и, махнув рукой, скажут:

— Бабы, конечно, чего не наговорят.

Но теперь они не хотели больше смущаться и верили.

Вот какой сцены я был свидетелем в июне 1892 года

в деревне, где пришлось мне кормить лошадей при проезде в город.

Было часа два дня. Все нежилось в ярких лучах солнца. Купол неба, точно прозрачный, вторично отражал эти лучи и посылал их светло-голубыми стрелами назад на поля, на пруд, на грязные высохшие избы и дворы деревни. У единственной одинокой ветлы у пруда толпился народ и горячо о чем-то толковал.

Сидя на завалинке того двора, где кормились мои лошади, я смотрел на эту толпу и слушал словоохотливую, нервно-возбужденную хозяйку, которая мне, своему старому знакомому, что-то толковала.

— Зачем народ собрался там?

— Ох, батюшка, такое пошло по свету, такое, что и дедам нашим не приводилось, — что дедам? Сколько ни жил другой, а такого не видал еще... Три сестры из индийской стороны взошли в нашу землю: горячка, холера да чума. Как взошли, никому не известно: кто их пропустил? Вот по деревням и смекает теперь народ: кому надо было их пускать? О-ох! Свет-то куда поворачивается!

Она вдруг с ужасом уставилась в меня.

— Я-то, глупая, что наделала? Рассказала тебе.

Но, так же быстро успокоившись, махнула рукой и весело сказала:

— Ох, да ведь, чать, не погубишь меня, старуху.

Она двумя пальцами обтерла губы и продолжала:

— Ни меня, ни себя губить не захочешь: вот пойди скажи им сейчас, что узнал про сестер, живого не выпустят, удушат, камешек к шейке привяжут и уложат в тот прудик.

— За что?

— Поопасаются, как бы не донес, батюшка — даром, что и знакомый будто барин, да нынче времена такие пошли, что скоро и отец не отец станет.

— Да ведь это глупости.

— Глупости? — наклонилась ко мне старуха, — от простоты твоей глупости это... Какие глупости, когда видишь, чего наделали? Поля видел? — Черные, а лето-то в середине, — в середине лета сеяли — голод опять? В нашей деревне столько народа, а во всей-то земле — ну! Ораву этакую второй год чем кормить станут, когда и в

прошлом году хлеб на полтора рубля выскочил? А тут как три сестрицы примутся — и скачают ненужного народу, чем так же им с голоду опять пропадать. И шито и крыто, и никто и не узнал: кто там виноват, да как, да что: понял?

Я успокоил старуху, сказав ей, что ничего крестьянам не скажу, что подойду к ним так от себя, ничего будто не зная, и, встав, поборая какое-то жуткое чувство, пошел к пруду.

Но, увидев, что я иду, крестьяне не стали меня дожидаться и, быстро перейдя по ту сторону плотины, разошлись.

Потом я несколько раз слышал от крестьян тот же рассказ, всегда передававшийся мне с глазу на глаз, под страшным секретом, и каждый раз на мои доводы, что это ложь, я получал в ответ снисходительное и непреклонное:

— Нет, это уж верно.

И все тот же довод:

— Голод опять?? Так?! Чем кормить? А?!

Напряжение и тревога росли. Приехал как-то ко мне урядник.

— Смута идет в народе: толкуют всякий свое... Человек воротился из Астрахани: «Сам, говорит, видел: рот откроют, набьют ему в рот белого порошка и в гроб, живьем, пока бьется еще, и тащат,— вот как подошло, вот как за нашего брата нынче принялись». Скажешь им: «Да бог с вами!»— оборвут: «С нами-то бог, а с вами кто? черный?..» Начнешь искать человека, который воротился из Астрахани: и пойдут,— тут, там, в той деревне, и нигде никого не найдешь.— И урядник, понижая голос, объясняет:— Видите, как они толкуют: кто, говорят, народ подвел под новый голод? Коли воля была их на это — и на все, значит, воля есть. А другие и не то еще толкуют. Я, конечно, донес становому, так ведь что тут сделаешь? Говорит: не те времена, видишь и не видишь, слышишь и не слышишь...

Легенду о сестрах при приближении холеры сменил более реальный слух:

— Доктора порошками морят народ.

И то же объяснение.

Так, волнуясь, ждали холеру.

А перед самым появлением ее все слухи о ней затихли, как будто забыли о ней.

И вдруг, как громом поразившая всех весть: в Парашине холера.

В той самой чувашской Парашине, где зимой был сплошной тиф.

Опять заволновались, взрыв какого-то животного страха. Страх не перед болезнью, а перед кем-то живым, невидимо ходящим где-то между людьми существом, неумолимым, страшным, которое искало свои жертвы: и чем беднее, тем страшнее было человеку, потому что знал он, что его-то и отметят, как лишнего.

И голытьба пила, и какой-нибудь пьяный дико ревел:

— Какая такая холера?.. Выходи! Не боюсь...

И, шатаясь, он засучивал рукава, вызывая на бой то неумолимое, которое уже жило, уже ходило между ними.

Бедные парашинцы!

Я как-то вскоре после сева ездил к ним и попал случайно на их праздник весны — Уяв, в честь Тура и молодой богини, дочери доброго и великого бога Тура.

Этот праздник весны, этот языческий культ Венеры, эти люди довладимирского периода, в их национальных костюмах, так ярко запечатлелись в моей памяти.

Я, не заезжая тогда в село, поехал прямо к лугу, где происходило празднество.

О страшных картинах зимы не было больше и помину: теперь было тепло, грело солнце, сверкала речка; паровые поля за отсутствием скотины, как ковром, покрылись желтыми, белыми, синими цветами.

От этих цветов пахло нежным ароматом. На веселом лугу кружился хоровод из молодых девушек и парней.

При приближении моего экипажа толпа сперва бросилась было врассыпную, но меня узнал старик чуваш, переводчик, и остановившись, хотя и не совсем уверенно, но ждал меня.

Отбежав поодаль, остановилась и остальная толпа.

— Думали была чиновник какая,— снисходительно приветствовал меня старик.

— А если и чиновник,— пренебрежительно огрызнулся с козел Владимир,—так он съест, что ли? То-то зайцы...

— Ну зайца, — сказал старик,— нынче чувашка не зайца: кто хочешь приезжай...

— А сами от кого хочешь лыжи так и навастривают...

Я смотрел на девушек, все еще стоявших вдали.

На них были надеты род белых длинных рубах, обшитых красным кумачом, перепоясанных красными поясами, сзади спускался род хвостов, а на голове были оригинальные уборы: металлические шапочки вроде тех, что носили древние воины времен Владимира, с острой шишечкой на макушке; на грудь, вдоль щек, от шапочки падали длинные застежки, все обшитые мелкой и крупной серебряной монетой.

В этом наряде молодые лица девушек выглядели свежо, оригинально и сказочно.

— Что, эти шапочки можно купить?— спросил я.

— Нет, купить нельзя, смотреть можно.

И разговорившийся со мной старик ушел к девушкам и, очевидно, стал уговаривать их подойти ближе. Они не сразу подошли, но, наконец, согласились.

Я смотрел, как они подходили: уверенно, плавно, спокойно.

— Смотри,— сказал мне старик.

Подойдя, девушки взялись за руки, составили большой круг и начали петь: это было такое оригинальное и пение и зрелище, какого я никогда не видал. То есть видел на сцене, в балете, в опере. Но это не был ни балет, ни опера, а жизнь.

Большой круг плавно и медленно двигался; девушки шли в пол-оборота, одна за спиной у другой. Один шаг они делали большой, останавливались и тихо придвигали другую ногу.

На сцене это показалось бы, может быть, выдумкой— здесь же был естественен и непередаваемо красив этот хоровод молодых весталок.

Они смотрели перед собой и пели.

— О чем поют они?

— Без слов поют,— отвечал нервно старик,— так будут петь они, когда после смерти пойдут к Туре. Они

будут смотреть прямо в глаза и на голос пойдут... Человек бедный, нет ничего, много грехов... Только на голос, на один голос, без слов пойдут, чтоб простил великий добрый Тура...

Девушки пели, а старик переводчик, он же и жрец, говорил мне:

— Бедные чуваши мы, живем, как можем. Великий Тура весну дал нам, а дочка его нам свадьбы правит. Так и живем мы: пашем землю, круглый год работаем, а весна придет, опять веселимся. Мы любим землю. От нас обиды никому нет. Мы всё весело делаем: работаем, празднуем, а смерть придет — умираем. Так мы живем. А эту вот песню только раз в год весной можно петь: больше нельзя, грех.

Старик говорил, а я слушал.

Иногда громче поднималась песнь среди аромата полей и улетала в небо, сливаясь там с песней жаворонка, нежная тихая песнь о промчавшемся...

Что оперы, что романсы?! Разве передадут они этот аромат вечно молодой весны и нежной тоски о проносящихся веках? Разве передадут они эту песнь народа, две тысячи лет сквозь всю ломку пронесшего с собой яркий образ прежней жизни? Разве можно выдумать такую песнь?

Девушки, кончив, смотрели на меня, охваченные своей песней.

К одной, у которой глаза горели таким сильным огнем, а щеки от контраста с серым металлом ее каски были еще румянее и вся она была ярким сочетанием мира и войны, покоя и возбуждения, огня и холода, подошел стройный парень с черными большими глазами, тоже в белой, но короткой рубахе, тоже обшитой кумачом.

Мужчины чуваши мелкорослы и плюгавы, и красивый парень рельефно выделялся.

— Это мой внук Зораиб; вечером он возьмет ее в жены себе. А это мой второй внук Зораб.

Зораб был моложе Зораиба и обещал из себя в будущем типичную плюгавую фигуру растрепанного, взвинченного, с виду вечно пьяного, но всегда веселого, благодушного чуваша, который вместе с двадцатью такими же будут сперва убегать от нового лица, а потом усердно

наперерыв бросятся выпрягать или запрягать ему лошадей, крича благим матом, без толку суетясь, на все вопросы, как их зовут, расторопно отвечая единственное знакомое русское слово:

— Иван!

Я вынул деньги и отдал их невесте Зорайба.

Глаза старика сверкнули, и он что-то оживленно заговорил. Девушки весело, снисходительно слушали его и, переглянувшись, взялись опять за руки.

Когда образовался круг, две, разорвав его, отвели каждая в свою сторону концы круга, и все сразу опустились на землю.

Они не то встали на колени, не то сели совсем.

И вся эта гирлянда белых и красных цветов, все эти молодые глаза так ласково, непринужденно и приветливо смотрели на меня. Унижения не было и следа — они только приветствовали меня, чужестранца.

Так две тысячи лет тому назад, может быть, слушал какой-нибудь путник, в честь которого пели девушки,— путник, который попал на их и свой праздник. Так мог стоять и мой предок. И, заколдованный песней, я видел теперь то, что скрыто от смертных.

Садилось солнце, мечтательно догорал день, по золотистым небесным полям заката двигались тени, а одинокие тучки туда выше в бирюзовом небе уже вспыхнули и горели прозрачным последним огнем.

И сильнее охватывало меня очарование.

Только снится иногда такое состояние, какое испытывал я,— нежное, непередаваемо сильное, это состояние сна наяву. Проносились времена, или я, дальше и дальше, попав в обратное течение, уносился назад рекой времен.

То небо, те поля неба, и этот круг девушек, и их песня, и я слились вместе в одно, далекое, забытое, что было когда-то и моим...

Я пришел в себя и в ответ на их поклон снял свою шляпу и, от всей души, проникнутый и сам приветом, уважением и признательностью, поклонился им.

Я уехал, но долго еще перед моими глазами стоял нарядный луг с толпой языческих девушек, я все слышал их песнь, и напев ее в моей душе так нежно звучал, что, право, я не запомню, захватывало ли когда-либо что-

нибудь меня так сильно, как эта промелькнувшая картинка из давно забытой эпохи человеческой жизни.

С нами сел и старик чувашин, чтобы показать нам более короткую дорогу.

Даже Владимир, и тот поддался впечатлению и сказал в порыве:

— Да, хорошо...

Но, проехав немного, он повернулся к старику чувашину и сказал с сожалением:

— А все-таки ваша вера пустая, и ваш бог — чурбан, дрянь...

Владимир сплюнул, а жрец рассмеялся и ответил:

— Конечно, пьяница наш бог и с нами водку вместе пьет, зато и держим мы его весь год на задах... Ну, а как весну нам подарит опять, тут мы спасибо ему говорим. А вот Ирик злой: его не надо ругать,— на глаза как раз болезнь пошлет...

Вижу, хочется Владимиру и Ирика обругать, да боится, только губы сжал да гневно смотрит перед собой.

И вот эту милую и бедную Парашину, этот поэтичный уголок весны первую посетила холера.

Вот как это случилось.

Сейчас же после праздника Уяв Зораб и Зораиб отправились на заработки на юг, в степь, где сеют только крупные помещики, у которых предвиделся в этом году урожай.

Верстах в двухстах от своей деревни, в большом торговом пригороде, где уже свирепствовала холера, заболел холерой Зораиб.

Испуганный Зораб положил брата в телегу, закрыл травой и повез его обратно домой.

Зораиб доро́гой умер, и привез Зораб только потемневший, смрадный труп его.

Но дорого было похоронить его по родному обычаю, чтоб не блуждала его тень вечно у входа к Туре, чтоб не взял его к себе злой Ирик.

И Зораиба похоронили, как приказывал закон.

Пекли блины, закатывали в них сальные свечи и бросали собакам. Грызлись собаки, хорошо грызлись, и веселые были похороны. Пьяные напились чуваши, пели песни и с пляской везли тело Зораиба.

Молодая жена Зорайба, Зораб и дед сидели с Зорайбом в телеге, спиной к лошадям.

Хвалили Зораба за то, что верным был братом Зорайбу, и в память мужа жена Зорайба соглашалась стать его женой.

Но на другой день и она и Зораб уже катались в предсмертных конвульсиях.

Похоронили и их.

Много стало умирать и не хватило ни водки, ни блинов, и разбежались люди, кто куда мог, и стала пустая деревня.

Все выше и выше росла трава на непаханых парах. Но не было больше белых, желтых и синих цветов на ней,— сохла она, и уж не трава, а высокий жесткий бурьян стоял, а среди них стояло пустое Парашино, и далеко теперь кругом обходили и объезжали его редкие путники.

В нашем округе холера началась в селе Боровке. Во избежание распространения заразы земский начальник распорядился хоронить не на старом кладбище, находившемся внутри села, а на новом — вне села.

Теоретически он был, конечно, совершенно прав, но при большем опыте провел бы дело иначе. Поручил бы, может быть, священнику, чтобы тот в проповеди растолковал народу все обстоятельно. Может быть, лучше было бы и совсем закрыть кладбище в центре села, начав хоронить всех вообще умерших на новом. Еще лучше было бы, конечно, провести все это одной общей мерой, исходящей из более компетентного источника.

Как бы то ни было, но земский, выбрав надлежащее за селом, на обрыве реки место, огородил его плетнем и даже успел похоронить там одного бездомного старца, умершего от какой-то невыясненной болезни. Настоящей холеры тогда еще, собственно, не было в селе, но вскоре затем страшная гостья появилась.

Известно, что народ наш не любит новых кладбищ.

— Новые мазарки,— говорит он,— новые покойники.

При появлении холеры крестьяне угрюмо заговорили по поводу нового кладбища:

— Накликал-таки.

И крестьяне решили не хоронить холерных на новом кладбище.

Когда умер первый холерный, то жена покойного поступила так: избу заперла, а ключ забросила.

Собралась толпа крестьян у запертой избы и стала рассуждать. Она, эта толпа, не желала прежде всего ничего незаконного. Распоряжение хоронить на новом кладбище, конечно, факт; но факт и то, что покойник заперт. Чтобы достать его, надо сломать замок, то есть учинить дело со взломом — дело беззаконное, а следовательно и творящие его тем самым становятся как бы вне законов.

— Да, ловко баба закрутила,— в веселом похмелье свалившегося горя потряхивали головами те, кому растолковывалась эта хитроумная казуистика.

— Да-а, теперь действительно попробуй только взломать...

Староста растерялся и поехал за пять верст советоваться с земским.

Возвратился староста назад и говорит:

— Велено отвести бабу в земскую квартиру и держать ее там под арестом до тех пор, пока ключа не отдаст.

— Ну что ж,— решила толпа,— под арест, это по закону.

Баба покорно пошла и села под арест.

Сидит день, другой, но ключа не отдает.

Лето, жарко, народ волнуется:

— Этак и без холеры сделают нам холеру... Экое, пра, дело: сами ведь на беззаконие так и лезут, того и гляди, попадешь с ним в беду.

Думали, думали и решили от беды ехать к становому.

Становой пользовался большой популярностью среди населения.

Выслушав ходоков, он обещал им содействие и поехал к земскому.

— Ничего не могу,— говорит наш молодой земский,— раз уж поставлен так вопрос... Попробуйте уломать их.

Поехал становой в «бунтующее село». Собрал сход и начал уговаривать крестьян подчиниться вполне разумному требованию земского.

— Стой, стой,— закричал один из толпы,— а как

же у тебя в Сороках в селе хоронят? Или так: что загон, то закон?

После этого становой поехал опять к земскому и объяснил, что у него в околотке четыре земских начальника и каждый решил по-своему этот вопрос: один ничего не предпринял и все оставил по-старому; другой засыпает могилы известкой; третий — всех больных в бараках увозит и хоронит их из бараков своим распоряжением, ночью; четвертый — наш земский начальник — еще новую меру придумал.

— Ввиду того, что мною же с согласия земского начальника действительно разрешено в Сороках хоронить в селе, я не могу здесь ручаться за дальнейшую безопасность.

— Но как же быть?— спрашивал земский.— Ведь мой авторитет пострадает...

На счастье приехал доктор и для спасения авторитета решили так: земский и становой поедут в бунтующее село; доктор окольными дорогами невзначай попадет в то же село. Земский при появлении доктора сошлется на медицину, а доктор, жертвуя на этот раз авторитетом своей науки, скажет, что можно хоронить и в селе, но только посыпать могилы известкой. Так и сделали. На том и помирились. Так в одиночестве и остался на новом кладбище, обнесенном плетнем, на высоком обрыве реки, безродный старик, вечный памятник мирного исхода дела.

У более решительного и меньше сомневающегося в себе Круговского беспорядки кончились далеко не так благополучно.

Одного из таких беспорядков я был отчасти очевидцем.

Беспорядки у Круговского, о которых я упомянул, произошли прежде всего в большом торговом селе. Среди населения много староверов. Известна их заботливость относительно того, чтобы как-нибудь не осквернить, «не измирщиться»,— своя икона, своя посуда. В случае даже пожара староверы предпочитают, чтобы избы их сгорали, но не поливались бы водой из ведер православных. В кабак придет, пьян напьется, но из своей посудки. Какой-нибудь резонер деревенский пустит такому староверу:

— Вы, что ж, думаете, царствие небесное дураки стерегут? Нажрался, напился, а своя посудка, и прав опять?!

Несостоятельность этой посудки таким образом, с одной стороны и односельчанам их очевидна, но мало ли, с другой стороны, несостоятельных верований на свете?

И раз уж это религиозная обрядность, то хороша ли она, худа ли, но если даже говорить об искоренении, то и искоренять ее надо осторожно и не в разгар таких народных бедствий, как холера.

Но в данном случае и искоренения не было, а так просто неведение. И в результате распоряжение: больных, и православных, и староверов — всех тащить в один барак.

Выполнение этого было передано урядникам, полицейским. Выполнялось грубо, с зуботычинами.

Кто-то кого-то ударил,—крик, шум, и собралась уже всем предыдущим раздраженная толпа. И как раз в базарный день, следовательно, были и пьяные. Приехал Круговской. В задних рядах толпы пьяные ругались. Круговской прикрикнул было, но стали громче ругаться, а передние просили земского уйти, опасаясь, как бы не убили его. И Круговской ушел, но затем уехал в губернский город...

И из приведенных примеров ясно, что многое из того, что приписывалось только народному невежеству во время холерных беспорядков, надо списать с народного счета и записать за счет кого угодно, только не народа.

Невежество, конечно, невежеством, но и в самых невежественных и с виду нелепых действиях народа всегда на долю других приходилась львиная часть.

Вспомним хотя бы так называемый бакинский бунт, где весь бунт заключался в том, что, когда удалось поймать убежавшего полицеймейстера, его привели в собор и взяли с него клятву, что он не бросит город на произвол судьбы.

Таким образом грубости, глупости, невежества, халатности, презренной трусости было более чем достаточно со стороны тех, кто именует себя представителями своего народа. И не тому надо удивляться, что холерный год обнаружил невежество черни,— странно было бы,

если б этого не случилось,— а тому, что он в одинаковой степени обнаружил несостоятельность и нашу.

Всякий слыхал, конечно, нелепые обвинения, что фельдшера и доктора умышленно травят народ какими-то порошками.

С виду действительно, что может быть нелепее этого слуха и сколько надо невежества, чтобы поверить ему?

А между тем вот какой разговор вел я с одним крестьянином уже много времени спустя после холерной эпидемии:

— Упрекают народ, что порошкам веру дают, а ведь так это... Докторов нет, а фельдшера морят... вот хоть мое дело: уморил фельдшер мою дочь, сударь,— не тех порошков дал... Еще раньше двоих другой уморил так же... И следствие было: только и всего, что перевели в другой участок,— других, значит, морить будет... А вот этакая гостья подойдет, и вспомнит народ опять...

Очевидно, следовательно, что в основе народных слухов не только невежество, но и факты были. И важно здесь то, что изменилось ли настолько наше настоящее с недавнего прошлого, чтобы быть спокойным, что это прошлое не повторится?

— Дохтуров не видим, а фельдшера морят...

И кто не подтвердит тот факт, что в районах, где доктора были на высоте, там и бунтов не было. Что доктора! В одном из описываемых мною сел была фельдшерицей девушка, и, несмотря на массу промахов административных и медицинских, только благодаря ее громадной популярности, порядок и тишина не были нарушены.

Уезжая, когда ее провожали и спрашивали, чем она заслужила такое уважение и популярность, она отвечала:

— Я видела в крестьянах равных, совершенно *равных* себе и оказывала им то уважение, какое желала бы, чтобы оказывали и мне.

И не только данная фельдшерица, но и громадное большинство фельдшериц и учительниц пользуются такой же популярностью, и всегда та же основа их популярности: полное уважение личности другого.

И без всяких забот таким образом с их стороны они добиваются того авторитета, к которому так неудачно,

надо правду сказать, стремится наша интеллигенция мужского пола.

Эту сторону пользы общественного труда наших женщин необходимо подчеркнуть: женщины смягчают наши общественные нравы и подают нам пример такта, вежливости, внимания и уважения, без которых в наше время так же трудно, как легко было в дореформенную Россию.

XIV

Мои непосредственные наблюдения над холерой неожиданно прекратились, потому что я сам заболел и провалялся довольно долго.

Касаюсь этого обстоятельства, потому что оно сблизило меня с нашим земским доктором, Константином Ивановичем Колпиным, а через него и с целой группой интеллигентных лиц деревни.

Я заболел в начале августа 1892 года. Накануне, вечером, я только что возвратился к себе в деревню после довольно продолжительной поездки в соседнюю губернию, где особенно сильно свирепствовала эпидемия.

Засыпал я здоровый, довольный, что вырвался невредимым, что приехал, наконец, в такое место, где холеры никогда не было,— это объяснялось особым климатом Князевки,— а проснулся от нестерпимой боли в желудке, со рвотой, с отвратительным желтым,— иначе не могу характеризовать, потому что все было желто в глазах и ощущениях,— состоянием моего вдруг сразу расслабившегося организма.

В открытое окно донесся испуганный крик горничной:

— Дядя Владимир, барыня приказала ехать за доктором.

И голос Владимира, спокойный, ленивый:

— Еще что?

— Барин заболел.

Пауза и новый вопрос недовольным тоном.

— На каких лошадях?

Голос жены:

— В коляске на выездной тройке.

— Слушаю-с.

И погодя опять голос горничной, очевидно, уже вдогонку:

— Дядя Владимир, барыня приказала поспешить!

— Ладно,— ответ Владимира,— барин там жив или нет будет, а за лошадей кто ответит? Раньше как через двенадцать часов не ждите,— лошадей кормить там буду.

Должен сознаться, что, когда начались припадки, я струсил и упал духом; эти же слова Владимира как-то сразу возвратили мне полное душевное спокойствие. Если можно так выразиться, принимая мое тогдашнее состояние во внимание, мне даже весело стало от этой откровенной и ясной логики вещей.

Владимир выдержал характер и действительно явился с доктором ровно через двенадцать часов.

Все уже это в то время было мне, впрочем, совершенно безразлично. Я ощущал только одну невыносимую боль от судорог, ощущал одно желание, какой бы то ни было ценой, но чтоб окончились эти боли... Как сквозь запертую дверь, я слышал страстные, убеждающие возгласы чужого мне человека:

— Это надо, необходимо надо... Если бы вы только сделали еще одно усилие...

Ко мне наклонялся высокий худой человек, с маленьким, как кулачок, лицом, то молодым, то старым, когда оно сбегалось вдруг все в мелкие морщинки. Тогда через раскрытые губы его была видна дыра отсутствующего переднего зуба, а большие золотые очки делали лицо его еще более маленьким и старым. Что-то изжитое, болевое, горькое бывало тогда в этом лице.

Я знал этого человека; это был доктор Константин Иванович Колпин, уже десять лет, прямо с окончания курса, живший в нашем околотке.

Я знал его и раньше болезни, но он как-то не вызывал к себе интереса. Робкий, деликатный, точно испуганный или ищущий, и он молчал о себе, и о нем никогда никто не говорил.

Собственно, болезнь моя прошла довольно скоро, но силы восстановлялись медленно, и долго еще не оставляло меня тяжелое апатичное состояние.

В этом периоде доктор довольно часто навещал меня,— мы узнали ближе друг друга и сблизились.

Он оказался образованным человеком, с определенными взглядами на жизнь, хорошо знакомый с нашей литературой, с ее господствовавшими направлениями.

Наряду с этим совершенно удовлетворительным впечатлением, какое произвел на меня Константин Иванович, чувствовалось в нем и какое-то бессилие, что-то надломанное. Чувствовалось сознание этого и приниженность от этого сознания.

Многое объяснил мне один эпизод из жизни доктора, рассказанный как-то им самим.

Он кончал тогда гимназию. Сын бедных людей из мещан, робкий, забитый нуждой и жизнью, он учился и давал уроки, на которые и содержал себя, отца и двух сестер.

И вот нежданно-негаданно свалилась на его голову беда.

Сосед его во время урока бросил в учителя ком жеваной бумаги. Учитель указал на Колпина, как на виновника, потому что он, учитель, будто бы успел заметить боковым взглядом движение руки Колпина. Колпина исключили.

Никто не сомневался, что бросил сосед Колпина, Ушков, но фактов не было. Ушков, сын богатого купца, наотрез отказался признать свою вину, как ни просил его Колпин. Колпин обращался к отцу Ушкова с просьбой повлиять на сына, но и тот отказал ему.

— Могу поверить,— сказал он,— и доверяю даже вполне, что мой балбес только и мог это сделать; но если, упаси боже, он сознается и его исключат, убью, собственноручно убью. А ежели вы вину на себя примете, то имеете получить от меня двадцать пять рублей на выезд из города.

Тогда в отчаянии Колпин перед всем классом бросился перед молодым Ушковым на колени, до тех пор рыдая и умоляя его признаться в своей вине, пока не потерял сознания от своего первого сердечного припадка.

Ушков не выдержал и признался. Ушкова исключили, Колпина приняли обратно, а Ушков в тот же день повесился в конюшне своего отца.

Какой след оставила вся эта история на Константине Ивановиче, можно судить по тому, как он передавал ее.

Во все время рассказа он был так подавлен, растерян, как будто снова все это переживал.

Та внутренняя преобладающая забота души, которая сидит во всяком человеке, от нравственного качества которой зависит выражение лица человека, выступила на лице его рельефнее: то унижение, которое он пережил, вымаливая себе право на жизнь, то угнетение духа, придавленность, страх жизни, рана сердца от щемящего сознания вины, сознания, что и самый добрый человек своею жизнью уже заел чью-то другую жизнь... И одну ли?..

По мере того как узнавал я нашего доктора, эта характерная черта его — сознание своей вины — вырисовывалась все ярче и в более широких размерах. Как-то болезненно чувствовалась она у него постоянно, в общении со всеми, точно каждый, кто приходил к нему, уже был его судьей, захватившим его врасплох, и все спасение его, доктора, заключалось только в том, чтобы как-нибудь умилостивить этого своего судью.

В конце концов вся округа стала этим неумолимым судьей, на которого и работал он, доктор, не покладая рук, все больше и больше подрывая свое здоровье. И сильнее получалось впечатление надломанного и только краешком приросшего цветка.

XV

— Ну-с,— сказал мне однажды Константин Иванович,— теперь вы здоровы, можете выходить. Завтра мое рождение,— милости просим ко мне.

На другой день я поехал к нему.

Это был мой первый выезд после болезни.

Владимир радостно приветствовал меня с козел и поздравлял с выздоровлением.

Чисто с принципиальной точки зрения я заметил ему, что он менее других был виноват в том.

— Ну, что там еще вспоминать, барин,— ответил мне пренебрежительно Владимир,— слава богу, здоровы и вы, и лошадки целы, вы же ездить будете, а то загнал бы...

И мы поехали, и я с жадностью выздоровевшего переживал опять радость сознания, что живу.

Была уже осень. Ясная, светлая, с пожелтевшими листьями, лазоревым небом, зеркальными прудами осень.

В поле редко уже встречались запоздавшие фигуры крестьян, и, напротив, в деревнях все были видны на улицах в спешной работе осеннего ремонта: починяли сани, крыши, возили дрова, лес, молотили на токах. Большинство, впрочем, уже обмолотилось, так как урожай и в этом году был очень плохой.

Но лица крестьян, хотя и угрюмые, не имели той печати ужаса, какая была в прошлом году: уже знали, что опять будут кормить.

Село, где жил Колпин, находилось верстах в тридцати от меня.

Дом Колпина расположен был сбоку села, на пригорке.

Два-три тощих деревца, задавленные бурьяном, печально торчали из-за полуразвалившегося палисадника; в настежь раскрытых воротах виднелся грязный двор крестьянской конструкции с навесами и плоскушами.

Собственно, и дом самый был не что иное, как та же крестьянская изба, немного повыше, немного пошире с балконом в палисадник.

С этого балкона открывался вид на все село, на церковь, на противоположный высокий гористый берег реки, где повыше расположилось сельское кладбище.

Маленькие три комнатки доктора были полны народом.

Кроме взрослых гостей, было множество детей и чисто одетых, с претензией, и простых крестьянских детей, оборванных и грязных.

Доктор то ходил между своими маленькими гостями, обнимая то одного, то другого, то подсаживался к тем из них, которые рассматривали книжки, объясняя и смеясь, причем вокруг его глаз сбегалось множество морщин, а он, сутуловатый, пригнувшийся, трясся от тихого давившего его смеха.

Когда входили новые дети, доктор вел их к столу, на котором стояли орехи, пряники, карамель, а в столе лежали дешевые игрушки.

Гости, и взрослые и дети, чувствовали себя налаженно.

Комнаты не вмещали всех, и, накинув пальто, некоторые из гостей сидели на балконе, по двое на одном стуле, обнявшись, и пели.

Собравшиеся у балкона и во дворе у окон крестьяне слушали, смотрели, а иной входил и в комнаты: постоит и уйдет или подойдет к дешевой олеографии, висевшей на стене, и начнет рассматривать ее.

Гостей угощали родственники доктора: старик отец, одетый бедно, как одеваются простые мещане, сестра его, жена ветеринара, и сестра девушка — молоденькая, хорошенькая учительница, в которой Константин Иванович души не чаял.

Для угощения в углу стоял особый стол с винами, водкой и закуской. Около стола оживленно толпились гости.

Общество составляли: фельдшера с семьями; учительница местного села Татьяна Васильевна, героиня лучшего романа из человеческой жизни, идеальной прекрасной жизни с двадцатипятилетним трудом; ее знакомая учительница из соседнего села; молодой учитель; матушка, румяная, полная, нарядная, по прозванию розовая; лесничий большого имения, Карл Карлович, завсегдатай всех собраний, первоисточник всех новостей округи; писарь; несколько мелких землевладельцев; разного рода полуинтеллигентные разночинцы, выбившиеся из деревни же, крестьяне, мещане, ищущие уже не физического труда.

Многих из них я знал и раньше,— одних встречал у Колпина же, другие являлись просить какого-нибудь места, предлагая свои услуги за меньшую цену, чем если б они являлись в роли разного рода мастеровых.

Знал я их робких, забитых, старавшихся, если и было у них сознательное отношение к жизни, спрятать все это подальше, выставляя на вид только свою немощь, свою неприспособленность к окружающей их жизни.

Но здесь, в гостях у Колпина, люди эти, очевидно, чувствовали под собой почву, чувствовали себя людьми, имеющими право жить, думать, рассуждать.

И они рассуждали, говорили и о своих делах, и о делах крестьян, о земстве, земских начальниках.

Близко стоящие ко всей мелкой деревенской жизни, в значительной степени не удовлетворенные, они старались разобраться и отыскать корень зла.

Я заметил доктору, что еще несколько лет тому назад, когда я был у него, все это общество держало себя иначе. Я видел в этом прогресс жизни.

— Отчасти, конечно, да, но главная причина, мне кажется, в том, что они познакомились с вами больше: познакомились не как с помещиком уже, а как с писателем, своим человеком в некотором роде, которому полезно раскрывать карты.

— Они следят, значит, за литературой?

— Несомненно; многие из них корреспонденты газет.

Доктор указал мне на одного крестьянина, с окладистой бородой, в русской поддевке, с ласковыми голубыми глазами.

— Он самоучка, любит историю, большой идеалист, не оставляя хозяйство, читает, пишет в газетах, механик-самоучка — изобрел велосипед, между прочим. Сын у него подает большие надежды: литературный талант.

Крестьянин заметил, что разговор у нас с доктором идет о нем, и взволнованно, напряженно насторожился.

— Ах, очень приятно,— торопливо заговорил он, когда мы с доктором подошли к нему, протягивая мне руку по-купечески, как-то сверху вниз, — мы много наслышаны и даже прочитали ваше описание деревни...

Мы сели с ним, и он торопливо заговорил:

— Очень приятно. Я тоже вот пописываю в газеты относительно нашего житья-бытья: о пьянстве, разврате, о нужде. Оно, конечно, слов нет, польза может быть и от земского, если хороший человек и дело наше знает. Вот, если б их выбирали, а то угождает всякий. На днях только вот в самый сев вызывает за двадцать верст сорок человек и по пустому делу, там — скотина потоптала экономическую озимь. И сам говорит: «Дело пустое,— вызываю, чтоб проучить». В страдную-то пору, когда день год кормит: при мировых не было этого.

— Мировые не были судьями и администраторами,— заметил я,— только судьями,— политика не входила в их сферу.

— Или вот,— продолжал крестьянин,— нашего ста-

росту и сотского вызвал за тридцать верст да и посадил на три дня за то, что без спросу ушли к соседнему землевладельцу, а землевладелец в свою очередь этих оштрафовал за то, что не выполнили взятую работу. Вот и насчет религии: язык славянский непонятный и духовенство. Вот если б, как в первые века, и их выбирать. Вот я вам пример какой приведу. И очень даже интересный, вы, пожалуйста, послушайте.

Мой собеседник, Иван Архипович, вынул платок, прокашлялся в него, торопливо спрятал его опять в карман и, пригнувшись, с удовольствием и расстановкой, делая сильные ударения на о, заговорил:

— Живет у нас женщина Дарья. Вдова она. Лет ей уж, видно, под сорок, но здорова и в работе, можно сказать, первая баба. Но зато и в других делах нечего греха таить: ну, одним словом... четырех ребят нагуляла. Двоих и сама не знает от кого, а последних от нашего же мужика Егора. Мужик женатый, от своей бабы у него четверо. Баба его большое горе приняла от этой самой Дарьи, говорят, от Дарьи и смерть приняла. Я не полагаю этого; просто тоска — жизнь не мила стала. Ну, одним словом, баба померла, и остался Егор с четырьмя малолетками да стариком отцом, да все с той же Дарьей и ее четырьмя. Дарья живет бедно, беднее чего и быть не может: детишки милостыню собирают. Егоровы же дети у Егоровых детей Христа ради просят. Известно, гадится ребенок, что дальше, то хуже,— прямая дорога, как вырастет, в острог: вырастет, узнает все, благодарить отца будет. Нехорошо все это. Сам Егор, грех сказать, мужик хороший: только вот эта слабость с Дарьей. Казалось бы, чего проще: померла хозяйка, жениться на Дарье, да вместе и замаливать свой грех. И работница Дарья за троих. Так и порешили они с Егором, да не так решил батюшка. «Ты, говорит, женщина непутная и дети твои набалованные,— зло покойнице при жизни делала, хочешь и после смерти на ее детях вымещать? Под сосной венчайтесь, а я вас венчать не стану». Не стану да не стану. Слов нет, может быть, и верно он говорит, да что же делать? Мужику без бабы никак нельзя: покорился попу Егор, отыскал в другом селе невесту, хорошую, тихую, не так, чтоб молодую, ну так ведь и сам-то сам-шесть.

Приехала невеста на смотрины — честь-честью, а тут Дарья поленом дрясь в окно: все стекла выбила. Выбила и говорит: «Вот это вам для начала, мало,— сожгу, а если повенчаетесь, снесут туда же, куда и первую унесли». Невеста из избы вон. И больше уж нет охотниц за Егора идти. Выбился мужик из сил: завшивел сам, дети завшивели. Все село, сами родные покойной уже стали просить батюшку обвенчать Егора с Дарьей. Нет! Конечно, худо и так и этак, а только что дело это ведь их да божье, бог бы и рассудил их, а людям бы не след мешаться. Оно, конечно, ко благу будто, да ведь и в крепостное время — все ведь будто как ко благу, да вот отставило правительство опеку, нашло, что и своим умом может прожить человек на свете.

Иван Архипович замолчал, но не надолго. Рад, что дорвался до человека, который слушает его.

Он энергично повернулся ко мне и, смотря в упор, продолжал:

— Случай верный, и ни одного слова в нем неправды нет. И все знают этот случай, и человек этот сейчас жив, хоть сейчас и человеком его назвать не приходится, а прямо хоть жми с него водку. Трех лет его наши мужики привезли из лесу. Рубили дрова в лесу, глядь, выходит из лесу мальчик. Чей — неизвестно. Так и по сю пору неизвестно. Был слух, что приезжала какая-то баба с мальчиком, бросила ли, потеряла... Привезли мужики мальчика в деревню, так и жил он с тех пор, как приблудная собачонка, по избам. С десяти лет сдали его миром в подпаски, и стал он гонять свиней. Вырос, сам пастухом стал. Приписали его к обществу, стал крестьянином. Охотник до церкви был, выучился у дьячка грамоте. В нашей стороне раскольников много. Приехал раз миссионер, и назначили к нему в услужение безродного этого самого, из лесу. Дальше — больше, стал миссионер брать его с собой на беседы с раскольниками, а потом и одного уж стали посылать. И так он знал святое писание, что раскольник ему текст, а он ему три. Так что ж вы думаете? Экзамен сдал на миссионера, а года через три этот начальник его миссионер выхлопотал ему место попа в Уральске к казакам; они все там раскольники. Ну и вот, мир не отпустил. И раньше завидовали: «Что

такое, свиной подпасок выше нас хочет быть?» Всякую каверзу ему делали,— в холерный, лет десять назад, год чуть не убили его за то, что полиции помогал больных разыскивать... Не пустили... Насчитали на нем недоимки шестьсот рублей: заплати, тогда и иди на все стороны... Просился на рассрочку — не пустили. Стал пить,— теперь пьянее его и на селе нет,— без просыпу, валяется по кабакам да под заборами, а те радуются: «Хотел больше нас быть — последним стал».

Иван Архипович круто оборвал:

— Извините, пожалуйста, заговорил я вас. Как начну, ведь не удержусь, а этого ведь никогда не кончишь Лучше уйти...

И он быстро ушел от меня в другие комнаты.

Его молча проводил глазами маленький господин с испитым лицом, вздернутым задорно носом, и, заложив руки в карманы, уверенно подошел к высокому, широкоплечему, сухому и сильному человеку в рубахе косовороткой, поверх которой был надет поношенный пиджак.

— Ну, что, Ваня,— лениво проговорил маленький,— выпьем, что ли...

— Выпьем,— согласился высокий, и оба пошли к столу.

Они выпили, закусили и отошли к молодому человеку, одиноко сидевшему недалеко от меня.

— Шурка, не грусти,— хлопнув его по плечу, присаживаясь, сказал высокий.

Присел и маленький.

Молодой человек в ответ кивнул головой и добродушно сказал:

— Ладно, не буду. Давай так условимся: я грустить не стану, а ты водку брось пить.

— А мне что? Только и всего, что бросил.

— Бросил? Честное слово?

— Говорят тебе, бросил.

— Нет, честное слово?

Высокий махнул головой и пренебрежительно ответил:

— Честное слово.

— А я с кем же пить стану?— спросил маленький.

— А ты тоже брось, ей-богу,— посоветовал молодой человек.

— Ладно, пройдет это с вами,— ответил маленький.

— Кто эти?— спросил я у доктора.

— Этот вот маленький,— начал объяснять мне подсевший ко мне доктор,— фельдшер Петр Емельянович Снитков, этот юноша — учитель Александр Владимирович Писемский, а этот высокий — агроном, управляющий одного здесь имения, Иван Андреевич Лихушин. Все трое друзья-приятели. Лихушин и Писемский фигуры очень интересные для вас, как для писателя, так и для хозяина: Писемский — учитель с огнем и верой в дело, Лихушин — прекрасный агроном, теоретик и практик, и тоже влюблен в свое дело. Человек больших способностей. Он уже несколько лет хозяйничает здесь в одном имении, но, к сожалению, владельцы его народ обедневший и, как все здесь, не верящий в высшую культуру.

Агроном по образованию и к тому же практик — этого в наших местах я еще не видал ни в земстве, ни в частных хозяйствах.

И так как я уже решил приняться снова за хозяйство, и хозяйство культурное, то понятно, что такой человек, как Лихушин, сочетавший теорию и практику наших мест, заинтересовал меня.

Я попросил доктора нас познакомить и через несколько минут уже сидел возле них.

— Скажите, пожалуйста,— спросил меня, когда я подсел к ним, для начала маленький фельдшер, закладывая ногу за ногу и теребя свою бородку,— вот мы прочли ваш очерк нынешней зимой «Несколько лет в деревне» — это ваше первое произведение?

— Первое.

— Что ж это вы так поздно надумали взяться за перо? Интересно в вашем писанье то, что вы пишете из действительной жизни. Собственно, жгли вас, как я понял, за то, что вы мешались в жизнь крестьян, хотели устроить ее по-своему, как вам лучше казалось... Вам, а не им,— улыбнулся фельдшер, тыкая в меня пальцем.— Ну и что же, какой же вывод получился у вас теперь?

— Я не мешаюсь больше,— ответил я,— в жизнь крестьян.

— Да,— заметил Петр Емельянович,— крестьяне, положим, и сами говорят это... на базарах даже хвалятся: «Проучили мы, говорят, княжеского барина,— рубаха, а не барин стал...»

Все рассмеялись; рассмеялся и я.

— А затем,— продолжал я,— я решил заниматься снова хозяйством.

— Хозяйством выгодно заниматься,— ответил Лихушин,— если есть деньги, если поставить хозяйство на научных основаниях, следить за последними требованиями рынка, тогда нет выгоднее этого дела, а так, как мы вот, по-мужицки...

— Но если все опять займутся таким делом, то опять будет убыток,— заметил Петр Емельянович.

— Будет хорошее хозяйство,— наставительно ответил ему Лихушин,— будет хлеб, скот, будет богатство вместо нищеты.

— Ну, тебе виднее,—кивнул фельдшер. И сказал по поводу проходившего доктора:

— А нехорошо выглядит наш доктор. Да где ему и выглядеть хорошо? Vitium cordis в полном разгаре.

— А ты не пугай,— заметил ему Лихушин,— говори по-русски.

— Порок сердца,— перевел фельдшер.

— Наследственный или благоприобретенный?

— Нажитой... Нельзя было и не нажить,— этакую семейку вытащить на своих плечах, урочишками, да и сейчас всякого народу, которого тащит еще больше... Там мать, помирая, просила не оставить сирот, школьные ребятишки, вот Настюша воспитанница в гимназию уже ходит. Так все жалованье между рук и проходит... Да и велико ли жалованье? Больной приедет: себе хлеба, лошади сена... «Константин Иванович, слышь, сенца-то беремя лошадке-то возьму у тебя?» — «Бери, если есть». Ведь продал лошадь, потому что отказать не может, а из-за одной лошади расход такой пошел на сено... Лошадь бросил держать, а есть не бросишь; кто ни попросит: «Бери».

XVI

Поговорить с Лихушиным относительно хозяйства так и не пришлось в тот раз. Мы только условились с ним, что я с доктором как-нибудь на днях побываю у него.

Вскоре мы с доктором действительно навестили Лихушина и учителя.

Сами хозяева никогда в этом имении не жили. Когда-то владельцы эти были очень богатыми людьми, и клочок земли в две тысячи десятин не представлял для них никакой цены.

Но главное имение с оранжереями и садами было продано, продавались один за другим и придатки, пока не остались только те две тысячи десятин, на которых хозяйничал случайно попавший к ним Иван Андреевич Лихушин.

Иван Андреевич, приехав несколько лет тому назад, застал только избу караульщика.

Все это доро́гой рассказал мне доктор.

— Ну, вот и Апраксино,— сказал доктор, когда мы взобрались на последний пригорок.

И сразу почувствовалось что-то иное, совершенно отличное от тех тощих полей осени, которые мы оставили за собой.

Имение начиналось живописной местностью — перелесками.

Поля между этими перелесками, по которым извивалась наша дорога, несмотря на осень, ярко зеленели. Белые стволы берез на этой зелени казались еще белее. Свежестью дышал молодой расчищенный лесок и эти поля, и самый закат, казалось, задержался здесь на ярком фоне.

Скоро, впрочем, опять потянулись обычные темные поля осени.

Я сперва принял зелень за озимь.

— Это люцерна,—сказал доктор.

Та люцерна, которую столько лет я пытался и бесплодно развести у себя. Люцерна — одна из нот громадного клавикорда культурного хозяйства.

Мы уже подъезжали к усадьбе.

На совершенно ровной местности, около пруда, своими размерами напоминавшего тарелку, возвышалось с этой и той его стороны несколько простых одноэтажных деревянных построек.

— По ту сторону,— говорил мне доктор,— приемный покой, школа, а сюда ближе экономические постройки.

Там около школы и больницы виднелась зелень молодого сада и даже клумбы с осенними цветами. Здесь же около экономических построек все было серо и даже грязно.

Мы въехали на обширный двор, примыкавший прямо к пруду.

Флигель, изба, еще какие-то постройки из осины, уже принявшие грязно-серый цвет, торчали там и сям во дворе в каком-то странном беспорядке.

Торчали так, словно вызвали их, поставили и забыли потом о них.

Рабочий вывел из-под навеса жеребца — сухого, сильного, с раздвоенным задом.

— Это его арден,— сказал доктор и крикнул рабочему: — А что, Иван Андреевич дома?

— Нет, дома нету,— в поле.

— А учитель?

— Учитель должен быть в школе.

— К нему поедем?— спросил доктор.

— Ну что ж, к нему.

Писемского мы застали в школе, окруженного ребятишками.

Школа была отстроена, что называется, начерно и состояла из четырех комнат: собственно школы, мастерской, комнаты учителя и смежной с ней переплетной.

Самая большая была школьная комната, высокая, светлая, со множеством окон.

Осеннее солнце, заходя, приветливо красноватыми лучами играло на стенах, на полу, на детских головках.

Во всей обстановке чувствовалась налаженность, уютность, равновесие. Напрашивалось сравнение со стадом и опытным пастухом, расположившим вокруг себя это стадо.

— Батюшки, кто приехал,— весело сказал учитель, увидев доктора, а когда за доктором показался и я, он смущенно прибавил:— Да, и вот еще кто...

Мы пожали друг другу руки, и учитель сказал, обращаясь к детям:

— Ну, делайте, что хотите, а мы вот с гостями уйдем ко мне чайничать.

— Ладно,— ответило ему покровительственно несколько голосов.

После этого, как будто неохотно, учитель обратился к нам:

— Ну, милости просим ко мне, господа... Уж не взыщите только — живем плохо...

— А вот увидим, увидим,— сказал доктор, входя в его комнату и, по привычке к низким дверям, наклоняя голову.

— Насчет этого без опаски,— усмехнулся Писемский, заметив движение доктора.

Большая комната учителя имела очень мало мебели: кровать, стол, два стула да шкаф некрашеный, еще не остекленный, весь наполненный книгами.

— Библиотека вот недурная,— без малого всю Иван Андреевич пожертвовал нам...

Библиотека действительно оказалась недурная. Кроме детских, было много книг, которым позавидовал бы любой интеллигент.

Я выразил по этому поводу удивление.

Писемский рассмеялся и ответил:

— На днях земский заехал тоже попить чайку и тоже обратил внимание на библиотеку. Теперь и побаиваюсь.

— Это уж новый, Горянов?— спросил доктор.

— Он,— лаконически кивнул головой учитель.

— Кажется, симпатичный?— спросил доктор.— Говорит о прогрессе.

— Вот увидим,— уклончиво ответил учитель,— садитесь, господа.

Мы с доктором сели на стулья, учитель на кровать.

— Иван Андреевич как?— спросил доктор.

— Мучается,— усмехнулся учитель.

И, помолчав, нехотя, заговорил полусерьезно:

— Да ведь в самом деле: ведь это богатырь, размах

какой... Горы бы ему ворочать, а вместо этого игрушечные размеры каких-то жалких попыток с людьми, которые не понимают и не хотят понимать...

Молодой безусый Писемский, светлый блондин, горбился, постоянно смущенно проводил по своим коротко остриженным волосам и старался казаться старше своих лет. Он говорил тихо, убежденно, слегка нараспев. Но иногда вдруг сразу слетал с него серьезный тон, и он улыбался по-детски, удовлетворенный и счастливый.

Он застенчиво спросил меня:

— У вас теперь, кажется, нет школы?

— Собираемся строить.

— А учитель есть?

— Нет еще. У вас школа ремесленная?— спросил я в свою очередь.

— Да, только средств мало, а ребятишки охотятся.

— Какие у вас ремесла?

— Да теперь пока переплетная,— я сам учу,— столярная. Иван Андреевич хочет с весны завести образцовые поля, да не знаю, как владельцы: денег у них уж очень мало,— ничего почти не дают на школу,— так из ничего и делаем, Иван Андреевич больше на свое жалованьé.— Учитель пригнулся, хихикнул и развел руками. — А так можно было бы; есть замечательно способные, да, главное, охотятся,— все, положительно все.

Он помолчал и продолжал:

— Вот пчеловодство начали: Иван Андреевич раскошелился — дадановский улей нам выписал.

Он опять рассмеялся, вытянул руку и размашисто ударил другой по ней.

У людей, преданных своему делу, особая манера говорить, особый голос.

Как-то сразу это чувствуется, сразу заинтересовываешься их делом. Мелочь, мимо которой прошел бы и не заметил, в таком освещении становится яркой и красноречивой.

Как у хорошего повара из самой простой провизии выходит вкусно и аппетитно, так и у Писемского было уменье, была способность придавать вкус и аппетит своему делу. Делалось это как-то незаметно, само собой.

Через полчаса мы уже чувствовали себя здесь своими людьми.

В соседней комнате, отделенной от учительской только легкой переборкой, уже давно слышалась какая-то возня.

Учитель все время прислушивался и иногда улыбался про себя. Он не выдержал наконец и, подойдя к дверям, с нескрываемой улыбкой удовольствия посмотрел в открытую дверь. За ним заглянули и мы.

Учитель весело прошептал:

— Ишь, шельмецы...

В соседней комнате на столе кипел только что поставленный громадный самовар. Кипел весело, энергично, выпуская во все отверстия пар. Вокруг самовара суетилось несколько подростков учеников.

Один заваривал чай, другой держал рукой кран самовара, чтоб запереть его вовремя, третий расставлял чашки, а один, откусив здоровый кусок полубелого хлеба, жевал его энергично, взасос. Еще один, ни на кого не обращая внимания, лежал на кровати и читал какую-то книгу.

Заметив учителя, а главное, нас сзади, все смутились.

Учитель тихо объяснял нам:

— Это они из заработка кутят; тут из соседней экономии работу переплетную давали.

— Хлеб-то хороший?— спросил он у того, кто уплетал его большими ломтями.

— Хороший,— с полным ртом хлеба отвечал мальчик.

— Ну, ешьте и пейте, а напьетесь, к нам тащите самовар...

— А ты бери, что ль, теперь его, Шурка,— предложил маленький с острыми глазками мальчик.

— Ну, ладно,— ответил учитель,— мы сейчас еще не станем, дождемся Ивана Андреевича.

Учитель затворил дверь и заговорил, ни к кому не обращаясь особенно:

— Казалось бы, прямая выгода всем землевладельцам лично для себя заводить школы: ведь новая культура неизбежна, и нужны новые работники. Главным образом тут не идет у Ивана Андреевича дело не потому только, что не дают, не веря в эту культуру, ему денег, а потому, что и соответствующих рабочих нет: там машину сломал,

там лошадь опоил, там корову упустил в мирской табун... то все, что здесь, конечно, еще пустяки, а если всю новую картину взять,— без новых людей откуда она возьмется? И положение такое, что приходится не дело делать, а тратить время и силы на то, чтоб Христа ради собрать, или хозяина земли убеждать в его же пользе. По подписке на постройку школы собрали, на счет Ивана Андреевича обставили — только лес барский.

— Вы много жалованья получаете?

— Восемь рублей и месячное.

— Владельцы платят?

— Владельцы месячное выдают, а жалованье из церковно-приходских сумм.

— Это церковно-приходская школа?

— Да. С одной стороны, в ней, конечно, больше свободы, чем в земской.

— Неужели?

— Гораздо больше,— мрачно, как эхо, повторил, входя в это время, громадный, широкоплечий Иван Андреевич.— Конкуренция у них с земством, а прав смотреть сквозь пальцы больше...

Там у доктора среди гостей размеры Лихушина скрадывались. Здесь он вырисовывался во весь свой рост, сильный, стройный, широкий в плечах, сухой и жилистый. Карие большие глаза напряженно смотрели из глубоких орбит, нижняя губа как-то пренебрежительно выдвинулась вперед. В то время как мягкая бородка и вьющиеся на голове волосы придавали всему лицу что-то молодое и нежное, энергичный сдвиг бровей сильный загар, глухой голос, напротив, производили впечатление мужества и силы. В глазах эти контрасты лица слились, производя сложное притягивающее впечатление... Было что-то удалое, и властное, и ласковое, как у женщины.

Поздоровавшись, он сел на кровати рядом с учителем и угрюмо сказал ему:

— Ну-ка, прочти, что нам пишут.

Учитель взял и стал внимательно читать.

Прочитав, он молча возвратил письмо.

— Ухожу,— решительно, односложно бросил Иван Андреевич.

— Слыхал,— усмехнулся учитель.

Иван Андреевич резко обратился ко мне:

— У вас, кажется, есть свободное место учителя.

— Есть.

— Возьмите меня.

— У меня и управляющего место свободно,— ответил я, радостно подумав, что вовремя приехал.

— Вы не шутите?

— Совершенно серьезно.

— Согласен.

Лихушин сверкнул глазами и протянул мне руку.

Учитель растерянно спросил его:

— Взаправду?

— Видишь,— не смотря, бросил ему Лихушин.

— А не выйдет, что я вас сманиваю? — спросил я Лихушина.

Лихушин вспыхнул.

— Крепостной я, по-вашему, что ли? Мне вот предлагают распродать все: арденов, симменталов, деньги выслать, а на будущее время, если и сеять, то исключительно крестьянским инвентарем, который-де дешевле...

XVII

Дней через десять Лихушин совсем переехал в Князевку. Перед этим он был у меня три раза, отобрал у меня план имения, ездил со мной по полям, брал с собой образцы почвы.

Приехав, он пришел ко мне с кучей своих проектов и заявил:

— Сегодня я хочу вас познакомить со всеми моими планами по крайней мере на двенадцать лет вперед. Необходимо прежде всего условиться нам, чтоб работать по определенной, выясненной совершенно программе. И раз мы ее примем, тем самым примем и нравственную ответственность за ее выполнение.

Я с интересом следил за Лихушиным, когда раскладывал он на большом столе все свои бумаги.

А Лихушин между тем продолжал свое вступление. Он весь ушел в себя, большие карие глаза его напряженно горели, а нижняя губа еще больше выдвинулась впе-

ред и, казалось, сильнее подчеркивала выражение пренебрежения. Говорил он, волнуясь, гулко, скороговоркой:

— Владельцы, имение которых я оставил, может быть, и имеют основание быть недовольными мной. Дело в том, что в сельском хозяйстве меня интересует прежде всего вся совокупность дела. Я не имел средств для этого, и волей-неволей мне пришлось ограничиться чисто опытной деятельностью. Я выяснил, например, секрет наших мест. Каждая местность имеет такой секрет; узнать его и значит взять быка за рога, стать хозяином дела. Помимо почвенного анализа, совокупность остальных факторов — климат, влажность там и другое — создают успех того или другого растения. Так, скажем, Новоузенский и Николаевский уезды Самарской губернии — родина пшеницы. Ирбитский уезд Пермской губернии — сплошной конопляник, Псковская губерния родит лен. Наши же места исключительно бобовые: горох, чечевица, люцерна, клевер. Это свое открытие я сделал прежде всего, наблюдая дикую природу, затем и опыты с чечевицей, люцерной, клевером тоже подтвердили мои предположения.

Он сдвинул брови, уставив глаза в какую-то точку, и сидел некоторое время как бы в раздумье.

Прихлебнув горячий чай и слегка поморщившись, он продолжал:

— В данном случае это потому важно, что бобовые злаки так же ценны теперь на рынке, как и масличные. В больших размерах поставленное дело дало бы большие выгоды, а в тех опытных размерах, в каких стояло до сих пор у меня, оно не давало ничего,— для чечевицы, например, для выгодного сбыта ее, необходимы непосредственные сношения с Кенигсбергом, Данцигом, из-за одного вагона не заведешь их, и приходится отдавать за полцены перекупщику здешних мест. Если бы еще была близко железная дорога — явились бы конкуренты, а когда она в восьмидесяти верстах, кого заманишь, а привезешь в город, ты уже в их руках. Вообще нет ничего убыточнее опытного культурного хозяйства: один симментальский бык, два ардена, три йоркшира, одна жатвенная машина и прочее. Нужны опытные люди, масса накладных расходов; все это может оправдаться только размерами дела.

— И даст выгоду?

— Несомненно. В силу одного того уже, что арена пуста совершенно, громадный спрос на все продукты высшей культуры. Но это временно, конечно.

— Как временно?

— Десять — пятнадцать лет.

— А затем?

— А затем явится столько конкурентов, что цены собьются. Можно следить, конечно, за мировым рынком, постоянно восполняя то, в чем чувствуется недостаток. Например, в этом году рапс пропал везде,— это было известно уже в середине мая, то есть самое время посеять его у нас. Я посеял полдесятины, и он дал сто пудов. Пуд на месте рубль шестьдесят пять копеек. Все поля засеять рапсом — сразу целое состояние. Но это хозяйство хищнически промышленное,— от такого я отказываюсь,— я могу только отчасти воспособлять его. То есть в масличном поле сеять то, на что наибольшее требование.

— Как велик оборотный капитал, который требуется на десятину?

— Сто рублей.

— Сколько эти сто рублей будут приносить доходу?

— Первые пять лет ответственность за доход я не беру на себя, он может быть и не быть, мы будем в таких же случайных условиях, как и все. В пять лет я надеюсь поднять настолько плодородие почвы глубокой пашней, удобрением, орошением (сперва, конечно, обводнением), уничтожением сорных трав, что все это, не сомневаюсь, принимая во внимание при этом бездеятельность масс и, следовательно, пустую арену, даст в среднем не менее двадцати пяти процентов чистого дохода, а при большей интенсивности и больше еще.

— То есть?

— Если все сырье, по возможности, мы станем перерабатывать у себя же. Вместо ржи будем вырабатывать пеклеванку, вместо пшеницы — крупчатку, хотя бы для местного употребления. Вместо сливочного масла — сыр. Ценным кормом: люцерной, клевером будем выращивать и откармливать племенной скот. Значительно возросла бы доходность, если бы в нашем имении была бы

станция железной дороги. Увеличение доходности на десятину вот что дало бы. Допустим, сто пудов уродилось. При теперешней гужевой перевозке около ста верст это стоит, принимая во внимание к тому же спешность, не менее пятнадцати копеек с пуда, при железной же дороге разница между здешней станцией и сто верст ближе при транзите составит не больше одной копейки, следовательно, одна перевозка даст четырнадцать рублей выгоды на десятину, и, следовательно, при ваших предполагаемых посевах в две тысячи десятин вы уже имеете лишних двадцать восемь тысяч рублей.

— Да,—заметил я,—это то, что называется косвенная выгода железных дорог, которой и до сих пор у нас не принимают в соображение при постройке дорог и которая во много раз покрывает все видимые убытки наших дорог.

— Теперь,— продолжал Лихушин,— мы перейдем к детальному рассмотрению двух систем: девятипольной и двенадцатипольной. Девятипольная с клевером, предполагая трехлетнее его произрастание, и двенадцатипольная с люцерной, оставляя под ней поля на пять лет, хотя в наших местах она растет на том же поле и до десяти лет. Так как клеверных полей у нас немного сравнительно, то займемся прежде двенадцатипольной системой.

Мы перешли к рассмотрению планов двенадцати- и девятипольных систем хозяйства.

В двенадцати экземплярах перечерченный план, покрытый разными красками, представлял из себя севооборот на первые двенадцать лет.

Вот этот севооборот.

В первый год пар с удобрением.

— Удобрение, — объяснял Лихушин, — навозное с обязательной примесью костяного, так как главное, что веками извлекалось из наших почв и никогда не возвращалось, это, конечно, фосфор и калиевая соль. Навоз нужен, главным образом, не так, как азотистое, потому что и бобовые дадут этот азот достаточно, а как греющее, поднимающее деятельность почвы, вызывающее более энергичные, необходимые почве химические процессы. Затем, конечно, навоз необходим как влагоудержатель.

Второй год — рожь.

— Рожь, конечно, не простая,— заметил Лихушин,— для наших мест вальдендорфская и ивановская: натура сто двадцать пять — сто тридцать. Она и родит процентов на тридцать больше и в продаже, как более тяжелая, дороже копеек до пяти на пуд. Это одно при машинном способе уборки оправдает расход и молотьбы и уборки.

Третий год — мак и лен.

К этому пункту Лихушин заметил:

— Я поставил сильно истощающие сейчас же после ржи, чтоб использовать выгоднее ту часть удобрения, которая для последующих злаков в их сменовом порядке особой роли играть не будет. Мое мнение сеять так: по осенней вспашке мак. Враги мака действуют с ранней весны, и если мак уйдет от них, он тогда почти вне опасности. Если же он погибнет, то мы успеем пересеять его льном. Я забыл прибавить, что и мак и лен очищают почву от сорных трав и в этом их полезная, а для наших почв и прямо необходимая сторона.

Четвертый — под корнеплод.

— Лучше всего, конечно, свекла,— заметил Лихушин,— она требует и глубокой пашни и опять-таки энергичной очистки от сорных трав. Как от плодосмена, громадная выгода. Но сахарный завод от нас в восьмидесяти верстах и, конечно, немыслимо на таком расстоянии перевозить этот груз гужом. Восемьдесят верст для свеклы по железной дороге одна копейка, а гужем одиннадцать — двенадцать копеек, при цене пятнадцать копеек за пуд, конечно, невыгодно. Придется остановиться на картофели.

— Что же с ней делать? — спросил я.

— Винокуренный завод.

Я молча замотал головой.

— Паточный, переделывать в муку, откармливать скот; но без корнеплодов наше дело не пойдет.

Пятый год — тарелочная чечевица и горох Виктория.

— Здесь необходима срочность доставки,— заметил Лихушин.— В Кенигсберг и Данциг купцы, покупающие чечевицу, съезжаются к августу и к ноябрю разъезжаются. Под конец всегда цена падает и к ноябрю падает

процентов на тридцать. При гужевой доставке мы, конечно, к сроку не попадем никогда.

— Значит, опять железная дорога?— спросил я.

— Без нее трудно с культурным хозяйством.

— Если и совсем не невозможно.

Шестой год — подсолнух.

— В первый севооборот,— заметил Лихушин,— я два раза ввожу масличные. Прежде всего все с той же целью — уничтожение сорных трав, затем против подсолнуха у нас в значительной степени существует ложное предубеждение. Если взвесить все обстоятельства, то подсолнух при правильном его использовании приносит почве больше пользы, чем зла. Говорят, подсолнух истощает почву и главным образом за счет калиевых солей, но корень подсолнуха уходит в почву на три четверти аршина, и свой кали он берет оттуда, из того сундучка, которого, все равно, людям не достать. Этот кали он сосредоточивает в стебле своем, главным образом в шляпке своей, и только часть его, сравнительно меньшая, уходит в зерна. Если, следовательно, эту шляпку и стебель пережечь и возвратить назад почве, то мы только сделаем выгодное перемещение из подпочвы в почву. А глубокая пашня, полка, закон оттенения — все это тем более улучшит землю.

Седьмой год — пшеница или овес, а по нем люцерна.

— То есть овес или пшеница уберутся, а люцерна останется. Если и просто пустить в залежь, то земля несколько лет, кроме бурьяна, ничего не даст, а при люцерне на следующее же лето получается уже два прекрасных укоса, дающие до двухсот и более пудов сена, при котором овса уже не надо.

— Зачем же нам сеять тогда овес?

— Мы будем сеять овес не простой, а шведский, селекционный, из которого вырабатывается лучшая овсяная мука,— вот эти все геркулесы. Натура у этого овса почти как и у пшеницы, родит он у нас двести пудов, тогда как простой и ста не дает. Вот еще доказательство, что подсолнух изредка — только улучшает почву: после него всякий хлеб родит гораздо лучше.

Восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый — люцерна.

— Последний год люцерна на семена: она дает до двадцати пудов с десятины семян, цена которых семь рублей за пуд. А на следующий год пар и еще один укос люцерны не в счет. Я пробовал сеять и сразу люцерну, но травы в наших местах так сильны, что они глушат ее, а при такой подготовке трав сорных нет,— после пяти лет только появляется пырей, оттого я и назначаю пять лет для люцерны, что засоряется опять почва, а пять лет совершенно достаточно для восстановления почвы: люцерна дает ей массу азота, корни ее так пробуравят землю аршин на десять и уплотнят, как коренной залог, и свойствами эта земля из-под люцерны не уступит залогу...

Многое из того, что сообщал мне Лихушин, я знал, но у меня не было того ценного, что было у Лихушина, того, что достигается только систематическим образованием — системы. И больше, чем когда-либо, сознавал я, что в агрономии, несмотря на многолетнюю свою деятельность, я только дилетант, который поймет, но не заменит собой Лихушина.

Результатом разговора нашего с Лихушиным было то, что я дал ему свое полное согласие.

Относительно нужных для дела средств не было другого выхода, как, помимо личного кредита, привлечь своего рода акционеров, род товарищества на вере с ответственностью за капитал и с участием в прибылях.

В числе привлеченных мною к делу был и Наум Дмитриевич Юшков, тот самый русский американец, о котором я уже упоминал в своем очерке «Несколько лет в деревне».

Мы заключили с ним такую сделку: я, выплатив ему половинную стоимость его дела, вошел с ним в компаньоны по мельнице. Устройство вальцевого отделения мы произвели тоже на половинных расходах. На торговые обороты я взнес пять тысяч рублей, но так как для них требовалось не менее ста тысяч, то Юшков, взносивший третью часть, пригласил еще одного своего родственника, капиталиста в третьей доле, который за прием его ссужал меня недостающим мне капиталом из шести процентов годовых.

Все мельничное дело повел, конечно, Н. Д. Юшков, как человек и опытный и пользующийся безукоризненной и вполне справедливой репутацией.

XVIII

Устроив денежные дела, я решил добиваться железной дороги.

Железные дороги — моя прямая специальность, и я решил добиваться дороги, заинтересовав ею земства.

Наметив четырехсотверстную линию, проходившую через две губернии и захватывавшую пять уездных земств, я обратился в эти земства, предлагая им тип дешевой узкоколейной железной дороги.

Вот какие основания я приводил.

Проектируемая дорога не может располагать грузом бóльшим, чем четыре миллиона пудов в год.

Для ширококолейной дороги этот груз ничтожный; для оправдания процентов на строительный капитал и расходов эксплуатационных ей нужен груз по крайней мере в пятнадцать — двадцать миллионов пудов.

При таких условиях приходится или отказаться совсем от дороги, или помириться с более скромной — узкоколейной.

Пусть она будет ходить тише, пусть будет перегрузка, все-таки это гораздо лучше, чем отсутствие дороги.

Я писал, что в данном случае действую эгоистично, имея в виду и свои личные выгоды. Но эгоизм свой признаю вполне законным, так как предлагаемый мною тип дороги не ляжет бременем на государство, а при таких условиях он везде, где только производятся посевы, оправдает себя и, следовательно, является достоянием всех. А если нам как инициаторам и достанется первым по времени такая дорога, то это будет только актом справедливости.

Самый способ выполнения я проектировал так: земство и частные владельцы гарантируют ежегодно известную доходность, достаточную как для погашения процентов на строительный капитал, так и на текущие экс-

плуатационные расходы, и под эту гарантию уже искать частных или казенных капиталов.

Та отзывчивость, какую я встретил во всех земствах, лучше всего показывала назревшую потребность в таких железных дорогах.

Потребность совершенно понятная, если вспомнить, что конкурирующая с нами страна, Америка, имеет среднее удаление сельскохозяйственных ферм от пунктов сбыта пять—семь верст, а у нас на лошадях приходится подвозить к железной дороге в среднем до ста верст. Это одно уже делает разницу в двенадцать — четырнадцать копеек на пуд в пользу Америки. Если принять во внимание весь наш двухмиллионный хлебный груз, слагающийся в двух третях своих из такого обесцененного гужевой перевозкой груза, то одной той суммы, которая приплачивается ежегодно на гужевую перевозку, хватило бы на оплату процентов того капитала, который нужен на всю сеть (сто пятьдесят тысяч верст) недостающих нам подъездных железных дорог. Что до косвенных выгод, происходящих от увеличения ценности земельной, от роста экономической жизни, то они в десятки раз окупят все затраты на железные дороги.

И тот энергичный отклик, который я получил от всех пяти земств, представляет ясное доказательство, что земства наши находятся на высоте экономических требований времени.

На всех этих пяти земских собраниях решено было поддержать мой проект и поручить мне делать изыскания с весны.

XIX

Небывалая еще до того в Князевке жизнь началась с весны. Собирались изыскательские партии; действовал Лихушин со своими.

Появились всевозможные сельскохозяйственные орудия: плуги Сакка, рядовые сеялки, всех родов бороны, сенокосилки, машины жатвенные, молотильные, сортовальные; пришел рабочий скот и выписанный племенной; все имение разбивалось на хутора, и шла оживленная работа по постройке зданий — жилых, для машин, амба-

ров и сушилен; прудились овраги и речки для будущего орошения. Работа кипела и в поле. Лихушин, ставя идеалом своевременность посева, торопился и нагнал сотни людей и лошадей.

— Это все оправдается,— бурчал он своей скороговоркой.

Черные поля представляли яркую и оживленную картину.

Тянулись нескончаемые вереницы бычьих плугов; на горизонте стройно, как войска, двигались рядовые сеялки, сотни конных борон тянулись друг за другом в своем обычном водовороте, группы баб и ребятишек, садивших подсолнухи, похожи были в своих пестрых рубахах и сарафанах на цветы.

Над всей этой яркой картиной стояло сочное голубое небо, от согретой земли шел легкий пар, и насыщенный им воздух рябил и млел в лучах весеннего солнца.

Надо знать неподвижность деревни, отсутствие всякого представления здесь о времени, чтобы оценить энергию, нужную для того, чтобы вызвать такую кипучую жизнь.

Виновник — Иван Андреевич Лихушин, действительно, проявлял энергию, превосходившую всякое представление о деятельности человека.

Я не знаю, когда он спал. Все дни он проводил в поле, поспевая везде, а вечера и большую часть ночи, отдав нужные распоряжения на завтрашний день, проводил в комнате своих помощников и изыскателей, принимая и в их жизни деятельное участие, в их песнях, спорах и разговорах.

— Да идите вы спать,— говорил ему доктор студент,— железный вы, что ли, в самом деле?

За столом у Лихушина собиралась веселая компания, человек в двадцать.

Пили водку, закусывая ее луком, ели щи, вареную говядину, ели с аппетитом, уничтожая груды хлеба и мяса. Ели хорошо, а спорили еще лучше.

Компания состояла из студентов-изыскателей, ожидавших начала работ и пока бездействовавших, трех практикантов-агрономов, одного студента медика, которого все называли доктором, и студента ветеринара, он

же и кассир. К компании примыкали и Лихушин и его помощник агроном, молодой, болезненный неврастеник, и бухгалтер, маленький, кудрявый, заводивший какую-то в высшей степени сложную бухгалтерию.

Практиканты-агрономы держались особняком и только по праздникам принимали более деятельное участие в жизни остальной компании.

Душой компании был из «выгнанных» студент Борис Геннадиевич Свирский, или просто Геннадьич, как называли его все.

Высокий, длинноногий, нервный и впечатлительный, как женщина, Геннадьич постоянно волновался и кипятился. Середины у него никогда не бывало: или любить, или ненавидеть. И нередко бывало так, что тот, кого сегодня он превозносил, открывая в нем всевозможные добродетели, гражданские и личные, завтра позорно летел с пьедестала, и Геннадьич уже говорил:

— Я в нем разочаровался.

Горячка он был невозможная,— вздуть пустое событие до размеров, заслоняющих все и вся, было для него делом обычным. Тогда он становился несправедливым, нетерпимым, прямолинейным. Но Геннадьич был отходчив и снова делался умным, добрым, отзывчивым, очень начитанным и очень образованным человеком. Товарищем он был прекрасным, всегда готовым на что угодно: лезть на баррикады, обвинять, восхвалять, пить, петь, спорить, проводить ночи без сна — словом, как ни жить, только бы жить вовсю, с размахом.

Полной противоположностью ему был студент Сажин,—единственный, не поддававшийся влиянию Геннадьича,— замкнутый, сосредоточенный блондин среднего роста с самым заурядным лицом, но с выразительными умными глазами, холодный, спокойный, скорее злой, чем добрый. Все это, впрочем, скрывалось в тайниках его души.

Сажин, по убеждениям, был марксист,— тогда еще новое слово, а Геннадьич — горячий народник, как окрестил его Сажин и против чего энергично протестовал Геннадьич.

— При чем тут народник?— кипятился он,— народники В. В., Юзов, Кривенко, Златовратский, а я стою за культуру обобществленного труда.

— Что, по-вашему, может,— едко перебивал его Сажин,— осуществиться поддержкой собственности с помощью вашею и еще нескольких, таких же добрых малых «я», которые захотят, кого-то уговорят, заставят,— логичный исход, и все сделается.

— Да,— отвечал Геннадьич,— я признаю значение личности и верю, что нет никакой надобности каждой народности проходить те же фазисы и можно слиться с передовым течением в любом периоде развития.

— Полное противоречие в самых ваших определениях,— отвечал холодно Сажин,— «развитие», «передовое течение», «слияние» — все это понятие о движении: одно движется, другое стоит — какое тут слияние? Или путь самосознания заменить тем или другим распоряжением, какое кому кажется лучшим?.. Это и есть путь произвола, деспотизма, к этому и ведет субъективизм...

— А вы что противопоставляете этому субъективизму?

— Объективное, конечно, начало, воле отдельного лица или лиц — законы, по которым движется жизнь.

— А отдельным лицам сложить ручки и ждать у моря погоды?— спрашивал Геннадьич.— И пусть какая угодно гадость делается, вы кланяйтесь и благодарите, и говорите, что все существующее разумно...

И раздраженный, охваченный Геннадьич уже кричал:

— Так подите вы к черту, служители сатаны, с своим Марксом и его «Капиталом»! Противны вы, как гробы, с своей теорией laissez faire, laissez aller[1],— буржуи проклятые!

А Сажин вставал и, уходя, говорил:

— Ну, уж это... один из приемов субъективизма.

Среди остальной компании у Сажина поклонников не было.

Студент доктор был весь поглощен своею специальностью и не хотел связывать себя никакими кличками.

Геннадьич относился к доктору сперва пренебрежительно и восхвалял Лихушина.

— Сила, знанье! И на все его хватает,— это герой.

Но кончилось тем, что к Лихушину Геннадьич стал охладевать и, наоборот, начал все больше увлекаться доктором.

---

[1] пусть все идет своим чередом (*франц.*).

— У Лихушина крупный недостаток: у него «я» даже его переросло.

Доктор был простой, уравновешенный малый. Он и ел, и пил, и пел, и работал и с одинаковым усердием, весело, взасос все это делал.

Он весь сосредоточивался на том, за что брался в данный момент с увлечением, с огнем.

Не любил он только всяких отвлеченных споров. Это было единственным временем, когда доктор вдруг сосредоточивался и, молча пощипывая свою бородку, терпеливо ждал, когда кончат спорщики. Иногда ждать приходилось долго, и доктор говорил:

— Давайте лучше петь, господа.

— Ты не любишь споров? — спрашивал его Геннадьич.

— Я понимаю,— отвечал доктор,— научные диспуты: соберутся люди специально с этою целью, строго держатся основной нити, а вы ведь, как козы, прыгаете с одного предмета на другой.

— Ну черт с тобой, будем петь!

И они пели: Геннадьич стоя, вытягивая свою длинную шею, складывая руки на животе, точно кто собирается в это время ткнуть его, а доктор, кряжистый, сильный, пригибая подбородок, упираясь так, словно собирался бороться.

Пели они с чувством, с силой: Геннадьич тенорком, доктор — мягким раскатистым баритоном. Пели, увлекаясь, иногда по целым ночам.

Но в восемь часов утра, умытый и свежий, доктор уже открывал свою лавочку, то есть прием больных.

Собранный, возбужденный, он толково опрашивал больных, своим интересом к ним вызывая и в них энергию и веру.

Популярность его росла, и прием больных доходил до восьмидесяти в день.

— И ведь это,— толковал нам доктор,— не земский прием, где и двести пятьдесят примут таким путем: «Эй, у кого рвота, болит живот под ложечкой — выходи влево. У коего великая скорбь — стой на месте. У кого глаза — вправо. У кого лихоманка — иди к забору. Остальные заходи в приемную». Зайдет человек двадцать, из которых штук пятнадцать еще отправит к

прежним группам, которым фельдшера по одному рецепту выдают лекарства. А я ведь каждого больного... Вы пожалуйте-ка ко мне на прием.

На приеме у доктора была образцовая чистота.

Доктор в белом балахоне, его помощница по составлению лекарств — Анна Алексеевна Кожина, дочь мелкого землевладельца, окончившая гимназию и собиравшая деньги для того, чтобы продолжать свое образование — тихая, безответная, молоденькая.

Доктор с аппетитом тормошил больного, пощипывая бородку, стреляя своими большими глазами, напряженно, очевидно, перебирая в памяти учебники.

— У-гм... У-гм... А вот здесь не болит? Болит... У-гм...

Доктор задумывался, иногда справлялся в книгах.

Прием тянулся до обеда. Обедали к часу. После обеда доктор спал, потом с помощницей готовил порошки общеупотребительных лекарств для другого дня и затем, покончив, отдавался отдыху.

Томившийся бездельем Геннадьич, которому надоело уже все и даже чтение, пытался иногда нарушить режим доктора.

— Нет,— отрезывал доктор,— все в свое время. А ты вот, чем баклуши бить,— помогай.

Геннадьич стал помогать и так увлекся, что сделался вторым помощником доктора.

Как раньше Геннадьич находил интерес в сельском хозяйстве, сопровождая Лихушина по целым дням в поле, часто после совершенно бессонных ночей, так теперь увлекался всякими болезнями и толкованиями по поводу них доктора: рылся с ним в учебниках, а в сомнительных для него случаях ездил к Константину Ивановичу, как объяснял он, с целью вывести доктора на свежую воду.

За обедом Геннадьич с одушевлением рассказывал разные сцены из приемной жизни.

— Бабы, особенно девки, прямо безнадежны: тупость... Язык у них у всех,— говорил Геннадьич,— какой-то совершенно особенный. Приходит мрачный крестьянин с экземой: «Наш фельдшеришка толкует: у тебя рак подкожный — зудом и выходит». Другой говорит:

«пузерь у меня»,— оказывается отрыжка. Иногда ничего не поймешь: «ноняй от работы, ноняй от тоски сохчу» — это значит: не то от работы, не то от тоски сохну. Или : «Голова хрустит; пока чемир дергают, легче, а ноне ни один волос не щелкал, потому и голове не легче». Это значит, что голова у нее болит, и пока выдергивают ей волосы и пока они щелкают, голове легче. «Как, говорит, выпью, душа навалится и нельзя дышать». А одна старушка: «Ох, батюшка, вся-то я разорилась...» Все свои члены они называют уменьшительно: глазоньки, или просто зеньки, рученьки, брюшенько, брюшко. Покажи язык: «Не смею». Или закроет рукой и еле высунет под ней кончик языка.

— Я не понимаю,— горячился Геннадьич,— как тут жили, как могут жить люди без медицинской помощи? Нет, черт с ними, с изысканиями и со всем инженерством,— осенью еду за границу изучать медицину.

Геннадьич понемногу и всех увлек медициной.

Однажды привезли к доктору из соседнего села одного крестьянина, который как-то вилами проткнул себе живот.

— Дрянь дело,— сказал, осмотрев, доктор,— надо выписать Константина Ивановича.

И вот Константин Иванович, наш доктор студент, Геннадьич и Анна Алексеевна, да и мы все по очереди несколько дней и ночей просидели над умиравшим от перитонита крестьянином.

Громадный крестьянин, силач и красавец, лежал, смотрел на всех вопросительными глазами и тяжело дышал. Положение его ухудшалось с каждым часом, лицо куда-то проваливалось, все больше и все больше вырастала вся эта масса вздутого живота его, тяжело и неровно опускавшегося.

Было эпическое во всей этой простой покорной смерти этого колосса, в его жене — стойкой, тоже покорной, двух маленьких ребятишках, окружавших постель отца.

В редкие минуты облегчения крестьянин делился своими думами.

Однажды, обернувшись ко мне, он облегченно заговорил.

— Скоро это все кончится: приезжал к нам один,— переписывал, у кого что есть, а солдат один видел его в Питере и признал. Подходит к нему и говорит: «Ваше благородие, а ведь я признал вас». И сказал ему, кто он. Тот испугался, вскочил и говорит: «Что ты, что ты, и никому этого не говори». И сейчас лошадей себе потребовал. Ну, схватились тут мы, что не ловко сами сделали,— он будто не хотел, а мы его вроде того, что открыли... Миром и порешили: мне везти его и рассказать ему в дороге про всю нашу крестьянскую нужду. Лучших лошадей собрали, я кафтан надел... Как поехали, народ весь на колени... Выехали за околицу, повернулся я к нему и стал ему все докладывать: как народ без земли бьется, как трудно жить: хоть у Авдея Махина, пятнадцать рабочих ртов на четырех десятинах сидят: с чего же тут хлеб есть? Все, все рассказал. — Больной понизил голос: — И про себя не утаил,— признался ему, что две лошади свели у меня осенью со двора: совсем разорился... Так с тем и уехал тот на чугунку... И так что надеемся мы теперь, крепко надеемся, что все переменится... и скоро... скоро... будет и нарезка и скотина: все будет...

Он лежал на кровати, одетый в наше тонкое белье, шелковая подушка была под его головой, его поили шампанским, за ним был самый нежный, самый трогательный уход. Больной оглядывал с удивлением себя, переживая, вероятно, какую-то сказку от этой переменившейся вдруг обстановки: как будто уже начинал сбываться заветный сон жизни...

На третий день сразу произошел крутой поворот к худшему.

— Гнилостный перитонит,— объяснил Константин Иванович,— вилы, очевидно, проткнули брюшину и кишку снизу вверх, из кишки успело выйти содержимое, затем стянуло и кишку и брюшину, и это содержимое, не имея выхода, произвело гнилостный, не гнойный, гнилостный процесс. Возбуждающие больше не действуют: если его разрезать теперь, то печень и сердце у него уже совершенно желтые от жирового перерождения. Коллапс полный, очень скоро конец при полном сознании.

На одно только мгновение больной как будто потерял сознание. Он вдруг, смотря перед собой, и радостно и испуганно спросил:

— Откуда кони? — Но сейчас опять пришел в себя и скорбным голосом сказал: — Помираю я...

Он протянул нам руку, пожал наши, с усилием кивая головой и говоря сухим раскрытым ртом, сверкавшим белыми зубами:

— Помираю, прощайте, прощайте...

Он простился с женой, благословил детей.

Последняя вошла в комнату Анна Алексеевна.

Он порывисто протянул ей руку и, когда она наклонилась, шептал ей уже без голоса с потрясающим чувством тоски:

— Помираю я, прощай... Ты как мать родная была со мной... лучше матери.

Кроткая, тихая, вся воплощенная любовь, так и застыла над ним Анна Алексеевна, смотря в его глаза. Порывисто дыша, он смотрел на нее сухими, воспаленными глазами, открывая все больше рот. Понемногу глаза поднимались все выше и выше, а рот открывался все больше и больше, пока с последним усилием вздохнуть не застыло без стона и звука все это громадное тело и рот, и глаза в неподвижной, спрашивающей позе.

Без стона и звука упала на землю и стоявшая на коленях жена, и молча, судорожно забилось ее тело о пол.

Анна Алексеевна, все время спокойная и стойкая, молча поднялась, перешагнула через жену умершего и вышла в другую комнату. Выйдя, она побежала и бежала все быстрее и быстрее с широко раскрытыми глазами, изредка вскрикивая, хватаясь за голову, пока не упала и не начала кричать неистово и дико.

Ее крики и хохот неслись по всему дому, потрясая воздух. Голосом раздирающего душу отчаяния и тоски она кричала имя умершего: «Григорий, Григорий, мама, мама!»

Доктор тихо объяснил, что недавно умерла ее мать, и с ней был такой же припадок.

Я в это мгновение вспомнил вдруг, как эта Анна Алексеевна говорила тоскливо, стоя у окна:

— Где же выход? Как жить, чтобы не жалко было, что жила?

И еще угнетеннее теперь раздавались ее вопли: «Мама, мама! Григорий, Григорий!..»

Доктор и Геннадьич возились с ней: Геннадьич взволнованный, готовый сам обезуметь, доктор Константин Иванович спокойный и совершенно желтый.

— Сам уже ходячий мертвец,— сказал наш доктор, когда Константин Иванович, успокоив Анну Алексеевну, уехал,— водянка началась уже, а живет ведь как самый нормальный человек: вот это сила...

. . . . . .

XX

Компания наша увеличивалась.

В одно из воскресений на двор князевской усадьбы въехала плетушка, запряженная в одну лошадь. На козлах сидел молодой парень, а в плетушке — Писемский, по обыкновению сгорбленный, весь ушедший в плетушку, и только изгрызенная соломенная шляпа торчала оттуда.

— Шурка,— радостно приветствовал Геннадьич вошедшего в столовую приятеля, где в это время компания садилась за обед.

Писемский, комично пригнувшись, спросил:

— А что, место учителя свободно? — И, махнув рукой, рассмеявшись по-детски, сказал: — Выгнали!

— Ну? — заревел, присев от восторга, Геннадьич.

— Ей-богу!

— Молодец! Рассказывай, за что?

— Да и рассказывать нечего: глупо уж все это вышло,— проговорил Писемский, присаживаясь к столу.

Он огорченно оглянулся и бросил шляпу в угол.

— Пришел Василий,— Писемский по-детски рассмеялся и показал на Лихушина,— вот его заместитель, и сказал, что господа велели школу под барский дом повернуть.

— Ну, на это права они не имеют, положим,— заметил Лихушин.

— Тебя, что ли, спрашивать будут?— усмехнулся Писемский и опять серьезно продолжал: — Горянов тут много напутал: какой-то, видите, будто бы мальчик из моей школы ему сказал, что бога нет и что это будто бы я сказал мальчику.

— Сказал?— лукаво подмигнул Писемскому Геннадьич.

— Да, что я сумасшедший? Комичнее всего, что сам батюшка возмущен, распинается, что этого не было и быть не могло... С библиотекой тоже... Одним словом, изобразил меня перед владельцами таким, что, того и гляди, и их самих потащат...

Геннадьич кричал:

— Господа, ура! За Шурку! Ах, черт, как у них тут весело будет, ей-богу! не плюнуть ли уж сразу на все эти изыскания? А то пойдем с нами, Шурка?

— Нет, уж я насчет школы,—усмехнулся Писемский.

— И пчельник мы тебе навяжем,— говорил Лихушин, быстро глотая щи.

— Пчельник — согласен: летом, с ребятишками — одна прелесть...

— Я с изысканий, Шурка, прямо к тебе на пчельник,— сказал Геннадьич, наотмашь ударив по плечу Писемского.

У Писемского сразу нашлась работа.

Дело в том, что, несмотря на большой состав служащих, в разгар работ их все-таки не хватало, и вот понемногу все грамотные из Князевки, бывшие ученики жены, превратились в надсмотрщиков. Многие из них успели порядком призабыть свою грамоту и теперь после посева, энергично принялись с Писемским за ее восстановление.

Я думаю, что характеристика нашей компании будет не полная, если я не скажу несколько слов еще об одном члене ее — Галченке.

Он пришел пешком, молодой, высокий, худой, до крайности оборванный.

Он вошел ко мне и, не стесняясь своим видом, покровительственно протянув мне руку, сказал:

— Галченко. Я зашел к вам узнать, нет ли у вас какой-нибудь работы?

— В каком роде?

Галченко уже сел и, обтирая пот с лица, сказал небрежно:

— А уж это сами придумайте.

— Хорошо, пока поживите с моими товарищами.

И я направил Галченко к Геннадьичу.

— Это очень интересный субъект,— сказал мне вечером Геннадьич,— возьмем его на изыскания пикетажистом,— больших знаний здесь не нужно.

Так и порешили, а так как разрешения приступить к изысканиям еще не было, то с Галченко проходился предварительный курс.

Галченко пренебрежительно слушал и говорил:

— Понимаю: ерунда...

— Ну, теперь попробуйте сами,— сказал ему както Геннадьич и задал самостоятельную работу.

Работа была небольшая, а между тем Галченко не явился ни к обеду, ни к четырехчасовому чаю.

— Надо идти к нему,— решил Геннадьич.

Он нашел Галченко в овраге, в меланхолическом созерцании сидевшего на земле.

— Ну, как дела?

— Дрянь.

— Вы до чего же дошли?

— До полного отчаянья дошел, хочу совсем уйти от вас: все равно ведь ни инженером, ни вором никогда не буду...

Временный упадок духа скоро, впрочем, прошел у Галченка, и он опять на каждом шагу постоянно твердил с громадным самомнением:

— Ерунда!

Вообще он имел такой вид, как бы говорил каждому человеку, с которым встречался:

«Друг мой, и рта лучше не открывай: надо примириться с тем, что ты, и все, что в тебе,— ерунда».

Почти не слушая Геннадьича, он с апломбом осаживал его:

— Ерунда!

Сажину говорил:

— Окончательная ерунда.

— Что же, наконец, по-вашему, не ерунда? — приставал к нему Геннадьич,— анархизм?

— Ерунда.

— Толстовщина?

— Ерунда.

— Декадентство?

— Ерунда.

— Сверхчеловек вы, что ли?

— Ерунда.

Но однажды, прижатый к стене, он изложил, наконец, свои взгляды.

— В сущности, если отделить всю его отсебятину,— резюмировал Сажин,— получается теория государственного социализма в буржуазном государстве с прибавкой русского чиновника: не ново во всяком случае.

— Ерунда,— авторитетно махнул рукой Галченко.

— Сами вы, друг мой, ходячая ерунда,— на этот раз как союзник Сажина ответил ему Геннадьич.

Галченко, конечно, не обратил никакого внимания на слова Геннадьича.

Галченко по целым дням где-то пропадал.

Иногда видели его где-нибудь евшим с крестьянами в поле.

Однажды, гуляя, Галченко забрел верст за десять от Князевки и устал. На лугу паслись чьи-то лошади, и Галченко, долго не думая, сел на одну из них и поехал назад в Князевку. Очень скоро после этого его нагнали и со всех сторон окружили верховые крестьяне.

— Стой!

Галченко, ни больше ни меньше, как приняли по его действиям и костюму за конокрада.

Положение его было очень опасное, потому что с конокрадами крестьяне обыкновенно расправляются судом Линча.

Галченко, поняв опасность, ввиду крайности назвался ненавистным ему именем инженера.

На счастье его с ним был компас, и он представил его, как доказательство своего звания.

После совещаний крестьяне решили все-таки проводить Галченко, не доверяя ему, в Князевку.

И вот, высокий и худой, на белой кляче, появился во дворе князевской усадьбы Галченко, окруженный толпой верховых крестьян.

Мы все высыпали во двор, и Галченко, хотя и смущенный, начал свой рассказ с своего обычного:

— Ерунда: понимаете,— ну, устал я, а хозяев нет,— приеду, думаю, и отошлю лошадь, конечно, заплачу...

Геннадьич визжал от восторга.

Один из конвоировавших Галченко крестьян, когда недоразумение уже выяснилось, сказал мне с упреком:

— Ты бы хоть портки новые купил ему: вишь рваный весь какой ходит.

— Да ведь не хочет, — отвечал я.

Верстах в двадцати от меня жил один оригинал дворянин. Выстроил он себе пароход, который должен был ходить по льду, но не ходил; мельницу, которая не молола; держал громадную дворню, часть которой составляла конную стражу, одетую в старинные костюмы. С этой стражей он носился по своим полям, и горе было нарушителям издаваемых самодуром законов. Стража его готова была на всё: секли и, говорят, даже без вести пропадали в этом имении люди.

Доступ к владельцу был крайне сложный. У ворот стоял часовой, которому сообщалось имя приехавшего. Этот часовой кричал имя швейцару, тот передавал дальше лакею при дверях, у каждой двери находился такой же лакей, пока очередь не доходила до двери той комнаты, где находился владелец. Таким же путем получался обратный ответ.

Галченко умудрился не только попасть к этому помещику, но даже прогостил у него несколько дней.

— Замечательно интересный субъект,— лаконически сообщил нам возвратившийся Галченко.

И на все остальные расспросы отвечал:

— В свое время всё узнаете...

Действительно через несколько дней в местной газете появились очерки под заглавием: «Типы современной деревни».

В число их попал и помещик-самодур.

Галченко имел мужество сам отнести этот нумер газеты помещику.

— Вот чудак,— рассказывал, возвратившись, Галченко,— можете себе представить, он обиделся на меня.

— Может,— отвечал Геннадьич,— вздули вас?

— Вздуть не вздули, а влетело...

— Да уж признавайтесь.

— Ерунда... Но странно, ей-богу, как у людей совершенно нет общественной жилки, нет способности видеть самих себя со стороны: говорит, что я не его, а урода какого-то изобразил...

Галченко весело рассмеялся.

Галченко пришлось еще больше убедиться в отсутствии способности видеть себя со стороны, когда в очереди очерков появился Лихушин.

Лихушин, хотя и был изображен крупным и талантливым инициатором, но человеком, у которого и все его дело было построено на его «я», и служил он своим делом только вящей эксплуатации крестьянского труда да набиванью хозяйского кармана.

Лихушин очень обиделся.

— Да чем же проявляется это мое «я»? — спрашивал Лихушин, сидя с нами со всеми на террасе в саду.

— Ну, положим, мало ли я с вами ездил,— отвечал ему Геннадьич.— «Почему так сделано, когда я приказал так?» «Я так хочу». «Я так сказал». На каждом ведь шагу это. Все ваши помощники не смеют ни на йоту ослушаться, никакой самостоятельности, никакой инициативы вы им не даете...

— Словом, полный крепостник,— бросил с своей высоты Галченко.

Галченко взобрался на верх балюстрады, сидя там наподобие птицы.

— Потому что,— отвечал Лихушин,— всякое дело можно вести только, когда один хозяин.

— Крепостнический взгляд,— бросил опять Галченко,— и вашим извинением может служить только то, что и пообразованнее вас русские люди, можно сказать, светочи просвещения, так же деспотичны: любой русский редактор проповедует, что только один он, «я», может вести дело, и он не потерпит никакого вмешательства.

— Не знаю, не замечал я, по крайней мере за собой,— угрюмо отвечал Лихушин и, встав, ушел.

— Замечать за собой,— наставительно сказал вслед ему Галченко,— высшая и трудная работа... Куда же вы?

И, когда Лихушин, не отвечая, ушел, Галченко прибавил:

— Ты сердишься, Гораций...

— Да вот, собственно, насчет набивания карманов, вящей эксплуатации,— заговорил Геннадьич.— Я смотрю на нашу хотя бы компанию, и у меня получается какое-то двойственное впечатление. С одной стороны, люди, как люди, с известными убеждениями,— Геннадьич прищурился на Сажина,— хотя бы и с жесткими, но во всяком случае по своим убеждениям не имеющие ничего общего со всем, что носит на себе печать буржуазного, а между тем мы все в своей деятельности служим этой самой буржуазии и самым пошлым образом при этом служим, создаем дела, которые должны набить,— он обратился ко мне,— ваши и других таких же карманы. Что же это с нашей стороны? — несостоятельность, крах, прежде чем жить, можно сказать, начали — крах, в силу которого мое «я» со всей своей волей — нуль, ничто, жалкая или роковая игрушка обстоятельств?

— Великолепно,— кивнул ему из своего угла Сажин,— жму вашу руку.

— За что это? — насторожился Геннадьич.

— Да то, что «я» оказывается не при чем в общем ходе событий,— попытки этого «я» обособиться уподобляются в некотором роде усилию поднять самого себя за волосы. Это именно то, что называется: приехали...

— По-моему, заехали,— ответил Геннадьич,— но не в этом дело, а вы-то сами куда же приехали?

— А мы приехали в область внебуржуазную, наша точка опоры вне.

— Где же? Мы с вами, кажется, из того же места получаем жалованье.

— Мы с вами, во-первых, ремесленники: сапожники, которые шьют сапоги и думают о том, чтоб за свой труд получить, а не о том, кто его сапоги носить будет. А, во-вторых, я говорю не о себе лично, а о классе, которому служу, о деле этого класса...

— Какое дело? Оправдывать все существующее? большое дело,— фыркнул Геннадьич.

— Осмысливать все существующее,— спокойно ответил Сажин,— механик-самоучка при всей своей природной талантливости может додуматься до отрицания и законов тяготения, а механик образованный будет изобретать, руководствуясь этим законом. Вот этот закон и создает материалистическое учение, в основу которого положен чисто научный по своей объективности диалектический метод.

— Знаю,— перебил нетерпеливо Геннадьич,— тез, антитез, синтез и множество надстроек, с которыми до сих пор никто не справился и никогда не справится, потому что то, из чего все вытекает — мое «я» не принято во внимание... Слишком объективный метод, такой же научный, как и все остальные, модная теория, от которой через двадцать лет, может быть, ничего не останется: как было до сих пор, как будет всегда... Я знаю одно, я своей воли никаким вашим законом не отдам. Я вольный, сознающий себя человек, стремлюсь к добру, как понимаю его, и никто мне не смеет запретить идти к цели путем, какой мне кажется лучшим.

— Полное оправдание и всякого произвола, и нравственная поддержка любому бухарскому эмиру...

— Будем лучше петь, господа,— предложил доктор. Но пение не пошло.

— Мне интересно,— обратился во время перерыва ко мне Геннадьич,— как, собственно, вы смотрите на свою и нашу деятельность... Собственно, до сих пор, как писатель, вы определенной физиономии не имеете. «Детство Тёмы» создало вам популярность. «Несколько лет в деревне» уже вызвало по вопросам об общине некоторое недоумение в доброй семье народников,— так их называет Сажин и с чем я не согласен,— в которую вы вступили; ваши железнодорожные статьи о дешевых там дорогах и совсем в тупик поставили всех: кто же вы? Ваше, так сказать, profession de foi?[1]

— Прежде чем отвечать, я задам вам вопрос: должна ли частная деятельность человека соответствовать его идейной?

---

[1] буквально: исповедание веры (*франц.*); изложение своих взглядов.

— Может соответствовать, может и нет: Энгельс оставил после себя большое состояние, а идейно работал на совершенно другой почве.

— Я работаю в классе крупной буржуазии: в силу рождения, в силу воспитания я в нем. Верю в его творческую силу. Верю, что железная дорога, фабрика, капиталистическое хозяйство несут в себе сами культуру, а с ней и самосознание: здесь образованный человек, машинист, техник — нужны, и не потому только, что я этого хочу, а потому, что он действительно необходим.

— Этою необходимостью,— заметил Сажин,— объясняется и ваша деятельность: культурное хозяйство и прочее. Вы заводите все это, потому что надеетесь иметь выгоду, и не станете заводить это где-нибудь в глухом углу Сибири... Сапожник шьет те сапоги, которые требует рынок, и не станет делать иных. Я хочу этим сказать, что ваши ремесла,— там инженерство, капиталистическое хозяйство и другие,— нельзя назвать ни культурными, ни некультурными, как и всякое ремесло: вы работаете, получаете за свой труд, больше или меньше — другой вопрос... Но это, собственно, еще не profession de foi.

— Совершенно, конечно, согласен,— отвечал я,— одно ремесло еще ничего не дает. Но лично я хотел бы вносить во все свои ремесла не только эту сторону, но и идейную. И в железных дорогах и в хозяйстве интенсивном я вижу средство для достижения цели: более быстрого развития жизни, хотя бы экономической, с которой придет и остальное. В творческую силу такой работы я верю, верю в достижение цели таким путем. А в достижение цели утопистов совершенно не верю; материалистам верю, но думаю, что мы в том фазисе развития, когда точка приложения равнодействующей находится в периоде национального накопления богатств. И, следовательно, просто культурная, прогрессивная работа является наиважнейшей в смысле обширного фронта работ. Для представителей четвертого класса и фронт работ мал, да и в опекунскую работу плохо верю, стать же в ряды этого класса считаю, что это будет невыгодной затратой сил моих, каковым являюсь я во всей своей совокупности.

— Я не расслышал,— спросил Геннадьич.— Почему вы утопистам или там народникам не верите?

— Потому что они сами себя обрекли на бездействие. Они говорят: надо вот что. С этим «надо», как с скрижалями, они сидят. Как делать, что делать — ответа нет, и все попытки ответить потерпели крушение. Время сделает свое дело, но не они...

— Вы, следовательно, не признаете за ними никакой прогрессивной роли?

Голос Геннадьича сделался сухой, долбящий.

— Признаю, все признаю: и роль их в деле нашего прогресса, и преемственность, и даже жизненную роль в будущей практике жизни, как представителей громадного класса мелких земельных собственников.

— Я никогда вам не поверю,— заговорил более спокойно Геннадьич,— чтобы вы могли сочувствовать проекту отрывать крестьян от земли, бросать их на рынок, из собственников превращать в пролетариев...

— Кто же этому сочувствует...

— Давайте же петь, господа!

Позвали доктора.

— Петь так петь,— согласился Геннадьич.

Посев кончился, и зазеленела земля, мы собирались выступать уже на изыскания, когда давно ожидавшееся, впрочем, несчастие совершилось: доктор Константин Иванович Колпин скончался.

Маленький фельдшер Петр Емельянович, растерянный, убитый, безжизненными глазами следя за умиравшим, говорил, что эти последние месяцы жил уже не он, а его наука.

За полчаса до смерти доктор еще раз принял лекарство, сказав спокойно, с покорной улыбкой:

— Этого можно было бы и не делать уже...

В открытое окно смотрело безмятежное голубое майское небо, ветерок лениво шевелил молодую листву деревьев, нес аромат далеких зеленых полей.

Он умирал, а над его окном со всей энергией весны озабоченно щебетали воробьи, замирало где-то звонкое кукованье кукушки, еще какая-то птичка, как выраже-

ние высшего блаженства, в тон всему напевала тихо и нежно свою песенку.

Он, очевидно, еще и этим наслаждался. Вздохнув, как вздыхает усталый, собирающийся на покой человек, он попросил положить в изголовье его гроба свежей травы.

Он умер тихо, точно уснул, и в эти мгновения торжественного молчания невольно подводился итог его жизни.

На вид он жил жизнью самого здорового, самого удовлетворенного человека и, как самый счастливый, он от избытка своего счастья щедрой рукой рассыпал вокруг себя то довольство, которое только мог давать людям. И не так материальное, как нравственное. Сколько ласки, любви было в нем.

Когда разнеслась весть о его смерти, пришла громадная толпа людей, и все доброе, скрытое всплыло.

Была какая-то жажда говорить, спешить говорить, рассказать обо всем, что сделал Константин Иванович.

И, как в панораме, вырисовывалась перед глазами вся эта прекрасная жизнь, полная такого горя для себя и такой радости для окружающих. Он и от любви из-за болезни отказался.

В дневнике Амиеля есть такое место:

«Не тяготиться, не остывать, быть терпеливым, торопиться любить — в этом долг».

Таким был незаметный при жизни доктор.

С этой толпой бедных людей он делил горе, с ними он пережил два голода, тиф, холеру и последний тиф зимой, когда и подорвал в конец свои силы.

После его смерти только и нашли, что полный стол копеечных лошадок да деревянных куколок.

Там в нищенской избе за этой лошадкой тянулась маленькая больная ручонка, и в глазах ребенка загорался тот огонек радости, который грел и светил в жизни этому человеку.

Его похоронили на том кладбище, которое видел он из своего окна. Он спит под большим крестом, окруженный теми, кого любил больше себя. В памяти живых он долго будет жить. Чем дальше, тем ярче встанет образ этого больного своим большим сердцем человека.

И говорили крестьяне, расходясь с похорон:

— Хорроший был человек!

На ленте лихушинского венка стояла китайская пословица: «От одного хорошего человека и весь мир лучше делается». Геннадьич был страшно огорчен этой надписью:

— Все настроение мне Лихушин испортил,— жаловался он. — И что он хотел этим сказать? Что делу может помочь деятельность таких культурных одиночек? Глупо и пошло... Без всякой там идеи я всей душой был расположен к Константину Ивановичу, но если это герой, который нам нужен... Лучше уж никакого...

Сажин молча кивнул головой.

XXI

В течение лета изыскания технические и экономические были закончены. В декабре месяце в очередной сессии я должен был сделать доклад об этих изысканиях уже в губернском земстве.

В декабре же истекал срок полномочий дворянских представителей, и были назначены новые выборы.

Кандидатом в губернские предводители прочили Чеботаева.

Опять гостиницы города не вмещали съехавшихся, опять дворянская зала наполнилась дворянами в мундирах, запахом нафталина, гулом голосов.

Выглядывало из толпы сдержанное, но встревоженное лицо Проскурина, всегда уравновешенное, спокойное, умное Николая Ивановича Бронищева, угрюмое, сосредоточенное Нащокина, торжественное, бледное Чеботаева, отрешенное от мира, задумчивое, добившегося своего — редактора и уездного предводителя — Старкова.

На вопрос — будет ли он баллотироваться — Проскурин надменно, лаконически отрезал:

— Не буду.

Со всех сторон залы кричали:

— Чеботаева, Чеботаева! Просим, просим!..

Чеботаев, бледный, вышел и что-то сказал.

— Просим, просим! — заревела опять толпа.

Явственно донеслись слова Чеботаева о более достойных, чем он.

— Вас хотим! Просим! Просим!..

Чеботаев отошел.

— Отказывается!.. Депутацию!..

Публика разогревалась.

Кто-то предложил на подносе поднести все шары.

Проскурин со своей партией стоял у дверей и, по-наполеоновски скрестив руки, свысока наблюдал все эти волнения залы.

Около Чеботаева горячилась большая партия, тесной стеной окружали его сторонники, и воздух дрожал от криков:

— Просим, просим!..

Протискивались к нему, порывисто жали ему руки, говорили:

— Вперед, мы всегда с вами!

Громадный, в три обхвата дворянин, с сальными мешками вместо плеч, протискался, обнял Чеботаева и, смачно, слюняво целуя, сказал плачущим голосом:

— Голубчик, дорогой, спаси нас от Проскурина и всех скверн его!

Это вызвало смех и испортило торжественность. Чеботаев стал энергичнее отказываться.

Но опять просили, опять стало торжественно, тепло.

Взвинтились и взвинтили Чеботаева. У него слезы выступили на глазах, и он, пересиливая себя, тихо сказал:

— Согласен, но с условием, чтобы в кандидаты мне Нащокина.

Громовое «ура» пронеслось по залам. Нащокин тоже согласился, и началась баллотировка.

Из 112 голосов Чеботаеву положили 87 избирательных.

Зато Нащокину переложили и выбрали его 107 голосами.

Старый, заезженный прием удался Проскурину. Он торжествовал, а Чеботаев со своей партией ходили смущенные и растерянные.

Один Николай Иванович был совершенно спокоен. Он говорил:

— Хотя обычай утверждать предводителем того кандидата, который получил большинство голосов, но, в сущности, на утверждение представляются оба. Если Нащокин откажется...

— Конечно, отказываюсь.

— Но тогда ведь я не буду, собственно, выбран,— уныло возразил Чеботаев.

— Конечно,— раздался резкий, злорадный голос графа Семенова.

— Нет, вы будете выбраны,— резко возразил Николай Иванович,— и не дадите меньшинству терроризировать и парализировать большинство. Во всяком случае надо посоветоваться с губернатором.

Инцидент с губернатором об оскорблении все еще не был исчерпан, и губернатор на открытии не был.

Николай Иванович поехал к губернатору и скоро возвратился довольный. Губернатор уже телеграфировал министру и не сомневался в утвердительном ответе.

Собрание отложили до завтра. Опять Проскурин стал сумрачным, а партия Чеботаева решительна и сдержанна.

На другой день получен был ответ об утверждении Чеботаева.

Проскурин и еще три уездных предводителя подали Чеботаеву заявление, в котором говорили, что ввиду неправильности выборов он не может рассчитывать на поддержку их в депутатском собрании.

Чеботаев прочел, посоветовался с друзьями и ответил в том смысле, что заявление их принял к сведению.

— Дурак! Толстокожий! Благородство! — ругался Проскурин.— Играл в благородство до тех пор, пока выгодно было...

Граф Семенов, в камергерском мундире, язвительно говорил:

— Собственно, единственный прецедент в истории российского дворянства,— избранный волею своего друга.

В уездных Проскурин прошел подавляющим большинством панков, на этот раз в достаточном количестве в грязных фраках и нитяных перчатках явившихся в собрание; вместо Чеботаева уездным предводителем был выбран Нащокин; Старков отказался.

Он гудел над моим ухом:

— Это связывает мне руки как редактору. Хотя я и дворянин и солидарен с князем Мещерским, но все-таки нахожу неудобным такое совместительство. Вы, конечно, моего взгляда на князя Мещерского не разделяете, но я считаю, что самое большое мужество иметь право думать, как думаешь.

— Конечно.

— Необходимо прежде всего быть честным общественным деятелем, а остальное все приложится. Я так по крайней мере думаю и по мере сил действую.

— Сколько у вас подписчиков?

— Немного: триста пятьдесят.

— С даровыми?

— Несколько человек... Но есть объявления. Я устроил свою типографию: надеюсь концы с концами свести... Много зависти, грязи. У нас ведь, если не либеральный орган, газеты вышутят и высмеют.

Я кой-что читал уже в выдержках: действительно, вышучивали за уездно-дворянскую точку зрения, установленную «Вестником» Старкова.

Над статьями Старкова смеялись, и дворяне говорили друг другу:

— Ну, заговорил по-старковски!

Это значило на местном жаргоне: ерунда, непонятно!

Старков знал обо всем этом, но решил твердо держаться и говорил с горечью:

— Это благодарность...

Выборы кончились, и все с интересом ждали, как поведет себя новый предводитель с губернатором.

Чеботаев запросил частным письмом губернатора, отдаст ли он ему визит, если он его сделает, как губернский предводитель. Губернатор ответил, что до получения удовлетворения, он, к сожалению, визита отдать не может.

«Я не сомневаюсь, — писал губернатор,— что если Вы мужественно снова поднимете этот вопрос в собрании, заявив ему, что я честно и открыто желаю получить удовлетворение, то представители благородного сословия, к которому принадлежу и я, не откажут мне в этом моем совершенно законном и справедливом требованиии».

— Это на первых же порах повлечет за собой такое... — замахали руками друзья Чеботаева.— Это будет только на руку Проскурину.

И Чеботаев с друзьями прибегли к такому маневру: закрыли собрание, а перед губернатором Чеботаев извинился в позднем получении его письма, вследствие чего он не успел поставить вопрос, к тому же и не значившийся в программе намеченных занятий.

— Точно он не мог испросить у меня этого разрешения? — спрашивал обиженно губернатор и прибавлял иронически: — Вот не ожидал, что и Чеботаев станет дипломатом...

XXII

Губернское земское собрание было назначено через несколько дней.

По любезному приглашению Абрамсона, я остановился у него и мог ближе наблюдать эту оригинальную фигуру.

Разнообразной вереницей с утра чередовались в его квартире подсудимые, сопровождаемые вооруженными солдатами, всякий люд без мест, благотворители еврейского общества, устроители концертов, разношерстная интеллигенция,— актеры, сотрудники либеральной газеты, ссыльные.

У одного арестованного было найдено письмо, в котором писалось: «Нам лучше всего увидеться у Абрамсона, где собирается всякий сброд».

Абрамсон, узнав это, хохотал, как сумасшедший.

— Нет, понимаете,— объяснял он,— можно сказать, такой салон, соленая закуска, и вдруг — сброд... А?.. Что?.. Ха-ха-ха!..

Сброд, улица, пожалуй, это и метко, но с той разницей, что в этой квартире ярко подчеркивалось то, чего на улице не так легко заметишь: сердце этой улицы, изболевшееся, истрепанное жизнью сердце.

На другой день после выборов мне нездоровилось, и я, приговоренный доктором к аресту, отдался наблюдениям.

Утром Абрамсон просунул голову в дверь моей комнаты и сказал:

— Хотите видеть интересного преступника?

Я вышел к нему в столовую, где находился уже высокий, толстый, добродушный местный горемыка-художник, привязавшийся к Абрамсону и проводивший у него все свое свободное время.

— Это интересно посмотреть,— сказал и он.

— Только вот что, господа,— торопливо заговорил Абрамсон,— я сперва уйду один, а вы, погодя, войдите под каким-нибудь предлогом.

Мы с художником подождали и вошли в его кабинет.

Два часовых с саблями, между ними в арестантском халате женщина, дальше из-за стола выглядывает Абрамсон.

— Ваши книги здесь,— сказал он мне, указывая на стоявшую возле него этажерку.

Таким образом я мог увидеть лицо арестантки. Девушка лет семнадцати, шатенка, бледная, может быть и красивая, но теперь с раздавленным лицом. Словом, Катюша Маслова, как ее потом рисовали в «Ниве». Зрелище было очень тяжелое, и я сейчас же вышел назад в столовую.

Скоро выбежал и Абрамсон.

Он сел, подпер рукой голову и заговорил:

— Дворянка, убежала от отца, потому что хотел ее изнасиловать, обвиняется в воровстве у тетки платья, паспорта не имеет... И сознается... Я так, сяк — нет,— сознается во всем... Оставить ее в тюрьме, это ведь значит совершенно развратить... Предлагаю тетке на поруки взять,— не берет. К отцу умоляет сама не отсылать.

Я предложил свои услуги относительно поруки.

— Ну, а я тогда,— сказал Абрамсон,— оставлю ее пока у себя — будет помогать кухарке по хозяйству.

— Ах, вот великолепно,— восторгался художник.

— Третий номер,— смеялся Абрамсон,— кухарка, по обвинению в поджоге; этот мальчик, мой рассыльный, будет судиться за убийство, и теперь вот эта...

— За какое убийство? — спросил я.

— Убил своего товарища. Были друзья детства, вместе в сельскую школу ходили, стихи сочиняли, вместе влюбились, и вот за бутылкой пива тот, убитый, что-то сказал про их общую слабость, а этот все девять дней не отходил от его кровати. Перед смертью умиравший обнял его и так и умер. Умирая, он сказал отцу: «Если тебе

дорога память обо мне, прости его, и пусть он будет тебе вместо меня».

Как меняется лицо человека, когда освещается оно такой нравственной лампочкой, какая была в распоряжении Абрамсона. Бледное молодое лицо рассыльного, которого я раньше и не замечал, останавливало теперь мое внимание какой-то печатью печали, порыва, красоты духовной.

Так же преобразилась вдруг и девушка, сегодня отпущенная на поруки. Она уже подавала нам завтрак: удовлетворенная, успокоенная, понятая. Мне с достоинством протянула руку и сказала:

— Благодарю вас...

— Это еще кто?— спросил художник, с аппетитом в то же время поедая жареную говядину.

— Да вот эта же.

— Да не может быть! — так загремел художник, что стекла задрожали. — Батюшки, да ведь это другой человек совсем! Ведь это, ведь это...

И громадный, большой художник, по парижской, вероятно, привычке носивший и в декабре цилиндр и ветром подбитое желтое пальто-халат,— громадный, большой, с гривой львиных волос на голове, до того разволновался, что слезы закапали по его лицу. Он бросил есть, вытирал слезы и говорил:

— Извините, я, ей-богу, не могу... это так трогательно...

После завтрака художник ушел, обещая зайти вечером.

От завтрака до обеда приемы разных лиц не прекращались. Одним Абрамсон что-то давал, другим писал рекомендательные письма, с иными сам уезжал куда-то. Я сидел в другой комнате, читал и слушал.

Иногда бывали очень курьезные визиты. Одна дама говорила:

— Извините, я только что приехала, никого в городе не знаю, мне указали на вас, мне нужен доктор, я не знаю, кого пригласить...

— Доктор? — озабоченно тер себе лоб Абрамсон.— По какой специальности?

— У меня...

Дама понизила голос, и я не слышал ее ответа.

— Лучше всего в таком случае Ярошевского... Присядьте, пожалуйста, я сейчас напишу вам письмо... Виноват: ваше имя, отчество, фамилия?

Абрамсон спешил в кабинет, а в это время другой проситель, из «гостиных», останавливал его на пути:

— Извините: я только два слова, и у меня, к сожалению, нет времени больше ждать...

В передней уже простой люд ловил Абрамсона: у них тоже не было свободного времени.

— Сейчас, вот сейчас...

Вечером, наконец, мы остались втроем: художник, Абрамсон и я, и, уютно усевшись в кабинете Абрамсона, придумывали темы для разговора.

— Давайте, господа,— предложил Абрамсон,— круговую беседу.

Художник, на все отзывчивый и горячий, с детскою радостью рявкнул:

— А что ж? Давайте, в самом деле! Вы начинайте.

— Хорошо,— раздумчиво согласился Абрамсон,— у меня много тем, я всё хочу их записать... Вот только что бы интересное рассказать?

Он разводил пальцами по воздуху и думал.

В это время кто-то позвонил, и вскоре вошел господин лет сорока пяти, седоватый, плотный, с приплюснутым красным носом.

— Какими судьбами?! — закричал радостно Абрамсон и бросился целоваться с вошедшим.

Вошедший оказался доктором, профессором Киевского университета.

Они с Абрамсоном вместе начали свою карьеру — Абрамсон в роли судебного следователя, а доктор — земского врача. Затем, прослужив три года, они на целых пятнадцать лет разлучились, и теперь доктор, взяв отпуск по семейным делам, приехал на свою старую родину.

После первых приветствий на стол подали пиво, которого потребовал себе профессор, а Абрамсон сказал ему:

— Вот мы тут только решили рассказывать по очереди, чтоб убить время.

— Доброе дело!

— Я вот и придумываю, что бы рассказать?

— Расскажите наш первый с вами дебют,— сказал профессор.

— Ах, в самом деле. Вот действительно,— оживился Абрамсон.— Представьте себе деревню: соломенную, деревянную, грязную... Осень, дождь, слякоть. В деревне, в барском пустом колодце найден труп. Я вызван как следователь, он как доктор. Мы в первый раз встречаемся, знакомимся и идем осматривать труп. Не труп, а что-то ужасное: чем-то вроде пилы снесена верхняя часть черепа, грудь разрублена, и в ней набита мелкая солома от какого-то хлеба, которого даже и не сеют в деревне. Труп настолько разложившийся, что является затруднительным определение пола. Из опросов выясняется, что весной без вести пропал некто Яшка Худов, служивший работником у богатого крестьянина того же села Антона Базыкина. Базыкина в деревне все ненавидят, потому что он богат, кулак, грабит всех; и весь род его такой, и ненавидят их из рода в род. В день исчезновения Яшки пропала у Базыкина лошадь, и все слышали, как Базыкин крикнул Яшке: «Ты виноват,— хоть из-под земли достань, если жив хочешь быть». Яшка весь день искал лошадь и к вечеру советовался с товарищами, как ему быть. На предложение товарищей просто пойти и сказать, что не нашел лошади, Яшка ответил: «убьет», встал и пошел к избе Базыкина. После этого Яшку больше не видали. На вопрос о приметах заявлено, что ростом Яшка такой же, как убитый, сверх того Яшка был косорукий, и кисть правой руки была у него вывороченa наружу. Осматриваем труп: действительно, правая кисть вывороченa. Профессор,— Абрамсон показал на доктора,— признает возможность органического недостатка руки, насколько позволял признать это разложившийся труп.

— Эту-то оговорку я сделал,— перебил профессор,— как сейчас помню, на левой стороне, третья или четвертая строчка сверху.

— Все таким образом,— продолжал Абрамсон,—наводит на Базыкина. Пристав уже арестовал его. Идем к Базыкину и делаем у него обыск. Оказывается: сабля —

тупая, заржавленная, с запекшейся на ней кровью. Уважаемый профессор признает, что именно каким-нибудь таким оружием срезан череп, рассечена грудь и вообще сделано все остальное для уничтожения пола...

— Хотя я и сделал оговорку, что труп мог лежать в мокром месте и таким образом подгнить...

— Хорошо, идем на гумно и на гумне находим остатки той соломы, которой была набита грудь убитого,— от какого-то хлеба, которого никто, кроме Базыкина, не сеял. Сам Базыкин производит очень неприятное впечатление: лицо не крестьянское, рябой, мигает глазами, жидкие бакенбарды, бритый подбородок,— служил когда-то в солдатах,— лет пятидесяти, становится постоянно на колени, складывает руки, как на молитву, говорит одно: «Не виноват». Ну, что ж? Допросили, записали в протокол. Базыкина держат в соседнем селе в арестантском доме. Увезли его обратно, и я поехал ночевать в то же село. Приказал наблюдать за ним, следить, что он делает. Все время, говорят, стоит на коленях и богу молится. Сижу я день, два, неделю. Мне надо ехать по другим делам, не могу уехать,— держит что-то, что-то говорит, что Базыкин не виноват. Думаю, думаю, ничего и придумать не могу. Дошел до того, что сам спать не могу. Служил у меня один подросток. Постоянно посылаю его: «Пойди посмотри, что делает Базыкин».— «Богу молится». Вечер, темно, дождь как из ведра. «Пойди посмотри, что делает Базыкин».— «Богу молится». И говорит дальше этот мальчик: «Ну и грязь,— утопленника и то в пору закопать куда-нибудь...» — «А что ж тогда будет?» — спрашиваю я. «Засуха будет»,— отвечает мальчик. Конечно, это показывает только, до чего у меня нервы были напряжены, что этот ничтожный разговор навел меня вдруг на целое открытие. Я сейчас же потребовал из волостного правления списки убийц, утопленников, скоропостижно умерших. Ночью старшина, писарь, тащат списки. Есть! В пяти верстах от того места, где найден был труп, в селе весной был найден в пруде утопленник. Беру сейчас же старшину, писаря, понятых и еду в то село. Будим старосту: «Был утопленник?» — Был.— «Где он?» — Зарыли.— «Где?» — На выгоне.— «Кто зарывал?» — Я да еще трое. — «Веди к ним.—Зарывали?»

— Зарывали.— «Берите лопаты, идем». Картина такая: ночь темная, дождь, как из ведра, при фонарях трое роют могилу, а этот обвиняемый Базыкин тут же стоит на коленях, протянув руки к небу. А те там роют. Пороют, пороют и опять: «Да что ж рыть? Сами зарывали». — Ройте. — Рыли, рыли, — твердый грунт пошел. «Ну, где же покойник?» Молчат. «Ну, вот вам объявляю: завтра утром во всем сознаться, — тогда ничего не будет, а в противном случае на себя пеняйте». На другой день просыпаюсь, и первые слова мальчика, прислуживавшего мне: «Приехали». Одеваюсь, выхожу: двадцать человек стоят на коленях, и у первого на голове лежит бумага, в которой все подробно описывается. Боясь, чтобы засухи не было, они тело вырыли и бросили в этот самый колодец на барскую землю: уж если пусть у кого будет засуха, так лучше у барина.

— А разрубленная голова, грудь?

— Оказывается, его перед этим анатомировали.

— Понимаете, — вмешался профессор, — анатомировали и не произвели вскрытия живота.

— А солома этого самого Базыкина, который и там сеял этот самый хлеб и как раз в том самом месте, где производили вскрытие; вот, до зарытия в могилу труп и прикрыли соломой...

— А Яшка?

— А Яшка тоже потом объявился: тогда, испугавшись, он, не заходя к Базыкину, отправился в город, и через год получили от него письмо, в котором он спрашивает: «А что хозяин все еще серчает на меня за лошадь?»

Когда все выяснилось, и я, собравшись домой, проезжал мимо их деревни — все жители вышли и с иконами стояли на коленях каждый у своей избы. Я спрашиваю: «Что это?»—Это за то, что спас ты нас от греха «напраслины».

Абрамсон поднял руку и так и остался, смотря на нас— из-под сдвинутых густых бровей.

Я с любовью смотрел на этого доктора Гааза нашего города и думал, что если бы следователи так же проникались судьбой своих подсудимых, то не было бы столько несчастных жертв суда. Я высказал эту мысль вслух.

— Это, конечно,— сказал профессор,— исключительное свойство его любвеобильной натуры, этого нельзя и требовать, но можно требовать по крайней мере защитника при предварительном дознании. Кажется, на что ясна эта идея, а вот не везет ей. Себялюбивый фантазер следователь, а глупый, не дай бог, и карьерист притом, чего-чего не напутает: исказит, по-своему направит и все остальные следы сам же замажет так, что и не восстановить истину... все по-человеческому,— вздохнул профессор и, отпив сразу полстакана пива, сплевывая, прибавил: — Вонючее это человеческое...

— Ну-с, теперь следующего очередь,— сказал Абрамсон.

— Я расскажу,— вызвался художник,— я расскажу вам очень трогательную историю.

Об этой истории художник, очевидно, все время думал, и лицо его, проникнутое теперь этой историей, было печально и даже расстроено.

Он и начал свой рассказ убитым, расслабленным голосом. Понемногу, впрочем, он увлекся рассказом и, заговорив иначе, дал яркую бытовую картинку из жизни художнической богемы.

— О карьере художника мечтал я еще в гимназии, но отец и слышать не хотел. Главным образом потому, что мачеха не желала, а он был под полным ее влиянием. Пришлось выбирать между жизнью, полной довольства, если поступлю в университет, и жизнью, совершенно необеспеченной, если поступлю в художественную академию. Я все-таки подал прошение в академию. Всех нас, державших экзамен, было с лишком триста, а прием что-то двадцать пять. Понятно, сколько страха, волнений. По классу живописи для вступительного экзамена дали нам рисовать гипсовую головку с натуры. На следующий день в круговой зале уже были выставлены наши работы с отметками: принят или не принят. Когда двери распахнулись, наконец, и нас впустили, мы посыпали в залу, как горох из мешка. Я летел на всех парусах впереди всех. Рядом со мной только один поспевал: такой же громадный, как и я. «Отказано» буквами через весь рисунок,— слава богу, не мой! Дальше! Множество не принятых, на принятых внизу аккуратно подписано:

«принято», и номер. Вот и последний рисунок — моего нет! Вероятно, у меня было такое же провалившееся лицо, как и у того, который не отставал от меня. Я совершенно невольно спросил его: «И вашего тоже нет?»—Нет...— Может быть, пропустили? Опять пошли медленно, просматривая все рисунки: нет! Хотели уже уходить, пошли даже... Навстречу профессор, знакомый этого моего нового товарища. «Поздравляю, говорит, вас». —С чем? — «Как с чем? Ваш и Болотова рисунки взяты в оригиналы, — идите в купольную залу». Захаров и я бежим в купольную. Захарова и мой рисунок в рамках! Римскими буквами внизу у Захарова — I, внизу моего — II. Из всех наши оказались лучшими таким образом... Ну, радости, конечно, нашей конца не было: мы даже поцеловались, хотя сейчас же и расстались, и каждый побежал по своим делам. С одной стороны, радость громадная, с другой — жребий брошен, — надо становиться на свои ноги. Написал я отцу, — отец был богатый землевладелец, — и, без копейки в кармане, принялся устраивать свою новую жизнь. Где-то в Десятой роте Измайловского полка, в каком-то полуразвалившемся флигельке, нашел, наконец, комнатку за четыре рубля в месяц. Четыре аршина ширины, три длины, потолок рукой достать можно, — со входа выше, к другому концу ниже, пол под ногами ходит, выход на маленькую вонючую лестничку, через хозяйскую кухню. Хозяйка толстая, простая, еще два жильца у нее. Даже и в задаток ничего не мог дать, притащил гипсовую руку Моисея. Спрашивает: «Что это?» — Господи, да у кого же другого такая громадная рука может быть? — Моисея, конечно, — заплачено пять рублей. —Ведь брать не хотела! «Что я с ней делать буду?». Насилу уговорил. — Только, говорю, пожалуйста, вы не разбейте, как-нибудь. — «Да и не трону, говорит, батюшка, сам и положи ее, где знаешь». Положил на комод, еще раз приказал и побежал перетаскивать остальной свой скарб, за один раз все и перенес. И все казалось таким уютным тогда, налаженным. Только голод донимал: обедал я в кухмистерской Елены Павловны, — съешь, точно и не ел ничего, и изжога. Идешь после обеда через хозяйскую кухню — пахнет кашей, черным хлебом, капустой — так бы и съел все.

Вечный голод, вечная пустота в желудке, а весь заработок — восемь-десять рублей в месяц, в солдатских журналах за рисунки ружейных приемов. Начались занятия. Мне досталась голова Аполлона. Уж я писал, писал ее. Кончил за три дня до срока. Гуляю, смотрю у других. Идет наш профессор — очень резкий. Спрашивает, что это я гуляю. Я говорю, что кончил. Пошел посмотреть. Присел. Это уж много значило. Сказал кой-где подправить и сдавать в архитектурный зал. Мы сами относили свои рисунки в зал. Вешал кто где хотел. Я повесил на пятнадцатый номер свой. Прихожу через час, вижу — мой Аполлон висит последним: это инспектор приказал,— говорит, что ни жизни, ничего нет в нем,— так, мазня. Неприятно. Но на другой день отметки и опять Захарова — первый, мой — второй... Ну, опять радость, тут мы немного с Захаровым познакомились и поговорили. Выяснилось, что и у него мачеха и тоже родные не пускали его в академию, хотя и высылают двадцать пять рублей в месяц. В это время как раз и отец мой с мачехой приехали, остановились в Европейской гостинице, громадные номера, свои лакеи, казачки, без доклада никто не допускается. Посылает отец за мной, лакей в ливрее — я обрадовался, как был вскочил, надел пальто и марш за лакеем — благо за извозчика не платить. Приезжаем, снимать пальто, смотрю, я без сюртука,— забыл! Скорей назад — пешком. Пока бегал... Отец страшно был огорчен. «Никогда из тебя ничего не выйдет». А мачеха одно — бросать академию и поступать в инженеры. Какой я инженер?! Ну, что с ней сделаешь?.. В тот же день отец с ней и уехали, потом оказалось, неделю жили здесь. Мачеха ушла в другие комнаты, отец сует: «Спрячь...» Попрощался, выхожу, смотрю — банковый билет на тысячу рублей. А при мачехе твердил одно: «Пока не бросишь,— никакого содержания». Надолго, как думаете, хватило мне этих денег? Через месяц ничего не осталось. Ведь нужда в академии у нас страшная — влечет ведь только чистое искусство... Ну, бог с ними, как пришли, так и ушли,— только и всего, что поел за этот месяц. Зашел как-то в один небольшой ресторанчик, подают карточку. «Что прикажете?» Посмотрел,— говорю: «Давайте все по порядку». Всю кар-

точку так и съел. Раз прихожу я в академию, порисовал, пошел потом в курительную. Смотрю, Захаров стоит у окна и платком глаза вытирает. Я к нему. «Голубчик, что с вами?» — Получил письмо, только-что отец умер. Мачеха пишет, что после смерти отца ничего не осталось, и высылать ему нечего. Таким образом и он сразу сел на мель. Я предложил ему свою комнату: жить вместе для дешевизны, предложил ему поделиться заработком в солдатском журнале: там работа была периодичная, и таким образом я лично терял меньше, чем могли мы зарабатывать вдвоем, — иной месяц доходило даже до двадцати рублей. Для удобства и лучшего питания мы решили столоваться у нашей хозяйки. Помню наш первый дебют — дала она нам щей и внесла горшок каши, а сама ушла. Мы с Захаровым принялись за щи, за кашу и вдвоем горшок каши кончили. Приходит хозяйка. «Да что же вы наделали? Ведь эта каша, кроме вас, еще для двух квартирантов да для меня с теткой!» Совестно нам; идем грустные в академию, — животы отдуло нам от этой каши — и тяжело и совестно. Вот, так и зажили мы. На лето на дачу переехали: наша хозяйка маленький огород имела на Ланском шоссе. В землянке уступила нам комнату, окошко маленькое, капуста растет, ветла, канава с водой, а хорошо — лучше и времени не было, — триста этюдов привезли к зиме в город. Зимой Захаров вдруг влюбился и женился. Средств не прибавилось, а рот прибавился. Разделили мы нашу комнату пополам. Перегородку сделали из наших этюдов. Разделили так что половина окна к ним отошла, другая ко мне; только-только кровать моя уставилась; моя передняя половина, их задняя. Все это ведь обдумывалось сколько. Год прожили, на следующее лето ребенок. Все та же комната, те же средства — четвертый пассажир. Мою половину от средины комнаты пришлось срезать и повести перегородку на угол в пользу увеличения их половины. Корзина, где Манюрка спала, приходилась как раз у моего изголовья. И кричала же она, ночью особенно, так что никаких сил не было — голова пухла от ее крика. Так два года мы прожили, пока не кончили. Хотели и дальше так жить, да я влюбился и женился. Женился, а жена моя и не захотела селиться вместе, — приш-

лось нам расстаться. Через год, впрочем, жена бросила меня, а Захаров уехал в Париж на счет академии. Так нас и разлучила жизнь на целых пять лет. В это время отец мой умер, и я сразу стал богачом. Не надолго. Успел выстроить в имении мастерскую — ах, батюшка, поразительная мастерская! Купол стеклянный, а сверху железная опускная крыша, — электрической пуговкой можно было дать какое угодно освещение, а в случае грозы и всю крышу поднять одним нажимом пуговки. Какой камин был устроен, бюсты. И не пришлось в этой мастерской ни одной картины написать; теперь это имение в руках купца, ссыпает в мастерскую эту хлеб... Ужасно... Сам я в Париже тогда жил, передал управляющему все, — ничего ведь не понимал. Я предложил ему: «Я ничего не понимаю, — у вас знание, у меня имущество, будем работать пополам». Через два года получил телеграмму, что имение продано с торгов за какую-то неустойку по поставке шпал на железную дорогу, — у меня был прекрасный сосновый лес, и вот соблазнился управляющий выгодами... Так все прахом и пошло... Приехал вот и застрял здесь в этом городе — даю уроки...

— А Захаров?

— Захаров... Вхожу я однажды в Париже в кафе, смотрю, сидит какой-то старик. Еще раз посмотрел: показалось что-то знакомое. «Захаров, ты?» Он. «Ну, как ты? Жена? Маня?» — Пойдем ко мне, — все расскажу. — Ни жены, ни Мани. Жена с дочерью сбежала с одним его учеником. Подлость какая: человека приютил, на ноги поставил, — отблагодарил, — увез жену... Прекрасная мастерская, множество заказов, много начатого, — но все уже брошено, — пьет. Громадный талант, в Salon уже картины выставлял... Посидел я, посидел у него, совершенно другой человек, точно забыл он все прошлое. Умер. Попрощались, обещал он зайти ко мне на другой день, не зашел... Подождал его до вечера и поехал к нему, — застрелился... На мое имя письмо оставил... я слишком много ему напомнил и слишком безвозвратно было все: не хватило сил...

Когда художник кончил, профессор сказал ему:

— Это, конечно, очень грустно, что с вашим другом случилось такое несчастие, которое разбило его жизнь,

но я не понял, в чем же вы обвиняете того ученика его, которого полюбила жена покойного?

— Да, помилуйте, — горячо заговорил художник, — змею же отогрел на груди: выучил его, помогал ему, и вот благодарность: жену стащил.

— По его мнению, жена — вещь, собственность? — спросил профессор. — В этом, конечно, и все его несчастье... если бы у покойного не было такого взгляда на женщину, если бы он вырос и воспитывался в уважении к свободному чувству, — он и не пережил бы той драмы, которая свела его в могилу...

Художник растерянно развел руками и сказал смущенно:

— Да, может быть...

— Ну-с, — засуетился Абрамсон, боясь чего-то, — теперь ваша очередь.

Он обратился к доктору.

— Ну, мне нечего рассказывать, — махнул рукой доктор, — нынешним людям. Ведь отставку мы получили чистую и по этой отставке, вышло, что дураки мы были круглые. От нас, дураков, только и вышли, что умные дети, которые поняли, что вот мы, их отцы, дураки... Политика — ерунда, личность — ерунда, идеализм — ерунда... Спрашиваю одну молодую парочку из новых: «Вы свободные, зачем же вы в церковь венчаться ходили?» — «Да чтобы времени потом не терять на приписку незаконных детей в разные мещанские общества». Думается мне, однако, что все это в сущности оппортунизм. Нет, я не буду рассказывать, — не то... пиво вот только лучше стало, — я и пью его.

И профессор поднес стакан к губам и так пил свое пиво, точно разговаривал с ним: сосредоточенный, удовлетворенный в своей неудовлетворенности.

— Немного тенденциозный, нетерпимый, как все семидесятники, но прекрасный, добрый, честный, — говорил Абрамсон про своего приятеля доктора, когда гости ушли, — только вот уже пьет, кажется... Он вам понравился?

— Да, очень..

— А художник? Очень добрый он, сердечный... Как все художники, — извинялся Абрамсон за художника, —

народ безыдейный, конечно: ловят там себе неуловимое, — тона, полутона, одна сотая часть тона, и счастливы!

Абрамсон поджал к груди руки, растопырил пальцы и тревожно ждал моей реплики.

— Очень, очень симпатичный, — успокоил я его.

— Ну, я очень рад... Вы устали?

И Абрамсон засуетился насчет кроватей, сна.

XXIII

Направление линии, против первоначального, было мной немного изменено с целью подойти к громадному удельному имению с большими промышленными заведениями в нем, с образцовой сельскохозяйственной культурой. Помимо того, что имение давало много груза, практическая выгода заключалась и в той поддержке, какую предложил удел в деле осуществления проекта дороги. Значение этого последнего обстоятельства сознавалось, конечно, всеми, но явились и недовольные, главным образом те, мимо имений которых должна была бы пройти прежняя линия.

Зато явились и новые союзники и в числе их очень влиятельный и сильный Проскурин.

От имения Чеботаева новое направление отходило всего верст на пять, так что существенно его интересы не нарушались.

Перед заседанием мы встретились с ним в коридоре, поздоровались и прошлись даже несколько раз по коридору.

Чеботаев, сонно, жуя слова, — признак волнения, — говорил мне:

— Я очень сожалею о наших личных отношениях и, конечно, принимаю поддержку друг друга в общественной деятельности. Я вполне сочувствую дороге, тем более, что она удовлетворяет и моим личным интересам, хотя и проходит теперь немного дальше... Кстати, мой управляющий находит, что если б линию повести от Козловки песчаным оврагом, то можно было бы, не удлиняя ее, пройти мимо самой усадьбы... Я, конечно, ничего не по-

нимаю в этом, но, если бы оказалось возможным... это было бы очень хорошо... При таких условиях я дал бы даже безвозмездно песок, нужный для дороги...

— Я непременно сделаю вариант в этом направлении, — ответил я.

— Это, конечно, не существенно... Я поддержу проект, но энергично действовать не буду, так как, вы понимаете, дорога слишком близко проходит возле меня и всегда возможен упрек в пристрастии... Тем более, что во главе оппозиции теперешнему направлению вашей дороги стоит такая личность, как граф Семенов.

— Он будет противодействовать? — спросил я.

— Да, и он даже составил новый проект от какой-то станции через свое имение... Он вошел в соглашение и заручился даже поддержкою правления существующей дороги и, пользуясь тем, что начальник этой дороги ваш принципиальный враг и не сочувствует узкоколейным, — остановился на ширококолейном типе. Нехорошо то, что при этом Семенов выставляет вас фантазером, у которого никакой почвы, никаких связей в министерстве нет, все, напротив, там враждебны узкоколейной дороге, и вас ждет несомненный провал, тогда как начальник здешней дороги пользуется большим значением и не дальше, как при последнем проезде министра...

— Но этого министра уже больше нет, — перебил я, — а новый, несомненно, с высокими нравственными достоинствами соединяет в себе и широкое понимание государственных задач. Что же до общего настроения нашего министерства, то, к сожалению, Семенов прав, и я не пользуюсь там фавором, хотя и получил уже любезное приглашение от нового министра продолжать государственную службу. — Письмо было у меня в кармане, я вынул его и, показав Чеботаеву, продолжал: — Насколько я осведомлен, новый министр думает опираться на трех лиц в министерстве — своего теперешнего помощника, инженера Сумарова, и инженера Зернова, председателя одного технического общества. Товарищ министра мой учитель в деле узкоколейных дорог, а от Сумарова я тоже имею пригласительное письмо. — Я показал письмо и Сумарова. — Что до Зернова, то и он человек идейный, и в железнодорожном журнале

за тысячу восемьсот девяностый год он и все его общество выразили сильно мне свое сочувствие.

Прочитав, Чеботаев, не скрывая удивления, сказал:

— Все, это, впрочем, произошло, как видно из этих писем, в самое недавнее время, и наша публика не в курсе дела... Все думают, что ваши акции по-прежнему стоят плохо... Это необходимо распространить... Мне неудобно самому, — это вам отлично проделает Проскурин: ему необходимо показать все эти письма, чтобы он успел разбить мнение, что с вами опасно связываться, потому что вы не имеете-де почвы.

— Да, это необходимо, — согласился я.

Мы расстались с Чеботаевым, и я пошел разыскивать Проскурина. Проскурин со своей партией был в буфете и, сидя сам на столе, рассказывал что-то о бабках лошадей своего завода и о том, как Бегаров сморозил круглого дурака при своем посещении Проскурина, желая показать, что и он не лыком шит.

Я не понял всей соли слов Бегарова, но они вызвали дружный и энергичный хохот компании Проскурина.

— А выпить он все-таки не дурак, — прибавил снисходительно Проскурин, — дерптский студент, морда вся в шрамах, кажется, хочет по крайней мере быть порядочным товарищем. Надо будет как-нибудь к нему-то съездить: говорят, он любит женщин и по очереди привозит к себе каждый раз новую национальность... Теперь у него гостит американка, а он уже мечтает ехать куда-то в глубь Африки к какому-то племени, женщины которого...

Проскурин понизил голос, и слова его были покрыты новым взрывом хохота.

Проскурин развел руками.

— Миллионер, хотя батька и ростовщик.

— Тьфу, — плюнул высокий, молодой, изысканно одетый и накрахмаленный Свирский.

— А тебе что? Он-то сам другой человек, ему-то, что ж, деньги не за окно же выбросить... — заступился Проскурин и, махнув рукой, прибавил: — Он, положим, и бросает их в окно: скоро спустит...

— Здравствуйте, — поздоровался со мной Проскурин с той манерой, которая была и любезна и в то же время не противоречила в глазах его друзей тому, что,

может быть, говорил он и обо мне здесь за несколько минут до моего прихода.

Так же неопределенно поздоровавшись, с всей проскуринской компанией, я рассказал, что вот слышал, что граф Семенов играет на моем кредите, — так вот-де некоторые возражения.

И Проскурин и вся партия с живым интересом выслушали, прочитали письма.

— Это очень, очень важно, — горячо заговорил Проскурин, — давайте письма... Ах ты, Сенька-лизоблюд, складной аршин: тоже интригой занимается...

Говорилось это любовным тоном, потому что Семенов был приятелем и собутыльником Проскурина, но если некого, то и приятеля, конечно, приятно было посадить в чернильницу.

— Мы ему очную... Сначала совершенно серьезно будем слушать, заставим повторить все сплетни, — так, так, — а потом и ткнем его, как котенка нагадившего: «Нюхай, нюхай...» Надо побольше народу, чтобы скандал распространился до заседания... — Он подмигнул мне: — В такой форме нужное лучше усвоится, а потом с Сенькой мы помиримся... Что-то представителя уделов нет: поезжайте-ка за ним...

Проскурин обратился к старику председателю управы его уезда.

— Ладно, съезжу, — кивнул тот головой.

В буфет уже вводили в это время под руки графа Семенова, ничего не ожидавшего, веселого и изысканно любезно раскланявшегося со мной. Я ушел и не присутствовал при дальнейшем.

Когда собрание открылось, мне предложено было занять место докладчика и познакомить собрание с результатами моих изысканий.

Большая зала с рядами желтых скамеек была полна народом. На меня смотрели со всех концов со всевозможными оттенками выражений лица: вот сонное — Чеботаева, пренебрежительное — Проскурина, умное, настороженное, с приставленной к уху рукой — Бронищева. Смотрят лица апатичные, равнодушные, заинтересованные, враждебные, в общем все чужие.

— Милостивые государи, — начал я, — на уездных

собраниях я имел уже честь говорить о проектируемой дороге и избранном для нее типе. Ввиду насущной необходимости и громадной принципиальной важности затронутого мною вопроса о типе дороги я позволю себе еще раз вкратце изложить мои положения.

Всякое дело требует соответственной энергии. Неразумно будет паровым молотом бить орех, когда его можно разбить маленьким ручным молотком. Очень хороша голландская телега, в которой можно везти триста пудов, но для нашей клячи, поднимающей двадцать, она не годится. По экономическим изысканиям выяснилось, что груз нашей дороги всего пять миллионов пудов. Широкая колея, стоящая сорок тысяч рублей за версту, для которой нужен груз в тридцать—сорок миллионов, с расходом в шесть тысяч на версту, здесь совершенно не применима, так как вся доходность проектируемой дороги не превысит тысячи восьмисот рублей на версту. Пользуясь влиянием, случаем, можно, конечно, добиться и широкой колеи, но при таких условиях она будет и неразумной и несправедливой в том смысле, что, оделяя одних всеми благами лучших путей, на долю других, таких же плательщиков, ничего не получится, так как нельзя в убыток выстроить до двухсот тысяч верст, то есть всю нужную нам сеть таких дорог. И таким обездоленным отдаленной от них дорогой не только ничего не будет дано, но, напротив, она сугубо разорит их, создавая для них обязательные и неизбежные условия. Условия тяжелые, совершенно разорительные: так, пуд хлеба в имении, лежащем на железной дороге, на тысячи верст оплатится суммой всего пятнадцать—двадцать копеек за пуд провезенного груза, а имение в ста верстах от этой дороги прежде, чем поставить пуд своего товара в равные с первым имением условия, должно израсходовать пятнадцать—двадцать копеек на гужевую перевозку. При таком положении дела получается неравенство конкуренции не только на мировом рынке, но и внутри страны, такое, которое данную страну ставит прямо в безвыходное положение; мы сами себя бьем и режем, являясь с грузом, благодаря невыгодности перевозки обесцененным до невыгодности производства, до необходимости приплачивать к нему. Это, конечно, только одна из причин упад-

ка нашего хозяйства, но ее одной уже достаточно для того, чтобы понять, почему большая часть земель дворянских ушла уже на доплату к невыгодному промыслу. Земля, правда, перешла к купцам, купцы хлеб не сеют, предпочитают сдавать землю крестьянам, но положение вещей изменяется только в том смысле, что с такого момента тем энергичнее пойдет разорение этого крестьянина. Тот доход, о котором, сея хлеб, мечтал помещик и никогда не получал, купец теперь получает с крестьянина, сдавая ему по двадцать рублей десятину. Но работа крестьянина при таких условиях является даровой, и положение его в общем стало неизмеримо худшим в экономическом отношении, чем было даже в крепостное время: тогда он половину труда отдавал барину, а теперь весь труд отдает...

— И совершенно справедливо,— с огорченным вздохом перебил меня гласный крестьянин, старшина нашей волости,— Филипп Платонович.

Все повернулись к нему, я остановился, а Филипп Платонович, большой, широкоплечий, с вьющимися, маслом вымазанными волосами, с окладистой русой бородой, приподнявшись и слегка прокашливаясь, еще с большим огорчением и громче повторил:

— Говорю: справедливо. Справедливо и верно докладывать изволите: купец и сливки и кислое молоко снимет, и ничего крестьянину остаться от него не может,— так, впустую работа, вроде того, что заехано, наброшен хомут и тащи до последнего... И все это так уж верно и ни с какой крепостью не сравнится, а только я считаю, что и железная дорога тут мало поможет нашему брату: купцу, действительно, дворянину.

— Прения будут после,— перебил его председатель Чеботаев.

— Извините, пожалуйста,— сказал Филипп Платонович,— это только так, к слову я, а я не против дороги: великая и от нее польза может быть, если кто сам хозяин своей земли...

С хоров, где сидела публика, раздался звонкий, как колокольчик, голос:

— А хозяин тот, кто ходит по этой земле...

Я случайно сразу попал взглядом на говорившего:

совсем юноша, с золотистыми волосами, нервным тонким лицом.

Председатель позвонил и сонно сказал:

— Если что-либо подобное повторится, я вынужден буду...

Он не договорил и кивнул было мне головой.

Но Проскурин, довольно громко пустив: «экая дубина...»— вскочил и резко крикнул:

— Нельзя же позволять земское собрание превращать в место для социалистической пропаганды!

Чеботаев покраснел, как рак, замигал глазами и, посмотрев уныло на Бронищева, кивнул ему головой: каков, дескать, гусь?

Тот же голос крикнул из публики:

— Проскурин дурак и доносчик!

Поднялся невообразимый гвалт.

— Перерыв, перерыв,— громким голосом кричал Чеботаеву Бронищев.

— Объявляю перерыв.

Проскурин настоял послать за полицией, но молодой человек, наделавший весь этот переполох, и сам уже оставил собрание. Так и не нашли его и не узнали, кто он.

Проскурин не был ни дураком, ни доносчиком.

Он, как умный агитатор и деловой администратор в своем уезде, сам опирался на прогрессивную партию. И ни в одном уезде не были так хорошо обставлены школа, медицина, статистика, как в его уезде. Проскурину просто надо было интриговать вообще и в частности против нового председателя, а средствами он не привык стесняться. С другой стороны, Проскурин был и архиреакционером. Он как бы стоял одной ногой на Сцилле, другой на Харибде и по мере надобности поднимал то ту, то другую ногу, превращаясь таким образом то в чистого сциллиста, то в отчаянного харибдиста. Это давало ему громадное преимущество перед неповоротливым, тяжелым, но честным тиходумом Чеботаевым.

И надо было отдать должное Проскурину: при такой же, в сущности, малограмотности обоих, он, более талантливый, более способный понимать дух времени, умел прислушиваться к тому, что ему говорили, и громко в собрании потом повторял так это, что нередко произ-

водил впечатление человека образованного, с широкими горизонтами.

Чеботаев же действовал на совесть и, отказавшись от былого либерализма, бежал в то же время и от всех представителей его, боясь их, не понимая. И, как человек хороший и чистый душой, он не мог лукавить, играя с ними в прятки.

Все это понимали, жалели его, но толпа — всегда толпа, и все предвкушали будущий интерес травли медведей искусным охотником и его ловкими собаками. Вышеописанный, ничтожный сам по себе инцидент окрылял в этом смысле для одних веселые, для других — печальные предположения, и все говорили.

— Трудно будет Чеботаеву.

Когда заседание снова возобновилось, это «трудно» чувствовалось во всей фигуре нового председателя: он точно держал на плечах громадный груз, который вот-вот от неловкого движения опрокинется и раздавит носильщика. Чеботаев точно кряжистее стал, и ярче обрисовался татарский его тип, круглее становилась лысевшая голова, напряженнее смотрели немного раскошенные, угрюмые и раздраженные и в то же время и испуганные и недоумевающие глаза.

— Объявляя заседание открытым,— начал Чеботаев,— я просил бы собрание и господ докладчиков не отвлекаться и не давать самим повод к печальным событиям предшествующего заседания.

Проскурин недоумевающе пожал плечами и про себя, но все-таки достаточно громко, разводя руками, фыркнул:

— При чем тут докладчики? И к чему эти ограничения?

Приподнявшись и изогнувшись так, как сгибают складной аршин на две половины,— одну перпендикулярно другой,— граф Семенов, со всей элегантностью бывшего дипломата-лицеиста, заговорил сладким голосом:

— Я надеюсь, ваше превосходительство, что вы разрешите,— граф Семенов сделал какое-то сладострастное кошачье движение своим корпусом,— тем не менее излагать докладчикам так, как они находят это необходимым

в интересах дела, и полагаю... что только при таких условиях собрание может,— граф Семенов еще нежнее задвигался,—ознакомиться с такими вопросами, которые собранию по самому своему существу очень мало известны...

Граф Семенов почтительнейше-великолепно поклонился, с какой-то глуповатой физиономией обвел глазами собрание и, осторожно раздвинув фалды своего изящного редингота, сел на свое место.

— Не будем же тратить время! — раздраженно, мрачно и громко, как выстрел из пушки, пустил Нащокин.

Чеботаев после этого повернулся ко мне и сонно сказал:

— Прошу.

Интерес, собственно, к докладу пропал и у меня и,— я это чувствовал,— у других. Тем более, что решение вопроса в мою пользу было обеспечено. И что, в самом деле, повторять в двести первый раз доводы, что хотя и прекраснее и удобнее наша русская, самая широкая в мире колея, но если она не по средствам и богатейшим в мире странам, если мы не можем выстроить в ближайшем будущем всех нужных нам двухсот тысяч верст таких дорог, то надо строить хоть те дороги, которые мы можем строить и без которых окончательно остановится экономическое развитие страны? Что говорить о принципиальной постановке вопроса, когда самые благожелательные и самые чуткие к экономическому развитию края из присутствующих на все мои доводы о необходимости прежде всего равных условий конкуренции, слушая и поддакивая, заканчивали со мной разговоры приблизительно так:

— Конечно, конечно... Сперва надо хоть что-нибудь, а потом там в Петербурге при переменившемся отношении к вам, может быть, можно будет в последний момент и широкой колеи добиться: ведь и для вас же самих, для ваших грузов она удобнее же...

Из сегодняшних всех разговоров после показанных писем особенно ясно было, что люди эти, начав все дело, исходя из положения, что лучше что-нибудь, чем ничего, теперь, когда они, веря в меня, чувствовали уже какую-то почву под ногами, надеялись в данном уже

частном случае склонить меня в конце концов к широкой колее.

Когда я вставал, чтобы уже идти на кафедру, Проскурин перегнулся ко мне и дружески, тихо сказал:

— В сущности, чеботаевская реплика нам на руку — в интересах провести скорее дело, лучше не ставить точки над і и таким образом вырвать у Сеньки его главный козырь относительно широкой колеи... Пусть надеются...

Я, конечно, понимал, что сам Проскурин был первый из надеявшихся,— его и всей его партии обращение со мной сегодня сразу и круто изменилось,— понимал, что не следовало мне и разрушать до времени эти надежды, и, тихо ответив: «Вы правы, конечно», пошел к кафедре.

— Во исполнение желания его превосходительства,— я сделал легкий поклон в сторону председателя,— я перейду к изложению чисто фактической стороны дела...

— Очень жаль,— пробасил уныло и меланхолично Старков,— принципиальная сторона здесь в высшей степени интересна, и в данном случае она совершенно не расходится ни с задачами данного собрания, ни моего органа, хотя и служащего главным образом интересам уезда...

Со всех сторон закричали:

— К делу, к делу!

Только Проскурин кричал весело, иронически Старкову:

— Вы совершенно правы.

Старков покраснел, как рак, замолчал и стал прокашливаться, а я собрался продолжать, когда встал бывший конкурент на прошлых выборах Проскурина, Корин, и заговорил. И, по обыкновению, сразу раздражился. Он говорил нервно, с ужимками, ехидно, очертя как-то голову, набрасываясь на кого-то.

Этот кто-то, хотя и был в данном случае его кровный союзник Чеботаев, но уж таков был нрав у Корина.

— Я, в сущности,— говорил он,— не понимаю,— он поднял плечи, бессильно показал на свою лысую голову и вообще сделал все, что только зависело от его мимических способностей, чтобы изобразить непонима-

ние,— не понимаю, почему мы лишаемся и удовольствия и пользы выслушать обстоятельный доклад по вопросу, в высшей степени интересному...

Проскурин и его партия уже громко и благодушно смеялись.

Поднялся Николай Иванович, изысканный, вежливый, и, тоже улыбаясь, тихо заговорил:

— Господа, мне кажется, мы немного забегаем вперед. Предоставим пока все это усмотрению докладчика: ведь его же никто еще пока не остановил... а дело уже и остановилось...

Бронищев, с разведенными руками, улыбался, ласково смотрел на всех, и все также улыбались и соглашались, говоря:

— Да, конечно...

Оставаясь тем не менее на фактической почве, заявив только, что все доводы мои, изложенные на уездных собраниях, в сущности, уже известны, я быстро закончил доклад.

— Кто желает возражать? — спросил успокоенным голосом председатель.

Граф Семенов молча поднялся, поклонился и некоторое время многозначительно молчал.

— Уважаемый докладчик обладает, конечно, по данному вопросу таким запасом и теоретических и практических знаний, перед которыми мои и все наши сведения являются настолько ничтожными, что я даже не вижу возможности бороться... Я позволил бы себе только просить собрание вместе с проектируемой докладчиком дорогой признать таковую же полезность и мною проектируемой: я просил бы оба эти вопроса баллотировать одновременно.

— Ловко повернул,— нетерпеливо шепнул Проскурин и сказал громко: — Вопросы поставлены отдельно, и теперь их нельзя менять. Ваше заявление собрание выслушает, ничего против него нельзя иметь, но, чтобы не тянуть, надо приступить к баллотировке по очереди.

Он повернулся к председателю и кивнул ему головой в знак того, чтоб не тянул тот.

— В таком случае, если собрание ничего не имеет против моего проекта, я тоже ничего не имею против проекта докладчика,— ответил Семенов.

— Как угодно собранию,— обратился Чеботаев,— баллотировкой или вставаньем решить вопрос?

— Вставаньем.

— Согласных с докладчиком прошу встать.

Все встали.

Но затем, когда граф Семенов взошел на кафедру, произошло нечто неожиданное. Первым встал Проскурин и вышел. За ним начали вставать и выходить очень многие до тех пор, пока кто-то не крикнул:

— Господа, да ведь нас незаконное число теперь!

Стали считать, и действительно оказалось всего семнадцать голосов.

— Надо позвать их, они в буфете вероятно.

Пошли звать в буфет, но там никого уже не было. Проскурин и все его уехали.

Возмущались, требовали примерного наказания Проскурина и его партии, но тем не менее собрание до завтра пришлось закрыть.

На подъезде ко мне обратился одетый в элегантное котиковое пальто Свирский и сказал:

— Проскурин просил привезти вас в гостиницу, чтоб объяснить вам, в чем дело.

Рысак Свирского был у подъезда, мы сели с ним и поехали.

В большом отдельном кабинете человек двадцать земцев с Проскуриным во главе уже сидели по стульям и диванам, курили, смеялись и смотрели, как лакеи торопливо уставляли закусками стол.

Когда дверь отворилась и мы вошли со Свирским, Проскурин быстро, с располагающей, невольно привлекающей к себе манерой пошел ко мне навстречу.

— Мы позволили себе в честь вас устроить этот завтрак, и я сейчас вам объясню те исключительные обстоятельства, в силу которых все это так...

Он развел руками и, так как в это время как раз проходил лакей с грибками, пальцами попал в тарелку с грибками.

На усиленный возглас лакея «извините», Проскурин,

бросив ему презрительное «дурак», вытер салфеткой пальцы и, прося меня сесть, сел сам, продолжая:

— Этот завтрак мы задумали и ждали перерыва, чтобы пригласить вас, когда граф Семенов поставил свой вопрос так, чтоб одобрить оба направления... Черт с ним, пусть и он строит свою, но две сразу дороги, в смысле практического произведения — слишком жирно будет для губернии, и в такой постановке вопрос об очереди передается в Петербург, а очередь наша ведь: мы же первые, он потом уж додумался... А сегодня как раз могло и не случиться желаемого нам большинства: представителя Уделов нет. Нет и...— Проскурин назвал несколько фамилий.— Необходимо было поэтому сорвать заседание — вот мы и удрали, а завтра наше большинство будет обеспеченным, мы Сенькиному проекту выразим сочувствие, но поставим его во вторую очередь...

Двери кабинета в это время шумно распахнулись, на пороге стоял граф Семенов, с следами снега на висках приглаженных волос, держа в руках из прекрасного бобра шапку, и говорил и ласково, и в то же время и гневно, и с упреком:

— Свиньи! И даже не позвали: случайно узнал...

Веселый смех приветствовал его, а он, снимая перчатки и бросая их небрежно в шапку, говорил:

— Ладно, ладно, и на моей улице будет праздник, и завтра вам такой скандал устрою, что закаетесь такие штуки проделывать...

Граф Семенов заговорил уже серьезно:

— Свинство ведь, ей-богу! во что же вы превращаете собрание? Никакого уважения!..

— Ох-ох,— пренебрежительно фыркнул Проскурин,— гром из навозной кучи, чья бы корова мычала...

На другой день в собрании все так и прошло, как и предсказывал Проскурин.

Еще раз наглядно почувствовалось, что, в сущности, хозяин собрания Проскурин и без его поддержки Чеботаев бессилен, и вышучиванию его Проскуриным не предвиделось конца.

Чувствовал это, конечно, и Чеботаев и уже не проявлял никакого желания при таких неравных условиях идти на борьбу с Проскуриным. Не воспользовался

даже и законным вполне поводом к тому, и сам свел на нет вопрос о вчерашнем исчезновении из заседания проскуринской партии.

И Проскурин презрительно говорил:

— А, толстая татарская морда, завилял хвостом... Постой, не так еще завиляешь.

XXIV

С полномочиями, с депутатами от земства я сейчас после собрания выехал в Петербург.

Самое трудное было еще впереди. Все земства хотят и сознают необходимость железных дорог; просят; со всех сторон уполномоченные земств, как и мы, ездили, едут и будут и впредь ездить в Петербург хлопотать о манне небесной — о железных дорогах, каждый для себя. Там в передних министров во фраках и во всех своих, бедных количеством, регалиях будут они толпиться, обивать пороги, будут сперва верить, надеяться, пока не устанут, наконец, и, разочарованные, не воротятся домой, давая зароки:

— И ездить не стоит, и тратиться не стоит, и дубьем надо гнать всех этих прожектеров новых железных дорог.

Так будут зарекаться они, а великая нужда экономическая будет продолжать свою неумолимую и безостановочную работу, и самые упорные скептики в конце концов опять будут вставать на собраниях в знак согласия, будут и ездить и стучаться в негостеприимные двери будут по изречению: «Толцыте, и отверзется».

Надо было предпринять что-нибудь особенное, найти какую-то новую дорогу, какой-то иной ход, который привел бы вернее к цели.

Этот ход для меня был — общественное мнение.

Теоретически уже был поставлен мною в печати вопрос. И был поставлен резко, кричащим образом: я указывал на крупную историческую ошибку принятой у нас колеи, доказывая, что выстроенное у нас количество железных дорог не составляет и одной пятой нужной нам сети и что поэтому лучше переделать эту одну пятую

и сейчас же начинать строить более узкую, чем даже западная, колею, нам, бедным и капиталами и грузами. Я доказывал, что и Сибирскую железную дорогу, стоимость которой исчисляется в среднем шестьдесят тысяч рублей верста, надо строить по типу проектировавшейся тогда узкоколейной Архангельской дороги, не уступавшей ни в чем по силе и провозоспособности лучшим ширококолейным, но стоившей всего тридцать пять тысяч рублей верста при перевозке сорока миллионов пудов. И не только не уступавшей, но во многом превосходившей, потому что, при той же, например, подъемной силе вагонов, узкоколейный вагон легче на двести пудов, что при пятидесяти вагонах в поезде уменьшало непроизводительный груз поезда на десять тысяч пудов одного только поезда с грузом в тридцать семь тысяч пятьсот пудов. Это ведь почти тридцать процентов. При общем нашем двухмиллиардном грузе вместо этих излишних шестисот тысяч миллионов пудов мы могли бы перевезти шестьсот тысяч миллионов пудов настоящего груза. То есть, другими словами, мы могли бы платить на тридцать процентов дешевле за перевозку,— это шестьдесят миллионов в год,— и эта одна экономия уже могла бы явиться неиссякаемым источником, фондом для новых и столь необходимых нам дорог.

Повторяю: я ставил резко вопрос, запрашивал, что мог, чтобы ярче остановить внимание на нем.

Отчасти я достиг цели. Одни, недоумевая, разводили руками, другие с пеной у рта ругались, третьи смеялись, называли меня узкоколейником, но все заспорили, заговорили. И заговорили в том мире, который практически является решителем этих вопросов,— в мире крупного и мелкого петербургского чиновничества.

Я теперь ехал уже с изысканиями, переходил, таким образом, от слова к делу, которому в общей печати, собственно, места, как частному вопросу, уже не было.

Тем не менее и в этой уже частной и чисто практической постановке я, решив действовать гласным путем, остановился на докладе в Техническом обществе, председателем которого был инженер Зернов. По приезде в Петербург я обратился сейчас же к Зернову.

Зернов отнесся сочувственно, и скоро в газетах появился анонс о моем предстоящем докладе.

Все вышло несравненно более торжественно, чем предполагалось. Зала оказалась переполненной публикой. И публикой самой разнообразной. Сверх обычных специалистов на скамьях, за скамьями у стен, у дверей стояли иные люди. На этот раз это была скорее аудитория Вольноэкономического общества: литераторы, люди науки, студенты и студентки.

Я был очень смущен этим и решил как-нибудь так обставить мой, в сущности, чисто специальный вопрос, чтобы заинтересовать и не специалистов. Я подготовил наскоро введение об отсутствии интереса в обществе к развитию у нас железных дорог и о причинах этого.

Я не буду подробно останавливаться на своем провале благодаря этому злосчастному введению.

Когда шум двигающихся стульев затих, председатель инженер Зернов открыл заседание таким торжественным заявлением:

— Необычная полнота аудитории сама говорит о том интересе, который возбудил докладчик. Я с своей стороны не сомневаюсь, что интерес этот будет оправдан.

Но уже через пятнадцать минут, когда одно высокопоставленное лицо встало и вышло из залы, председатель прервал меня словами:

— К сожалению, я вынужден вас остановить. Ваше вступление о том, как смотрят на железные дороги та или другая фракция, может быть, и очень интересно и даже ценно, но не здесь, в аудитории специалистов. Здесь необходимо строго и точно держаться программы. И в диспутах, милостивые государи, я буду просить вас не касаться всех затронутых интересных, но, повторяю, не имеющих здесь места вопросов.

После этих слов аудитория быстро стала пустеть.

Я с завистью следил за уходившими. Меня и самого подмывало уйти вместе с ними и навсегда забыть и думать обо всех специалистах.

Скрепя сердце, тем не менее, упавшим голосом я перешел к специальному вопросу и, скомкав его, как только мог, через несколько минут при пустой, более чем наполовину, аудитории, никого не удовлетворив, закончил его.

Жидкие аплодисменты были мне наградой, и я быстро вслед за другими стушевался.

Провалиться так, за здорово живешь, очень неприятно. Весь другой день под впечатлением этого провала я ходил смущенный, сразу очутившийся в очень фальшивом положении, и обдумывал, как мне теперь быть.

Вечером в тот же день был назначен доклад в обществе промышленности по какому-то железнодорожному вопросу. Я пошел на этот доклад, чтоб поучиться и посмотреть, как люди докладывают.

Какой-то инженер делал сообщение о какой-то дорожке обыкновенного ширококолейного типа.

Слушая, я все больше и больше приходил к заключению, что дороге этой надо бы быть не широко-, а узкоколейной. Поэтому, когда было предложено возражать докладчику, я и возразил ему в этом смысле, приводя для иллюстрации цифры своей дорожки. В сущности, это был мой второй доклад, сжатый и короткий, после которого я был награжден энергичными аплодисментами.

Высокий господин с длинной бородой, Михаил Иванович Казов,— очень важное сановное лицо, то самое, которое на вчерашнем моем докладе так решительно встало и вышло,— подошел ко мне с обеими протянутыми руками и сказал:

— Теперь я вас услышал, а вчера...Я не знаю, вчера о чем вы говорили. Вчера я собрался послушать человека, о котором очень много слышал, статьи которого читал, и...совершенно разочаровался... о, сегодня другое дело, и теперь я вас не выпущу... Условимся, где и как нам увидеться?

Мы условились, и на другой день утром в десять часов я подъезжал к оригинальному дому Казова на Васильевском острове.

На звонок мне отпер лакей с благообразной физиономией.

На вопрос, дома ли Михаил Иванович, лакей, спросив мою фамилию, отвечал:

— Пожалуйте-с.

В маленькой передней я разделся и по винтовой лестничке, напоминавшей лестницы пароходов, поднялся на второй этаж.

Здесь, как и в кабинете, впечатление парохода или корабля было еще сильнее. Впоследствии оказалось, что Казов, бывший моряк, так и выстроил свой дом, чтобы он напоминал собой корабль.

Очень большой и длинный кабинет был весь уставлен всевозможными вещами. Тут были и модели пароходов, и разные станки, много столиков и на них альбомы, чертежи, портреты в рамках и так просто, лежали папки с какими-то бумагами. В громадных шкафах было множество книг больших, в красивых переплетах.

Весь кабинет был под черное дерево, и белые рисунки чертежей и гравюры в черных рамках рельефно выделялись.

В перспективе комнаты за большим письменным столом сидел сам хозяин, пил кофе и разговаривал с целой группой людей. Слышались языки немецкий, французский, английский. Хозяин спокойно наблюдал меня, пока я шел, и еще издали просто, без аффектировки, спросил меня:

— Кофе хотите?

— Хочу,— ответил я.

— Кофе,— крикнул хозяин, и лакей, снимавший с меня пальто, ответил:

— Есть!

— Присаживайтесь.

Я сел и стал слушать отрывки: о какой-то машине, об Архангельском побережье, об экспедиции Нансена, о другой какой-то проектировавшейся экспедиции, опять возвратились к Мурману, судоходству по Печоре. Англичанин что-то заговорил по-английски, и Казов стал записывать. Когда он кончил, все встали и начали прощаться.

В это время вошел новый посетитель — инженер, известный и крупный деятель в железнодорожном мире.

Казов удивился, что мы незнакомы, познакомил нас и спросил инженера:

— Вы сегодняшнюю почту заграничную читали? Есть интересное по нашему делу.

Инженер сказал: «ага», и, захватив пачку газет, ушел с ними в другой угол.

— Проводим проект новых семидесятитонных паро-

возов при семнадцатифунтовых рельсах,— рассеянно сказал Казов, кивнув головой в сторону инженера, и, перебивая себя, сосредоточиваясь, Казов сказал: — Вот что по вашему делу: необходимо, чтобы вас выслушал...— Казов назвал лицо очень высокопоставленное.— Если он заинтересуется, то он нам очень поможет. Лично я разделяю совершенно ваши взгляды, я говорил и с вашим министром, и он сочувствует, и в министерстве финансов,— вы знакомы с директором железнодорожного департамента? Странно, что вы никого не знаете. Необходимо познакомиться. Это один из самых дельных наших чиновников, это пульс теперь всего железнодорожного дела, с ним Россия, может быть, и начнет, наконец, покрываться железными дорогами... У него масса инициативы и комбинаций, он умеет развивать самодеятельность... Прежде всего необходимо сделать вам доклад, без введений на этот раз, серьезный, деловой, короткий. Наподобие вчерашнего. Я попрошу и Зернова, еще два человека я имею в виду.— Он назвал две фамилии.— Устроим целое заседание... Вот что, я вам дам карточки к ним,— поезжайте и условьтесь с ними относительно дня, когда вы все соберетесь у меня, решится тогда уже и день доклада... приблизительно в конце этой недели.

В конце недели предполагавшийся доклад действительно состоялся.

Громадная аудитория на этот раз была полна инженерными, военными и морскими мундирами исключительно. За особым столом сидел почетный президент, окруженный генералитетом.

Я говорил последним. Я говорил о нищете в наших деревнях, об упадке сельского хозяйства, об отсутствии у нас каких бы то ни было путей сообщения, о необходимости широкой свободы в смысле разрешения их постройки, типа и эксплуатации.

— Опека чиновника губит дело. В Бельгии не спрашивают разрешения на типы, на постройку,— просто строят, как мы строим дома, и вывешивают объявления о приеме грузов и пассажиров, когда дорога готова. Жизненность там дороги зависит от ее приспособленности к требованиям страны, рынка. Только при таких

условиях она и будет приспособленной, будет извозчиком, готовым отвезти именно в то время, когда нужно, и к сроку: и овощи на рынок, и хлеб в элеватор, и лес, и всю ту массу груза, которую деятельная дорога-извозчик (а не государство в государстве) могла бы создать: в этом конце нет камня, а тот нуждается в лесе,— из города надо вывезти удобрение, а в город привезти все деревенские продукты, и т. д.

Я кончил так:

— Если для постройки кабака не требуется разрешения, то для такого полезного дела, как дорога, нужна тем большая свобода. Опека государства в интересах безопасности в данном случае чрезмерна: в неизмеримо более богатых, чем мы, странах государство совершенно довольствуется ответственностью за все несчастия устроителей предприятия. Если посчитать те сотни миллионов, которые тратим мы на безопасность, то окажется, что жизнь железнодорожных жертв оценивается десятками тысяч рублей, а в то же время дети в деревнях у нас мрут ежегодно от оспы, дифтерита и других повальных болезней, за отсутствием только лишнего врача и даже фельдшера. Мы десятками тысяч оберегаем жизнь на железной дороге, а сифилис, питание суррогатами и, как последствие, худосочие, голодный тиф уносят ежегодно миллионы жертв. С этой точки зрения существующая оценка и страховка жизней на железных дорогах — несправедлива, и в интересах меньшинства удорожается непропорционально наше железнодорожное дело. Этот вывод не мое умозаключение, а действительный факт из жизни стран и более богатых и более культурных. Тем менее основания опекать так второстепенные подъездные пути. Эта опека — главный источник удорожания. Рутина и опека — причина, почему у нас нет дорог. Меня поймет каждый, кто не имеет этих дорог, а не имеет их громадное большинство России. Эти откажутся от бархата и зеркал главных линий, откажутся от станций-дворцов,— они согласятся и на собачью конуру вместо станции, только тянулись бы от этой конуры два стальных рельса. Как вывод из сказанного, необходим опыт дороги дешевой, не шаблонной, дороги-извозчика, а она — государство в государстве.

Моим предшественникам аплодировали, я кончил при мертвом молчании аудитории.

Получился новый провал таким образом.

— Очень резко, не привыкли ведь к такому тону,— говорили мне.

— Судьба уж моя такая,— вздохнул я.

Каково же было мое удивление, когда Казов, проводив высоких гостей и возвратившись с радостным лицом, сказал мне:

— Мне поручено поблагодарить вас: аплодировать было неудобно: резко... Теперь можно начать мытарства и по министерствам.

Принципиально вопрос прошел довольно быстро и в форме, которая превзошла все мои надежды.

— Вот прочтите,— сказал мне однажды маленький, нервный и подвижной, как ртуть, директор железнодорожного департамента.— Вот там садитесь и читайте.

Я сел в кресло у окна большого казенного кабинета директора, а сам директор потонул за громадным своим столом, читая свои бумаги, запрокинувшись в кресло и как-то держа бумаги над головой. Потом я узнал, что он болел глазами, и ему грозила опасность и совсем ослепнуть.

Бумага, которую дал мне для прочтения директор, был доклад в Государственный совет о ежегодном кредите в десять миллионов рублей на подъездные железные дороги.

Умно, толково, систематично ставился вопрос подъездных путей, их необходимость, необходимость строительной свободы и облегчения типов постройки и эксплуатации.

Директор из-за своих бумаг уловил мгновение, когда я кончил, и крикнул мне:

— Ну что?

Я радостно и смущенно ответил:

— Я двумя руками подписался бы под этим проектом.

Директор, улыбаясь, ласково и загадочно смотрел на меня и в то же время нервно грыз свой карандаш.

— Я бы не только десять, а тридцать, сорок миллионов ассигновал бы в год,— сказал я.

— Вам, коли мед, так и ложка... Пока Сибирская не кончится,— и это непосильно. Да вообще за государственный счет постройка дорог... Надо развивать частную инициативу... Мы проводим теперь одну веточку от Осиповичей; если идея ее пройдет, она будет богата последствиями. В двух словах идея такая: ветка создает новый груз. Этот груз пройдет по другим дорогам, ну там до портов, до пунктов сбыта. Чистый доход от этих грузов идет на погашение затраченных предпринимателями-строителями капиталов. По расчету выходит, что ветка окупится в пять лет и поступит безвозмездно в казну... Тогда не то, что на десять, на пятьдесят миллионов в год можно будет строить, а в период двадцати лет казна, не затратив ни гроша, будет иметь сеть двести тысяч верст железных дорог...

Маленький директор был едва виден в своем большом кресле. Он продолжал беспечно полулежать, и только ноги его нервно, ни на мгновение не останавливаясь, двигались, да карандаш энергичнее обыкновенного обгрызался.

— Может быть, придется эту идею и видоизменить, создать ряд железнодорожных банков, срок погашения впоследствии можно будет удлинять, уменьшать проценты, но это выход.

Директор умел как-то подчеркивать свою основную мысль, и тогда получалось впечатление ракеты, уже потухшей и снова вспыхнувшей в темном небе последним, ярким огнем. Так вспыхнуло и осветилось опять это слово «выход».

— А не ваши, поверьте, там узкоколейные... Ей-богу,— директор благодушно махнул рукой,— ведь теоретически вы не насчитаете в нашей ровной местности больше двадцати — двадцати пяти процентов удорожания широкой против узкой.

— Это теоретически,— перебил я,— а благодаря практике вещей, рутине, которая, как глубокая выбитая колея, бесповоротно захватила и направляет колесо,— удорожание получается вдвое.

— Ну, и боритесь с этим. Ведь Павлодарская ширококолейная с перевозкой двадцати миллионов пудов обошлась с подвижным составом меньше двадцати ты-

сяч... Конечно, частная дорога, но постройка и должна быть всегда частная. Конечно, если бы в начале постройки наших дорог мы сделали бы уже колею, было бы лучше, но суть вопроса все-таки не в этом,— ну, вдвое дороже,— что это через десять лет дороге, когда груз ее утроится, удесятерится?

— Все-таки это вдвое.

— А, какой вы! Забудьте вы о казне и ее постройках. Берите только двадцать процентов экономии. Одно уже то, что подвижным составом узкой колеи нельзя пользоваться для остальной линии, а каждая ширококолейная ветка увеличивает общий парк паровозов и вагонов, это одно что составляет?

— Конечно, при вашей постановке вопроса ошибка ослабится,— согласился я,— но и то очень много случаев останется, когда узкую колею вы ничем не замените: во-первых, в местностях пересеченных, во-вторых, в местах глухих, изолированных, где мало надежд на развитие грузов, а данный груз все-таки обесценивается.

— И все это частности: там и стройте...

Лицо директора опять стало благодушным, он весело кивнул головой.

— Подождите, мы еще покажем вам и выходы и горизонты иные.

Через месяц директор сказал мне:

— Ну, дело о подъездных прошло... Вчера министр решил и ваш вопрос. Бог с вами и вашими гарантиями. Вопрос ставится так: ваша ветка представляется в Государственный совет, как первый опыт дешевого подъездного пути. Довольны?

— Это громадное счастие.

— Не промахнитесь только! Постановка вопроса очень серьезная и ответственная.

— Но даром все-таки совсем мы не дадим губернии эту дорогу,— говорил я,— они должны дать даром землю, камень, песок, дешевый лес.

— Ой, какой вы еще юный, несмотря на свою седину...— Директор весело расхохотался.— Ничего они не дадут даром и за все втридорога сдерут...

— Но у меня уже подписки взяты.

— Откажутся... Случая еще не было ни в одной постройке, чтобы такие обещания исполнялись. Ни одного. Разве этим всем, которые там во фраках сидят и ждут очереди, что-нибудь свойственно другое, как схватить только, а там...— Директор презрительно махнул рукой и добродушно бросил: — Только костюм европейца, а под ним ведь дикарь, кулак самой первичной стадии накопления, если уж хотите говорить вашими там терминами... Хоть порите их, но бросьте казенную копейку. Этим и исчерпывается вся глубина, вся мудрость, вся подоплека: дал — друг, не дал — будет гадить, интриговать... Жадность, эгоизм, они, конечно, были, есть и будут, но никакого понимания своих интересов в связи с общими. Лозунг один: «я», «мне», еще мне, еще мне, а потом всуе раз мне... и все расхватано и ничего для остальных, и всем — и «я» и «мне» идти на дно...

Еще прошел месяц, и я уже в роли казенного начальника работ проводил расценку своей дороги во второстепенных иерархиях нашего министерства.

Составлялась так называемая исполнительная расценочная ведомость, которая вторично шла на утверждение в Государственный совет, и затем уже предстояла постройка по этой утвержденной исполнительной смете.

Я не верил этой головокружительной быстроте, с какой прошло мое дело.

— Кого мне благодарить? — спрашивал я Казова.

— Никого... Чудный случай... Если еще какая-нибудь хорошая идея придет в голову,— привозите опять.

XXV

Так удачно прошедшее в высших инстанциях дело нашей подъездной железной дороги встретило целый ряд препятствий и задержек во второстепенных инстанциях, в тех заседаниях, которые были посвящены рассмотрению моего исполнительного проекта. Время шло, а между тем срок постройки уже был предрешен: к февралю, то есть ровно через год, постройка дороги должна была быть окончена. В моем распоряжении оставался

таким образом всего один строительный период — предстоящее лето.

Но март уже был на дворе, когда мне было предложено для всестороннего выяснения вопроса составить три проекта: ширококолейный, узкоколейный метровый и с колеей в шестьдесят сотых метра.

Все эти три проекта и должны были поступить в Государственный совет, от которого уже и зависел выбор того или другого типа. Решенное уже раз дело таким образом под иным соусом преподносилось для вторичного перерешения.

С лихорадочной поспешностью были составлены и представлены мною три проекта: ширококолейный — двадцать восемь тысяч рублей верста, метровый с одиннадцатифунтовым рельсом в восемнадцать тысяч и колея в шестьдесят сотых метра, за которую я стоял, с восьмифунтовым рельсом в четырнадцать тысяч рублей верста.

При рассмотрении этих расценок был поднят вопрос, следует ли включать в расценку широкой колеи подвижной состав. Этим вопрос сводился к уменьшению стоимости ширококолейной версты на шесть тысяч рублей.

Большинство членов совещания высказалось в том смысле, что не следует включать в расценку подвижной состав на том основании, что паровозы и вагоны главной линии могли бы работать и на проектируемой ветке.

— Но,— возражал я,— нам нужно двести тысяч таких веток, а протяжение главных линий всего сорок — пятьдесят тысяч,— их подвижного состава и для теперешних потребностей не хватает...

Мой сосед пренебрежительно, добродушно возразил мне:

— Оставим двести тысяч верст. Пока мы ведь собираемся строить только вашу веточку, протяжением всего сто верст. В сравнении с сорока — пятьюдесятью тысячами — это...

Он сделал в воздухе жест, все рассмеялись, и подвижной состав был вычеркнут. Стоимость широкой колеи этим низводилась к двадцати двум тысячам за версту.

Был объявлен перерыв.

— Ну, что ж,— усмехнулся кто-то, вставая и обра-

щаясь ко мне,— разница уж не такая большая выходит между широкой и узкой колеей, а удобства широкой колеи...

Мой товарищ по выпуску, докладчик по моему делу, особенно энергично оспаривавший меня, сказал:

— Да бросьте же вы к черту эту узкую колею: выстройте себе широкую, мы ведь не против, дадим ее вам,— самому же по крайней мере не стыдно будет ездить потом.

Члены совещания слушали и смеялись.

Я не оставался в долгу.

— В этом-то и несчастье,— отвечал я,— что слово «стыдно» командует над экономической жизнью страны.

— Ну, поехал...

Когда раздался звонок председателя и мы опять расселись в громадной комнате вокруг стола, занимавшего почти всю комнату, докладчик, мой товарищ, возобновил свои нападки.

— Я не вижу также оснований,— говорил он,— при широкой колее класть двадцатидвухфунтовый рельс: восемнадцатифунтовый...

— Но тогда,— дружелюбно заметил ему один из членов заседания,— подвижной состав наших главных линий не будет же годиться.

— Тогда положим старые рельсы,— поправился докладчик.

Положить старые рельсы,— значило выдать их из запаса без цены, и следовательно и цена рельс вычеркивалась из расценки. При таких условиях широкая колея грозила выйти даже дешевле узкой.

— Но у вас в запасе нет этих старых рельс,— в отчаянии возражал я.

— Для ста верст найдется.

— Но ведь это не принципиальное решение вопроса.

— Мы здесь и не уполномочены на это, и вас никто не уполномочивал; мы решаем частный простой вопрос, как экономичнее выстроить вашу веточку в сто верст.

Я думал: «Решаем частный простой вопрос, как проще провалить вашу веточку».

И с каким злорадством подчеркивалось ничтожество этой веточки в сто верст.

Счастливая мысль пришла мне в голову.

— В таком случае,— сказал я,— если у вас действительно есть в запасе старые рельсы, так давайте их и для узкоколейного типа,— мы будем иметь возможность тогда пускать пятидесятивосьмитонные паровозы с подъемной силой в тридцать вагонов, а во всех трех расценках стоимость рельс вычеркнется.

Все рассмеялись.

— Хитрый, — усмехнулся и мой оппонент, и вопрос о старых рельсах был оставлен.

— Хорошо, старые рельсы мы оставим,— продолжал он,— но почему же на метровый одиннадцатифунтовый рельс, а на шестьдесят сотых метра — восьмифунтовый?

— Одиннадцатифунтовый,— отвечал я,— выдержит сорокатонный паровоз и поезд из двадцати вагонов, а восьмифунтовый только двадцатитонный и десять вагонов. В последнем случае, конечно, лишний эксплуатационный расход, но он наверстывается в колее в шестьдесят сотых метра и меньшим строительным капиталом.

— Туманно...

И совещание постановило в сбе узкие колеи ввести восьмифунтовый рельс. Я не настаивал, потому что в первоначальном проекте прошла колея в шестьдесят сотых.

— Если метровая пройдет,— возразил я своему товарищу,— после заседания я буду протестовать.

— На здоровье.

При наших схватках с товарищем старшие члены совещания держались в стороне, сочувствуя в общем моему товарищу.

У некоторых из них было заметно раздражение против меня, может быть, как против человека, желающего сказать какое-то новое слово им, умудренным опытом и знанием. Может быть, видели во мне выскочку, который желает выехать на модном, хотя и своем собственном коньке — удешевлении. Большинство, впрочем, лично были даже расположены ко мне, но просто считали меня человеком, увлекающимся ложной идеей.

Один инженер, идеально честный, прекрасный администратор и практик, которому в жизни, горячась,

я сделал много зла и несправедливости, во время одного из перерывов резко сказал мне:

— Таким, как вы, волчий паспорт надо выдавать: всеми этими удешевлениями вы губите строительное дело.

— Это тем, что я мост-то без облицовки буду строить,— отвечал я ему,— тот мост в степи, который увидят только волки и зайцы? Что тип станции-дворца я подведу ближе к типу прежней почтовой в интересах, чтобы у всех такая же станция была? Ну и выдавайте мне волчий паспорт...

Горячие схватки начались, когда пошло обсуждение типов и цен.

Положение вещей было совершенно обратное обычному рассмотрению расценок.

Обыкновенно начальник работ в предвиденье всяких случайностей постройки выторговывал возможно высшие цены. Здесь же наоборот: со мной торговались, находя выставленные мною цены низкими, прямо невозможными к выполнению.

Самые благоразумные, самые расположенные говорили мне:

— Но вы сами себя подводите: назначьте выше цену, дайте экономию, и слава вам.

— Слава мне, а я хочу принципиальной постановки. При ваших условиях всякая экономия всегда может быть объяснена, как случайное явление, а я говорю об экономии обязательной: упрощением типа, вплоть до крестьянской избы, употреблением местного материала в дело: липы, осины — материала, который строительным уставом нашим по рутине не признается...

— Потому что он действительно никуда не годится,— фыркнул инженер-практик.

— Но мой дом в деревне из осины стоит шестьдесят лет.

— Оштукатуренный?

— А кто мешает и здесь оштукатурить или обшить тесом, чтобы предохранить от соприкосновения с наружным воздухом?

Меня поддерживали только представитель финансов и контроля.

— Да бог с ним,— говорил представитель финансов,— хочет сам на себя петлю надевать, пусть надевает, а может быть и выгорит, а вы в протоколах оговорите, что цены начальника работ признаете низкими до невозможности.

Так и сделали в конце концов.

— Петля надета,— говорил мне после последнего заседания мой товарищ, выходя в двенадцатом часу ночи со мной на подъезд,— и за ноги даже вас не надо тянуть,— силой закона тяжести затянетесь сами...

— Затянусь я, а вопрос поднят.

— Ничего не поднят. Ведь вы поймите: хоть одна копейка перерасхода, и дело все равно дойдет опять до Государственного совета, и тогда провал ваш обеспечен: копейка, миллион,— важен ведь факт перерасхода...

Раздражение его против меня улеглось, он говорил приятельским тоном, вперед сочувствуя моей неудаче.

— Вы только дело не тяните, лето на дворе,— отвечал я.

Он развел руками.

— Вы не один, и то сколько времени мы с вами потеряли... Кроме вашей ветки, сорок тысяч эксплуатационных верст да все постройки,— и там и сям все вопросы перереши до последней шпалы, а ведь вы же знаете нашу организацию...

— Я знаю, что на вас вертится все дело, но, говоря серьезно, не можете же вы один решать за всех в России, решить все, до последней шпалы. И почему все могут ошибаться, а вы, почти не бывавший на полевых работах, всю жизнь работая в кабинете,— почему вы непогрешимый?

— Я вовсе и не претендую на непогрешимость, но факт налицо.

— Налицо и тот факт, что при такой централизации, недоверии к силам других ответственного за дело нет.

— Вы знаете, сколько я сплю? Не больше четырех часов. До одиннадцати вечера вот тут протолчешься, да дома часов до трех, чтобы подготовить на завтра. И сон тяжелый, кошмарный, со всей копотью и дымом этих заседаний... Нервы, конечно, не выдерживают... раздражение...

— Ну, зато вы и на очереди к карьере, к почестям

— На очереди? Я измочален: десять лет едут на мне! Я лопну с почестей ваших...

Сутуловатый, водянистый, он еще ниже пригнулся и, кашлянув, сплюнул. Какая-то сложная музыка заиграла у него там, в груди, он устало сказал:

— У меня ведь астма...

И, прибавив: «ну, прощайте», зашагал в темноте улицы по мокрым от дождя плитам тротуара.

В начале апреля все три расценки пошли, наконец, в Государственный совет. Пошли со всеми оговорками и протоколами совещания. Но над всем этим доминировало коротенькое замечание министра, в котором и признавалась, с одной стороны, возможность перерасхода, но, с другой — в интересах опыта удешевления, он полагал бы оставить цены начальника работ без изменения.

— Скажите,— спросил я своего товарища,— сколько еще времени все это протянется?

— Не меньше месяца, а то и два.

— Значит, половина строительного периода пройдет,— я не успею ведь...

— На будущий год успеете.

— Но штат рассчитан до первого февраля всего.

— Новый испросим.

— Тогда ведь будет перерасход.

— А вы всё еще до сих пор всё думаете, что у вас не будет перерасхода? Слушали бы умных людей, лучше было бы.

— Не будет, потому что я уже начал работы.

— Как начали?

— Так начал за свой счет и страх.

— А если не утвердят? Вы о двух головах?

— Да как же иначе? Вы же, например, сами меня обязали из дубового леса строить мосты. Дуб не рыночный товар,— его еще надо срубить в лесу и пока он листвой не оделся,— дуб, рубленный в листве, вы же сами забракуете.

— Обязательно.

В начале мая мой товарищ сказал мне:

— Ну поздравляю: дорога утверждена, метровая колея.

Я уже знаю это, знал, что в Государственном совете мое дело докладывал товарищ министра и высказался в том смысле, что находит возможным довериться мне в моей попытке. Мне это рассказал тот самый инженер, который проектировал выдать мне волчий паспорт.

— Я враг ваш принципиальный,— кончил он,— но тем не менее как человек от всей души желаю вам успеха. Дело очень серьезное и ответственное. Здесь не должно быть места ни задору, ни увлечениям.

Присутствовавший при нашем разговоре товарищ мой инженер,— крупный подрядчик,— весело перебил говорившего:

— Да не желайте вы, пожалуйста, ему никаких успехов: чем скорее провалится, тем лучше; и без того цены испорчены так, что, кроме убытков,— ничего...

— Чьи убытки — казны или его,— он благоразумно, как настоящий уже подрядчик, не договаривает,— вскользь заметил мой собеседник и, обращаясь ко мне, кончил:

— При благоприятных обстоятельствах может быть и успех. Во всяком случае очень и очень ответственное дело.

XXVI

Еще около месяца прошло. Все, собственно, уже кончилось, но какая-то скучная канцелярская волокита тянулась без конца. Я давно жил на даче. Каждый день из Царского я отправлялся в Петербург с надеждой выехать сегодня и возвращался все с тем же: «Завтра».

Каждый день был так похож на предыдущий, что все уже приобрело род привычки, налаженности.

К девятичасовому поезду я отправлялся на вокзал.

Яркое умытое утро. Солнце ищет молодую зелень травы, но она еще долго будет прятаться под надежным покровом развесистых тенистых деревьев.

По укатанному шоссе Царского Села идут и едут: поезд, уносящий в летний душный Петербург всякого рода чиновничий люд на весь день, уже дает повестку длинным протяжным свистком из Павловска.

На вокзале и под навесом платформы сильнее чув-

ствуется бодрящая прохлада свежего утра. Лица отдохнувшие, почти удовлетворенные,— нечто вроде хорошенько вычищенного, но поношенного уже платья. Шляпы, котелки, цилиндры, всевозможных цветов военные фуражки.

Поезд подошел, с размаху остановился, выпустил пар,— зашумел и зашипел,— а в вагоны торопливо входят один за другим пассажиры. В числе их и я. Большинство ищет уютного уголка, спешит его занять, вынимает прежде всего портсигар, закуривает папиросу, затем развертывает свою любимую газету и погружается в чтение, не упуская из виду, впрочем, и окружающей его обстановки. По расписанию дня это время переезда назначено для газеты и надо прочесть ее всю, хотя бы для того, чтобы знать все и потом с одного слова понимать, о чем пойдет в своем кружке речь. Понимать и отвечать по разным большею частью мелким злобам дня.

На площадке третьего класса счастливая, ветром растрепанная парочка: она, вероятно, курсистка или консерваторка, он — мало думающий о своем туалете студент,— у них обязательных дел нет, и они счастливы, или, вернее их лица беззаботны и далеки еще от тех складок и напряженных взглядов, которые явятся уже потом, в жизни.

Эту тягость жизни уже начинает, очевидно, чувствовать господин, сидящий у окна первого класса. Он туповато смотрит в окно мимо против него сидящей, в большой шляпе, не старой, но и не молодой уже дамы,— очевидно, его сожительницы.

Очевидно, потому, что интереса на лицах нет: равнодушие, апатия. Глядя на них, так и видишь возбуждающее их к жизни: приготовленный карточный стол, партию раз навсегда дозволенных, с обоюдного — во избежание глупых ссор — согласия, партнеров, легкую закуску в столовой; тогда им обоим не так скучно будет на свете, а временами, после удачной игры, лишней рюмки, перед перспективой заснуть и забыть все, вся и самого себя, даже и совсем хорошей покажется эта жизнь.

Во всей половине этого отделения для некурящих сидят люди хорошего тона, чопорные и скучные: их жизнь вылилась в недосягаемую для многих и не инте-

ресную для всех, кроме их самих, скучную форму установленного этикета. В свое время незаметно, без следа и сожаления сойдут с подмостков жизни мишура времен вместе с своими этикетами.

До этих следов времени никакого дела нет в отделении первого класса для курящих.

Там жизнь данного мгновения и следы его: облака дыма, всегда бодрый, довольный кружок кавалеристов и разговоры о скачках, маневрах и насвистывания мотивов последних шансонеток. В углу вагона остаток ночи: две вольных подруги в кружевах и шляпках громадных размеров, напудренные, а может быть, и подкрашенные. Они жадно ловят слова, движения и взгляды молодых военных, но те только изредка скользят пренебрежительно куда-то мимо. Они довольны и этим и с протестующим высокомерием отводят глаза от двух штатских.

— Ох-хо-хо! — потягивался, заломив руки за голову, высокий, широкоплечий, статный, как статуя Аполлона, белокурый гусар.

— Что? — одобрительно спрашивает его более пожилой сотоварищ.

— Спать хочется,— добродушно и смущенно признается белокурый гусар.

И все смеются, выдан какой-то секрет, сквозь пудру краска удовольствия покрывает лицо одной из дам, и она смотрит в окно, стараясь не видеть и в то же время ловя боковые взгляды молодой компании.

В Рогатке садится мой сослуживец — важное лицо в нашем министерстве.

— Как дела?

— Держат,— отвечаю я.

— Продержат еще с месяц,— уверенно, спокойно говорит важный.

— Но тогда, пропустив рабочую пору,— горячо отвечаю я,— что ж я сделаю?

Важный молчит и потом удовлетворенно, каким-то трескучим голосом говорит:

— Ничего, конечно, не сделаете.

— А лишний год администрацию содержать, лишних сто двадцать тысяч из казенного кармана?

Важный господин опять молчит и нехотя отвечает:

— Надо войти и в их положение: Россия — страна размеров необычайных.

— Это и надо бы принять во внимание: за всех не передумаешь...

Собеседник лениво бросил:

— Приходится, однако, думать. Петербург. Месяц еще продержат — и с этим помиритесь.

Важный господин молча кивает головой и выходит на площадку, я за ним, беру извозчика и еду в министерство.

Большой знакомый желтый дом.

Ну, конечно, швейцар и поклоны, другой швейцар и опять поклоны, третий, четвертый.

Стоят, смотрят в лицо: свежие, бодрые, готовые без устали кивать и раскланиваться. А впрочем, они все-таки смягчают обстановку, придают в этот ранний час жилой вид этим пустым еще комнатам и коридорам. А своими услужливыми и ласковыми лицами производят впечатление того, что пришел все-таки как-никак к своим. В ожидании я слоняюсь по коридорам и думаю: ведь, в сущности, в общем люди добродушные и незлобливые, но такова уже сила вещей.

Двенадцатый час. Я стою перед низеньким, плотным, добродушным сгорбленным стариком, или не стариком — кто его знает, сколько ему лет. Лицо широкое, помятое, глаза маленькие, добрые, фрак торчит хвостиком, манеры простые, добродушные.

— Утвердили,— говорит он мне не то радостно, не то вопросительно.

Это приветствие я слышу уже в десятый раз.

— Если утвердили, так за чем же задержка?

— Да ни за чем.

— Ну так, значит, строить можно: давайте кредиты!

Иван Николаевич рассеянно говорит:

— Ишь, скорый какой!

— Послушайте, Иван Николаевич, ведь дело от этого страдает, да и мне же нет сил ждать больше, истомился я здесь,— ведь четыре месяца...

— Да что вы, господь с вами, какие четыре?

— Да, конечно, здесь в Петербурге я четыре месяца...

— Ну-у!

Иван Николаевич машет добродушно рукой и уже заговорил с другим.

Я терпеливо жду.

— Послушайте, Иван Николаевич, я решил теперь являться к вам в одиннадцать часов и уходить в шесть.

— Сделайте одолжение,— сухо говорит Иван Николаевич.

— Иван Николаевич!

— Иван Николаевич я пятьдесят четыре года, а один за всех.

— Иван Николаевич, пожалейте же... ну, зачем же без толку мне здесь околачиваться? Ну, рассудите же, ведь надо меня отпускать, ну пройдет еще месяц, два,— наступит же момент, когда надо будет вникнуть и в мое дело. Почему вам не вникнуть сейчас, когда еще не поздно, зачем томить, мотать душу.

— Ах, господи! Ну, что вы пристали, ей-богу?!. Что я могу здесь сделать?

— Иван Николаевич, если вы не можете, так кто же может?

Иван Николаевич роется в своем столе, бросает все и говорит:

— Пойдем.

Иван Николаевич ведет меня через целый ряд комнат со множеством столов, где у каждого стола сидит чиновник с озабоченным лицом и что-то перекладывает.

— Ивановское дело! — раздается торопливый голос подбежавшего и скрывавшегося уже тоже озабоченного чиновника.

— О, господи! ему ивановское, тому петровское, черт его знает, за какое и браться! — Чиновник берется за ивановское, раскрывает, тупо огорченно смотрит-смотрит и вдруг, вспыхнув, быстро складывает ивановское и опять сосредоточивается на петровском.

— Почему мы не может открыть им кредитов?— подходит к этому чиновнику Иван Николаевич.

— Каких кредитов? — спрашивает чиновник.

Ему не хочется оторвать сосредоточившуюся мысль от петровского дела, хочется и ответить.

— Да вот,— говорит Иван Николаевич и, прерывая сам себя, вдруг уже другим, оживленным голосом спрашивает: — Николай Васильевич пришел?

Чиновник оставляет петровское дело и в тон отвечает:

— Пришел.

Голос его многозначителен, и Иван Николаевич щурит левый глаз. Чиновник только машет рукой. Подлетает третий и начинает быстро сообщать какую-то новость.

Все четверо взасос слушают.

— Надо самому идти,— говорит Иван Николаевич и уже идет.

— Иван Николаевич, голубчик,— чуть не за фалды хватаю я его,— кончим уж мое-то дело.

Иван Николаевич несколько мгновений смотрит на меня, точно впервые видит меня, и рассеянно говорит чиновнику:

— Послушайте, разберите вы вот с ними...— И Иван Николаевич скрывается в дверях.

— Да чего вы собственно хотите? — спрашивает меня чиновник.

Так как этому господину я еще никогда ничего не говорил, то и начинаю с Адама и дохожу до момента своего стояния перед ним.

Господин слушает, заглядывает в петровское дело, шевелит целую кипу таких же дел, нервно теребит себя за цепочку, закуривает папиросу и, наконец, потеряв, очевидно, всякую нить моего рассказа, говорит, когда я смолкаю:

— Да ведь это в канцелярию министра.

Я смотрю на него во все глаза.

И чиновник в свою очередь уже немного сконфуженно смотрит мне тоже прямо в глаза:

— Вам чего, собственно, надо?

Я в полном отчаянии — начинать опять с начала?

Входит неожиданно Иван Николаевич, берет меня под руку и говорит:

— Он вам ничего не поможет. Вся задержка оттого, что смета к нам не препровождена еще.

— Как не препровождена? Да неделю, как уже препровождена!

— Не может быть!

Идем в регистратуру, Иван Николаевич прав.

Я лечу в третий этаж к своему товарищу по выпуску.

— Послушайте, батюшка,— говорю я,— оказывается, вы в счетный отдел сметы не препроводили.

— Как не препроводил? — препроводил.

— Да нет же!

— Что вы мне рассказываете!

Идем в регистратуру. Действительно, не препроводил.

— Куда же я препроводил?

Товарищ берет журнал и внимательно роется сам.

Эврика! Он препроводил, но не смету.

— Куда же я смету девал? Я помню, я ее отправил... Черт его знает! Нет сил! — Он бежит к себе, опять роется на своем столе — сметы нет.

— Председатель просит! — заглядывает озабоченно курьер.

Товарищ бросает меня и идет в кабинет председателя...

— Дело Шельдера у кого? — выходит он озабоченный через несколько минут из кабинета председателя.

— Шельдера, Шельдер?!

Дела Шельдера ни у кого нет.

— Оно у Шпажинского,— говорит чей-то голос. Шпажинский сегодня не пришел.

— Зарез полный,— по делу Шельдера требует справки председатель, Шпажинский не пришел,— какая это служба?! Ей-богу, точно гостиница,— несется ворчанье из кабинета моего товарища.

— А удачное сравнение,— затягивается и весело подмигивает мне молодой с вызывающими и смеющимися глазами чиновник-инженер.

Он смолкает, потому что входит мой товарищ и роется в столе Шпажинского. Как на грех, дело Шельдера оказывается запертым в столе, а аккуратный Шпажинский ключ унес.

— Тьфу! — облегчает себя товарищ,— ну, уж это, прямо можно сказать, свинство со стороны Шпажинского: перешел себе на частную службу и даже не сдает дела.

Товарищ уходит в кабинет председателя, а молодой чиновник растолковывает мне:

— Шпажинский уже три месяца молит его выпустить, а они под разными предлогами его держат: ну что ж, потерять место в восемь тысяч?

Я пожимаю в ответ плечами и без мысли выхожу в коридор, а оттуда к двери председательского кабинета, чтобы не пропустить товарища, который там теперь у председателя.

Тут же у дверей в ожидании очереди слоняется с папкой и Иван Николаевич.

— Ну, что? — спрашивает он меня.

— Нет сметы,— развожу я руками.

— И в претензии, батюшка, нельзя быть,— добродушно говорит Иван Николаевич.

Оба мы отходим к большому окну, оба облокачиваясь и смотрим из окна в сад, а Иван Николаевич благодушно говорит:

— Ну вот вы сами считайте: теперь что? Май? Исходящий номер уже десять тысяч сто двадцать первый, да столько же входящих. Пять минут только подержать каждое дело в руках, пять минут,— много ли? А ну-ка посчитайте.

Иван Николаевич, заинтересовавшись задачей и смотря повеселевшими глазами в окно, шепчет:

— Десять тысяч, двадцать тысяч... по пяти минут — сто тысяч разделить на шестьдесят, по нулю отбросить, десять тысяч на шесть... Это что же будет? тысяча шестьсот часов... Ну хотя от одиннадцати до шести, значит, семь часов,— на семь... два... двадцать, ну хоть три, двести тридцать дней. Январь, февраль, март, апрель, на круг двадцать пять дней... сегодня двенадцатое,— вдвое выходит!:. Так ведь пять минут всего... А с вами одним сколько? Что ж тут сделать можно??

— Да ведь ничего же вы и не делаете, стоит все,— огорченно отвечаю я.

— Ну, не очень-то стоит: десять тысяч все-таки исходящих, да входящих... За день-то голова в пивной котел и вырастет.

— Да кто говорит! Удивляться только можно, как у вас всех нервы выдерживают! Понимаете ли — лучшее время уходит... я уже и письма перестал получать из дому: я каждый день, вот уж месяц телеграфирую домой,

что завтра выезжаю... Не знаю даже, что и делается там теперь...

Очередь Ивана Николаевича к председателю, потому что товарищ мой вышел.

Товарищ бежит и на ходу решительно кричит мне:

— Батюшка, завтра,—сегодня секунды свободной нет!

— Но завтра будет?

— Будет, будет,— доносится успокоительный голос товарища уже с верхней лестницы.

Я провожаю его глазами,— какая-то надежда, что завтра выпустят, и тоска в то же время. Что теперь делать? Два часа. Ехать в город, купить еще по записке, что не куплено, да послать опять телеграмму домой.

XXVII

В июне, наконец, меня выпустили, и я уехал на родину, к месту работ. Моих средств хватило на организацию только земляных работ и на заготовку леса. Все остальные работы — мосты, гражданские сооружения и прочее — стояли без движения.

Время для дешевой организации, системой мелких рядчиков — было пропущено.

К этой системе прибегает всегда крупный подрядчик и зарабатывает этим тридцать — сорок процентов. Отстраняя крупного подрядчика, имея дело непосредственно с мелким рядчиком, казна кладет в свой карман эти тридцать — сорок процентов. Но здесь есть и риск: рядчикам надо давать авансы. Из десяти рядчиков — один сбежит. Остальные девять с лихвой оплатят, конечно, потерю — это хорошо знает опытный подрядчик, но казна убытков не признает, — за девять рядчиков она выгоду получила, а за десятого взыщет со строителя. Вот почему этот способ мало практикуется казенными строителями, и предпочитается ему или крупный подрядчик, или же способ хозяйственных работ. В последнем уже сама казна работает все: нанимает поденных, покупает инвентарь, кормит лошадей. Здесь чиновник-инженер сразу превращается в сельского хозяина.

Увы! много ли среди самых заправских сельских хозяев хороших хозяев, умеющих сводить концы с концами? И ко всему ведь это хозяева своих собственных денег, этими своими деньгами они ответят за всякий свой промах, недосмотр, ошибку.

Совершенно не то положение хозяина-чиновника, хозяина за чужой счет, ставшего хозяином в силу предписания за таким-то нумером.

Из двадцати выберется один настоящий хозяин, но, научившись на казенный счет, и он уйдет из казны и станет сам хозяином,— крупным подрядчиком, где труд его вознаградится сторицею.

Отрицательными сторонами хозяйственных работ является не только неопытность, неумелость или равнодушие чиновника-инженера, но часто и недобросовестность. Все эти табеля поденных — великий соблазн для всякого рода табельщиков, десятников, а иногда и для лиц, занимающих и повыше места.

А между тем необходимость заставляла меня во всех неначатых работах прибегнуть как раз к этому единственному оставшемуся в моем распоряжении способу. Что до крупных подрядчиков, то при назначенных мною низких ценах на них во всяком случае и рассчитывать было нечего, а мелкие рядчики, за поздним временем, уже пристроились, кто где мог, на других работах.

Удалось еще подыскать рядчика только для каменных работ. Эти две работы — земляная и каменные мосты — и вышли действительно дешевыми у меня. Все остальное, сделанное руками поденных, под хозяйственным наблюдением случайно попавшегося штата,— за поздним временем и незначительным сроком постройки вышло гораздо дороже того, что могло бы стоить. Но опять-таки не дороже того, что стоил бы штат, если б постройку затянуть на год.

Чтобы по возможности смягчить зло, я постарался создать на своей постройке широкую гласность, а с ней и то общественное мнение, которое лучше, чем кабинетная тайна, гарантирует целость казенного кармана.

Прежде всего я ограничил всех и самого себя относительно денег. Всякое расходование денег производилось с общего ведома всего персонала.

Происходило это в наших собраниях — местных на участках и общих в центральном управлении. Членами этих собраний были как техники, так и весь интеллигентный штат служащих дороги. В этот штат входил и многочисленный контингент студентов всевозможных специальностей. Здесь были и юристы, и филологи, и доктора, и техники. Работа их всех, главным образом, сводилась к контролированию десятников, табельщиков, а отчасти и техников.

Мне делали упрек, и я охотно его признаю, что организация студенческих работ была далеко не совершенна. Они, может быть, были недостаточно впряжены в дело постройки, стояли где-то сбоку, в роли каких-то контролеров, вследствие чего при отсутствии такта могло получаться впечатление, что юноша, ничего не знающий, являлся как бы контролирующим действия даже высших агентов дороги.

Было бы, конечно, правильнее превратить всех этих студентов самих в табельщиков, денежных артельщиков, но несомненен тот факт, что это элемент полезный, освежающий, смягчающий нравы, создающий те действительные контрольные фонари, при которых свет и гласность являются действительно обеспеченными.

Не сомневаюсь, что те пятнадцать тысяч рублей, которые истрачены были на приглашенных студентов, что на всю строительную сумму полтора миллиона составляет всего один процент, сохранили не одну сотню тысяч.

Из числа раскрытых таким контролем злоупотреблений один случай был очень характерный, так как касался одного из высших агентов дороги.

Был уже собран Геннадьичем целый ряд косвенных улик против него, а я, несмотря на настояния молодежи, все еще медлил и не решался, когда вдруг злоупотребление уже заподозренного лица стало вне сомнения.

В тот же день я получил от своих сослуживцев адрес за шестьюдесятью подписями, то есть за подписями почти всего наличного персонала, с ультиматумом или удалить от службы виновного, или же все они остальные оставляют службу. Во главе движения стоял Ген-

надьич, с вызывающим видом с двумя другими подавший мне этот адрес.

— Я не хотел, чтобы мои действия носили характер произвола,— отвечал я,— у нас существуют наши собрания,— может быть, обвиняемый согласится явиться в это собрание и дать свои объяснения.

— Мы должны посоветоваться,— сухо ответил мне Геннадьич и удалился вместе с своими товарищами.

К вечеру я получил от них уведомление, что подписавшие адрес согласны на мое предложение, и я письменно обратился к обвиняемому. Ввиду и им выраженного согласия через несколько дней вечером было назначено общее собрание.

Для удобства всех собрание было назначено посреди линии в одном необитаемом многоэтажном помещичьем доме с согласия, конечно, управляющего владельца имения.

Как заговорщики, уже в сумерках после работы съезжались к условленному месту со всех сторон агенты дороги: и в экипажах, и в поезде, и верхами. В наше распоряжение был отдан нижний этаж с низкой, но громадной, род залы, комнатой. Несколько ламп плохо боролись с мраком комнаты, тускло освещая громадный стол и ряды стульев. Входили, здоровались и молча садились. Что-то мрачное, тяжелое, без конца неприятное.

Казалось, и самые горячие агитаторы теперь точно сожалели о затеянном.

По крайней мере Геннадьич забился в самый дальний угол и не подавал звука. Ближе к столу места заняли более старшие, более опытные, хотя, в общем, была довольно смешанная картина лиц: безусых, пожилых уже, и голов — русых, черных, седых и лысых, без всяких волос.

Чувствовалась и необычность этого собрания, но чувствовалась в то же время его законность и сознание этой законности: сознание ответственности перед совестью своей, перед совестью общественной,— и самые молодые лица делались серьезными, сдержанными, полными достоинства, предстоящих мгновений. Обвиняемый приехал почти последним и, войдя в зал с развязным

видом, производившим тяжелое впечатление, как бы ничего не случилось, стал здороваться со всеми.

Когда здорованье кончилось, начались выборы председателя.

Выбрали моего заместителя.

Обвиняемый, бледный, с отекшим лицом, уже пожилой господин, с академическим значком, все время пренебрежительно улыбавшийся, встал и, стараясь говорить свысока, тоном человека, к которому относятся пристрастно, но которому это совершенно безразлично, который иного отношения и не ждет себе, сказал:

— Я не признаю законности этого собрания. Я никогда не сочувствовал и не признавал таких собраний, всю эту постановку вопроса, где безбородый юноша, которому надо учиться и учиться, является сам вдруг в роли чуть не опекуна, контролера, судьи,— я не могу признать ее и не сомневаюсь, что и никто из деловых людей ее не признает. У нас есть своя корпорация, которая одна компетентна и перед которой начальник работ ответит в свое время за глумление над тем мундиром, который мы оба имеем честь носить...

Он сел, а я попросил у председателя слова.

— Ни в каком случае,— сказал я,— собрание это не является для вас обязательным. Если вы не желаете, то никакого суждения и не будет о ваших действиях. Но не можете же вы отрицать, что все, здесь находящиеся, являются товарищами вашими по общему для всех нас делу. Отсюда вытекают их и права и обязанности. Первое их право — любить и уважать их дело, честь этого дела. И, как люди корпорации, мы ни в каком случае, казалось бы, не должны претендовать на исключительное наше право охранять честь знамени этого дела. И, с другой стороны, ни в каком случае корпорация не может заменить собой общественного мнения. Здесь перед вами общественное мнение: угодно вам перед ним дать отчет в ваших действиях,— оно внимательно выслушает и обсудит, потому что не хочет погрешить перед вами, перед своею совестью.

— Эту постановку — местное общественное мнение — только я и признаю, потому и явился.

И обвиняемый, раздраженно кивнув мне головой, отвернулся.

Мне его так жаль было, что я готов был прекратить все, сам готов бы сесть вместо него, но рамки созданного мною же дела ставили мне непреодолимые барьеры: на всех одинаково накладывалась какая-то узда суровой необходимости чувствовать себя только одной шестидесятой частью целого.

Два битых часа шел разбор прискорбных обстоятельств, ни на мгновение не оставляя сомнений в преступной виновности.

На голосование был поставлен вопрос в такой редакции: «Достаточно ли выяснилось, что дальнейшее совместное служение собрания с таким-то не представляется возможным?»

Ответ получился единогласный: да, выяснилось.

При гробовом молчании обвиняемый встал.

— Ну, что ж? Уйду... Прощайте.

Он, бодрясь, протянул руку первому стоявшему возле него молоденькому, застенчивому, как девушка, студенту-технику. Тот покраснел до корня волос, пряча руки за спиной, чуть не плача, сказал:

— Извините... так попрощаемся...

Это имело действие вихря, который унес из комнаты виновника этого собрания.

Мы разошлись молчаливые, подавленные, но с ясным сознанием, что то, что сделано, было необходимо сделать.

Нельзя не упомянуть и о большом воспитательном значении студенческого элемента.

На постройке нравы в общем грубы. Субординация и чинопочитание в открытых, напоминающих военный строй, формах — явление заурядное.

Был такой случай: один техник дал волю рукам. И я сейчас же получил адрес и ультиматум. Опять суд и уход виновного с линии, так как обвиненный не хотел признать себя виновным, полагая содеянное некоторым образом даже в заслугу себе.

Чтобы совсем раздражить рутинеров дела, сообщу, что и я лично был привлечен однажды к ответственности пред общим собранием за увольнение десятника без до-

статочно внимательного разбора дела. В результате десятник был принят обратно на службу, а мне был объявлен собранием выговор, что и хранится в протоколах собрания.

Если будут мои противники говорить о деморализации дела при таких условиях, то я успокою их: лучшей нравственной дисциплины, людей, покорных одному хозяину — делу, я не встречал ни на одной постройке. А перебывал я на них и видел их достаточно на своем веку.

XXVIII

В деле постройки далеко не все шло так гладко, как бы хотелось.

Пословица: «Не ошибается только тот, кто ничего не делает» — применима везде, а в железнодорожном строительстве, где громадное дело создается с головокружительной быстротой — особенно.

Были вины наши,— вольные и невольные,— были и не наши.

Дуб наших мест оказался плохим строительным материалом, и при рубке на одно годное бревно приходилось несколько ситовых, дуплистых, и в результате бóльшую часть леса пришлось употребить на дрова.

Поденщина хозяйственных работ тоже пожирала массу денег. И, как всякая поденщина, вгоняла работу.

Были вины и не наши.

Бóльшую часть строевого материала приходилось возить из города, за сто с лишком верст от места работ. Местная дорога, во главе которой стоял болезненный, скоро потом сошедший со сцены техник, мой принципиальный враг, отказалась перевозить груз нашей дороги, как казенный. Этим удорожалась как стоимость перевозки, так и терялась срочность доставки.

Несмотря на то, что дорога наша была такой же казенной, несмотря на то, что сама дорога строила такую же ветку и подвозила к ней грузы, как к казенной линии — нас поставили в очередь со всеми остальными частными грузоотправителями.

Без срочной доставки артели плотников, каменщиков, мастеровых всякого рода сидели неделями без дела, и приходилось этих дорогих мастеров гонять на простую чернорабочую поденщину, платя вдвое. Я, конечно, протестовал в центральное управление,— оно ответило в утвердительном для меня смысле, но в ноябре уже, когда все перевозки были уже кончены. Рискуя иначе не кончить в срок, мы вынуждены были возить на лошадях, переплатив за это до пятидесяти тысяч рублей.

Осложнялось дело постройки и государственным контролем. Ограниченный буквой закона, с одной стороны, с другой — верой в здравый смысл своего «я» — чиновник-контролер, не специалист к тому же, создавал нам на каждом шагу целый ряд препятствий, которых сам и не сознавал даже.

Приведу один только пример. Порядок расходования казенных денег следующий: строительная контора получала авансом двадцать тысяч рублей, и пока не отчитывалась в этих деньгах, новых авансов контроль не разрешал. При крупных подрядчиках и даже рядчиках этого аванса было бы достаточно, так как оплата по работам тогда происходила бы помимо авансов, но при хозяйственных работах всего до пятисот тысяч рублей, при условии израсходовать их в четыре месяца, аванс должен был двадцать пять раз обернуться. Другими словами, раз в неделю надо было представлять отчет. Пришлось вследствие этого, чтобы успевать, строительную контору поместить прежде всего не на линии, а в городе, за сто двадцать верст от места, где помещался контроль. Чтобы успеть даже и при этом в неделю повернуться с такой сложной манипуляцией, как отчет, пришлось держать как отдельных курьеров, срочно возивших отчетные документы с линии, так и двойной штат конторщиков на линии, а в центральном управлении создать целый департамент бухгалтеров, которые еле-еле успевали к назначенному дню представлять отчет, всегда с надписью: «Срочно». А тут еще какой-нибудь документ, составленный не по форме или неправильно списанный, и сразу вся машина останавливалась: аванс не пополнялся контролем, платить было нечем, на линии бунт, и единственное средство спастись — это прибег-

нуть к двадцатому параграфу, по которому начальник работ за своей ответственностью может парализировать запрещение контроля. Но это уже война с контролем. Передав дела в Петербург, в центральные управления — начет в будущем и затяжка лет на десять. И хорошо еще, если все окончится манифестом.

Ясно, что при таких условиях линия, постройка ее, является делом второстепенным. Главное же и существеннейшее — возня с учреждением, которое сразу может испортить все дело. Возня с учреждением, при этом же специальным, следовательно неграмотным в нашем деле, члены которого руководствуются не объективным, не незыблемым, а своим субъективным, ничего, в сущности, не стóящим. В результате — сплетни, возня с неграмотными дядьками и полный застой во всем, тормоз, который вечно не кстати, на гору, прикручен, потому что тормозящий, вертящий ручку тормоза, и при желании и даже по незнанию будет вертеть не в ту сторону.

Чтоб как-нибудь справиться, я должен был прибегнуть к частному займу в пятьдесят тысяч рублей, оплачивая проценты из своих собственных средств.

Контроль это знал и тем не менее на мою просьбу в центральное управление об увеличении авансов дал с своей стороны отрицательный отзыв. Под конец я добился-таки помимо контроля увеличения аванса; но надо было ехать в Петербург, хлопотать, а время ушло, и при таких условиях развернуть весь фронт работ удалось только к осени, когда и дни стали вдвое короче и погода испортилась, когда работы требовали и теплых бараков, и теплой пищи, и водки, и все-таки в дождь не работали.

Ничему не доверяя, чиновники контроля являлись на линию, проверяя путем того нивелира, которого никогда в руках не держали, работы, определяя качества материала, ничего не понимая в нем. Приходилось возиться, нянчиться, потому что ссора с контролером — вещь очень опасная для репутации, а с другой стороны, чувство деловитого и порядочного строителя не могло не возмущаться сознанием, что такого контролера при желании надуть, обмануть можно как угодно. Я не против идеи контроля, но одной идеи здесь мало, а в своем прак-

тическом осуществлении действующий контроль, говоря откровенно, в большинстве случаев на руку только тем, которые хотели бы на законном основании злоупотреблять. Законным же основанием при такой системе является аккуратно составленный документ,— с маркой, с крестами за неграмотных и проч. и проч.,— все то, что можно сфабриковать, имея бумагу, перо и чернила.

Не этим путем я уберег казенный карман. Мне помогли: общественное мнение на линии, гласность, ограждение прав даже мелких сошек, потому что этим пробуждается достоинство, самосознание, любовь и уважение к делу—все то, что действительно желает дело. И повторяю: могут оспаривать некоторую мою непрактичность в постановке вопроса, но как идея она вне спора.

При этом пусть будет и контроль, но как неразрывное тесное со всем остальным живым делом постройки, такой же ответственный пред общественным мнением, такой же член общих собраний, где он всегда будет и в курсе дела и в то же время лучше и легче будет понимать то, чего теперь обособленный, замкнутый в тиши своего кабинета никогда не поймет не специалист чиновник-контролер. Не поймет и, убежденный в своей непогрешимости — свойство чиновника,— будет кроить и резать живое дело в святой уверенности, что он, этот второй и неответственный хозяин, только и спасает это дело от ошибок и хищений. И в то время как крупный подрядчик, не интересуясь ни капли аккуратностью табелей поденных с крестами за неграмотных, обратит все свое внимание на то, во что обошлась работа, что стоила единица работ, контролер будет только усердно искать отступления от формы,— нет креста, неразборчива фамилия, неверен итог. Это последнее, впрочем,— проверка итогов, в сущности и есть единственная работа, приносящая действительную пользу.

XXIX

Пришла зима. Дорога наша была закончена вчерне, но самого главного — подвижного состава — у нас не было. Заказ его зависел от центральных управлений,

и мы, строители, здесь уже были бессильны подвинуть дело. К тому же и дело было новое, требовавшее новых типов подвижного состава, требовавшее новой работы, а так как работой все и без того в этих центральных управлениях завалены выше головы, то и получили мы вагоны только к следующей осени.

Я три раза просил принять от меня дорогу, хотя бы вчерне, с тем, чтобы достроить ее уже эксплуатацией, что, конечно, стоило бы дешевле строительного штата, но мне было отказано. Мотивировка отказа: дело новое — я его начал, я должен и довести его до конца.

А когда дело кончилось и началась приемка его от меня прилегающей к моей ветке казенной дорогой, то правление дороги категорически заявило, что не может признать тех облегченных условий, которыми руководствовалась наша строительная контора.

— Но ведь наши условия утверждены всеми инстанциями. Будки, например, сторожевые нам разрешено не строить,— просто надпись: «Берегись поезда».

— И наши условия,— отвечали мне,— тоже утверждены всеми инстанциями: будки мы должны строить.

Также не были признаны проектировавшиеся: телефонная система, поездные жезлы, централизация станционной отчетности, что не требовало обычного сложного и дорогого станционного штата. И вот нашу маленькую дорожку, дорожку-извозчика, облекли в широкий не по росту общепринятый эксплуатационный мундир широкой колеи, и едва видна она теперь из-за него,— уродец на восьмифунтовом рельсе. Сто двадцать тысяч понадобилось на это возвращение к старому, сто двадцать тысяч стоил лишний год постройки.

Я собирался оспаривать, думая, что и меня пригласят в центральное управление для обсуждения намеченных реформ эксплуатацией, но меня не пригласили, признали заочно перерасход и на дополнительные работы 240 тысяч рублей, представив в Государственный совет и на утверждение свое постановление.

Мой товарищ докладчик, пробегая по коридору с новыми уже делами, бросил мне пренебрежительно, пожимая плечами:

— Говорили же вам?..

— Провалили дело,— с упреком встретил меня маленький директор.

— Провалил себя, но не дело. Даже в своем уродливом теперешнем виде, перевозя свои четыре — пять миллионов пудов груза, дорога подняла уже их ценность на гривенник. Это одно уже составляет четыреста — пятьсот тысяч, и это уже тридцать процентов на затраченный капитал. Уже теперь по двадцать пять верст всего, считая в сторону от дороги при стоверстной ее длине, получается район в пять тысяч квадратных верст, что составляет пятьсот тысяч десятин, в котором земли с тридцати — пятидесяти рублей за десятину возросли до шестидесяти — ста рублей,— это составляет увеличение первоначальной стоимости благодаря дороге в двадцать миллионов, и перерасход в двести тысяч — это один процент всего... Но и его не должно быть, и при иных условиях не перерасход, а сбережение было бы...

— Вы хотите,— перебил меня директор,— жаловаться, как с вами нехорошо поступили, но ведь, если я вам и поверю — буду я один, а для всех остальных факт провала налицо.

— Жалобы здесь, конечно, бесполезны, но, оставляя даже в стороне удорожания, вызванные исключительно недостойными действиями, останется много и других, легче устранимых. Так, отдельный строительный штат для такой маленькой линии слишком дорог, такие линии должны строиться средствами эксплуатации. Строители выбирают для этого удобный момент: недород, например, когда и работы дешевле, и являются они капитальным подспорьем для голодающих. Для этого, конечно, постройка дороги не должна быть чем-то быстрым, неожиданным, являющимся вдруг, как deus ex machina [1], а систематизированным, заранее обдуманным общегосударственным планом, который, по мере благоприятных условий, и приводится в исполнение. Тогда бы не пере-

---

[1] Буквально: «бог из машины» (*лат.*). В античной трагедии внезапная, непредвиденная развязка иногда наступала благодаря вмешательству какого-либо мифического бога, появлявшегося на сцене при помощи механического приспособления.

расход в двести сорок тысяч, а такая же экономия, и притом при рельсе в одиннадцать фунтов, получилась бы... и в следующий раз...

— Ждите! — фыркнул директор.

XXX

Недовольны были мною в Петербурге, а на родине еще больше.

Жаловались крестьяне:

— Землю нашу под дорогу отбираете, теперь ни пройти, ни проехать с одного поля в другое; в деревнях от чужого народа, бродяг проклятых, дрянь всякая завелась: баб, девок перегадили, нехорошая хворь пошла, пьянство, драки, убийства. Что с того, что и много денег, да цены им не стало,— всё в кабак тащат. Опять и извозный промысел,— зимой только и кормились от него, а теперь коней хоть татарам на мясо продавай!

— Но железная дорога вам вечный кусок хлеба, теперь около нее постоянная работа. Если вы получите на ваш хлеб теперь на гривенник дороже, то на что вам извозный промысел? Без извоза этот гривенник уже у вас. Привыкнете и к деньгам, а заработная цена раз поднялась, так и останется.

— Кто там доживет еще, а теперь плохо,— стояли на своем крестьяне.

Не лучше относились и землевладельцы к дороге. Из землевладельцев только один Проскурин сдержал свое обещание и не взял за землю, остальные взяли, запрашивая вдвое, втрое против существующих цен. Так же дорого брали и за материалы: камень, песок, лес. Даже чеботаевская экономия сорвала с нас за лес процентов на сорок дороже против существовавших норм и предыдущих продаж. Липа и осина из этих лесов приходилась почти в ту же цену, что и привезенная из города сосна. Напрасны были напоминания, что сперва проектировали мы строить дорогу чуть ли не на свой счет, а теперь, когда казна дарит ее нам, мы берем за все втридорога.

На упреки мне отвечали тоже упреками:

— Вы имели возможность устроить нам настоящую дорогу с широкой колеей, а из упрямства строите нам урода какого-то. Вы имели возможность по крайней мере пройти линией так, чтобы захватить наши усадьбы, и прошли мимо, никого не удовлетворив, даже и себя, так как ваш же гудронный завод остался теперь в двадцати верстах от линии, а был бы на линии, как и Проскурин и Чеботаев.

Я объяснял, что, хотя усадьбы Проскурина и Чеботаева отошли верст на пять, но в сравнении с прежним положением, когда дороги не было, это совершенные пустяки, а между тем теперь, когда казна сама хозяин дороги, я не в праве был пренебречь теми большими строительными выгодами, которые получились от сокращения длины линии вследствие этого почти на десять верст.

— А раз казна получает от этого выгоды,— пусть и платится,— отвечали мне.— То, что мы получаем с вас лишнего за землю и материал, капля в сравнении с переплатой теперешней рабочим нашим. Вы и цены удвоили и рабочих всех отвлекли, весь хлеб гниет в поле, и пропадом пропади ваша железная дорога.

Бранили дорогу, бранили меня, злословили, клеветали.

XXXI

Это волновало, расстраивало. Мой компаньон Юшков, с ударением на о, говорил энергично:

— Да, что вам? Что понимают они не то что в коммерческом деле-то, в своем?! Хорошая дорога и дай бог здоровья ей... и делайте себе свое дело, только вот Лихушин не взорвал бы вас,— очень уж он размашист... Ну, понимаю — новое дело, хорошее дело, но зачем же так сразу? Прыщ и тот почешется сперва, а потом выскочит, а вы ведь так сразу. Ну, а лопнет, неурожай — тогда что?

Прошло два года, и действительно опять неурожай посетил наши места.

Дорожка наша заработала в обратном направлении: уже не в город, а из города в деревню везли хлеб.

— Нынче гоже,— говорили крестьяне,— и хлеб и семена вовремя.

— Значит, и польза от дороги есть?

— Ну, так как же? Давно ли работает, а гляди, все села около нее городами становятся. Каждый день, каждый день в хороший год хлеб везут, круглый год базар. Купцы, народ приезжий — все доход, все в цену — и сено и солома, всё в деньги. Амбаров понастроили,— из амбара хлеб опять на станцию, опять извоз... Масленица, а не житье...

Опять приезжали из городов «милосердные сестрицы и братцы», как называли их крестьяне.

Энергичнее проявилась общественная самодеятельность. Образовался частный кружок, и громадные средства со всех концов России притекали к нему. Явились и деятели безукоризненные, сильные, умелые.

Деревни пестрели интеллигентным элементом, ласковым, любящим, отзывчивым.

— Хлеб с тобой слаще, барышня ты наша дорогая,— говорила какая-нибудь старуха, сидя за обеденным столом и наблюдая какую-нибудь милосердную сестру, озабоченно оглядывавшую, все ли едят, всем ли хватило.

Там и сям устраивались дома трудолюбия с мастерскими, ткацкими усовершенствованными станками.

Все это, конечно, были паллиативы, но жизненные,— они привились и существуют и теперь.

В Князевке Лихушин и Шура давно уже устроили столярную и ткацкую мастерские, образцовое пчеловодство.

Человек двадцать из молодого поколения князевцев уже были прекрасными столярами, учеными пчеловодами. Бабы ткали сарпинку и в зимний день выручали до сорока копеек.

А летом женская поденщина доходила и до восьмидесяти.

— Прежде двадцать копеек нигде не найдешь...

Молодые столяры и пчеловоды выписывали журналы, увлекались Горьким.

Князевцы вследствие громадного хозяйства на лето частью превращались в разного рода досмотрщиков по работам, частью ушли на железную дорогу, частью в

город. Уходили, превращаясь там понемногу в мастеровой народ. Ходили в пиджаках, связи с деревней не прерывали, но и назад не хотели.

А другие, наоборот, упорно продолжали свое хозяйство, знать не хотели никаких новшеств, предпочитали свою работу какой бы то ни было поденщине и бедствовали: спокойные, стойкие, твердые в вере отцов. В голодный год чуть было не исполнилось вещее предсказание Юшкова, но зато в следующий за голодным годом был такой громадный урожай и притом дорогих культурных хлебов, что у меня, за вычетом всех расходов и убытков, очистилось свыше ста тысяч рублей.

Но полным торжеством Лихушина была сельскохозяйственная выставка, первая в нашем уезде.

Затеял ее один доброжелательный молодой дворянин. Дворяне землевладельцы отнеслись сочувственно к этой затее, и восьмого сентября выставка состоялась.

Я с Лихушиным тоже получили приглашение и решили принять его.

Мы выставили пятнадцать сортов семян, молочный скот, продукты нашей молочной фермы, продукты пчеловодства, столярного производства, образцы сарпинок.

Мой компаньон в особом павильоне выставил наше крупчатое производство. Он сам присутствовал и добросовестно объяснял посетителям сложную операцию превращения пшеницы в конфектную муку и манную крупу.

Когда экспертиза была кончена, приступили к присуждению наград. Судьями были: председатель — чиновник от министерства земледелия, четыре местных дворянина землевладельца, один крестьянин, один купец, один священник и один немец-колонист.

— Первую награду за семенное отделение,— заявил председатель,— следовало бы, казалось, назначить по качеству и количеству выставленного Князевской экономии.

Дворяне запротестовали. Их положение было действительно затруднительное. Двадцать лет князевская экономия пользовалась репутацией очень незавидной: всякое неудачное нововведение уже напоминало Князевку и вызывало веселый смех.

Глава дворян — предводитель — говорил:

— Странный ты, действительно, человек. Ну, будь ты себе там, в железнодорожном мире, ну, там Скобелевым, ну в литературном там мире, но нельзя же везде... Мы век тут живем, только и занимаемся, можно сказать, тем, что терпеливым ухом слушаем травы произрастание, и вдруг человек вздумал учить нас уму-разуму: не так, а вот как... Смешно же!

Так говорил предводитель, так говорили и все.

И вдруг теперь, когда эти все сами затеявшие выставку, затеявшие, так сказать, прорубить первое окно, теперь, когда окно это прорублено, при свете дня увидели, что тому, чему они так легкомысленно смеялись двадцать лет, приходится им же поклониться первым.

Может быть, не у одного мелькала поздняя мысль, что на свою голову вышла вся эта затея.

Как бы то ни было, но сопротивлялись горячо.

Приводились такие доводы:

— Князевская экономия не заслуживает первой награды, потому что это не доходное хозяйство, потому что владелец этой экономии человек другой специальности и в имении живет наездом.

Председатель возражал в том смысле, что вопрос как о доходности, так и о постоянном местожительстве владельца к делу награды отношения не имеет. Видя, что доводы его не убеждают дворян, председатель предложил высказаться не дворянам:

— Все они члены нашего сельскохозяйственного общества и живут в том же уезде.

Первый заговорил крестьянин Филипп Платонович, с которым читатель уже знаком по земскому собранию.

— У нас,— печально заговорил он,— лицеприятства нет, но если говорить по правде, то кому же другому отдать первую награду? От кого мы двадцать лет учимся, как обихаживать землю? Кто завел нам новые семена ржи, овса, кто научил нас сеять подсолнух, чечевицу, люцерну, клевер? У кого первый скот, кто дает крестьянам больше доходу, кто высыпет в год сорок — пятьдесят тысяч рабочим? Куда, как в банк, идут за деньгами? Да все в ту же Князевку. И нам думается, что тут одна

голая правда будет, если присудим первую награду Князевской экономии.

Когда было предложено высказаться моему компаньону, купцу Юшкову, он сказал:

— Мне, как компаньону, будто неудобно говорить. Вижу я только, что как будто здесь что то вроде того, что недоразумение есть какое-то... Так на что проще обратиться к посторонним,— вот батюшка, хозяин из немцев.

— Так что ж, господа,— предложил председатель,— надо же как-нибудь решить,— отдадимся, что ли, на суд посторонних?

Дворяне молчанием изъявили свое согласие.

Встал батюшка.

— Я никого здесь не знаю. Из пятнадцати сортов семян князевской экономии,— такой коллекции нет ни у кого,— многие к тому же высшие по качеству, многие обязанные своей культурой здесь — Князевке. И все это в громадных размерах и дает населению заработок сорок—пятьдесят тысяч... Если хозяйство ведется и в убыток, то тем больше чести... Я за то, чтобы первая награда была присуждена Князевской экономии...

Немец встал и коротко заявил:

— Я согласен с батюшкой.

— Ну, значит, так и поступим,— сказал председатель.

И, подписав постановление, передал его членам-дворянам.

XXXII

Успех увлек меня, и я задумал расширить дело. Я снял пока в аренду, с тем, чтобы со временем и купить, одно большое имение на Волге.

Волга! Большая мимоезжая дорога! Каково же было мое удивление, когда, начав хозяйство в новом имении, я познакомился с местным населением и убедился, что князевцы в своем медвежьем углу являются людьми с университетским образованием в сравнении с этими наивными дикарями.

— А нашего истинного Христа изволили видеть?—

чуть не с первых слов спрашивали меня крестьяне и вели в часовню.

Там, в часовне, в рост человеческий сидела деревянная кукла в женской юбке и рубахе, в какой-то безрукавке, с бумажной короной на голове.

От этой центральной фигуры по обе стороны в линию тянулись куклы поменьше, тоже в уродливых и фантастичных костюмах.

— Это что,— говорил потом батюшка,— прежде ведь все эти идолы в церкви у них стояли. Чуть не бунт был, когда перенесли их в часовню... Свечи жгут пред ними, перед ними молебен служат... Я донес архиерею, чтобы от соблазна приехать бы просто жандармам в рабочий день и увезти этих идолов.

— Почему в рабочую пору?

— Когда все в поле, а то не дадут иначе, бунт устроят.

Склонность к идолопоклонству, очевидно, так велика еще, что многие из крестьян, входя в переднюю барского дома, крестятся на какую-то стоящую в углу в капюшоне деревянную фигуру. Из-под капюшона выглядывает смеющееся веселое лицо.

— Это братец, что ли, истинного Христа? — спрашивает, перекрестившись, один крестьянин.

— Да уж хороши... Вот почитайте...

И мне дали рукопись недавно умершего священника. Тридцать лет покойник вел свой дневник. В начале своей деятельности он тоже поражен был языческим видом села, верой в предрассудки, домовых, леших, русалок и прочее.

«Истинная религия исчезает за всеми этими безбожными суевериями»,— писал с горечью покойный.

Я перелистал всю рукопись. Очень интересный документ, в котором из года в год записывались всё новые и новые предрассудки, о которых узнавал покойный.

Почти на последней странице этой рукописи покойный пишет еще об одном поверии.

Вот как было дело. У крестьянина вдруг ни с того ни с сего взбесилась лошадь. Покойный, автор дневника, был приглашен отслужить молебствие покровителям скота святым Флору и Лавру.

«Зная уже, в чем дело,— пишет автор дневника,— я, отслужив молебствие, стал искать у столбов приворот. Приворот этот составляется так: желая насолить соседу именно в том смысле, чтобы лошадь у него вдруг взбесилась, нужно скатать в шарик немного сала и закатать в него отрезанный от хвоста намеченной лошади волос. Шарик этот незаметно вложить в дворовый столб. После некоторых поисков, я, действительно, и разыскал этот сальный шарик, показал его всем и бросил тут же в огонь. Само собой, что и бешенство лошади как рукой сняло».

Прочитав, я долго не мог прийти в себя. Опустив книгу, я смотрел в окно на даль Волги, на развернувшееся предо мною село, с его обитателями, произведшими на меня такое же, а может быть и еще более сильное впечатление, чем Князевка двадцать лет тому назад.

О многом думалось. И об этом покойном уже священнике, когда-то молодом, с энергией и свежестью принявшемся один в поле воевать, тридцать лет воевавшем, и вот результаты: «Само собой, что бешенство лошади как рукой сняло». Думал я о жителях этого села, о селе.

Грязное, из навоза, соломы и дерева село. Старые дома еще из хорошего леса, но все новые уже из тонкого или пластинника. Новые маленькие — шести-, семиаршинные. Очевидно, этот новый вытесняет тот старый. Истощенные поля окружают село, нагорный берег, покрытый когда-то лесом, а теперь вырубленный, торчит, как небритый подбородок какого-то покойника-гиганта. Только что я говорил с крестьянами. Все в один голос доказывали мне, что в крепостное время им куда лучше жилось.

Я думал: но если бы дожил человек из времен Владимира, он, конечно, доказал бы, что тогда еще лучше жилось. Лес не был вырублен, постройки были лучше, поля не были так истощены, не было сифилиса, которым, по собранной уже статистике доктора, друга Геннадьича, восемьдесят процентов обитателей села заражены.

— Боже сохрани здесь молоко, масло покупать,— озабоченно теребя бородку, говорил доктор.

— А земский медицинский пункт далеко?

— В тридцати верстах. А что было здесь во время голода! Вот образчик хлеба я достал.

Конечно, меньше всего можно было назвать хлебом: мякина от соломы, посыпанная мукой и запеченная в печи. От времени этот суррогат потемнел и производил отвратительное впечатление навоза.

Я сидел у окна и думал: двадцать лет я в этих местах. Насаждая там, в Князевке, культуру, иные начала жизни, я не мог отрицать достигнутых результатов. Считая себя знамением времени, я думал, что и кругом жизнь идет вперед, и вот...

Мои мысли перебил веселый возбужденный голос:

— Вы здесь, что ли? В этом громадном доме, как дворец, заблудишься и никого не найдешь.

— Яков Львович?!

— Ну, я самый,— производил здесь следствие, узнал, что вы здесь... Ну, с новосельем!

И Абрамсон трижды облобызался со мной.

— Ну, что, как? Нравится? Довольны? — спрашивал он, то садясь, то вскакивая.

— Вы ели?

— Если есть что-нибудь, я съем.

Я распорядился едой и стал делиться с ним своими невеселыми мыслями.

— Ох, не говорите... Я только что со следствия... Недавно тоже одно было: царская секта... Тут верстах в тридцати какая-то баба... Есть, видите, царская грамота, по которой крестьянская десятина должна считаться по две тысячи квадратных сажен каждая сторона. Сперва эту грамоту дворяне подменили, но теперь и дворяне уже согласны признать ее, но грамота попала к англичанке. Вот и решили устроить третейский суд, выбрали американку. Американка, не будь дура, говорит: «Кто больше мне заплатит, в того пользу и решу дело». И вот эта баба собирает деньги и по телеграфу пересылает их царю. Тут же, в другой комнате,— отнесет деньги, крестьяне слышат гул от приделанного механизма, выйдет к крестьянам: «Идите с богом, деньги ваши пошли уже». Если спросят ее: «А что, много еще недостает?» — Нет, говорит, получила от царя письмо: пишет, что не так уж много.— Показывает письмо от

царя: грязная бумага. Говорит: «Твердо стойте: что прикажут — спросите: «А где царская печать?» Нет — ничего и не делайте, ничего не исполняйте. Чуть староста с чем-нибудь: «А царская печать где? Хоть бейте, хоть убейте, без царской печати ничего от нас не добьетесь».

— Остановился я у старушки одной,— продолжал Абрамсон.— Лет шестьдесят на вид — оказывается тридцать восемь всего. Имеет сына-большака — в прошлый голодный год женила его, хотя годами и не вышел. Зачем же женила? «Да, видишь, батюшка,— год-то голодный, а у нас бычок годовалый: скотинка ни по чем, а для свадьбы все равно мясца надо,— без этого будто уж и неловко — подумала, подумала и порешила большака женить». Я вот поем, расскажу, что сегодня было...

Когда Абрамсон поел, мы уселись с ним и доктором в старинной большой комнате, называвшейся библиотекой,— комнате, в которой, по уверению обитателей, жило привидение — женщина в белом, появлявшаяся всегда пред каким-нибудь несчастьем,— и Абрамсон начал.

— Из того, что я расскажу, Лев Николаевич сделал бы, пожалуй, поярче даже «Власти тьмы». В селе убит ночной караульщик. Село на новостроящейся железной дороге. Переход, следовательно, сразу из пятнадцатого столетия в двадцатое: деньги, водка, наплыв всякого вольного люда... купец-скупщик, уже выстроивший для хлеба амбар, и вот сторож этого амбара убит... Амбар взломан, но ничего из амбара не взято — очевидно для отвода глаз... Убийство совершено ночью. Первая подняла тревогу жена убитого: вдруг высунулась в окно и стала кричать на все село: «Убили, убили!» К окну подбежал брат убитого и стал спрашивать ее, кого убили. «Ох, убили — беги, голубчик, скорее к амбару». Побежали и нашли действительно еще теплый труп. Выясняется, что жена убитого была в любовной связи с одним плотником из железнодорожных... Плотник уже старик: высокий, красивый. Муж, убитый, срамил жену как-то при всем народе, и жена плакала и жаловалась на это соседке. Общественное мнение было за убитого: он жаловался миру, что плотник живет у него и не хочет выселяться. Всем миром ходили тогда старики к избе убитого и выговаривали плотнику и даже немного

побили его. Требовали, чтобы и он и племянник его ушли из села, и грозили, что иначе не быть им в живых. На это старик плотник отвечал: «Как бы самим целым быть». Племянник тоже связался с одной молодой бабой, Марьей, у которой муж был больной,— сердцем болел и работать не мог. Племянник этого плотника, как оказалось, кормил свою любовницу и ее мужа, делясь с ними своими заработками. Муж открыто не хотел брать этого заработка его и жене запрещал брать, но есть было нечего ни ей, ни мужу, и она брала. Раз на празднике муж при всем хороводе сорвал с жены новый платок, упрекая ее в том, что платок этот у нее от любовника. Скоро после этого больной муж умер, а вслед за тем произошло и убийство плотником сторожа. Общественное мнение обвиняет в убийстве сторожа старика плотника, неясно намекая на возможность преступления и в семье Марьи. Вызываю жену убитого и старика плотника. Жена волнуется, вопит, путается в показаниях... Старик совершенно спокоен, удостоверяет свое alibi[1] и вообще с высокомерным презрением относится ко всему следствию. Опять вызываю уже вместе обоих — жену убитого и плотника, дело уже к вечеру, на очную ставку. Старик стоит все с тем же презрением, высокий, сильный; жена убитого, Анна, взвинченная, худая, маленькая, лет тридцати пяти. Глаза большие, красивые. Кончил я очную ставку, измучился, сижу и задумался: какая-то фальшь чувствуется, улики слабы и недостаточны, чтобы привлечь их, и все-таки настолько значительны, чтобы не попробовать еще до чего-нибудь дорыться. И вдруг Анны голос решительный: «И то и тебя и себя мучу — вели всем выйти». Я, с испугом посмотрев на нее, велел всем выйти. Старик, уходя, так же величественно бросил ей: «Верно говорят: дура баба». Когда ушли все, она подошла вот так ко мне, села рядом со мной на скамью, оперлась рукой о голову и тихо, ласково говорит: «Слушай, мой голубчик, всю я тебе правду расскажу, нет моей больше силы, ох, изболелась я...

---

[1] алиби (*лат.*) — нахождение обвиняемого, в момент совершения преступления, в другом месте, как доказательство непричастности его к преступлению.

Попутал грех, полюбила я его, так полюбила, что не стало мне больше света без него. Ох, боже мой, боже мой, да что же случилось со мной, будто ушла я вот куда и забыла мать-отца: вижу вот только его, слышу его — нет моей силы. Мучилась, мучилась и призналась покойному: «Грех меня спутал, не жена я тебе больше, отпусти меня». Сама же его и надоумила, на свою голову: ему и невдомек было, а тут стал донимать, при людях срамить... Дальше, да больше, сердце не терпит, а тут и у племянника его с Марьей тоже грех пошел. Муж у Марьи хворый, гнилой. Дмитрий, племянник этот, на всю семью работает, его же, калеку, кормит, а он срамит, позвал брата, да вдвоем ее били, на цепь хотели посадить. Вырвалась, прибежала ко мне, Дмитрий пришел... Я да вот мой, они двое — собрались мы на задах, тут вот в ту ночь и порешили покончить с обоими... Сперва Марья, а тут уж и до моего мужа дошло дело... Ох, все, что ли, рассказывать? Все уж, видно... Марья после того, как прикончила мужа, у меня в избе жила. То была баба здоровая, работящая, веселая, а тут, как неживая стала: только спит и спит, и Дмитрий словно уже не люб ей стал. В ту ночь, как убить мужа, я сама мужа и разбудила в караул идти... А уж там ждали его и мой и Дмитрий... Ох! бужу, а он не хочет вставать: «не пойду», говорит... «Как, говорю, не пойдешь, за что же ты жалованье получаешь?» Говорю, а сама силком его поднимаю, сама азям на него натаскиваю, шапку, рукавицы сую... Сперва ругался, а тут «ну, благословляй», говорит. «С богом»,— говорю. Скрипнула дверь — и ушел... А ночь темная... Гляжу в окно: ушел. Ох, ушел... Сама на смерть погнала. Ох, боже мой, в душе все так и ходит... Господи, господи... «Маша, Маша»... Бужу ее: «Слышь, говорю, ушел он»... Поднялась она и упала опять: спит... Ох, тоска... сумно... Одна, в избе темно, страшно... «Маша»... А тут: да что ж я это делаю? Бросилась к окну, подняла подоконце, высунула голову и, уж и не помню, стала кричать: «Убили, убили»... Вот тебе все, как перед богом, прости ты меня, грешную изуверку...» Ну что ж?.. Дмитрия, Марью к допросу. Дмитрий запирается, а Марья, как и Анна,— «все расскажу. Заел мою жизнь постылый; терпела, а тут и

терпеть перестала: все корит, все точит, издевается, а сам гнилой да немощный... Как вот порешили их обоих сжить, достал Дмитрий белого порошка, я ему на ночь и всыпала вместо того, который фельдшер велел ему давать. Выпил он, а уж сильно же недужный был, не мог уж и ходить...» — Так что, если б подождала, скоро и сам бы помер? — спрашиваю я. «Нельзя было ждать больше мне, всю душу вымотал издевкой: сам гнилой да немощный, а издевается. Лекарство даешь ему, а он укусить норовит... И жалости больше к нему не было... Выпил он порошок и смекнул, видно, что не тот я ему всыпала. Говорит: «Ступай, брата позови ко мне». Брат в шабрах жил. Вышла я в сени, а в сенях Дмитрий притаился... «Что делать?..» — Постой так, говорит, и скажи потом, что брат сейчас придет.— Тут мы с Дмитрием стоим да целуемся, а он там все стонет, все сильней. «Как бы, — говорит Дмитрий,— шабры не услышали». Вошла я опять в избу. «Ну, что ж брат?» А сам: «Ох, ох, ох...»— «А ты, говорю, лучше не стони, брат придет». Утих немного и опять стал стонать и говорить мне: «Отравила ты, душегубка, мышьяком меня». Угадал... «Погоди, говорит, вот я в окно людей позову...» И полез к окну... Я в сени к Дмитрию: «Что ж, говорит, сам смерти дождаться не может: подушкой его... Ты сзади, да рот заткни, а я подушкой...» Я сзади подбежала, рот зажала ему, а он зубищами руку мне: я сама чуть не крикнула... Тут Дмитрий с подушкой подоспел,опрокинули мы его, подушкой накрыли, а сами сели, и злость в нас, сидим на нем и целуемся... Потом стащили его на место, где раньше лежал, а сами в сенях спать легли. На заре Дмитрий ушел, а я пошла будить брата: помер, мол, ночью, и не слыхала... Ну, хворый был, смерти все дожидались... Вот я тебе все сказала, и ты мне теперь скажи, научи, как мне с Дмитрием в одну каторгу попасть? Больше ничего мне и не надо...»

Мы молча смотрели на Абрамсона, а он говорил нам энергично, убедительно:

— Это не выдумка, а жизнь.

Да, жизнь, полная мрака и ужасов... Какие-то блестки, какие-то молнии прорезывают иногда этот мрак, но от них еще темнее кругом...

СТАРЫЙ ЕВРЕЙ

Дождь мелкий, осенний. Приударит сильнее и опять сеет, как сквозь решето, застилая даль мокрым туманом. Сильный ветер захватит в охапку деревья и гнет их, и летят полужелтые мокрые листья.

Грязные поля, мокрые скирды хлебов на потемневшем жнивье.

Дождь льет и льет, рассказывая злую сказку хозяевам всех этих скирд, как ничего не останется от богатых некогда надежд.

— Ничего не останется. — И старый еврей — тяжелый и большой, грязный и старый, с седой бородой, пригнувшись, едет и смотрит из-под зонтика одним глазом.

Пара лошадей легкой рысцой тащит перегнувшуюся набок плетушку; азям ямщика, промокший уже насквозь, блестит от воды, как шелковый, и вода с шапки непрерывной струйкой льет за спину ямщику,— но он сидит неподвижный, как изваяние.

— Охо-хо,— вздыхает старый еврей и опять погружается в туманы своей души.

Осень и там,— идут дожди и все уже охвачено мокрой пылью осеннего покрова. Старая, никому не нужная жизнь подходит к концу. Только и осталось от нее, что соблюдал законы, не ел того, что не положено, справлял шабаш...

Было худо, думал — хуже не может быть, и стало совсем худо. И когда стало? Когда бросил даже на про-

центы деньги давать... Дети настояли,— ученые дети,— хо-хо,— говорят, что неловко... Ну, купил землю... До сената доходило дело: имеет ли право ссыльный еврей в месте своей ссылки покупать землю? Утвердил сенат купчую. Как и не утвердить? Надо же жить где-нибудь человеку. Ну, был виноват — сослали. Болело сердце за старой родиной,— другое солнце там, другие люди,—переболело... Двадцать пять лет прошло, и привык: новые места новой родиной стали. Жил, маклеровал при продаже имений, на проценты деньги давал... А разве русские не дают? Русский хуже еще: еврей трефного не ест, а русский всего сразу и с сапогами проглотит... Семен Илларионович четвертую часть в губернии земли дворянской проглотил и не подавился: двести тысяч десятин... Вырубил леса, уничтожил усадьбы, сады, как Мамай прошел по земле, тройную аренду за землю назначил крестьянам, всех нищими сделал, в кандалы заковал, все проклинают его... А кто проклинает его, старого еврея? За что проклинать? Что купил там золотую брошку у барыни, которую удалось ей спасти, когда Семен Илларионыч описывал ее имение и всю движимость? А когда случалось перед самыми торгами уже найти вдруг покупщика по вольной цене, Семен Илларионович разорвать готов был старого еврея и кричал:

— Пропадаем от жидов!

А жидов-то всего десять человек на всю губернию, и богатства всех за одну селедку купить можно, а губерния разорена... А скажешь,— правды не любят:

— Ты еще рассуждать: погоди, дай срок, жидюга проклятая...

А тут дети выросли, выучились, писать стали в газетах: еще хуже озлились, а всё на его старую голову...

Бросил все, купил землю, хотел хозяиновать, как дед когда-то на Волыни, когда держал имение в посессии.

Хорошо тогда было жить. Бывало, по непаханой земле, заскородят только землю, и родит хлеб, какого нет больше. Взрослый работник — двадцать копеек... Можно было хозяйничать... Переменились времена: все дорого стало, и паханая не родит теперь больше земля.

Другие люди пришли, другие порядки, и не знал он их... То к нему ходили за деньгами, а теперь сам ищет

их, и нет денег: пропали все деньги, убежали из глаз, и не видно их, нигде больше не видно...

— Охо-хо...

Так все переворачивается...

Двадцать пять лет прошло, зовет председатель казенной палаты:

— Милость вам: манифест — прощение...

— Ну, что ж, благодарю. Я старался, все бросил, земли купил...

— Вы больше не ссыльный, вам возвращены все права.

— Очень даже рад я.

— Поэтому вы должны возвратиться в черту вашей оседлости.

Смеется...

А все деньги в земле, в хозяйстве. Кто купит землю по вольной цене, когда все знают, что дойдет дело до торгов?

А полиция гонит: уезжай.

В первую гильдию хотел записаться, чтобы получить права: был под судом,— нельзя.

Пошел к Семену Илларионовичу:

— Семен Илларионович, пристав в вашем доме живет: он вас послушает, скажите ему, чтобы позволили мне лишнее остаться, пока устрою дела.

— Я ничего не могу здесь, — сказал Семен Илларионович,— а и мог бы, не сделал. Как пишет твой Соломон? Врага бей. А ты мне не друг,— не был и не будешь.

Что делать? Дети разлетелись, кто куда: один за границей, другой в Сибири: новые времена, новые песни...

Уехал...

Нанял приказчика. Ворует приказчик. Не терпит сердце, и едет теперь тайком, как вор, в свое имение старый еврей. Как снег на голову, накроет сразу и все узнает, сам хлеб соберет и продаст,— пусть ворует тогда на пустом месте... Как собрать только, как продать, когда все, может быть, сгниет. А может быть, его приказчик и успел все собрать, чтобы поскорее набить свои карманы? Может, продал уже все или продает, сегодня вечером продаст, в ту минуту, когда он будет входить в свой дом?

Ой-ой!.. Поезжай же скорее, что ж ты едешь, как не живой... И кони твои худые, и плетушка твоя хуже телеги трясет.

Трясет и болит печень, и опять пойдут через нее камни: доктор запретил ездить, приказал лечиться, брать теплые ванны. И ванну купил и так и стоит в деревне: теперь где брать ванны? В семьдесят четыре года новая ссылка вышла, а за что?!

Поздно приехал старый еврей и совсем больной. Не ругал приказчика, не позвал даже и сейчас же приказал ванну согреть. Принял ванну, но идут там, в печени, камни, и стонет от боли старый еврей в холодном каменном мрачном доме. Под высокие потолки уходят его стоны, свечка едва прорывает мрак большой и пустой комнаты.

Когда-то с торгов купил он это имение и клял владельца, когда, приехав, не нашел никакой мебели. Хотел купить новую, да так и не собрался.

Ой, как болит там в печени... И зачем купил он тогда это имение?.. Давали отсталого, зачем не взял?

Так и заснул он, вздыхая и охая: старый, тяжелый, рыхлый.

Спит и снится ему нехороший сон: кто-то ломится к нему в двери, чтоб обокрасть его. Проснулся от страха старый еврей и не спит уже, а слышит: стучат к нему в дверь.

— Кто там?

— Отворите: полиция, урядник.

— Что такое? Зачем урядник?

Дверь отворена: толпа людей, урядник.

— Позвольте ваше разрешение на приезд?

— Что такое? Какое разрешение? Я хозяин здесь и имею право...

— Одевайтесь.

— Что такое одеваться? Зачем одеваться?

— Чтоб ехать назад: лошади поданы.

— Что?! Вон! Не поеду!..

— Тогда этапным порядком отвезут,— вот понятые.

— Какие понятые? Я больной!.. Как вы смеете?!.. Я губернатору буду жаловаться, я буду телеграфировать министру... Да что вы себе думаете?

— Насильно оденем,— хуже будет...

— Что же это?!. Ну, на, возьми...

Старый босой еврей пошел к кровати тяжелой разбитой походкой, вытащил из-под подушки большой грязный кошелек, достал рублевку и протянул ее уряднику.

— Будьте свидетелями, — подкупает, — обратился урядник к понятым.

— Что ж это? — растерянно оглянулся кругом старый еврей. Он заговорил упавшим голосом:— Я больной, я старый... Господи, за что же?

Он присел на стул, толпа понятых и сам урядник молча потупились:

— Что мы можем? Закон...

В дверях показался в это время рыжий плутоватый приказчик.

Вид этого приказчика сразу вызвал бешеный гнев.

— А, это ты, ты!!. Тебе это надо!!. Моих денег не берут: у тебя больше, чтоб подкупать...

И брань, проклятия сыпались на вошедшего.

— И все вы мошенники, кровопийцы, разбойники,— кричал исступленно еврей.

— Одевайте его! — скомандовал потерявший терпение урядник.

Старого еврея одели и на руках снесли в плетушку.

Шел дождь, завывал ветер, колыхалось пламя фонарей, ветер рвал старую седую бороду, рвал и уносил последние слова уезжавшего старого еврея:

— Хуже последней собаки!.. И той можно издохнуть в своей берлоге...

Но уж больше ничего не было слышно.

11 сентября 1900 г.

ПРАВДА

Утренний воздух был тих и прозрачен. Стояли последние золотые дни осени. Маленький городок спал над рекой, спал в сверкающем утре, в прозрачном воздухе осени, охваченный голубым, как эмаль, небом.

Городской парк отливал последними осенними красками: желтым, красным, бурым. В парке по дорожкам, покрытым, как коврами, влажными мягкими листьями, было тихо, уютно, пахло свежей листвой. Звонкое чириканье какой-то птички мелодично и нежно говорило о чем-то неизведанном, неоконченном еще, о неге, о гармонии жизни.

Вдруг гулкий выстрел резко нарушил эту гармонию.

Сторож, бросившийся на выстрел, нашел у одной из скамеек парка свежий труп молодой женщины.

Мертвая лежала на земле в уродливой позе, говорившей без слов о всем ужасе последних мгновений, о том напряжении, которое сделала она, чтобы взять верх над жизнью.

Чувствовалось, что в парке утром грубо и быстро сведен какой-то счет с жизнью.

На мертвом, запрокинутом лице молодой женщины еще лежала печать судороги, омерзения, злобы. Но там, где-то в глубине черт этого темного мясистого лица, в опущенных углах полных губ, в густых мягких каштановых волосах, прилипших на виске, где виднелась ранка и струя застывшей крови, чувствовалось что-то иное, что-то болевое, детское; ощущение оскорбленного ре-

бенка, у которого грубо, по праву сильного, кто-то отнял его лучшую игрушку, отнял всю его радость,— и теперь спит этот ребенок на груди матери. И во сне все та же обида и боль и те же безнадежно опускающиеся углы губ.

Явилась полиция, следователь, доктор; нашли письмо, два письма,— одно ко всем, с просьбой никого не винить, другое — к мужу.

Следователь, заметив, что «за последнее время какая-то эпидемия пошла на самоубийства молодых дам», составил протокол, а письмо на имя мужа покойной отправил к мужу.

Муж, напряженный, взвинченный, похожий на безумного или осужденного, решившегося дорого продать свою жизнь, выслушал страшную новость и ушел с письмом в свой кабинет. Еще полчаса тому назад, раздраженный, давно уже больше не сдерживавший себя, по поводу возмущавших его ранних уходов жены из дому, сделал ей отвратительную обычную сцену. Выскочив, как был в одном белье, на улицу, он кричал ей вдогонку,— кричал на всю улицу, чтобы она не смела больше показываться в его доме.

Но он и прежде так же кричал на нее. И она так же, как и прежде, вдруг повернувшись, издали ответила, не повышая голоса, но с тем загадочным выражением, которое всегда его так смущало.

— Нет, нет, не приду!

И приходила...

Известие о смерти свалилось на него, как лавина льда и снега в пылающее пожарище. Он запер дверь и, присев на стул, дрожащими руками распечатал письмо. Письмо от той, которой уже не было теперь, но она еще жила, когда писала это письмо. И в последний раз вся она, живая, вдруг встала перед ним, стояла и требовала теперь от него отчета, правды...

Он сидел, откинувшись на спинку стула. Думал о ней, зная, что теперь никто его не видит, что теперь не нужно больше борьбы, оружия, маски,— теперь он лицом к лицу только сам перед собой, и даже она, еще живая в этом письме и уже мертвая там в парке, была теперь все тот же он, сам он, ее убийца.

И он был похож на убийцу. Холодный пот выступил у него на лбу, слабость до обморока, до тошноты охватила все его тело, онемели пальцы, и, в бессилии, он уронил письмо. Бессмысленными глазами, бледнее мертвеца, он сидел растерянный и смотрел перед собой. Только в жестких волосах его, в бороде и усах, с красноватым металлическим блеском, чувствовалась все та же животная сила, все тот же он, каким был и будет,— грубый, жестокий, себялюбивый, несправедливый, ничем не ограниченный в своем желании. Ах, если б она была жива, если бы она вдруг ожила. О, как отомстил бы он ей за все теперь пережитое!

И злорадная мысль проскользнула в его голове: «И это мать... бросившая своих детей».

Он провел рукой по лбу и уже с иным чувством поднял письмо и начал читать его.

«Отбросьте ненависть и злобу ко мне и терпеливо прочтите до конца это письмо. Может быть, многое в моем поведении выяснится вам хоть теперь. Я хочу сказать правду и не хочу обличать или упрекать, так как уверена, что зло, вами причиненное мне, неумышленное, и не в вас одном оно: и во мне и во всех... Я хочу теперь рассказать вам о всем моем душевном состоянии за все время нашего злосчастного супружества, с самого первого его мгновения. Вы скажете, что это опять та же старая песня. Правда, она стара, эта песня, но она — и начало и конец всему, и она никогда не была допета до конца.

Ведь я не виновата, что родилась такой,— с пылким воображением, горячим сердцем. А судьба меня свела с практиком, материалистом, расчетливым до скупости и циничным в своих отношениях. Может быть, с другой и вы были бы другим,— ведь считают же вас и общественным деятелем и хорошим товарищем,— но со мной, кроме первых мгновений нашей жизни, вы таким не были. И то, что вы давали мне в первое мгновение, вы так грубо отняли потом и даже как бы считали себя вправе вымещать мне за эти мгновенья... И так жестоко и так настойчиво! Иногда мне казалось, что вся злость ваша происходит от воспоминания об этих первых мгновениях, которые вы точно хотели совсем, совсем уничтожить в своей и моей памяти. И только в минуты животных

порывов в вас просыпалось чувство... Но какое чувство? О, вы были в этом талантливы! Вы умели заставить меня выслушивать рассказы об отвратительных сценах развратной жизни других и о возможном моем разврате с этими другими. Это вас возбуждало! О, боже мой! Умоляя вас молчать, я задыхалась: в мучительном унижении просыпалось и во мне грязное чувственное ощущение! И вы угадывали его и мстили потом грубо, цинично ревнуя меня ко всем, следя за каждым моим взглядом и словом, запрещая мне говорить, мешая мне чувствовать себя с людьми по-человечески. И под конец я дошла до того, что чувствовала себя так, точно с меня сняли все платья, и стою я обнаженная, напрасно закрывая свое голое тело. Жизнь наша была хуже гаремной: там хоть ясно все, а у нас с вами все было скрыто под лоском культуры! О, какая гнусная культура! Часто, когда у нас собиралось общество или когда мы бывали в обществе, мне хотелось вдруг встать и сказать, крикнуть, что все это ложь, обман, что все эти нарядные мужчины — только маски, что все их веселые, ласковые слова о любви и свободе, равноправии женщин — только слова! Они приедут домой и снимут свои маски и покажут, каждый по-своему, свои страшные лица пашей и палачей, каждый в своей тюрьме, каждый на свой лад. Палачей неограниченных, не сознающих и не чувствующих, что палачи они, злящиеся даже на то, что эти рабы, эти их жертвы стонут.

Раз, только раз проснулся во мне свободный человек, и я не захотела быть им. Из всех ваших грязных подозрений одно имело основание, но грязного ничего тут не было! В первый и последний раз я полюбила, и в первый раз только вам теперь и говорю об этой своей любви. От меня все зависело, и тяжкий мой грех перед собой только в том, что не была я вольна своему чувству тогда. Я принесла его в жертву детям. И это была громадная ошибка, потому что этим я потушила огонь своей души: где грело и светило, там стало темно и холодно, и остывший пепел этого чувства только ел глаза и грязнил все окружающее. Я тогда хотела идти на курсы, отдаться общественной деятельности, не найдя ничего в личной жизни. И вы

убедили, а я согласилась, что поздно, что нельзя уходить от детей,— и я осталась. Для чего? Чтоб все-таки уйти тем ужасным выходом, который один у меня теперь остался?! Потому что в том состоянии, в каком я была за последнее время, что я могла дать детям? С разбитыми нервами, с расстроенным здоровьем, раздраженная и озлобленная, я начинала и их ненавидеть, как вас, их — невинных виновников всех моих, но им не нужных жертв. Боже мой; что я говорю?! Но я говорю правду! Разве я, теперешняя, могла воспитывать своих детей?! Вы — воспитатель?! Да разве в интересах наших детей нам обоим не следовало бы убежать от них на край света и никогда их не видеть и никогда не заражать их чистых душ тем смрадом, в котором мы сами живем? Ведь мы же с вами больны, больны самой ужасной, самой заразительной болезнью, и неизбежно передадим эту болезнь и детям нашим. И если уж нельзя обоим нам оставить наших детей, то все-таки лучше пусть один из нас их бросит! Вам, конечно, вам надо их бросить, оставив меня с ними! Но ведь вы не уйдете? В крайнем случае вы весь свой либерализм отбросите, прибегнете к суду и к полиции, чтобы только удержать их у себя. А о материальных средствах и говорить нечего! Их у меня нет, и моя мать, сама так же в свое время страдавшая, никогда не подумала дать мне ремесло в руки... И вот теперь!.. Куда мне деваться? У вас право на моих детей и деловая, общественная жизнь, а у меня — ничего. Была одна моя внутренняя жизнь, но и она отнята у меня: в моем храме взломали двери и ворвались в мое святое святых злые, раздраженные люди, бьют и ломают всё и гонят меня. Куда, куда же уйти мне? Превратиться в вашу экономку, с которой вы будете взыскивать каждый грош, каждую копейку? В воспитательницу ваших детей, выслушивать приказы так и так воспитывать их? Смотреть и видеть, как вы ищете ласки ваших горничных? Переносить все грубости циничного развратника со мной, не сметь и не иметь возможности сорвать с вас маску и крикнуть вам: кто вы? Но могу ли я посметь на это? Не могу, потому что у меня нет свидетелей, а нет свидетелей — и ничего нет у меня! И я осталась одна с своим самочувствием,

и мое право только умереть, если это самочувствие выше моих сил.

И я умираю. И все примиряется навсегда в моей душе. Пусть мое тело не возвратится домой! Пусть дети не знают правды и пусть думают, что я исчезла на время и когда-нибудь опять возвращусь.

О, если бы вы могли исполнить мою просьбу? У французов, у англичан уже есть, говорят, воспитательные дома не только для незаконнорожденных... отдайте же и наших детей на воспитание Анне Николаевне. Она чужая им, но она хороший и просвещенный человек. Она воспитательница по природе, хотя и никогда не была матерью. Она сделает их людьми в истинном смысле этого слова. Она вырвет их из эгоистичной скорлупы этого гнусного «я, я, я». Она осмыслит им их самих,—осмыслит вовремя, и этим даст им силы бороться за лучшее существование.

О, если б вы исполнили эту мою последнюю просьбу, мою предсмертную молитву, если б вы поняли всю правду ее?.. Я верю, я хочу верить, что вы поймете меня и исполните. Я всю жизнь верила, может быть, от этого, и умирая, все-таки верю! Верю!

О, простите меня! Ведь и я кругом не права,— когда люди заелись,— оба не правы. Я виновата,— простите мне все злое, что сделала я вам, может быть, не поняв вас? Ведь все зло в этом, в том, что — чужие мы души, что не понимали мы друг друга.

Ах, зачем, зачем, давно поняв это, не разошлись мы, спасая себя и отдав детей наших той же Анне Николаевне. Умоляю же вас, сделайте это теперь, хотя бы во имя того, что я уступаю вам дорогу, раз уж жизнь такова, что нам двоим тесен мир божий?

Кончаю письмо и думаю: вот сейчас я допишу его, спрячу его в карман, оденусь и выйду, чтоб никогда больше не возвращаться. И так хотелось бы в это последнее мгновенье, выходя, сохранить мир души! Я так боюсь встречи с вами, и так хочу избегнуть хоть на этот раз всего того, что опять перевернет и озлобит всю мою душу...»

Ниже была приписка, сделанная нервно, судорожно карандашом:

«...И встретила в это последнее мгновение, и это последнее мгновение было отнято, отравлено, уничтожено, осквернено... Ненавижу себя, вас, детей, которых вы не отдадите Анне Николаевне и которые в свое время будут такими же, как вы, палачами, такими же членами этого общества,— общества, создавшего и поддерживающего весь этот ад жизни...

О, боже мой, что же я пишу?! Что?! Да простит мне господь,— я пишу правду!»

НАТАША

Другу униженных и оскорбленных, Якову Львовичу Тейтелю в день его двадцатипятилетней общественной деятельности:

I

— Ничего подобного я не ожидал. Знал, конечно, что нужда есть, но чтоб до такой степени... После нашего расследования вот что оказалось: пятьсот, понимаете, пятьсот учеников и учениц низших училищ живут кусочками... Это вот те кусочки, что подают нищим, их в свою очередь скупает у этих нищих разного рода рабочий городской люд: всевозможные сторожа, почтальоны, почтовые и телеграфные служители, разная мелкота, получающая в месяц десять, одиннадцать, двенадцать рублей. В среднем семья в пять человек живет на эти деньги... в сырой, подвальной комнате,— с окошечком наверху, с промозглым до тошноты воздухом и грязью, о какой трудно себе составить представление, если не видел ее воочию,— живет две, три, а то и четыре таких семейки... У детишек нет сапог, нет платья, верхней одежи... Что тут можно сделать на наши восемьсот рублей?! Если бы даже по десяти рублей дать на семью, то ведь и эти деньги в общей нужде и задолженности уйдут бесследно. Может быть, со временем,— но теперь ясно, что с нашими восемьюстами рублями с головой погибнем, если сунемся. Поневоле пришлось ограничиться. Выбрали

прямо по жребию пятьдесят детей. Помощь только детям, вырезывая их, так сказать, из остальной семьи. Пусть хоть эти пятьдесят будут: первое — сыты, второе — одеты, третье — обуты. Договорились с сапожником и мастерской для платья: к ним являются с ярлыками дети, и им шьют сапоги, ботинки, пальто, штанишки, рубашки, юбки, что там в ярлыке значится. Относительно сытости вот как устроились: у Антона Павловича....

— Ого, Антон Павлович?!

— Да, Антон Павлович,— в его приюте оказалась старая кухня: он велел ее побелить, покрасить, наделать скамеек, и вот сегодня через полчаса первое открытие ученической столовой. Угодно посмотреть?

Все это ровным, грубоватым голосом говорил с физиономией мужика, Молотов по фамилии, крупный, кряжистый, лет под сорок, человек.

Говорил молодому господину с усиками, с черными, озабоченными, напряженными глазами.

— Я с большим бы удовольствием, да времени нет...

С усиками господин нервно вынул часы, посмотрел и торопливо, сдержанно пожав руку Молотову, вышел из банка.

Молотов добродушно усмехнулся ему вслед. Он повернулся к девушке, работавшей за ближайшей конторкой, и заговорил:

— Ворочает миллионами,— в этих миллионах вертится, как в бочонке, набитом гвоздями, и в конце концов...

Он перебил себя и проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Ну, однако, нечего болтать зря, а ехать, а то как раз после обеда приедешь.

Он мотнул головой и рассмеялся:

— Заварили кашу, сунулись с восемьюстами рублями, пропадем и с потрохами.

Он уже совсем пошел было, возвратился и сказал с напряжением и горячностью:

— Вы понимаете, обед три копейки,— всех пятьсот накормить,— пятнадцать рублей в день. С сапогами, юбками, рубашками, пальтишками на всех — тысячу

рублей в месяц. В городе, где больше ста тысяч жителей, в городе миллионеров, в городе с оборотом в двести миллионов, в городе, где театр в сезон выручает шестьдесят тысяч рублей! Вы понимаете, тысяча рублей в месяц?! Копейка с каждого жителя! Неужели не найдется в городе тысяча интеллигентных семейств, где все эти скучающие, не знающие что с собой делать дамы не урвали бы из своего обихода рубля в месяц, не сбегали бы сами к таким голодным, не отправили бы туда когда-нибудь испорченное жаркое, недоеденную булку, старое платье...

Он совсем рассердился, напряженно остановился, точно ждал ответа, и, вдруг опять рассмеявшись, благодушно сам себе ответил:

— Ладно... мертвой клешней вопьюсь, а уж притянем всех...

И громадный, сутуловатый, твердый, похожий на молот, он пошел к выходу.

Уходя, он добродушно, тем же голосом, каким говорил с господином с усиками, с девушкой, с самим собой, сказал швейцару:

— Вот чего... станут меня спрашивать — через полчаса буду...

— Куда? — спросил его извозчик.

— Постой: куда же? — переспросил, уставившись на извозчика, Молотов,— да вот... Ну, поезжай прямо: буду показывать...

В столовую приехал Молотов вместе с подходившими ребятишками, которых вели две взрослые девушки.

— Ну, валите,— скомандовал им Молотов, настежь растворяя одностворную дверь столовой.

Старая кухня пахла свежей известкой, крашеными желтыми полами, зелеными скамьями. Для экономии места сидели на скамьях в два ряда, спинами друг к другу.

— Будут толкаться,— заметил кто-то.

Не толкались. Несколько секунд стоял гул рассаживающихся, и потом все сразу стихли и напряженно смотрели.

Запах щей наполнил комнату, ломти ситного хлеба разносили и раскладывали перед каждым прибором. Затем началась еда. Четыре ведра щей, тридцать фунтов

хлеба в шесть минут,— Молотов смотрел по часам,— исчезли в маленьких желудках.

В каком-то особом настроении, проглотив свою порцию, сидела Наташа. Горячая вкусная пища согрела ее, как греет только очень голодных,— согрела и опьянила. Было хорошо, легко, хотелось еще есть. А в кармане лежал ярлык на полусапожки и на юбку. Ей хотелось смеяться, говорить, прыгать.

— Ну, наелись? Ступайте в мастерскую.

И толпа с тем же гулом повалила к дверям.

— Тебе сколько лет? — провел рукой по голове Наташи Молотов.

— Десять.

— А звать?

— Наташа...

— Молодец. А тебе?

Вопрос относился к бутузу. Он шел сосредоточенный, с выражением человека, сделавшего очень хорошую, неожиданную сделку, уже с реальным результатом: хлеб и щи были в брюхе, а ярлык на сапоги в кармане. Дали щей, дадут, значит, и сапоги. Что все остальное было пред этим?

Он на ходу бросил Молотову:

— Девять.

— А звать-то тебя?

— Карась,— недовольным басом ответил уже издали бутуз.

И всем стало вдруг весело,— смеялись большие, дети, смеялись и на улице и когда пришли в мастерскую. И сам Карась, наконец, рассмеялся, когда дали ему пару сапог, как раз пришедшихся ему по ногам.

Рассмеялся и самодовольно сказал:

— Карась? Вот тебе и Карась теперь...

И, тряхнув головой, он пошел в новых сапогах так степенно, как будто всю жизнь в них ходил.

II

На Наташу готовых полусапожек не нашлось, с ее ножки сняли мерку и велели прийти через три дня. Юбку обещали через два дня.

Наташа пошла домой.

Ах, как было хорошо. Точно поднимало ее что-то. И так тепло. Сказали, что и полупальтик сошьют ей потом. Полупальтик, юбка, полусапожки,— все это кружилось в ее голове, как кружились снежинки вокруг, но так весело и легко, точно и она сама была такой же снежинкой,— светлой, яркой, в разноцветных огнях.

То — огни из лавок, потому что уже стемнело и в лавках зажгли огни, и в этих огнях кружат и сверкают снежинки, пока мягко, как пух, не упадут на землю, на платье, на голову, на ресницы. И когда прищурить глаза с такими ресницами в снежинках, то кажется, что светлые ниточки выходят из глаз: золотые, красные, лиловые... А там в окнах сколько вещей, каких никогда и не видала Наташа. И этой улицы не видала, этого большого фонаря над магазином, в котором, как в молоке, красный тусклый огонек в середине.

Пришла и домой Наташа и все такая же была: ничего не видела, не слышала и все еще где-то ходила, где светло, где снежинки, где полусапожки, полупальтики, юбки, а завтра опять щи.

Пять маленьких братьев и сестер обсели ее кругом и смотрели, а мать говорила, кормя шестого:

— Что ты, красная да как пьяная, сидишь? Сама наелась, а хоть бы вспомнила об этих...

Она вспомнила: у нее в кармане кусок ситного, который за обедом она успела спрятать.

Мать удовлетворенно, стараясь незаметно, смотрела исподлобья, как оделяла Наташа всех ситником.

Маленькая горбатая сестра ее, четырехлетняя Аня, с черными, как уголь, глазами, горящими страхом, вечным предчувствием какого-то нового ужаса, взяла своими маленькими, тоненькими, как у обезьянки ручонками кусочек доставшегося ей ситника и вертела его в ручонках, смотря и на него все такими же глазами, как и на все остальное. Потом она попробовала и, быстро съев, уставилась с тоской и ужасом на вошедшего телеграфиста-сторожа.

Что-то страшное сказал он, потому что мать вдруг бросила ребенка в люльку и заломила руки. И все дети, хотя и ничего не поняли, вдруг сразу заревели, и даже

Наташа пришла в себя. Не двигаясь с места, среди рева и окриков матери, она одна из всех детей поняла, в чем дело. Отец ее, такой же телеграфный сторож-разносчик, как и пришедший, упал на улице и его отнесли в больницу. Отец был болен уже несколько дней, но все перемогался, пока не свалился. Да еще и напутал: какую-то телеграмму не туда занес, там приняли ее и отправили куда-то в деревню, а телеграмма оказалась к купцу и принята с аппарата Юза,— копии-то и нет,— выйдет убыток тысяч в пять...

— Господи! — завопила в отчаянии мать,— да что ж я делать теперь с ними буду?!

— Никто, как бог,— успокаивал пришедший,— может, выздоровеет, а может, и не прогонят,— может, снесут назад прибавку за пятнадцатилетнюю службу да оштрафуют и оставят на службе. А что ж отчаиваться?! Готовиться надо ко всему: пятнадцать лет прослужил да в солдатах служил, когда-нибудь и помереть придется... Если б на железной дороге служил, уже пенсию получал бы, а наше ведомство тоже ведь десяток-другой миллионов доходу дает, все от рук да ног,— можно бы и пожалеть эти руки да ноги, а не то что пенсии, а и жалованья нет нигде хуже, как у нас.

Мать слушала, слушала и крикнула на пришедшего:

— Да их-то, их чем я кормить стану?! Ведь кусочка не на что купить завтра.

— Никто, как бог... Роптать только не надо,— чтобы хуже не вышло.

— Какое еще хуже тут может быть?!

Ушел телеграфист. Дети еще повыли и перестали и спят вповалку в грязных тряпках. Спит и Наташа,— жарко ей и душит ее что-то во сне. Слегка проснется, повернет шею,— ломит шею и болит она, болит голова, точно вбили в нее что-то тяжелое, как железо. И опять забудется и что-то страшное опять ей снится. А потом проснулась и стала плакать от боли. Огня не было, мать прикрикнула:

— Еще ты тут: спи — пройдет...

Еще раз вскочила со сна Наташа и сиплым, безумным голосом быстро заговорила:

— Мамка, мамка, полусапожки готовы, надо бежать за ними...

Мать подняла голову, послушала, как тяжело дышала замолкшая опять Наташа, вспомнила о муже, прошептала тоскливо: «о, господи» — и заснула до новых окриков каждого по очереди всех ее семерых детей.

Наутро, когда все проснулись, Наташа уже никого не узнавала. Горячая, вся в огне, она металась красная, с распухшей шеей, широко раскрытыми глазами...

Мать ушла в больницу навестить мужа, оставив семью на руках восьмилетней Сони. Аня сидела в углу и, маленькая, горбатенькая, угнетенными глазами смотрела, нервно щевеля пальчиками.

Муж лежал на больничной койке под одеялом — как покойник — длинный, худой, истощенный, с бритым лицом гвардейского солдата. Он передал жене двадцать копеек, которые получил вчера за разноску телеграмм. Запекшимися губами, постоянно переводя дыхание, он шептал:

— От того, с большими усами барина — десять, от Антонова пять, и еще пять из гостиницы — новый...

Жена знала всех клиентов мужа.

— К тому барину сходи, через него и вышла путаница, проси, чтобы заступился перед начальством. Нельзя ли из деревни назад вернуть телеграмму?.. Скажи, копии не осталось: с аппарата Юза она, печатная... Скажи, не помогут ли тебе на хлеб, пока болею... в счет полов... Выздоровею, опять буду натирать полы им, чтобы другим не сдавали... Поклонись в ноги... не забудь... об Наташе с сестрицей милосердной посоветуйся...

Посоветовалась, и к вечеру перевезли Наташу в больницу,—у нее оказался дифтерит. А на другой день перевезли в больницу и всех остальных детей, кроме грудного.

Всем остальным успели вовремя сделать прививку, а Наташа умерла.

Она лежала в своем желтом гробике тихая, задумчивая, покрытая новым куском коленкора. И муж поправился и опять понес телеграммы, а остальная семья опять сидела в своем подвале, и маленькая Аня с глазами, полными ужаса, все ждала, что еще страшного принесет с собой отворяющаяся дверь.

III

И все опять пошло своим обычным чередом. Не совсем, впрочем, обычным.

— Сколько?! — кричал в столовой с веселым ужасом Молотов, когда счет прибывших обедать детей кончился.

— Девяносто девять.

— Ну, пропали и с потрохами... Вот что: садить их надо в два приема. Порцию щей убавить вдвое, а послать еще за пудом хлеба.

И, обращаясь к пожилой женщине в очках, сказал:

— Это значит, что через неделю все пятьсот попожалуют.

И, точно убеждая сам себя, он горячо заговорил:

— И ничего не поделаешь! Как отказать ему, когда он уже тут?

Он ткнул на ревевшего бутуза, не попавшего в первую очередь и боявшегося, что так и не попадет ему сегодня ничего в рот.

Молотов, добродушно гладя его по голове, скороговоркой говорил ему:

— Не плачь, не плачь, дадут и тебе...

И, махнув решительно рукой, он заговорил прежним тоном:

— И пусть все идут... Соберутся эти, а я тех, сытых, сюда приведу...

И, возбудившись вдруг, он весело закричал:

— А ей-богу приведу... В этаком-то городе не найти тысячи рублей?! Шутки... По улицам буду бегать, буду кричать: «Караул! Помогите!!»

ПОД ПРАЗДНИК

Кончались весенние работы. Народ отпахался, отсеялся, и наступило сравнительно безработное время междупарки.

Год обещал быть хорошим.

Особенно под закат так и отливали поля молодой зеленью посевов. Яркой, сочной, буйной.

— Стеной идет,— говорили крестьяне,— что только дальше господь бог даст.

А пока было хорошо и спокойно на душе. Отдыхали люди, скот отдыхал.

Была суббота, под вечер.

На большой площади села приезжий купец с женой и подростком сыном расставляют свои товары по случаю прибытия нерукотворной иконы.

С иконой уже вышли из последнего села, и ждут ее сюда к ночи.

Бóльшая часть жителей ушла встречать икону.

Сам купец, толстый, в засаленной суконной поддевке, не работает,— он у избы Григория за столиком пьет вприкусу чай, толкует с Григорием, к которому стал на квартиру, и по временам добродушно окрикивает жену и сына:

— Поворачивайтесь, поворачивайтесь: вот-вот народ нагрянет...

Или:

— Митька, не видишь,— бумажку-то сдуло: эх, народ...

Купец человек обстоятельный и любит, чтоб и всем это сразу ясно было.

Григорий, худой, пожилой крестьянин, с особой какой-то мечтательной искоркой в глазу, подобострастный и льстивый, старается «потрафить» купцу.

— Трудитесь же и вы,— вздыхая, говорит он купцу на его замечания,— вокруг нерукотворенной... Так за образом и поспеваете везде?

— Да уж так и ездим...

Григорий заискивающе кивнул головой, вздохнул и сказал:

— Чай, и насмотрелись же вы на чудеса, что матушка пресвятая царица небесная во славу свою творит...

— Бывает,— ответил купец.

— Бывает? — испуганно встрепенулся Григорий.

— Чудак ты человек, как же иначе?

И, помолчав, купец продолжал:

— Труды бог любит,— без трудов нельзя... самая малая букашка, муравей, и тот больше себя норовит поднять...

— Так, так,— согласился Григорий.

— Жареный кусок в рот не полетит... Как сказано? В поте лица... Да уберите же вы, Христа ради, короб,— крикнул купец своим и, обращаясь снова к Григорию, спросил: — Это что за человек у вас?

Человек, и очень странный человек, о котором спрашивал купец, вышел в это время из-за задов Григорьева двора.

Высокий, худой, с маленьким, очень маленьким бурым лицом, стриженными усами и бородой, в длинном изорванном халате, с непокрытой, тоже стриженой головой, человек этот остановился, и, ни на кого не обращая внимания, смотря голубыми потухшими и выцветшими глазами тупо и равнодушно перед собой, что-то бормотал.

На вопрос купца Григорий с захлебывающейся торопливостью и елейным смирением ответил:

— А так раб божий, Ильюша по прозванию... Вроде того, что юродивый.

— Это хорошо,— кивнул головой купец и, откашливаясь, сплюнул.

— Тихий человек, и никому обиды от него нет.

— Он что ж делает? — спросил купец.

— Да вот живет у нас в бане,— вон за огородом. Сам и выбрал мою, значит, баню,— что ж, живи...

Юродивый в это время опустился на колени и, смотря в небо, что-то бормоча, кивал головой...

— Это насчет чего же он? — спросил купец у Григория и прибавил: — Да ты присядь.

— А постоим, батюшка... Это он, вишь, покойников поминает, всех, до последнего человека, кто за его память помер на селе, помнит и поминает...

— Что ж, это хорошо...

— Хорошо, батюшка, хорошо... Раб божий... А только что так считаем,— Григорий замирающим от восторга голосом, наклоняясь к купцу, прошептал: — так считаем: великий раб.

— Все может быть,— одобрительно кивнул головой купец.

— Так, батюшка, так... Его дело... Так и живет в бане... Сам и выбрал у меня со старухой свое житье: так в бане... и уж и не знаю, с чего и выбрал: кажись, и лучше нас есть люди и в греху мы: выбрал... Не знаю, с чего и на думушку ему пало,— не нам угадать, а только что так по приметам — великий раб...

— Да уж вам видней, конечно... Душа у кого чистая, святость эта самая, как одежа светлая, к примеру,— грязь на ней, так уж грязь и есть: на виду... С ним, что ж, покалякать можно?

— Уж не знаю, батюшка,— раздумчиво ответил Григорий,— как его воля...

В это время подошел другой крестьянин средних лет — длинное туловище на низких ногах, с какой-то приплюснутой физиономией, и только нижняя губа выпукло выдвинулась вперед. Он сплюнул и, вмешиваясь в разговор, пренебрежительно, голосом, как иерихонская труба, сказал:

— Что ж тут?.. Скричать его и только... Эй, ты, слышь, Ильюшка, подь сюда,— вот господин говорить с тобой желает...

Юродивый замигал глазами и растерянно смотрел некоторое время перед собой.

— Неколи мне... кур в огороде гонять надо...

Он сказал это и торопливо, озабоченно пошел, делая на ходу движения, как будто он гонит кур, тихо приговаривая: «Кишь, кишь».

— Не пожелал,— проговорил Григорий, испуская вздох не то сожаления, не то удовлетворения.

Купец, получивший неожиданно афронт, спросил недовольно:

— Это каких кур?

— А это, вишь,— стал громко, точно кругом все были глухи, объяснять ему подошедший крестьянин,— он, вишь, все сам себя куриным старостой зовет... будто вот кур ему все по огородам гонять надо...

— Не пошел же,— повторил в раздумье Григорий.

— Не пошел,— согласился и пришедший крестьянин и набрал воздуху.

— Не показался я, что ль, ему? — спросил обиженно купец.

— Не-ет,— уклончиво ответил Григорий,— так что-нибудь... Господином вот разве назвал тебя сват.

— Так ведь мне что? — сказал сват и сплюнул.

— То-то, вишь, не любит он этого слова: из дворовых он... А сам-то с малолетства уж такой, божий... Господам и сомнительно было: парнишка, как и прочие, а от дела отлынивает... Маленько и прижимали, видно: на горячую плиту голыми ножками ставили... Вот он и робит, как заслышит там «господин», али «барин», ну и уйдет сейчас...

— Так ведь я какой же барин? Такой же, как вы...

— Известно,— согласился сват и сильно потянул носом.

— Может, и обойдется еще,— задумчиво сказал Григорий.— Так вот и на селе... К кому вздумает зайти... Принесет миску, стукнет в окно: «Слышь, крикнет, штароста,— он этак все «штароста»,— пришел, давай мне полную миску». Чтоб уж непременно полная была, а там чего хочешь лей: щец так щец, хоть воды, хоть молока... И сразу есть не станет: постоит сколько дней в бане, скиснет, тогда и ест.

— Что ж так? — спросил купец.

— Так уж воля его...

— И дела от него есть?

Григорий ответил не сразу, наклонился и таинственно сказал:

— Не все хоть признают, да и понять такое дано не всем, а так считать надо, что есть.

Григорий посмотрел на свата и нерешительно отнесся к нему:

— Да ведь вот хошь когда город горел... На виду у всех дело было: в городу пожар — семьдесят верст, а он бегает по селу: «Жарко, да жарко». А како жарко? Перед самым снегом дело было.

— Этак,— кивнул сват.

— Что такое, думаем, обеспокоился Ильюша: а тут слышим, город сгорел.

— В те поры его и в город вызывали,— заревел сват,— думали, може, что знал насчет поджигателев. В тюремный замок засадили было...

— Вот, вот,— подхватил Григорий,— в тюремный замок засадили, а, хвать, с другого конца сама тюрьма горит... Ну, поняли, тут же и отпустили.

Сват рассмеялся.

— Обробел же тогда: прибежал: «Не пойду, баит, больше в город».

— Да кто его знает? — задумчиво проговорил купец,— чужая душа — погреб без свечки: как угадаешь?

— Уж тут и угадывать нечего,— немного обиженно проговорил Григорий,— весь на глазах, у меня вон третий год живет, каждую мелочь видишь, сфальшить негде.

— То-то так,— согласился сват,— а все и в нем неловкость есть...

— Какая? — спросил купец.

— Да вот какая: в церкви нехорошими словами ругается.

— А ночь-то каждый раз после того на мазарках кто воет? — горячо спросил Григорий.

— Может, так,— раздумчиво сказал купец,— вот, мол, хуже людей хочу быть, а ночью и замаливает.

— Этак, батюшка, этак,— ласково, горячо поддакнул Григорий.

— Опять же бороду, усы стрижет,— долбил своим громким деревянным голосом сват.— А то попа ругать

учнет: «Ты, слышь, к попу не ходи за поминками, он рубль возьмет, а на мазарки и днем не пойдет, а я ночью помяну, а грош возьму и тот подожду».

— Так ведь и правда,— совсем тихо, нерешительно сказал Григорий.

— Правда-то правда,— согласился и сват.

— Нет, видно, не нам судить его,— вздохнул Григорий.— Вот какое дело стряслось у меня в третьем году: изгадилась хозяйка моя,— сначала не в себе стала непутное молоть. То человек как человек была, а тут и пойдет: плакать, плакать, рвать волосы на себе, и сама на себя такой поклеп взведет, что хоть полицию зови. Иссохли мы оба с ней. Куда уж я ее ни возил: и к знахарю и к святителю — нет помочи. Вот этак же раз Ильюша стук в оконце: «Григорий, а Григорий, что я тебе скажу?» Я высунулся к нему, баю: «А что, Ильюша?»—«Отдай ты, Григорий, что у тебя есть в избе, людям». Только и сказал и ушел. «Слышь,— говорю я хозяйке,— что Ильюша толкует: все, что в избе, отдать людям». Подумали, не дай бог пожар, все так же пропадет, что будет. Скричали народ, что только было в избе — все наголо. Хотел я хомут было назад в клеть снести: только починить внес было его в избу, подумал-подумал: нет, уж, видно, все, так всё... Всё растаскали, будто метлой подмели, одежу, хомут, утварь всю, скамьи, столы: только вот что рамы да стены и остались...

— А из клети? — спросил купец.

— Нет, нет, что в избе только. И вот, скажи ты, унесли всё и хворь унесли. С той самой поры как рукой сняло с бабы и ровно и хвори никакой не бывало.

В это время юродивый опять показался. Григорий понизил голос.

— Все в бане так и живет... А теперь уж постарше стал — трудно стало. «Григорий, а Григорий, строй-ты мне, брат, избу,— старик я стал». И рад бы выстроить, да с каких достатков выстроишь-то...

— Да,— вздохнул купец.

Он не спеша полез в карман, вынул оттуда замшевый засаленный кошелек, долго рылся в нем и, достав гривенник и подавая его Григорию, сказал с ударением на о:

— Отдай-ко... за спасение души Севастьяна...

Григорий, взяв деньги, радостно побежал к юродивому. Жена Григория вышла из избы, облокотилась на косяк и, подпершись рукой, удовлетворенно смотрела...

— Ильюша, вот тебе купец гривну жертвует,— за Севастьяна молись...

Юродивый нерешительно взял деньги, а Григорий, возвращаясь к купцу, радостно, умильно говорил:

— Взял, взял...

Юродивый на мгновенье исчез в своем огороде и снова появился. Он остановился на прежнем месте и оттуда тихим, но хорошо слышным полушепотом, робким, напряженно-просительным и в то же время настоятельным, заговорил:

— Господин, а господин... возьми назад деньги...

Юродивый протянул худую руку. Он как-то весь опустился, и было видно теперь по изможденному лицу и сгорбленной фигуре и высохшей дрожащей руке, что это уже старик, больной, измученный, много перечувствовавший на своем веку.

— Возьми, божий человек, возьми,— торопливо сказал купец,— мне не жалко... Я от сердца...

Юродивый нерешительно помялся и еще тише и просительнее сказал:

— А то возьми...

— Пожалуйста, не обижай,— испуганно сказал купец и даже встал,— я ведь от всего моего сердца.

Купец хотел было ближе подойти, но юродивый быстро отступил назад. Купец остановился, и так и стояли они на расстоянии друг от друга.

Но юродивый, не допуская купца, в то же время ласково и даже с какой-то болью смотрел на купца. Он тихо, доверчиво, как бы советуясь, просил купца:

— Как бы в тюрьму мне не попасть: краденые...

И, пока ошеломленные купец, Григорий, сват, хозяйка Григория стояли, приросши к своим местам, юродивый, положив деньги на землю, быстро, беззвучно исчез в своем огороде.

— Не принял! — опомнился первый Григорий и развел руками.

Между тем сват пошел к тому месту, где положил юро-

дивый гривенник, поднял его и, возвратившись назад, нерешительно протягивая его купцу, спросил:

— Вам, что ли, отдать надо?

Купец прятал деньги назад в кошелек и угрюмо говорил:

— Слово только неловкое сказал он, за него и ответить можно.

— Что с него взять? — потянул носом сват,— известно, юродивый он и есть.

— Да-а-а...— нерешительно согласился Григорий,— божий человек.

— Григорий,— настойчиво позвала в это время Григория его хозяйка.

Григорий пошел к жене, а купец с недовольным вопросом:

— Ну, что у вас там? — пошел к своим.

— Ты сходил бы к Ильюше,— сказала жена Григория,— да посоветовался бы. Как бы опять не нажить новой беды: приняли неизвестного человека, Ильюша ведь брезгует им. Сбегай, посоветуйся, да, если что, бог с ним и с деньгами его.

— Бежать надо,— вздохнул Григорий и побежал к юродивому.

Григорий быстро возвратился и озабоченно вполголоса сказал жене:

— Не велит принимать.

— Ну, так и с богом,— решительно сказала жена.

— Неловко,— тряхнул головой Григорий и, почесываясь, пошел к купцу.

Низко кланяясь купцу, он вкрадчиво заговорил:

— Ты послушай, господин почтенный, что я тебе скажу... да в обиду не прими себе... только что от постоя освободи ты, Христа ради, мою избу... Богом прошу тебя: не надо мне и денег твоих, только съезжай.

Купец некоторое время опешенно смотрел на Григория, затем сплюнул и сердито спросил:

— Да с какой причины?

— Никакой причины нет, а только освободи, Христа ради, прошу тебя...

— Об чем же ты думал, когда впускал меня? Дитя ты, что ль, малое?

Купец впился глазами в Григория.

Григорий потупился и молчал.

— Дурак ты и с твоим юродивым вместе!

Григорий низко поклонился.

— В тюрьму вас обоих за ваши дела: штунду, ересь заводите, погоди...

Сват, тершийся тут же, проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Если что, и у нас изба не хуже, есть и самоварчик.

— Далеко, что ли? — спросил купец.

— Вон.

Сват показал на избу.

— Если изготовить, к примеру, хозяйка моя первая насчет этого: вся деревня знает... Только спроси Авдотью...

— Тащи вещи,— скомандовал купец. И, повернувшись к своим, сказал:

— Я вот с ним, а вы того, поглядывайте: сейчас народ нагрянет...

Это было так.

Уже на колокольне отзванивал звонарь во все колокола.

В темноте влажного вечера уже сверкали огни с горы, по которой спускалась к селу процессия с иконой, и неслся гул дружных, твердых и быстрых шагов молящихся.

ВОЛК

I

Стало солнце сильнее пригревать, дрогнул снег, и мутная холодная вода зашумела в оврагах. Громче всех шумел Блажной, и грохот и шум его, как выстрелы из пушек, неслись в пустом воздухе голой весны.

Два подростка, овечьи пастухи, встретились за деревней у Блажного и, постояв, молча присели.

— Вишь, как он,— говорил белобрысый подросток Иван своему товарищу: — с весны ревет, как путный, а с середины лета — курице испить нечего. И будем гонять овечишек опять на водопой в Малиновый.

Черный всклоченный сотоварищ его, Петр, ответил, глядя на дорогу:

— Будешь ты один гонять нынче...

— А ты? — встрепенулся Иван.

— У меня и другое дело найдется.

— Какое дело?

— Так я тебе и сказал!..

— А как же я-то один справляться стану?

— А так и станешь... Поклонись миру и скажи: «Так и так, старики, Петр уйти надумал, а мне одному не справиться, а вы вот что: запрудите-ка с весны, пока вода в Блажном, как вот на сахарном заводе, да накиньте мне половину Петрова жалованья, я тогда и один справлюсь за двоих».

— Так они меня и послушали!

— А ты и уйдешь.

— Куда я уйду?
— Куда глаза глядят!
— Чать, вороны только летают, куда глаза глядят.
— Ну, и сиди тут.
И Петр равнодушно сплюнул в овраг.
— А ты пойдешь, куда глаза глядят?
— И пойду.
— Чать, без паспорта не пустят.
— А ты не спрашивай, и пустят!
— Поймают, так отдуют!
— Ладно, пусть поймают сперва.
Петр встал, поднял мерзлый кусок земли и бросил его в мутные воды оврага.
Когда ком исчез в волнах, он сказал:
— Вот так и я,— ищи там на дне ком-от, что бросил...
— Обсохнет — найдется.
— Ну и жди, пока обсохнет, а я пошел!
И Петр, высокий, черный, с неуклюжими ухватками подростка, заковылял по последнему пути.
Белобрысый товарищ его тоже встал, некоторое время смотрел Петру вдогонку и, убедившись, что Петр действительно пошел, повернулся назад.
В деревне он, подойдя к избе старосты, постучался в окно и, когда староста, подняв окошко, высунул оттуда свою всклоченную голову, лениво сказал:
— Петька, слышь, пасти не станет.
— Еще что?
— Ушел.
— Ушел — придет.
— Ладно — придет, а не придет, я с кем стану пасти?
— Куда денется? — придет!
Староста еще подождал, оглянул улицу и исчез в избе, опустив оконницу. А белобрысый паренек, постояв, лениво, без цели побрел дальше.
Прошел день, два, три, но Петр так и не возвращался.
Наступило время гнать овец в поле, Петра нет. Отец Петра, Федор, погнал овец вместо сына, а в волость послал заявку о пропавшем Петре.
Недели через две Петра разыскали на сахарном заводе, водворили на место жительства и с согласия отца, сдавшего его в общество в овечьи пастухи, высекли.

Белобрысый товарищ Петра, Ванька, на другой день, когда они вместе погнали стадо, равнодушно заметил Петру:

— Вот и ушел!..

— И еще уйду,— ответил ему Петр.

— Выпорют и еще... и не так...

— Не каждый раз!

— А больно пороли?

— Попробуй!

— Небось орал?.. Не хуже Блажного...

Петр, сдвинув брови, молча шагал за овечьим стадом.

В черных полях еще не было почти корму, и голодные овцы, жалобно блея, рвались к озимям. Ванька выбивался из сил, а Петр, отбросив длинный кнут, лежал на земле, смотрел в небо и молчал, как убитый, на все оклики и зовы Ваньки.

— Да что же ты? — подбежал к нему, потеряв терпение, Ванька,— так можно разве? Я один справлюсь?

Петр молчал.

— Ты что ж? Я ведь домой погоню стадо!

Ванька еще немного постоял и, не дождавшись ответа, действительно погнал стадо домой.

В деревню, пыля и вопя, ворвалось стадо, вызвав всеобщий переполох.

Еще не начинали пахать, и народ весь был дома. Тут ж собрался сход, и приступили к отцу Петра.

— Я тут при чем! — защищался отец.— Вы его нанимали, его и спрашивайте. Теперь нашли его и невольте. Выпороли раз, порите еще: я воли с вас не снимаю.

— Нет уж, Федор, не взыщи!.. Мы тебя пороть станем,— отвечал ему староста,— если не погонишь вместо сына, а уж там с сыном — твое дело...

И, как ни бился со стариками Федор, а пришлось-таки уступить и гнать с Ванькой назад в поле овец.

Гнал Федор овец и на чем свет ругал сына:

— Ну, погоди ж, погоди ты, треклятый, черт черный! Треклятый! И уродился в кого? Во всем роду черных не было: черный да лохматый, черт треклятый, угольные твои глаза!

А «черт треклятый» продолжал себе лежать там же, где и лежал.

— Убью!— заревел благим матом Федор еще издали и подбежал к сыну.

Петр медленно приподнялся и, сидя на земле, ждал отца.

— Пасти не стану! — угрюмо бросил он отцу.

— Убью! — завопил отец и заметался перед сыном.— Говори, Иродово семя, отец я тебе или нет?

Петр угрюмо потупился и молчал.

Федор еще подождал и с размаху ударил сына в лицо.

— О-ох! — вздохнул как-то Петр и пригнулся к земле.

Из его носа показалась кровь, и он, осторожно прикладывая руку к лицу, смотрел на свои окровавленные пальцы.

Отец тоже смотрел, некоторое время стоя в выжидательной позе, и вдруг с каким-то визгом, схватив сына за волосы, стал таскать его взад и вперед по земле. Задыхаясь, он приговаривал, толкая ногой сына в грудь, в живот, в лицо:

— Вот же тебе, треклятый! Вот же тебе!..

И таскал и бил до тех пор, пока Петр не сомлел.

Тогда отец бросил его, и Петр, неловко, боком, как упал, так и лежал, уткнувшись в землю, без дыхания, без всяких признаков жизни.

До сих пор безучастный, Ванюшка заметил, ни к кому не обращаясь:

— Этак и убить человека недолго. Отвечать кто будет?

Федор растерянно уставился на сына. Но Петр в это время глубоко вздохнул, сделал движение, и сразу воспрянувший Федор закричал:

— Отдышится кошка треклятая! Отдышится дрянь негодная! Смерть от отца примет, чтоб не позорить утробу...

Петр совсем пришел в себя и, опять сев, так же молчаливо начал прикладывать руку к лицу. Кровь размазалась на лице, залила грудь и смешалась с грязью. Петр был страшный, худой и высокий, похожий на выходца из могилы.

Федор стоял над сыном и, когда Петр окончательно пришел в себя, сказал:

— Ну что ж, треклятый, начинать мне сызнова? Станешь пасти?

После некоторого молчания Петр угрюмо ответил:

— Стану...

А на другой день Петр опять отказался гнать овец. По просьбе отца, Петра опять на миру пороли. Били больно, как могли, били так, что извлекли из груди Петра какие-то совсем особые звуки, в которых ничего даже похожего на человеческий голос не было. Уже и бить перестали, а Петр все еще с какими-то переливами в горле выл, как воет, вытянув шею, волк в глухой степи, выл и корчился так, что страшно было и смотреть и слушать.

— Порченый,— шептали ребятишки на деревне.

Так и дальше пошло: день Петр пас, день лежал от новых побоев.

— Да что ты, окаянный, белены, что ли, объелся?— приставал к нему отец.

— Не хочу пасти!

— А есть чего будешь?

— На заработки на завод уйду! Проживу, как знаю.

— От отца, значит, от мира отбиться на вовсе надумал? — приставал Федор.

Петр молчал.

— Врешь, треклятый, не отобьешься! Не таких обламывали!...

И Федор тоскливо твердил:

— Ах, ты, волк, волк! Настоящий ведь волк дикий!..

Так, быть может, и до смерти забили бы Петра, а может быть, и обломали бы, но Петру помог случай.

Приехал миссионер, и понадобился ему прислужник. Явился к миссионеру Петр и сказал:

— Выкупи меня у мира, стану тебе служить.

Поговорил миссионер с Петром и согласился. Согласился и мир.

— Что ж,— рассуждали старики,— бей его, пожалуй, только и всего, что до ответа доведешь себя...

Миссионер отсчитал миру отданный отцу Петра задаток, дал что-то в виде отступного и Федору. Мир нанял нового пастуха, а миссионер увез Петра с собой.

II

Служба у миссионера пошла впрок Петру.

Он научился читать, писать, умел читать по-славянски священные книги и приносил даже существенную помощь миссионеру. Так, во время диспутов, он искусно как бы из публики наводил спор на такие пункты, в которых миссионер был силен и по поводу которых миссионер заранее уславливался с Петром.

На малых диспутах Петр и сам начал выступать на состязания со староверами и понемногу приобрел репутацию искусного и знающего спорщика.

Его уже звали Петром Федоровичем, уважали, хотя и говорили, что Петр Федорович горяч, крут и временами на язык не воздержан.

Миссионер, полюбивший своего помощника до слабости, оправдывал его, говоря:

— И Николай Святитель горяч был, да душой чист...

Петр Федорович вырос, имел в плечах косую сажень, был высок ростом, а черные, как смоль, жесткие волосы, которые он запускал, топырились каким-то черным сиянием вокруг его и без того громадной головы, громадных черных, пронизывающих, горящих глаз.

Носил он давно уже суконную поддевку, сапоги бутылками и только и думал, что о диспутах да о разных текстах священного писания. Он щеголял ими в собраниях, отхватывая одним духом, на память, чуть не целые страницы, и, не довольствуясь, приводил ряд новых текстов.

— А еще от Матвея глава такая-то, а еще от Павла...

И сыплет и сыплет, и умолкнут все, и слушают, и дивятся, откуда только у него берется.

III

Так шло дело у Петра Федоровича, когда вдруг мир потребовал его назад в деревню для отбывания выборной общественной службы.

Выбрали его сотским.

Петр Федорович жаловался миссионеру:

— Вот сотским выбрали. Хорошо — грамотен, могли бы и старостой выбрать. Уж все равно, заодно служить. Злоба в них ко мне — как же, дескать, свиней, овец пас, а теперь в попы метит: вот же тебе, дескать,— послужи в сотских!.. Послужим и в сотских.

Петр Федорович возвратился в свою деревню и начал службу. Не только службу, но и принял от отца все хозяйство. Он принес с собой кой-какие деньжонки. Горячий ко всякому делу, Петр Федорович принялся и за хозяйство не на шутку.

Все ему хотелось по-новому, получше. Хотелось не для себя одного, и он настойчиво твердил,— и отдельным крестьянам, а нередко и на сходке,— как бы следовало все это устроить. Твердил настойчиво, упрямо.

— Да что за учитель нашелся такой? — говорили ему на миру.

— Не учитель я, старики, а дело говорю вам. Вот хоть, к примеру, землю взять. Делите вы ее чуть не каждый год,— ну какое же тут правильное хозяйство возможно? Разделите вы ее ну хоть на двенадцать лет,— ведь дело пойдет,— всякий для себя ведь станет заботиться тогда: и вспашет лучше иной, глядишь, и удобрит...

— Ну, а новых, которые вырастут, кои со службы возвратятся,— куда денешь?

— Для них будем оставлять частицу.

— Да как ты частицу эту вперед угадаешь, сколько именно надо?

— Да ведь как угадаешь,— как-нибудь...

— То-то как-нибудь!.. Как-нибудь от староверов отбрешешься, а в нашем деле как-нибудь начнешь — только и всего, как был дураком, так дураком и будешь!

Неудача постигла Петра Федоровича и в школьной затее. Бездетные восстали, и, как ни бился Петр Федорович, ничего поделать не смог, и школа провалилась. Задумал было Петр Федорович частную школу в доме отца своего устроить для желающих. Но и тут ничего не вышло. Поссорился с писарем, обозвал его вором, тот «обнес» его перед земским,— и Петр Федорович сразу попал в разряд беспокойных и даже опасных воль-

нодумцев, и ему было запрещено всякое обучение детей.

— Ну, вот что, старики,— явился он однажды с новым предложением перед миром, не хотите, как хотите, но мне хоть не мешайте. Вот в чем дело: на отцовскую и мою душу сколько приходится десятин? Нарежьте мне эту землю в одном месте, а что захотите с меня за это, то и берите.

Дело запахло водкой и пошло лучше. Захотели, кроме душевой платы, сорок пять рублей деньгами да пять ведер водки. На том и порешили: приговор написали и место выбрали. Петр Федорович выпросил себе землю у Блажного оврага, с условием — запрудить пруд для общего пользования и землю чтобы ему отвести пониже пруда. Это было сделано Петром Федоровичем с тем расчетом, чтобы пользоваться прудом для орошения.

Петр Федорович горячо принялся за работу. Он забыл думать обо всяких общественных вопросах и весь отдался своему новому делу.

Уговорил отца сломать избу в деревне и перевести ее на свой новый хутор, возил навоз на паровое поле, приготовлял материал для плотины, сторговал пять пеньков пчел, достал у соседнего священника несколько кустов желтой акации и даже куст роз.

Сам хозяин и работник, он работал за троих и в несколько лет сделал очень много. На полях у него хлеба стояли стеной, огород орошался самотеком, на пчельнике, где был разведен целый сад, было двадцать пеньков, и из них четыре Дадана. Были телка и бычок от племенного быка соседнего землевладельца, два жеребенка от ардена того же землевладельца.

И вот, когда так хорошо стало налаживаться — сразу все пошло прахом.

Случилось это осенью, в холерный год.

Из Астрахани пришли рабочие и рассказывали на деревне небылицы.

Говорили, что нарочно морят народ доктора и даже живых в гроб кладут, поливая их известкой. Относительно последнего все клялись и божились, что видели сами

своими глазами, как живые выскакивали из гробов и убегали [1].

На вопрос: какая цель морить народ,— отвечали, что, ввиду голода, отпущены деньги на кормежку, и что, чем больше народу перемрет, тем больше порций останется тем, кто кормить будет. Народ слушал и волновался.

Волновался и Петр Федорович. Он доказывал нелепость ходивших слухов, грозил полицией распускавшим эти слухи.

— И не выслужился еще, а старается,— говорили крестьяне.

Жил на деревне крестьянин Авдей с сыном Семеном. Оба они с весны уехали на заработки. Оба были забитые, тихие и жили неслышно.

Среди разгара всевозможных слухов вдруг возвратился Авдей в деревню, а на вопрос о сыне только молча, уныло смотрел на всех, а потом вдруг взвыл и рассказал, что умер Семен от корчей.

Все вещи Семена он захватил с собой и к вечеру сам заболел, а за ним и хозяйка его. И холера пошла свирепствовать по деревне.

Болезнь крестьяне тщательно скрывали от начальства.

Петр Федорович уговаривал позвать доктора, грозил, что сам позовет, и, так как ничто не помогало, действительно поехал и привез доктора.

Доктор, молодой, маленький, тихий, подъехал с Петром Федоровичем прямо к старосте. Когда тот, лохматый и точно заспанный, вышел, почесываясь, доктор ласково, тихо спросил:

— Вот, говорят, у вас больные есть.

Староста угрюмо покосился на Петра Федоровича и нехотя ответил:

— Мало ли что говорят там пустые люди...

Петр Федорович вспыхнул.

---

[1] Дело было в том, что из стоявших в карантине судов некоторые рабочие, боясь карантина, запрятались в гробы и вместе с другими, настоящими покойниками были свезены на берег. Там, выскочив из гробов, они, обсыпанные известью, разбежались по городу, наводя панику и порождая нелепые слухи. (*Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского*).

— Да что его слушать,— обратился он к доктору,— я сам вам покажу, где больные, где их прячут.

И Петр Федорович дернул вожжи.

Но в первой же избе, куда подъехали доктор с Петром Федоровичем, их встретила толпа крестьян.

— Уезжайте от греха,— угрюмо заговорили они.

— Ах, глупые, глупые,— начал было урезонивать их Петр Федорович,— для вашей же пользы...

— Ладно, ты, умный,— оборвали его крестьяне,— как бы только от большого ума на малый не сошел... Убирайся, пока жить не надоело...

— Для пользы вашей согласен и смерть принять,— ответил Петр Федорович и хотел было слезть.

Доктор удержал его.

— Если они не хотят, что же, не насильно же?

— А что на них смотреть? Идти и конец...

— А вот пойди, пойди только...

— Нет,— решительно сказал доктор,— при таких условиях мы бессильны. Вы окончательно отказываетесь меня впустить?

— Окончательно, потому что не было и нет у нас больных.

— И к другим больным не пустите?

— Нет у нас никаких больных в деревне.

Доктор уехал, а на другой день возвратился с полицией.

Произошло столкновение, вызвали войска, которые и положили конец «бунту», наказав розгами человек пятнадцать.

Злобу и бешенство крестьяне сорвали на Петре Федоровиче...

Он был объявлен чем-то вроде врага отечества, народа и мира, словом, человеком, стоящим отныне вне законов.

Через несколько дней после этого хутор Петра Федоровича был сожжен, пчельник разрушен; состоялось постановление схода отобрать от него землю, а сам Петр Федорович в одну из ночей был избит до полусмерти, причем сломали ему несколько ребер и только потому не добили его, что обморок приняли за смерть. Утром подняли Петра Федоровича и снесли в избу.

Хотя, благодаря колоссальному запасу здоровья, он и выжил, но совсем не оправился: желтый, страшный, кашляющий, остался таким навсегда.

Раздражился Петр Федорович. Решил потягаться с миром.

— Ох, не тянись, мир — велик человек! Нет силы против мира!

— Он, мир,— все зло,— отвечал Петр Федорович,— вся погибель деревенская. С миром еще тысячу лет пройдет, а все такие же сиволапые оболтусы на дно Блажного друг дружку за волосы тащить будете!

Начал свою борьбу Петр Федорович с того, что заявил по начальству о поджоге, побоях, неправильном захвате его земли.

Относительно земли ему наотрез отказали: и документ был незаконный, и прав крестьяне не имели продавать ему землю.

— Земля ничья! — кричали мужики.

— Ничья! Да ведь выкуп за нее мы платим! — возразил было Петр Федорович.

— Спорить я с тобой, что ли, стану? Говорю тебе — закон, а ты рассуждаешь! — заявил староста.

Относительно поджога и побоев было назначено следствие, но оно ни к чему не привело.

Петр Федорович упал духом, поехал советоваться с миссионером.

— Брось ты все это,— посоветовал ему миссионер,— людей не переучишь, а себя погубишь.

— Неужели так и оставить их перемирать?

— А неужто тебе самому за них умирать? Оставь и уйди от греха.

— Уйду я, а другой ведь не уйдет, так и затолкут его,— толкут друг дружку, как бараны, мнут, так одна каша была, есть и будет, и никто в ней не спасется.

— Да ты-то ведь спасся,— о себе и думай. Держи экзамен на миссионера, а там и в попы. Человек ты умный, начитанный, перед тобой дорога открытая, а ты уткнулся, прости, господи,—в свиной хлев, и нет тебе милее его. Дело, можно сказать, божеское меняешь на самое последнее — человеческое. А все от гордости, да злости, да высокомерия.

Подумал-подумал Петр Федорович и решил держать экзамен.

В своей деревне у отца, в маленькой лачужке, купленной на страховые деньги, засел он за книги и почти не выходил на улицу. А когда появлялась иногда его высокая, уже сгорбленная и мрачная фигура, ребятишки в страхе прятались, потому что сложилась уже между ними какая-то легенда о Петре Федоровиче, как о каком-то замученном, порченом.

Весть о том, что Петр Федорович желает держать экзамен, еще больше раздражила крестьян.

— Все неймется,— говорили они,— все выше людей охота быть. Вы, мол, что? Мужичье серое, а я вот в попы...

Разговоры эти доходили до Петра Федоровича; передавал их ему какой-нибудь бедняк, и Петр Федорович волновался и старался растолковать этому бедняку смысл всего происходившего.

— Ведь это кто говорит так? — втолковывал он бедняку,— говорит писарь, кабатчик, да кто из вашего же брата побогаче, мироеды,— те говорят, кому на руку, чтобы все как есть так и осталось бы: беднеет мужик — меньше сеять станет, дешевле работать будет, больше богатый засеет, совсем петля затянется — еще легче будет вести вас куда угодно: за пуд десятину станете жать, до последнего дойдете, дохнуть будете у пустого пойла, а деться некуда, иначе, как на их работая. Выкупные сами полностью вносить будете, а землю за полцены им же продадите...

— Этак, этак,— слушал и кивал головой бедняк и уходил, чтобы пересказать обо всем тем самым, кого громил Петр Федорович.

А те в свою очередь пересказывали следующим, пока не доходило все это дело до земского.

— Знаю, знаю! Слышу все, слышу, что в каждой избе говорят,— отвечал земский: — слышу, знаю и в свое время, что надо, сделаю.

И аристократия деревни, собравшись где-нибудь под вечер погуторить, говорила друг другу, когда разговор переходил на излюбленную тему о Петре Федоровиче:

— Ну и дрянь же завелась на деревне!

IV

Сдал и экзамен Петр Федорович, и даже место попа или дьякона где-то открылось ему по протекции миссионера.

— Ну, с богом,— говорил ему миссионер,— поезжай теперь к себе, откупись в последний раз от миру... Много, чай, возьмут?

— Да уж сотенный билет сорвут, как пить дать!

— Ну, что делать? И дай... да и выходи с божьей помощью на широкую дорогу: был ты овечьим пастухом, будешь теперь человечьим стадом заведовать.

— Да,— вздохнул Петр Федорович,— большой путь, как оглянешься, пройден, а только чего он стоит мне, так-таки и скажу: начинать сначала и врагу не посоветовал бы. Не ваша помощь, погиб бы и я ведь.

Петр Федорович повалился в ноги миссионеру, а тот, поднимая его, твердил:

— Божья, не моя, божья помощь...

Пришел Петр Федорович к себе в деревню и, не откладывая дела в долгий ящик, просил старосту в первый воскресный день собрать сход, чтоб перетолковать об уходе его, Петра Федоровича, навсегда из миру.

— Ладно, соберем,— тряхнул головой староста.

В первое воскресенье сход, действительно, собрался и в ожидании Петра Федоровича томился у избы старосты. От поры до времени перебрасывались словами.

— Не идет что-то,— проговорил один.

— Так он тебе и пришел: это вот ты, лапотный, так с петухом, может, прибежал сюда, а кто в попы смотрит, тот, може, и до вечера не доплетется.

— Смотрит? — подхватывал третий,— смотрю и я вот, как галки летят, да ведь смотри, пожалуй...

— Как говорится,— добродушно заметил тихий крестьянин Василий с улыбкой: — «Так-то так, да вон-то как...»

— Что-то не пойму я,— рассмеялся кривошеий крестьянин Дмитрий, любивший меняться лошадьми. Рассмеялся, потому что знал, что дядя Василий спроста ничего не говорил.

За Дмитрием и все насторожились, и дядя Василий, прокашлявшись, не спеша стал объяснять скрытый смысл своих слов.

— Это вот мужик задумал зимой в избе сани делать, холодно, вишь, на дворе ему показалось, а в избе тепло...

— Надо лучше,— поддакнул кто-то.

— Делает да все бабу свою пытает: «Баба,— так?» А баба ему в ответ: «Так-то так, да вон-то как». Поработает, поработает да опять спросит: «Баба,— так?» — «Так-то так, да вон-то как». Так и дальше, пока все сани не кончил. Кончил, спрашивает в последний раз бабу: «Баба,— так?» А баба ему: «Так-то так, да вон-то как». А сама пальцем на дверь тычет.

Василий помолчал, посмотрел на недоумевающее, готовое совсем расплыться лицо Дмитрия, посмотрел на всех и прибавил:

— Дескать,—сани-то ты сделал и ладно, да в дверь-то то не протащишь ты их.

— А-а...— обрадовался, поняв, Дмитрий и захохотал. Хохотали все, не смеялся только Василий.

— Либо сани, либо избу уж разбирать,— добавил он ласково и тихо.

И еще громче смеялись, трясли головами и говорили:

— Ну, уж и дядя Василий! Слова не скажет без подковырки.

— Ну, идет!..

Толпа сразу стихла и смотрела, как подходил к ней Петр Федорович.

С широким красным лицом крестьянин, весь обросший светлыми волосами, прищурил свои заплывшие глазки на Петра Федоровича и тихо заметил:

— Высоко летит, где-то сядет?

Петр Федорович сановито подошел и, кланяясь, сказал хриплым от волнения голосом:

— Мир вам, старики!

— Здравствуй и ты,— ответили ему редкие голоса.

— Экзамен я, старики, сдал!..

— Слыхали!

— И приходится мне, старики, просить вас отпустить меня на вовсе.

Старики молчали.

— Сколько с меня следует?

— Это так,— перебил его богатый крестьянин Фаддей, нервный, высокий, худой,— сколько следует, да сколько следовало, да сколько причтется вперед, да старикам сколько за уважение...

— Вперед-то за что?

— А ты думаешь, выкуп за тебя кто платить станет?

— Кто землей будет пользоваться, тот и будет платить.

— Ну, там будет или не будет, а все уйдут и платить некому будет... Ты свое знай, и всякий пусть знает свое!..

— Ну, да, словом, вы сколько же насчитываете на меня? — начал терять терпение Петр Федорович.

— Да ведь вот... писарь сочтет!..

Писарь прокашлялся и мягким тенорком скороговоркой ответил.

— Тысяча сто семьдесят два рубля тридцать четыре копейки.

Петр Федорович даже попятился и растерянно оглянулся на толпу.

Крестьяне не смотрели на Петра Федоровича, потупились, и стало так тихо, что каждый слышал, как билось его сердце.

— Что вы, что вы, старики, побойтесь бога!— заговорил Петр Федорович.

— А ты думал что ж? — злобно выступил из толпы взвинченный, с тонкой шеей, крестьянин Егор.— Ты как бы хотел? Там в попах себе чаи распивать и сладко есть, сладко спать, да и тут еще какой был хомут нам на шею бросить? Нет, уж ладно, и свой-то всю шею протер...

— Да ведь какой же хомут, старики? Тридцать пять лет отец и я платили за землю, две тысячи рублей с лишком выплатили уж. Мне получить с вас эти деньги следовало бы или земли на эти деньги,— я бы землю эту продал да с деньгами бы ушел.

— Деньги к деньгам и были бы,— иронически поддакнули ему.

— Ну, уж бог с ними, и с деньгами и с землей, но за что же еще приплачивать-то мне? Не моя же земля будет!

— Там чья — видно будет!..

— Да что тут за спор опять начинается! — раздраженно вмешался староста.— Сказано тебе ясно, сколько с тебя приходится, хочешь уходить — давай деньги, нет — стариков не мори!.. Довольно на своем веку поморил!..

— Поморил довольно!..

— Будет чем помянуть!..

— Иуду Искариотского!

— А вы не лайтесь там!—оборвал староста.—Пустых разговоров нечего заводить здесь, говори каждый дело.

— А дело все сказано от нас...

— Вот и ждем от тебя твоего слова: что ты теперь скажешь?..

— А слово короткое,— взвизгнул кто-то,— согласен — так согласен, а нет — нечего и морить нас!.. Как говорится: семеро одного не ждут!..

Староста опять вмешался:

— Ну, постойте вы там!.. Пусть он говорит!..

Все уставились на Петра Федоровича.

Петр Федорович стоял напряженный, растерянный. Он глубоко вздохнул и тихо, покорно заговорил:

— Вижу, старики, сам, что неприятен я вам!..

— Так уж неприятен,— перебил, корча рожи, пришедший недавно из солдатчины, шут Егорка,— что вот этот господин неприятен,— Егорка ткнул ногой в пса, покорно стоявшего возле него с поджатым хвостом,— а ты неприятнее и его даже...

Толпа завыла от восторга.

— А вы будет!..— прикрикнул на толпу староста.

Петр Федорович напряженно проглотил слюну и снова заговорил:

— Старики, может быть, я и виноват перед вами?..

— Он, видишь, еще и сам не знает?..

— Ну, пусть буду я виноват, старики! Я принимаю от вас все наказание: был я богат — беден стал, было дело — отняли, был силен, здоров — смотрите на меня — в гроб ведь лучше кладут... Старики, зачтите все это за все мои вины и простите меня, Христа ради, простите, разойдемся и забудем друг друга... Христа ради прошу: простите.

— Да ты-то хоть шапку сними, коли уж просишь прощения.

— И шапку сниму!

И Петр Федорович снял шапку.

— Можно бы и на колени стать,— подсказал кто-то.

— И на колени стану и в землю поклонюсь.

Петр Федорович опрокинул назад голову и, взмахнув как-то вверх руками, упал с размаху на колени, потом на землю.

Он лежал так, когда вдруг послышались его рыдания, глухие, отдававшиеся в землю; его громадное тело тряслось, как в лихорадке.

Толпа, не ожидавшая ничего подобного, затаив дыхание, смолкла на мгновение, но Петр Федорович слишком долго лежал,— бессилье лежавшего вызвало новое раздражение.

— Плакали и мы, когда по твоей милости пороли нас в холеру...

Искра была брошена в порох.

— Плакали, плакали! — раздраженно подхватила толпа,— кровью плакали!

— Поплачь и ты теперь!

Петр Федорович вздрогнул и поднялся на колени, растерянно уставившись в толпу. Страх вдруг овладел им, страх предчувствия, что не выпустят его, страх перед этой толпой, страх человека, попавшего в трясину и поздно понявшего, что не выбраться ему из нее.

Он хотел было встать, но судорога начавшегося истерического припадка свела ему ступни, и, с воем вытянув к толпе руки, он пополз на коленях. Толпа с ужасом отшатнулась и уходила от него, а он полз, пока, корчась, не упал на землю.

V

После припадка на улице несколько раз уже в избе, в постели находили на Петра Федоровича припадки такого же ужаса, какой охватил его тогда на сходе. И он снова начинал тогда выть, так же дико, как выл в молодости, когда миром пороли его. Выл и бился,

и надо было несколько человек, чтобы удерживать его на месте.

Понемногу и сила припадков ослабела, да и повторялись они реже и реже.

Петр Федорович пришел в себя и начал обдумывать, что ему предпринять.

Требуемых миром денег у него и не было, и нечего было и думать где-нибудь достать их.

Вторично обращаться к миру тоже было бесполезно. И заходившие к нему из бедняков крестьяне говорили и он сам знал, что мир — волк: что в пасть ему попало, то пропало — проси, пожалуй! Собирался было к земскому, но так и не собрался. Ослабел ли, упал ли духом, но не пошел.

— Что ходить попусту, только унижаться,— там я давно оплетен выше головы.

У Петра Федоровича зародилась другая мысль. Он решил путем печати, путем гласности бороться с миром и открыть всем глаза на то, что делается в деревне.

Он радостно ухватился за эту мысль и твердил всем и каждому, кто хотел его слушать,— твердил опять сильный, полный веры в себя:

— Узнают, все узнают, все узнают... До царя дойдет, что творится здесь... Что крепостная неволя? Там один был, к одному надо было подделываться, а теперь их тысячи господ, да господа какие? Темнее зверей лесных умом, тверже камней сердцами, и не сыщешь их никого: все друг за дружку, а мир за всех! Мир?! Несчастная вдова придет после смерти мужа кланяться миру, после мужа, который всю жизнь выкупал этому миру землю, а мир за недоимку в пятнадцать — двадцать рублей пускает вдову с детьми по миру... Да еще издевается: «Мир, известно, волк,—что в пасть попало, то пропало». Этот-то покойник, что ж, на мир или на своих детей работал?! Все раскрою, всё поймут и узнают, что творится здесь!..

Петр Федорович говорил и писал статью о мире.

Писал долго, исписал большую тетрадь и ушел с нею в город.

— Сам сдам в редакцию и сам на словах еще объясню.

Петр Федорович, придя в город, разыскал редакцию

местной газеты и, входя, с замиранием спросил у встретившегося в коридоре наборщика, где можно видеть редактора.

— Редактора сейчас нет, он будет часов в двенадцать.

В двенадцать часов Петр Федорович опять зашел и по грязной узкой лестнице поднялся во второй этаж.

В большой комнате за длинным столом сидело несколько молодых людей.

При входе Петра Федоровича некоторые стали смотреть на него, другие, не обращая на него никакого внимания, продолжали свою работу: кто писал, кто читал газеты и от времени до времени вырезал из них ножницами кусочки.

Петр Федорович ждал, когда кто-нибудь обратится к нему.

— Вам чего? — спросил, глядя на него из-под очков, один из молодых людей.

— Редактора мне надо бы повидать.

— Иван Петрович! — крикнул, поворачиваясь к запертой двери, молодой человек,— к вам!

Дверь отворилась, и вошел полный, бритый, пожилой господин в очках. Он подошел к Петру Федоровичу вплоть, посмотрел на него сквозь очки, потом поверх очков и спросил:

— Вам чего?

— Я хотел бы... статью вот, насчет деревни...

Петр Федорович протянул свою статью.

— Это о чем?

— Насчет мира,— общины, как у вас называется.

Все встрепенулись.

— Ого! Интересно!.. Что же собственно?

— Я вот хотел было поговорить!..

— Ну?

— Где-нибудь особенно.

— Да почему же не здесь? Вы не стесняйтесь, это все сотрудники... Позвольте вас познакомить,— вот... Садитесь... Так в чем дело?

— Да вот в том дело, что уж силы не стало жить в деревне: мир заедает.

— Так ли? — спросил редактор и лукаво покосился на товарищей.— Вы сами — деревенский житель?

Петр Федорович объяснил свое положение.

— Ну, вот видите,— сказал выслушав редактор,— вы сами признаете исключительность вашего положения. Вам и простительно с исключительной точки зрения смотреть на вопрос. А вопрос большой, и с одной стороны на него никак не взглянешь... «Община, мир,— как говорится у вас,— велик человек», и об этом великом человеке мечтают народы, до которых куда нам. Что и есть у нас хорошего, так это община, а вам она как раз и не нравится, вам...

— А что ж хорошего в миру?

— Как что хорошего? Что есть хорошего — все там...

— Не знаю... Взятки там, неволя, петлями опутанное стадо. Ленивый за кончик не потянет, куда ему только надо,— связанное стадо, на котором лежи и спи... невежество, из которого и не вылезешь...

— Вы вылезли?..

— Я-то вылез, да вот только, простите, кровью кашляю...

— Кашляют и у нас кровью: вчера только одного похоронили... Вот видите, черной полоской обведена статья — некролог...

— Так, как... Родился я вот в деревне, а что-то не приметил вот, как вы говорите, хорошего ничего в миру. По-моему, от его власти даже хуже, как от барской было... Уж об житье и говорить не станем — ни хлеба, ни скотины, ни денег не стало...

— Этому другие причины.

— Земля мирскими порядками испоганилась так, что голод чуть не каждый год...

— И этому свои причины есть...

— И тянется мужичок из последнего, чтобы хлебца добыть, чтобы прикованному у пустого пойла не погибнуть вконец, и тянется, снимает землю у купцов... Те дело свое тонко знают: деться некуда мужику — плати в год, чего и навечно не стоит эта земля. Потребуй он, купец, деньги все вперед — кто бы дал, а и дал бы — нет их, денег. Тут вот и закидывается удочка: давай всего рубль задатку, остальное до урожая. А пока не уплатишь, хлеб сыпь в амбар купца. Вы, может, ездили когда: посевом сами не занимаются, а в каждой

усадьбе амбары, да какие... А в срок не выкупил,— срок к распутью подгоняется, когда цен нет,— по базарной цене хлеб остался у купца, а чего не хватило за землю — под вексель до будущего года. В крепостное время мужичок половину работы делал барину, другую себе, а уж тут вся работа на людей,— крепость двойная... Вот, мои хорошие, как тут одно из другого выходит...

И Петр Федорович горячо заговорил:

— Нет, вы, пожалуйста, послушайте меня, я ведь не из города, из деревни пришел к вам. У вас вот, говорите, кровью кашляют — от городской жизни, а я от деревенской кашляю. Сложение мне господь, видите сами, богатырское отпустил, а вот добили до крови... Ни богатства, ни правды нет в мире... Вы подумайте только, вы люди умные, образованные, вы можете понять... В миру ведь вот как: бедный все ниже да ниже, а богатый все выше да выше; бедных все больше да больше, а богатых все меньше да меньше... Богатей всему и хозяин: мужика прижал, кому нужно, взаймы дал,— взяток ведь нынче не берут,— и царствует... Оброк, подать, выкуп за него несут, земельку получше забрал да работу зимой сдал... Хорошо, скажем, теперь дошел бедняк до последнего, у пустого стойла стой не стой — ушел свет за очи! Нечего взять с него — может, и отпустят, уходи, пожалуйста!.. Спрашивается,— на кого работал всю жизнь этот бедняк? За кого работал? Ушел без копейки с семьей, все нищие,— прежде чем на других, на семью, чать, прежде всего поработать. Был бы он городской мещанин,— кузнец там, столяр, на заводе, на фабрике, какого другого звания или сословия человек — все, что он за всю свою жизнь заработал, то и его и закон за него,— только крестьянин должен жить по другому закону, выходит...

— Не так немного! — перебил редактор,— крестьянин, говорите вы, работает для других, и это и по божескому закону так должно быть, а другие сословия работают для себя, и это не божеский закон. Так вот и надо, чтобы и другие сословия жили по-божески,— надо у них переменить закон, а не у крестьян. У крестьян — он хорош...

Петр Федорович забрал воздух всей грудью и бессильно оглянул комнату.

— Образованные вы люди, и, вижу, высокое ваше образование не дозволяет вам понять меня... Вот ведь что: вы вот вольны в своих деньгах,— кому хотите, тому и дали,— дали другому, и слава вам, а не дали — никто вас заставлять не может. А крестьянина может! Почему же одному воля, а другому неволя? Почему я, крестьянин, своему от голода умирающему сыну не могу донести до рта кусок, а вы своему, хоть там другие мрут; все-таки вольны донести и доносите?..

— Ну, положим, есть у меня сын, нет —вы не знаете, да и не в том дело. Дело в том, что везде есть и хорошее и дурное, вопрос в том, где вот хорошего больше... Вот в общине-то его, оказывается, больше... Вам вот она не нравится, а сто миллионов ею живы. Лучшие, самые образованные люди из таких, которые и жизнь не задумываются отдать за правду — за нее, за мир... От чего-нибудь это да происходит?

— Может, оттого и происходит, что не знают они, на своем горбе не изведали крестьянской жизни, а по пословице — чужую беду руками разведу. Мир, мир... «Мир — велик человек», говорите вы...

— Не мы, а народ!

— Ну, народ-то говорит, да не договаривает, в чем велик он. В другой пословице народ договаривает: «мир — волк, что в пасть попало, то пропало!» А пасть-то человеческими жертвами питается: вдовами, да сиротами, да обезземелившимися, да такими, как я, и жрет и жрет он, а утроба пустая, как прорва. Мир велик, да на зло велик; велик на самодурство, на неправду, и не было еще такого лютее барина из крепостных, как мир этот. Мир!.. Мир — волк! С волками жить — по-волчьи выть. Так и воем, так и живем и пропадаем. Лучший человек у вас захотел стать лучшим и стал,— вам только радоваться на него, а в деревне лучший как раз худшим и выйдет... Вы хотите писать — вы и пишете — кто вас приневолит землю пахать, свиней пасти? А станут приневоливать — вы, может, тоже худшим и станете, пьяницей станете, негодным никуда, последним человеком станете!..

— Вы же вот не стали! Вон и пишете.

— Я-то так... так...— Петр Федорович оборвался. Он понял, что не убедил никого, что все слова его пропали даром.

— Так, так,— растерянно повторял он.

Силы как-то сразу оставили его. Точно оборвалось вдруг что-то там внутри и потянуло его в пропасть. Мурашки забегали по телу, и снова стало страшно ему. Он весь дрожал, глаза его налились кровью, и он уже выл, полный ужаса, тоскливо, дико, как воет человек только в кошмаре. Затем начался его обычный истерический припадок. Редактор нервно схватился за голову и крикнул:

— Скорей за доктором... Вот принесло еще...

— Да прямо в больницу его...

В больницу, впрочем, Петра Федоровича не отправили. Он успел раньше прийти в себя и, ничего не помня, мутными глазами с кровавой пеной на губах осматривался на приглашавших его в больницу.

— Вы больной человек,— сказал ему редактор,— вам лечиться надо... Поезжайте в больницу, вылечитесь и тогда приезжайте,— потолкуем тогда еще с вами об общине...

Петр Федорович выслушал, мигая глазами, долго думал и сказал, наконец, хриплым, разбитым голосом:

— Домой поеду... Статью прочтите...

Он поднял рукопись с полу и протянул ее редактору.

— Поправитесь, тогда и статью прочтем,— потрепал его редактор по плечу,— а вот и ваша шапка...

Петр Федорович встал.

— Ну, вижу, сконфузил я только себя перед вами: петля и тут вышла... Вот что, книжку я такую читал: Антон Горемыка... Думают, нет его больше на свете,— голос его дрогнул,— а что есть и хуже его — не знают. Ох, не знают ли? Не знают, узнать можно... Знать не хотят!.. Вот чем хуже нынешнему-то горемыке. И что ему делать? Умереть? К вам прийти?! — Петр Федорович мучительно вытянул шею.— Так ведь в больницу отправите...

Голос его оборвался, судорога свела ему лицо. Плотно сжав губы, как сжимают дети от подступивших слез,

он замотал головой и, махнув рукой, разбито и тяжело пошел к выходу.

Добравшись домой, Петр Федорович слег и больше не вставал.

Перед смертью его, по его просьбе, навестил его миссионер.

— Не жилец я больше,— говорил ему Петр Федорович,— сила вся ушла. Ну, да что об этом!.. Люди по острогам, да на каторге, да на больших дорогах жизнь кончают, а я все-таки вот... в кровати... Отошло сердце, и нет во мне больше зла... Скучно вот только так — лежать да смерти дожидаться... Читаю божественное, а другой раз и на светское чтение потянет. Давали вы прежде мне: нет ли еще каких из истории?

Миссионер прислал ему несколько книг.

Больше других понравился ему Дон-Кихот.

— Да, вот у каждого свое,— рассуждал он,— а все-таки до чего люди могут в фантазии ударяться: и видит, что мельница, а сам себя уговорит, выходит не мельница. А то в руку сыграет, можно сказать, самым последним ворам, грабителям... А грех сказать,— человек хороший был и добра людям желал...

В одной книжке Петр Федорович прочел:

«Право личности — священнейшая хоругвь, отстаивать которую человек обязан ценой жизни».

Он долго думал и, вздохнув, сказал:

— Хорошо пишут...

В одно пасмурное, скучное утро, когда дождь мочил землю и вода струйками буравила потные стекла, нашли Петра Федоровича мертвым.

В полумраке нищенской лачуги лежало громадное желтое тело на грубо сколоченной кровати. Мохнатая черная голова склонилась набок, костлявая, уродливая в сгибах пальцев рука откинулась и застыла на книгах, беспорядочной грудой сложенных тут же на табурете.

ТЕНИ ЗЕМЛИ

I. ХУДОЖНИК

И не уступил бы человек ангелам и перед смертью не склонился, если бы не была у него слабая воля.

Под сводом лазурного неба, у самого синего моря жил великий художник.

Люди называли его гением, но так ничтожно было то, что выходило из-под его рук в сравнении с тем, чего хотел он.

Он хотел!

Он хотел в чудном изваянии соединить всю чистоту неба, всю прелесть земли.

И художник искал терпеливо дивный образ своей души. Он искал его в нежном дыхании весны, когда сирень и миндаль осыпали его своим цветом; в темных ночах жаркого лета, когда так страстно билось море о берега его сада; в неподвижной осени, когда вся в позолоте и мечтах о лете склонялась она к нему и нежно шептала «прости»; зимой, когда дул холодный ветер и дождь стучал в окна, а в камине ярко горел огонь.

В неясных грезах видел его во сне художник и увидел однажды весь воплощенный свой образ.

Вечные краски заката переливали в небе, солнце золотило и небо и море, и когда солнце коснулось моря, и небо и море вспыхнули и в бездне огней увидел худож-

ник там в окне из бирюзы и огня иную даль, увидел чудный, как сон, как мечты, прекрасный образ своей души.

То было одно только мгновение, исключительное мгновение напряжения, когда человек во много раз превосходит себя, свои силы.

Силой чистой влюбленной души художник удержал тот образ и передал его мрамору.

У самого синего моря, против того места, где в небе заседали боги, воплотил великий художник свой образ в девственном прекрасном теле из мрамора.

Изумленные боги смотрели и говорили:

— Он создал нечто большее даже, чем создали мы.

И боги сказали ему:

— Да, ты великий художник, равный нам,— проси же у нас, чего хочешь.

— Боги! — ответил художник,— дайте ей жизнь. Не для себя прошу, но чтобы могла она совершить свое призвание на земле.

— Да будет! — сказали боги.

И статуя ожила.

А что сделал художник, когда она, обнаженная — вся прелесть земли, вся чистота неба — сошла к нему?

Он обезумел от вспыхнувшей в его сердце земной любви.

В урагане охвативших его страстей он, осыпая ее огнем своих преступных поцелуев, жадно кричал богам:

— Она моя! Только моя!

. . . . . .

Возмущенные боги тут же произнесли свой жестокий приговор: художник лобзал опять только уродливую глыбу мрамора.

О, как велико было его отчаяние, когда он пришел в себя!

Как молил он богов о прощении!

— Восстанови ее,— сказали боги,— и мы возвратим ей жизнь.

«Восстанови ее»...

Он не мог больше... Он забыл дивный образ своей души... Напрягая все силы, не выпуская резца из рук, он работал, пока боги не сказали ему:

— Все кончено, смертный,— короткое мгновение

твоей жизни прошло, и двери вечности уже раскрыты пред тобой.

Так люди и нашли мертвого художника в его саду с резцом в руках. Он сидел перед своей работой и сам был лучшей из всех сделанных им статуй в выражении неземной тоски, отчаяния и горя.

Таким друзья, передав мрамору его черты, и сохранили образ великого художника.

Он сидит там в своем саду, у самого синего моря, и точно говорит в отчаянье:

«Ах, я мог бы, мог...»

А внизу выбиты слова:

«И не уступил бы человек
ангелам и перед смертью не
склонился, если бы не была
у него слабая воля».

II. ГЕНИЙ[1]

I

Все в городе знали старого громадного еврея с длинными, всклокоченными, как львиная грива, волосами, с бородой, которая от старости была желта, как слоновая кость.

Он ходил в лапсердаке, в стоптанных туфлях и только тем разве и отличался от остальных евреев, что смотрел своими громадными на выкате глазами не вниз, как, говорят, смотрят все евреи, а куда-то вверх.

Проходили годы, поколения сменялись поколениями; неслись с грохотом экипажи; озабоченной вереницей торопились мимо прохожие, мальчишки, смеясь, бежали,— а старый еврей, торжественный и безучастный, все так же двигался по улицам с устремленным взглядом туда вверх, точно он видел там то, чего другие не видели.

---

[1] В основание рассказа взят истинный факт, сообщенный автору М. Ю. Гольдштейном. Фамилия еврея — Пастернак. Автор сам помнит этого еврея. Подлинная рукопись еврея у кого-то в Одессе. (*Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского.*)

II

Единственный человек в городе, которого старый еврей удостаивал своего внимания, был учитель математики одной из гимназий.

Каждый раз, заметив его, старый еврей останавливался и долго, внимательно смотрел ему вслед. Может быть, и учитель математики замечал старого еврея, а может быть, и нет, потому что это был настоящий математик,— рассеянный, маленький, с физиономией обезьяны, который ничего, кроме своей математики, не знал, не видел и знать не хотел. Засунуть в карман, вместо платка, губку, которою вытирают доску; явиться на урок без сюртука,— стало для него настолько обычным делом, а глумление учеников дошло до таких размеров, что учитель, наконец, вынужден был оставить преподавание в гимназии.

С тех пор он весь отдался своей науке и выходил из дома только для того, чтобы пообедать в кухмистерской. Жил он в своем собственном, доставшемся ему от отца большом доме, сверху до низу набитом квартирантами. Но почти никто из квартирантов ничего не платил ему, потому что все это был неимущий, бедный люд.

Дом был грязный, многоэтажный. Но грязнее всего дома была квартира из двух комнат в подвальном этаже самого учителя, вся заваленная книгами, исписанной бумагой, с таким толстым слоем пыли на них, что если бы поднять ее всю враз, то, пожалуй, можно было бы и задохнуться.

Но ни учителю, ни старому коту, другому обитателю этой квартиры, никогда и в голову не приходила такая мысль: учитель неподвижно сидел за своим столом и писал выкладки, а кот без просыпу спал, свернувшись клубком на подоконнике с железными решетками.

Пробуждался он только к обеду, когда наступало время встречать учителя из кухмистерской. И он встречал его улицы за две — старый, облезлый. Долгим опытом кот знал, что из тридцатикопеечного обеда полпорции отрезывались для него, завертывались в бумагу и выдавались ему, когда он возвратится домой. И,

предвкушая наслаждение, кот с высоко поднятым хвостом, изогнутой спиной, весь в клочках слежавшейся шерсти, шагал по улицам впереди своего хозяина.

III

Дверь в квартиру учителя отворилась однажды и в нее вошел старый еврей.

Старый еврей, не спеша, вынул из-за жилетки грязную, толстую, всю исписанную по-еврейски тетрадь и передал ее математику.

Математик взял тетрадь, повертел ее в руках, задал несколько вопросов, но старый еврей, очень плохо говоривший по-русски, почти ничего не понял, но математик понял, что в тетради речь идет о какой-то математике. Понял, заинтересовался и, найдя переводчика, занялся изучением рукописи. Результат этого изучения был необычный.

Через месяц еврей был приглашен в местный университет в отделение математического факультета.

В зале заседали математики всего университета, всего города, заседал и старый еврей, такой же безучастный, со взглядом вверх, и через переводчика давал свои ответы.

— Сомнения нет,— сказал еврею председатель,— вы действительно сделали величайшее из всех в мире открытий: вы открыли дифференциальное исчисление... Но, к несчастью для вас, Ньютон уже открыл его двести лет назад. Тем не менее ваш метод совершенно самостоятельный, отличный и от Ньютона и от Лейбница.

Когда ему перевели, старый еврей спросил хриплым голосом:

— Его сочинения написаны на еврейском языке?

— Нет, только на латинском,— ответили ему.

IV

Старый еврей пришел через несколько дней к математику и кое-как объяснил ему, что желал бы учиться математике и латинскому языку. В числе квартиран-

тов учителя нашлись и студент-филолог и студент-математик, которые за квартиру согласились учить еврея: один — латинскому языку, другой — основам высшей математики.

Старый еврей ежедневно с учебниками приходил, брал уроки и уходил учить их на дом. Там, в самой грязной части города, по темной, вонючей лестнице взбирался он среди коростливых детей на свой чердак, пожертвованный ему еврейским обществом, и в сырой, грибами поросшей конуре, присев у единственного окна, учил заданное.

Теперь, в часы отдыха, старый еврей, на вящую потеху ребятишек, часто шагал рядом с другим уродом города — маленьким, с лицом обезьяны, учителем. Молча шли они, молча расставались и только на прощание пожимали руку друг другу.

V

Прошли три года: старый еврей мог уже прочитать в подлиннике Ньютона. Он прочел его раз, другой, третий. Сомнения не было. Он действительно, он, старый еврей, открыл дифференциальное исчисление. И, действительно, оно было уже открыто двести лет тому назад величайшим гением земли. Он закрыл книгу, и все было кончено. Все было доказано. Это знал он один. Чуждый волновавшейся вокруг него жизни, ходил старый еврей по улицам города с бесконечной пустотой в душе.

Застывшим взглядом он смотрел на небо и видел там то, чего другие не видели: величайшего гения земли, который мог бы подарить мир новыми величайшими открытиями и который пригодится только для того, чтобы быть посмешищем и забавой детей.

Однажды нашли старого еврея мертвым в его конуре. В застывшей позе, он, как изваяние, лежал, облокотившись на руки. Густые пряди цвета пожелтевшей слоновой кости волос рассыпались по лицу и плечам. Глаза его смотрели в раскрытую книгу, и, казалось, после смерти еще читали ее.

III. ВЕРОНИКА

I

Жару летнего дня сменяла прохлада начинавшегося вечера.

За повалившейся далью реки садилось солнце, пронизывая последними лучами и нежный туман, прозрачным покрывалом уже вставший над рекой, и даль неба, всю в переливах с тревожно вспыхнувшими в ней и замершими облаками.

В тенистом саду весь спрятался старинный дом. Уже ложились вечерние тени по дорожкам, сильнее чувствовался аромат цветов, поспевавших яблок и еще какой-то особенный аромат мирно догоравшего летнего дня.

Из открытых окон неслись звуки рояля. Играла молодая женщина.

Она была беременна. Через несколько, может быть, часов должны были наступить роды,— она это знала,— и особое возбуждение владело ею. Голубые глаза ее смотрели куда-то, а чудные звуки лились и лились.

Мало сказать, что она играла красиво — она обладала особым даром превращать рояль во что-то живое, до боли,— сладкой мучительной — музыкальной боли. Она передавала музыкой: радость, слезы, рассказывала сказку или звонко и нежно, как падающие капли воды, передавала о чем-то, что проносилось в душе, как проносится тень уносящегося вдаль облака.

Это был вздох или нежная, как сама музыка, грусть о проходящей жизни. Вопросы и ответы: зачем так коротка жизнь и зачем, напротив, так медленно в каждом отдельном мгновенье плетет она свой загадочный узор. Узор такой неотразимый, такой нужный в каждом своем мгновении и сразу никому больше не нужный и никогда не конченный, когда смерть перережет нити этого узора.

Но зачем тогда эта жизнь, эта вспыхнувшая искра во мраке вечной ночи? И если б только это одно сознание было — о! человек давно бы замер в ледянящем холоде его. Но есть любовь, и греет она, и забывает человек о вечном мраке, который ждет его там, за окном его жизни.

Придет время, остынет сердце, вступит ум в свои права, и смерть перережет нити жизни, но что в том? Творческой силой любви уже достигнута цель и уже другие придут на смену продолжать вечное дело природы.

Это одно ее дело, и что все остальное для нее? Неправда, страданья, эгоизм людей? Мать эгоизма, она твердо ведет свои жертвы к цели, одевая их в перья, бросая их в бездну забвенья, когда вырвет у них то, что ей нужно,— продолжение рода.

И уже не отдельные мгновения, а река этих мгновений, светлая, яркая, течет в темных берегах беспредельной вечности: это река жизни, это любовь.

И пусть делает свое дело великая мать природа!

Молодая женщина вздохнула и заиграла из Грига: «Я люблю тебя».

Страстные сильные звуки понеслись в сад, в небо: «Бороться силы нет, в твоей я власти: люблю тебя...»

Песнь разбудила ее.

С последними словами: «я люблю тебя и в жизни и в вечности» — она встала. Ведь только всего, может быть, несколько часов оставалось у нее до болезни, а может быть, и до...

Она прогнала страшную мысль, вышла на балкон, вдохнула всей грудью ароматный воздух вечера и сказала, заглядывая через окно в его кабинет, голосом счастья, любви, радости жизни:

— О, какой прекрасный вечер! Пойдем в сад?

Он оставил работу, и под руку они пошли по дорожке.

Они пришли к скамейке, сели и сидели молча, прислушиваясь каждый к своим мыслям. Было тихо. Где-то в глубине сада насвистывала птичка, и свист ее, звонкий и нежный, сильнее подчеркивал тишину сада.

Она вздохнула и тихо, как мысль, вслух заговорила:

— Садится солнце, а завтра утром, когда оно опять взойдет, я, может быть, уже буду матерью. Завтра воскресенье, и наш ребенок будет дитя праздника... Наш... Я так счастлива.

И, замолчав, она задумчиво смотрела в просвет деревьев.

— Как красива природа: как сон этот вечер... Как люблю я природу, запах цветов, небо...

Она опять замолчала и, точно ожидая ответа и не дождавшись, вздохнув, сказала:

— Рассказать тебе мою сегодняшнюю фантазию на «Лебедь» Грига? Помнишь: «Мой тихий лебедь запел, умирая»?

Он обнял ее и сказал:

— Расскажи.

Она устало положила ему голову на плечо и заговорила:

— Два лебедя жили на озере. На прекрасном озере в горах. Над ним было голубое небо. Лебедь плавал по озеру со своей подругой и говорил ей:

— «Среди всех живущих мы опять нашли друг друга и узнали, потому что вечно знали друг друга. Мрак еще был на земле, и волны бились о берег, и взлетали их брызги, и две капли взлетели выше других и упали на высокий утес. И первый луч солнца прорезал мрак и заиграл в двух каплях огнями и сказал им: «Живительной силой моей и матери вашей природы — живите вы вечно». Те две капли были мы с тобой. Те две лани, что взбирались по скалам, те две чайки, что в глухой степи перекликались между собой, те два льва, что на восходе сошлись в желтой пустыне,— были мы с тобой. В образе двух лебедей отец наш солнце свел нас снова. Летим же к нему!» И радостные, счастливые, они поднялись до самых розовых облаков, — они, вечные спутники отца своего. Но когда пришла ночь,— враг солнца, — она сказала выдре, что сладко спит теперь молодой лебедь и не услышит, как подплывет к нему выдра. Взошло опять солнце, и лебедь не нашла больше своего друга возле себя. Спросила лебедь у солнца, и сказало ей солнце правду. Тогда запела лебедь свою последнюю песню. Она пела о том, что любила своего лебедя, что будет вечно любить его; что любит солнце, свет и тепло его. Она молила солнце не отдавать ее злой ночи. И солнце пожалело и послало ей огненный луч свой, и проник он в сердце ее, и уснула молодая лебедь навеки.

Молодая женщина остановилась и продолжала:

— И вот эти два лебедя снова встретились, а завтра, может быть, они еще раз встретятся два в одном. У нас будет дочь, и мы назовем ее Вероникой: это значит — победа весны. Тебе нравится? О, как я буду ее любить! — И она порывисто обняла его и горячо заговорила: — Милый, милый, как я счастлива! Оставим заботы, мысли, неудовлетворение, подарим только друг другу этот вечер. Никто ведь не знает, сколько ему суждено еще прожить, но этот вечер наш, и будем жить...

И она страстно прильнула к его губам и замерла. Но вдруг быстро оторвалась и испуганно сказала или спросила:

— Больно?!. Начинается? Боюсь...

Она заметалась и то судорожно хватала и сжимала его руку, то отталкивала ее. Лицо ее побледнело, глаза закрылись. Когда миновала боль, она покорно и грустно сказала:

— Пора.

И они пошли назад,— она прошла в дом, а он остался на террасе и сидел там в тяжелом оцепенении какого-то сна наяву.

И сильнее было впечатление этого сна в напряженной тишине вечера.

Солнце упало на горизонт, брызнув в последний раз короткими кровавыми лучами. Стало быстро темнеть, а в небо безмолвно торопливо поползли откуда-то взявшиеся темные тучи.

И вдруг тревожные мечущиеся удары церковного колокола разбудили сон и наполнили душу тревогой, жутким сознанием неотразимости надвигающегося мгновения.

— О, как страшно! — шепнул кто-то сзади, и две руки, прекрасные, в синеве сумерек мертвенно бледные, обвили его шею.

Холод проник и в его душу, он повернулся к ней, и вдруг что-то беспомощное в ней сжало его сердце тоскою и горячею любовью.

Нежно обняв, он осторожно повел ее и, посадив, целовал ее руки, плечи, платье. Целовал, полный благоговения к ней, полный сознания предстоящего ей мученичества. Это была безмолвная, сильная и жаркая молитва ей, ее страданиям.

II

Стихло все в доме. Спят или притаились, и только там в углу, где спальня и красная лампадка бросает свои багровые лучи,— движение и стоны, боли и отдых и опять безмолвная тишина ночи.

Взошла луна и светит. Сад необъятный, весь залитый обманчивым светом. Из серебра и блеска деревья убегают в какую-то даль или бездну. Бесконечная даль. Какие-то тени, прозрачные, светлые, движутся, скользят и берут власть над душой, таинственную и сильную. Что-то прильнуло, точно заглядывая, к окну и уж убегает, оставляя в душе следы очарования, напряжения и страха.

И снова стоны, дикий взгляд туда, где в красных огнях переливались ризы иконы,— бесконечно чужой всему живому.

Сильнее боли. Ближе и ближе выходит из мертвенного просвета дня что-то страшное, неотразимое. Вышло и дико схватило свою жертву. Целый океан страданий, в котором захлебнувшийся последний безумный вопль смешался с первым криком появившегося на свет нового существа.

И стихло сразу все.

Смерть или обморок?

Так не похоже на смерть.

Розовеет и еще нежнее лицо. Точно откинувшись, чтоб лучше видеть, она смотрит из полуопущенных век еще живыми глазами туда, где в первых лучах солнца шевелится маленькое красное тело.

А там, в раскрытых окнах, праздничное утро, торжественное, нарядное.

В лучах солнца, в блестках росы сверкает сад.

Тихо, все замерло в избытке блаженства, и только листья таинственно шепчут друг другу радостную весть:

«Вероника, Вероника...»

НА ПРАКТИКЕ

I

Южное лето. Жара невыносимая. Точно из раскаленной печи охватывает пламенем. Сгорел воздух, степь, горят все эти здания громадного вокзала.

Полдень.

На запасном пути, на площадке раскаленного черного паровоза в одном углу на перилах сидит унылая фигура с большим красным носом машиниста.

Пропитанный салом картуз съехал на затылок и точно приклеен к голове. Куртка, штаны когда-то иного, а теперь такого же, как окружающий уголь, черного цвета, тоже пропитаны и лоснятся салом. Запах этого сала тяжелый, одуряющий. Масло и сало везде: в масленках, на площадках, на стойках, на руках. Пучки пакли, род утиральника — тоже в сале, и вытиранье рук — только самообман. Этой паклей я — другая фигура на площадке паровоза, в другом углу,— виновато и бесполезно, чтобы только что-нибудь делать, тру свои руки.

Я студент-практикант.

Первый день моей практики. Только что кончили маневры и полчаса, час мы будем стоять так: на припеке, с полупотухшим паровозом, который, как какое-то громадное, грязное, замученное животное, теперь отдыхая, тяжело сопит.

Машинист Григорьев мрачно смотрит вниз. Вся его фигура судьи красноречиво говорит: «Ну, что ж теперь будем делать?»

Я понимаю и сам, что дело из рук вон плохо.

Нас на паровозе всего двое: он — машинист и я — кочегар.

Но, собственно, это «я — кочегар» один звук. Я даже лопаты в руках держать не умею. Этой лопатой надо перебросить из тендера в топку до трехсот пудов угля в сутки. Кроме лопаты, много других инструментов, которыми тоже надо уметь владеть и систематично поспевать делать накопляющуюся работу.

Резак, например. Добрых полторы сажени, чуть ли не пудовый металлический стержень с загнутым острием на конце.

Лежа на животе под паровозом, держа один конец этого резака в руках, надо другим, пропуская его между колосниками топки, подрезать накопляющийся там шлак.

Подрезать для того, чтобы проходил воздух, иначе гореть не будет, а тогда не будет и пара, как не будет его, если не уметь бросать в печку уголь так, как его надо бросать: к краям потолще, к середине тоньше.

А я бросаю как раз наоборот. И кажется вот-вот хорошо и опять на середину, и опять мрачно говорит Григорьев:

— Могила!

И он раздраженно опять вырывает из моих рук лопату.

Ловко летит с лопаты уголь, и белое пламя топки почти не краснеет, а у меня от одной лопаты и дым и красное пламя,— все признаки неполного сгорания. И сейчас же манометр падает и работать нечем, а тут как раз надо воду качать, надо сало спускать в масленках, надо новое наливать, надо чинить расхлябавшиеся подшипники, тормозить паровоз, кричать составителям и зорко следить, чтобы не стукнуть друг с другом те задние, где-то в бесконечном отдалении вагоны. Все это надо делать мне, и все это делает, кроме всех своих других обязанностей, Григорьев, и после каждой сделанной за меня работы он все тем же безнадежным, долбящим голосом говорит:

— Так, так... А кто ж работать будет?

И как раз в это время где-то там сзади: бух-тах-тарарах, с какой-то всеразрушающей силой стукаются ва-

гоны и, кажется, в щепки летят. Григорьев хватается за регулятор, штайер, кричит дико: «Тормоз». Я бросаюсь к тормозу, отчаянно верчу, но не в ту сторону — я растормаживаю, вместо того чтобы затормозить.

— А-а-а!

В этом «а-а-а», в этой поднятой ноге, в руках, схватившихся за голову,— все бессилие, вся злоба, все бешенство несчастного. Каторга, из которой каким-то порывом он хотел бы унестись и сразу забыть этот проклятый паровоз, роковые выстрелы стукающихся вагонов, дурацкую фигуру оторопевшего, никуда не годного своего помощника.

И опять кричит он в отчаянии:

— Да что ж это, наконец?.. Шутки шутить, что ли, мы будем?

Тошно. Провалиться. Убежать сейчас и не возвращаться. Да, вот... Ехал на практику, выбрал самую тяжелую, был горд сознанием предстоящего черного труда.

Унылая фигура Григорьева скрючилась и застыла. Я все так же тру руки паклей. Лучше бы уже ругался.

— Нагортайте угля.

И, не дожидаясь, пока я соображу новое непонятное для меня распоряжение, Григорьев уже хватает лопату, взбирается на задний край тендера и начинает оттуда подбрасывать уголь к топке.

И я взбираюсь за ним и, поняв, чего от меня хотят, говорю смиренно:

— Позвольте мне.

Боже мой, с каким колебанием передается мне эта лопата. Какое презрение ко мне. Точно это фельдмаршальский жезл, а я презреннейший из трусов.

Когда около топки образовывается порядочная горка, Григорьев через силу говорит:

— Ну... Ступайте обедать.

Я спускаюсь с паровоза на землю и робко спрашиваю:

— Вы не можете сказать мне, где здесь можно пообедать?

Григорьев говорит, отвернувшись:

— Направо из ворот: написано на вывеске. Да не сидите там три часа.

Я шагаю. Новенькая парусиновая блуза уже вся в пятнах, слой угольной пыли на ней, на лице, волосах. Пот струйками пробивает в ней дорожку по щекам. Я стираю этот пот и чувствую, что размазываю на лице грязь. На зубах хрустит уголь, но есть хочется, так хочется, что от мысли, что сейчас буду есть, все невзгоды первого дня отступают на задний план. Какое-то смутное утешительное сознание: перемелется — мука будет. В воротах молодой кочегар Иванов, с которым я познакомился сегодня утром в конторе глухого и грозного начальника депо.

Кочегар, засунув руки в карманы, ждет меня, насвистывая какую-то песенку.

— Ну? — весело спрашивает он, когда я подхожу.— Григорьев не побил?

— Только что не побил,— отвечаю я, и сразу мы оба чувствуем себя старыми товарищами.

Мы идем направо по площади, туда, где над маленькой дверью харчевни нарисована какая-то большая птица, проткнутая вилкой и ножом.

— Да вот,— говорит мой товарищ,— ругатель Григорьев, конечно, а вот насчет этого, только он да мой — своих кочегаров вперед себя обедать пускают.

В темной, обширной, с невысокими потолками харчевне много народа: машинисты, слесаря, кузнецы. Лица черные, закоптелые, у машинистов важные и тем важнее, чем больше нашивок из галуна на шапке. С каким сосредоточенным важным видом ест один с тремя нашивками, еще молодой, с русой бородкой, с умными, твердыми, голубыми глазами.

Там, дальше, группа уже поевших. В центре большой, толстый, отвалившись, улыбается, слушая соседа, и, прищурившись, смотрит начальственно на нас. Рядом с ним высокий, худой, с жидкой бородкой, с тремя нашивками веселый немец, что-то говорит, и все кругом хохочут.

— Это Альбранд из Вены — все врет, но так, что животики надорвешь,— говорит мой спутник.

Какой-то машинист за другим столом, мрачный, желчный, стучит кулаком и грозно говорит:

— Я своего паровоза не дам... Расплююсь, уйду, а не дам.

Небрежно откинувшись, куря сигару, слесарь читает газету.

Нам дали борщ с большим куском говядины, на столе хрен с уксусом, гора ломтей темного пшеничного хлеба, один запах которого уже вызывает усиленный аппетит. На второе дали тушеную говядину с густым черным соком, с поджаренным картофелем.

Я, всегда смотревший на еду, как на какую-то скучную формальность, здесь ел, ел и чем больше ел, тем больше хотелось. Ел и с наслаждением представлял себе родных, знакомых барышень. Если бы они увидали теперь меня здесь? Моя мать, которая в отчаянии от моего обычного ничегонеяденья, всегда говорила:

— Твой желудок дамочка, и самая капризная из всех.

А осенью у меня будет в кармане аттестат машиниста.

Я заплатил за свой обед двадцать копеек, и мой товарищ говорит мне:

— Григорьев! Я его, зуду, хорошо знаю, я тоже начал с ним ездить,— ему всех новичков дают, потому что другие, вот эти все, такого кочегара, как вы, в шею бы погнали с паровоза, а он берет,— он теперь несколько дней, пока вы не приучитесь, и обедать не будет ходить. А вы ему бутылочку водки купите и отнесите: он это любит, помягче станет с вами.

— Так, может быть, и обед ему снести?

— Ну, так худо ли было б!

Нашлись и судки: щи, жаркое, огурец, хлеба ворох, бутылка водки.

— Ну, уж валяйте ему и пива,— пусть старичина повеселится. Вместе понесем.

— Дядя, Григорий Иванович! — кричал еще издали мой товарищ,— мы к вам с поклоном и повинной.

— Ну, какие там еще... Ничего не надо!

И Григорьев, как те игрушечные медведи, что заводят и они возятся и ворчат, завозился в своем углу, вытаскивая грязный платок с провизией.

Мой товарищ, очевидно, успевший изучить бывшее начальство, сломил, однако, упрямство Григорьева, и

немного погодя, энергично хрустя зубами, он уже уничтожал все принесенное нами.

Он сидел на корточках, открывая, как пасть, свой широкий рот, и говорил в промежутках, обращаясь исключительно к своему бывшему помощнику:

— Все это лишнее,— он тыкал на борщ, жаркое,— ну, вот это,— он указал на водку,— пожалуй, что и полезное — когда за двух приходится работать,— где же силы взять,— она вот и помогает...

И он брал бутылку и опять осторожно наливал в свою с отбитым донышком рюмку.

— Вот это,— он показал на пиво,— тоже по-настоящему дрянь: это немцам, а наш брат...

— Водка, конечно, тверже,— соглашался мой товарищ.

— Ну, так как же! — пренебрежительно говорил, кивая головой и прожевывая новый кусок, Григорьев.

Так говорил он, пока все полезное и бесполезное было уничтожено. Завидев уже бегущего составителя, Григорьев, поднимаясь, бросил, ни к кому не обращаясь:

— Ну, теперь и терпеть можно!

И мы опять принялись за работу и работали до заката.

Тогда нам снова дали передышку на полчаса.

Григорьев полез в свой сундучок, вынул оттуда грязный платок с провизией, развернув его, достал колбасу и хлеб. Молча, отрезав кусок колбасы и хлеба, он передал их мне, и я, уже опять голодный, принялся за них с большим удовольствием.

— Водки хотите?

Я отказался. В бутылке ее уже оставалось немного, и Григорьев был доволен, очевидно, моим отказом, хотя и ответил:

— В нашем деле без водки не проживешь.

После этого мы молча ели, каждый в своем углу: Григорьев около рычага, я около тормоза — отделение кочегара.

От этого тормоза ломило руки, и на ладонях были уже большие водяные, красные по краям мозоли.

Но в общем я чувствовал себя прекрасно. Худо ли, хорошо ли я выполнял свои обязанности, но старался

я на совесть и устал так, как, кажется, еще никогда не уставал. И в то же время я чувствовал себя таким свежим. И все кругом гармонировало с моим настроением.

День стихал неподвижный и ясный. Откуда-то из города доносился замиравший, словно утомленный шум.

Солнце опускалось за горизонт, плавя его в золото, сквозь которое светилось там где-то далеко зеленовато-бирюзовое нежное небо, несся со степи запах свежего сена, слышалась песня возвращающихся с работы косцов.

Хохлацкая песня — задумчивая, нежная, так много говорящая, так трогающая самые сокровенные уголки сердца.

Казалось, паровоз и тот проникся настроением, стих и только тихо, жалобно посвистывал.

Бедняга! Он был уже старый, очень старый ветеран, сданный после всех долгих походов на станционные маневры. Живого места, как говорится, не было на нем: хлябали подшипники, стучали цилиндры, золотниковая коробка сработалась вконец, а сальники, масленки парили, как не парят взятые вместе сорок паровозов линейных. И мы всегда вследствие этого носились в облаках пара, и в такт главному дыханию паровоза вторили несколько второстепенных из сальников, цилиндров, коробок.

А что делалось, когда приходилось тащить тяжелый состав — вагонов сорок — пятьдесят! Тогда со всех концов нашего паровоза вылетало столько пара, что казалось, что он унесет туда, вверх и нас и наш паровоз Д-34.

Мы поели и ждем составителя.

Григорьев, сидя, манит пальцем меня и говорит ласково, насколько это возможно для него, конечно:

— Подите сюда, молодой человек!

Я подхожу.

— Вы что ж, из ло́киев, что ли? У господ служите? — поясняет он, замечая мое недоумение.

Еще вчера я был уверен, что произведу страшный эффект, когда сообщу своему машинисту, что я ни более ни менее как студент института инженеров путей сообщения.

Теперь я об этом больше не думаю и возможно скромнее стараюсь объяснить Григорьеву, кто я. Григорьев —

машинист из слесарей, ни в каких школах не бывавший, и поэтому все ранги ученические для него китайская грамота: ученик приходской школы, студент — все тот же ученик, и берет он вопрос по существу.

— Чему же в четыре-пять месяцев научитесь? Если вы хотите научиться, вам надо идти в мастерские сперва. Года через четыре вы будете слесарем и даже механиком — тогда поступайте в кочегары, года три поездите, получите испытанного кочегара. Будете тогда человеком. А теперь что ж?! Ну, дадут вам паровоз,— сломается что-нибудь в дороге: так и будете стоять?

Я опять объясняю, что это только практика для меня, что я не буду ездить машинистом, что мне нужен только аттестат машиниста. Еще меньше Григорьев понимает.

— На что же такой аттестат?

Но уже бежит составитель, Григорьев берется за регулятор и продолжает, рассуждая сам с собой, пожимать плечами.

II

Уже месяц прошел с начала моей практики.

Я уже выгляжу настоящим кочегаром: такой же черный, как весь окружающий нас уголь. По-прежнему, как ни брошу в топку,— все могила, то есть бугор по середине, но, когда подходят к нам другие машинисты и весело спрашивают, кивая на меня:

— Ну, как он?

Григорьев снисходительно отвечает:

— Ничего — пойдет дело!

Со всеми этими машинистами, кочегарами, слесарями, кузнецами я — приятель, и мы трясем руки друг другу так, что надо еще удивляться, как еще не оторвана моя рука и не раздавлены пальцы.

Все на станции знают меня, студента-практиканта.

— Что, барин,— говорит добродушно стрелочник, около которого мы стоим в ожидании составителя,— видно, не на белой земле хлеб растет?

— Да, тяжелый труд!

Чтоб поспеть к восьми часам утра на смену и иметь хотя тридцать футов пара, надо начать растапливать

паровоз с четырех часов утра. Можно, конечно, и скорей растопить, если не жалеть дров на растопку, но за экономию дров самая большая премия, и следовательно прямой убыток и Григорьеву и мне.

Когда разгорятся дрова, я бросаю кардиф в брикетах,— род кирпичей,— пока не набросаю его в уровень с топкой. Кардиф дает жар, а пламя дает нью-кестль, черный, блестящий, мелкий уголь, который разбрасывается тонким слоем по кардифу.

Ровно в восемь часов утра на другой день мы кончаем дежурство. Но это еще далеко не конец. Мы отправляемся на угольную станцию взять запас угля на будущие сутки, затем едем за дровами и часам к двенадцати, наконец, въезжаем в паровозное здание.

И тут еще до конца далеко. Надо потушить паровоз, переменить набивки в сальниках и вычистить машину, пока она еще горяча. Часам к двум все кончается. Надо еще обмыться, и мы идем в ванную, моемся, чистимся и, все-таки черные и грязные, идем обедать.

Часа в три я попадаю на квартиру: напиться чаю и спать, потому что в три часа ночи уже опять вставать на работу. И вот из сорока восьми — двенадцать часов отдыха. По шести часов в сутки. Все остальное время в работе и в какой работе!

— Тормоз! Тормоз!

— Угля!

— Поддувало!

О, это поддувало! С этим проклятым резцом я лежу под паровозом, держа его за один конец и другим на весу пробиваю шлак там, в слившейся под одно с колосниками огненной массе.

Жар, пепел захватывают дыхание, от напряжения стучит в висках, немеют руки. Ох, как часто, бросив в изнеможении резец, я лежал трупом там, под паровозом, и думал: пусть он меня раздавит, разрежет, но я не двинусь больше с места.

Но уже кричит Григорьев откуда-то сверху:

— Ну, что ж вы там уснули, что ли?

И опять убежавшие куда-то силы возвращаются, и снова слышатся глухие удары из моего склепа.

— Ну, скорей назад,— кричит Григорьев.

Вылетает сперва из-под паровоза резец, а затем между двумя колесами пролезаю и я в то мгновение, когда колеса уже трогаются. Меньше даже мгновения, но этого все-таки достаточно, чтобы я успел выпрыгнуть. А не успею, что-нибудь вдруг случится — судорога, зацепится нога?

Григорьев не увидит. Он на той стороне и точно забыл о моем существовании. Я подбираю резец и уже на ходу вскакиваю на подножку паровоза. Вскочить, выскочить при скорости в тридцать верст — все это я уже проделываю с искусством обезьяны.

Я сказал: Григорьев не увидит.

Но он всегда и все видит.

Раз еще в начале как-то я соскочил неловко с двигавшегося уже паровоза и упал на откос бугра земли, приготовленного для полотна дороги. Откос был слишком крутой, чтобы удержаться на нем, и я стал медленно сползать вниз к полотну, прямо под проходивший ряд вагонов, которые тащил наш паровоз № 34.

Это были ужасные мгновения. Сверхъестественной волей стараясь удержаться и в то же время все сползая, я все смотрел туда вниз, на бегущие мимо меня колеса вагонов, угадывая, которое из них разрежет меня.

Так бы и случилось, потому что я в конце концов упал прямо под колеса. . . остановившегося вдруг поезда. То Григорьев остановил.

По моему ли прыжку, по мелькнувшей между стойками фигуре, уже лежавшей на земле, по верхнему ли просто чутью,— от Григорьева я так и не добился,— но Григорьев мгновенно закрыл регулятор, дал контр-пар и целый ряд тревожных свистков. Ни свистков, ни стука щелкавшихся друг о друга вагонов, стука, похожего на залпы из пушек,— я не слыхал. Все, кроме зрения и сознания неизбежного конца, было парализовано во мне.

Еще большую находчивость и быстроту соображения обнаружил с виду неповоротливый Григорьев в другой раз.

Как известно, паровоз соединен с тендером как бы на шарнирах для того, чтобы дать возможность само-

стоятельно двигаться в известном пределе как паровозу, так и тендеру.

Это нужно на таких крутых кривых, как стрелки, где соединенные неподвижно паровоз и тендер не смогли бы проходить.

Соединение это прикрывает выпуклая чугунная крышка, неподвижно прикрепленная к тендеру и свободно двигающаяся по площадке паровоза. Когда паровоз идет по прямой, тогда между стойкой паровоза и этой крышкой расстояние так велико, что свободно помещается нога. При проходе же по стрелкам расстояние это уменьшается и доходит почти до нуля.

Я зазевался и заметил, что нога моя попала между крышкой и стойкой тогда, когда выдернуть ее оттуда уже больше не мог.

Все это произошло очень быстро, а дальнейшее происходило с еще большей, непередаваемой быстротой. Я тихо сказал:

— Мне захватило ногу.

Если бы Григорьев повернулся, чтобы сперва посмотреть, как именно, чем захватило, то время уже было бы упущено, и я остался бы без ступни. Но Григорьев в одно мгновение, не закрывая регулятора, дал контр-пар.

Сила для этого нужна неимоверная. Малосильного рычаг так бросил бы вперед, что или убил, или изувечил бы, и был бы достигнут как раз обратный результат — паровоз в том же направлении, но только с гораздо большей силой помчался бы вперед.

Я отделался разрезанным сапогом, ссадиной и болью, а главное, испугом.

— Будете в другой раз ворон ловить? — ворчал Григорьев, устремляя опять паровоз вперед,— только время с вами теряешь да паровоз портишь. Вот хорошо, что старый все равно паровоз, никуда не годится. А если б новый был, да стал бы я так рычаг перебрасывать: да пропадайте вы и с вашей ногой.

И так как мы в это время подходили к вагонам, он резко крикнул:

— Тормоз!

Я крутил изо всех сил тормоз и смотрел на Григорьева. В этой маленькой сгорбленной фигуре с красным

большим носом обнаружилась вдруг такая сила, такая красота, о которой подумать нельзя было. А потом, кончив составлять поезд, в ожидании другого, он опять сидел на своей перекладине маленький, сгорбленный, угрюмый, сосредоточенно снимая ногтем со своего красного носа лупившуюся кожу и угрюмо говоря:

— Лупится, проклятый, хоть ты что...

III

Так шло наше время. Весь мир, все интересы его исчезли, скрылись где-то за горизонтом, и, казалось, на свете только и были: Григорьев, я, да паровоз наш. От поры до времени я бегал за водкой Григорьеву, чтобы он поменьше ругался. И всегда он ругался, и в то же время я всегда чувствовал какую-то ласку его, постоянную, особенную по существу деликатность, которой он точно сам стыдился.

Ночью, например, когда я, устав до последней степени, держась за тормоз, спал стоя, он вдруг раздраженно крикнет:

— Ну, что носом тычете: все равно никакой пользы нет от вас — ступайте спать.

Вот блаженство! Я взбираюсь на тендер и, выискав там подальше от топки местечко, чтобы Григорьев как-нибудь и меня вместе с углем не проводил в топку, укладываюсь в мягкий нью-кестль, кладу под голову кирпич кардифа, одно мгновение ощущаю свежий аромат ночи, еще вижу над собой синее темное небо, далекие, яркие, как капли росы, звезды и уже сплю мертвым сном.

Никогда потом, на самых мягких сомье [1], я уже не спал так сладко, так крепко.

IV

— Сегодня мое рожденье,— сказал как-то в июне Григорьев, когда наступила обеденная пора,— в харчевню мы не пойдем, а будем свой пирог есть и другое что.

[1] волосяной тюфяк (от *франц. le* sommier).

А в это время, испуганно оглядываясь на нас, уже подходила с судком худенькая, лет пятнадцати девочка. Она была в светлом платочке, от чего маленькое загорелое лицо ее казалось еще темнее, рельефнее выделялись только ее большие, горящие как уголь глаза.

Наблюдая, как она подходила, Григорьев, сегодня благодушный, причесанный, ворчал:

— Вишь, вострука, а оробела здесь,— и, усмехнувшись, добавил: — Моя дочка... Мать только вот померла. Надо бы жениться, да вот не хочет... Да и я не хочу... Ну их...

Он повернулся к дочери и крикнул:

— Вот, если бы дома Маруся да такая тихоня — ох, хорошо бы было!..

Маруся уже подавала отцу судки, а затем и сама быстро взобралась на паровоз, одним взглядом осмотрев сразу все и меня в том числе.

— Ну, знакомьтесь, да будем обедать все трое, чем бог послал.

Я поклонился, назвал свою фамилию, пожал ее руку.

— Ишь, каким кобельком,— усмехнулся Григорьев.

Когда за едой я, обращаясь к ней, назвал ее по отчеству, Григорьев угрюмо заметил:

— Какая там еще «Марья Григорьевна», да еще «вы»,— вбиваете ей в голову, и так огонь девка, сладу нет,— «Маруська», «ты», да за вихры, чтоб понимала...

Маруська только носом потянула да бросила на меня вызывающий веселый взгляд.

Впечатление чего-то еще находящегося в работе, и закончены пока только эти чудные, живые, все говорящие глаза.

Эти глаза остались в памяти. Мы уехали на пристань делать там маневры. Пред нами было море, выпуклое, полное напряжения, все в блестках, и чувствовались в нем глаза Маруси.

Ночь пришла, шум моря волновал, и опять глаза Маруси, овладевшие вдруг моей душой.

В этот день я сделал подарок Григорьеву.

Как-то раньше, во время отдыха, сидя, по обыкновению, на перилах, Григорьев, поманив меня пальцем, спросил:

— Вы читали Лермонтова? Помните?

И он начал декламировать: «Отец, отец, оставь угрозы...» Декламировал он так быстро, так не звучно, что, если не знать, что именно он говорит,— понять ничего нельзя было бы.

Оборвавшись на какой-то строчке, он с горечью проговорил:

— Девчонка, баловница негодная, выдрала с полкнижки и вот не знаю, где бы достать, чтобы переписать выдранное.

Я купил тогда же сочинения Лермонтова, отдал их переплести в красивый переплет с вытисненным именем, отчеством и фамилией Григорьева и все не решался передать книгу Григорьеву.

День его рожденья был очень удобный случай.

После обеда я отпросился на минуту домой и принес Лермонтова.

Григорьев сидел, что-то напевая. Когда я подал ему книгу, он прочел название и, радостно встрепенувшись, сказал:

— Ну, вот так спасибо, такое спасибо,— ночи спать не буду, пока все, что вырвано, не перепишу.

— Списывать не надо, вот, прочтите, чья это книжка.

Григорьев, поняв, в чем дело, растрогался до слез. Вытирая их жестким рукавом, он говорил:

— Никто мне за всю мою жизнь такого баловства не делал... И как раз в такой день, точно знали вы...

И, успокоившись, бережно завернув книгу, он, усевшись опять на перила, заговорил:

— Эх, милый, милый, не сладка вся жизнь моя вышла. Я ведь так и вырос без отца и матери — кто они? Кто скажет? Вот так, сколько помню, и жил на улице и дни и ночи... Сколько раз замерзал совсем... А сколько били и как били... Был и сапожником, и лавочником, и шапочником, и кузнецом... Тут вышло вроде замирения у меня,— женился я... Был уж кочегаром... Вот так же все не дома да не дома. Женщина молодая, да и во мне-то какая сласть: снюхалась с одним тут... так, прощелыга. Приехал раз с поезда, никого, и дверь не заперта,— иди, кто хочешь, бери, что хочешь... И остался я сразу один опять: тут я и стал вот этой самой

бутылочкой ушибаться... А года через два вдруг объявилась: еле живая приволоклась вот с этой самой девочкой. Через месяц и богу душу отдала... Так убивалась перед смертью... да уж и я выл медведем: хоть и опаскуженная, хоть и не за мной убивается, а из сердца не вырвешь, да и чем дитю-то несчастное виновато, что должно оно без матери и отца остаться... Что мне врать? Была бы воля,— лег бы за нее в гроб и сейчас даже...

А через несколько дней Григорьев, счастливый, как ребенок, принес мне грязную с подшитой тетрадью книгу и сказал:

— Переписал-таки! Эта книга будет мне на будни, а вашу по праздникам стану читать.

V

Однажды, когда, окончив дежурство, мы подъехали, по обыкновению, к депо, глухой начальник сказал Григорьеву:

— Вы с вашим кочегаром назначаетесь в поезда: конец маневрам. Сегодня отдыхайте, а завтра сдавайте свой и получайте новый паровоз.

На другие сутки, в половине двенадцатого ночи, мы уже выходили со станции с нашим первым поездом.

Я волновался, Григорьев был торжественен.

Моросил дождик, и Григорьев спросил:

— Сухого песку не забыли насыпать в песочницу?

Я обмер, вспомнив только теперь о злополучном песке, но ответил:

— Насыпал!

Сейчас же за станцией начинался подъем, колеса паровоза забуксовали на мокрых рельсах, и Григорьев озабоченно крикнул мне из своего угла:

— Песок!

Я задергал ручку песочницы, и пустая песочница звонко затрещала.

— Игрушки, что ли,— крикнул Григорьев, как давно не кричал,— знаете сами, что нет песку. Сейчас съедем

назад и перебьем весь поезд,— ступайте перед паровозом и посыпайте рельсы балластным песком.

И вот я иду перед паровозом, беру с пути песок, сыплю его на рельсы, и чудовище-паровоз со всем своим длинным хвостом, злясь и пыхтя, готовое каждую секунду, споткнись только я, раздавить меня — и все-таки покорное, укрощенное, тихо тянется за моей рукой. Точно я сам, гигант Самсон, тащу весь этот поезд.

— Ну, будет, садитесь!

Паровоз прибавляет ходу, я вскакиваю, и мы едем.

Темная ночь охватывает нас со всех сторон, брызги дождя летят в лицо, ветер рвет шапку, раздувает блузу, мы оба, высунувшись, во все глаза смотрим вперед в непроглядную темь.

Смотрим, чтобы вовремя увидеть неисправность пути, лежащий на рельсах какой-нибудь предмет, переходящую через путь лошадь, человека.

И вдруг из-за крутого закругления перед мостом фонари паровоза освещают дикую, полную ужаса картину: табун спутанных лошадей, бешено скачущих по полотну.

И в одно мгновение все остальное: Григорьев открывает полный регулятор, и мы на полном ходу врезываемся в эту живую массу,— впечатление, точно поплыли вдруг мы, с моста летят лошади, треск, и уже опять мы несемся, охваченные снова только безмолвием и мраком ночи.

Григорьев крестится, я все еще держусь двумя руками за стойку, точно это помогло бы чему-нибудь, если бы и мы слетели туда вниз вместе с лошадьми.

— Счастье, что еще с разбега, да регулятор успел открыть... А вот, если бы шпалы лежали на пути,— тут что тише проскочишь, то меньше беды. А лошади там, коровы, люди — уж если нельзя остановить, что резче, то лучше... Беда, что было бы: десять сажен мост, а поезд воинский.

Приехав на станцию, мы заявили, и нас осмотрели. Колеса паровоза были в крови, в волосах от грив и хвостов, оторванная голова лошади так и осталась и страшно торчала из-за колес паровоза.

— Вот так крещенье,— повторял, осматривая, Григорьев.

Я ходил, смотрел и думал: мыть-то, мыть сколько придется,— все три часа отдыха в оборотном депо уйдут на это.

И обычным путем пошла наша линейная работа.

Приедешь на оборотное депо, и через сутки дежурство. То есть время отдыха стоять под парами, всегда готовые делать маневры.

Движение усиленное, и маневров много. Приедешь домой,— двенадцать часов отдыху — и назад. Когда движение усилилось, мы отдыхали шесть часов и не в очередь стояли на парах.

Однажды, когда мы пришли с поездом на оборотное депо, оказалось, что очередной паровоз испортился, и нас без передышки погнали дальше...

Мы прошли еще сто пятьдесят верст. Там нас заставили делать маневры и погнали назад в наше оборотное депо. А оттуда, без всякого отдыха, опять мы поехали с новым поездом домой.

Шли третьи сутки работы без остановки, и у меня было впечатление, что я давно уже вылез из своего тела,— я его совершенно не чувствовал, кроме глаз, глаза оставались телесными, но ничего больше не видели,— что-то их выпячивало изнутри, что-то тяжелое налезало сверху, такое тяжелое, что сил уже не было удерживать его.

Кончилось тем, что и Григорьев и я, стоя, заснули.

Так в сонном виде мы проскочили две станции. Нам кричали, бросали камнями, перебили все стекла в будке, но мы ничего не слыхали.

На третьей станции, наконец, смельчак составитель вскочил на полном ходу на паровоз и привел к жизни две застывшие, как статуи, фигуры.

Мы возвратились на станцию, где, признав нас невменяемыми, ссадили нас, отправив поезд с экстренно вызванными машинистом и кочегаром.

Чтобы проехать две станции, надо было и воду качать и подбрасывать от поры до времени уголь. Очевидно, значит, Григорьев иногда просыпался, подбрасывал уголь, качал воду.

Что до меня, то, держась двумя руками за стойку, я стоял и спал, как убитый.

Все дело кончилось тем, что Григорьева, снисходя к усталости его, оштрафовали на двадцать пять рублей, а меня на десять.

VI

Конец практики.

Я в вагоне, еду обратно в свой институт, опять одетый в форму, умытый, причесанный, но еще с черным цветом лица. Микроскопические крупинки угля забились в кожу, проникли в поры, и, как говорят опытные люди, мой обычный цвет лица возвратится ко мне не раньше полугода.

Аттестат, о котором я мечтал вначале, я не взял, но я вез с собой более ценное: я узнал, что такое труд, и я вез масштаб этого труда. Мерило на всю дальнейшую жизнь.

И когда в жизни находили иногда, что я могу напряженно работать, я думал: чего стоит всякая другая работа в сравнении с каторжной работой тех неведомых тружеников?

Чего стоит война с ее героями, усилиями в течение полугода, года в сравнении с этой постоянной войной, постоянной опасностью, напряженнейшей работой в мире?

Пятнадцать лет такой работы, и машина человеческого организма вся разбита: от постоянного стоянья и тряски ноги отказываются служить; слепнут глаза от постоянного контраста белого огня топки и темной ночи; ревматизм развивается от резкого перехода от жара котла к стуже снаружи. И никуда не годный работник выбрасывается без пенсии, без всяких средств, с отобранным в штраф последним жалованьем, выбрасывается на улицу, на церковную паперть.

И, завидуя, вспоминает такой выброшенный товарищей: убитых, изувеченных, с отрезанными руками, ногами. Их семьям или им самим после торга и всяких угроз дают тысячу, другую. Вспоминает и горько плачется на свою бесталанную долю.

Может быть, когда-нибудь терпеливый статистик подсчитает, какой процент убитых и раненых на железных

дорогах приходится на всех этих машинистов, кочегаров, составителей, сцепщиков, кондукторов.

О, наверно, ни одна война не даст такого процента!

Сколько при мне во время летней практики было этих случаев. Составителя, который вскочил к нам тогда на полном ходу,— впоследствии перерезало паровозом. При сцепке вагонов он упал между рельсами, а состав шел задним ходом. Пока катились вагоны с высокими осями, он свободно мог лежать, но когда надвинулся паровоз, с своей низко сидящей топкой, когда выяснилась ему перспектива быть раздавленным поддувалом, он сделал отчаянное усилие проскочить между последними перед топкой двумя колесами. Его разрезало пополам, и я видел этот труп с застывшими, широко раскрытыми от ужаса глазами.

Другому составителю, когда он проскакивал между буферами, захватило голову. Выскочив и кружась, он несколько раз быстро проговорил:

— Ничего, ничего, ничего...

И упал мертвый.

Кочегар как-то упал, и ему отрезало ногу.

Машинист и кочегар погибли, налетев на разобранный мост. Кочегара убило на месте, а машинисту, тому, что так весело врал в харчевне, обварило паром лицо и руки.

Когда он слезал с паровоза, держась за стойку, кожа с руки, как перчатка, осталась на стойке.

Пока везли его в больницу, пока помощь подали... После трех дней сплошного мученья он умер, оставив большую семью.

Другой машинист... Но что перечислять? Чуть не каждый день читаем мы об этом в газетах.

Наше прощанье с Григорьевым было очень трогательное. Провожать меня собрались все свободные кочегары и машинисты. Я угостил их, мы выпили, расцеловались, и я уехал.

— Когда будете большим человеком, не забывайте нас, маленьких людей.

— И бог вас не забудет!

— Не забывайте же, что хлеб не на белой земле растет!

— И будьте всегда и прежде всего человеком!

Так провожали меня и кричали мне, когда отходил поезд, и изо всех окон смотрели пассажиры с недоумевающими лицами: о чем кричит вся эта пьяная компания черных людей, место которых где угодно, но не на глазах чистой публики?

VII

Прошло несколько лет. Я был назначен строителем части строившейся линии. Было утро. По обыкновению, толпа народа находилась в конторе, и я, весь поглощенный работой, спешил удовлетворить нужды всех этих людей.

— Ну, здравствуйте,— раздался вдруг грубый голос надо мной, и черная мозолистая рука бесцеремонно протянулась ко мне.

Я уже успел со дней моей практики отвыкнуть и не жал больше таких рук.

Этот грубый перерыв моей работы, эта нахально протянутая рука покоробили меня, и я поднял раздраженные глаза.

Передо мной стоял сутуловатый, угрюмый, грязный господин с большим красным носом.

Спокойным, слегка пренебрежительным голосом, он спросил:

— Не узнали?

Узнал, конечно, Григорьев.

Такой же, хотя постарел и горечь в лице.

— Как поживаете?

— Да вот нос... все лупится.

— Как вы попали сюда? Как меня разыскали?

— Услыхал и приехал. Разыщешь, когда есть нечего: выгнали меня из кочегаров,— больше не надо,— ученые пошли...

— Найдем работу.

И я устроил Григорьева машинистом при водокачке.

Он поселился в чистом маленьком домике. С ним поселились его дочь, красавица Маруся, с черными, как бриллианты, глазами. Ее муж поселился, молодой красивый кузнец.

Проезжая, я иногда видел ее на пороге с ребенком на руках и вспоминал празднованье рожденья. Тогда я мечтал: может быть, в жизни я встречусь и женюсь на ней. Потом я смеялся, вспоминая свои юношеские мечты.

А теперь я жалел и завидовал счастливцу кузнецу.

VIII

Григорьев вот какую услугу оказал мне.

В один прекрасный день все кочегары и машинисты не вышли на работу, заявив, что против всех законов их заставляют работать вдвое.

Я телеграфировал своему начальству и получил распоряжение немедленно рассчитать всех.

Не берусь судить, чем бы это кончилось, если б не Григорьев.

Во главе всех Григорьев говорил мне:

— Мы не спорить пришли с вами, и нового вам говорить нам нечего: помните тогда на паровозе, когда спали мы оба? И здесь люди до одурения дошли,— лошадь и та отдыхает. Вам говорить мне не надо: мы ведь люди, и вы знаете это.

И Маруся стояла тут же с другими, с ребенком на руках, ее глаза смотрели в мои,— спокойные, полные доверия, полные сознания своей правоты, не допускающие и мысли, чтобы не сознавал этого и я.

А вызванные войска уже шли, и кто знает? Может быть, завтра...

— Господа, я не хозяин, что я могу сделать?

И опять говорит Григорьев:

— А вы поезжайте к своему начальству и расскажите им все, что вы знаете.

— Хорошо, я поеду.

И, обращаясь к толпе, Григорьев заговорил:

— Ну, я же говорил вам. Дело теперь в шляпе... Человек на своей шкуре испытал. А покамест ездит, станем на работу и будем ждать его приезда.

На том и порешили, и я уехал.

Я мало надеялся на успех, и большого труда стоило

снять вопрос с почвы потачки и перенести его на почву денежной выгоды: от переутомления происходит столько несчастий, столько материальных потерь, что выгоднее, увеличив штат, уменьшить работу дня.

Мне помог начальник тракции, подтвердив цифрами мою мысль.

И убедили начальство.

— Но как там в Петербурге, в Управлении на это посмотрят?

Начальник тракции угрюмо заметил:

— И там люди, и их же карманы оберегаем.

— Ну, что будет.

Я дал телеграмму своему помощнику и, счастливый, возвратился назад. О, какая толпа меня встретила! Какую речь сказали!

И мы жали руки друг другу, так жали, как со времени моего отъезда тогда с практики ни разу мне не жали.

А довольный Григорьев твердил, обращаясь то к тому, то к другому в толпе:

— Ну, так как же? Я ж говорил! Ведь это не то что... В два слова дело понять может: не большая мудрость...

БАБУШКА

I

Большое место. Больше остального города. И все огорожено высоким кирпичным забором. Забор окрашен красной краской и разделан белыми полосками под кирпич. Главный дом в два этажа, такой же кирпичный и с такой же разделкой, выдвинулся и угрюмо смотрит сверху на город, большую реку, широкой стальной лентой теряющуюся в мглистой дали синих лесов. Ворота тяжелые, с пудовыми скобами и с большими висячими замками. Калитка рядом. Она отворена, и виден мощеный двор, кругом двора строения,— тяжелые, прочные, все на замках. Дальше другой двор, где фабрика, ряд высоких труб, снует озабоченный народ, тянутся обозы кож — сырых, выделанных.

Сама бабушка осмотр делает. Заглядывает во все закоулки. Остановится, спросит, выслушает, сделает замечание и — дальше.

Сзади бабушки тяжело шагает желтый, как тесто, и такой же сырой внучек — Федя, двадцатидвухлетний парень. Глаза у него ласковые, задумчивые, шея короткая. Бабушка косится на него, на толпу приказчиков, идет и думает свою заветную думу.

Внук не в бабушку. Шестьдесят лет ей, а стройна, как девушка, лицом суха, глаза большие, черные, голова повязана черным платком. И теперь красота видна, а в молодости первой красавицей на две большие реки, Волгу и Каму, слыла.

Что красота! Так умна бабушка, как и мужик редко бывает, и твердо ведет большое, на пять губерний, кожевенное дело.

И ни одного худого слуха про бабушку не было и нет. Тверда в старинном благочестии, и без ее воли не то что попа — архиерея не посадят.

Уезжала бабушка и целый месяц была в отлучке: внуку невесту искала.

Приехала, в бане помылась, в часовне обедню отстояла, завод теперь осматривает, обедать сядет, после обеда поспит, а потом за внуком пошлет и объявит ему его судьбу.

Федя одет по-городскому, идет за бабушкой, добродушно посматривает на ее старомодный костюм и угадывает, что-то скажет она ему.

Со вчерашней гульбы с приказчиками голова его тяжелая, да и вообще неохота о чем-нибудь думать: пообедать да спать, а вечером, когда бабушка уляжется,— к ребятам... Эх, и весело же пожили без бабушки!

Подошли к дому, остановилась бабушка на крыльце, оглянула всех и сказала:

— Ну, хоть и не так-то в порядке, как надо бы, да бог с вами на этот раз: приходите все обедать — икорки, да рыбки, да соленьев из далекой стороны привезла.

Весело загудела толпа, угадывая истину.

Старший приказчик сказал:

— Дай бог, Анфиса Сидоровна, чтоб далекая да чужая сторона — близкой да родной стала.

Все весело смотрели на Федю; а он, как девушка покраснел и глаза потупил.

И бабушка смотрела на него.

— Воля божия...

Бабушка ушла, а по заводам молнией разнеслось: женят наследника. Свадьба, гулянье, женится — дети пойдут, обеспечится дело, а с ним кусок хлеба тысячам.

Проснувшись после обеда, бабушка позвала не внука, а няню покойного своего сына.

В низкой комнате, с большой изразцовой печкой и лежанкой, с божницей во весь угол, со столом, покрытым скатертью, поверх которой стояли теперь самовар, сушки, крендели,— пахло травами, лампадным маслом,

свечами из чистого топленого воска,— пахло стариной, миллионами, десятками миллионов.

— Ну, садись, слушай,— все тебе выложу, и суди меня: умно или глупо я сделала дело. Первым делом в Елабугу я поехала к сводному брату. Два дня погостила,— примечательного ничего, и дальше. Ну, словом, Каму изъездила, Вятку изъездила, Белую,— там-то и вовсе опустел народ,— тут в Перми приметила одну, хотела уж было к ней ехать, да все слышу то тут, то там — про Кунгур мне шепчут...

— Коренного благочестия сторона,— вздохнула нянька.

— Дочь лесовика. И лесам счету нет, и деньгам, и сама-то красавица писаная, и семья старого благочестия, хоть уж не очень так, не до дикости: дочка, как мой же, по-городскому одевается. Бежим мы по Каме пароходом,— я уж, значит, порешила было в Пермь ехать,— снится мне сон, что в лесу я. Ели высокие, до неба, мохнатые, иду я, оглядываюсь, без дороги...

— Страсти-то какие! — снова вздохнула нянька.

— А ты слушай, то ли будет еще... Вдруг прямо на меня медведь,— аграмадный, на задних лапах, прямо на меня. Хочу я крикнуть — нет голоса, а он навалился на меня да мордой тычет в лицо, тычет, а морда мохнатая да мягкая...

— Это к добру: это свой же домовой по тебе соскучился...

— А тут человечьим голосом, да как из ружья: Федю.

— Вещий сон...

— Ну вот: пришла я в себя, стала соображать и проехала прямо в Кунгур... Ну, вот что я тебе скажу: живут проще нашего, а капиталов там, имущества не меньше, и одна, как перст божий... Матрена... Девка — не хуже, как я была...

— Ну, быть этого не может...

— Сама увидишь.

— И увижу, не поверю: не было и не будет красавицы против тебя...

— Ну, пустое толкуешь... Высокая, статная, коса как канат якорный, шея длинная, кряжистая, лицом

красавица, брови дугой, глаза серые,— диво, а не девка. В баню с ней ходила, все высмотрела. Бедра — во! Тройню и то не крякнет, родит... Ну, спеси маленько будет, нрав есть, да ведь я не такая ли была? Вахлаку-то нашему только польза. Так уж во всем роду ведется: бабы верховодят. В одном только и верх их: и мать его, и я, и мужнина мать — ведь всё бабы какие? Шеи длинные, а перебить не можем их род: как ни уродится, опять шея короткая... глядишь: опять к тридцати пяти годам, когда только и жить бы, нальется и лопнет, как гнилой пузырь.

— Бог милостив,— вздохнула нянька,— новая-то, может, и перебьет... Вишь, медведь тебя мял, у себя в лесу — вроде того, что на свою линию перевернул дело...

— Дай бог, дай бог. Ну, что ж, как, по-твоему: хвалить или ругать меня надо?

— Ну, ругать... этакую умницу: какое дело сделала. И своего девать некуда, а тут столько же еще, да и пава сама при том... И намучилась же, поди! устали тебе нет... по заводам пошла, туда, сюда: как молоденькая ровно... Фу, фу, чтоб не сглазить только...

II

Внук, хоть и знал, что бабка ему скажет, тем не менее известие так на него подействовало, что не захотел он и к ребятам идти, а прямо от бабки прошел в свою светелку, сел там у окна и задумался.

И знал он, что все так и будет, и ждал, а как случилось, как будто и не ждал и не гадал. Все сразу переменилось, и он сам словно другой вдруг стал.

Солнце садиться хочет и точно остановилось вдруг, и все остановилось, как и в нем, и сидит он и, неподвижный, смотрит, как блестит в огнях река, как загорелись прозрачные тучки в небе, как тихо стало и задумалось все вместе с ним... Песню где-то запели... Где он слышал эту песню? Он сам играл ее... Давно. Когда готовился в гимназию и жил у учителя.

Только тогда, когда играл он ее, был вечер. Весна была, цвели черемуха, сирень. Окна были раскрыты.

Темно было в комнате, только месяц светил. Он играл, а племянница учителя Паша стояла перед ним и слушала. Играл эту песню, а потом свое заиграл и все смотрел ей в глаза, как в ноты, и играл.

Он умел играть, играл с детства: единственное его дарование.

Звуки лились, наполняли маленькую комнату, вырывались через открытые окна в сад, где стоял май; светлая пыль стояла над садом, и месяц сиял жгучий, такой жгучий, что будто таял вокруг него освещенный кусочек голубого неба.

Он перестал играть, и стало тихо, так тихо, что слышно было, как билось его сердце... В саду щелкал соловей, и, как пьяный, говорил он Паше:

— Хорошо ли играл я?

Паша тихо ответила:

— Хорошо.

Он взял ее руки, наклонил к ней лицо и еще тише спросил:

— А меня любишь ты? Хочешь быть моей женой?

— Хочу,— шепнула Паша.

На другой день Федя с рассветом укатил в свою деревню и написал оттуда два письма: бабушке и Паше.

Бабушке он писал:

«Дражайшая бабушка, Анфиса Сидоровна! Уведомляю вас прежде всего, что молитвами вашими, слава богу, нахожусь в добром здравии. Уехал же я в деревню и экзамена не держал, так как всю грудь мою разломило, и доктора стали даже опасаться чахотки и велели мне все науки бросить, если не желаю скорой смерти. Так, если за ученье надо в гроб ложиться, так лучше же хоть дураком, да жить на этом свете. А, впрочем, ежели вы непременно настаивать будете, то буду держать экзамены осенью. По хозяйству все благополучно. Сидорыч орудует здорово и мужикам в обиду себя не дает. Я тоже, как сумею, буду ему помогать. Нижайше кланяюсь вам и прошу вашего благословения и буду ждать здесь, в деревне, ваших дорогих писем. Вам известный внук ваш Федор Овчинников».

Второе письмо было к Паше. Там, между прочим, писал он: «Паша, я люблю тебя, и ничего мне другого

в жизни не надо. Я уже знаю, что и ты меня любишь. А любишь, так мы женимся и будем жить здесь в деревне. Ведь через два месяца исполнится мне 18 лет, и тогда я женюсь, и потом уж никакая бабушка ничего с нами поделать не может. Эти два месяца надо протянуть, только: храни бог, чтоб не узнала бабушка. Я для отвода написал уж ей письмо: вру там про чахотку и прочую канитель развожу насчет ученья. Какое уж тут ученье, Паша любимая моя, дорогая, когда теленок кричит сейчас — мать зовет, а земля зовет, чтоб пахать ее, а мое сердце зовет тебя, а в сад выйду, соловей спрашивет: «Где Паша?» С горя сяду играть и забуду все».

Написав письма, он задумался и слушал, как блеяли овцы, мычали коровы, звонко кричали бабы и ребятишки, шумела весенняя вода по оврагам, пахло вспаханной землей.

Он положил письма в конверты и отправил их.

И вот до сих пор никакого ответа от Паши. Как будто во сне все это случилось.

Пропал и учитель и Паша: как в воду канули. Ездил он к ним и в город: уехали... Уехали куда? Почему? Сначала болело сердце, и плакал он, а потом изжилось. Бабушка не настаивала больше на ученье, стала исподволь к делу приучать его; начал он с молодыми приказчиками гулять,— так и пошло все своим чередом, день за днем, до сегодняшнего дня, до этой минуты, когда сидит он и смотрит в окно, как там за деревьями сада загорается вечерними огнями небо, сверкает красная, точно пожаром охваченная река, и стоят на далекой горе одинокие, будто черные, деревья. Смотрит он, и щемит сердце сладко и больно.

III

Свадьбу сыграли веселую. Денег бабушка не пожалела, и зажили молодые.

Даже нянька признала, что другой такой красавицы не сыщешь.

Не только нянька, весь город кричал о красоте молодой.

Ее богатство, бриллианты, наряды еще сильнее подчеркивали эту красоту. И везде она была желанной гостьей, щедрой благотворительницей, замкнутая в себе, загадочная. Рядом с нею шагал добродушный, толстый, молодой увалень, ниже ее ростом — ее муж.

Как относилась она к нему? Он благоговел перед ней,— это все видели, а что она к нему чувствовала, того никто, даже сама бабушка не знала.

Бабушка, пытливо наблюдавшая свою невестку-внучку и дома и в обществе, качала головой и говорила своей наперснице:

— Умная, загадка-девка, недотрога. И думаю: Федюшке за ней горя не ведать.

Третий год проходил, а детей у молодых не было. Бабушка тоскливо думала: «Еще несколько лет, и лопнет Федюшка — тогда что ж? Конец всему? Все эти фабрики, заводы, все, что столетним трудом наживалось, копилось,— пойдет прахом... Чужим достанется? И само имя ее унесет время, как ветер уносит засохший лист». И эта мысль буравила бабушку и холодом могилы охватывала ее. Все средства, какие знала, испробовала она; с кем ни советовалась — ничего не помогало. Жаловалась она няньке:

— Эх, захватило меня всю это дело. И чую: либо я его сломлю, либо оно меня в гроб загонит. Какие, казалось, дела были, шутя распутывала, а с этим, что больше думаю, то больше запутываюсь!

— Вижу, вижу, что сохнешь ты,— тяжело вздыхала нянька.

Еще прошло некоторое время, и бабушка решилась.

Она позвала к себе невестку, усадила ее в кресло, заперла плотно дверь и заговорила:

— Слушай, девка, полюбила я тебя, как дочку. Всем ты взяла, всем ты угодила мне,— всего моего богатства наследница — ты. Но что ж ты внука мне не даешь? Внука хочу... Хочу внука! Откуда хочешь бери! Поезжай с мужем на богомолье, поезжай, куда хочешь... Внука, внука мне! Слушай: ты девка умная. Вот какое дело стряслось раз. Расскажу тебе то, что и попу на исповеди не рассказывала. Запутался мой покойный муж. И не велики деньги, да к сроку,— банков всяких

не было еще тогда,— выходило полное разорение. На восемьсот тысяч векселей, завтра платить, а платить нечем. А была я в свое время не хуже тебя, девка, и знала себе цену, и того старика знала, у которого те векселя. Вечер пришел, ничего не придумали, значит, позор. Вот перед этими самыми образами упала я на колени, помолилась, накинула платочек, да никому ни слова не сказав...

Бабушка наклонилась к молодой девушке и шепотом прохрипела:

— Все векселя и сейчас вон в том комоде... Вот как я спасла состояние роду... а теперь самый род надо спасать. Уж так, видно, на этом роду и написано, чтобы он бабами держался.

Бабушка кончила, а невестка, неподвижная, с опущенными глазами, как статуя, слушала и молчала. От ее молчания бабушке стало жутко и холодно.

— На богомолье поеду,— наконец, сказала она, встала и вышла.

Бабушка растерянно сметала крошки со стола, подходила к образам, оправляла лампадки, смотрела из окна на реку, на которую больше полувека смотрела, и мучительно рылась в своих мыслях. Лучше или хуже вышло, и что там в скрытной душе ее внучки таится?

IV

Большой волжский пароход готовился к отплытию вниз по реке. В рубке первого класса сидела бабушка, провожавшая своих молодых в дорогу. Забрались на пароход спозаранку. У молодых был попутчик: ехал в свое именье товарищ внука, Петр Маркелович Сапожков. Тоже из купцов, из богатых, на своих ногах уже,— весельчак и кутила, которому бабушка потому многое спускала, что рос он вместе с Федюшкой и в детстве, бывало, не выходил из ее дома.

С Сапожковым ехали еще двое, тоже попутчики: актер и актриса. Актриса ушла в каюту, а актер разговаривал с Сапожковым. Бабушка как увидала актера, так и впилась в него глазами: такого молодца еще и не видывала она.

Бритый актер, высокий, статный красавец, одетый с иголочки, с римским носом, красиво изогнутым ртом, говорил Сапожкову снисходительно мягким баритоном:

— Пойми же: совершенно невозможно...

— Нет, уж если ты приятель,— настаивал Сапожков, —то ты прямо говори, почему не можешь заехать ко мне в именье?

Актер с высоты своего роста снисходительно смотрел на красивого, но не вышедшего ростом Сапожкова и, усмехаясь, говорил:

— Чудак ты, и между приятелями не все говорится.

— Почему не все? — Сапожков заметил пытливый взгляд бабушки, обращенный на актера, скорчил лукавую физиономию и сказал вполголоса актеру: — Видишь эту старушку: эта молодая за ее внуком... Теперь два капитала их соединились,— всего миллионов шестьдесят.

Актер потерял на мгновение свое величие и даже пригнулся к Сапожкову.

— Не может быть?! Что ж они делают с деньгами?

— Ты думаешь,— глаза им протирают?

— Ты за правило, любезный, раз навсегда возьми себе: думать только за себя. Я спрашиваю тебя: что они с деньгами делают?

— Что делают? Они сами по себе, а деньги сами по себе. Деньги работают. Фабрики, заводы, именья, лесное дело: оборот большой, денег много надо.

— М-да, это значит, не наличными?

— И наличными несколько миллионов найдется.

Актер вздохнул и равнодушно ответил:

— И это недурно.

— Ты бы их живо пристроил?

— М-да... в сторожа к своим деньгам во всяком случае не нанялся бы...

— Ха-ха-ха... Актер, так актер и есть: сразу такое слово скажет, что как бритвой... Чик — и нет бороды, чик еще — и усов нет, третий чик — и миллионы туда же.

И Сапожков заливался веселым смехом.

Актер смотрел на него снисходительно, смеялся мелким «хе-хе-хе» и говорил:

— Веселый ты человек,— ей-богу...

— Нет, нет, ты смотри, как бабушка тебя меряет: я к ней побежал.

Он с эффектом опустился в кресло около бабушки, ушел совсем в кресло и даже ногу за ногу заложил.

Федя с женой сидели поодаль. Федя робко, с слегка открытым ртом, почтительно следил за товарищем и старался угадать, о чем он говорит с бабушкой.

— Что за человек будет? — спрашивала бабушка Сапожкова, указывая на актера.

— Столичных театров артист, Анфиса Сидоровна, и талант! Цветами его засыпали. Сколько подарков...

— Ну, это там его дело. Он, что ж, по облику ровно не русский: темный с лица?

— А не знаю я... Да можно самого его спросить... Эй, Александр Николаевич, пожалуйста,— а на движение бабушки Сапожков успокоительно ответил кивком головы и шепотом прибавил: — мы с ним дружки, на «ты».

В это время подошел Александр Николаевич Сильвин.

— Вот, позволь тебе представить... это — бабушка моего товарища; Анфиса Сидоровна интересуется, откуда ты родом.

— Вам угодно знать мою родословную?

В это время вышла миловидная актриса Марья Павловна Львова, и Сапожков, бросив скороговоркой Сильвину: «садись на мое место», побежал к ней.

Сильвин, сев в кресло, как актеры сидят на сцене, когда изображают воспитанных из общества людей, говорил бабушке:

— Э-э... изволите ли видеть, моя фамилия, сударыня, собственно: Сильва... Э-э,— он выдвинул нижнюю губу,— я происхожу из венецианской семьи маркизов Сильва... Вы изволили быть в Венеции?

Бабушка сдвинула брови:

— Это где же?

— Это далеко отсюда, не в русской земле... Может быть, изволили слышать: венецианские кружева?

— Одним ухом слыхала.

— Ну, вот... кроме кружев, там есть дворец Дожей, в нем портреты всех дожей... Вот один из моих предков и висит там...

— Его за что же это?

— Э-э... он вел очень удачную войну... с маврами...

— В этом городе какой же народ живет?

— Итальянцы.

— Вы из них и будете?

— Собственно, мать моя из старинного русского рода... Э-э... И ростом с меня... сейчас жива, бабушка еще жива... я, конечно, уже русский. Крестил меня русский поп. Ну, сам я хоть в церковь и не хожу, но все-таки православный.

— Что ж? В той стороне все такой же, как вы, народ?

— То есть как?

— Такой же крупный?

— Э-э, как вам сказать... Тут, знаете, много значит разная порода. Такие дети всегда будут и здоровее и крепче.

Бабушка вспомнила о своих коровах, выписанных из Англии, об отличном приплоде от них, который продавала по сто рублей за трехмсячного теленка, и сказала:

— Это ты верно говоришь... А далеко изволишь ехать?

— В Ростов. Но хочу по Волге прокатиться.

— Вот и мои тоже вниз бегут.

— А... По делу?

— На Илек — к старцам... по детскому делу... не дает бог детей.

— Гм... Странно: молодые, красивые люди...

— Вот, поди ты... Не дает господь... Не помогут ли старцы.

Александр Николаевич покосился на бабушку, хотел было сказать какую-то пошлость, но только вздохнул и заметил:

— Жалею, что я не старец.

— А что?

— Тоже молился бы, чтоб такой красавице бог детей дал... Вот зовет меня Петр Маркелович к себе в имение. Имение у него хорошее?

— Плохо ли имение: в одном парке заблудиться можно, оранжереи, персики, ананасы свои.

— Хорошо бы и вашим молодым заехать перед богомольем повеселиться.

— Их дело,— сухо ответила бабушка,— если позовет Петр Маркелыч, да надумаются они...

Петр Маркелович ушел на корму с Марьей Павловной, где их и нашел Сильвин.

— Вы уж извините, Марья Павловна, если мы вас оставим на минутку,— проговорил Сильвин, отводя Сапожкова в сторону.

— Я уж все заказал и шампанское велел заморозить,— начал было Сапожков.

— Не в этом дело,— перебил его Сильвин,— я бабушке сказал, что еду к тебе; тут молодые подошли, и, по-моему, как-то неловко выйдет, если ты и их не пригласишь.

— Ах, я телятина! Бегу...

— Постой. Видишь: ты тогда спрашивал меня, почему я не могу заехать... Я не хотел было говорить... Дело в том, что у меня в Саратове назначено свидание с одним господином, который должен мне передать две тысячи... Э...э... ты понимаешь: человек он ненадежный,— сегодня есть у него деньги, а завтра не будет. Не приеду я в назначенный срок,— рискую остаться без денег.

— Так тебе дать их, что ли?

— В таком случае дай.

— Ты бы и сказал: дам, конечно. На какой срок?

— Ну, полгода.

— Идет... Побежал я звать молодых.

Сильвин же подсел к Марье Павловне, положил свою широкую руку на ее и сказал:

— Моя дорогая, вы мне можете очень и очень помочь... Э-э... дело в том, что этот Сапожков соглашается ссудить меня двумя тысячами... Эта сумма дала бы нам возможность после Ростова побывать за границей. Как вам улыбается эта перспектива?

— Очень.

— И прекрасно. Но для этого оказывается необходимым заехать к нему в деревню, так как он, как настоящий сын своего народа, деньги, очевидно, в кубышке держит или в каком-нибудь старом голенище. Что

делать! Потеряем сутки... Имение, говорят, у него к тому же прекрасное.

Сильвин ласково сжал руку Марии Павловны и, глядя куда-то вдаль, бросил:

— Будьте с ним поласковее.

Но Марья Павловна так энергично спросила: что это значит? — что Сильвин поспешил прибавить обиженно:

— О, господи, да решительно ничего не значит... Ну, внимание, разрешение поцеловать руку, ну, э-э... создать иллюзию человеку...

И уже совсем тихо и брезгливо прибавил:

— Не будем же хоть мы изображать из себя мещанский тип мужа и жены: кому надо знать о наших отношениях? Вы знаете, какого я мнения об этом: всякая огласка только пошлит, это должно быть так же сокровенно, как человеческая мысль. А такой флирт только отвлечет...

— Ну, согласна...

Он поцеловал ей руку и встал, потому что сверху несся уже третий свисток.

Бабушка, грустная, уже сходила на конторку.

— Не хотят мои ехать,— пожаловалась она Сильвину.

— Может быть, еще уговорим. Во всяком случае прощайте, милая бабушка, я буду очень рад и счастлив когда-нибудь еще раз встретиться с вами... Я простой человек и откровенно вам скажу, что в первый раз вижу такой тип... э-э... такой тип человека старых устоев... Ну, дай же бог вам всего хорошего: чтобы ваши заводы работали без перерыва и вдвое; коровы давали молока... ну, бочками там, что ли; чтобы радовали вас ваши внуки, правнуки, праправнуки...

— Ну, этак ты меня заговоришь, и я останусь на пароходе. Хорошим людям и мы рады, хоть ты там и вышел не из русской земли...

— Везде бог, и везде люди,— говорил своим ровным баритоном Сильвин вдогонку бабушке.

Бабушка стояла уже на конторке, и напряженная неотступная мысль буравила ее голову. Она глубоко вздыхала.

— О чем еще может вздыхать эта женщина? — говорил Сильвин, обращаясь в это время к Сапожкову.— Все судьба дала ей. Воображаю ее в молодости.

— Вот такая же была, как теперь внучка.

— О, внучка — это прямо чудо природы. Какое сочетание величия, женственности, красоты. И кто б мог думать, что из этих диких лесов может выйти такая фея. Я смотрю на нее и чувствую запах, аромат, свежесть этого леса (он возвысил голос)...— в майское яркое утро, когда еще роса сверкает на листьях, и нега кругом, и лучи золотой пылью осыпают там дальше непроходимую чащу, полную чар, манящих, неведомых, полных таинственной загадочности. О, с ума можно сойти!

Он повернулся к Матрене Карповне и сказал восторженно:

— Я удивительно люблю ваши леса, я обожаю их! Я готов дни, ночи напролет ходить там, думать, бог весть о чем мечтать. Удивительно! Вам не совсем хорошо видно: с тех мостков вы лучше увидите.

Матрена Карповна поднялась с Сильвиным по мосткам. Там, на верхней палубе стояли они одни, высоко над всеми, над всей рекой, спокойной и плавной, над маленькой конторкой, уже исчезавшей за поворотом, где была еще бабушка и крестила их двуперстным крестом.

V

Обедали, шампанское пили, тосты провозглашали. Александр Николаевич был в ударе: декламировал, рассказывал в лицах и, по обыкновению, овладел общим вниманием.

Разошлись до того, что после обеда Сильвин и Сапожков стали прыгать через стулья. Сперва прыгали через один, а потом поставили стул на стул. Сильвин перепрыгнул, а Сапожков вместе со стульями полетел на пол.

Пока обиженный Сапожков, растирая себе ногу, стоял у окна, Марья Павловна упрекала Сильвина.

— Но откуда же я знал? — говорил он с своей обычной интонацией.— Он же говорил, что брал уроки гимнастики.

Это обстоятельство на время расстроило компанию. Сапожков ушел к себе в каюту, ушла и Марья Павловна, а Федя сел за рояль. Стоило ему только дотронуться до клавишей, как полились звуки, и Федя, по обыкновению, забыл все на свете.

— Какой, однако, он у вас артист,— заметил Сильвин, присаживаясь возле Матрены Карповны.

Вышла Марья Павловна. Сапожков появился, и все вместе с Матрсной Карповной и Сильвиным ушли на палубу.

Ровно, усыпляя, шумел пароход и мчал вниз по течению. Проносились берега, покрытые лесом; гористые, далекие поля, как шахматные доски с черными, зелеными, белыми и желтыми шашечницами. В высокой синеве парил орел, а из открытых окон рубки неслись нежные звуки мелодичной фантазии молодого артиста.

Он играл и машинально смотрел в окна, как вдруг глаза его остановились и дыхание захватило в груди.

Он увидел Пашу.

Паша, живая, стояла перед ним и смотрела, как смотрела тогда, в тот вечер.

Руки задрожали у Феди, он сбился было, но, пригнувшись к роялю, опять заиграл, не отрывая больше своих глаз от клавишей.

А мысли, воспоминания бурно, с необычной быстротой проносились в его голове.

Паша... Откуда она взялась? И как смотрела! Как бы с ней хоть словом, другим перекинуться, узнать по крайней мере, что так и осталось для него навсегда загадкой?

Пароход между тем уже подходил к пристани, где надо было сходить Сапожкову, и они вдвоем с Сильвиным усердно уговаривали Матрену Карповну согласиться и поехать в именье.

— Ну, вот что,— настаивал Сапожков,— хоть на минуту заезжайте: пароход два часа стоит, а усадьба от города и версты не будет, да до города не больше трех. Вот и лошади,— на этой тройке тридцать верст в час уедешь. Ну, ради бога, ну, я на колени встану: Матрена Карповна, голубушка. Царица милостивая!

Сапожков действительно упал на оба колена и обе руки поднял к небу.

— Я тоже готов умолять.— И Сильвин картинно уже опускался на одно колено, когда Матрена Карповна милостиво изъявила свое согласие. Сапожков со всех ног бросился к Феде.

Сапожков возвратился скоро и принес удививший всех ответ: «Поезжайте сами, играть хочу».

— Что ж, господа,— сказал Сильвин, оглядывая всех,— не будем безжалостны; надо войти в положение артиста: эти муки и радости,— то, чем живем мы,— он так чудно передает звуками, что ему грех мешать.

VI

Федя остался один на пароходе и, играя, опять смотрел в окно. Но Паша больше не подходила.

Он перестал играть и встал.

Солнце село. День кончился, но свет электрических лампочек еще борется с последними отблесками вечерней зари. В противоположном зеркале отражается берег реки, охваченный бледным замирающим просветом запада, но из окна на юг уже глядит синего бархата темный вечер, теплый, мягкий.

Федя вышел на палубу.

Он шел и внимательно всматривался в сидящих на скамейках. Он издали узнал Пашу и долго стоял, не решаясь подойти.

— Здравствуйте,— чуть слышно раздалось над ухом Паши.

Она повернулась к нему, он подсел, и так же, как шесть лет тому назад, они опять сидели вместе и, казалось, никогда не разлучались.

Федя узнал то, что было для него до сих пор загадкой. Он перепутал тогда письма: бабушкино получила Паша, а Пашино — бабушка. На другой же день тогда к ним приехала сама бабушка, долго говорила с дядей, и через два дня, когда они уехали из города, дядя сказал Паше, что Федя отказался от нее.

Федя слушал, наклонив голову, и, когда Паша кончила, он не знал, о чем говорить... Все сделано, он женат уже,— и такой далекой казалась Паша в своей скромной

шляпке, темном платье. К тому же каждую минуту могла приехать жена...

— Эта высокая красавица — ваша жена? Дай бог вам счастья.

Но что это? Пароход уже отходит. Он бросился в рубку, в каюту — жены нет. Он выбежал опять на палубу: знакомые голоса кричали ему с конторки.

Это они: жена, Сапожков, актеры. Они кричали ему, что опоздали; кричали, чтобы со следующей пристани он ехал назад и тогда к четырем часам ночи приедет, что лошади будут ждать его у пристани, что захватил бы вещи актеров; еще что-то кричали, но он не слышал, потому что колеса уже хлопали по воде, и махина-пароход с сотнями разноцветных глаз в мягкой синеве ночи уже уползал на средину реки.

VII

Компания на берегу опять села в экипажи и уехала назад в усадьбу. Там ждали их с ужином, с иллюминацией; горели в саду и в парке фонари, жгли костры, и громадная усадьба, казалось, поднялась на воздух и качалась там, в волнах света и дыма.

— Но это очаровательно, это волшебно,— говорил Сильвин, стоя в красивой позе на террасе.— Господи, как живут здесь люди! Боже, как живут! Даже страшно подумать.— И он сделал страшные глаза и картинно поднял руки.

Тут же на террасе и ужинали.

За ужином снова пили шампанское и говорили тосты.

Говорил все тот же Сильвин.

— Я уже сказал двадцать тостов и, право, не знаю, милостивые государыни и милостивые государи, что еще сказать, чего еще можно пожелать счастливому обладателю этого волшебного замка... Я желаю разве, господа, чтобы настало, наконец, время, чтобы в таких же замках жила бы вся Русь.

— Ура, ура! — кричал захмелевший Сапожков.— Уважил... Спасибо тебе! Спасибо: русского человека не забыл! Господа, еще раз за здоровье высокоталантливого артиста!

Он обнимал за шею Сильвина, и тот, снисходительно мыча, наклонялся к нему и лобызался.

— А теперь, Александр Николаевич, благодетель, еще что-нибудь расскажи,— приставал к нему Сапожков.

— Кажется, все уже...

— Ну, все! Сто лет будешь говорить — всего не перескажешь...

— Гм... Ты думаешь?..

Сильвин задумался...

— Ну, уважь, пожалуйста!

— Изволь... Но я вперед прошу извинения у дам. Может быть, они извинят меня, приняв во внимание количество выпитого; может быть, если будут терпеливы и дослушают до конца, убедятся в чистоте моих намерений. Во всяком случае, я рассчитываю на снисхождение... Я рассчитываю на то, наконец, что завтра мы расстанемся и, может быть, навсегда. При таких условиях люди иногда охотнее открывают друг другу свои души. Душа — та же книга... Раскрыть ее, перелистать несколько страниц... Если собранию не наскучило, я предлагаю рассказать одну из таких страниц моей жизни, без лжи, а так, как это действительно случилось. Это ведь только и интересно, а не фантазия писателя: самая яркая из них ничего не стоит перед оригиналом всякой фантазии — жизнью... Я ехал однажды на пароходе. Я не старик, господа, нет: я клеветал бы на себя, если бы утверждал противное, но тогда я был еще моложе... Под вечер на одной из пристаней села дама — молодая, интересная. Это ведь сразу чувствуется. В эту даму я влюбился мгновенно, после первого взгляда. Влюбился безумно, и вот почему я всегда смеюсь, когда читаю, что влюбиться можно, во-первых, не иначе, как исписав несколько печатных листов, и, во-вторых, только после выяснения всех вопросов по части этики, политики и социологии. Человечество, конечно, всегда создавало и будет создавать барьеры для любви, а любовь всегда брала и будет брать эти барьеры, и я тоже влюбился, не справляясь, как это там понравится маменьке, приятелю, науке или религии. Мне помог познакомиться с ней случай. А может

быть, и что-нибудь другое: я фаталист — верю в предопределение... Ветром сдуло ее шляпу в реку, и я, не долго думая, если не вру, кинулся за этой шляпой, да, да... Это было ужасно, я выкупался, но шляпу поймал, хотя едва-едва не утонул. После этого ей нельзя было не познакомиться со мной: я переоделся, и мы провели один из тех вечеров, который, как и переживаемый нами, не забывается; чудный вечер... И вот чем еще был замечателен тот вечер: он подтвердил то, что тогда было для меня только предположением, а теперь фактом. Дело в том, что общение людей идет двояким путем: путем наших слов, жестов,— внешним путем, и другим, внутренним, в котором мы не вольны. И вот, до чего эти внутри нас сидящие договорятся, это мы узнаем по нашим непроизвольным действиям. Так, когда мы разошлись в тот вечер, я ушел к себе и долго сидел, смотря в окно. А потом какая-то сила вдруг подняла меня, и я пошел: я знал, что дверь ее каюты не будет заперта... Я прошу извинения: я слишком долго говорил и неудачно — это я сам чувствую,— но цель всего этого рассказа та, чтобы предложить, милостивые государыни и государи, еще один — тост,— тост, которым я всегда кончаю те пиршества, где участвую. Господа, я предлагаю тост за женщину!

— Ура! Ура! — кричал Сапожков.

— А затем, повторяя слова Пруткова: если у тебя фонтан, то заткни и его, потому что и ему надо отдохнуть,—я умолкаю и не скажу больше ни слова,— объявил Сильвин.

— Да, пора спать,— сказала Мария Павловна.

— Ну, так рано,— запротестовал было Сапожков, но Сильвин перебил его:

— Дамы, действительно, устали. А мы с тобой проводим дам до их апартаментов и воротимся назад.

Так и сделали.

Сапожков настоял, чтобы Сильвин на прощание продекламировал еще что-нибудь. После долгих отказов Сильвин задумчиво стал тереть лоб рукой.

— Чудную вещь я собираюсь поставить в свой бенефис... Не помню только...

— Что помнишь!

— «Но, Беатриче, что ж я дам тебе?..» Нет, забыл...
— Ну, ради бога!

... Случится, может быть, что у тебя родится сын.
Так знай же: коль это счастье улыбнется нам,
Ему я все заветное отдам.
О, да! О, боже мой, чем глубже погружусь
Я взором в тайну прелести твоей...

— Нет, не могу.

Сильвин быстро поцеловал руку Матрены Карповны, так быстро, что она не успела отдернуть свою и только вспыхнула вся, и так же быстро ушел на террасу.

За ним пришел и Сапожков.

Разговор не клеился.

— Деньги мне сегодня дашь? — спросил Сильвин.

— Нет, уж завтра: у приказчика надо взять, а он, пожалуй, спит уже.

— Вексельный бланк у тебя найдется?

— Найдется.

— Ну, прощай, отведи меня в мою комнату.

Сапожков проводил и на прощанье еще раз расцеловался с Сильвиным.

— И засну же я сладко,—говорил Сильвин, потягиваясь и провожая глазами идущего по коридору хозяина.

— Ох, и я! — весело ответил Сапожков и, поворачивая за угол, послал рукой поцелуй Сильвину: — прощай!

Проснувшись на другой день, Сильвин долго лежал с закрытыми глазами.

Затем он стал ждать, не придет ли кто-нибудь, не принесут ли ему кофе, которое он привык пить, лежа в кровати, и в это время думать о чем придется. Но никто не являлся, и приходилось вставать без кофе.

От вчерашнего шампанского немного болела голова.

Умывальник был очень плохой, с тоненькой трубочкой, из которой едва выбивалась слабая струйка воды.

Вода пахла, и ее оказалось очень мало. Мыло тоже не пришлось по вкусу Сильвину: яичное. И платье не было вычищено. Заменяя щетку рукой и ворча, Сильвин кое-как оделся, вышел в коридор и, подойдя к комнате Марии Павловны, постучался.

— Вы?

— Я.

Замок щелкнул, и Сильвин вошел.

— Вообразите, сегодня ночью кто-то подходил к моей двери, трогал ручку...

— Н... да...— неопределенно промычал Сильвин и, уныло оглядываясь, прибавил:— ну, я боюсь, что кофе нам сегодня не придется пить... во всяком случае надо повидать хозяина.

Сильвин вышел в коридор и оттуда прошел в комнату хозяина.

Сапожков лежал в кровати, пил содовую воду и думал о чем-то.

Гость и хозяин поздоровались сухо.

— Я хотел бы с Марией Павловной уехать по железной дороге: поезд, кажется, через два часа уходит?

— Кажется. Что ж, лошадей?

— Пожалуйста, кстати то, что ты вчера обещал?

Сапожков не сразу ответил. Он посмотрел в потолок, посмотрел в окно, нехотя зевнул и сказал:

— Да, вот получил телеграмму: дело, на которое рассчитывал, не вышло. А пока не вышло, и я дать не могу, потому что могут понадобиться и самому деньги.

Сильвин встал и, угрюмо сдвинув брови, сказал:

— Но мне вчера было дано определенное обещание: я же объяснял, в чем дело.

— Что ж дело? Росли бы у меня в саду деньги, как цветы,— пошел бы да нарвал. Дело коммерческое,— не вышло, о чем говорить?

Сильвин помолчал.

— Так нельзя ли, по крайней мере, распорядиться насчет лошадей?

Сильвин пошел к двери.

— Сегодня не вышло, завтра, может, выйдет, до завтра подожди.

— Я сегодня еду и сейчас же,— ледяным голосом, не останавливаясь, ответил Сильвин.

Он заглянул к Марье Павловне:

— Поторопитесь одеваться: мы сейчас едем на вокзал.

— А вещи?

— Вещи приехали.

Когда Сильвин с Марией Павловной вышли на подъезд, они увидели плетушку, запряженную парой кляч.

— Это что?

— Экипаж для вас.

— Э-э... не нужно... Вот что, любезный, вот тебе рубль, сбегай на село, найми там лошадей, пусть положат эти вещи и догонят нас: мы пешком пойдем к вокзалу. Дорога та, по которой приехали?

— Та...

Они под руку пошли пешком.

Они шли парком. Было утро,— ароматное, свежее. Солнце играло уже на дороге, пробиваясь сквозь листву деревьев, и дальше туда, где на лужайках, покрытых сочной зеленой травой, еще была тень и прохлада.

Марья Павловна прижималась к своему спутнику и восторженно говорила:

— Какое чудное утро, как хорошо здесь: рай!

— Да, и этот рай принадлежит какому-нибудь обгрызку мысли и чувства, а мы с тобой, которым рукоплещет и поклоняется толпа — мы, как Адам и Ева, уходим изгнанниками.

— Маленькая разница на этот раз: Ева, изгоняемая до вкушения запрещенного плода, но результат, впрочем, тот же: изгнали.

— Сами изгоняем себя...

Наемная пара нагнала их у самого города.

Когда Сильвин и Марья Павловна сели, ямщик с веселым лицом, вздернутым носом обратился к ним:

— У Сапожкова в гостях, видно, были?

— Н-да...

— Уж такой негодяй,— сплюнул ямщик, подбирая вожжи,— такой сквалыга, не накажи господь. На вокзал, что ль?

— На вокзал.

— Но!.. Деньги в срок за землю ему не принесешь, сейчас к земскому,— неустойку, да судебные издержки... Скотина ступит на его землю,— опять три рубля штрафу... Такой негодяй...

Он помолчал.

— А уж насчет девок... где только застукает...

— Ну, дальше можешь не распространяться. Погоняй: хорошо получишь.

VIII

Три месяца ездили молодые.

И хоть, возвратившись, Матрена Карповна скрывала свою беременность, но всевидящая бабушка сразу сообразила, в чем дело.

Она и радовалась, и в то же время новые мучительные мысли не давали ей покоя: «Мальчик, девочка, с короткой шеей или длинной?»

Невестка была, как могила.

При всей своей неустрашимости, и бабушка не решалась заговорить с ней.

«Узнаю все,— утешала она себя,— когда придет время...»

И, действительно, когда пришло это время, все узнала бабушка.

Она смотрела с безумной радостью на эту, вдруг таинственно выглянувшую из бесформенной массы среди стонов и воплей головку, и руки ее дрожали, когда она творила крестное знамение.

Она бросилась в соседнюю комнату, где томился внук, и, притащив его за руку, исступленно говорила ему:

— В брата моего, весь в брата: такой же темный, с длинной шеей, и глаза его... и мальчик, мальчик... Ох, умница моя!.. Благодари, благодари! Земным поклоном! Так!.. Ноги ее мыть, воду ту пить должен!

IX

Бабушка еще двенадцать лет жила после этого.

Как-то, незадолго до смерти, она призвала к себе няньку и призвала утром, что не было у нее в обычае.

— Сон мне приснился,— сказала бабушка.— Третий такой сон вижу в жизни. Первый перед смертью мужа, второй, как ездила тогда за Матреной, а третий нынче ночью. Сижу я вот здесь, на этом месте, и жду чего-то: вот сейчас растворится дверь, и узнаю я все. И тихо, так тихо сами двери растворяются, и тьма за ними непроглядная, и, гляжу я, из тьмы выходит мой

муж покойный, и знаю я, что умер он, и знаю уже, зачем он пришел. И говорю ему: «За мной, что ли?» А он этак головой мне кивает. А черный кот на окне сидит... помнишь, который еще при покойнике извелся... поднял шерсть, окрысился на меня, а глаза, как угли, и растет он, растет... И проснулась я... Ну... вещий сон?

Няня молчала, смотрела в пол, и мутные слезы текли по ее лицу. Бабушка вздохнула:

— То-то же... Ну, и будет плакать: негоже это... Пожила, потрудилась, как умела, пора и в дорогу...

Стала бабушка готовиться. Хотела было церковь строить, да побоялась, что не поспеет: отказала в духовной на церковь, а для единоверческой церкви заказала колокол, какой только может поднять колокольня.

— Чтобы его медный язык напоминал обо мне, недостойной, перед престолом всевышнего.

Последнее желание бабушки было своими ушами услышать первый звон колокола.

Она уже лежала, когда провезли его по улицам.

— Ох, доживу ли? Позволит ли господь дожить, примет ли мою грешную жертву? — металась бабушка и на это время забыла обо всем земном.

Всю ночь уставляли снасти, натягивали канаты, к утру все было готово, и после ранней обедни начали поднимать колокол.

Радостное весеннее утро сверкало над землей.

И площадь, и улица, все вплоть до окна, где лежала бабушка, набилось народом с одной мыслью у каждого: успеют ли навесить колокол, примет ли господь бабушкину жертву?

Из уст в уста сообщали бабушке все, что делалось около церкви. Уж дело подходило к полудню. Надвигалась гроза. В последний раз из-под темной тучи выглянуло солнце, как грозное око творца, а под ним еще сверкала безмятежная даль золотистых небесных полей. В это мгновение раздался первый протяжный удар колокола. Вздох облегчения пронесся в многотысячной, обнажившей головы толпе, и стало тихо, так тихо, как бывает только во сне, и все взгляды устремились в окно, где вдруг показалось мертвенно-бледное лицо вставшей бабушки, с громадными черными глазами,

с протянутыми руками туда, где сверкало еще из-под туч последними яркими лучами солнце, и губы ее вдохновенно шептали просившим ее лечь:

— Он сам, он, творец наш здесь,— могу ли я лежать...

Безмолвно, страшно и радостно все смотрела она. Черные тучи уже охватили небо, закрыли солнце, сразу стало темно, а колокол гудел, и лились его медные звуки, торопясь и догоняя друг друга. Навстречу им уже неслись сверху раскатистые мощные удары грома: точно с высот с грохотом само небо валилось на землю...

Гром гремел, и молния бороздила небо, словно разрывая на части над самой землей опустившиеся тучи.

Полил дождь, как из ведра, сплошной, серой массой укрывший все, и сразу потекла река грязной воды по опустевшей улице; все выше поднималась она и кипела, покрытая пузырями.

А бабушка лежала удовлетворенная и смотрела на всех окружающих.

— Еще раз хочу исповедаться.

Перед исповедью бабушка подзывала всех, просила прощения, прощалась по очереди и каждому говорила: «Мою волю узнаешь».

Сейчас же после причастия бабушка прошептала:

— Тоска подступает... уходите все...

И когда выходили, она провожала всех долгим взглядом. Невестку она удержала последнюю, погладила ее по голове и тихо проговорила:

— Умница моя,— тебе передаю дом... Как уберут меня, зайди в мою горницу и там в комоде, в ларце, убери, что не надо.

К вечеру бабушка уже лежала на столе со сложенными руками, строгая, навсегда чужая всему живому, укрытая той самой парчой, которую выбрала для себя.

Наверху, в ее комнате, исполняя волю покойной, сидела у комода ее невестка.

В особом ларце лежали векселя, о которых говорила ей бабушка. Чернила пожелтели и уже с трудом можно было разобрать неуклюжую подпись: «Иван Овчинников».

А под этими старыми векселями лежал свежий, сравнительно, переводной купон на двадцать пять

тысяч рублей от какого-то Иванова из Москвы в Петербург.

Матрена Карповна нагнулась ниже и прочла имя того, кому переводились эти деньги. И вдруг лицо ее,— как лицо человека, которого неожиданно поймали над тем, что считал он только своей тайной,— покрылось густым румянцем, и, быстро встав, она подошла к открытому окну.

Дождь прошел, солнце садилось и последними лучами золотило даль. Только там, далеко за рекой, как островерхие крепости, выдвинулись и застыли на горизонте синие тучи. Едва слышно, как грохот отъезжающего экипажа, доносились раскаты грома.

ВСТРЕЧА

Я добрался, наконец, до парохода и отдыхаю после душного дня, тряски перекладных и пыли, от которой час отмывался и все-таки как следует не отмылся.

Надел чистый китель военного врача, причесался, заглянул в зеркало. Да, вот какая-нибудь такая игра природы: круглые глаза, нос крючком, кувшинное лицо — мелочь с точки зрения бесконечности там, а в обыденной жизни — вся жизнь на смарку.

И в миллион сто первый раз проговорив себе: «ну и черт с тобой!» — пошел наверх в общую залу.

Солнце село, темнеет. День кончился, но свет электрических лампочек еще борется с последним отблеском вечерней зари. В противоположном зеркале отражается движущийся берег реки, охваченный бледным, умирающим просветом запада, но рядом из окна на юг уже глядит синего бархата темный вечер, мягкий, теплый. Может быть, для какого-нибудь всесветного туриста в сравнении с каким-нибудь вечером юга, с его красками этот вечер Волги и ничего не стоит, но нам, маленьким людям, после будничной жизни в местечке с полком, этот вечер — рай земной.

А вот и музыка. Какая-то дама в том конце залы играет. Мне видны только ее голубая, цвета небесной лазури, накидка, яркого красного шелка кофточка, перехваченная стройно высоким поясом, да ее красивые волнистые светлые волосы.

После моей трущобы и эта музыка и мирный шум воды волнуют душу, будят какие-то воспоминания. Воспоминания у меня, у военного врача, да еще с такой почтенной рожей доктора?!

Какой-то господин вошел. Моих лет, а может быть, и моложе. Высокий, худой, с манерами светского человека.

Лицо продолговатое, черная бородка ярче оттеняет матовую бледность, глаза черные, ласковые, слегка усталые. Немного горбится, но чувствуется, что его сгорбленная фигура может еще быть и прямой и молодой. Это не то, что моя медвежья фигура начинающего добреть армейца, с аршинной ступней. Там резец тонкий. Что-то в фигуре неудовлетворенное. Быстро вдруг подошел ко мне и, слегка гортанным, приятным голосом проговорил:

— Мы, кажется, были с вами знакомы в университете?

— Да, кажется...

В горле у меня, как у привыкшего молчать провинциала, что-то застряло и потребовалось откашляться, что я и принялся проделывать, выпуская из своей обширной гортани разнообразные стаккаты.

— Вы мало переменились,— проговорил он,— то же молодое лицо... Оно так и осталось у меня в памяти... и я сейчас узнал вас. Около вас всегда был кружок ваших почитателей и я, тайный...

Он наклонился, детская улыбка осветила его лицо. Я смутился, махнул рукой и угрюмо ответил:

— Да это уж забыть надо!

— Вы — доктор?

— Да, как видите... А вы?

— Сперва с вами на естественном был, потом на юридический перешел... Дослужился до товарища председателя окружного суда, теперь присяжный поверенный...

«Да, вот,— думал я,— товарищем председателя уже успел побывать... Вот как делают люди карьеру... а ты в полку, в местечке, в одиночном заключении, с живой могилой всяких юношеских мечтаний...»

Он сел против меня на стуле, я опустился на свой диван, расставив ноги мешком по провинциальной

манере, весь ушедший в себя, весь отдавшийся своим черным мыслям.

Мы еще о чем-то говорили. Он сообщил мне, что он женат, отец семейства, что-то еще вспоминали, но так как вспоминать было нечего, то и разговор наш клеился плохо.

Дама кончила играть, встала, смерила нас взглядом, как бы раздумывая, и лениво позвала:

— Александр Павлович!

Черноцкий, мой товарищ, встав, проговорил, как бы в оправдание, указывая ей на меня:

— Неожиданная встреча двух товарищей...

Она сделала какой-то скучающий намек на улыбку и такое выражение, как бы говорила: что мне до этого?

Я поднялся, чтоб уйти, и на вопрос Черноцкого ответил благодушно:

— Хочется немного на палубе посидеть.

Они оба подарили меня благодарным взглядом. Не трудно, в сущности, заслужить людскую благодарность.

Кто она, жена его?

Сижу на палубе и думаю, что теперь было бы, если б я сидел в своем местечке?

Время к ужину — денщик накрывает толстого полотна скатерть на стол, ставит неизменный судок, рюмку с надбитой шейкой, графинчик, холодную отварную говядину, хрен.

Вваливается субалтерн-офицер, забулдыга Кирсановский, и начинает приговаривать:

— Маленькая котлетка и четверть баранины — и сыт человек; маленькая рюмка рябиновки и четверть очищенной — и пьян человек; маленькая подушечка, еще что-то — и спит человек!

Человек все-таки, а не животное. И десять лет с таким товарищем!

— Э-эх! — несется мой густой вздох по палубе. Оглядываются: какой такой бегемот вылез из воды и вздыхает?

— Ну что ж, ужинать и спать.

Спустился в рубку, заказал поросенка под хреном, водки, пива, полпорции свежей икры. Достал книгу.

Вошел еще какой-то господин, жиденький, пожилой, с редкими, зачесанными седыми волосами, со взглядом, в котором чувствуется претензия какая-то. Господин прошел на палубу и скоро возвратился с дамой в голубой накидке. Черноцкий шел за ним, ленивый и угрюмый.

Господин, а за ним и она прошли в край залы, где стоял рояль, а Черноцкий, дойдя до половины стола, остановился в раздумье. Он лениво протянул руку, нажал пуговку и, когда вошел человек, бросил:

— Карточку...

Затем, обратившись к седому господину, проговорил с почтительной фамильярностью:

— А вы, ваше превосходительство, не проголодались еще?

Его превосходительство довольно сдержанно ответил:

— Н-нет.

Но дама, быстро проговорив: «а я голодна», подошла к Черноцкому и начала рассматривать с ним карточку. Она стояла спиной к пожилому господину, но лицом к Черноцкому и ко мне.

— Что ест ваш товарищ?

— Вы что едите?

Я покраснел, поднял глаза и встретился с ее взглядом.

— Поросенка под хреном.

Она слегка усмехнулась, перевела глаза на Черноцкого,— очевидно, Черноцкий не ее муж: на мужей так не смотрят.

Она поймала мой взгляд и твердо смотрит, и глаза смеются. Ну, бабенка! А Черноцкий же при чем тут?

— Познакомьте же меня...

Черноцкий смущен.

— Гм... — он комично косится на генерала, изображает некоторое затруднение в лице и говорит официальным голосом светского человека: — Позвольте вам представить моего товарища...

Затем Черноцкий, делая движение в сторону господина, говорит:

— Ваше превосходительство, позвольте вам представить...

И мы с генералом, с кислыми физиономиями, идем друг к другу.

Я понял этот маневр, когда супруг от перспективы разговаривать с такой особой, как я,— а ничего другого, очевидно, для него не предназначалось,— предпочел, сделав озабоченное лицо, сбежать в каюту.

Мы остались втроем в зале, и я недоумевал: что же мне теперь делать? Роль моя, очевидно, была сыграна. Доесть и спать.

Но она обошла вокруг стола и села совсем рядом со мной.

Руку свою, выше локтя оголенную, она положила на стол, облокотила на нее свою голову и смотрела на меня так, что мне казалось, что она в это время думала: «Пожалуйста, не думай, что твоя физиономия может меня испугать или быть неприятной».

В ответ на это я только усердно засовывал себе в рот громадные куски своего поросенка.

Она усмехнулась и проговорила:

— Не подавитесь...

— Благодарю за совет; буду рад в свою очередь быть полезным.

— Уговорите вашего товарища высадиться вместе с нами.

Я посмотрел на Черноцкого. На мгновение лицо его сделалось чернее ночи, но он ничего не ответил и, отойдя к окну, стал смотреть на реку.

Я молча развел перед ней руками и проговорил:

— Нельзя ли что-нибудь попроще, вроде: пиль, апорт...

Она усмехнулась.

Подошел Черноцкий.

— Мы ведь ничего еще не заказали.

— Так заказывайте.

— Я не знаю, чего вы хотите?

— Должны знать.

— Marie! — позвал жену из коридора голос супруга.

Она вышла; возвратилась и сухо проговорила:

— Я не буду ужинать... Прощайте...

Она бросила многозначительный взгляд Черноцкому, протянула нам руку; пройдя до коридора, оста-

новилась там и, положив руку на косяк, повернула голову к Черноцкому:

— Вы поедете с нами?

Черноцкий в ответ быстро подошел к ней, с ней вместе прошел в коридор, и, завернув, оба они исчезли на палубе.

Через несколько минут на мгновение заглянула фигура супруга, скользнула по мне холодным, даже ледяным взглядом, как будто я и был главный виновник всего, и скрылась.

Я подождал еще, встал и ушел в общую мужскую каюту.

Чьи-то еще вещи лежали, кроме моих, на одной из коек. Вероятно, Черноцкого и больше никого: спать будет просторно, не душно. Какой-то червяк неудовлетворения сосал меня, как будто сильнее даже, чем там, в местечке.

Если там сон, который должен перейти и так и перейдет в смерть, если такова неизбежная судьба, то там сон без пробуждения, без скучного сознания, которое буравит, что вот-де не для тебя весна придет, не для тебя все эти ароматы какой-то, может быть, и пошлой по существу жизни, но красивой, яркой, с этими красавицами...

Ведь человек и я как-никак, и если ко всяким «ничего» нет и этого, то к чему же, наконец, сводится жизнь?

Ведь десять лет сна в казематах своего местечка с субалтерн-офицером Кирсановским!

Ел, пил, спал сорок лет; ел, пил, спал пятьдесят лет...

Ну, и спи, жалкое, униженное жизнью, природой и судьбой существо; ешь, пей, спи в своем сером погребе жизни и смотри в свое зеркало, но не смей претендовать, не смей думать, что можешь увидеть ты там какое-нибудь другое отражение, кроме торчащего там уродообразины.

И вот крючок, на котором закопченным окороком смирно висишь, чтобы, повернувшись неосторожно, не сорваться и не полететь в какую-то уже окончательную бездну.

Черноцкий вошел. Он был задумчив, рассеян. Не-

которое время он стоял, затем решительно начал раздеваться.

Значит, не поедет с ней. Молодец. Почему — молодец? Добродетель удовлетворена? А мне что за дело? Не за добродетель, а за характер.

Заметив, что я лежу и смотрю на него, он спросил:

— Не спите?

— Не спится что-то,— ответил я, вздохнув.

В сущности, если бы он сказал: «скучно», а я бы ответил ему вздохом старого приятеля, которому досконально известны все те корни, которыми питается это растение — «скучно», то интонация наших голосов ближе подошла бы к нашему разговору.

Улегшись, он спросил:

— Вы как, при свете спите?

— Мне все равно.

— Потушим, может быть?

Я повернул электрический винтик своей лампочки, он своей, и мы очутились впотьмах. И только в маленьких окнах играл металлический блеск лунных лучей, теряясь в темной каюте.

Некоторое время длилось молчание.

Что за человек этот Черноцкий? Молится тоже своим богам? И кто эти боги? Не в области будущего они, очевидно. Карьера? Деньги? Женщины, вино и карты? Кто бы ни был: удовлетворен он, или и его своя филоксера поедает?

Странно действует темнота на нервную систему: я уже забыл лицо Черноцкого и кажется мне теперь, что это говорит какой-то совсем незнакомый мне человек. Вспоминаю: худой, высокий, красивый, а впрочем, как на чей взгляд. Что-то в глазах есть, что должно нравиться женщинам. Очевидно, и нравится. Кажется, человек добрый, и жизнь как будто упростила его. Как бы в ответ он заговорил смущенно:

— Вы, конечно, не могли не заметить и сами, что не все обстоит благополучно в этом лучшем из миров?

Он остановился, послышалось еще большее смущение и насмешка.

— А особенно, если прибавить, что я человек семейный... Вы тоже семейный? — спросил он.

— Нет.

— Вот уж не ожидал.

— Почему?

— Да выглядите уж вы таким папашей... Что же вы не женились?

— Не пришлось...

Мы опять замолкли.

— Есть такая наука — физиология? — спросил Черноцкий.

— Как же.

— Там долг, совесть, а она и знать ничего этого не желает?

— Но вы-то, кажется, удачно справляетесь с ней?

— Только, пожалуйста, не приписывайте это моей добродетели: нет ничего пошлее, как морочить себя и других.

Он помолчал и устало проговорил:

— Мне уж очень хочется вытравить в вас ту дозу уважения, котоую вы можете почувствовать ко мне... Вы хотите спать?

— Нет.

— Хотите послушать нечто, что вам даст ключ к уразумению?

— Если вам это не затруднительно, с удовольствием.

Он рассеянно ответил:

— Не затруднительно. Сейчас... Вот хочу только дать себе отчет, почему я именно вам хочу рассказать.

Он подумал и продолжал:

— У Гейне есть где-то, что женщина всего легче отдается незнакомцу, с которым знает, что никогда не встретится больше. Ну, вот, вероятно, у меня нечто подобное. А может быть, я хочу спросить у вас совета?

Нет, серьезно... Кто может поручиться, сидя в своем с мясом и нервами теле, что он застрахован от мгновенного соблазна? Я никому не поверю, и «Tentation de St. Antoine» [1] меня достаточно убеждает.

И вот одно только такое мгновение, и может появиться на свет новое существо... Я не об этом даже существе, я о сетях, в которых уже треплется рыбка... Чем больше

---

[1] «Искушение св. Антония» *(франц.)*.

треплется, тем больше запутывается. Я это не в оправдание говорю. Я только констатирую факт. А что до меня, то человеку, который всю свою жизнь налаживается полегче, все это тем более естественно.

То, что я хочу вам рассказать,— не роман, не повесть, а правда, как она была, без всяких прикрас и потому, предупреждаю, очень невкусная... Все грубо и прозаично до той степени, когда это называется уже не книгой, а самой жизнью... И с точки зрения книги здесь ничего интересного... окончательно ничего... Ни возвышенных стремлений, ни идей, ни героя даже... серо до гадости...

— Книга занимается,— заметил я,— не всегда одними героями: толпа, ее рамки, условия ее жизни...

— Хорошо сказано... Я — толпа, презренная толпа, которая всегда в рамках, для нее созданных, в условиях действительной жизни... Отлично... это немного расширяет введение... Вы еще не хотите спать?

— Я слушаю.

— Ну, вы отчасти знаете мои условия: были мы в университете вместе... Вы, положим, увлекались, а я и тогда уже был в охлажденном состоянии, хотя, сколько помню себя, в доброжелательном, что ли, в отношении там всякого рода увлечений молодости... Я только больше верил своим практическим точкам приложения...

Он весело перебил себя:

— Теперь, кажется, мы с вами опять в одинаковых условиях: точек приложения ни у вас, ни у меня... Но у вас сохранившаяся сила... Через десять еще, ну, через двадцать лет, вы с вашей сохранившейся силой, я с своей несохранившейся, будем оба смирно лежать под гробовой плитой... а?..

Юноша, быть может, полный жизни и веры в свои силы, остановится доверчиво, почтительно перед нашими могилами... Жили, дескать, страдали за лучшее будущее... А может быть, и докопается до истины и от нас обоих отвернется: от меня — за жар души, растраченный в пустыне, от вас — за зарытую в земле силу... Но ведь отвернется или не отвернется, а мы-то с вами живем до предела, утешаясь, конечно, что не всякому же поколению на долю выпадает свершить... У китайцев вот семьдесят поколений только навоз времен... по четыре-

ста миллионов каждый раз: партия почтенная... А впрочем... К чему все это? Как одна из моих дам говорит: «При чем тут ум!..»

Он зажег спичку, закурил папиросу и заговорил деловым тоном человека, решившего не отвлекаться:

— Жил я, собственно, беспечально: были связи, средства, женился хорошо, по службе везло. Чего же лучше? А... что?.. Летом на даче, зимой в губернском городе. Карты, спектакли, легкий флирт, сплетни surtout [1].

Ну, словом, жизнь, какой живут провинциальные чиновничьи центры... Взятки брать нехорошо, конечно, но если Иван Иванович берет, то говорить о взятках значит его оскорблять — вопрос о взятках прочь... Прочь да прочь, пока не останется в обиходе что-то вроде самого несложного воляпюка: пас, пять пик...

Опять повторяю: это не ропот, и аз первый из сих, приспособленных... Господи, я не только никогда не кончу так, но и не начну...

Окончательно начинаю... Я хочу вам объяснить, почему я не поеду с этой дамой... Итак... ехал я однажды на пароходе... ура! я начал! Была ранняя весна, и не весна даже, а настоящая осень. Ветер свистал, рвал воду, было холодно, сыро и неуютно.

Пассажиров было только двое: я и она... Она сразу произвела на меня впечатление: порывистая и робкая... довольно красивая, довольно стройная, с некоторой привычкой одеваться... Днем в общей каюте только я и она...

Я сижу, читаю, хожу... Иногда оставляю чтение и смотрю ей в глаза... потверже... Она тоже смотрит в мои, точно спрашивая: зачем ты смотришь и чего ты хочешь?

Ничего не хочу...

Так прошли сутки, мы все смотрели, но ни одним словом не обмолвились.

А затем вдруг заговорили и сразу стали старыми знакомыми. Она кое-что читала, кой о чем думала,— одним словом, во всех отношениях подходящая спут-

---

[1] по преимуществу (*франц.*)

ница. Ну, красивая, молодая, стройная и ко всему испытывавшая удовольствие,— которого нельзя выразить, если его нет,— от общества и разговора со мной.

Я это чувствовал, и это давало тон нашему сближению. Было весело, время летело, ни о чем не думалось, что и требовалось доказать.

Раз как-то, когда пароход стоял, мы гуляли на берегу и щелкали зубами от холода.

Раздался выстрел, и утка, которую мы провожали глазами в небе, упала к нашим ногам.

Моя спутница бросилась к утке и, осмотрев, вскрикнула в отчаянии:

— Она ведь с яйцом!

Я не знаю, почему мне врезалась в память вся эта сцена. Эта утка, жажда жизни в страстном порыве полета и моя спутница, ее отчаяние... свежая ранняя весна... и в той утке такая же жажда жизни... порыв, смятенье...

Она вся для меня вырисовывалась со всеми своими потребностями в этой сцене: порывистая, добрая, практичная хозяйка,— яйцо нащупала,— и чисто женский, природой вложенный инстинкт: не так важна даже смерть сама, как это яйцо, продолжение потомства.

И жажда жизни, как и в той утке, порыв, смятенье души, может быть, больной... Минутами, когда она задумывалась взгляд у нее был жгучий, сильный, мятежный, устремленный туда, куда-то.

Я ведь не герой романа здоровой женщины... Но ищущая, смятенная душа и притом,— это не хвастовство,— чистая по существу,— она сама идет на меня...

Ну, словом, как-то под вечер... Солнце выглянуло из-за туч, осветило берега, воду, даль, ее,— может быть, вызвало какую-то больную память, защемило сердце и куда-то рванулось... И вдруг порыв слишком мягкий и искренний для того, чтобы можно было о чем-нибудь рассуждать... Да и не хочется рассуждать... Подошло — и хорошо. Страсть ли подкупала, или эта беззаветность сближения, хотелось ли этим путем просто стать сразу близким, своим человеком к человеку, который пришелся по душе? Встречаются же такие лица, с которыми хочется навсегда сохранить что-то самое близкое!.. с женщиной

тогда сближение может и этим чувством быть вызвано.

Не знаю, ничего не знаю, но эти два дня, что мы провели на пароходе, нас тянуло друг к другу, я был точно в каком-то забытьи и, просыпаясь, радостно встречал ее счастливый взгляд.

Мы говорили друг другу:

— Не будем ни о чем из прошлого говорить, не будем ничего вспоминать, завтра мы навсегда расстанемся, но этот день, два — они наши!!

И теперь эти дни — звезды на моем небе, и чем темнее на небе, тем ярче светят звезды; эти звезды светят мне — это я говорю, и ничья, ничья рука не сорвет их оттуда...

Черноцкий помолчал и лениво продолжал:

— В Ярославле мы провели наш последний день. Ездили в монастырь. Помните вы эти длинные желтые коридоры монастырей, с звонким эхо шагов, маленькие церкви, в которых когда-то молились другие люди и, кажется, сохранился в этих церквах еще и теперь тот воздух, которым дышали те люди... образ тех людей здесь вместе с ней смущал меня, но она, стоя на коленях, горячо молилась. Ее нежные прекрасные волосы выбились и волной падали ей на плечи: красивая, стройная, страстная... Лицо возбужденное, полное жизни, огня...

Я, пьяный порывом к ней в эту минуту, смотрел на нее.

Она встала, встретила мой взгляд, и глаза ее тоже сверкнули...

Бедный молодой монах нас проводил; может быть, мы внесли разлад в его молодую, уже начавшую остывать душу.

Мы вышли, и он долго смотрел нам вслед.

И я заметил, что монах, может быть, завидует нам.

Она, садясь в экипаж, с улыбкой счастья посмотрела на монаха и спросила лукаво:

— А разве есть чему завидовать?

И затем, голосом искренним, полным радости жизни, порывисто воскликнула:

— Боже мой! Мне никогда не снилось такое счастье! Пусть остальная вся жизнь будет одним горем для

меня — за эти два дня, клянусь, я буду без ропота нести свой крест...

Она сдержала свою клятву. Мы подъехали к городу, она сказала:

— Милый, подари мне еще один вечер... Завтра утром тоже идут поезда в Москву.

И мы провели еще один вечер в большой старинной комнате, у большого камина. Было тепло, весело пылал камин. Я что-то напевал ей. Она так и уснула у меня на груди...

Он вздохнул и сказал:

— Все это описано и воспето уже в «Кармен». Чудный гимн свободной любви... не любви даже, а порыва... Хорошая вещь порыв! А может быть, и скотство? А? Во всяком случае не в минуту порыва — скотство, иначе кто желал бы чувствовать себя скотом?

Он бросил это вскользь самому себе, наивно, по-детски, и продолжал:

— На другой день утром мы вместе и до Москвы доехали, рискуя, до самой Москвы с ней в отдельном купэ.

Мало того, она проводила меня на Николаевский вокзал, и мы с ней на прощанье целовались, как самые настоящие муж и жена... Она крестила меня, а я с тем чувством, с каким целуют руку у жены, целовал ее. Мы были, вероятно, красивая пара, и мне пришла мысль о потомстве.

— Я хотел бы, чтоб у нас были дети...— шепнул я ей.

— Бог с тобой, что ты говоришь? — быстро ответила она, вспыхнув.

Я наклонился к ней и нежно, упрямо повторил:

— Я был бы очень рад...

— Останься!

И я остался еще на день. На другой день я уехал, и она опять провожала меня. Нас, конечно, могли увидать, узнать, но в этом была своя прелесть, и случись в это время жена, кто знает, чем бы еще все это кончилось...

Последний звонок... Она быстро, судорожно целует и дрожит.

— Слушай, дорогой... Ты любишь свою жену, и боже сохрани разбивать ваше счастье... Но если... если

еще один день вырвется у тебя свободный... один только... Ты помнишь адрес?

Она повторяла, я слушал с твердым решением никогда больше с ней не встречаться: боялся не на шутку привязаться.

Вагон уже тронулся, а она все крестила меня... Может быть, это было немного слишком. Она уже опять отрывалась, уже делалась чужой для меня, какой-то картинкой, которой я, уже как посторонний, в последние мгновения любовался, как любуются исчезающим пейзажем, закатом... Другой не замедлит занять мое место... Я только теперь заметил, что совсем не расспрашивал ее о ее прежней жизни, откуда она, кто она? Бог с ней, не все ли равно? Впрочем, это равнодушие было больше кажущимся. Когда потом, войдя в вагон, я почувствовал, что я один и ее уже нет, мне стало скучно. Когда, задумчивый, я смотрел в окно, любуясь нежным весенним закатом, я почувствовал, что далеко не все равно: она или закат. Мысль о ней заполнила этот закат, и закат без нее пустотой и тоской сжимал мое сердце.

На другой день я приехал в Петербург. Дела чиновника, дела семьянина, родственника, старого знакомого и вся связанная со всем этим житейская суета, с нарисованной деловитостью, с нарисованной радостью, с нарисованной вовсе не той жизнью, которой, в сущности, каждый из нас живет или хотел бы жить. И легче всего при таких условиях живется за картами или в отдельных кабинетах. Начистоту, но две недели такой жизни, и опять сыт по горло, и даже провинциального служащего нет-нет да и потянет назад... И все две недели что-то точно вдруг встрепенется радостно в груди: да, да, там в Москве — она... и страшно с другой стороны... нет, лучше уж перебить впечатление — к Альфонсине ездил... но, кончив дела, приехав в Москву, прямо к ней поехал.

Я приехал неожиданно. Она сидела за столом и сосредоточенно перебирала карты: вероятно, гадала или пасьянс раскладывала. Я потом узнал, откуда эта наклонность у нее: у уток яйца щупать, богу молиться, пасьянс раскладывать: она была из домовитой купеческой семьи... и надо было видеть ее радость при моем появлении. Она всплеснула руками, вскрикнула: «ми-

лый», и стремительно бросилась из-за стола ко мне. Волосы ее разлетелись, она целовала меня, смотрела в глаза и опять целовала... Конечно, так нельзя обманывать... И если она любила, то и я любил... на день, на два — не больше... Куда же больше? Там жена, дети... Я тут же высказал ей свое мнение.

— Боже мой, да, конечно... но два дня, два... ты уже сказал — мои? Целых два дня! И даже три...

Мы ездили по садам, обедали, ужинали, завтракали, всегда выбирая что-нибудь особенное, оригинальное... И всегда она говорила огорченно:

— Милый, это дорого...

Я смеялся и делал нарочно все особенно дорого. Я накупал ей разных духов, разных мелочей дамского туалета, и она постоянно, когда я привозил, говорила:

— Ну, зачем это?

Но это так говорилось мило, такая радость вслед за этим сверкала в ее глазах, что я еще привозил. Вечера мы проводили за городом, слушали оперетку, цыган.

Я возвратился домой. Сперва щемило, а потом прошло, совсем даже прошло.

Как-то в суде является ко мне швейцар гостиницы и с таинственной физиономией докладывает, что какая-то дама просит меня пожаловать. Как-никак, лицо я в губернии не последнее,— кто, какая дама может меня, отца семейства, так бесцеремонно требовать? Еду. Она!

Вероятно, я был достаточно огорчен, потому что она растерянно и испуганно, увлекая меня в свой номер, твердила:

— Милый, прости, прости... не могла... на один час... прости... прости...

Она дрожала, как в лихорадке. Как ни жаль было, но благоразумие требовало того, чтоб осадить ее.

— Вы не имели права так поступать, я откровенно вам говорю, что я люблю свою жену, что делаю, в сущности, совершенно незаконную вещь... там, где-то, это, может быть, не чувствовалось, но здесь, в одном городе с моей женой... Вы хотите, чтоб это почувствовалось? Наконец это провинция, каждый шаг, каждое слово будут известны всем сегодня же...

— Милый, боже сохрани... Милый, прости...—

только и повторяла она бессознательно, то хватая, то бросая мои руки.— Ради бога, не сердись! Ради бога, прости... Я сейчас же уеду...

— Да это необходимо, и здесь ничего не может быть... Здесь, в одном городе с моей женой, все это... только...

— Я уеду, уеду...— с ужасом твердила она и начала складывать, торопясь и путаясь, свои вещи.

— Куда же вы уедете,— раздраженно спросил я,— когда поезд уже ушел и новый только завтра пойдет?..

Она растерянно присела, сложила руки и потом быстро проговорила:

— Я поеду на почтовых...

— Глупости,— ответил я.

— Но что же делать?

— Не надо было приезжать.

— Конечно, конечно...

Она была такая виноватая, при всей своей энергии, такая, в сущности, забитая... и такая прекрасная, чисто русская красавица, которая уже успела опять охватить меня и собой и всем прошлым... что я не мог дальше противиться и уже страстно целовал ее.

Она точно не понимала еще, что я делаю, позволяла себя целовать и рассеянно твердила:

— Не надо, не надо... Здесь твоя жена...

И все это кончилось страстным объяснением в любви, слезами и проведенным вместе еще одним вечером...

В сущности, она приехала советоваться, что ей делать: она была беременна... Виновник был я, конечно. Чтоб понять весь ужас ее положения, надо знать ее прошлое, которое она рассказала мне в этот приезд свой. Она росла в купеческой семье, и, пока жил отец, можно было жить: у них была лавка, дом. Она ходила в гимназию, а в свободное время вела конторские книги, торговала за отца в лавке. Отец был добрый, но самодур и совершенно необразованный человек. Жену бил в сердцах, в сердцах и ее за вихры дирал. Он все толстел, пока однажды его не хватил удар, затем второй и третий с смертельным исходом. Лавку пришлось закрыть, потому что мать, забитая и простая женщина, ничего не могла. Оставался только дом, и жили они — мать и две дочери — тем только, что сдавали квартиру. Квартиру

эту нанимал чиновник; он сошелся с матерью, и так продолжалось, пока Паша, моя спутница, не выросла. Тогда чиновник влюбился в нее. Из страха потерять единственного кормильца, мать настояла, чтобы дочь шла за него замуж... Заметьте, с университетским образованием господин! Та, конечно, не знала о его связи с матерью, но ей нравился какой-то молоденький, очевидно, дрянной, как увидите, инженер. Для всех он был, дрянной, но для нее, конечно, олицетворением всего, что только было лучшего на земле. Его встречала она у своих подруг и когда видела его задумчивым, то готова была плакать, умирать и любить без памяти...

Но мать настаивала, настаивал жених, и Паша то соглашалась, то отказывалась. Наконец согласилась, но с условием, чтобы шафером был инженер. Накануне свадьбы, в доме подруги, она отдалась своему шаферу... На свадьбе собиралась в церкви падать в обморок, но шафер инженер шептал ей:

— Будьте мужественны!

И в сознании какой-то жертвы бодрилась: он понимал ее!

Потом был вечер, танцевали, кричали «горько», она целовалась, не все ли равно с кем: в душе она с ним целовалась.

Подруги заботились, чтобы она не выдала себя, шафер был нежен, страдание облекалось в такую красивую форму. Играла музыка, кружились пары, опять кричали «горько». В зеркалах она видела себя, нарядную, красивую, без кровинки в лице, к чему-то очень страшному приговоренную.

Настал и конец вечера. Гости разъехались, а когда она осталась лицом к лицу с ужасной действительностью, на нее напал дикий страх, и она убежала к матери в спальню.

Мать тащила ее к жениху, жених помогал...

Боже мой, ведь это, знаете, черт знает что за жизнь на одной струне там в этих городках... и при этом железная зависимость от этого одурманенного копотью и чадом этой жизни общества, которое, заметьте, и не хочет ведь ничего другого... С пеной у рта отстаивает весь этот омут жизни.

Из святыни брака устроили ужасы и пытки, с которыми не сравнится никакое рабство, никакие ужасы инквизиции. Во имя самого святого лозунга, под прикрытием его, творится то, что в самые ужасные времена крепостничества не делалось...

Те, которых обманывает идея святости, пусть вдумаются хоть в те факты, которые всплывают на судах. Уничтожением выходов создаются только преступления, бесполезно унижая идею. Закройте все воспитательные дома, и ретирады опять наполнятся задушенными младенцами... будут резать, бить, отравлять друг друга до тех пор, пока будет существовать понятие о собственности в людских отношениях... Здесь полный простор только негодяям, самодурам, дикарям... И тем крепче только приковываются они к их негодяйству, дикости, самодурству поощрением их рабских идей...

...Негодяй, конечно, закричит: как! он против брака!..

Ложь, наглая ложь: я против насилия, против унижения самого святого человеческого учреждения. И пора, давно пора всем порядочным, всем любящим свою родину ударить в набат, раскрыть себе и другим глаза на гнойные язвы.

Без свободной женщины мы вечные рабы, подлые, гнусные рабы со всеми пороками рабов.

Я не вытерпел и, прокашлявшись, бросил:

— *Кто* проповедует?

— Самый подлый из всех рабов, конечно,— ответил невозмутимо Черноцкий и продолжал спокойно: — Вы понимаете, он и после свадьбы не прекращал сношений с ее матерью. Застав их на месте преступления, она убежала к инженеру... Через несколько дней полиция возвратила ее, а инженера судили, приговорили к тюрьме. Она отравлялась, искала смерти — в одной рубахе бегала по снегу, нажила порок сердца, но покорилась... Мать от холеры или яда умерла. Когда у нее родился ребенок, муж сосчитал, что ребенок от инженера, и такой ад ей устроил, что она и себя и ребенка морозила — ребенок умер, и на этом помирились.

Начальник мужа стал за ней ухаживать, муж требовал, чтоб она была внимательна... Второй ребенок родился — от начальника... Муж был скуп, считал каж-

дую копейку, от жалованья в две тысячи откладывал одну тысячу рублей в год и пилил ее без перерыва, что она не хозяйка, не бережет его денег. Тут подвернулся какой-то предводитель дворянства, изможденный, истощенный, но добрый... Оказал какое-то участие, обратил внимание, она схватилась за него, как утопающий за соломинку.

Муж, смотревший на связь с начальником сквозь пальцы, запротестовал здесь. Тогда она уехала к тому предводителю, в деревню... Новое несчастье: тот оказался, в сущности, человеком настолько истощенным, что ни к какой семейной жизни не годился. Она мирилась и с этим, но его самолюбие страдало... Сперва он ездил лечиться, а затем, возвратившись таким же бессильным, кончил тем, что возненавидел ее. Да и родные его восстали, и пришлось ей бросить его дом.

Место ее у мужа было уже занято: он взял какую-то особу прямо с улицы... Ей и было поручено воспитание ребенка.

Жена умоляла хоть ребенка отдать ей,— заметьте, не его ребенка. Не дал. Она уехала, и тогда вот и произошла наша первая встреча. Она хотела тогда же пуститься во все тяжкие... И начала с меня. Эта встреча со мной изменила ее намерения... В сущности, в том, что она, может быть, привязалась ко мне, вы понимаете, еще ничего нет удивительного... После стольких гадостей... свинства... и я, конечно, мог показаться ей... а?.. что? Понимаете?..

— Понимаю, конечно...

— Да, так вот какая, в сущности, бездна вдруг открылась пред моими глазами... Над этой бездной витаем она и я, только я держу ее... а? Никого больше... Вы понимаете? Я не мог же сказать ей: иди вон! При всей, может быть, негодности своей натуришки — не мог... Наконец, материальный вопрос... Презренный металл,— когда он есть, но пока нет его — в нем все, а она в таком уже и была положении... Ну-с, и вышло из всего этого то, что она поселилась в Москве, а я от поры до времени переписывался с ней, посылал деньги, строго-настрого запретил ей, конечно, навещать меня... В этом периоде я еще раз видался проездом с ней, но наотрез отказался

от всяких супружеских отношений. Может быть, я уже остыл, может быть, хотелось, чтоб хоть теперь это было порядочнее... не знаю...

Она родила девочку... Письмо об этом по роковой случайности попало в руки жены, и все таким образом сразу раскрылось.

Ну, конечно, ахи, охи, жизнь разбита: слезы, страданье... настоящие, может быть! Вы замечаете, я и не думаю что-нибудь подчеркивать, скрывать, оправдывать себя; вся грязь, гадость, как видите, налицо... а? что?.. Выросла в известных идеалах, верила в меня, как в бога, и вдруг не бог, а дрянь, негодяй, развратник, с точки зрения того идеала... Ведь так? Жизнь разбита? Нужен бог, у всех бог, в романах бог, у нее только не бог, а надо молиться, приходится молиться черт знает на кого... а? ужасно?.. Я вас спрашиваю: чем она виновата... а? понимаете? Какой выход? Злая так или этак, но как-нибудь распорядилась бы: себе горло, ему ли; но ведь добрый человек, хороший, прекрасный — ему-то что делать? При всех страданиях надо пожалеть другого, простить.

А куда деть чувство гадливости, презрения, оскорбления?..

Все побороть так, чтобы и не догадался никто. А?.. А рядом с этим: когда же именно это случилось? где? при каких обстоятельствах?

Пачкается в грязи, допрашивает, бередит себя, меня... И ведь докопалась: срок вышел не девятимесячный, видите ли? Запутала и меня, думаю себе: то, что со мной случилось, могло случиться у ней и с другим... Короче, величайшую подлость в жизни дал проделать жене... Заметьте, идеальной чистоты человек.

Черноцкий вздохнул, помолчал и проговорил:

— Да-с... Пишет ей письмо жена, деликатно, осторожно выражает свое сочувствие, не судит, но указывает на факты и умоляет ради серьезности вопроса написать откровенно, кто отец ребенка. Ах!.. Вот отчего болит душа. Вы чувствуете, что болит, а зачем мне ломаться перед вами?

— Что она ответила? — спросил я сурово.

— Она ответила, что действительно я отец... а? что?

Может быть, я клевещу на свою жену? Может быть, она и должна была так поступить? А? Пожалуйста, говорите откровенно. Что?

Черноцкий долго молчал, и я спросил его:

— Видались вы потом с ней?

Черноцкий не сразу ответил:

— Нечаянно... Если я когда-нибудь и жалел, что я не художник... Этого невозможно передать, но вот разрежьте, и все тут. И умирать буду — это одно только буду помнить: квинт-эссенция всей жизни... Ах, ничего нет ужаснее человека бездарного — чувствовать все, понимать все и не быть в состоянии этого выразить! Еду по Москве на извозчике... Идет дама, и рядом с ней нянька несет ребенка. Она, вероятно, устала, не могла больше нести, и временно несла нянька, но в этот момент она почувствовала опять силы и с движением бесконечной любви, бесконечного счастья, точно вся жизнь ее одни сплошные розы, она повертывается и берет ребенка от няньки... Нет, вы понимаете, сколько прощенья, красоты сколько непередаваемой... Ведь это небо открылось, это сон из другой жизни... Это Маргарита, Гретхен...— вся боль души...

Голубчик, это разве можно выразить? Это была она. Я бросился, я не помню, что я делал... я целовал ее руки, лицо ребенка... а? что? Она похудела... Лицо, как вам сказать, прозрачное... а? Глаза, как звезды... Смотрит, счастье в лице... Это, это... А! Отчего не могу плакать? Ах, подите же вы с вашими прописями, моралями... Ну что, что все это в сравнении с тем, что называется жизнь? Жизнь не прописная, не по указкам, а так, как она идет в жизни? а? что?

— Ну? И дальше?

— Дальше ничего... ничего! Что ж дальше? Жена, дети, чем они виноваты? Мы поклялись пять лет не видаться... чтоб прошло все у нас... Но прошел год... Я опять в Москве... Хоть и дал слово не видеться, опять потянуло. Адрес забыл... Вертится дом в голове,— не могу вспомнить... Остался лишний день, в адресный стол послал... Пять адресов принесли, все объездил — не она. Не могу вспомнить дома... Ведь это Москва — семь миллионов закоулков... разве смотришь, куда

идешь? Пробовал и так ехать: скажешь извозчику: «Пошел прямо, куда хочешь». На счастье,— и смотрю: дома не узнаю ли? Уехал в Петербург, пробыл неделю, возвратился... Опять остановился в Москве... Так тянуло к ней... Ездил... ездил... вечер пришел... Вечером что делать? Лето... Поехал куда-то в загородный сад... Вдруг... Это удивительно странно, из пустоты головной выдавил эту фамилию домовладельца... Так на мертвый берег точно выплеснуло: на теперь, дескать, подавись...

Конечно, туда... Тот дом и та лестница; бегу, а сердце стучит: люблю, люблю!

Вот дверь, еще мгновение за этой дверью... за этой дверью уже стояла смерть!

— Что?

— Она умерла... неделю тому назад от болезни сердца... И все ждала меня, говорила: «Он здесь, здесь, сейчас же, как придет, приведите ко мне...» Я стоял, слушал. Она не много получила от жизни... Я смотрел на эту страшную, теперь растворенную дверь, и мне казалось, что с той стороны двери, там, из темноты, она смотрела на меня из-за могилы, слушала мои мысли, такая же покорная и так боящаяся кого-нибудь обеспокоить... Сестра двоюродная была при ней и ребенка взяла с собой. Куда? Не знаю.

Вы понимаете состояние, когда по привычке, что ли, думаешь черпнуть все той же живящей влаги и пьешь уже какую-то дрянь смерти? А? Что? Думаешь обнять жизнь и обнимаешь смерть. А?

Для меня она живет. Она здесь, я слышу шаги ее наверху в рубке... Она в то же время разменялась на миллионы мелочей...

Она в песне, во вздохе... ее походка, волосы... Она живет со мной... возле меня. Меня тянет к этим падшим, там я сильнее ее чувствую... эту боль поруганного, затоптанного человека.

Я больной человек, маньяк, в сущности мертвец. И я только не хочу, чтоб та, сегодняшняя, услышала вдруг вместо кастаньета звуки костей моего скелета... а? Что?

Эти «а» и «что» звучали теперь, как клавиши старого разбитого фортепиано.

Он замолчал.

Невыразимо тяжелое чувство охватило меня, и не хотелось говорить.

— Ну что ж, будем спать, спокойной ночи,— смущенно проговорил он.

— Спокойной ночи,— ответил я.

Я не помню, как заснул. На другой день, когда я проснулся, ни Черноцкого, ни вещей его не было в каюте.

Я заглянул в окно — мутные струйки реки куда-то озабоченно бежали, двигался берег, ниткой ровной шел дождь.

Скучно...

ЕВРЕЙСКИЙ ПОГРОМ

Все это уже давно достояние седой старины.

Это происходило в Одессе, в начале семидесятых годов.

Я был гимназистом старших классов.

Наши столы ломились уже тогда от сочинений Писарева, Щапова, Флеровского, Миртова, Бокля, Спенсера, Милля и многих других.

О предстоящих беспорядках на пасху говорили еще на страстной.

Слухи исходили от кухарки и горничной.

Из каких-то недр почерпали они свои сведения и неохотно, милости ради, делились с нами.

Как-то переменились вдруг роли: прислуга чувствовала себя хозяевами, а мы зависящими от их расположения к нам.

Нам, молодежи, это нравилось, но отцы и матери чувствовали обиду, скрывая, впрочем, ее.

Переговоры с прислугой вели мы, молодежь.

— Три дня назначено жидов бить, а потом и кой-каких других.

Пожилая кухарка страшно поводила в сторону глазами и поджимала губы.

Тем не менее, хотя и ждали, но, когда началось избиение, оно захватило врасплох всех.

— Жидов бьют!

Это было на второй день пасхи.

Мы сидели в моей комнате и обсуждали какой-то мировой вопрос.

Нас всех было человек до десяти товарищей.

— Надо идти.

Мы надели шапки и отправились.

Где-то высоко в воздухе стоял гул.

— Это туда, к Ришельевской,— сказал кто-то, и мы пошли, или, вернее, побежали, как бежали все кругом.

И все явственнее становился гул, теперь уже рев голосов: тысяч, десятков тысяч этих голосов.

Сердце сильно билось, и в голове только один напряженный вопрос: что-то там?

И вот перед нами прямая, через весь город, Ришельевская улица.

Мы у конца ее, который ближе к морю, а с другого конца громадная, в несколько кварталов толпа.

Так и встает в памяти эта улица, прекрасный весенний день, яркое солнце. И снег, белый снег, который ветер широкими волнами подхватывает, не допуская его падать на землю, и опять уносит его вверх, кружа над толпой. Потом уже поняли мы, что это летел пух от разорванных перин и подушек... А там дальше в этом веселом дне страшная толпа.

Точно полз какой-то отвратительный, тысячеголовый гад, скрывая там где-то сзади свое туловище. И так противно всему естеству было это чудовище, так нагло было оно с налитыми глазами, открытой пастью, из которой несся вой, страшный вой апокрифического зверя, порвавшего свою цепь и почуявшего уже кровь.

А с многоэтажных домов с обеих сторон улицы летели вниз стекла, посуда, вещи, мебель, рояли... Они падали, и последний дикий аккорд издавали разом лопавшиеся струны.

Быстро сменяются впечатления.

Мы уже в этой толпе, общая картина исчезает, и в каждом новом мгновении это что-то уже совсем другое.

Старик больной еврей на кровати. Около него маленький гимназистик с револьвером.

— Я буду стрелять, если тронут дедушку! — кричит исступленно мальчик.

Человек с черными налившимися глазами бросается на гимназистика, выхватывает у него револьвер, дает ему затрещину, и гимназистик летит на пол. Но все этим и кончается, и, ничего не тронув, толпа вываливается опять на улицу: мальчик спас своего деда!

— Ребята, сюда! Го-го!!

И толпа вознаграждает себя, и сильнее несется непрерываемый лязг битых стекол и дикий рев.

И опять:

— Стой! Стой! Стой!

Кто-то кричит, что это дом какого-то доктора еврея, очень популярного среди бедняков.

— Хороший человек, очень хороший!

— Хороший, хороший!

— А все-таки жид?!

— Так как же?

Мертвая тишина. И чей-то нерешительный голос:

— Разве для порядка одно стекло разбить ему?

Хохот, веселые крики «ура», и маленький камень летит в стекло второго этажа. Дзинь! Удовлетворенная веселая толпа идет дальше, забыв уже свое дело, потеряв вдруг напряжение, энергию. Но из боковой улицы движется новая толпа и яростно воет.

Впереди толпы едет телега, в ней лежит человек, весь в крови, с бледным, как воск, лицом, бегающими, побелевшими глазами.

Эти глаза не могут ни на чем остановиться, ничего не видят. Этому человеку, очевидно, больше не нужна ни эта толпа, ни ее работа, ничего больше не надо ему: он мучительно вытягивается, и напряжение вдруг сразу сменяется полным покоем, он точно задумывается.

Смерть! И на мгновение всё замирает с ним, и опять вопли и крики.

Что? Почему? Как?

Масса рассказов. Он упал с верхнего этажа вместе с вещами. Может быть, его столкнули? Солдаты ранили штыками? Еврей выстрелил?

— К генерал-губернатору. Пусть сам разбирает и смотрит.

И толпа идет с мертвым человеком на телеге впереди в оглушительном шуме от криков, от звона разбиваемых стекол, мебели, под вопли попадающихся евреев,— их гонят, бьют, пока не исчезают они под ногами толпы.

И опять крики из боковой улицы:

— Сюда, сюда!

На углу Пушкинской разбивают синагогу. Толпа и

телега поворачивают к синагоге.

Подъезжает генерал-губернатор.

Он сидит в коляске; маленький, худой старик в мундире, в орденах и кричит толпе:

— Смирно!

Хохот, крики «ура».

Появляется военный оркестр.

— Что-нибудь веселое!

И оркестр начинает какой-то веселый марш.

— Ура! Ура!

Хохот, крики, энергичнее летят камни в синагогу. Все стекла выбиты, ломают двери.

— Ура!

— Смирно!

Но камни уже летят в коляску.

— Пошел!

Коляска мчится, за ней телега с мертвым, сзади вся толпа с гиком и воплями:

— Стой! стой!

— Держи, держи! а-ту!

— Го-го-го!

На углу стоим мы, кучка гимназистов.

Только что разгромили бакалейную лавку.

Веселые добродушные парни подмигивают нам.

— Эх, милый барин,— обращается к одному из нас молодой верзила,— дай-ка папироску?

— И сам бы рад покурить, да нет.

— Ах, барин бедный, курить нечего. Ребята, у кого табак?

— Вот табак,— показывает кто-то из толпы на запертую табачную лавочку.

— А может, лавка русского?

— А не все тебе равно — русский жид или жидовский жид?

— Барин, прикажи! — подмывающе обращается верзила к желавшему покурить.

И тот... весело машет рукой.

С диким воплем восторга бросается толпа, и через несколько минут десятки рук протягиваются к нам с папиросами.

Лица радостные, умильные, блаженные.

Мы, смущенные, берем по папироске и улыбаемся этой толпе, а она ревет:

— Берите больше, всё берите. На дом вам снесем. Ура!

— Христос воскресе!

И мы целуемся с ними.

— Ребята, водки!

А мы, растерянные, смущенные, торопимся незаметно стушеваться, исчезнуть.

Второй день.

Где-то идут войска.

Какой-то еврей шмыгнул к нам во двор...

Надо спрятать, но что скажет кухарка?

Долго ее убеждают, и, наконец, она раздраженно говорит:

— Ну, отстаньте от меня! Прячьте, коли охота с жидом возиться — меня и себя под топор подводить.

И высокий дрожащий еврей, молодой, худой, поднимается по узкой лестнице на чердак, а кухарка испуганно оглядывает двор: нет ли свидетелей. И грозит ему кулаком:

— У, дрянь, не стоишь, чтоб пропадать из-за тебя!

И, довольные, мы опять уходим в город.

Там, на кладбище человек сорок опившихся.

Маленький белый домик — мертвецкая — уютно выглядит из зелени, кругом памятники, кресты, могилы,— тишина и покой.

Громадная толпа, как мертвая.

Мы протискиваемся и стоим над трупами.

Окна открыты, но запах тяжелый от этих на полу плотно друг около друга лежащих синих, вздутых страшных фигур в оборванных, истасканных костюмах, по которым, как по печатным строчкам, читаешь историю их ужасного прозябания на земле вплоть до последнего мгновения, когда в каком-то угаре почуялся вдруг им выход... И они все лежат — это зеркало, это страшное отражение окружающей жизни.

Какая-то баба вздыхает:

— Вот и пасха: из жидов пух, а из русских дух...

Пришли войска.

Сухой барабанный треск несется по пустым улицам.

Ловят, тут же на улице раскладывают и секут.

Множество слухов. Высекли даму. Высекли унтерофицера с георгиевским крестом. Схватили графа С., но он распахнул пальто и показал свой форменный фрак со звездой.

Общество возмущено.

Одному офицеру в доме моего товарища в моем присутствии показали на дверь.

Он вышел на улицу и крикнул:

— Только попадитесь мне: всех перепорю!

Ловят облавами. Неожиданно с двух противоположных концов появляются из боковых улиц войска, сходятся и всех попавших в эту мышеловку подвергают допросу и суду.

Тут же расставляются скамьи, появляются розги.

Преображенская улица в средней своей части сплошь почти была заселена евреями.

Я шел к товарищу, когда вдруг из двух боковых улиц с барабанным треском появились солдаты.

Я и все со мной метнулись, как рыбы, почувствовавшие сеть.

Куда? За кем-то я проскочил в подворотню.

Подворотня захлопнулась и я очутился во дворе, битком набитом евреями.

Двор, как бы дно глубокого колодца.

Из раскрытых окон всех этажей этого колодца смотрели на меня глаза евреев.

Я один среди них русский, и ужас охватил меня.

Они теперь могли сделать со мной, что хотели: убить и бросить в эту ужасную помойную яму.

Может быть, кто-нибудь из них видал, как я курил папироску, поданную мне из разграбленного магазина. И меня схватят и вытолкнут на суд туда на улицу, откуда уже несутся раздирающие душу вопли. Просто со злобы вытолкнут... А там, может быть, как раз тот офицер... И я стоял, переживая муки страха, унижения, тоски.

Мгновения казались мне веками, и с высоты этих веков на меня смотрели из всех этих этажей тысячи глаз спокойных, терпеливых. Смотрели, понимая, конечно, мое положение, точно спрашивая:

«А ты, когда ты поймешь, почувствуешь наше?..»

ОСЕНЬ

Стихотворение в прозе

Осень...

Гонит ветер низкие тяжелые тучи.

Неуютно и сиротливо в поле.

Заколочены дачи, и уныло смотрят на дорогу запертые ставни.

Ветер поднимает и несет тяжелую пыль.

Вот-вот ударит дождь — осенний, холодный — и превратит всю эту пыль и опавшие листья в липкую грязь до той поры, когда выпадет снег и укроет от глаз всю грязную землю.

У дороги труп собачонки с громадным вздувшимся животом; и в застывшей позе, положив мордочки на голову своей издохшей матери, лежали живые еще щенки. Уже черви от матери переползли на них.

Безнадежно, покорно, мутными глазами трупов смотрят щенки, точно зная, что то сердце, которое билось для них, перестало биться и во всем мире не найдется другого.

То тот, то другой тоскливо в томительном угаре зловония поднимет свою мордочку, оглянется и снова прижмется к гнойному трупу.

Злой ветер в пустом поле, холодные тучи быстрее бегут. Темнеет, и страшная темная ночь скоро-скоро охватит уже и небо и пустое поле, где и труп матери и покорные своей страшной доле щенки ее.

КАРТИНКА

Из детской жизни

Был страстной четверг. Весна только начиналась. В прозрачных сумерках далеко вырисовывались загородные домики. На западе еще догорала красная полоска заката, и небо казалось прозрачным, и в нем темными силуэтами точно отражались застывшие на холме деревья. Ближе к шоссе можно было рассмотреть молодую зелень деревьев — тонкую и нежную, как паутина.

По шоссе шло в церковь целое семейство: трое детей, фрейлейн и горничная. Девочка, гимназистка подросток, худенькая и настороженная. Немного поменьше мальчик гимназист, черномазый и быстрый и пользующийся всяким удобным случаем залезть в канаву, перепрыгнуть через лужу, что-то поискать в кустах, а то и порыться в земле. Третий был тоже мальчик лет четырех. Он шел с открытым ртом, держась за руку фрейлейн и шагал в каком-то забытьи, как автомат. Фрейлейн то и дело по-немецки окрикивала его.

— Смотри же, Гаря, куда ты идешь? Прямо в грязь.

— Когда же я не видел! — отвечал ей мальчик тоже по-немецки, как будто рот его был набит кашей.

— Ах, глупый! ты разве слепой?

Мальчик не удостаивал ответом.

— О чем ты думаешь?

— Я думаю о той собаке, которую, помните, мы видели в овраге. У ней щенки были.

— В каком овраге? какая собака?

Мальчик не торопясь ответил:

— Помните, в деревне, когда мы ехали в гости к Карповым?

Фрейлейн только вскрикнула: «ах!» — и залилась веселым смехом. Она даже выпустила руку мальчика и всплеснула руками.

— Это, знаете, он вспомнил, когда прошлым летом мы ехали к Карповым. И действительно мы видели в овраге собаку с щенками. И как он все помнит? И как будто ничего не замечает, а потом через год вдруг вспомнит. И все, все помнит. Ах, ах, ах!

И фрейлейн еще звонче засмеялась, а с нею вместе смеялась такая же, как и она, молоденькая горничная Таня, смеялась и девочка и старший мальчик. Только Гаря оставался все таким же, как будто он был в состоянии какого-то забытья, и шел с слегка открытым ртом и с напряженной складкой на лбу.

— Фрейлейн, фрейлейн! а щенки теперь выросли и забыли свою мать? — спросил он.

— Нет, вы знаете, что он со мной сегодня в магазине сделал? Прихожу я с ним в магазин, и вдруг входит батюшка. И глупый мальчик, разве он мало видел священников в церкви, а тут схватил меня за руку и кричит на весь магазин: «Фрейлейн, фрейлейн, смотрите, смотрите! Это мальчик или девочка?» Я просто не знала, куда мне деваться. Приказчики все фыркают, а я ему скорее говорю на ухо: «Мальчик, мальчик». А он опять: «А зачем у него длинные волосы? Он стричься не давался? Ха-ха-ха!» Все в магазине так начали смеяться над Гарей, а я его схватила за руку и убежала.

Смеялись все, а Таня даже присела от смеха.

— Ах, глупый, глупый! — говорила фрейлейн,— ты разве никогда не видел батюшку? У всех батюшек всегда длинные волосы.

— А у пастора короткие,— ответил мальчик.

— Вот, значит, заметил, а сам всегда в кирке спит.

— А в церкви спать нельзя,— ответил Гаря,— потому что там надо стоять.

— А куда ты любишь больше ходить? — спросила его девочка.

Мальчик ответил:

— Я не знаю.

И, подумав, с самодовольством в голосе сказал:

— В кирке удобнее.

И опять все долго смеялись. Девочка, перестав смеяться первая, сказала:

— Ну, Гаря, ты так нас совсем уморишь от смеха. Мы и до церкви с тобой не дойдем.

В это время старший мальчик перепрыгнул через лужу и попал ногою в другую.

Общее «ах» забрызганной компании было ему ответом. А затем фрейлейн и девочка стали его отчитывать и стыдить за шалости. Мальчик смущенно оправдывался, твердя:

— Черт, кто же знал, что там еще лужа!

Гимназистка досадливо ответила:

— Да ну тебя! Кажется, уж началось, идем скорей.

На повороте дороги в темноте показались ярко освещенные окна церкви.

Все пошли быстро, и только фрейлейн немного отстала, буквально таща за руку неуклюжего Гарю.

— Ах, боже мой! — оглянулась на них гимназистка и крикнула: — Ляленька, разбудите его!

Затем сама бросилась к ним и, схватив Гарю за другую руку, любовно грубо поволокла его вперед, приговаривая:

— Ну, ты, однобокий, просыпайся!

Когда все они подошли к самой церкви, гимназистка опять заволновалась:

— Ай, сколько народа! Ни за что не проберемся вперед!

— Ну, не проберемся, так не проберемся,— ответил гимназист.

— Хоть бы к прилавку со свечами пробраться.

В конце концов в церкви оказалось вовсе не так тесно, и все наши путники легко пробрались к прилавку и прошли вперед до самой решетки.

Между старшими решено было Гаре свечки не покупать, так как это легко могло бы кончиться тем, что он не только бы мог закапать платье, но, пожалуй, еще и сжег бы своих соседей.

Когда Гаря увидел у всех в руках горящие свечи, он, по обыкновению громко, спросил брата:

— Сережа, Сережа, отчего у меня нет свечки?

Гимназист на мгновение задумался, затем наклонился и прошептал брату на ухо:

— Денег не хватило тебе на свечку.

Гаря на минуту задумался и потом обратился к сестре:

— Дюся, Дюся, у тебя есть деньги?

Дюся быстро наклонилась к брату и сказала громким шепотом:

— Не кричи в церкви: у меня нет денег!

Гаря опять задумался и тем же голосом с тем же вопросом обратился к Ляленьке.

Раскрасневшаяся Ляленька с золотистыми волосами наклонилась и что-то долго шептала Гаре.

Гаря внимательно выслушал, подумал и обратился к Тане:

— Таня, Таня, у тебя есть деньги?

Все фыркнули, а Таня, смущенная и ласковая, наклонилась и прошептала:

— Нету, дорогой Гаричка...

Затем вышел на амвон батюшка и начал читать евангелие. Молящиеся внимательно слушали чтение священника, и в церкви царила благоговейная тишина. Вдруг на всю церковь раздался у прилавка, где продавались свечи, густой для его лет голос Гари:

— Дайте мне свечку без денег!

Ему немедленно дали свечку, и немного погодя торжествующий Гаря стоял около своих с такой же, как и у всех, свечкой в руках.

Он никого из соседей не сжег, даже не закапал платья — ни своего, ни чужого, и, как и другие, в фонарике, сделанном из бумажки, принес свечку домой.

Дома за чаем, умирая со смеху, фрейлейн, брат и сестра рассказывали историю с Гарей, а сестра тормошила его при этом и кричала над его ухом:

— Ну как тебя только хватило сообразить такую штуку!

ЭСКИЗ

Тетя Маша пудов девяти весу и соответственного роста.

И взгляд у нее такой, будто она спрашивает каждого:

«А хочешь, вот, я тебя так прихлопну, что от тебя и места мокрого не останется?»

Никто, очевидно, не хочет этого, и каждый смиренно сторонится, когда тетя Маша величественно проходит, не уступая никому дороги.

Если при этом она и кивает милостиво головой какому-нибудь знакомому, то и тут, кажется, говорит:

«Ну что ж? И кивнула, а все-таки берегись!..»

У тети Маши муж, присяжный поверенный, трое детей, а при них фрейлейн.

— Ваша фрейлейн сколько получает? — спрашивает тетя Маша у кого-либо из знакомых,— двадцать пять, тридцать, сорок? А моя пятнадцать. Весь дом у нее на руках; если я не могу выйти из дому, она ходит с кухаркой на базар, а когда дети ложатся спать — шьет. И при этом очень и очень дорожит своим местом.

В последнем никто не сомневался. Достаточно посмотреть в испуганные глаза хорошенькой и миловидной фрейлейн, чтоб убедиться, как дорожит она своим местом и как боится в чем-нибудь провиниться перед тетей Машей.

Муж боится жены, дети боятся матери, весь дом боится и дрожит, когда входит тетя Маша. Дрожит пол,

дрожат безделушки в этажерке, позвякивают старинные подсвечники с хрустальными подвесками.

Еще маленькой девочкой тетя Маша нередко смотрела, как переливало солнце в граненых призмах этих подвесок и думала о своем, тогдашнем, девическом и мечтала. Теперь тетя Маша все давно передумала и, когда фрейлейн, оправдываясь, говорила:

— Я думала...

Тетя Маша сухо обрывала ее:

— Надо не думать, а спрашивать меня.

И что ни спросишь у тети Маши, ответ на все готов.

Студент, племенник ее, Леня, порядочный, к слову сказать, шалопай,— зная эту слабую сторону оракула, собираясь попросить у тетки взаймы три, пять, а иногда и десять рублей, задавал ей сперва целый ряд вопросов:

— Ты как думаешь, тетя Маша, у дяди Ники будет урожай?

— Конечно, не будет.

— Значит, опять насчет денег будет у него плохо?

— Конечно... Дяде Нике всегда будет плохо.

И далее следуют доводы тети Маши.

Леня подумает о чем-то, потом снова спросит:

— А как ты думаешь... у тети Нины дети правильно воспитываются?

— Конечно, нет! — выкрикнет тетя, и опять следуют доказательства.

А Леня продолжает:

— У тебя, тетя, удивительно логичное мышление!.. А война, тетя Маша, с японцами, как ты думаешь, будет?

Тетя Маша все время настороже и сухо отвечает:

— Ну, это уже политика и до меня не касается.

Леня, не замечая настороженного тона, озабоченно говорит:

— Собственно, я думаю, что война, пожалуй, будет.

— Ну, а я думаю, уж если хочешь знать мое мнение,— думаю, что, пожалуй, как раз войны и не будет.

— Почему?

— А потому, что воевать, значит — рисковать. Если дядя Ника рискует посевами, то ему и терять нечего, а рисковать такому государству, как Россия, когда сзади

Японии стоят Америка, Англия, замаскированная Германия, а там и Австрия, пожалуй...

— Собственно, это совершенно верно,— соглашается Леня.— Вот женский вопрос... Я уверен, тетя Маша, что ты была бы таким министром, какого и между мужчинами не сыскать...

И если тетя Маша снисходительно улыбается, Леня думает: «клюет» и через полчаса выходит из квартиры тети Маши с тремя, пятью, а иногда и с десятью рублями.

ЗАЯЦ

ОТРЫВОК ПЕРВЫЙ

— А так можешь?

И рябой мальчик в рубашке, в штанах, застегнутых одной большой солдатской пуговицей, босой и с животом, торчащим вперед, быстро отвернул оба века кожей внутрь, мясом вверх и смотрел страшными кровавыми глазами на гимназиста.

Маленький гимназист, пригнувшись, впился в искаженное лицо мальчика.

— Эх-ма! — крикнул мальчик и в то же мгновение, опрокидываясь то на руки, то на ноги, пустился колесом по улице. А возвратился он на руках, запрокинув далеко назад ноги.

Гимназистик с блаженной улыбкой, шаркая ногами, шел к нему навстречу. Мальчик вскочил на ноги, нетерпеливо подтянул спускавшиеся штаны, подтянул носом и досадливо оглянул растерянно напряженную, улыбавшуюся фигурку гимназиста.

— Домой, что ль, с ученья идешь?

— Что тебе надо? Говори мне вы,— с усилием смущенно ответил гимназист.

— Вы — ваше благородие? А так можешь?

Мальчик состроил молниеносную гримасу и вдруг, хлопнув изо всей силы гимназиста кулаком по лицу, крикнул ему диким взбешенным голосом:

— А так можешь?

У гимназиста искры посыпались из глаз. Ужас, страх, стыд сразу овладели им, и он хотел в одно время и бежать и броситься на привязавшегося к нему уличного мальчика. Обида взяла верх, и он было бросился уже на мальчика. Но тот, пригнувшись, так решительно ждал его, такими злыми глазами впился, что гимназист вдруг повернулся и пустился бежать.

А вслед ему радостно и злобно кричал уличный мальчик:

— Держи его, держи! А-ту!

И, надув щеки, вставив по два пальца с каждой стороны рта, он пронзительно свистал.

Добежав до угла, гимназист свернул в боковую улицу и пошел шагом.

«Тут никто не видел»,— мелькнуло в его голове.

Он осторожно потрогал битую щеку и посмотрел на свои пальцы: крови не было.

«Может быть, все это мне только снится»,— подумал гимназист и, обратившись к стоявшему извозчику, сказал:

— На дачу Телепнева двадцать копеек.

— Мало,— ответил извозчик.

Мало? А гимназисту казалось, что много и даже очень много, и он решительно не был уверен, найдется ли дома двадцать копеек, чтоб заплатить извозчику.

— Ну, все равно...— махнул рукой извозчик и сел на козла, приглашая гимназиста. Он поехал тихой, ленивой рысью, и гимназист то мучился мыслью о случившемся, то тем, найдется ли дома двадцать копеек, чтоб заплатить извозчику. Но как же иначе было ему поступить?

Пришлось поворачивать и ехать опять по той же улице, и гимназист замер, когда опять увидел босого мальчика с сальной, как блин, на затылок сдвинутой шапкой.

Мальчик лениво возвращался, оглядывая улицу.

Глаза гимназиста и мальчика на мгновенье встретились, и гимназист торопливо стал смотреть в сторону, а мальчик, схватив камень, пустил его в гимназиста.

Камень попал в спину, но гимназист даже не оглянулся. Мальчик еще и еще бросал, но остальные камни пролетали мимо.

. . . . . .

«И единицу сегодня получил»,— мелькнуло в голове гимназиста. И еще мучительнее заныло его сердце. Если б вдруг забыть все, все... умереть или крепко, крепко заснуть, чтоб ни о чем не думать, чтоб уже приехать домой и уже заплатить извозчику и спать, спать...

«Ах, о чем бы мне теперь думать таком, чтоб забыть все? О голубях!! Я выпущу сегодня голубку. А вдруг она улетит? Не может быть: теперь она уже сидит на яйцах».

Он радостно вспомнил, как однажды, когда он гонял своих голубей, вдруг пристала к ним сизая голубка — чужак; как кружилась она с ними и с ними же опустилась сперва на крышу сарая, а потом вместе со всеми вошла в голубятник. Он притаился и замер, и только, когда скрылась она, бросился и захлопнул дверь голубятни. Два месяца прошло, а и до сих пор его сердце радостно бьется при воспоминании. Теперь она села на яйца, и он добился того, что, не вставая с гнезда, она ела с его руки зерна. В эти мгновения он переставал даже дышать, чтоб не испугать как-нибудь голубку.

У него было штук десять голубей: были и трубачи и турмана, пара египетских была, но больше других любил он простую дикую голубку. И всегда ее будет любить, и сегодня он выпустит ее в первый раз полетать, и вся история с мальчиком будет таким пустяком.

Успокоившись, он подумал: и наверно, этот мальчик просто сумасшедший.

— Ну, вот и приехали: только скорее деньги высылайте.

Приехали! Сразу все вспомнилось: и единица, и мальчик, и что хуже всего, извозчик!

Долго не отворяли, и отворила сама мать.

Красивая у него мать или нет? Он любит мать, когда она не беременна и не такой большой живот, когда она причесывалась и ее волосы волнами падали по бокам от прямого раздела. Раз, когда мать думала, что никого нет, она подняла юбки и он увидел ее тело, и с тех пор он постоянно вспоминает об этом.

— Почему ты на извозчике приехал?

— У меня так болит голова, что я насилу стою... Ему надо заплатить двадцать копеек.

Он думал, что не выговорит, на мать не смотрел. Он знал, что, если у матери деньги есть, она даст их... Он надеялся, что все-таки у нее найдутся.

— Я вышлю,— сказала мать.

У сына отлегло от сердца, но голос матери был встревоженный, и тревога передалась сыну: наверно, последний двугривенный.

Они обходили двором, чтоб пройти с заднего крыльца в дом. Мать шла впереди, опустив голову — маленькая, с большим животом, тяжело, как утка, переваливаясь на ходу с боку на бок.

Сын шел за матерью и по затылку читал ее мысли: она думала, откуда теперь достать ей денег. До двадцатого, когда отец получает свое жалованье, еще десять дней. А вдруг ниоткуда не достанет? тогда что ж? Голодная смерть?

— Спрашивали?

— Нет...

— Отчего же у тебя голова разболелась?

— Не знаю... так... Сначала есть хотелось, а потом и заболела голова.

— Есть хочешь?

— Нет, теперь подожду обеда.

Они вошли в маленькие темные сени, а оттуда в большую комнату с дешевыми голубыми обоями, внизу порванными, испачканными, с темными пятнами от сырости.

Вдоль стен стояло четыре детских кровати. Дети были дома.

Самая маленькая на руках у молодой кормилицы, смуглой, черноглазой, с густыми сросшимися бровями. Кормилицу звали Варварой. Она была всегда веселая, ласковая, и дети ее очень любили.

Теперь она сидела на табуретке и вынимала, чтоб кормить, свою большую полную грудь.

— Агаша, отнеси деньги извозчику.

Грязная девочка лет тринадцати, худенькая, босая, с приподнятой юбкой, выглянула из другой комнаты, бросила тряпку, которой мыла пол, и, осторожно взяв двугривенный, на носках прошла в сени.

У Агаши нос был все еще красный, и она все еще сердилась. Прежде у нее под носом росла тонкая длинная

бородавка. Как-то на днях, по совету кормилицы, когда Агаша спала на сундуке, Петя привязал толстой суровой ниткой Агашину бородавку, другой конец нитки прикрепив к замку сундука. Потом он крикнул громко над ее ухом:

— Агаша!

Агаша вскочила, бородавка оторвалась, но пошла кровь. Агаша испугалась и плакала. На другой день нос у нее распух, и с тех пор она сердилась на Петю.

Варвара упрекала ее:

— За что сердишься на мальчика? Будешь красивая теперь...

Петя, не раздеваясь, присел и устало смотрел перед собой.

В углу возились за мытьем котенка трое детей — две девочки и мальчик. Мальчик Федя мимоходом сказал, заметив брата:

— Петя пришел.

На что постарше его сестра Маня ворчливо ответила ему:

— Половину воды расплескал.

Петя сказал сестре:

— А тебе жалко воды? Хочешь, я подарю тебе всю воду из колодца.

— Ах, как умно,— огрызнулась Маня.

Но Феде понравилось, и он так захохотал, что другая, меньшая его сестренка, Оля, начала тоже смеяться.

Сосавшая грудь девочка бросила сосать и, положив пухлую ручонку на грудь кормилицы, откинулась и во все глаза смотрела на смеявшихся.

— Смотрите, смотрите,— радостно закричала Оля,— Нюся тоже смеется!

И, бросившись к ней, она кричала:

— Нюсечка, миленькая, а-гу, а-гу!

Нюся сначала испуганно шарахнулась от нее, но потом просветлела и открыла свой беззубый ротик до ушей.

И чем больше визжала и прыгала Оля, тем больше открывала Нюся ротик, издавая звуки захлебывающегося блаженства.

— Петя, вы что так, не раздемшись, сидите? — спросила Варвара.

Петя мельком взглянул на кормилицу, но, не выдержав ее взгляда, отвернулся и ничего не ответил.

Варвара сказала, хлопая Нюсю по пухлой ножке:

— Ну, попила...— и обратилась к вошедшей Агаше: — Подержи-ка ее.

Агаша вытерла об полы своей юбки руки, сперва проведя их ладонями вниз, а потом перевернув ладони вверх, и, взяв Нюсю, потянулась к ней губами. Нюся, открыв ротик, схватила сразу обе ее губы и начала сосать их, а Агаша тянула:

— О-о!

Передав Нюсю Агаше, Варвара, не спеша, оправилась, еще раз посмотрела на Петю, и, закусив нижнюю губу, так что сверкнули ее красивые белые зубы, вышла из комнаты.

— Ты что не раздеваешься? — спросила мать, выходя из спальни.

— Я пойду погоняю немного голубей.

— Лег бы лучше.

— Нет: на воздухе голова скорее пройдет.

— Идем скорей! — радостно закричал Федя, вскакивая на ноги.— Петя голубей будет гонять!

— Голубей гонять, голубей гонять! — кричала Оля.

— Так нельзя идти: платками обвяжитесь,— сказала мать.— Маня, завяжи им платки.

— Сейчас кончу, мама,— ответила Маня, укладывая вымытого и обернутого в тряпку котенка на свою кровать.

Затем она принялась укутывать детей в платки.

Петя в это время уже вышел.

В передней проходившая Варвара хотела было его схватить, но он ловко увернулся, сердито крикнув ей:

— Убирайся!

— Ну, хорошо же! — лукаво шепнула ему вдогонку Варвара.

Петя быстро прошел к сараю, взлез по деревянной лестнице на крышу и привычной походкой направился по наклонной крыше к слуховому окну, где был устроен его голубятник.

Он отворил дверцы и заглянул внутрь. Голуби, по обыкновению, кружась, о чем-то сердито сообщали голубкам, а те напряженно слушали, вытягивая шейки,

склоняя головки и с любопытством заглядывая то с одной, то с другой стороны на своих повелителей.

Петя отстранился, и голуби стали один за другим выходить чрез открытую дверку на устроенный для них балкончик. В голубятне оставались только птенцы и сизая голубка на яйцах.

Петя осторожно протянул руку и, сняв голубку с гнезда, перенес и ее на балкончик. Затем он запер дверку, взял в руки тут же лежавший на крыше длинный шест с привязанной на конце тряпкой и поднял его. Голуби вспорхнули и разлетелись по крыше.

Только сизая голубка еще оставалась на балкончике и тревожно поворачивала во все стороны головку, точно спрашивая своих подруг, что это значит?

Петя вторично махнул шестом, еще и еще раз, пока, наконец, все голуби не полетели вверх. Последней, оставшись одна, вспорхнула и голубка.

В яркой синеве осеннего неба сверкали белые фигурки голубей, как громадные хлопья снега. Они всё выше и выше широким кругом уносились в небо, а Петя, застыв на месте, следил за ними. Вот она, сизая голубка, кружит и ни на мгновенье не отстает от всех. Кружит в далекой синеве.

Точно живая синева неба вся в золотых и серебряных блестках, и словно купаются в ней голуби. Вот один влетел в круг и вдруг, опрокидываясь через себя, быстро-быстро стал падать к земле. Другой, третий! Ай-ай! И сизая голубка тоже. Ай, как чудно! Ниже всех спустилась она и потом сразу легко опять понеслась вверх. Опять и опять! Как, уже хотят соединиться?! Нет, нет, рано!

И Петя опять замахал своим шестом. И опять далеко в небо улетели голуби.

Внизу стояли и смотрели укутанные в платки Федя и Оля, смотрели на Петю. Петя стоял на крыше с выставленной ногой, с опущенным в руке шестом, и казался им каким-то волшебником.

Вдруг Петя быстро, испуганно спустился с крыши и крикнул:

— Дети, спрячьтесь скорее, а то голуби боятся сесть.

Федя и Оля бросились к стене и, прижавшись, стояли, боясь дышать.

Происходило что-то страшное, что Петя уже угадывал.

Сизая голубка вдруг отделилась от остальных голубей и хотя еще и описывала вокруг них круг, но все более и более широкий. И все дальше и выше улетала она, белой точкой только виднелась и совсем исчезла в яркой синеве. Как будто никогда и не было ее. И пусто стало небо, и на душе у Пети стало так пусто, что даже и слез не было, чтобы плакать. Да и нельзя было плакать: кто плачет по голубке в одиннадцать лет?

Убитый, впустил он остальных голубей в голубятню и возвратился, пройдя прямо в свою комнату.

Варвара, все время стоявшая у наружных дверей с поджатыми под грудь руками, пропустив Петю в комнату, вошла за ним и притворила за собой дверь.

Лицо ее было веселое и лукавое. Она помогала Пете снимать пальто и в то же время щекотала Петю.

— Уходи,— угрюмо, нетерпеливо отталкивая плечом, крикнул Петя.

— Что больно сердитый?

И Варвара, обхватив его, сильно тряхнула.

— Уходи! Я видел, как тебя вчера вечером в сенях обнимал папа.

— Ах, негодный мальчишка, что говорит! Да где ж ты был?!

— Я стоял на чердачной лестнице и все видел, противная! Уходи!

— Ох, какой сердитый! Ну, не буду больше, поцелуй меня.— Она обняла его, ее черные глаза жгли его, он чувствовал, что от нее пахло Нюсей. И одновременно охватывали его: и какое-то приятное щекотанье в теле, и раздраженье, гнев, отвращение.

— Уйди!

— Ну, будет...

Она нагнулась и поцеловала его в шею.

Какое-то дикое, невыразимо мучительное чувство вдруг охватило Петю. Все потемнело в его глазах, исчезло, как в тумане, кроме стола и напильника на нем. И прежде чем что-нибудь сообразить, он схватил напиль-

ник и с размаху острым концом его ударил Варвару в грудь, и сейчас же белая тонкая рубаха на ее груди окрасилась алой, яркой кровью. В ужасе смотрел Петя на кровь и было еще ужаснее смотреть на лицо Варвары: оно изменилось сразу на его глазах: сделалось из смуглого белое, как ее рубаха. Даже губы, даже глаза побелели. Она тихо прошептала: «Ох!» — и схватилась рукой за грудь, палец другой она медленно приложила к губам и неровным шагом прошла в дверь.

Напильник все еще был в руке Пети, и он быстро бросил напильник под кровать. Так же быстро лег и лежал с закрытыми глазами, без мысли, с громко бьющимся сердцем, с пересохшим ртом, напрасно силясь проглотить вдруг исчезнувшую слюну.

И в то же время он как будто был совершенно спокойным. Он смотрел в потолок, как ползла там осенняя муха, и думал: «Уже осень, скоро и эта муха умрет. А Варвара умрет?!»

Как ножом резнуло его по сердцу. Что же такое случилось, как же это случилось, чего и поправить нельзя?!

Точно вдруг стена до неба выросла и сразу отделила его от всего остального мира. И он знал, что когда-нибудь это непр<еменно> случ<ится>. Он во сне раз видел такую стену, и так страшно ему было тогда. И теперь ему сделалось страшно, потому что ему показалось, что он не мог больше дышать. Он приподнялся и дико осмотрелся. Кажется, и сердце перестает биться?!

В детской раздался общий крик:

— Варвара?!

Ах, лучше бы он умер... И, похолодевший, он весь превратился в слух. Но так стучало в груди, в висках, так звенело в ушах, что он сперва ничего не мог расслышать.

Он быстро подошел к двери и стал слушать.

Варвара тихо, прерывающимся голосом, рассказывала, как она упала, наткнувшись на гвоздь.

— Сядь, сядь... Я посмотрю,— говорила мать.

Наступило томительное молчание: мать, очевидно, осматривает Варвару.

— Ничего... Слава богу, не глубоко, промыть сейчас же надо.

Петя вздохнул и лег опять на кровать.

— Простая мужичка... В другой раз не посмеет...

И было жаль в то же время Варвару. Хотелось поцеловать ее и сказать:

«Милая, дорогая Варвара, мне так жаль тебя, и я целую тебя и всегда буду целовать, хоть ты и простая мужичка».

Он услыхал голос отца, возвратившегося со службы, и вспомнил, как вчера отец в углу темной передней прижимал Варвару и целовал ее. Полоска света из двери падала на густые, грязно-седые волосы отца, отец весь согнулся, тяжело дышал, был такой старый и противный.

И теперь голос отца вызвал в Пете то же гадливое чувство.

Это чувство усилилось, когда отец пошел с Варварой искать тот гвоздь, на который наткнулась будто бы Варвара.

Потом Петя услышал стук молотка: это отец забивал какой-то торчавший гвоздь. Петя подошел к двери, нагнулся и стал смотреть в щелку. Отец забивал у противоположной стены. Варвара держала свечку. Затем отец поднялся и обнял Варвару. В это время дверь из столовой отворилась, и на пороге появилась его мать.

Варвара закричала:

— Барин, оставьте, что вы делаете?!

Мать сказала:

— Негодяй!

И хлопнула дверью.

Когда мать ушла, Варвара и отец тихо рассмеялись и разошлись.

Заглянула Агаша в комнату и сказала:

— Обедать подано.

Дети уже ушли в столовую, и в детской была только Варвара да уснувшая в люльке Нюся.

Варвара сидела у окна и не смотрела на Петю, когда тот проходил мимо нее.

И в столовой было грязно. Сквозь клеевую розоватую краску выступали серые пятна. Большой стол был покрыт грязной, уже местами порванной скатертью. Приборы соответствовали остальному: надломанные ножи, вилки, надбитые тарелки всевозможных цветов и фасонов.

На одном конце сидел отец, на другом мать. Пред отцом стоял маленький графинчик с водкой и нарезанный лук.

Петя пытливо посмотрел на отца, ища на лице его следов виноватости за вчерашнее.

Но сегодня лицо отца было спокойнее и веселее обыкновенного.

Он рассказывал Мане, наливая себе, не торопясь, водку, как ловят сетками куропаток.

Маня слушала, насторожась, а Федя — с открытым ртом, а младшая сестра его Оля то силилась слушать, то забывала, что хотела слушать, и ерзала на своем высоком стуле.

Петя поцеловал отцу руку и сел на свое место около матери. Агаша принесла белую фаянсовую миску с супом из свежей капусты и картофеля.

Мать большой деревянной ложкой разливала суп на глубокие тарелки. Первую Оле, вторую Мане, третью Феде и четвертую Пете.

Отцу в это время Агаша принесла на отдельной тарелке большую дымящуюся кость с кусками мяса и сухожилий на ней.

Из кости выглядывал серо-желтый мозг, который отец и все дети очень любили.

Отец бережно принял обеими руками тарелку, не спеша поставил ее перед собой, не спеша налил себе еще рюмку водки, выпил, закусил несколькими ломтиками луку, кусочком хлеба и стал осторожно выколачивать мозг из кости.

Рассказ оборвался, и все, даже Оля, насторожились, следя за действиями отца.

Длинная жирная полоса мозга уже лежала на тарелке.

На всякий случай Маня уже держала в руках корочку хлеба. Она не ошиблась: отец отрезал четыре маленьких ломтика мозгу и каждому из детей положил по кусочку.

Съев мозг, отец налил еще рюмку, выпил ее и принялся за говядину.

Он ел не торопясь, с остановками, иногда еще выпивал и приходил все более в благодушное настроение.

На лице его выступил румянец, глаза благодушно лучились, лицо стало красивым и не было заметно морщинок на нем.

Мать, напротив: по мере того, как веселел отец, она делалась все угрюмее и не упускала случая язвить отца.

После каждой такой фразы отец, на мгновенье смолкая, опускал глаза, а затем опять, точно ничего не случилось, продолжал разговаривать и шутить с детьми.

Каждый раз, как наступало опять молчание, Петя и Маня тяжело настораживались: Маня совершенно сочувствуя матери, Петя боялся и думал, зачем мать непременно хочет раздразнить отца.

Обед закончился рассказом отца о том, какую — гимназистом — он с товарищами однажды устроил штуку с ихним учителем французского языка. Как для этого один гимназист старшего класса надел фрак отца с звездой и вошел в класс учителя, назвавши себя чиновником особых поручений при попечителе. Он экзаменовал учеников и очень хвалил именно тех, которых преследовал француз, заставил самого француза читать и переводить, причем перебивал его и говорил тоном самого француза:

— Неправда, неверно!

Француз все больше робел, а мнимый ревизор входил в азарт. В конце концов он набросился на француза за плохой выговор, за нехорошее наречие,— слабость француза,— и кончил тем, что заявил:

— Я не могу позволить такому лицу, как вы, дальнейшее преподавание. Я вас немедленно увольняю.

И, обратившись к ученикам, крикнул:

— Эй, люди, гоните его вон!

Заговорщики, приготовив для этого момента вывороченные шубы, ворвались из коридора в класс и, подступая к французу, страшным голосом ревели:

— Я парижский прононс!

— Я лионский прононс!

Отец так смешно передавал в лицах всех, что дети умирали от смеха. Даже Манина настороженность исчезла, и только мать, удерживаясь, сохраняла угрюмое выражение.

Когда отец кончил и встал, мать сказала, смотря в упор ему в глаза:

— У меня денег нет.

Он взбешенно крикнул ей:

— Деньги есть и больше, чем надо, если б я не был идиотом и не записал эту дачу на тебя.

Зло, упрямо смотря по-прежнему прямо в глаза, мать ответила:

— Но дача никогда не будет ни заложена, ни продана.

— И черт с тобой, подыхай с голоду!

— Со мной бог, и он поможет мне спасти имущество детей от развратника!

— Что?! — заревел благим матом отец, и лицо его побагровело и стало страшным.

В напряженном молчании раздался его бешеный шепот:

— Погоди же, ехидна: в гроб живую уложу, а добьюсь своего!

Он еще посмотрел, как зверь, приготовившийся к прыжку, но, точно сдерживаемый все тем же пристальным магнитизирующим взглядом, не чувствуя еще сил, пошел, оглядываясь, к двери и повторяя:

— Погоди же...

Он ушел.

Маня жалась к матери, Петя употреблял все усилия, чтобы мать не прочла в нем мучительного вопроса: «Зачем?» Даже Федя и Оля казались какими-то пустыми, забывшими вдруг что-то очень веселое и радостное.

В доме стало тихо и скучно.

Петя не находил себе места и, взяв шапку, надев пальто, вышел из дому. Он перешел дорогу и направился через поле к едва видневшимся дачам.

Посреди поля торчали какие-то бугры,— могилы чумных, как говорит преданье.

Осенний день кончался, надвигались преждевременные сумерки, задул ветер и нес по дороге облака пыли и желтых листьев.

Сердце Пети тоскливо сжималось.

Ах, как все, все было нехорошо! И единица, и пощечина, и голубка, и Варвара, и отец. И все то, что еще будет сегодня ночью, когда отец напьется и будет, как привиденье, ходить по дому, отыскивая мать. И сегодня это

непременно будет, потому что после ссоры он всегда напивается. И будет так страшно. И еще страшнее думать об этом и ждать, когда придет ночь, темная и страшная, и отделит их дом от всех. И останутся они одни в своем доме с пьяным, ничего не помнящим отцом.

Петя тоскливо смотрел на город.

Есть же счастливцы из его товарищей, которые живут в городе, в теплых, светлых квартирах, у которых даже деньги есть. Скучно станет — захотят, пойдут в кондитерскую есть пирожное или в гости к товарищам пойдут, на главную улицу гулять пойдут. На улице светло, как днем, горят фонари, горят большие окна магазинов, везде народ, смех, оживленье...

А здесь...

Петя уныло оглянулся.

Холодные тучи совсем низко бежали над темневшим полем, ветер выл и свистал, все темнее становилось, и нигде кругом не было видно ни одного огонька.

Совсем стемнело. В одно слилось и небо и земля, точно в бездну упало вдруг все, и только далеко-далеко из этой бездны, как страшный глаз, светился огонек в их доме. Пете казалось, вот-вот он упадет в эту бездну, и он осторожно и высоко поднимал ноги.

Когда он вошел в детскую и свет лампы бросился ему в глаза, его охватило радостное чувство теплоты, света, жилья. Он быстро разделся и весело крикнул:

— Кто хочет сказки слушать?

— Я, я, я!

И все бросились к Пете.

Петя умел рассказывать сказки, и, когда он рассказывал, слушали его не только дети, но и Варвара и Агаша.

— Только не рассказывай страшную! — кричала Оля.

— Ну, вот? — отвечала Маня.— А не страшная разве может быть интересная?

— Конечно,— нерешительно поддержала Агаша.

В другое время вмешалась бы и Варвара, но теперь она молчала, лежа на кровати, и неизвестно было, спала она или нет.

— Ну, хорошо,— согласилась Оля,— рассказывай страшную, а когда мне будет делаться очень страшно, я буду закрывать глазки и ушки.

— Я расскажу вам про разбойников.

— О-о! — протянула Маня и сверкнула глазами.

— Ой! — подхватил Федя.

— Ой-ой-ой! — завизжала Оля, и все рассмеялись.

— Ну, слушайте...

Но в это время раздался из спальни голос матери:

— Петя!

Петя встал и пошел к матери.

— Затвори двери.

И мать заговорила тихим голосом:

— Не пугай ты их на ночь разбойниками — да еще сегодня... И без того свои разбойники, может быть, придут. Лучше учи уроки скорей и приляг пока, только не раздевайся.

Мурашки пробежали по спине Пети, и изменившимся голосом он сказал:

— Ну хорошо, я им что-нибудь такое коротенькое расскажу.

Он возвратился, сел и начал:

— Ну, так вот... Разбойники собрались раз и решили идти в Царство сказок... И пошли... А кто хочет знать, что они там наделали, пусть сам идет в это царство и узнает, а я не знаю и мне некогда, потому что надо уроки учить.

— Ну?!

— Ну, Петя!?

Но Петя быстро вскочил и, убежав в свою комнату, запер ее на крючок.

Дети колотили в дверь и кричали:

— Противный, гадкий, нехороший!

— Детки, оставьте Петю,— сегодня все пораньше ложитесь.

Маня поняла и деловито ответила:

— Хорошо, мама, хорошо, — я сейчас начну их укладывать.

Маня укладывала Федю, Олю и что-то шептала им на ухо. И оба сейчас же закрыли глазки и лежали не двигаясь, точно уже спали.

Улегшись, то же сделала и Маня.

Агаша еще посидела, вздохнула и тоже ушла было.

— Агаша, сегодня спи в детской!

Агаша ушла, возвратилась назад с мешком, бросила его к печке и легла, подложив руку под голову.

Во всем доме сразу наступила искусственная, настороженная тишина.

И страшней всех было Оле. Она иногда не выдерживала и открывала глазки. Тогда она видела комнату, тускло освещенную лампадкой. Только риза сверкала, но туда боялась смотреть Оля, потому что ей казалось, что божья матерь на иконе с спасителем иногда шевелится. Еще страшнее было смотреть в темные окна. Казалось, что кто-то страшный там заглядывал в комнату.

И так страшно сделалось, наконец, Оле, что, закрыв глаза, она сразу и заснула от страху.

Пете тоже плохо шли уроки в голову. Все казалось ему, что кто-то где-то ходит, и он постоянно отрывался и прислушивался.

Вот скрипнула дверь; может быть, идет пьяный отец?!

Раз попробовали было запереть двери. Он выломал замок одним ударом ноги — и что только было после этого!

Наверно, когда-нибудь отец всех их убьет. И его первого. Опять точно ходит кто-то, опять скрипнула дверь — и тихо, тихо. Ах, как страшно! Как мучительно и ждать и заниматься!

Нет, лучше прилечь и уж только слушать.

Заснул и Петя.

Мать зашла в детскую, заглянула в Петину комнату. Постояла, осторожно подошла к столу, потушила лампочку и ушла к себе в спальню. Присела там пред образами с красной лампадкой, сложила руки и так и сидела замерши, впившись глазами в образа.

Буря все сильнее разыгрывалась. Точно срывал крышу ветер, что-то хлопало, и точно вздрагивал весь дом. А иногда с диким воем и свистом ветер врывался в трубу,— так резко, так резко, так неожиданно, что беременная маленькая женщина начинала креститься, и тогда глаза ее еще неотступнее смотрели в образа. Точно говорили:

«Нет, нет, вы должны мне помочь, и я не отстану от вас. Тут, тут и умру...»

А то сразу вдруг стихала буря, и наступала такая тишина, что, охваченная ужасом, она вскакивала и, заломив руки за голову, ходила по комнате, и белые губы ее шептали:

— За что же, господи?!

Простые стенные часы в столовой глухо пробили одиннадцать, двенадцать часов.

«Скоро теперь»...— мелькнуло в ее голове, и сразу похолодели ее руки. Точно ударили в набат сердце, виски, вся кровь.

Еще ни одного подозрительного звука не было слышно, и буря стихла, но она уже явственно чувствовала его. Он встает, наконец, из-за своего стола. Полчетверти водки он выпил и, качаясь, идет к двери.

Он старается идти беззвучно, осторожно, но ноги изменяют и тяжело ступают. Иногда гулко разносится по комнатам падающий вдруг стул, стол.

Дрожащими руками торопливо мать зажигает лампу в детской, приносит из Петиной комнаты и из спальни. Светло, как днем.

— Деточки, милые, вставайте,— наклоняется она к кроваткам, и быстро вскакивают Маня, Федя, Оля. Они уже на полу в рубашечках и дрожат, ухватившись за мать.

«Петю не успела разбудить, пусть спит, может, пронесет господь»,— проносится в голове матери.

— Идем к печке, там теплее. Варвара, разбуди Нюсю, чтоб не испугалась от крика. Агаша, Агаша...

Агаша поднялась и протирала, ничего не понимая, глаза.

Уже в соседней комнате тяжелые шаги.

— Смотрите же, сразу! Как можно громче!

Дверь отворилась, и на пороге стоял, качаясь, страшный человек с бессмысленными, мутными глазами, взъерошенными волосами, в одной рубахе, с голыми ногами.

Отчаянный, пронзительный крик, несущийся ему навстречу, заставляет его на мгновенье точно опомниться.

Иногда от этого крика он уходит сразу и больше не возвращается.

Иногда, выпив еще до потери полного сознания, он возвращался опять.

На этот раз он постоял, что-то вроде презрительной гримасы мелькнуло на его лице, какая-то злая радость разлилась и медленно, с видом идиота, помешанного, у которого в мозгу тем не менее какая-то мысль засела, медленно пошел к стоявшим у печки, и, чем ближе подходил он, тем бессмысленнее и тем отвратительнее, тем ужаснее было его лицо.

Он не дошел одного шага, остановился и осторожно, чтобы не потерять равновесия, начал поднимать ногу к животу женщины.

Лицо его сделалось еще более животным, бессмысленным и радостным.

Уже была поднята нога, когда Маня, сообразив, бросилась и сзади дернула отца за рубаху. Он качнулся, чуть не упал, а в это время новый отчаянный крик всех, еще сильнее, огорошил его. Этот крик разбудил, наконец, Петю, и он выскочил из своей комнаты как раз в то мгновенье, когда пьяный тупо оглядывался и искал того, кто дернул его. И, увидев сына, он, вдруг размахнувшись, изо всей силы так ударил его по лицу, что Петя упал, а комната наполнилась отчаянным, не прерывающимся уже воплем.

Как тигрица, бросилась на мужа мать и толкнула его двумя руками так, что и он, наконец, упал.

И сразу все стихло.

Пьяный ворочался на полу и едва внятно шептал:

— А, так ты так... погоди...

Варвара сделала всем движение рукой и подошла к лежавшему.

— Вставайте, барин.

— Ты кто?

— Варвара. Пойдем искать гвоздь, на который я упала, вы хотели забить его.

— Пойдем,— лепетал пьяный.

Варвара помогла ему встать и повела к двери.

Он покорно шел, но в дверях, точно вспомнив что-то, крикнул:

— Стой!

— Гвоздь, гвоздь забить надо,— тихо шептала Варвара, увлекая пьяного...

. . . . . .

ОТРЫВОК ВТОРОЙ

Низкие берега реки почти сливались с плоской, без границы, монгольской степью.

Через реку был переброшен мост, на обеих сторонах которого стояло по пушке.

Внизу насыпи, на более высоком берегу, стояли бараки или, вернее, стояла одна большая землянка, перегороженная на две половины: одна большая, другая половина совсем маленькая — офицерская. Тонкая дощатая переборка разделяла оба отделения. Ни по устройству, ни по убранству офицерское отделение ничем не отличалось от солдатского.

Такие же нары, та же солома вместо тюфяка, грязная подушка в головах, очень поношенный чемодан в углу. Табурет, стол. Тот же воздух, пропитанный махоркой, ржаным хлебом, грязным бельем.

На нарах лежал молодой офицер Чернышев и, заложив руки за голову, смотрел в потолок. Лицо офицера было точно опухшее или заспанное, бледное. Большие карие глаза смотрели устало, без выражения.

Говор в солдатском отделении доносился довольно явственно и особенно отдельные фразы из тех, которые для того и говорились, чтоб их слышали где надо. Чей-то голос ядовито говорил:

— А тебе бы по полстакана сахару накладывать, да, может, вина красного в чай, а в зубы настоящую сигарку... Да каждый день так: дуй, пока не лопнешь.

— Где уж нам,— смиренно язвительно отвечал другой голос,— сыты будем и наглядкой. Так уже устроено раньше нашего: одни пьют, другие глядят.

Офицер повел немного глазами по направлению к говорившим и опять уставился в потолок.

«И моей жизни находятся завидующие»,— мысленно усмехнулся офицер.

Солдаты продолжали.

Весь ничтожный обиход офицера был перечислен. Не забыли даже эмалированного чайника, служебного бинокля, тонкого сукна, часов.

Чернышев как-то попробовал сказать солдатам, чтобы говорили они потише и не мешали ему.

И в тот же день он услышал громкий разговор на тему: не мешать тем, кто ничего не делает, ничего не думает. Речь шла как будто о товарищах, но не было никакого сомнения, по чьему адресу говорилось все это.

Еще так недавно там, в России, немыслимо было что-нибудь подобное.

Точно подменил кто-то солдат.

Собственно, конечно, это был не обычный тип солдата. Ни он, Чернышев, не знал всех этих запасных, ни эти запасные не знали раньше его, Чернышева.

За три месяца совместной жизни с этими семидесятью солдатами не только не установилось никакой связи, но нарушилась и тень той, какая существовала на почве обычной дисциплины. Той дисциплины, по которой вся сила была в начальстве, в приказах, номерах исходящих. Солдат во всем этом был именно тот элемент, с которым меньше всего считались. И сама дисциплина представляла достаточно гарантий, чтоб с этим солдатом не считаться. И вдруг как-то так случилось, что так приходится считаться с этим солдатом, как будто и он, Чернышев, ни больше, ни меньше, как только семьдесят первый солдат, совершенно незаконно пользующийся даже теми ничтожными преимуществами, какими пользовался он: два куска сахару в стакан, две чарки вина, рублевый табак.

И этим далеко не исчерпывалось неудовольствие солдат. Чернышев не сомневался, что и сегодня, как всегда, разговор сведется к главному.

Он хотел было встать и уйти, — остался, и еще усталей было его одутловатое лицо.

Там, за перегородкой, не заставили себя просить.

— Опять ночь надвигается,— заговорил кто-то, и сердце Чернышева болезненно сжалось, а голос продолжал:—Опять с боку на бок повертывайся... А, может, она, сердечная, та самая и есть, которая последней на роду написана...

— А ты не пугай.

— Буду пугать, не трусь! А трусишь — не ходи на войну. Я вот тебе прямо отрежу: чуть что, так и пырну в бок штыком, а то пулю в затылок. А ты думал как? Хочешь первым в мирное время величаться, тебе и сахар

и вино, а хунхуз или японец пришел, так ты и в кусты: врешь, врешь, выволочим из кустов.

Лицо Чернышева уже не было равнодушным. Глаза загорелись и зло, напряженно смотрели перед собой.

«Не верят, подлецы,— мучительно думал он,— считают, что в кусты спрячусь... Хоть бы скорее уж нападение, что ли, было...»

И, как бы в ответ ему, новый голос заговорил:

— А хоть и будет нападение: можешь ты себе представить, как это все случится. Вот, может, ты умен, а у меня в голове совсем не сидит, как это будет. Ну, стоит, скажем, часовой, подчасок подальше от него; таращат глаза: зги не видно, таращи, пожалуй. Ты в одну сторону глядишь, а он с другой ужом по траве,— вырос сразу, ткнул в глотку ножом, а другой подчаска... А мы спим... Вдруг бац-бара-бац! Ладно еще, если одним постом дело обойдется, а то ведь сперва и в казарму препожаловать могут. Со сна, да впотьмах — как курчат и передушат...

— Опять пушки: когда палить в них? Скажем, хоть со стороны камышей зайдут. Пока не высунешься вплоть, что увидишь, в кого станешь палить? А высунешься, тогда не то что из пушек, из ружей — и то как бы успеть.

Новый голос подхватил:

— И ограда проволочная, и звонки не помогут: япошка проклятый, он насквозь знает, лучше нашего, где что тут налажено у нас, знает он доподлинно и сколько нас, и какие у нас головы, и чем набиты...

— Чем набиты, — соломой набиты: до последнего человека как есть деревня,— баран да овца и опять с конца. А спросить не у кого... Так и пропадешь ни за грош.

Чернышев не вытерпел и порывисто встал.

— Не любишь, — раздался удовлетворенный иронический голос и смех многих.

Чернышев надел шапку и вышел по ступенькам из барака. Постоял перед входом и стал подниматься на насыпь.

С высоты насыпи мост казался легким, переброшенным кое-как через реку. Только внизу видны были колоссальные устои этого моста.

Чернышев прошел на средину моста, отдал честь часовому у пушки и остановился, задумчиво смотря на противоположный берег реки.

«И вот в самом деле,— думал он,— как действительно произойдет это нападение, откуда ждать его и будет ли время что-нибудь предпринять для его отвращения?»

Он уныло обвел горизонт.

Все время, вот уже три недели, шли дожди. Первый день сегодня дождя не было, но небо продолжало хмуриться, и только теперь, в момент заката, солнце успело пробиться из туч и красным, без лучей, диском стояло на самом краю горизонта. Тяжелые тучи низко спустились над степью, точно стараясь закрыть и тот небольшой просвет, который оставался между ним и степью...

Солнце быстро уходило за горизонт, и так же быстро надвигались, точно бесшумно ползли, со всех сторон преждевременные сумерки.

Скрылось солнце, и только кровавая полоса еще зловеще горела.

Тоскливое, жуткое чувство овладело Чернышевым.

«Опять эта ночь, это бессмысленное напряжение, ожидание, может быть, страх... Ах, боже мой, он знает, что, случись это, и он бы не растерялся, но это ожидание... Что он может сделать со своими нервами? И как эти негодяи отлично, тонко, как в книге, читают в душе. Никакой дисциплины: как воевать с ними?!»

Напряженье опять охватило Чернышева, болезненное, тяжелое, то напряжение, которое не оставляло его все эти три месяца его пребывания на этом мосту. Ночью от ожидания нападения, днем от этого непрерывного шпигованья солдатами.

Чернышев совершенно не мог уяснить себе этого раздражения солдат. Обращается он с ними хорошо: несмотря на все давление роты, требующей остатков, он почти все деньги тратил на их корм, и тем не менее уже два анонимных доноса было на него, по поводу второго назначили ревизию, и все, конечно, оказалось в порядке.

Он читал эти доносы. Написано толково, грамотно, так, как и он, пожалуй бы, не написал. В доносе, между прочим, писали:

«Не надо забывать, что случай с Потемкиным изве-

стен здесь и, казалось бы, должен служить, и особенно здесь, предостережением, что матросы и солдаты — люди и требуют прежде всего человеческого отношения к себе, начиная с еды и кончая обращением, а также знания того дела, в котором берущиеся за него являются ответственными за жизнь их подчиненных».

«Разве прийти к ним и сказать:

— Братцы, я, конечно, понимаю всю ответственность и, конечно, не подготовлен и не могу, откровенно совершенно говорю...»

Что-то легкое, радостное, отчего он было сразу воспрял духом, оставляло его по мере того, как он слагал свою речь, и совершенно оставило. Не кончив, он безнадежно махнул рукой и стал медленно ходить по мосту.

Совсем стемнело.

«Вот сейчас: тра-ах! и я лечу вместе с осколками моста в воду».

Там, внизу, едва сверкала серая, вздувшаяся от дождей, масса воды.

Он так реально почувствовал, как уже погружается в воду, что вздрогнул и отошел от перил.

«Упадешь, пожалуй, еще».

И мучительно подумал:

«Неужели же я, действительно, трус?!»

Воздух был душный, мокрый, он снял шапку, вытер рукавом потный лоб и подумал: «Во всяком случае, и теперь это ясно, что я не военный».

Мчался поезд, и однообразный гул от него разносился далеко кругом. Вот сверкнули на горизонте огненные глаза, ближе, ближе — и с грохотом, треском, шипя и извиваясь, как громадная змея, промчался поезд, опахнувши и часового и Чернышева.

«Так упал уже один часовой под вагоны,— надо бы их дальше ставить... Но ведь по уставу надо так ставить как стоит часовой. Нарушишь устав, а потом что-нибудь,— и иди под суд, да еще в военное время...

И начальство к тому же какое-то несуразное попалось,— такой же, в сущности, как и я, воин, но при том канцелярист до мозга костей, только и интересуется что хозяйственною частью: по целым дням, запершись сидит с артельщиком.

— Я, говорит, вынужден экономию нагонять, иначе останемся без запасного капитала...

Вор он, конечно. В месяц рублей тысячу ворует. И ни с кем не делится из низших. Все воруют.

Говорит мне:

— Без ваших остатков просто совсем пропал. Не могу по справочным ценам кормить солдат, не понимаю, как вы умудряетесь. Только и покрою перерасход вашими сбережениями.

Вот тебе и запасный капитал. Прийти к солдатам и сказать разве:

— Так и так, братцы, вот вам отпускаемые суммы — кормитесь, как знаете.

Что, в самом деле? Субалтерн я офицер, был таким, и останусь. Кампания к концу, а у меня никакой награды нет и не будет. Из-за чего же стараться да неприятности от солдат наживать? Ей-богу, так и следует сделать».

Чернышев отлично сознавал, что ничего подобного он, конечно, не решится никогда сделать, и тем не менее, возвращаясь домой, он шел и думал о том, как завтра он соберет солдат и объявит им, что довольство передает им на руки.

Солдаты выслушают и облегченно вздохнут, и кто-нибудь из них скажет:

— Конечно, ваше благородие, что вам грех на душу брать...

«Какой грех? Грех, конечно: скотина стоит сто рублей, а платишь за нее китайцу двадцать пять и через тех же солдатиков... Все на виду... И, главное, хоть бы польза какая-нибудь была тебе. Обещает из остатков, а остатки... Э... Нет, непременно, непременно так и сделаю. Пускай начальство на дыбы лезет, что оно мне может сделать?

В поручики не представят? Я все равно в военной службе не останусь. Как только война кончится, сейчас же уйду сперва в запас, подыщу какое-нибудь место, может быть, в земские начальники...»

Войдя в свое отделение, Чернышев повелительным голосом крикнул за перегородку денщику:

— Семен, чайник, чайник!

— Семен, слышишь? Зовут.

Спавший Семен вскочил и спросонья набросился на будившего:

— Чего тебе?

— Чаю завари,— раздался голос Чернышева.

И так как никакого ответа не последовало, то Чернышев хотел крикнуть:

«Ты в знак того, что слышал распоряжение мое, должен отвечать всегда: слушаю-с».

Он и рот уже открыл, но ничего не сказал и только рукой махнул.

И только после долгой паузы спросил:

— Семен, ты слышал? — налей чаю.

На что заспанный голос ответил:

— Так что слышал.

А Чернышев вздохнул и с горечью подумал:

«Это солдат? Совершенно отвыкли в своих деревнях от всякой выправки...»

. . . . . .

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий том включены очерки и рассказы Гарина второй половины 90-х — начала 900-х годов.

Во второй половине 90-х годов рабочее движение в России приняло массовый характер, повсюду возникали социал-демократические кружки. Сама жизнь подтверждала правильность марксистских взглядов: рабочий класс становился могучей передовой силой освободительного движения.

Изменившаяся общественно-политическая обстановка, сближение с самарскими марксистами способствовали окончательному разрыву Гарина в 1897 году с народническим «Русским богатством»; он почувствовал, что «жизненная и теоретическая правда, а следовательно, и будущность была на стороне реалистов — марксистов, а не идеалистов — народников»,— говорилось о нем в некрологе, напечатанном в журнале «Вестник жизни» (1907, № 1). При ближайшем участии Гарина реорганизована газета «Самарский вестник», в которой, по донесению начальника Главного управления по делам печати Соловьева министру внутренних дел Горемыкину, «существующий экономический строй и все находящиеся в связи с ним явления общественной жизни... постоянно обсуждаются согласно учению Маркса»; газета рисует в самом мрачном свете «положение русского крестьянина и вообще простого рабочего люда...» Далее Соловьев указывал, что «Самарский вестник» говорит «туманными намеками о необходимости насильственного переворота» для «устранения нынешнего экономического порядка» («Красный архив», 1925, № 2 (9), стр. 238—239).

В произведениях этого периода Гарин по существу ставит те же темы и проблемы, что и раньше, но теперь он разрабатывает их глубже, на более широком материале,— критика общественных отношений приобретает у него бóльшую остроту.

Значительное место в его творчестве по-прежнему занимает крестьянская тема.

В очерках «Картинки Волыни», «На почлеге», «Мои скитания», «В сутолоке провинциальной жизни» изображается властное вторжение капитализма в деревню, разрушение общины, превращение крестьян в фабричных или мануфактурных рабочих. Рассказ «Волк» повествует о трагической судьбе талантливого самородка-крестьянина, загубленного сельским «миром», с которым он тщетно пытался бороться.

Продолжая свою полемику с народниками, Гарин подчеркивает консервативность общины, непрерывность процесса расслоения деревни, рисует потрясающие картины все усиливающейся эксплуатации крестьян помещиками, кулаками, торговцами, земскими деятелями.

Многие произведения в данном томе посвящены вопросам общественной морали, семейных отношений, тяжелого, бесправного положения женщин и детей во всех слоях общества; автор тесно связывает эти вопросы с критикой современного ему социального и общественного строя. В рассказах «Ревекка», «Клотильда», «Дворец Дима» и в более поздних — «Правда», «Встреча», в «Отрывке первом» из неоконченного произведения «Заяц» Гарин изображает трагическое положение женщины в буржуазном обществе, мораль которого основана на власти денег.

Произведения эти исполнены гневного протеста против фальшивой и лицемерной морали «порядочного» общества, топчущего в грязь человеческое достоинство, большие человеческие чувства. В изображении женских образов появляются новые мотивы: так самоубийство героини рассказа «Правда» — это уже форма протеста, вызов, брошенный обществу, «создавшему и поддерживающему весь этот ад жизни». Героиня рассказа «Ревекка» в поисках путей переустройства жизни жадно тянется к знанию, а народоволка Маня Карташева (одна из героинь повести «Инженеры») обретает счастье в борьбе за свободу народа.

В творчестве Гарина по-прежнему большое место отведено изображению жизни угнетаемых царским правительством народностей («Картинки Волыни», «В сутолоке провинциальной жизни»); описанию жизни народов других стран — Кореи, Китая и Японии — посвящены его очерки кругосветного путешествия «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову». Очерки и рассказы на эту тему, написанные, как и большинство произведений этих лет, в резко обличительной манере, проникнуты призывом к лучшей жизни, «более справедливой и более равноправной».

В начале 900-х годов, когда царское правительство в целях

отвлечения народных масс от назревающей революции организовывало татаро-армянскую резню, еврейские погромы, Гарин, как и многие прогрессивные писатели, создал ряд произведений, в которых выступил в защиту угнетенных национальностей («Гений», «Еврейский погром» и др.).

В начале своей деятельности Гарин возлагал большие надежды на демократическую интеллигенцию,— она казалась ему силой, способной переустроить жизнь на новых началах. Вновь обращаясь в поисках движущих сил исторического развития к интеллигентской среде, Гарин по-новому расценивает ее возможности.

Если раньше Гарин верил, что скромные самоотверженные труженики типа земского врача Колпина («Жизнь и смерть») способны преобразовать действительность, то позднее, в очерках «В сутолоке провинциальной жизни», писатель по-другому оценивает их деятельность, уже понимая тщетность усилий таких одиночек изменить жизнь.

В эти годы Гарин делает попытку показать новую, нарождающуюся силу,— в тех же очерках изображен кружок самарских марксистов, и Гарин с большим сочувствием показывает их в горячих спорах с народниками по злободневному тогда вопросу о путях развития России.

По свидетельству А. Санина, Гарин очень внимательно «приглядывался» к марксистам. «Он, можно сказать, положительно изучал нас»,— пишет Санин в своей статье «Самарский вестник» в руках марксистов. 1896—1897» (изд-во Общества политкаторжан, М. 1933, стр. 62), указывая в ней, что самарские марксисты привлекали Гарина «как типы, как представители боевого движения».

На творчество Гарина начала 900-х годов сильное влияние оказал революционный подъем в стране; это время отмечено для писателя литературным сотрудничеством с М. Горьким (знакомство с которым состоялось у него еще в середине 90-х годов) в «Жизни», в телешовских «средах», затем в возглавленном Горьким книгоиздательстве «Знание». Не случайно именно в эти годы Гарин создает произведение, центральным образом которого является рабочий.

Герой его рассказа «На практике» — простой машинист, и писатель с восхищением говорит о его виртуозной работе в труднейших условиях, необыкновенной силе и выносливости, о его находчивости, мужестве и вместе с тем скромности, доброте, истинной человечности. Это не забитая темная личность, какой представал рабочий в произведениях многих писателей — современников Гарина, а че-

ловек, стремящийся к знанию, культуре, выступающий вместе с товарищами на защиту своих прав.

Изображение высоких духовных качеств человека из народа одновременно с показом морального разложения «хозяев жизни» (рассказ «Бабушка») приводило к заключению, что будущее должно принадлежать людям труда, народу.

Гарин разрабатывает в своих произведениях тему труда, по выражению Горького, как «поэт труда», рассказывая о своей работе путейца «прекрасно, с великим жаром» (М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, М. Гослитиздат, 1952, т. 17, стр. 75).

Тема творческого созидательного труда, которую Гарин затрагивал и в предшествующих произведениях, связывается теперь у него с вопросом переустройства жизни; он понимает, что такой труд может быть только в обществе, построенном на началах трудового равенства и братства людей всех национальностей.

В период революции 1905 года, находясь в Маньчжурии, Гарин является членом Харбинского комитета, ведет нелегальную работу по распространению среди войска нелегальной литературы; незадолго до смерти он вносит крупную сумму в кассу социал-демократической партии. Революционными настроениями 1905 года окрашен «Отрывок второй» незавершенного произведения «Заяц».

При несомненном сочувствии идеям марксизма представления Гарина об этом учении, его социальные идеалы были недостаточно ясными и отчетливыми. Осознав роль рабочего класса, как основного двигателя истории, Гарин, однако, не представлял себе конкретных путей его борьбы с самодержавно-буржуазным строем России,— возможно, этим в значительной мере и объясняется тот факт, что политические симпатии Гарина не нашли своего полного отражения в его художественных произведениях.

Очерки и рассказы Гарина печатались главным образом в газетах, часть их была напечатана в журналах и сборниках. Некоторые из них переиздавались при жизни автора. Многие произведения автор правил, очевидно, для собрания сочинений в изд. «Знание», первые томы которого вышли при его жизни.

Все произведения, опубликованные в собрании сочинений в изд. т-ва «Знание», в тексте которых имеются разночтения с прижизненными публикациями, свидетельствующие об авторской правке, печатаются по этому изданию. Ряд очерков и рассказов печатается по текстам первых публикаций; произведения, прижизненные публикации которых не выявлены, печатаются по текстам посмертных

изданий: Полному собранию сочинений, изд. «Освобождение» и Полному собранию сочинений, изд. т-ва А. Ф. Маркса («Веселые люди», «Волк», «Осень» и др.). Источники текста «Правды», «Ревекки», «Зайца» и некоторых других произведений указываются в примечаниях к ним.

Во время подготовки третьего тома настоящего издания рассказ «Вальнек-Вальновский» был известен только в публикациях собр. соч. изд. «Знание», «Освобождение» и Маркса; в последнем он датирован 1898 годом, чем и объясняется включение его в данный том. Первая публикация рассказа (1895) выявлена уже после выхода в свет третьего тома; тогда же выявлен и очерк «Из моего дневника».

ИЗ МОЕГО ДНЕВНИКА

Впервые — в «Самарской газете», 1895, № 1, 1 января.

В письме к А. И. Иванчину-Писареву (без даты; предположительная датировка — конец 1894 года) Гарин передавал ему мнение одного их своих читателей:

«Ах как хорошо, что Короленко поехал в Америку... Вот Вам бы параллельно с ним свои наблюдения по России. Мы высоко ценим Вашу искренность, способность наблюдать».— «А действительно?! — спрашивает Гарин Иванчина-Писарева.— Что если подсветить нашу жизнь? Короленко очерки [имеются в виду «Без языка».— *И. Ю.*] только выиграют, и эффект это должно произвести порядочный. Пишите нам в деревню, что Вы думаете об этом. Тогда я дал бы легкий очерк поездки на юг, Волынь... Матерьяла много, хорошо подчеркивается и краски яркие...» (ИРЛИ).

Одним из этих очерков, по-видимому, и является очерк «Из моего дневника», в котором писатель рассказывает о своей поездке в Крым.

Очерк в собрания сочинений не включался.

ВАЛЬНЕК-ВАЛЬНОВСКИЙ

Впервые — в «Сборнике в пользу недостаточных студентов университета св. Владимира» (Спб. 1895), с подзаголовком *Из железнодорожного быта.*

При публикации рассказа в собр. соч. изд. «Знание» (т. V) снят подзаголовок; после «здесь вовсе не нажива, как видите» (стр. 21) исключена фраза: «Если хотите, здесь такой трагизм полный».

Впервые — в газете «Волжский вестник», 1896, № 24, 26 января, под названием «Горе и счастье», с подзаголовком *Рассказ отца*, и посвящением: «Посвящается О. А. Боратынской».

В той же газете (№ 26, 28 января) была помещена заметка «Вечер в пользу высших женских курсов и г. Гарин (Н. Г. Михайловский)», в которой сообщалось о состоявшемся в Казани 25 января благотворительном вечере, на котором Гарин выступил с чтением этого рассказа.

«...главный интерес вечера,— говорилось в заметке,— сосредоточивался на г. Гарине, которого молодежь встретила восторженно и после того, как он прочел свой интересный и так тепло написанный рассказ, оконченный накануне и напечатанный теперь в 24 № «Волжского вестника», неоднократно вызывала его».

С незначительными изменениями, без посвящения рассказ перепечатан «Самарским вестником» (1896, № 50, 3 марта).

Как явствует из небольшого предисловия писателя к этому произведению при публикации его в «Журнале для всех» (1899, № 3), в разделе «Из мира детей», он предполагал напечатать в этом разделе цикл рассказов. «Я задумал несколько очерков из детской жизни,— писал Гарин.— По соглашению с редакцией очерки эти от поры до времени будут появляться на столбцах этого журнала. Два-три из них были напечатаны раньше в разных провинциальных изданиях и войдут сюда в переработанном виде». Однако в следующих номерах журнала, продолжения этого цикла не последовало.

Готовя рассказ для журнала, Гарин снял подзаголовок, восстановил посвящение, значительно сократил и стилистически выправил текст. Наиболее существенное сокращение сделано после слов «всем вашим издерганным нервам» (стр. 38), где в газете шел следующий текст:

«И вы идете и горько думаете: вот маленький ребенок как может отравить всю поэзию, всю красоту семейной жизни, опошлить вдруг все то, чему хотел бы поклоняться. Вам очевидным становится недостаток в дорогом вам человеке, вашей жене, недостаток, который, не будь этого, вы, может быть, так никогда и не заметили бы: она теряется в критические минуты, она, очевидно, не на высоте своего положения и не может справиться даже с такими пустяками, как каприз ребенка. Что же дальше будет? И от такого вопроса, может быть, уже серьезные сомнения начнут закрадываться в вашу душу о том, что не поздно ли убедились вы, что взяли себе не равного

работника в семью, а такого же в сущности ребенка, как и тот, с которым она благодаря своей бесхарактерной нежности не может справиться. Вы вспоминаете ее растерянный лепет на ваш взбешенный довод, что так нельзя же, лепет о том, что это еще ребенок, что он не виноват в своих нервах...

Вы машете отчаянно рукой, и я вас от души поздравляю, если при этом вы не готовы даже пожалеть о высшем образовании вашей жены, о той академии в вашей семье, о которой вы сами так мечтали, если вдруг образ вашей бабушки без всякого образования, но решительной женщины, ярко не встанет перед вами».

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись «Исповеди отца» с незначительной правкой Гарина.

В настоящем томе «Исповедь отца» печатается по журнальному тексту, сверенному с этой машинописью и предшествующими публикациями.

СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК

Впервые — в газете «Камско-Волжский край», 1896, № 52, 22 февраля.

Двадцать девятого февраля того же года рассказ был перепечатан в газете «Самарский вестник» (№ 47). Во фразе «что не в силах буду себя побороть» (стр. 48) выпущено слово «буду»; отсутствует идущая после слов «непреклонным взглядом» (стр. 51) фраза: « —Все кончено!»— сказали ее глаза, и две слезы тихо покатились по ее лицу»,— что вероятнее всего является ошибкой этой публикации.

В настоящем томе рассказ печатается по тексту газеты «Камско-Волжский край».

РЕВЕККА

Впервые — в газете «Самарский вестник», 1896, № 273, 25 декабря, с подзаголовком *Святочная легенда* и посвящением: «Посвящается моему лучшему другу Е. Ю. Подруцкому».

Рассказ представляет разработку темы, намеченной в ранней редакции «Студентов» (1895), где начало «Ревекки» приводится как произведение, написанное одним из персонажей этой повести (см. прим. к «Студентам», т. 2, стр. 546, 547).

При включении рассказа в сборник «Ссыльным и заключенным» (вышедший в свет после смерти писателя, Спб. 1907), автор значительно сократил его и стилистически исправил. Сняты главы V—IX (после слов «страстно ответил Антоний», стр. 63), в которых расска-

зывалось о первых счастливых днях совместной жизни Ревекки и Антония, о рождении у нее сына, об оскудении таланта Антония и смерти ребенка, об измене Антония и о попытках Ревекки покончить с собой.

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись рассказа (воспроизводящая текст сборника), правленная Гариным: сделаны небольшие сокращения, стилистическая правка, цифровые обозначения глав заменены пробелами, изменено посвящение.

Машинопись эта (как и некоторые другие материалы Гарина) находилась ранее в Архиве К. П. Пятницкого, директора-распорядителя издательства т-ва «Знание». Однако публикация рассказа в собр. соч. изд. «Знание» (т. V, 1908) не отражает этой правки, а воспроизводит (без подзаголовка) текст сборника, то есть более ранний. Не исключено, что материалы эти поступили к Пятницкому после выхода пятого тома.

В настоящем томе рассказ печатается по машинописи, правленной автором (Архив А. М. Горького).

Стр. 57. *«Гугеноты»* — опера Д. Мейербера (1791—1864), поставленная в 1836 году.

Беатриче Портинари — возлюбленная итальянского поэта Данте Алигьери (1265—1321), воспетая им в ряде сонетов и канцон и после своей смерти продолжавшая оставаться «владычицей его помыслов».

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ

Известна публикация рассказа в собр. соч. изд. Маркса (т. VIII, 1916), где он датирован 1896 годом. Речь в нем идет о реальном лице — земском враче Константине Ивановиче Колпине из села Липовки, Самарского уезда (см. К. А. Селиванов, Русские писатели в Самаре и Самарской губернии, Куйбышев, 1953, стр. 77); это подтверждается также письмом Н. В. Михайловской.

«...был у нас Липовский врач,— писала она Иванчину-Писареву,— и рассказывал, что в Липовке холера свирепствует с ужасной силой. «Просто руки опускаются,— говорит Колпин,— какое лечение ни применяй, все умирают!» (Письмо от 27 сентября 1892 года. ИРЛИ).

Стр. 68. *«Не тяготиться, не остывать...»* — Этот текст в несколько ином виде напечатан в книге «Из дневника Амиеля», Спб. 1894, стр. 6. Амиель Анри (1821—1881) — швейцарский поэт и моралист.

Стр. 70. *Никита* — персонаж рассказа Л. Н. Толстого «Хозяин и работник» (1895), в котором проповедовались идеи внесоциальной гуманности, всепрощения.

. *Либерман* — герой рассказа Гарина «Не от мира сего» (см. т. 3 наст. изд.).

Серошевский В. И. (1858 — ок. 1945) — польский писатель и этнограф; за участие в национально-освободительном движении 1863 года был сослан в Сибирь (1880—1891), где, по-видимому, и познакомился с ним Гарин, находясь там на изыскательских работах. Серошевский — автор книг «На краю лесов» (1894), «Якуты» (1896), в которых изображена жизнь угнетаемых царизмом народностей. После революции 1905 года перешел на националистические позиции.

Стр. 72. *Да, вперед, но не назад, не туда, куда зовет граф Л. Н. Толстой, куда когда-то звал людей так заманчиво Жан-Жак Руссо...*—Ж.-Ж. Руссо (1712—1778), считавший губительными для человека общественные отношения, основанные на частной собственности и социальном неравенстве, призывал человечество «вернуться» в первобытное, «естественное» состояние, где люди будут свободны, равны и счастливы. Л. Н. Толстой видел спасение от ужасов современного ему буржуазного общества в «опрощении» — жизни, связанной с физическим трудом, в отказе от достижений цивилизации.

ДВА МГНОВЕНИЯ

Впервые — в газете «Самарский вестник», 1897, № 1, 1 января. Как явствует из воспоминаний Н. В. Михайловской, в рассказе «Два мгновения» описаны случаи, происшедшие с Гариным во время пребывания в Батуме, в 1881—1882 годах, «когда ему пришлось стать лицом к лицу со смертью, и... он в обоих случаях совершенно различно отнесся к грозившей ему опасности». «Первый случай,— сообщает она.— После целой недели работы на линии Николай Георгиевич и его сотрудники собрались ехать к семьям в Батум. Кратчайшая дорога от Цихисдзири, где они работали, до Батума — была морем, всего верст семь, а берегом верст пятнадцать. Лошади, чтоб ехать в город, были поданы, когда подъехал грек на лодке и предложил под парусами довезти их до Батума в четверть часа. Согласились и поехали. Вдруг налетел шквал и всем ехавшим грозила гибель. Николай Георгиевич в эти минуты пережил страх за свою жизнь и ужас сознания, что он бессилен бороться с ним.

Через несколько дней,— продолжает Н. В. Михайловская,— был второй случай. Там же, в Цихисдзири, Николай Георгиевич со своими рабочими завтракал на вершине горы и смотрел на плывущий по морю плот с четырьмя турками. Опять налетел шквал и разбил плот, а четыре турка оказались в море. Николай Георгиевич, заметив приставшую к берегу лодку, бросился к ней и с двумя рабочими поплыл спасать турок. Опасность была так же велика, как и в первый раз, но при этом риске для других — страха уже не было.

...Все четыре турка были спасены и на следующий день пришли к нам благодарить Николая Георгиевича. Они низко кланялись, прикладывая ладонь ко лбу и сердцу, и просили принять от них курицу, яйца и домашние сладости. Сказать они ничего не могли, не зная русского языка, но их сияющие счастьем лица были красноречивее всяких слов». Далее Михайловская вспоминает:

«Недели через две Николай Георгиевич, задержавшись дольше обыкновенного на работах, возвращался один, без конвоя, ночью в Батум. Приходилось ехать через лес, шел дождь, и было очень темно. Николай Георгиевич сбился с дороги и поехал по какой-то тропинке. Вдруг перед ним открылась поляна, горящий костер и вокруг него человек десять вооруженных турок. Вероятно, он наткнулся на шайку разбойников. Отступать было некуда, его заметили, двое пошли навстречу и схватили его лошадь под уздцы. Турки окружили Николая Георгиевича, и между ними начался оживленный разговор и спор. Наконец державшие лошадь отпустили ее, турки стали отходить к костру, а один из них, благообразный старик в чалме, показывая ему на море и небо, жестами объяснил, что благодарит за спасение турок и что он свободен».

А когда Гарин, оставив службу на железной дороге, уезжал из Батума, спасенные им турки, узнав об его отъезде, пришли на пароход проводить его. «Они опять низко кланялись,— рассказывает Михайловская,— прижимая руку ко лбу и сердцу, ласково глядели на него и просили принять принесенные ими домашние сладости» (Н. В. Михайловская, Мои воспоминания о Гарине-Михайловском. ИРЛИ).

ДЕЛА

Впервые — в газете «Самарский вестник», 1897, № 27, 2 февраля.

Основу содержания этих набросков составляет действительный факт биографии автора. По возвращении (в середине 90-х годов) в Самарскую губернию с постройки Великого Сибирского пути Гарину

удается убедить земство в необходимости строительства Самаро-Кротовской узкоколейной железной дороги (постройка эта описана им в очерках «В сутолоке провинциальной жизни»). Разрешение на постройку Гарину удалось получить с большим трудом, лишь после массы хлопот и волокиты в петербургских департаментах; рассказ об этом и является содержанием произведения.

КАРТИНКИ ВОЛЫНИ

Впервые — в журнале «Мир божий», 1897, № 2.

Очерк написан на материале наблюдений автора во время его изыскательских работ в 1894 году в Волынской губернии.

Замысел произведения возник, по-видимому, еще в конце 1894 года (см. письмо Гарина к Иванчину-Писареву в примечании к очерку «Из моего дневника», стр. 687). О том же свидетельствует и очерк «Бочком, гуськом и уточкой», в первой части которого, полемизируя с народниками, автор говорит о разрушении общинного быта полещуков, населяющих Полесье. По существу это первые наброски будущего очерка.

Первоначально Гарин предполагал опубликовать свой очерк в «Самарском вестнике», о чем свидетельствует напечатанное в этой газете объявление (1896, № 273, 25 декабря):

«С января месяца будет печататься ряд очерков Н. Гарина «Карандашом с натуры», «Волынские очерки» и др.».

Однако (еще во время печатания очерков «Карандашом с натуры») цензурные преследования «Самарского вестника» все усиливались и закончились приостановлением газеты в марте 1897 года. Возможно, в предвидении этого Гарин отдает свой очерк в журнал «Мир божий».

В «Картинках Волыни» Гарин отвечает на актуальный вопрос своего времени: признавать или не признавать вступление России на путь капитализма? Писатель выступает в защиту марксистских взглядов в этом вопросе, очерк содержит прямые полемические выпады против народников.

Рисуя картину жизни целого края, Гарин убедительно говорит о вторжении капитализма и в такие глухие окрайны России, как Волынь, где крестьянин-полещук веками жил общинным строем, который «и до сих пор еще для многих является идеалом народной жизни». В очерке рассказывается о разрушении общины, об обнищании полещука, который бросает свою истощенную землю и уходит на заводы, тесным кольцом окружившие его.

Очерк наносил сильный удар по народническим взглядам; не случайно народническая критика упорно стремилась свести его содержание к зарисовкам «минутных впечатлений». Так рецензент «Русской мысли» П. Николаев называл «Картинки Волыни» «летучими, импрессионистскими заметками». В своей рецензии на это произведение (1897, № 3) он писал о Гарине: «Это импрессионист чистейшей воды. Было бы напрасно искать у него каких-либо определенных общих принципов и принадлежности к какому-нибудь идейному литературному направлению...Это — писатель впечатления, по большей части минутного».

По мнению критика, «те проблески идей, которые встречаются в произведениях г. Гарина, всегда являются чем-то внешним, отнюдь не вытекающим из непосредственной сущности авторской натуры, отнюдь не сливающимся с его образами».

Рассматривая с этой точки зрения все творчество Гарина, он писал: «Что бы ни говорили разные импрессионисты, вроде г. Гарина и иных «русских учеников», движение жизни определяется отнюдь не вечными и неумолимыми, как прежде, законами, а человеческими *желаниями*, как мотивами научных и общественных действий». Как явствует из этого высказывания, критику «Русской мысли» были ясны позиции Гарина, и отождествление им писателя с «русскими учениками», то есть с марксистами, не было случайным.

А критик Р. И. Сементковский в своем отзыве на очерк, указав, что автор ставит в нем «один из наиболее назревших теперь «проклятых» вопросов», вынужден признать: «то, что происходит в полесских болотах, имеет глубокую аналогию с условиями, окружающими русского человека вообще...», «несостоятельность общинного хозяйства проявляется все резче» (Ежемесячн. Литерат. приложения к «Ниве», 1897, № 6).

Сопоставление журнальной публикации очерка с текстом собр. соч. изд. «Знание» (т. VI, 1908) выявляет разночтения, характер которых говорит о принадлежности их автору. Помимо многочисленных мелких исправлений, после слов: «со всей жизнью» (стр. 115) в изд. «Знание» идет продолжение, отсутствующее в журнальной публикации, от слов: «с самим собою», кончая словами: «человеческой жизни?»

Стр. 96. *шеншевик* — правильно чиншевик — бессрочный наследственный арендатор, выплачивавший собственнику земли чинш — арендную плату.

Стр. 109. *...шляхтич мой не кто иной, как фактор, ставший с 63 года в положение еврея в крае.*— Имеется в виду бесправное положение, в котором очутились поляки после подавления восстания 1863 года.

Стр. 114. *...как и при святом Владимире* — то есть с незапамятных времен, в эпоху великого князя киевского Владимира Святославича (ум. 1015).

НОВЫЕ ЗВУКИ

Известна публикация рассказа в собр. соч. изд. Маркса (т. VIII, 1916), где он датирован 1897 годом.

ВЕСЕЛЫЕ ЛЮДИ

Известны публикации в собр. соч. изд. «Освобождение» (т. 12, 1913) и изд. Маркса (т. VII, 1916), где это произведение датировано 1897 годом.

В ИРЛИ хранятся: черновой автограф произведения под названием «Шалопаи» и часть другого автографа под названием «Веселые люди» (материал этого автографа не вошел в окончательный текст).

Печатный текст, по сравнению с автографом под названием «Шалопаи», несколько сокращен и стилистически выправлен. Имеют место случаи замены фамилий,— так, швейцар Антонов фигурирует в автографе под фамилией Онуфриева.

С небольшими изменениями очерк «Веселые люди» включен в начало повести «Инженеры».

В настоящем томе произведение печатается по тексту собр. соч. изд. «Освобождение».

Стр. 127. *...тенью отца Гамлета, неожиданно появившейся вдруг передо мной...*— Имеется в виду персонаж трагедии В. Шекспира «Гамлет» (1602), в первом действии которой на сцене появляется призрак убитого короля, отца Гамлета.

НА НОЧЛЕГЕ

Впервые — в журнале «Мир божий», 1898, № 2, с подзаголовком *Набросок.*

В ИРЛИ, в виде отдельных отрывков, хранятся два черновых варианта этого произведения. Первый — автограф на двух листах;

второй отрывок представляет собой копию с другого автографа, переписанную рукой неустановленного лица, правленную и подписанную Гариным.

Текст собр. соч. изд. «Знание» (т. VI, 1908) имеет некоторые отличия от журнального текста, характер которых позволяет объяснить их авторской правкой.

Кроме мелких разночтений, в тексте «Знания» отсутствует подзаголовок; отсутствует также абзац, имеющийся в журнале: после слов: «в душной смрадной избе.

— Суета, суета, суета» (стр. 144—145), в журнале было:

«Напились мы чаю, угостили хозяев и залегли спать. Что-то снилось мне душное, тяжелое, кошмарное, и всякий раз, когда я просыпался, я все слышал чье-то неумолкающее, надорванное и долбящее:

— Суета, суета, суета».

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Известны публикации этого рассказа в собр. соч. изд. «Знание» (т. V, 1908), изд. «Освобождение» (т. 15, 1914) и изд. А. Ф. Маркса (т. I, 1916), где он датирован 1898 годом. Тексты публикаций совпадают.

В ИРЛИ имеется автограф этого произведения, с небольшим пропуском в середине текста, в тетради большого формата (вместе с «Деревенской драмой» и рассказом «Вероника»); «Счастливый день» написан с другого конца тетради.

По написанному карандашом тексту идет авторская правка тушью, учтенная при публикации.

В ИРЛИ сохранился также отдельный лист другого автографа (начало рассказа), представляющего собой более раннюю редакцию произведения.

Текст собр. соч. изд. «Знание» содержит значительные разночтения с автографом; характер их говорит о наличии авторской правки.

КОГДА-ТО

Впервые — в «Литературно-художественном альманахе издательства «Шиповник», кн. I, Спб. 1907, с подзаголовком *Из посмертных рассказов*, с траурным извещением на обороте титульного листа: «Николай Георгиевич Гарин-Михайловский скончался 27-го ноября

1906 года». Текст, опубликованный в собр. соч. изд. Маркса, идентичен тексту «Шиповника» и датирован 1898 годом.

В ИРЛИ хранится часть чернового автографа рассказа (от слов: «но я мертвый, мертвый», стр. 173), представляющего собой, очевидно, первую его редакцию. Сохранились также идентичные экземпляры машинописи произведения под названием «Чужие» (Архив А. М. Горького и ИРЛИ). Один из них (Архив А. М. Горького) подвергся авторской правке, частично перенесенной (рукой неустановленного лица) на экземпляр ИРЛИ.

Сопоставление машинописи с текстом изд. «Шиповник» показывает, что Гарин не остановился и на редакции, отраженной в машинописи,— первые страницы печатного текста, до слов: «Я стараюсь вспомнить это лицо» (стр. 154), содержат разночтения с машинописным. Писатель изменил заглавие и переработал начало рассказа; печатный текст остальной части рассказа полностью совпадает с машинописью.

Очевидно, изд-во «Шиповник» печатало рассказ по другому экземпляру машинописи, выправленному автором в его первых пяти страницах или в корректуре.

Из писем М. Горького к К. П. Пятницкому и Гарину явствует, что первоначально рассказ предназначался для напечатания в первом «Сборнике товарищества «Знание» за 1903 год» (Спб. 1904), где была помещена пьеса Гарина «Деревенская драма». Однако, ознакомившись, по-видимому, с содержанием рассказа, Горький не рекомендовал помещать его в сборнике.

В письме к Гарину (декабрь 1903 года) он писал: «Действительно,— как Вы и предполагали,— рассказ Ваш несколько не гармонирует с общим тоном нашего сборника.

Поместив его в *этом* сборнике, мы оказали бы Вам плохую услугу, потому что публика судила бы о Вас по произведению, не характерному для Вашего таланта,— не нужно давать ей эту возможность.

Но я просил бы Вас дать рассказ этот для другого, благотворительного сборника — в пользу учащихся женщин. В нем участвуют: Андреев, Бунин, Вересаев, Елпатьевский, я, приглашен В. Г. Короленко, А. П. Чехов и т. д. Издавать его будет «Знание» же, здесь, в Петербурге. Выйдет осенью 1904» (М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 28, Гослитиздат, М. 1953, стр. 298—299). Издание сборника не было осуществлено.

В настоящем томе рассказ печатается по тексту альманаха изд. «Шиповник».

АДОЧКА

Известны публикации рассказа в собр. соч. изд. «Знание» (т. VI, 1911), изд. «Освобождение» (т. 17, 1914) и изд. Маркса (т. VII, 1916); в последнем он датирован 1898 годом. Тексты публикаций совпадают.

КЛОТИЛЬДА

Впервые — в журнале «Начало», 1899, № 1.

В повести, задуманной еще во время кругосветного путешествия писателя (см. очерки «Вокруг света», гл. IV, в т. 5 наст. изд.) в значительной мере использован автобиографический материал, наблюдения и впечатления автора от первых лет его работы инженером.

Закончив в 1878 году, во время русско-турецкой войны, Институт инженеров путей сообщения, Гарин был направлен в действующую армию на строительство шоссейной дороги до Бургаса. Этот период его жизни и отражен в «Клотильде», одном из самых поэтических произведений писателя.

Для повести характерна ярко выраженная обличительная направленность против современного писателю общественного строя с присущими ему ложью и лицемерием, безжалостно бросающего людей на дно. Романтическая приподнятость образа Клотильды усиливает и подчеркивает эту направленность.

В современной Гарину критике произведение получило разноречивые отзывы. Так, по мнению Р. И. Сементковского, «повесть эта написана очень мило, с свойственною автору горячностью и поэтичностью», но «тема ее — вариант на знаменитую «Даму с камелиями» Дюма-сына», уже решена «с необыкновенною силою» в романе Л. Толстого «Воскресение», и она «ничего нового не вносит в обиход нашей общественной мысли» (Ежемесячн. литерат. приложения к «Ниве», 1899, апрель). Критик А. Скабичевский все содержание «Клотильды» сводил к «изображению разврата» в виде «бесцельной голой фотографии» («Сын отечества», 1899, № 68, 12 марта); как о «пошловато-шаблонной» повести писал о «Клотильде» Я. Лялин («Одесские новости», 1900, № 5086, 29 сентября); см. также рецензию И-та (И. Н. Игнатова) — «Русские ведомости», 1899, № 70, 12 марта.

Положительную оценку произведению дал В. Н. Соловьев. Отметив, что «беллетристика «Начала» вообще подобрана ярко», он указывает на повесть Гарина, «написанную со свойственной этому автору живостью и не страдающую его частым недостатком — спешностью отделки» («Волжский вестник», 1899, № 86, 3 апреля). По

мнению же рецензента газеты «Жизнь и искусство», впечатление от этой «оригинально трактуемой вещицы» портит «какая-то небрежная, «фельетонная» манера изложения» (1899, № 76, 17 марта).

М. Горький высоко ценил эту повесть, близкую ему и по своему идейному содержанию и по романтической окраске (М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, Гослитиздат, М. 1952, т. 17, стр. 74).

Сопоставление текста собр. соч. изд. т-ва «Знание» с журнальным выявляет разночтения, которые дают основания полагать, что здесь имела место авторская правка.

Стр. 182 *...в последнюю турецкую кампанию* — то есть во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов. В ходе этой войны Болгария была освобождена Россией из-под турецкого ига, под которым она находилась с конца XIV века.

Стр. 185. *Хивинский поход.*— Речь идет о военной экспедиции русских войск на Хиву в 1873 году с целью покорения Хивинского ханства и укрепления господства Российской империи в Средней Азии.

Стр. 192. *Скобелев* Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал, получивший известность во время Хивинского похода и особенно в русско-турецкую войну 1877—1878 годов.

Стр. 198. *...как Беатриче у Данте.*— См. прим. к рассказу «Ревекка» (стр. 690).

Стр. 226. «*Не клеймите печатью презренья...*» — стихотворение приводится в переводе П. Каншина.

МОИ СКИТАНИЯ

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1912, № 12, с подзаголовком *Посмертный очерк Н. Г. Гарина-Михайловского.* Однако в собр. соч. в изд. Маркса (т. I, 1916) очерк датирован 1899 годом, что дает основание предполагать существование не выявленной до настоящего времени прижизненной публикации; возможно также, что эта дата относится ко времени написания очерка.

В основу содержания произведения положены наблюдения автора во время его работы на изысканиях в Вологодской и Костромской губерниях.

Называя этот очерк «талантливым», критик А. Николаев писал: «Здесь — чутко схваченная природа, как живые — «инженер-черного-

рец», сам автор, оборотистый староста, бабы, мужики» («Заветы», 1913, № 12).

Публикация этого произведения в собр. соч. изд. «Освобождение» (т. 12, 1913) содержит значительные разночтения с журнальным текстом, свидетельствующие о том, что редакция «Русского богатства» располагала более ранним текстом; «Освобождение» воспроизвело текст другой редакции или текст, исправленный автором для предполагавшейся публикации (что в значительной мере подтверждается датировкой А. Ф. Маркса, повторяющего текст «Освобождения»).

В настоящем томе очерк печатается по тексту собр. соч. в изд. «Освобождение».

Стр. 242. *Печерский* — псевдоним П. И. Мельникова (1819—1883), автора повестей и романов «Красильниковы» (1852), «Старые годы» (1857), «В лесах» (1868—1874), «На горах» (1875—1881) и др.; Печерский широко вводил в свои произведения народные песни, пословицы, духовные стихи, местные предания и сказания.

Стр. 246. *Вся кровь, веками проливаемая в войне с турками...*— Речь идет о многочисленных (1645—1669, 1683—1699, 1688, 1690 гг. и т. д.) войнах Черногорской автономной республики с Турцией, пытавшейся ликвидировать автономию черногорцев.

боснийское восстание...— Имеется в виду народное антитурецкое восстание 1875—1876 гг., начавшееся в Герцеговине и перекинувшееся затем в Боснию. Опасаясь распространения национально-освободительного движения южных славян на свою территорию, Австро-Венгрия выступила как ярый враг восставших.

Стр. 248. *«Времен от вечной суеты...»* — неточная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820), песнь третья.

Стр. 254. *Катенька* — распространенное название сторублёвой ассигнации, на которой было изображение Екатерины II.

ДВОРЕЦ ДИМА

Впервые — в журнале «Жизнь», 1900, № 1.

Ранний набросок произведения относится к середине 90-х годов — в «Нижегородском листке» в 1896 году (№ 166, 18 июня) был напечатан рассказ «Мальчик», близкий по содержанию к «Дворцу Дима». В нем те же действующие лица, но основной конфликт сводился к личной драме покинутой женщины и ее ребенка. (Рассказ был перепечатан «Самарским вестником», 1896, № 134, 27 июня.)

Снова вернувшись к этой теме в конце 90-х годов, Гарин расширяет границы повествования, усиливает обличительную направленность произведения против лицемерного «порядочного» общества, не признающего и не допускающего в свою среду «незаконных» детей.

Рецензент «Русской мысли», отметив, что переживания ребенка переданы «с большим мастерством» и автор показал «тонкое понимание детского духовного мира», приходит к выводу: «виновата... сила вещей и та сложность и запутанность житейских отношений, которые в данном случае, как нередко и в других, произвели драму» («Русская мысль», 1900, № 4).

В настоящем томе «Дворец Дима» печатается по тексту журнальной публикации.

Стр. 262. *Дюся* — Надежда Николаевна Михайловская (впоследствии Михайловская-Субботина; род. 1880).

В СУТОЛОКЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Впервые — в журнале «Мир божий», 1900, №№ 2—4, 9, 11, 12, с подзаголовком *Очерки*.

Над произведением, которое писатель вначале предполагал назвать «Десять лет» (письмо Иванчину-Писареву от 1 марта, по-видимому, 1896 года. ИРЛИ) он работал в течение длительного времени, начиная с середины 90-х годов; во время работы несколько раз менялось название его. Закончив очерки и отослав их в редакцию «Русского богатства», Гарин, однако, не был удовлетворен ими. «Люди провинции», пожалуйста, не печатайте, попробую написать лучше»,— телеграфировал он Н. К. Михайловскому 31 августа 1896 года (ИРЛИ).

Как явствует из письма Н. К. Михайловского Иванчину-Писареву от 22 мая 1898 года, переработка не была закончена и через два года. «Был в редакции Гарин,— писал Михайловский,— и пришлось мне беседовать с ним о его продолжении «Несколько лет в деревне». Беседовал я, признаюсь, не в весьма дружелюбном тоне. Между прочим, он сослался на Вас: Вы говорили ему, что и неконченную работу нужно начать печатать. Я возразил, что Вы, по всей вероятности, только хотели его подтолкнуть на работу, из личного к нему расположения, а решение редакции неизменно» (ИРЛИ).

Очерки увидели свет только в 1900 году в «Мире божьем», причем в объявлении о подписке (напечатанном в № 2 журнала) они фигури-

руют под названием «Через десять лет»,— очевидно, название «В сутолоке провинциальной жизни» было дано автором уже в процессе печатания произведения.

Как и многие произведения этих лет, очерки отличаются ярко выраженной противонароднической направленностью. Эволюция мировоззрения Гарина сказалась здесь в критической переоценке им своей сельскохозяйственной деятельности 1883—1886 годов. Писатель подчеркивает, что теперь он понял «горьким своим собственным опытом», что «петлей и арканами даже в рай не затащишь людей», что в своем хозяйствовании в Князевке он «с ног до головы и с головы до ног был крепостником» и что «во всей своей реформаторской деятельности не шел дальше либеральных начинаний».

В очерках нашла отражение полемика марксистов с народниками о путях развития России. В этой полемике, где дискутируются вопросы о движущих силах исторического развития общества и о роли интеллигенции в этом процессе,— сочувствие Гарина на стороне марксистов. Эволюция его мировоззрения сказалась здесь в осознании им несостоятельности интеллигенции, как силы, могущей преобразовать действительность, перестроить жизнь на новых началах.

Очерки эти, как и большинство произведений Гарина, охватывают последовательно разные этапы его жизни, отражают богатый жизненный опыт писателя,— в этом смысле можно говорить об их автобиографизме. Однако автобиографизм этот не является самодовлеющим: на фактах собственной жизни Гарин стремился изобразить современную ему русскую действительность во всей ее широте и многообразии.

Произведение, отражающее период с 1886 по 1896 годы, является, по справедливому замечанию К. Селиванова, «художественной летописью всей самарской жизни за последнее десятилетие XIX века» (К. А. Селиванов, Русские писатели в Самаре и Самарской губернии, Куйбышев, 1953, стр. 77).

В произведении изображен ряд реальных лиц; некоторые из них, как, например, земский врач Колпин, фигурируют под их собственными фамилиями; молодой человек, с которым познакомился автор и которому «предсказывают большую будущность» (стр. 314) — М. Горький, тогда еще начинающий писатель, приехавший в начале 1895 года в Самару для работы в «Самарской газете» (ср. рассказ М. Горького об этой первой встрече в его воспоминаниях «О Гарине-Михайловском» — М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, Гослитиздат, М. 1952, т. 17, стр. 68—70). У большинства персонажей — вымышленные имена, которые, однако, легко поддаются расшифров-

ке. Так, прототипом Я. Л. Абрамсона является самарский судебный следователь Я. Л. Тейтель, в скромной квартире которого в 1895—1896 годах, по свидетельству М. Горького (там же, стр. 66—67) и многих других современников Гарина, бывала вся местная интеллигенция, а также и заезжие артисты, художники, писатели — люди самых различных политических убеждений. Прообразом В. И. Павлова является председатель окружного суда В. И. Анненков, потомок декабриста И. А. Анненкова; Антонов — либеральный критик и публицист Н. П. Ашешов, бывший в 1895—1896 годах редактором «Самарской газеты»; Чегодаев — сосед Гарина, помещик Чемодуров.

Многие эпизоды — хозяйствование Гарина в Князевке, строительство Кротовка-Сергиевской железной дороги, суд чести и т. д.— построены на подлинных фактах его биографии. Так в газете «Самарский вестник» (1895, № 187, 1 сентября) в отделе «Самарские вести» сообщалось, что «инженер Н. Г. Михайловский на днях приступает к постройке железной дороги Кротовка — Сергиевск» и «им уже в Самаре учреждена Центральная контора».

О принципах, которыми руководствовался Гарин как начальник строительства, дает яркое представление его циркуляр к железнодорожным служащим, получивший отражение и в очерках.

«Один из служащих в центральном управлении вверенной мне дороги,— говорилось в циркуляре,— явившись в типографию, которой сделаны заказы для дороги, упрекнул управляющего в том, что, получив заказ, контора типографии медлит до сих пор с «обычной» благодарностью, заявив при этом, что «это уже так принято везде». Владелец типографии по этому поводу обратился ко мне, и служащий этот в настоящее время уже уволен из управления. Это второй случай обнаруженного злоупотребления на этой линии. По этому поводу считаю нужным обратить внимание своих сослуживцев на нижеследующие соображения. В соединенном представлении гг. министров финансов и путей сообщения в Государственный совет Кротовка-Сергиевский железнодорожный путь назван первым опытом действительно дешевого рельсового пути. Чтобы дорога эта вышла действительно дешевой, необходимо прежде всего, чтобы и мысли не могло быть о каких бы то ни было злоупотреблениях. Считая это самым существенным вопросом в деле удешевления постройки данной дороги, я, помимо выбора главных приглашенных лиц, помимо высоких сравнительно окладов, старался дать пример прежде всего сам, как надо относиться ко всем денежным делам дороги. Отстранив от себя денежную часть, я поручил все эти дела комиссии из выбранных лиц, которая во всех своих действиях отчи-

тывается перед учрежденным мною общим собранием всех техников вверенной мне дороги. Я считаю себя вправе требовать и от своих сотрудников, в ведении которых находятся денежные дела, такого же отношения к делу. С этой, главным образом, целью в распоряжение их предоставлен штат молодых людей, студентов, людей вполне надежных, при помощи и участии которых во всех денежных делах является полная возможность как осветить для всех истинное положение данного дела, так и гарантировать лично себя от каких бы то ни было нареканий. Мужественное возражение, которое мне пришлось услышать, что на всякое чихание не наздравствуешься,— не основательно, и противопоставить ему можно другое, более верное: «дыма без огня не бывает». И всякий, кто дорожит своей репутацией, репутацией всего дела, должен твердо помнить, что единственный путь здесь не таинственные потемки, а свет многих глаз, свидетелей данного дела. Указывая на организацию денежного дела в моей сфере, указывая на имеющийся на дороге штат студентов, я покорнейше прошу моих сотоварищей по службе, в интересах дела и их репутации, все свои денежные дела вести коллегиально и самые расплаты поручать производить всегда под непосредственным наблюдением приглашенных студентов».

Циркуляр Гарина, опубликованный в «Самарской газете» и перепечатанный «Нижегородским листком» (1896, № 204, 26 июля) вызвал широкие отклики. Демократически настроенная часть общества, особенно студенческая молодежь, приветствовала нововведения Гарина, хотя были высказаны и сомнения в успехе.

Показательна в этом отношении напечатанная в «Волжском вестнике» заметка «Новшество инженера Н. Г. Михайловского (Н. Гарина)».

«Интересно знать,— писал автор заметки,— как-то мирятся господа инженеры с известным циркуляром строителя узкоколейной Кротовка-Сергиевской железной дороги инженера Н. Г. Михайловского (писателя Н. Гарина тоже), предлагающего подведомственным ему лицам впредь воздерживаться от всяких незаконных поборов и вымогательств, обыкновенно практикующихся при постройках железных дорог.

Не знаю, увенчается ли успехом эта попытка Н. Г. Михайловского внести новую закваску в отношения господ строителей железных дорог к постройке, ко всем соприкасающимся с ними лицам и учреждениям... но во всяком случае честь и слава Н. Г. Михайловскому, что он первый из инженеров строителей поднял свой обличительный голос инженера и писателя против практико-

вавшихся доселе порядков и первый делает попытку ввести новые» (1896, № 184, 18 августа). См. также «Самарскую газету», 1896, № 148, 12 июля, раздел «Между прочим».

Отзвуком настроений реакционной части общества явилась помещенная в «Самарском вестнике» (1896, № 204, 25 сентября) в отделе «Самарские вести» корреспонденция под названием «Циркуляр Н. Г. Михайловского», написанная в весьма недружелюбном тоне.

Как свидетельствует Ф. Ф. Вентцель, когда стало известно, что строительство возглавляет Гарин,— талантливый инженер, завоевавший горячие симпатии своими демократическими убеждениями, отовсюду стали стекаться нуждающиеся в заработке, значительную часть которых составляла ссыльная молодежь.

Опираясь на эту демократическую часть своих служащих, Гарин организовал на постройке Кротовской железной дороги суд чести над инженером, который, воспользовавшись отсутствием Гарина, завез на линию гнилой материал и нажился на этом. История этого суда, в котором на равных началах участвовали все служащие дороги,— инженеры, конторские служащие, медицинские работники, все путейские рабочие, включая сторожих, описана в воспоминаниях Вентцель (см. Ф. Ф. Вентцель, Из моих воспоминаний, Гарин-Михайловский,— Звезда, 1943, № 5—6, стр.204).

Сотрудник «Самарского вестника» А. Санин отмечал в корреспонденции (напечатанной за подписью Сашин), что при постройке Кротовка-Сергиевской дороги Гарин применил на практике все свои теоретические положения как чисто производственные, так и организационные, которые он на протяжении ряда лет отстаивал в печати (1896, № 155, 24 июля).

Следует, однако, оговорить, что деятельность Гарина, его новаторство в эти годы не выходят за пределы общедемократических устремлений,— желания сделать максимум возможного в условиях существующего строя.

Произведение было напечатано в собр. соч. изд. т-ва «Знание» (т. VIII, 1910.).

Сопоставление текста «Знания» с журнальным текстом выявляет разночтения, характер которых дает основание считать их авторскими. Так, во всех случаях имя и отчество Абрамсона — Иван Васильевич — заменено на Яков Львович; по всему произведению проведена значительная стилистическая правка, подзаголовок «Очерки» заменен подзаголовком «1886—1896».

В журнальном тексте после главы XIX следующая обозначена цифрой XXI; эта ошибка воспроизведена и в тексте «Знания»; в на-

стоящем издании цифра XX вставлена после строки отточий (стр. 415), где по контексту это представляется возможным.

Стр. 293. *...наступали новые времена...*— Пытаясь остановить процесс «оскудения» и разорения некоторых слоев дворянства в пореформенный период (особенно в обстановке аграрного кризиса 1880 года), правительство Александра III провело ряд мероприятий. Был вновь учрежден Дворянский банк (1885) (организованный еще в середине XVIII века и прекративший свое существование в 1860 году в связи с организацией Государственного банка), введен институт земских начальников (1889) из дворян с подчинением им органов крестьянского самоуправления и предоставлением права налагать на крестьян штрафы и подвергать их аресту.

Кроме того по новому земскому положению 1890 года была ликвидирована даже формальная всесословность земств и увеличено число гласных дворян в земских органах.

Стр. 295. *...прокатили на вороных* — то есть провалили на выборах.

Стр. 315. *...запел «Капрала»*. — Имеется в виду «Старый капрал» А. С. Даргомыжского (1813—1869) на слова французского поэта П. Беранже (1780—1857).

Стр. 316. *«Русская мысль»* — ежемесячный литературно-политический журнал либерально-народнического направления, выходивший с 1880 года в Москве; в 90-е годы вел полемику с марксистами.

«Вестник Европы» — ежемесячный буржуазно-либеральный журнал, выходил в Петербурге с 1866 года; с начала 90-х годов вел борьбу против марксизма.

Стр. 317. *«Отечественные записки»* — журнал, издававшийся в Петербурге. С 1868 года во главе журнала стояли Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин, сделавшие его передовым демократическим органом; в 1878 году журнал был закрыт царским правительством.

Стр. 318. *...Марья Николаевна Петипа* — по-видимому, речь идет о Марии Мариусовне Петипа (род. 1857), балерине императорских санкт-петербургских театров.

Стр. 332. *Фарлаф* — один из персонажей поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», хвастун и трус.

Стр. 358. *«Александр Македонский... был великий человек, но... стулья из-за чего же ломать?!»* — Неточная цитата из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836), действие I, явление I.

Стр. 360. *...из-за Красного Креста среди населения полумесяца...*— Деятельность отрядов Красного Креста, посланных на работу среди мусульманского населения и других национальных мень-

шинств Поволжья, находившихся в особенно тяжелых условиях, вызывала недоверие населения, как правительственное мероприятие.

Стр. 361. *...тип Шибанова стремянного.*— Имеется в виду слуга политического деятеля и писателя князя А. М. Курбского (р. 1528); имя его благодаря популярному стихотворению А. К. Толстого (1817—1875) «Василий Шибанов» стало синонимом рабски преданного слуги.

Стр. 371. *...времен Владимира...* — См. прим. к очерку «Картинки Волыни», стр. 695.

Стр. 386. *...экономическую озимь* — то есть озимые посевы на «экономических» землях, принадлежавших казне.

Мировые не были судьями и администраторами... только судьями,— политика не входила в их сферу.— С утверждением должности мировых судей (1859) в их руках сосредоточивалась только судебная власть.

В дальнейшем должность мирового судьи была заменена учрежденной по «Положению» 1861 года должностью мирового посредника, обладавшего административно-судебной властью: он имел право подвергать крестьян штрафу, аресту и наказанию розгами.

Стр. 408. *В.В.* — псевдоним В. П. Воронцова (1847—1918), экономиста и публициста, одного из идеологов либерального народничества 80—90-х годов.

Юзов (псевдоним И. И. Каблица, 1848—1893), *Кривенко* С. Н. (1847—1907) — представители либерального народничества.

Златовратский Н. Н. (1845—1911) — писатель-народник, идеализировавший в своих произведениях «Крестьяне-присяжные» и «Устои» самих крестьян и крестьянскую общину.

Стр. 425. *В дневнике Амиеля...*— См. прим. к рассказу «Жизнь и смерть», стр. 690.

Стр. 429. *Мещерский* В. П. (1839—1914) — князь, реакционный публицист и беллетрист, редактор-издатель журнала-газеты «Гражданин».

Стр. 436. *Гааз* Фридрих-Иосиф (Федор Петрович, 1780—1853)— пользовавшийся громадной популярностью врач московских тюремных больниц, сумевший добиться некоторого улучшения условий содержания заключенных.

Стр. 443. *...удельному имению...*— Удельные имения находились в ведении Удельного ведомства, образованного в 1797 году для управления недвижимым имуществом, выделенным на содержание членов императорской семьи.

Стр. 460. *...об экспедиции Нансена...*— Имеется в виду экспедиция на Северный полюс (1893—1896), возглавленная норвежским океанографом, исследователем Арктики — Фритьофом Нансеном (1861—1930).

Стр. 497. *Скобелев...* — См. прим. к рассказу «Клотильда», стр. 699.

СТАРЫЙ ЕВРЕЙ

Впервые — в литературно-художественном сборнике «Помощь евреям, пострадавшим от неурожая», Спб. 1901.

В очерке описан действительный факт, относящийся к 80-м годам. Оставив в 1883 году службу на железной дороге и приехав из Батума в Самарскую губернию, Гарин вместе с семьей поселился в небольшом домике, выстроенном на участке земли, доставшемся ему после матери.

«На нашем лесном участке,— пишет в своих воспоминаниях Н. В. Михайловская,— вести полевое хозяйство, которое могло бы давать доход, нельзя было. Вопрос решался так: надо продать участок и взамен его купить именье, где Николай Георгиевич мог бы вести полевое культурное хозяйство. Николай Георгиевич начал искать покупателя. Тогда в нашей квартире стал часто появляться старый, тучный еврей, комиссионер М. Я. Платков.

Николай Георгиевич,— продолжает Михайловская,— в своем очерке «Старый еврей» описал действительный факт, случившийся с Платковым. Сосланный когда-то в Самару из черты оседлости, где он жил, Платков обосновался в Самаре, заработал комиссионерством деньги и приобрел небольшое имение. Когда он, старый и больной, стал жить в этом имении, где его сыновья хозяйничали, полиция силой заставила его обратно уехать в черту оседлости, с которой он за тридцать лет отсутствия потерял всякую связь» (Н. В. Михайловская, Мои воспоминания о Гарине-Михайловском. ИРЛИ).

Стр. 507 *...держал имение в посессии* — то есть арендовал.

ПРАВДА

В ЦГАЛИ хранится машинопись «Правды» с авторскими поправками, по тексту которой рассказ и печатается.

Известны публикации рассказа в собр. соч. изд. «Освобождение» (т. 17, 1914) и в изд. Маркса (т. I, 1916), где он датирован 1901 годом. Тексты обоих изданий совпадают с машинописью.

НАТАША

Известны публикации рассказа в собр. соч. изд. «Знание» (т. VI, 1911), «Освобождение» (т. 17, 1914) и в изд. Маркса (т. VII), где он датирован 1901 годом.

Тексты всех трех изданий совпадают.

ПОД ПРАЗДНИК

Известна публикация рассказа в собр. соч. изд. Маркса (т. VIII, 1916), где он датирован 1901 годом.

В сокращенном виде рассказ вошел как эпизод в пьесу Гарина «Деревенская драма».

ВОЛК

Известны публикации рассказа в собр. соч. изд. «Освобождение» (т. 12, 1913) под названием «Трясина» и в собр. соч. изд. Маркса под заглавием «Волк» (т. VIII, 1916), где он датирован 1902 годом.

Основу его содержания составляет трагическая судьба талантливой личности из народа, загубленной «миром». Жена писателя сообщает в своих воспоминаниях: «Николай Георгиевич расходился с народниками в их взглядах на общину, которую они горячо защищали, тогда как Николая Георгиевича близкое знакомство с деревней убедило... что община в данный момент благодаря своей отсталости и косности является тормозом прогресса, угнетая и губя сильные личности, старающиеся вырваться из ее цепких оков. Пример такой гибели выдающегося человека, взятый из действительной жизни, приведен Николаем Георгиевичем в его рассказе «Трясина»...» (Н. В. Михайловская, Мои воспоминания о Гарине-Михайловском. ИРЛИ).

Предыстория рассказа «Волк» интересна как в плане изменения идейного содержания образа главного героя, так и в плане раскрытия творческой лаборатории писателя.

Тема гибели талантливого самородка, тщетно стремящегося вырваться из-под власти сельской общины, «мира», впервые намечена писателем в середине 90-х годов в третьей (незаконченной) части очерков «Бочком, гуськом и уточкой», озаглавленной «Рассказ хозяина». К этой теме писатель неоднократно возвращается и в более поздних произведениях. Так, в очерке «На ночлеге» (1898) рассказывается история «погибшего Ломоносова»; этот образ фигурирует и в

очерках «В сутолоке провинциальной жизни» (1900), где он дан в более развернутом виде.

Тема, лишь бегло намеченная в указанных очерках, разработана в «Волке» в самостоятельное художественное произведение, имевшее большое общественное звучание.

С огромной силой писатель разоблачает грабительскую, эксплуататорскую сущность воспеваемой народниками сельской общины, уподобляет ее трясине, губящей лучших людей из народа.

Но, обличая сельский мир, Гарин в отличие от более ранних набросков на эту тему показывает в «Волке» рост сознательности среди лучших людей из народа.

Убедившись на собственном опыте, что крестьянский «мир»— «все зло», герой рассказа вступает с ним в борьбу — разоблачает его в беседах с бедняками, и, когда «мир» не отпускает его в миссионеры, он не смиряется и не спивается, как герой очерка «На ночлеге», а пытается, хотя и тщетно, продолжать с ним борьбу через печать.

По справедливому замечанию К. Селиванова, «Волк» это, быть может, «наиболее гневное» в нашей литературе «обличение крестьянской общины, которая считалась у народников зародышем и базой социализма» (К. С е л и в а н о в, Русские писатели в Самаре и Самарской губернии, Куйбышев, 1953, стр. 78). Естественно, что рассказ был встречен либерально-народнической критикой крайне недоброжелательно. Показательна в этом отношении рецензия А. Николаева (на 12 том собр. соч. Н. Гарина в изд. «Освобождение», 1913), в которой говорилось о ««сумерках» того таланта, что двадцать с лишком лет тому назад расцвел в «Русском богатстве»...» и ставилось в вину писателю то, что он выходит «за пределы художественного творчества — на стезю публицистики, на воплощение экономических проблем в беллетристических формах» («Заветы», 1913, № 12). В качестве примера «поверхностной разработки марксизма» Николаев называет рассказ «Трясина».

Сопоставление текстов публикаций Маркса и «Освобождения» выявляет значительные разночтения. Так, в изд. «Освобождение» отсутствует текст, от слов: «И тянется мужичок» (стр. 554), кончая: «одно из другого выходит» (стр. 555). Описанию холерной эпидемии в изд. Маркса, от слов: «Случилось это осенью» (стр. 542), кончая: «Сорвали на Петре Федоровиче» (стр. 544) — в изд. «Освобождение» соответствует следующий текст:

«Дело заключалось в том, что появилась в деревне холера, и крестьяне упорно скрывали ее. Благодаря этому эпидемия все больше

и больше разрасталась. Сперва Петр Федорович уговаривал крестьян, а когда это не подействовало, он сказал им:

— Ну, старики, как хотите, а я донесу.

— Али жить тебе надоело? — окрикнул его голос из толпы.

— Для вашей пользы и смерть готов принять, — ответил спокойно Петр Федорович и поехал и донес о болезни по начальству.

И не только донес, но когда приехали доктор и полиция, сам водил их к больным и указывал даже, где, в каком ворохе соломы прятались эти больные.

— Да что ты, о двух, что ли, головах? — останавливали его благоразумные.

Петр Федорович твердил крестьянам:

— Глупые вы, глупые! Пользы своей не понимаете.

— Вот ты понимаешь! Как бы только от большого ума да на малый не сойти.

По обыкновению, не выдержал Петр Федорович и пригрозил».

После слов: «Твердил настойчиво, упрямо» (стр. 541) в изд. «Освобождение» было: «старался изменить старое, налаженное, и тем раздражал крестьян, привыкших к этому старому»; после слов: «все пошло прахом» (стр. 542),— в изд. «Освобождение» было: «благодаря только тому, что Петр Федорович сунулся, так сказать, в общественное дело» и т. д.

По-видимому, эти издания располагали разными источниками для публикации.

В настоящем томе рассказ печатается по традиционному тексту в изд. Маркса.

ТЕНИ ЗЕМЛИ

Под этим общим названием в журнале «Образование» (1903, № 4) опубликованы три произведения Гарина—«Художник», «Гений», «Вероника».

Писатель предполагал, видимо, напечатать под этим названием ряд произведений, как это явствует из сопровождавшего журнальную публикацию авторского примечания: «Некоторые из предлагаемых под этим названием очерков и рассказов в первоначальном своем виде были напечатаны в разных провинциальных газетах». Однако продолжения публикаций под таким названием в журнале не появилось.

Первые публикации этих рассказов не выявлены: в собр. соч. Гарина изд. Маркса рассказ «Художник» (т. VII) дати-

рован 1897 годом; «Гений» (т. I) и «Вероника» (т. VII) — 1901 годом.

В основу рассказа «Гений», как следует из авторского примечания к этому рассказу, положен действительный факт. О том же свидетельствует и М. Горький.

«...«Гений»,— пишет он в своих воспоминаниях о Гарине-Михайловском,— подлинная история еврея Либермана, который самостоятельно додумался до дифференциального исчисления. Именно так: полуграмотный, чахоточный еврей, двенадцать лет оперируя с цифрами, открыл дифференциальное исчисление и когда узнал, что это уже сделано задолго до него, то, пораженный горем, умер от легочного кровоизлияния на перроне станции Самара» (М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, Гослитиздат, М. 1952, т. 17, стр. 73). Здесь Горьким допущена небольшая неточность: в действительности фамилия еврея, послужившего прототипом для героя рассказа, была Пастернак.

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись рассказа «Вероника», представляющая, очевидно, первую его редакцию. Сохранились также: машинопись части рассказа, правленная автором, под заглавием «Песнь природы» (Гос. библиотека им. В. И. Ленина) и черновой автограф (ИРЛИ), наиболее приближающийся к печатному тексту.

Текст собр. соч. изд. «Знание» (т. V, 1908) является перепечаткой журнального.

В первой редакции рассказа большое место занимали взаимоотношения супругов, описание внешности мужа героини, его мыслей и чувств. Во второй редакции на первое место выдвинуты переживания героини, связанные с ожиданием ребенка. Главное место в произведении заняла тема рождения человека, радости жизни, гимн природе, создавшей человека — творца новой жизни.

Давая оценку рассказам, напечатанным под заглавием «Тени земли», рецензент «Русской мысли» писал, что они «представляют собою как бы стихотворения в прозе, написанные хорошим языком, не без поэтичности» (1903, № 5).

Посмертные публикации (в собр. соч.) «Художника», «Гения» и «Вероники» повторяют журнальный текст; по-видимому, он является последней прижизненной публикацией.

В настоящем томе рассказы печатаются по тексту журнала.

Стр. 563. *Ньютон* Исаак (1642—1727) — английский физик, астроном и математик, разработавший, как и немецкий ученый

Готфрид *Лейбниц* (1646—1716),— дифференциальное и интегральное исчисление.

Стр. 566. *...из Грига*: «*Я люблю тебя*».— Григ Эдвард Хагеруп (1843—1907) — норвежский композитор; музыка написана им на слова датского писателя Ханса Кристиана Андерсена (1805—1875).

Стр. 567. *...«Лебедь» Грига...*— музыка написана Григом на слова Г. Ибсена (1828—1906).

НА ПРАКТИКЕ

Впервые — в «Журнале для всех», 1903, № 10.

Рассказ написан на автобиографической основе,— в нем автор повествует о своей работе на железной дороге в Бессарабии в 1876 году в качестве студента-практиканта.

Предварительный набросок рассказа фигурирует в ранней редакции «Студентов»; готовя текст повести для издания 1898 года, Гарин снял этот эпизод и переработал его в самостоятельное произведение.

В свою очередь образы и мотивы этого рассказа в новой уже концепции позднее вошли в ткань повествования «Инженеров».

Рассказ «На практике» был отмечен критиком В. Кранихфельдом как «задушевно и тепло» написанное произведение, показывающее не только каторжность труда машинистов, но и тягу простого человека из рабочей среды к книге, к знанию («Образование», 1903, № 11).

В 1904 году рассказ вышел отдельным изданием в серии «Библиотека для всех», № 1 (это издание представляет собой перепечатку журнального текста).

В ИРЛИ хранится неполный черновой автограф этого произведения с пропусками и в этой уцелевшей части текста. Кончается он недописанной фразой: «Ни свистков, ни стука щелкавшихся друг о друга вагонов, стука по» (стр. 579); продолжение автографа не сохранилось.

Сопоставление автографа и журнального текста показывает, что, вероятно, имелся еще машинописный экземпляр рукописи (это заставляет предполагать сделанная Гариным пометка на рукописи: «Черновик напечата» (окончание неразборчиво), правленный автором при подготовке текста для журнальной публикации; возможно также, что текст правился в корректуре. При правке стилистически улучшены фразы, произведена замена ряда слов, сделаны вставки и сокращения.

При сопоставлении автографа и журнального текста с текстом собр. соч. изд. «Знание» (т. V, 1908) выявляются случаи, когда текст «Знания» не совпадает с журнальным и не возвращается к автографу, а представляет собой новый вариант — следовательно, существовала еще одна прижизненная публикация этого рассказа, с которой и перепечатало текст «Знание». Возможно также, что был второй экземпляр машинописи с черновой рукописи, подвергнутый авторской правке, так как в тексте «Знания» в написании ряда слов и фраз наблюдается возврат к автографу, минуя журнальный текст, где эти слова и фразы уже исправлены. Так, например, бывшее в автографе слово «старичина» в журнале исправлено на «старина»; в «Знании» — снова «старичина» и т. д.

В публикации «Знания» после фразы: «ревматизм развивается от резкого перехода от жара котла к стуже снаружи» (стр. 587) идет текст (о частой гибели и увечьях поездной прислуги), отсутствующий в журнале, от слов: «И никуда не годный работник выбрасывается» (стр. 587), кончая: «читаем мы об этом в газетах» (стр. 588).

Журнальный текст кончается эпизодом встречи рассказчика, уже ставшего инженером, с машинистом Григорьевым, уволенным с работы. В тексте же «Знания» после фразы «А теперь я жалел и завидовал счастливцу кузнецу» (стр. 590), которой кончается журнальный текст, следует новая, восьмая, глава, повествующая о забастовке железнодорожных рабочих и придающая всему произведению особую социальную остроту. Возможно, что эпизод со стачкой и текст об увечьях на железных дорогах были и в автографе, но не вошли в журнальный текст (и в перепечатку его) по цензурным условиям — установить это не представляется возможным.

Стр. 583. «*Отец, отец, оставь угрозы...*» — из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1829-1841), часть вторая, глава первая.

Стр. 585. *Самсон.*— Имеется в виду библейский герой Самсон, обладавший, согласно преданию, сверхъестественной физической силой.

БАБУШКА

Впервые — в журнале «Русское богатство», 1904, № 2.

В ИРЛИ хранится автограф этого произведения, под названием «На богомолье» с пропуском нескольких страниц в середине текста.

Начиная с главы двенадцатой, по написанному чернилами тексту идут исправления карандашом. По-видимому, это была первая правка

рассказа (вернее, его конца), за которой последовала вторая, о чем свидетельствует журнальный текст.

В процессе работы над рассказом замысел его менялся. Как явствует из чернового автографа, по первоначальному замыслу фигура Матрены Карповны должна была занимать в произведении более значительное место: в процессе работы писатель отодвигает ее на второй план; центральным образом становится бабушка,— в соответствии с этим меняется и название рассказа.

Образ бабушки подвергся существенной переработке, свидетельством чему является зачеркнутый в автографе текст. Снято все, что говорило о циничной откровенности и прямолинейности бабушки. Так, переделывался в процессе работы и затем был исключен текст, содержащий разговор бабушки с нянькой (в автографе «мамкой»). После фразы: « — Вижу, вижу, что сохнешь ты,— тяжело вздыхала нянька» (стр. 598) — в автографе (где эта фраза написана несколько иначе: «Мамка тяжело вздохнула.

— Вижу, вижу, что сохнешь ты... О-ох...») шло продолжение, зачеркнутое затем автором:

«Мамка робко покосилась на бабушку.— Есть еще одно средство, да уж и не знаю как и сказывать...

— А ты говори?

Мамка красная как рак смотрела куда-то в угол.

— Помогает, говорят люди, если в бане да банщик чтоб здоровый...

Обожгло бабушку.

— Ну это пустое».

Зачеркнув этот кусок, Гарин пишет далее: «Бабушка только рукой махнула и после этого разговора еще мрачнее стала.

Через три дня бабушка так говорила жене своего внука, зазвав ее в свою горницу и плотно притворив дверь». Но и этот текст он зачеркивает и заменяет его фразой: «Еще прошло некоторое время, и бабушка решилась», которая и вошла в печатный текст (стр. 598).

Внесены существенные изменения и в описание разговора бабушки с Сильвиным. После фразы: «Тоже молился бы [в автографе: «помолился бы»], чтоб такой красавице бог детей дал...» (стр. 602) в автографе было:

«Кто ж мешает?— криво усмехнулась бабушка.

Актер внимательно заглянул бабушке в глаза и заговорил о другом.

Прошло полчаса и к удивлению всех бабушка и актер говорили как свои люди, как старые давнишние знакомые».

В журнальной редакции бабушка показана более умной и тонко действующей в достижении намеченной цели. Высмотрев на пароходе красавца Сильвина, она, говоря словами А. Луначарского, «в разговоре с ним, совершенно приличном... сумела сказать все, что нужно» («Образование», 1904, № 5).

Внесены изменения и в характеристику других образов. В автографе после фразы: «Рядом с нею шагал добродушный, толстый, молодой увалень, ниже ее ростом — ее муж» (стр. 598) — было: «Но он был такой добрый, такой скромный, что и к нему хорошо относились и даже прощали, что он муж такой красавицы».

При подготовке текста к журнальной публикации были сделаны и некоторые другие изменения.

Снята обширная тирада подвыпившего Сильвина, идущая в автографе после слова «Господа» (стр. 610). В провозглашенном Сильвиным тосте во фразе «Я желаю разве, господа, чтобы настало, наконец, время, чтобы в таких же замках жила бы вся Русь» (стр. 608), после слов «в таких же замках» в автографе было: «как мечтали когда-то Фурье и его приверженцы»; слова эти, очевидно, сняты писателем, как не свойственные Сильвину. Сокращен и переработан диалог Сильвина с Марьей Павловной (после слов «как хорошо здесь: рай!», стр. 613).

Снята последняя фраза, которой заканчивался рассказ в автографе: «Задумалась и глубоко вздохнула Матрена Карповна: никогда больше ничего этого не увидит бабушка».

Изменено количество и расстановка глав; в автографе двенадцать глав, в печатном тексте — девять.

В отличие от рецензента «Русского вестника» Н. Я. Стародума, считавшего, что Гарин в своем произведении является «только бытописателем» и «по счастью не преследует никакой притянутой к повествованию дидактической цели» (1904, № 12), рассказ «Бабушка», резко обличавший не только социальные основы, но и морально-бытовые устои буржуазного общества, говоривший о моральном разложении «хозяев жизни», об их физическом и духовном вырождении, получил высокую оценку передовой критики. В своих «Журнальных заметках» А. Луначарский («Образование», 1904, № 5), давая высокую оценку этому произведению и называя его «превосходным», писал: «Если бы его тон не был так убеждающе правдив, можно было бы думать, что психология «бабушки» простая выдумка автора, до такой степени она оригинальна... Умная «бабушка»,— говорит Луначарский,— вся ушла в дела фирмы, фирма стала каким-то ее идолом, для нее как-то само собой разумелось, что «дело»

прежде всего. В молодые годы красавица бабушка не задумалась продать себя старику ростовщику, чтобы выручить фирму в трудный час.

Одна из главнейших забот бабушки — «перебить короткую шею» мужских представителей фирмы, произвесть на свет долгошеего представителя их семьи. К этой цели бабушка идет с цинизмом положительно величавым».

Луначарский особенно отмечает эпизод ухаживания Сильвина за молчаливой миллионершей, переданный, по его словам, Гариным «с неподражаемым и каким-то парадоксальным юмором».

Высокую оценку этому произведению дал и М. Горький (см. М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, Гослитиздат, М. 1952, т. 17, стр. 74).

В настоящем томе рассказ печатается по журнальной публикации, сверенной с автографом.

Стр. 610 *...если у тебя фонтан, то заткни и его* — неточная цитата из «Плодов раздумий» (1854) Козьмы Пруткова (коллективный псевдоним писателей А. К. Толстого и братьев А. М. и В. М. Жемчужниковых, под которым они выступали в 50-х годах).

ВСТРЕЧА

Впервые — в книге «Новое слово. Товарищеские сборники», кн. 2, М. 1907.

Публикации в собр. соч. изд. «Знание» (т. IX, 1910), отдельное издание (изд. «Освобождение», Спб. 1913) и собр. соч. изд. Маркса (т. VII, 1916) — являются перепечаткой текста сборника.

В ИРЛИ хранятся: разрозненные листы автографа рассказа; неполный автограф под названием «Потерянные», по-видимому, первый вариант рассказа; небольшой отрывок на четырех листах и черновой автограф всего произведения (с небольшими пропусками) в тетради большого формата.

Переписывая рассказ в эту тетрадь с черновой рукописи (возможно, ею является автограф «Потерянных»), Гарин, как это видно из автографа (в тетради), несколько раз менял его заглавие. Сначала он назвал рассказ «На одной струне» с подзаголовком «Набросок», затем переменил название на «Дурман» с подзаголовком «Очерк». Но и это заглавие не удовлетворило автора, и вместо него он сверху надписал: «Встреча».

Текст, написанный черными чернилами, имеет большое количество сокращений, исправлений теми же чернилами,— очевидно,

эти исправления сделаны в процессе работы. В начале рассказа, на нескольких его первых листах, имеется также большая правка карандашом, сделанная, очевидно, уже позднее, по написании в тетради всего произведения, но не доведенная до конца.

В настоящем издании рассказ печатается по тексту книги «Новое слово».

Стр. 625. *«Искушение святого Антония»* (1874) — пьеса французского писателя Флобера (1821—1880).

Стр. 638. *Маргарита* (Гретхен) — героиня трагедии «Фауст» (1832) Гёте.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОГРОМ

Известны публикации рассказа в собр. соч. изд. «Освобождение» (т. 13, 1914) и изд. Маркса (т. VII, 1916). Тексты обоих изданий совпадают.

Стр. 641. *Писарев, Щапов, Флеровский... Бокль... Милль.*— См. прим. к т. I, стр. 517, и к т. 2, стр. 548, 560.

Миртов П. (псевдоним П. Л. Лаврова — 1823—1900) — один из идеологов либерального народничества.

Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ и социолог.

ОСЕНЬ

Известны публикации этого произведения в собр. соч. изд. «Освобождение» (т. 13, 1914) и изд. Маркса (т. VII, 1916). Тексты обоих изданий совпадают.

КАРТИНКА

Известны публикации этого произведения в собр. соч., изд. «Освобождение» (т. 17, 1914) и изд. Маркса (т. I, 1916). Тексты обоих изданий совпадают.

В ИРЛИ хранится неполный черновой автограф произведения.

Печатный текст по сравнению с черновым автографом стилистически выправлен.

ЭСКИЗ

Известны публикации рассказа в собр. соч. изд. «Освобождение» (т. 13, 1914) и изд. Маркса (т. VII, 1916). Тексты обоих изданий совпадают.

По-видимому, это отрывок или набросок задуманного, но не осуществленного замысла, так как заглавие чернового автографа рассказа «Кошелек пропал» (ИРЛИ) в произведении не раскрыто.

В ЦГАЛИ хранится машинопись рассказа с правкой автора, по тексту которой произведение и печатается.

ЗАЯЦ

Незавершенное произведение, дошедшее до нас в виде двух отрывков; впервые опубликовано посмертно в «Сборнике т-ва «Знание» за 1910 год. Кн. XXX» (Спб. 1910) со следующим предисловием редакции:

«В 1905 году Н. Г. Гарин рассказывал некоторым из своих знакомых план большого романа; центральной фигурой в этом плане ставился безвольный русский человек: полный хороших мечтаний, добряк по слабости характера, он легко подчиняется влиянию событий и лиц и всюду, где выступает активно, вносит с собой пагубную неопределенность поступков и речей, а в конце концов совершает целый ряд деяний, которых самому приходится стыдиться.

Редакция сборников имеет основание думать, что два отрывка, озаглавленные автором одинаково — «Заяц»,— являются: первый — началом романа, второй — куском из его второй части, и что Петя и Чернышев — одно лицо.

Думаем, что читателям небезынтересно ознакомиться с деталями предсмертной работы талантливого беллетриста».

В том же году оба отрывка были опубликованы в собр. соч. Гарина, изд. «Знание» (т. 9) и позднее в изд. «Освобождение» (т. 17, 1914).

В собр. изд. Маркса (т. VII) опубликован только первый отрывок. На странице, содержащей оглавление тома, помещено сообщение: «По независящим от редакции обстоятельствам не включен в «Полное собрание сочинений» 2-й отрывок рассказа «Заяц». Так как издание Маркса вышло в 1916 году, во время мировой войны,—очевидно, отрывок второй, в котором показан антагонизм между солдатами и офицерами, рост недовольства среди солдатской массы, не был пропущен цензурой.

В ИРЛИ хранится неполный автограф первого отрывка, начиная словами: « — А так можешь?» (стр. 655), кончая словами: «точно в бездну упало» (стр. 668), с небольшими пропусками в середине текста.

Сохранившаяся машинописная копия обоих отрывков (Архив А. М. Горького), очевидно, снята с чернового автографа, часть которого находится в ИРЛИ. Доказательством этого является пропуск в тексте машинописи (перед фразой «И единицу сегодня получил», стр. 657), соответствующий пропуску в автографе. Кроме того, в машинописи имеется ряд пропусков, соответствующих слову или группе слов в автографе, не разобранных при его перепечатке. В тех случаях, когда наличие этих пропусков нарушает связность повествования,— они заполнены вставками, сделанными рукой Пятницкого, очевидно, при подготовке текста для опубликования в «Сборнике т-ва «Знание» (это подтверждается и тем, что некоторые страницы машинописи — на листах со штампом издательства, и тем, что слова «Отрывок второй» написаны рукой М. Горького). В тех случаях, когда пропуски не нарушали связности рассказа, они не восстанавливались. Кроме того, многие фразы исправлены Пятницким стилистически.

Эта машинопись, правленная Пятницким, и была воспроизведена «Сборником т-ва «Знание». Так, в машинописи было: «легким (пропущено одно слово) переброшенным» — в сборнике — «легким, переброшенным» (стр. 675); в машинописи: «колоссальные (пропущено одно слово) устои» — в сборнике «колоссальные устои» (там же); в машинописи: «сторонах которого стояло» (стр. 673) слово «которого» зачеркнуто, сверху рукой Пятницкого надписано «его»,— в сборнике — «сторонах его стояло» и т. д.

В некоторых случаях в машинописном тексте правка отсутствует, а в сборнике — текст выпущен или изменен, что говорит о правке, проведенной в корректуре. Так в сборнике отсутствовала фраза, бывшая в машинописи: «Раз когда мать думала...» (до конца, стр. 657); не был также воспроизведен в сборнике бывший в машинописи текст, начиная словами: «Вор он, конечно...», кончая: «Все воруют» (стр. 678); в машинописи: «А так можешь?» — в сборнике: «А так можете?» (стр. 655) и т. д.

В машинописи отражено неправильное прочтение текста в автографе. Так, в автографе было: «гимназист, пригнувшись, впился» (стр. 655); в машинописи: «гимназист (пропуск) впился»; вместо пропущенного слова Пятницким вписано: «испуганными глазами» в сборнике: «гимназист испуганными глазами впился». В автографе: «Вдруг Петя...» (стр. 661) — в машинописи и сборнике: «Вот Петя»; и т. д.

В настоящем томе текст печатается по машинописи (Архив А. М. Горького) с исправлениями по сохранившейся части автографа отрывка первого.

Правка Пятницкого сохранена в нескольких случаях, где она необходима для сохранения связности изложения. После слов «камни пролетали мимо» (стр. 656) снято продолжение незаконченной фразы: «хотя долго еще гимнази»; после слов: «на кровь» в автографе шло: «и больше и было еще» — изменено на: «но было еще» (стр. 663); после слов: «любит мать» — вставлено «когда» (стр. 657); после слов: «он чувствовал ее» шел пропуск, поэтому слово «ее» заменено на «что» (стр. 662); после слов «по поводу второго» вставлено «назначили» (стр. 676).

Стр. 676. *...случай с Потемкиным.*— Имеется в виду революционное восстание, происходившее 14—24 июня 1905 года на броненосце Черноморского флота «Князь Потемкин Таврический».

СОДЕРЖАНИЕ

Из моего дневника 5
Вальнек-Вальновский 13
Исповедь отца 38
Старый холостяк 46
Ревекка. *Святочная легенда.* 53
Жизнь и смерть 68
Два мгновения 73
Дела. *Наброски карандашом* 77
Картинки Волыни 89
Новые звуки. *Сказка* 117
Веселые люди. *Очерк* 121
На ночлеге. 139
Счастливый день 146
Когда-то. 151
Адочка 176
Клотильда 182
Мои скитания 242
Дворец Дима. *Рождественский рассказ из жизни детей* . 262
В сутолоке провинциальной жизни. *1886—1896* . . . 286
Старый еврей 506
Правда 511
Наташа 518
Под праздник 526
Волк 535
Тени земли
I. Художник 559
II. Гений 561

III. Вероника 565
На практике 570
Бабушка 592
Встреча 618
Еврейский погром 641
Осень. *Стихотворение в прозе* 647
Картинка. *Из детской жизни* 648
Эскиз 652
Заяц 655

Примечания 683

Гарин-Михайловский
Собр. соч., т. 4

Редактор *М. Гордон*
Художественный редактор *И. Жихарев*
Технический редактор *Л. Сутина*
Корректор *В. Знаменская*

Сдано в набор 12/III 1958 г.
Подписано к печати 5/V 1958 г.
Бумага 84×108¹/₃₂. 22,63 печ. л.
37,11 усл.-печ. л. 34,87 уч.-авт. л. Тираж 140 000.
Заказ № 1588. Цена 10 р. 25 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Первая Образцовая типография им. А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28